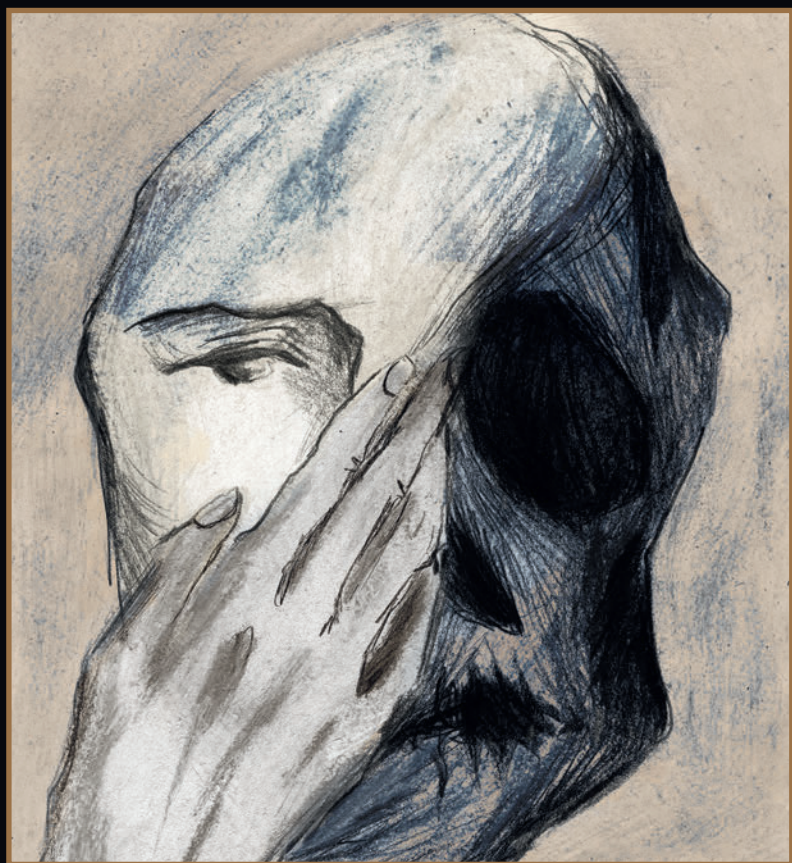


# ФРИДРИХ НИЦШЕ

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА  
СУМЕРКИ ИДОЛОВ • АНТИХРИСТ  
ЕССЕ НОМО • ВЕСЕЛАЯ НАУКА

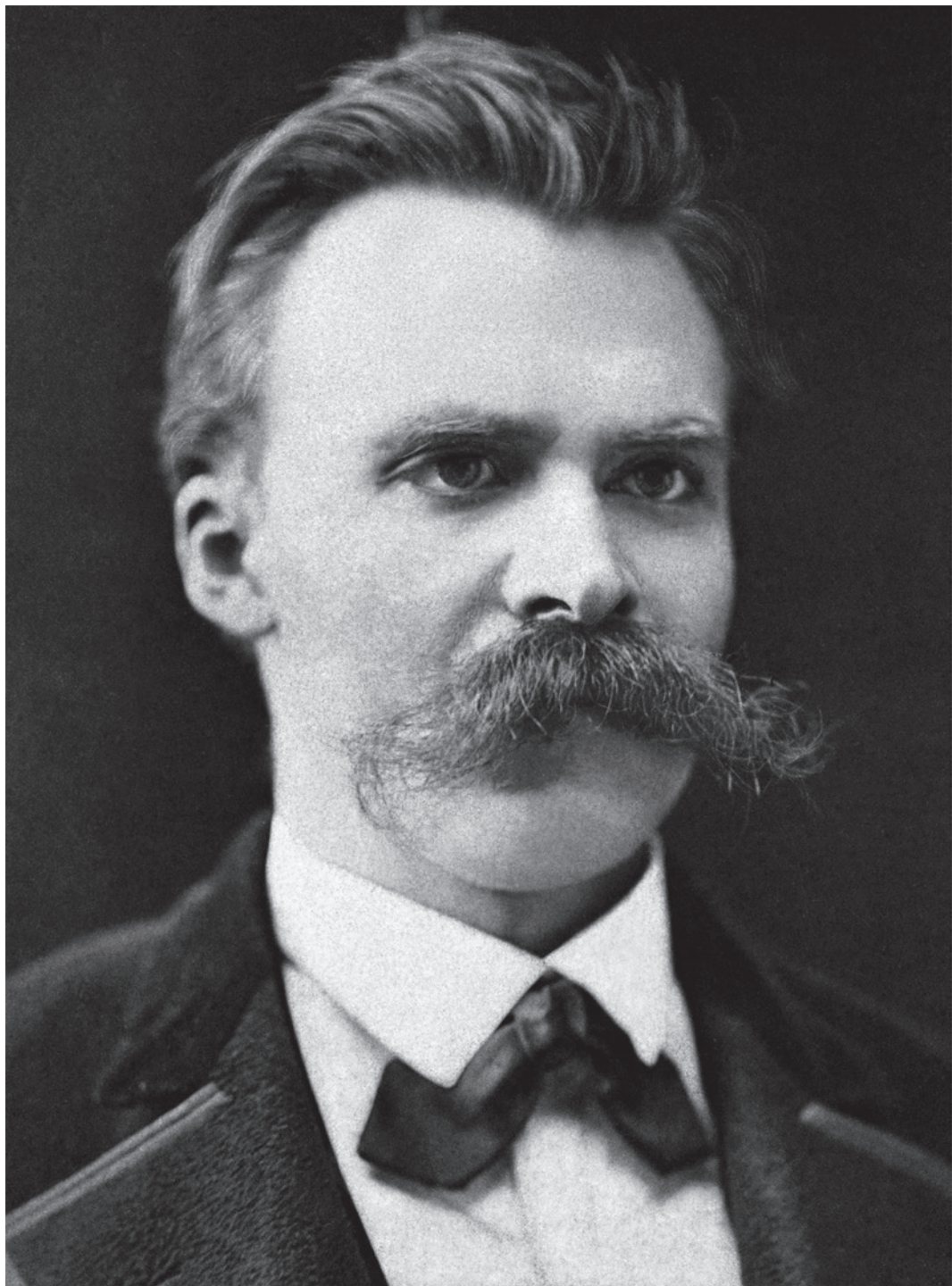


185 цветных иллюстраций  
к полным переводам

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ







*Фридрих Вильгельм Ницше*  
(1844–1900)

Фридрих  
Ницше

ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

•

СУМЕРКИ ИДолоВ

•

АНТИХРИСТ

•

ЕССЕ НОМО

•

ВЕСЕЛАЯ НАУКА

Иллюстрации Ольги Русаковой



Санкт-Петербург  
СЗКЭО

ББК 84.(0)5-4  
УДК 811.112.2  
Н70

Н70 **Ницше Ф.** Так говорил Заратустра. Ессе homo. Антихрист. Сумерки идолов. Веселая наука. — СПб.: СЗКЭО, 2022. — 768 с., ил.

Сборник одного из самых оригинальных немецких мыслителей — Фридриха Вильгельма Ницше — включает его знаковое произведение, своеобразный сплав философии, поэзии и прозы «Так говорил Заратустра». Оно было впервые опубликовано в 1883 г. и с тех пор продолжает привлекать внимание читателей высказанными в нем идеями о возможности существования «сверхчеловека». Другие произведения сборника: «Сумерки идолов», «Антихрист», «Esse Homo» и «Веселая наука» — также не менее интересны. В конце представлены несколько стихотворных произведений писателя. Издание проиллюстрировано рисунками современной художницы Ольги Русаковой.

# **ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА**

**Книга для всех и ни для кого**

Перевод  
Ю. М. Антоновского



*Так начался закат Заратустры*



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ПРЕДИСЛОВИЕ ЗАРАТУСТРЫ

### 1

Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся этим. Но наконец изменилось сердце его — и в одно утро поднялся он с зарею, стал перед солнцем и так говорил к нему:

«Великое светило! К чему свелось бы твоё счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь!

В течение десяти лет подымалось ты к моей пещере: ты пресытилось бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи.

Но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благословляли тебя.

Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду; мне нужны руки, простертые ко мне.

Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные — богатству своему.

Для этого я должен спуститься вниз: как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира, ты, богатейшее светило!

Я должен, подобно тебе, *закатиться*, как называют это люди, к которым хочу я спуститься.

Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти взирающее даже на чрезмерно большое счастье!

Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отблеск твоей отрады!

Взгляни, эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком».

— Так начался закат Заратустры.

## 2

Заратустра спустился один с горы, и никто не повстречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать кореньев в лесу. И так говорил старец Заратустре:

«Мне не чужд этот странник: несколько лет тому назад проходил он здесь. Заратустрой назывался он; но он изменился.

Тогда нес ты свой прах на гору; неужели теперь хочешь ты нести свой огонь в долины? Неужели не боишься ты кары поджигателя?

Да, я узнаю Заратустру. Чист взор его, и на устах его нет отвращения. Не потому ли и идет он, точно танцует?

Заратустра преобразился, ребенком стал Заратустра, Заратустра проснулся: чего же хочешь ты среди спящих?

Как на море, жил ты в одиночестве, и море носило тебя. Увы! ты хочешь выйти на сушу? Ты хочешь снова сам таскать свое тело?»

Заратустра отвечал: «Я люблю людей».

«Разве не потому, — сказал святой, — ушел и я в лес и пустыню? Разве не потому, что и я слишком любил людей?

Теперь люблю я Бога: людей не люблю я. Человек для меня слишком несовершенен. Любовь к человеку убила бы меня».

Заратустра отвечал: «Что говорил я о любви! Я несу людям дар».

«Не давай им ничего, — сказал святой. — Лучше сними с них что-нибудь и неси вместе с ними — это будет для них всего лучше, если только это лучше и для тебя!

И если ты хочешь им дать, дай им не больше милостыни и еще заставь их просить ее у тебя!»

«Нет, — отвечал Заратустра, — я не даю милостыни. Для этого я недостаточно беден».

Святой стал смеяться над Заратустрой и так говорил: «Тогда постарайся, чтобы они приняли твои сокровища! Они недоверчивы к отшельникам и не верят, что мы приходим, чтобы дарить.

Наши шаги по улицам звучат для них слишком одиноко. И если они ночью, в своих кроватях, услышат человека, идущего задолго до восхода солнца, они спрашивают себя: куда крадется этот вор?

Не ходи же к людям и оставайся в лесу! Иди лучше к зверям! Почему не хочешь ты быть, как я, — медведем среди медведей, птицею среди птиц?»

«А что делает святой в лесу?» — спросил Заратустра.

Святой отвечал: «Я слагаю песни и пою их; и когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу себе в бороду: так славлю я Бога.

Пением, плачем, смехом и бормотанием славлю я Бога, моего Бога. Но скажи, что несешь ты нам в дар?»

Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал: «Что мог бы я дать вам! Позвольте мне скорее уйти, чтобы чего-нибудь я не взял у вас!» — Так разошлись они в разные стороны, старец и человек, и каждый смеялся, как смеются дети.

Но когда Заратустра остался один, говорил он так в сердце своем: «Возможно ли это! Этот святой старец в своем лесу еще не слышал о том, что *Бог мертв*».

## 3

Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади: ибо ему обещано было зрелище — плясун на канате. И Заратустра говорил так к народу:

*Я учу вас о сверхчеловеке.* Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его?

Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека?

Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором.

Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяны, чем иная из обезьян.

Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растением?

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке!

Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: *да будет* сверхчеловек смыслом земли!

Я заклинаю вас, братья мои, *оставайтесь верны земле* и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах! Они отравители, все равно, знают ли они это или нет.

Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля: пусть же исчезнут они!

Прежде хула на Бога была величайшей хулой; но Бог умер, и вместе с ним умерли и эти хулители. Теперь хулить землю — самое ужасное преступление, так же как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл земли!

Некогда смотрела душа на тело с презрением: и тогда не было ничего выше, чем это презрение, — она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она бежать от тела и от земли.

О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной; и жестокость была вожделением этой души!

Но и теперь еще, братья мои, скажите мне: что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не есть бедность и грязь и жалкое довольство собою?

Поистине, человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым.

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — это море, где может потонуть ваше великое презрение.

В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это — час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так же как ваш разум и ваша добродетель.

Час, когда вы говорите: «В чем мое счастье! Оно — бедность и грязь и жалкое довольство собою. Мое счастье должно бы было оправдывать само существование!»

Час, когда вы говорите: «В чем мой разум! Добивается ли он знания, как лев своей пищи? Он — бедность и грязь и жалкое довольство собою!»

Час, когда вы говорите: «В чем моя добродетель! Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего! Все это бедность и грязь и жалкое довольство собою!»

Час, когда вы говорите: «В чем моя справедливость! Я не вижу, чтобы был я пламенем и углем. А справедливый — это пламень и уголь!»

Час, когда вы говорите: «В чем моя жалость! Разве жалость — не крест, к которому пригвождается каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть распятие».

Говорили ли вы уже так? Восклицали ли вы уже так? Ах, если бы я уже слышал вас так восклицавшими!

Не ваш грех — ваше самодовольство вопиет к небу; ничтожество ваших грехов вопиет к небу!

Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам?

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — эта молния, он — это безумие! —

Пока Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы: «Мы слышали уже довольно о канатном плясуне; пусть нам покажут его!» И весь народ начал смеяться над Заратустрой. А канатный плясун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело.

#### 4

Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил:

Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью.

Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасны страх и остановка.

В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он *переход и гибель*.

Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту.

Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы тоски по другому берегу.

Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвою, — а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землею сверхчеловека.

Я люблю того, кто живет для познания и кто хочет познавать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели.

Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и приготовить к приходу его землю, животных и растения: ибо так хочет он своей гибели.

Я люблю того, кто любит свою добродетель: ибо добродетель есть воля к гибели и стрела тоски.

Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли духа, но хочет всецело быть духом своей добродетели: ибо так, подобно духу, проходит он по мосту.



*Я учу вас о сверхчеловеке*



Я люблю того, кто из своей добродетели делает свое тяготение и свою напасть: ибо так хочет он ради своей добродетели еще жить и не жить более.

Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель есть больше добродетель, чем две, ибо она в большей мере есть тот узел, на котором держится напасть.

Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздает ее: ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя.

Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему на счастье, и кто тогда спрашивает: неужели я игрок-обманщик? — ибо он хочет гибели.

Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполняет всегда еще больше, чем обещает: ибо он хочет своей гибели.

Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и искупляет людей прошлого: ибо он хочет гибели от людей настоящего.

Я люблю того, кто карает своего Бога, так как он любит своего Бога: ибо он должен погибнуть от гнева своего Бога.

Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах и кто может погибнуть при малейшем испытании: так охотно идет он по мосту.

Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает самого себя, и все вещи содержатся в нем: так становятся все вещи его гибелью.

Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем: так голова его есть только утроба сердца его, а сердце его влечет его к гибели.

Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники.

Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта молния называется *сверхчеловек*.

## 5

Произнесши эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ и умолк. «Вот стоят они, говорил он в сердце своем, — вот смеются они: они не понимают меня, мои речи не для этих ушей.

Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели надо греметь, как литавры и как проповедники покаяния? Или верят они только заикающемуся?

У них есть нечто, чем гордятся они. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это культурой, она отличает их от козопасов.

Поэтому не любят они слышать о себе слово «презрение». Буду же говорить я к их гордости.

Буду же говорить я им о самом презренном существе, а это и есть *последний человек*».

И так говорил Заратустра к народу:

Настало время, чтобы человек поставил себе цель свою. Настало время, чтобы человек посадил росток высшей надежды своей.

Его почва еще достаточно богата для этого. Но эта почва будет когда-нибудь бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не будет больше расти на ней.

Горе! Приближается время, когда человек не пустит более стрелы тоски своей выше человека и тетива лука его разучится дрожать!

Я говорю вам: нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас есть еще хаос.

Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя.

Смотрите! Я показываю вам *последнего человека*.

«Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?» — так вопрошает последний человек и моргает.

Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.

«Счастье найдено нами», — говорят последние люди и моргают.

Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло. Также любят они соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло.

Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они осмотрительно. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей!

От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть.

Они еще трудятся, ибо труд — развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их.

Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно.

Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.

«Прежде весь мир был сумасшедший», — говорят самые умные из них и моргают.

Все умны и знают все, что было; так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся — иначе это расстраивало бы желудок.

У них есть свое удовольствище для дня и свое удовольствище для ночи; но здоровье — выше всего.

«Счастье найдено нами», — говорят последние люди и моргают.

Здесь окончилась первая речь Заратустры, называемая также «Предисловием», ибо на этом месте его прервали крик и радость толпы. «Дай нам этого последнего человека, о Заратустра, — так восклицали они, — сделай нас похожими на этих последних людей! И мы подарим тебе сверхчеловека!» И все радовались и щелкали языком. Но Заратустра стал печален и сказал в сердце своем:

«Они не понимают меня: мои речи не для этих ушей.

Очевидно, я слишком долго жил на горе, слишком часто слушал ручьи и деревья: теперь я говорю им, как козопасам.

Непреклонна душа моя и светла, как горы в час дополуночный. Но они думают, что холоден я и что говорю я со смехом ужасные шутки.

И вот они смотрят на меня и смеются, и, смеясь, они еще ненавидят меня. Лед в смехе их».

## 6

Но тут случилось нечто, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным. Ибо тем временем канатный плясун начал свое дело: он вышел из маленькой двери и пошел по канату, протянутому между двумя башнями и висевшему над базарной площадью и народом. Когда он находился посреди своего пути, маленькая дверь вторично отворилась, и детина, пестро одетый, как скоморох, выскочил из нее и быстрыми шагами пошел во след первому. «Вперед, хромоногий, — кричал он своим страшным голосом, — вперед, ленивая скотина, контрабандист, набеленная рожа! Смотри, чтобы я не пощекотал тебя своею пяткою! Что делаешь ты здесь между башнями? Ты вышел из башни; туда бы и следовало запереть тебя, ты загораживаешь дорогу тому, кто лучше тебя!» — И с каждым словом он все приближался к нему — и, когда был уже на расстоянии одного только шага от него, случилось нечто ужасное, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным: он испустил дьявольский крик и прыгнул через того, кто загородил ему дорогу. Но этот, увидев, что его соперник побеждает его, потерял голову и канат; он бросил свой шест и сам еще быстрее, чем шест, полетел вниз, как какой-то вихрь из рук и ног. Базарная площадь и народ походили на море, когда проносится буря: все в смятении бежало в разные стороны, большею частью там, где должно было упасть тело.

Но Заратустра оставался на месте, и прямо возле него упало тело, изодранное и разбитое, но еще не мертвое. Немного спустя к раненому вернулось сознание, и он увидел Заратустру, стоявшего возле него на коленях. «Что ты тут делаешь? — сказал он наконец. — Я давно знал, что черт подставит мне ногу. Теперь он тащит меня в преисподнюю; не хочешь ли ты помешать ему?»

«Клянусь честью, друг, — отвечал Заратустра, — не существует ничего, о чем ты говоришь: нет ни черта, ни преисподней. Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело: не бойся же ничего!»

Человек посмотрел на него с недоверием. «Если ты говоришь правду, — сказал он, — то, теряя жизнь, я ничего не теряю. Я немного больше животного, которого ударами и впроголодь научили плясать».

«Не совсем так, — сказал Заратустра, — ты из опасности сделал себе ремесло, а за это нельзя презирать. Теперь ты гибнешь от своего ремесла; за это я хочу похоронить тебя своими руками».

На эти слова Заратустры умирающий ничего не ответил; он только пошевелил рукою, как бы ища, в благодарность, руки Заратустры. —

## 7

Тем временем наступил вечер, и базарная площадь скрылась во мраке; тогда рассеялся и народ, ибо устают даже любопытство и страх. Но Заратустра продолжал сидеть на земле возле мертвого и был погружен в свои мысли: так забыл он о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер подул на одинокого. Тогда поднялся Заратустра и сказал в сердце своем:

«Поистине, прекрасный улов был сегодня у Заратустры. Он не поймал человека, зато труп поймал он.

Жутко человеческое существование и к тому же всегда лишено смысла: скоморох может стать уделом его.



*...он бросил свой шест и сам еще быстрее, чем шест, полетел вниз...*



Я хочу учить людей смыслу их бытия: этот смысл есть сверхчеловек, молния из темной тучи, называемой человеком.

Но я еще далек от них, и моя мысль не говорит их мыслям. Для людей я еще середина между безумцем и трупом.

Темна ночь, темны пути Заратустры. Идем, холодный, недвижимый товарищ! Я несу тебя туда, где я похороню тебя своими руками».

## 8

Сказав это в сердце своем, Заратустра взял труп себе на спину и пустился в путь. Но не успел он пройти и ста шагов, как человек подкрался к нему и стал шептать ему на ухо — и гляди-ка, тот, кто говорил, был скоморох с башни. «Уходи из этого города, о Заратустра, — говорил он, — слишком многие ненавидят тебя здесь. Ненавидят тебя добрые и праведные, и они зовут тебя своим врагом и ненавистником; ненавидят тебя правоверные, и они зовут тебя опасным для толпы. Счастье твое, что смеялись над тобою: и поистине, ты говорил, как скоморох. Счастье твое, что ты пристал к мертвой собаке; унижившись так, ты спас себя на сегодня. Но уходи прочь из этого города — или завтра я перепрыгну через тебя, живой через мертвого». И сказав это, человек исчез; а Заратустра продолжал свой путь по темным улицам.

У ворот города повстречались ему могильщики; они факелом посветили ему в лицо, узнали Заратустру и много издевались над ним: «Заратустра уносит с собой мертвую собаку: браво, Заратустра обратился в могильщика! Ибо наши руки слишком чисты для этой поживы. Не хочет ли Заратустра украсть у черта его кусок? Ну, так и быть! Желаем хорошо поужинать! Если только черт не более ловкий вор, чем Заратустра! — Он украдет их обоих, он сожрет их обоих!» И они смеялись и шушукались между собой.

Заратустра не сказал на это ни слова и шел своей дорогой. Он шел два часа по лесам и болотам и очень часто слышал голодный вой волков; наконец и на него напал голод. Он остановился перед уединенным домом, в котором горел свет.

«Голод нападает на меня, как разбойник, — сказал Заратустра. — В лесах и болотах нападает на меня голод мой и в глубокую ночь.

Удивительные капризы у моего голода. Часто наступает он у меня только после обеда, и сегодня целый день я не чувствовал его; где же замешкался он?»

И с этими словами Заратустра постучался в дверь дома. Появился старик; он нес фонарь и спросил: «Кто идет ко мне и нарушает мой скверный сон?»

«Живой и мертвый, — отвечал Заратустра. — Дайте мне поесть и попить; днем я забыл об этом. Тот, кто кормит голодного, насыщает свою собственную душу: так говорит мудрость».

Старик ушел, но тотчас вернулся и предложил Заратустре хлеб и вино. «Здесь плохой край для голодающих, — сказал он, — поэтому я и живу здесь. Зверь и человек приходят ко мне, отшельнику. Но позови же своего товарища поесть и попить, он устал еще больше, чем ты». Заратустра отвечал: «Мертв мой товарищ, было бы трудно уговорить его поесть». «Это меня не касается, — ворча произнес старик, — кто стучится в мою дверь, должен принимать то, что я ему предлагаю. Ешьте и будьте здоровы!» —



После этого Заратустра шел еще два часа, доверяясь дороге и свету звезд: ибо он был привычный ночной ходок и любил всему спящему смотреть в лицо. Но когда стало светать, Заратустра очутился в глубоком лесу, и дальше уже не было видно дороги. Тогда он положил мертвого в дупло дерева на высоте своей головы — ибо он хотел защитить его от волков — и сам лег на землю, на мох. И тотчас уснул он, усталый телом, но с непреклонной душою.

## 9

Долго спал Заратустра, и не только утренняя заря, но и час дополуденный прошли по лицу его. Но наконец он открыл глаза: с удивлением посмотрел Заратустра на лес и тишину, с удивлением заглянул он внутрь самого себя. Потом он быстро поднялся, как мореплаватель, зашедший внезапно землю, и возликовал: ибо он увидел новую истину. И так говорил он тогда в сердце своем:

«Свет низошел на меня: мне нужны спутники, и притом живые, — не мертвые спутники и не трупы, которых ношу я с собою, куда я хочу.

Мне нужны живые спутники, которые следуют за мною, потому что хотят следовать сами за собой — и туда, куда я хочу.

Свет низошел на меня: не к народу должен говорить Заратустра, а к спутникам! Заратустра не должен быть пастухом и собакою стада!

Сманить многих из стада — для этого пришел я. Негодовать будет на меня народ и стадо: разбойником хочет называться Заратустра у пастухов.

У пастухов, говорю я, но они называют себя добрыми и праведными. У пастухов, говорю я, но они называют себя правовеерными.

Посмотри на добрых и праведных! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника — но это и есть созидающий.

Посмотри на правовеерных! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника — но это и есть созидающий.

Спутников ищет созидающий, а не трупов, а также не стад и не верующих. Созидающих так же, как он, ищет созидающий, тех, кто пишут новые ценности на новых скрижалях.

Спутников ищет созидающий и тех, кто собирал бы жатву вместе с ним: ибо все созрело у него для жатвы. Но ему недостает сотни серпов; поэтому он вырывает колосья и негодует.

Спутников ищет созидающий и тех, кто умеет точить свои серпы. Разрушителями будут называться они и ненавистниками добрых и злых. Но они соберут жатву и будут праздновать.

Созидающих вместе с ним ищет Заратустра, собирающих жатву и празднующих вместе с ним ищет Заратустра: что стал бы он созидать со стадами, пастухами и трупами!

И ты, мой первый спутник, оставайся с благом! Хорошо схоронил я тебя в дупле дерева, хорошо спрятал я тебя от волков.

Но я расстаюсь с тобою, ибо время прошло. От зари до зари осенила меня новая истина.

Ни пастухом, ни могильщиком не должен я быть. Никогда больше не буду я говорить к народу: последний раз говорил я к мертвому.

К созидающим, к пожинающим, к торжествующим хочу я присоединиться: раду-гу хочу я показать им и все ступени сверхчеловека.

Одиноким буду я петь свою песню и тем, кто одиночеством вдвоем; и у кого есть еще уши, чтобы слышать неслыханное, тому хочу я обременить его сердце счастьем своим.

Я стремлюсь к своей цели, я иду своей дорогой; через медлительных и нерадивых перепрыгну я. Пусть будет моя поступь их гибелью!»

## 10

Так говорил Заратустра в сердце своем, а солнце стало уже на полдень; тогда он вопросительно взглянул на небо: ибо услышал над собою резкий крик птицы. И он увидел орла: описывая широкие круги, несся тот в воздух, а с ним — змея, но не в виде добычи, а как подруга: ибо она обвила своими кольцами шею его.

«Это мои звери!» — сказал Заратустра и возрадовался в сердце своем.

«Самое гордое животное, какое есть под солнцем, и животное самое умное, какое есть под солнцем, — они отправились разведать.

Они хотят знать, жив ли еще Заратустра. И поистине, жив ли я еще?

Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей, опасными путями ходит Заратустра. Пусть же ведут меня мои звери!»

Сказав это, Заратустра вспомнил слова святого в лесу, вздохнул и говорил так в сердце своем:

«Если б я мог стать мудрее! Если б я мог стать мудрым вполне, как змея моя!

Но невозможного хочу я; попрошу же я свою гордость идти всегда вместе с моим умом!

И если когда-нибудь мой ум покинет меня — ах, он любит улетать! — пусть тогда моя гордость улетит вместе с моим безумием!» —

— Так начался закат Заратустры.



*И он увидел орла: описывая широкие круги, неся тот в воздух, а с ним — змея, но не в виде добычи, а как подруга: ибо она обвила своими кольцами шею его*

## РЕЧИ ЗАРАТУСТРЫ

### О трех превращениях

**Т**ри превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, ребенком становится лев.

Много трудного существует для духа, для духа сильного и выносливого, который способен к глубокому почитанию: ко всему тяжелому и самому трудному стремится сила его.

Что есть тяжесть? — вопрошает выносливый дух, становится, как верблюд, на колени и хочет, чтобы хорошенько навьючили его.

Что есть трудное? — так вопрошает выносливый дух; скажите, герои, чтобы взял я это на себя и радовался силе своей.

Не значит ли это: унизиться, чтобы заставить страдать свое высокомерие? Заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять свою мудрость?

Или это значит: бежать от нашего дела, когда оно празднует свою победу? Подняться на высокие горы, чтобы искусить искусителя?

Или это значит: питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть голод души?

Или это значит: больным быть и отослать утешителей и заключить дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь?

Или это значит: опуститься в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб?

Или это значит: тех любить, кто нас презирает, и простирать руку привидению, когда оно собирается пугать нас?

Все самое трудное берет на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню.

Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение: здесь львом становится дух, свободу хочет он себе добыть и господином быть в своей собственной пустыне.

Своего последнего господина ищет он себе здесь: врагом хочет он стать ему, и своему последнему богу, ради победы он хочет бороться с великим драконом.

Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и богом? «Ты должен» называется великий дракон. Но дух льва говорит «я хочу».

Чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами, лежит ему на дороге, и на каждой чешуе его блестит, как золото, «ты должен!».

Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит сильнейший из всех драконов: «Ценности всех вещей блестят на мне».

«Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность — это я. Поистине, «я хочу» не должно более существовать!» Так говорит дракон.

Братья мои, к чему нужен лев в человеческом духе? Чему не удовлетворяет вычужденный зверь, воздержный и почтительный?

Создавать новые ценности — этого не может еще лев; но создать себе свободу для нового созидания — это может сила льва.

Завоевать себе свободу и священное Нет даже перед долгом — для этого, братья мои, нужно стать львом.

Завоевать себе право для новых ценностей — это самое страшное завоевание для духа выносливого и почтительного. Поистине, оно кажется ему грабежом и делом хищного зверя.

Как свою святыню, любил он когда-то «ты должен»; теперь ему надо видеть даже в этой святыне произвол и мечту, чтобы добыть себе свободу от любви своей: нужно стать львом для этой добычи.

Но скажите, братья мои, что может сделать ребенок, чего не мог бы даже лев? Почему хищный лев должен стать еще ребенком?

Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения.

Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждения: *своей* воли хочет теперь дух, *своей* мир находит потерявший мир.

Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом верблюд и, наконец, лев ребенком. —

Так говорил Заратустра. В тот раз остановился он в городе, названном: Пестрая корова.

## О кафедрах добродетели

Заратустре хвалили одного мудреца, который умел хорошо говорить о сие и о добродетели; за это его высоко чтили и награждали, и юноши садились перед кафедрой его. К нему пошел Заратустра и вместе с юношами сел перед кафедрой его. И так говорил мудрец:

Честь и стыд перед сном! Это первое! И избегайте встречи с теми, кто плохо спит и бодрствует ночью!

Стыдлив и вор в присутствии сна: потихоньку крадется он в ночи. Но нет стыда у ночного сторожа: не стыдась, трубит он в свой рог.

Уметь спать — не пустяшное дело: чтобы хорошо спать, надо бодрствовать в течение целого дня.



Десять раз должен ты днем преодолеть самого себя: это даст хорошую усталость, это мак души.

Десять раз должен ты мириться с самим собою: ибо преодоление есть обида, и дурно спит непомиравшийся.

Десять истин должен найти ты в течение дня: иначе ты будешь и ночью искать истины и твоя душа останется голодной.

Десять раз должен ты смеяться в течение дня и быть веселым: иначе будет тебя ночью беспокоить желудок, этот отец скорби.

Немногие знают это; но надо обладать всеми добродетелями, чтобы спать хорошо. Не дал ли я ложного свидетельства? Не нарушил ли я супружеской верности?

Не позволил ли я себе пожелать рабыни ближнего моего? Все это мешало бы хорошему сну.

И даже при существовании всех добродетелей надо еще понимать одно: уметь вовремя послать спать все добродетели.

Чтобы не ссорились между собой эти милые бабенки! И на твоей спине, несчастный!

Живи в мире с Богом и соседом: этого требует хороший сон. И живи также в мире с соседским чертом! Иначе ночью он будет посещать тебя.

Чти начальство и повинуйся ему, даже хромоту начальству! Этого требует хороший сон. Разве моя вина, если власть любит ходить на хромоте ногах?

Тот, по-моему, лучший пастух, кто пасет своих овец на тучных лугах: этого требует хороший сон.

Я не хочу ни больших почестей, ни больших сокровищ: то и другое раздражает селезенку. Однако дурно спится без доброго имени и малых сокровищ.

Малочисленное общество для меня предпочтительнее, чем злое; но и оно должно приходить и уходить вовремя: этого требует хороший сон.

Мне также очень нравятся нищие духом: они способствуют сну. Блаженны они, особенно если всегда воздают им должное.

Так проходит день у добродетельного. Но когда наступает ночь, я остерегаюсь, конечно, призывать сон! Он не хочет, чтобы его призывали — его, господина всех добродетелей!

Но я размышляю, что я сделал и о чем думал в течение дня. Пережевывая, спрашиваю я себя терпеливо, как корова: каковы же были твои десять преодолений?

И каковы были те десять примирений, десять истин и десять смехов, которыми мое сердце радовало себя?

При таком обсуждении и взвешивании сорока мыслей на меня сразу нападает сон, незванный, господин всех добродетелей.

Сон колотит меня по глазам — и они тяжелеют. Сон касается уст моих, и они остаются отверстыми.

Поистине, тихими шагами приходит он ко мне, лучший из воров, и похищает у меня мысли: глупый стою я тогда, как эта кафедра.

Но недолго стою я так: затем я уже лежу. —

Слушая эти речи мудреца, Заратустра смеялся в сердце своем: ибо свет низошел на него. И так говорил он в сердце своем:

Глупцом кажется мне этот мудрец со своими сорока мыслями; но я верю, что хорошо ему спится.



*Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом верблюд и,  
наконец, лев ребенком*

Счастливы уже и тот, кто живет вблизи этого мудреца! Такой сон заразителен; даже сквозь толстую стену заразителен он.

Чары живут в самой его кафедре. И не напрасно сидели юноши перед проповедником добродетели.

Его мудрость гласит: так бодрствовать, чтобы сон был спокойный. И поистине, если бы жизнь не имела смысла и я должен был бы выбрать бессмыслицу, то эта бессмыслица казалась бы мне наиболее достойной избрания.

Теперь я понимаю ясно, чего некогда искали прежде всего, когда искали учителей добродетели. Хорошего сна искали себе и увенчанной маками добродетели!

Для всех этих прославленных мудрецов кафедры мудрость была сном без сновидений: они не знали лучшего смысла жизни.

И теперь еще встречаются люди, похожие на этого проповедника добродетели, не всегда, однако, такие же честные, но их время прошло. И не долго стоять им, как уже будут они лежать.

Блаженны сонливые: ибо скоро станут они клевать носом. —

Так говорил Заратустра.

## О потусторонниках

Однажды и Заратустра устремил мечту свою по ту сторону человека, подобно всем потусторонникам. Актом страдающего и измученного Бога показался тогда мне мир.

Сном показался тогда мне мир и поэтическим творением Бога: разноцветным дымом пред очами божественного недовольника.

Добро и зло, и радость и страдание, и я и ты — все показалось мне разноцветным дымом пред очами Творца. Отвратить взор свой от себя захотел Творец — и тогда создал он мир.

Опьяняющей радостью служит для страдающего — отвратить взор от страдания своего и забыться. Опьяняющей радостью и самозабвением казался мне некогда мир.

Этот мир, вечно несовершенный, отражение вечного противоречия и несовершенный образ — опьяняющая радость для его несовершенного Творца, — таким казался мне некогда мир.

Итак, однажды устремил и я свою мечту по ту сторону человека, подобно всем потусторонникам. Правда ли, по ту сторону человека?

Ах, братья мои, этот Бог, которого я создал, был человеческим творением и человеческим безумием, подобно всем богам!

Человеком был он, и притом лишь бедной частью человека и моего Я: из моего собственного праха и пламени явился он мне, этот призрак! И поистине, не из потустороннего мира явился он мне!

Что же случилось, братья мои? Я преодолел себя, страдающего, я отнес свой собственный прах на гору, более светлое пламя обрел я себе. И вот! Призрак *удалился* от меня!

Теперь это было бы для меня страданием и мукой для выздоровевшего — верить в подобные призраки; теперь это было бы для меня страданием и унижением. Так говорю я потусторонникам.





*Для всех этих прославленных мудрецов кафедры мудрость была сном без сновидений:  
они не знали лучшего смысла жизни*

Страданием и бессилием созданы все потусторонние миры, и тем коротким безумием счастья, которое испытывает только страдающий больше всех.

Усталость, желающая одним скачком, скачком смерти, достигнуть конца, бедная усталость неведения, не желающая больше хотеть: ею созданы все боги и потусторонние миры.

Верьте мне, братья мои! Тело, отчаявшееся в теле, ощупывало пальцами обманутого духа последние стены.

Верьте мне, братья мои! Тело, отчаявшееся в земле, слышало, как вещало чрево бытия.

И тогда захотело оно пробиться головою сквозь последние стены, и не только головою, — и перейти в «другой мир».

Но «другой мир» вполне сокрыт от человека, этот обесчеловеченный, бесчеловечный мир, составляющий небесное Ничто; и чрево бытия не вещает человеку иначе, как голосом человека.

Поистине, трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его вещать. Скажите мне, братья мои, разве самая дивная из всех вещей не доказана еще лучшим образом?

Да, это *Я* и его противоречие и путаница говорит самым правдивым образом о своем бытии, это созидающее, хотящее и оценивающее *Я*, которое есть мера и ценность вещей.

И это самое правдивое бытие — *Я* — говорит о теле и стремится к телу, даже когда оно творит и предается мечтам и бьется разбитыми крыльями.

Все правдивее научается оно говорить, это *Я*; и чем больше оно научается, тем больше находит оно слов, чтобы хвалить тело и землю.

Новой гордости научило меня мое *Я*, которой учу я людей: не прятать больше головы в песок небесных вещей, а гордо держать ее, земную голову, которая создает смысл земли!

Новой воле учу я людей: идти той дорогой, которой слепо шел человек, и хвалить ее, и не уклоняться от нее больше в сторону, подобно больным и умирающим!

Больными и умирающими были те, кто презирали тело и землю и изобрели небо и искупительные капли крови; но даже и эти сладкие и мрачные яды брали они у тела и земли!

Своей нищеты хотели они избежать, а звезды были для них слишком далеки. Тогда вздыхали они: «О, если б существовали небесные пути, чтобы прокрасться в другое бытие и счастье!» — тогда изобрели они свою выдумку и кровавое пойло!

Эти неблагодарные — они грезили, что отреклись от своего тела и от этой земли. Но кому же обязаны они судорогами и блаженством своего отречения? Своему телу и этой земле.

Снисходителен Заратустра к больным. Поистине, он не сердится на их способы утешения и на их неблагодарность. Пусть будут они выздоравливающими и преодолеваящими и пусть создадут себе высшее тело!

Не сердится Заратустра и на выздоравливающего, когда он с нежностью взирает на свою мечту и в полночь крадется к могиле своего Бога; но болезнью и больным телом остаются для меня его слезы.

Много больного народу встречалось всегда среди тех, кто предается грезам и одержим Богом; яростно ненавидят они познающего и ту самую младшую из добродетелей, которая зовется — правдивость.



Они смотрят всегда назад, в темные времена: тогда поистине мечта и вера были другими вещами, неистовство разума было богоподобием, а сомнение грехом.

Слишком хорошо знаю я этих богоподобных: они хотят, чтобы в них верили и чтобы сомнение было грехом. Слишком хорошо знаю я также, во что сами они верят больше всего.

Поистине, не в потусторонние миры и искупительные капли крови, но в тело больше всего верят они, и на свое собственное тело смотрят они как на вещь в себе.

Но болезненной вещью является оно для них — и они охотно вышли бы из кожи вон. Поэтому они прислушиваются к проповедникам смерти и сами проповедуют потусторонние миры.

Лучше слушайтесь, братья мои, голоса здорового тела: это — более правдивый и чистый голос.

Более правдиво и чище говорит здоровое тело, совершенное и прямоугольное; и оно говорит о смысле земли. —

Так говорил Заратустра.

## О презирающих тело

К презирающим тело хочу я сказать мое слово. Не переучиваться и переучивать должны они меня, но только проститься со своим собственным телом — и таким образом стать немыми.

«Я тело и душа» — так говорит ребенок. И почему не говорить, как дети?

Но пробудившийся, знающий, говорит: я — тело, только тело, и ничто больше; а душа есть только слово для чего-то в теле.

Тело — это большой разум, множество с одним сознанием, война и мир, стадо и пастырь.

Орудием твоего тела является также твой маленький разум, брат мой; ты называешь «духом» это маленькое орудие, эту игрушку твоего большого разума.

Я говоришь ты и гордишься этим словом. Но больше его — во что не хочешь ты верить — тело твое с его большим разумом: оно не говорит *Я*, но делает *Я*.

Что чувствует чувство и что познает ум — никогда не имеет в себе своей цели. Но чувство и ум хотели бы убедить тебя, что они цель всех вещей: так тщеславны они.

Орудием и игрушкой являются чувство и ум: за ними лежит еще *Само*. *Само* ищет также глазами чувств, оно прислушивается также ушами духа.

*Само* всегда прислушивается и ищет: оно сравнивает, подчиняет, завоевывает, разрушает. Оно господствует и является даже господином над *Я*.

За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более могущественный повелитель, неведомый мудрец, — он называется *Само*. В твоем теле он живет; он и есть твое тело.

Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей мудрости. И кто знает, к чему нужна твоему телу твоя высшая мудрость?

Твое *Само* смеется над твоим *Я* и его гордыми скачками. «Что мне эти скачки и полеты мысли? — говорит оно себе. — Окольный путь к моей цели. Я служу помочами для *Я* и суфлером его понятий».

*Само* говорит к Я: «Здесь ощущай боль!» И вот оно страдает и думает о том, как бы больше не страдать, — и для этого именно *должно* оно думать.

*Само* говорит к Я: «Здесь чувствуй радость!» И вот оно радуется и думает о том, как бы почаще радоваться, — и для этого именно *должно* оно думать.

К презиравшим тело хочу я сказать слово. То, что презирают они, не оставляют они без призора. Что же создало призор и презрение и ценность и волю?

Созидающее *Само* создало себе призор и презрение, оно создало себе радость и горе. Созидающее тело создало себе дух как длань своей воли.

Даже в своем безумии и презрении вы, презиравшие тело, вы служите своему *Само*. Я говорю вам: ваше *Само* хочет умереть и отворачивается от жизни.

Оно уже не в силах делать то, чего оно хочет больше всего, — созидать дальше себя. Этого хочет оно больше всего, в этом вся страстность его.

Но теперь это для него слишком поздно — и вот ваше *Само* хочет погибнуть, вы, презиравшие тело.

Ваше *Само* хочет погибнуть, и потому вы стали презиравшими тело! Ибо вы уже больше не в силах созидать дальше себя.

И потому вы негодуете на жизнь и землю. Бессознательная зависть светится в косом взгляде вашего презрения.

Я не следую вашим путем, вы, презиравшие тело! Для меня вы не мост, ведущий к сверхчеловеку! —

Так говорил Заратустра.

## О радостях и страстях

Брат мой, если есть у тебя добродетель и она твоя добродетель, то ты не владеешь ею сообща с другими.

Конечно, ты хочешь называть ее по имени и ласкать ее: ты хочешь подергать ее за ушко и позабавиться с нею.

И смотри! Теперь ты обладаешь ее именем сообща с народом, и сам ты с твоей добродетелью стал народом и стадом!

Лучше было бы тебе сказать: «нет слова, нет названия тому, что составляет муку и сладость моей души, а также голод утробы моей».

Пусть твоя добродетель будет слишком высока, чтобы доверить ее имени: и если ты должен говорить о ней, то не стыдись говорить, лепеча.

Говори, лепеча: «Это *мое* добро, каким я люблю его, каким оно всецело мне нравится, и лишь таким я хочу его.

Не потому я хочу его, чтобы было оно божественным законом, и не потому я хочу его, чтобы было оно человеческим установлением и человеческой нуждой: да не служит оно мне указателем на небо или в рай.

Только земную добродетель люблю я: в ней мало мудрости и всего меньше разума всех людей.

Но эта птица свила у меня гнездо себе, поэтому я люблю и прижимаю ее к сердцу — теперь на золотых яйцах она сидит у меня».

Так должен ты лепетать и хвалить свою добродетель.



*Так должен ты лепетать и хвалить свою добродетель*

Некогда были у тебя страсти, и ты называл их злыми. А теперь у тебя только твои добродетели: они выросли из твоих страстей.

Ты положил свою высшую цель в эти страсти: и вот они стали твоей добродетелью и твоей радостью.

И если б ты был из рода вспыльчивых, или из рода сластолюбцев, или изуверов, или людей мстительных:

Все-таки в конце концов твои страсти обратились бы в добродетели и все твои демоны — в ангелов.

Некогда были дикие псы в погребках твоих, но в конце концов обратились они в птиц и прелестных певуний.

Из своих ядов сварил ты себе бальзам свой; ты доил корову — скорбь свою, — теперь ты пьешь сладкое молоко ее вымени.

И отныне ничего злого не вырастает из тебя, кроме зла, которое вырастает из борьбы твоих добродетелей.

Брат мой, если ты счастлив, то у тебя *одна* добродетель, и не более: тогда легче проходишь ты по мосту.

Почтенно иметь много добродетелей, но это тяжелая участь, и многие шли в пустыню и убивали себя, ибо они уставали быть битвой и полем битвы добродетелей.

Брат мой, зло ли война и битвы? Однако это зло необходимо, необходимы и зависть, и недоверие, и клевета между твоими добродетелями.

Посмотри, как каждая из твоих добродетелей жаждет высшего: она хочет всего твоего духа, чтобы был он ее глашатаем, она хочет всей твоей силы в гневе, ненависти и любви.

Ревнива каждая добродетель в отношении другой, а ревность — ужасная вещь. Даже добродетели могут погибнуть из-за ревности.

Кого окружает пламя ревности, тот обращает наконец, подобно скорпиону, отравленное жало на самого себя.

Ах, брат мой, разве ты никогда еще не видел, как добродетель клеветает на себя и жалит самое себя?

Человек есть нечто, что должно превзойти; и оттого должен ты любить свои добродетели — ибо от них ты погибнешь.

Так говорил Заратустра.

## О бледном преступнике

Вы не хотите убивать, вы, судьи и жертвоприносители, пока животное не наклонит головы? Взгляните, бледный преступник склонил голову, из его глаз говорит великое презрение.

«Мое *Я* есть нечто, что должно превзойти: мое *Я* служит для меня великим презрением к человеку» — так говорят глаза его.

То, что он сам осудил себя, было его высшим мгновением; не допускайте, чтобы тот, кто возвысился, опять опустился в свою пропасть!

Нет спасения для того, кто так страдает от себя самого, — кроме быстрой смерти.

Ваше убийство, судьи, должно быть жалостью, а не мщением. И, убивая, блюдите, чтобы сами вы оправдывали жизнь!



Недостаточно примириться с тем, кого вы убиваете. Ваша печаль да будет любовью к сверхчеловеку: так оправдаете вы свою все еще жизнь!

«Враг» должны вы говорить, а не «злодей»; «больной» должны вы говорить, а не «негодяй»; «сумасшедший» должны вы говорить, а не «грешник».

И ты, красный судья, если бы ты громко сказал все, что ты совершил уже в мыслях, каждый закричал бы: «Прочь эту скверну и этого ядовитого червя!»

Но одно — мысль, другое — дело, третье — образ дела. Между ними не вращается колесо причинности.

Образ сделал этого бледного человека бледным. На высоте своего дела был он, когда он совершал его; но он не вынес его образа, когда оно совершилось.

Всегда смотрел он на себя как на свершителя *одного* свершения. Безумием называю я это: исключение обернулось ему сущностью его.

Черта околдовывает курицу; чертовщина, которой он отдался, околдовывает его бедный разум — безумием *после* дела называю я это.

Слушайте вы, судьи! Другое безумие существует еще — это безумие *перед* делом. Ах, вы вползли недостаточно глубоко в эту душу!

Так говорит красный судья: «но ради чего убил этот преступник? Он хотел ограбить».

Но я говорю вам: душа его хотела крови, а не грабежа — он жаждал счастья ножа!

Но его бедный разум не понял этого безумия и убедил его. «Что толку в крови! — говорил он. — Не хочешь ли ты по крайней мере совершить при этом грабеж? Отмстить?»

И он послушался своего бедного разума: как свинец, легла на него его речь — и вот, убивая, он ограбил. Он не хотел стыдиться своего безумия.

И теперь опять свинец его вины лежит на нем, и опять его бедный разум стал таким затекшим, таким расслабленным, таким тяжелым.

Если бы только он мог тряхнуть головою, его бремя скатилось бы вниз; но кто тряхнет эту голову?

Что такое этот человек? Куча болезней, через дух проникающих в мир: там ищут они своей добычи.

Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко вместе бывают спокойны, — и вот они расползаются и ищут добычи в мире.

Взгляните на это бедное тело! Что оно выстрадало и чего страстно желало, вот что пыталась объяснить себе эта бедная душа — она объясняла это как радость убийства и алчность к счастью ножа.

Кто теперь становится больным, на того нападает зло, которое теперь считается злом: страдание хочет он причинять тем самым, что ему причиняет страдание. Но были другие времена и другое зло и добро.

Некогда были злом сомнение и воля к самому себе. Тогда становился больной еретиком и колдуном: как еретик и колдун, страдал он и хотел заставить страдать других.

Но это не вмещается в ваши уши: это вредит вашим добрым, говорите вы мне. Но что мне за дело до ваших добрых!

Многое в ваших добрых вызывает во мне отвращение, и поистине не их зло. Я хотел бы, чтобы безумие охватило их, от которого они бы погибли, как этот бледный преступник!



Поистине, я хотел бы, чтобы их безумие называлось истиной, или верностью, или справедливостью; но у них есть своя добродетель, чтобы долго жить в жалком довольстве собою.

Я — перила моста на стремительном потоке: держись за меня, кто может за меня держаться. Но вашим костылем не служу я.

Так говорил Заратустра.

## О чтении и письме

Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью — и ты узнаешь, что кровь есть дух.

Не легко понять чужую кровь: я ненавижу читающих бездельников.

Кто знает читателя, тот ничего не делает для читателя. Еще одно столетие читателей — и дух сам будет смердеть.

То, что каждый имеет право учиться читать, портит надолго не только писание, но и мысль.

Некогда дух был Богом, потом стал человеком, а ныне становится он даже чернью.

Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть.

В горах кратчайший путь — с вершины на вершину; но для этого надо иметь длинные ноги. Притчи должны быть вершинами: и те, к кому говорят они, — большими и рослыми.

Воздух разреженный и чистый, опасность близкая и дух, полный радостной злобы, — все это хорошо идет одно к другому.

Я хочу, чтобы вокруг меня были кобольды, ибо мужествен я. Мужество гонит призраки, само создает себе кобольдов — мужество хочет смеяться.

Я не чувствую больше вместе с вами: эта туча, что я вижу под собой, эта чернота и тяжесть, над которыми я смеюсь, — такова ваша грозовая туча.

Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь подняться. А я смотрю вниз, ибо я поднялся.

Кто из вас может одновременно смеяться и быть высоко?

Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией сцены и жизни.

Беззаботными, насмешливыми, сильными — такими хочет нас мудрость: она — женщина и любит всегда только воина.

Вы говорите мне: «жизнь тяжело нести». Но к чему была бы вам ваша гордость поутру и ваша покорность вечером?

Жизнь тяжело нести; но не притворяйтесь же такими нежными! Мы все прекрасные вьючные ослы и ослицы.

Что у нас общего с розовой почкой, которая дрожит, ибо капля росы лежит у нее на теле?

Правда, мы любим жизнь, но не потому, что к жизни, а потому, что к любви мы привыкли.

В любви всегда есть немного безумия. Но и в безумии всегда есть немного разума.



*Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко вместе бывают спокойны, — и вот они расползаются и ищут добычи в мире*

И даже мне, расположенному к жизни, кажется, что мотыльки и мыльные пузыри и те, кто похож на них среди людей, больше всех знают о счастье.

Зреть, как порхают они, эти легкие вздорные ломкие бойкие душеньки — вот что пьянит Заратустру до песен и слез.

Я бы поверил только в такого Бога, который умел бы танцевать.

И когда я увидел своего демона, я нашел его серьезным, веским, глубоким и торжественным: это был дух тяжести, благодаря ему все вещи падают на землю.

Убивают не гневом, а смехом. Вставайте, помогите нам убить дух тяжести!

Я научился ходить; с тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать; с тех пор я не жду толчка, чтобы сдвинуться с места.

Теперь я легок, теперь я летаю, теперь я вижу себя под собой, теперь Бог танцует во мне.

Так говорил Заратустра.

## О дереве на горе

Заратустра заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, когда шел он один по горам, окружавшим город, названный «Пестрая корова», он встретил этого юношу сидевшим на земле, у дерева, и смотревшим усталым взором в долину. Заратустра дотронулся до дерева, у которого сидел юноша, и говорил так:

«Если б я захотел потрясти это дерево своими руками, я бы не смог этого сделать.

Но ветер, невидимый нами, терзает и гнет его, куда он хочет. Невидимые руки еще больше гнут и терзают нас».

Тогда юноша встал в смущении и сказал: «Я слышу Заратустру, я только что думал о нем». Заратустра отвечал:

«Чего же ты пугаешься? С человеком происходит то же, что и с деревом.

Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впадают корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, — ко злу».

«Да, ко злу! — воскликнул юноша. — Как же возможно, что ты открыл мою душу?»

Заратустра засмеялся и сказал: «Есть души, которых никогда не откроют, разве что сперва выдумают их».

«Да, ко злу! — воскликнул юноша еще раз.

Ты сказал истину, Заратустра. Я не верю больше в себя самого, с тех пор как стремлюсь я вверх, и никто уже не верит в меня, — но как же случилось это?

Я меняюсь слишком быстро: мое сегодня опровергает мое вчера. Я часто перепрыгиваю ступени, когда поднимаюсь, — этого не прощает мне ни одна ступень.

Когда я наверху, я нахожу себя всегда одиноким. Никто не говорит со мною, холод одиночества заставляет меня дрожать. Чего же хочу я на высоте?

Мое презрение и моя тоска растут одновременно; чем выше поднимаюсь я, тем больше презираю я того, кто поднимается. Чего же хочет он на высоте?

Как стыжусь я своего восхождения и спотыкания! Как потешаюсь я над своим порывистым дыханием! Как ненавижу я летающего! Как устал я на высоте!»

Тут юноша умолк. А Заратустра посмотрел на дерево, у которого они стояли, и говорил так:

«Это дерево стоит одиноко здесь, на горе, оно выросло высоко над человеком и животным.

И если бы оно захотело говорить, не нашлось бы никого, кто бы мог понять его: так высоко выросло оно.

Теперь ждет оно и ждет, — чего же ждет оно? Оно находится слишком близко к облакам: оно ждет, вероятно, первой молнии?»

Когда Заратустра сказал это, юноша воскликнул в сильном волнении: «Да, Заратустра, ты говоришь истину. Своей гибели желал я, стремясь в высоту, и ты та молния, которой я ждал! Взгляни, что я такое, с тех пор как ты явился к нам? *Зависть* к тебе разрушила меня!» — Так говорил юноша и горько плакал. А Заратустра обнял его и увел с собою.

И когда они вместе прошли немного, Заратустра начал так говорить:

— Разрывается сердце мое. Больше, чем твои слова, твой взор говорит мне об опасности, которой ты подвергаешься.

Ты еще не свободен, ты ищешь еще свободы. Бодрствующим сделало тебя твое искание и лишило тебя сна.

В свободную высь стремишься ты, звезд жаждет твоя душа. Но твои дурные инстинкты также жаждут свободы.

Твои дикие псы хотят на свободу; они лают от радости в своем погребке, пока твой дух стремится отворить все темницы.

По-моему, ты еще заключенный в тюрьме, мечтающий о свободе; ах, мудрой становится душа у таких заключенных, но также лукавой и дурной.

Очиститься должен еще освободившийся дух. В нем еще много от тюрьмы и от затхлости: чистым должен еще стать его взор.

Да, я знаю твою опасность. Но моей любовью и надеждой заклиная я тебя: не бросай своей любви и надежды!

Ты еще чувствуешь себя благородным, и благородным чувствуют тебя также и другие, кто не любит тебя и посылает вослед тебе злые взгляды. Знай, что у всех поперек дороги стоит благородный.

Даже для добрых стоит благородный поперек дороги; и даже когда они называют его добрым, этим хотят они устранить его с дороги.

Новое хочет создать благородный, новую добродетель. Старого хочет добрый и чтобы старое сохранилось.

Но не в том опасность для благородного, что он станет добрым, а в том, что он станет наглым, будет насмешником и разрушителем.

Ах, я знал благородных, потерявших свою высшую надежду. И теперь клеветали они на все высшие надежды.

Теперь жили они, наглые, среди мимолетных удовольствий, и едва ли цели их простирались дальше дня.

«Дух — тоже сладострастие» — так говорили они. Тогда разбились крылья у духа их: теперь ползает он всюду и грязнит все, что гложет.

Некогда мечтали они стать героями — теперь они сластолюбцы. Печаль и страх для них герой.

Но моей любовью и надеждой заклиная я тебя: не отметай героя в своей душе! Храни свято свою высшую надежду! —

Так говорил Заратустра.



## О проповедниках смерти

Есть проповедники смерти; и земля полна теми, кому нужно проповедовать отвращение к жизни.

Земля полна лишними, жизнь испорчена чрезмерным множеством людей. О, если б можно было «вечной жизнью» сманить их из этой жизни!

«Желтые» или «черные» — так называют проповедников смерти. Но я хочу показать их вам еще и в других красках.

Вот они ужасные, что носят в себе хищного зверя и не имеют другого выбора, кроме как вожделение или самоумерщвление. Но и вожделение их — тоже самоумерщвление.

Они еще не стали людьми, эти ужасные; пусть же проповедают они отвращение к жизни и сами уходят!

Вот — чахоточные душою: едва родились они, как уже начинают умирать и жаждут учений усталости и отречения.

Они охотно желали бы быть мертвыми, и мы должны одобрить их волю! Будем же остерегаться, чтобы не воскресить этих мертвых и не повредить эти живые гробы!

Повстречается ли им больной, или старик, или труп, и тотчас говорят они: «жизнь опровергнута!»

Но только они опровергнуты и их глаза, видящие только *одно* лицо в существовании.

Погруженные в глубокое уныние и алчные до маленьких случайностей, приносящих смерть, — так ждут они, стиснув зубы.

Или же: они хватаются за сласти и смеются при этом своему ребячеству; они висят на жизни, как на соломинке, и смеются, что они еще висят на соломинке.

Их мудрость гласит: «Глупец тот, кто остается жить, и мы настолько же глупы. Это и есть самое глупое в жизни!» —

«Жизнь есть только страдание» — так говорят другие и не лгут; так постарайтесь же, чтобы перестать *вам* существовать! Так постарайтесь же, чтобы кончилась жизнь, которая есть только страдание!

И да гласит правило вашей добродетели: «ты должен убить самого себя! Ты должен сам себя украсть у себя!» —

«Сладострастие есть грех — так говорят проповедующие смерть, — дайте нам идти стороною и не рожать детей!»

«Трудно рожать, — говорят другие, — к чему еще рожать? Рождаются лишь несчастные!» И они также проповедники смерти.

«Нам нужна жалость, — так говорят третьи. — Возьмите, что есть у меня! Возьмите меня самого! Тем меньше я буду связан с жизнью!»

Если б они были совсем сострадательные, они отбили бы у своих ближних охоту к жизни. Быть злым — было бы их истинной добротой.

Но они хотят освободиться от жизни; что им за дело, что они еще крепче связывают других своими цепями и даяниями!

И даже вы, для которых жизнь есть суровый труд и беспокойство, — разве вы не очень утомлены жизнью? Разве вы еще не созрели для проповеди смерти?

Все вы, для которых дорог суровый труд и все быстрое, новое, неизвестное, — вы чувствуете себя дурно; ваша деятельность есть бегство и желание забыть самих себя.





*В свободную высь стремишься ты, звезд жаждет твоя душа.  
Но твои дурные инстинкты также жаждут свободы*

Если бы вы больше верили в жизнь, вы бы меньше отдавались мгновению. Но чтобы ждать, в вас нет достаточно содержания, — и даже чтобы лениться!

Всюду раздается голос тех, кто проповедует смерть; и земля полна теми, кому нужно проповедовать смерть.

Или «вечную жизнь» — мне все равно, — если только они не замедлят отправиться туда!

Так говорил Заратустра.

## О войне и воинах

Мы не хотим пощады от наших лучших врагов, а также от тех, кого мы любим до глубины души. Позвольте же мне сказать вам правду!

Братья мои по войне! Я люблю вас до глубины души; теперь и прежде я был вашим равным. И я также ваш лучший враг. Позвольте же мне сказать вам правду!

Я знаю о ненависти и зависти вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Так будьте же настолько велики, чтобы не стыдиться себя самих!

И если вы не можете быть подвижниками познания, то будьте по крайней мере его ратниками. Они спутники и предвестники этого подвижничества.

Я вижу множество солдат: как хотел бы я видеть много воинов! «Мундиром» называется то, что они носят; да не будет мундиром то, что скрывают они под ним!

Будьте такими, чей взор всегда ищет врага — *своего* врага. И у некоторых из вас сквозит ненависть с первого взгляда.

Своего врага ищите вы, свою войну ведите вы, войну за свои мысли! И если ваша мысль не устоит, все-таки ваша честность должна и над этим праздновать победу!

Любите мир как средство к новым войнам. И притом короткий мир — больше, чем долгий.

Я призываю вас не к работе, а к борьбе. Я призываю вас не к миру, а к победе. Да будет труд ваш борьбой и мир ваш победою!

Можно молчать и сидеть смиренно, только когда есть стрелы и лук; иначе болтают и бранятся. Да будет ваш мир победою!

Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель.

Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала доселе несчастных.

Что хорошо? спрашиваете вы. Хорошо быть храбрым. Предоставьте маленьким девочкам говорить: «быть добрым — вот что мило и в то же время трогательно».

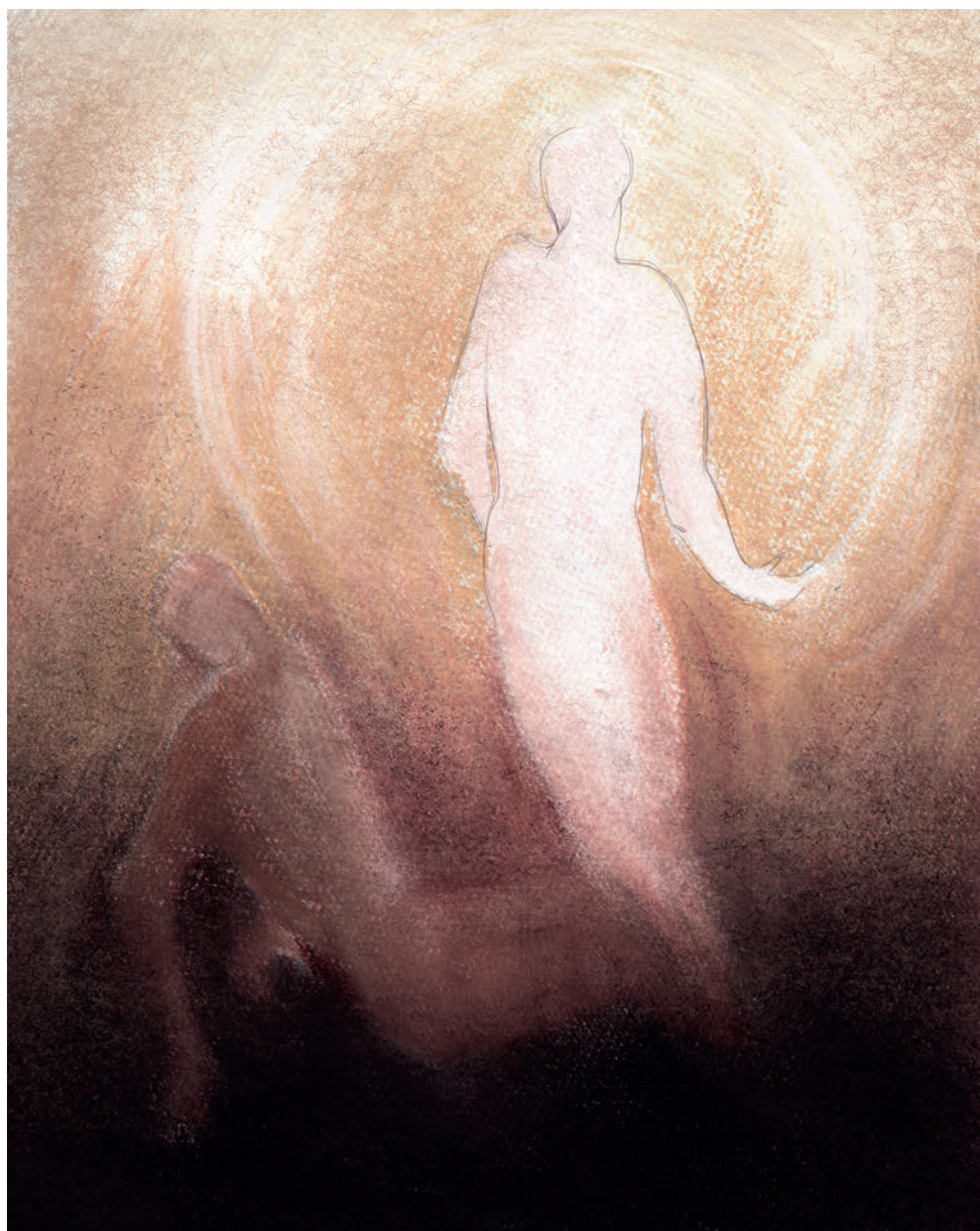
Вас называют бессердечными — но ваше сердце неподдельно, и я люблю стыдливость вашей сердечности. Вы стыдитесь прилива ваших чувств, а другие стыдятся их отлива.

Вы безобразны? Ну, что ж, братья мои! Окутайте себя возвышенным, этой мантией безобразного!

И когда ваша душа становится большой, она становится высокомерной; и в вашей возвышенности есть злоба. Я знаю вас.

В злобе встречается высокомерный со слабым. Но они не понимают друг друга. Я знаю вас.





*Своего врага ищите вы, свою войну ведите вы, войну за свои мысли!*

Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом: тогда успехи вашего врага будут и вашими успехами.

Восстание — это доблесть раба. Вашей доблестью да будет повиновение! Само приказание ваше да будет повиновением!

Для хорошего воина «ты должен» звучит приятнее, чем «я хочу». И все, что вы любите, вы должны сперва приказать себе.

Ваша любовь к жизни да будет любовью к вашей высшей надежде — а этой высшей надеждой пусть будет высшая мысль о жизни!

Но ваша высшая мысль должна быть вам приказана мною — и она гласит: человек есть нечто, что должно превзойти.

Итак, живите своей жизнью повиновения и войны! Что пользы в долгой жизни! Какой воин хочет, чтобы щадили его!

Я не щажу вас, я люблю вас всем сердцем, братья по войне! —

Так говорил Заратустра.

## О новом кумире

Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, братья мои; у нас есть государства.

Государство? Что это такое? Итак, слушайте меня, ибо теперь я скажу вам свое слово о смерти народов.

Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: «Я, государство, емь народ».

Это — ложь! Созидателями были те, кто создали народы и дали им веру и любовь; так служили они жизни.

Разрушители — это те, кто ставит ловушки для многих и называет их государством: они навесили им меч и навязали им сотни желаний.

Где еще существует народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав.

Это знамение даю я вам: каждый народ говорит на своем языке о добре и зле — этого языка не понимает сосед. Свой язык обрел он себе в обычаях и правах.

Но государство лжет на всех языках о добре и зле: и что оно говорит, оно лжет — и что есть у него, оно украло.

Все в нем поддельно: краденными зубами кусает оно, зубастое. Поддельна даже утроба его.

Смешение языков в добре и зле: это знамение даю я вам как знамение государства. Поистине, волю к смерти означает это знамение! Поистине, оно подмигивает проповедникам смерти!

Рождается слишком много людей: для лишних изобретено государство!

Смотрите, как оно их привлекает к себе, это многое множество! Как оно их душит, жует и пережевывает!

«На земле нет ничего больше меня: я упорядочивающий перст Божий» — так рычит чудовище. И не только длинноухие и близорукие опускаются на колени!





*Смотрите, как оно их привлекает к себе, это многое множество!  
Как оно их душит, жует и пережевывает!*



Ах, даже вам, великие души, нашептывает оно свою мрачную ложь! Ах, оно угадывает богатые сердца, охотно себя расточающие!

Да, даже вас угадывает оно, вы, победители старого Бога! Вы устали в борьбе, и теперь ваша усталость служит новому кумиру!

Героев и честных людей хотел бы он уставить вокруг себя, новый кумир! Оно любит греться в солнечном сиянии чистой совести, — холодное чудовище!

Все готов дать *вам*, если *вы* поклонитесь ему, новый кумир: так покупает он себе блеск вашей добродетели и взор ваших гордых очей.

Приманить хочет он вас, вы, многое множество! И вот изобретена была адская штука, конь смерти, бряцающий сбруей божеских почестей!

Да, изобретена была смерть для многих, но она прославляет самое себя как жизнь: поистине, сердечная услуга всем проповедникам смерти!

Государством зову я, где все вместе пьют яд, хорошие и дурные; государством, где все теряют самих себя, хорошие и дурные; государством, где медленное самоубийство всех — называется — «жизнь».

Посмотрите же на этих лишних людей! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов: культурой называют они свою кражу — и все обращается у них в болезнь и беду!

Посмотрите же на этих лишних людей! Они всегда больны, они выблевают свою желчь и называют это газетой. Они проглатывают друг друга и никогда не могут переварить себя.

Посмотрите же на этих лишних людей! Богатства приобретают они и делаются от этого беднее. Власти хотят они, и прежде всего рычага власти, много денег, — эти немощные!

Посмотрите, как лезут они, эти проворные обезьяны! Они лезут друг на друга и потому срываются в грязь и в пропасть.

Все они хотят достичь трона: безумие их в том — будто счастье восседало бы на троне! Часто грязь восседает на троне — а часто и трон на грязи.

По-моему, все они безумцы, карабкающиеся обезьяны и находящиеся в бреду. По-моему, дурным запахом несет от их кумира, холодного чудовища; по-моему, дурным запахом несет от всех этих служителей кумира.

Братья мои, разве хотите вы задохнуться в чаду их пастей и вожделений! Скорее разбейте окна и прыгайте вон!

Избегайте же дурного запаха! Сторонитесь идолопоклонства лишних людей!

Избегайте же дурного запаха! Сторонитесь дыма этих человеческих жертв!

Свободною стоит для великих душ и теперь еще земля. Свободных много еще мест для одиноких и для тех, кто одиночеству вдвоем, где веет благоухание тихих морей.

Еще свободной стоит для великих душ свободная жизнь. Поистине, кто обладает малым, тот будет тем меньше обладать: хвала малой бедности!

Там, где кончается государство, и начинается человек, не являющийся лишним: там начинается песнь необходимых, мелодия, единожды существующая и невозвратная.

Туда, где *кончается* государство, — туда смотрите, братья мои! Разве вы не видите радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку? —

Так говорил Заратустра.

## О базарных мухах

Беги, мой друг, в свое уединение! Я вижу, ты оглушен шумом великих людей и исколот жалами маленьких.

С достоинством умеют лес и скалы хранить молчание вместе с тобою. Опять уподобясь твоему любимому дереву с раскинутыми ветвями: тихо, прислушиваясь, склонилось оно над морем.

Где кончается уединение, там начинается базар; и где начинается базар, начинается и шум великих комедиантов, и жужжанье ядовитых мух.

В мире самые лучшие вещи ничего еще не стоят, если никто не представляет их; великими людьми называет народ этих представителей.

Плохо понимает народ великое, то есть творящее. Но любит он всех представителей и актеров великого.

Вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир — незримо вращается он. Но вокруг комедиантов вращается народ и слава — таков порядок мира.

У комедианта есть дух, но мало совести духа. Всегда верит он в то, чем он заставляет верить сильнее всего, — верить *в себя самого!*

Завтра у него новая вера, а послезавтра — еще более новая. Чувства его быстры, как народ, и настроения переменчивы.

Опрокинуть — называется у него: доказать. Сделать сумасшедшим — называется у него: убедить. А кровь для него лучшее из всех оснований.

Истину, проскальзывающую только в тонкие уши, называет он ложью и ничем. Поистине, он верит только в таких богов, которые производят в мире много шума!

Базар полон праздничными скоморохами — и народ хвалится своими великими людьми! Для него они — господа минуты.

Но минута настойчиво торопит их: оттого и они торопят тебя. И от тебя хотят они услышать Да или Нет. Горе, ты хочешь сесть между двух стульев?

Не завидуй этим безусловным, настойчиво торопящим, ты, любитель истины! Никогда еще истина не повисала на руке безусловного.

От этих стремительных удались в безопасность: лишь на базаре нападают с вопросом: да или нет?

Медленно течет жизнь всех глубоких родников: долго должны они ждать, прежде чем узнают, что упало в их глубину.

В сторону от базара и славы уходит все великое: в стороне от базара и славы жили издавна изобретатели новых ценностей.

Беги, мой друг, в свое уединение: я вижу тебя искусанным ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый, свежий воздух!

Беги в свое уединение! Ты жил слишком близко к маленьким, жалким людям. Беги от их невидимого мщенья! В отношении тебя они только мщение.

Не поднимай руки против них! Они — бесчисленны, и не твое назначение быть махакой от мух.

Бесчисленны эти маленькие, жалкие люди; и не одному уже гордому зданию дождевые капли и плеве́лы послужили к гибели.

Ты не камень, но ты стал уже впа́лым от множества капель. Ты будешь еще изломан и растрескаешься от множества капель.

Усталым вижу я тебя от ядовитых мух, исцарапанным в кровь вижу я тебя в сотнях мест; и твоя гордость не хочет даже возмущаться.

Крови твоей хотели бы они при всей невинности, крови жаждут их бескровные души — и потому они кусают со всей невинностью.

Но ты глубокий, ты страдаешь слишком глубоко даже от малых ран; и прежде чем ты излечивался, такой же ядовитый червь уже полз по твоей руке.

Ты кажешься мне слишком гордым, чтобы убивать этих лакомок. Но берегись, чтобы не стало твоим назначением выносить их ядовитое насилие!

Они жужжат вокруг тебя со своей похвалой: навязчивость — их похвала. Они хотят близости твоей кожи и твоей крови.

Они льстят тебе, как богу или дьяволу; они визжат перед тобою, как перед богом или дьяволом. Ну что ж! Они — льстецы и визгуны, и ничего более.

Также бывают они часто любезны с тобою. Но это всегда было хитростью трусливых. Да, трусы хитры!

Они много думают о тебе своей узкой душою — подозрительным кажешься ты им всегда! Все, о чем много думают, становится подозрительным.

Они наказывают тебя за все твои добродетели. Они вполне прощают тебе только — твои ошибки.

Потому что ты кроток и справедлив, ты говоришь: «Невиновны они в своем маленьком существовании». Но их узкая душа думает: «Виновно всякое великое существование».

Даже когда ты снисходителен к ним, они все-таки чувствуют, что ты презираешь их; и они возвращают тебе твое благодеяние скрытыми злодеяниями.

Твоя гордость без слов всегда противоречит их вкусу; они громко радуются, когда ты бываешь достаточно скромн, чтобы быть тщеславным.

То, что мы узнаем в человеке, воспламеняем мы в нем. Остерегайся же маленьких людей!

Перед тобою чувствуют они себя маленькими, и их низость тлеет и разгорается против тебя в невидимое мщение.

Разве ты не замечал, как часто умолкали они, когда ты подходил к ним, и как сила их покидала их, как дым покидает угасающий огонь?

Да, мой друг, укором совести являешься ты для своих ближних: ибо они недостойны тебя. И они ненавидят тебя и охотно сосали бы твою кровь.

Твои ближние будут всегда ядовитыми мухами; то, что есть в тебе великого, — должно делать их еще более ядовитыми и еще более похожими на мух.

Беги, мой друг, в свое уединение, туда, где веет суровый, свежий воздух! Не твое назначение быть махалкой от мух. —

Так говорил Заратустра.

## О целомудрии

Я люблю лес. В городах трудно жить: там слишком много похотливых людей.

Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем в мечты похотливой женщины?

И посмотрите на этих мужчин: их глаза говорят — они не знают ничего лучшего на земле, как лежать с женщиной.

Грязь на дне их души; и горе, если у грязи их есть еще дух!





*Твои ближние будут всегда ядовитыми мухами...*



О, если бы вы совершенны были, по крайней мере как звери! Но зверям принадлежит невинность.

Разве я советую вам убивать свои чувства? Я советую вам невинность чувств.

Разве целомудрие я советую вам? У иных целомудрие есть добродетель, но у многих почти что порок.

Они, быть может, воздерживаются — но сука-чувственность проглядывает с завистью во всем, что они делают.

Даже до высот их добродетели и вплоть до сурового духа их следует за ними это животное и его смута.

И как ловко умеет сука-чувственность молить о куске духа, когда ей отказывают в куске тела!

Вы любите трагедии и все, что раздирает сердце? Но я отношусь недоверчиво к вашей суке.

У вас слишком жестокие глаза, и вы похотливо смотрите на страдающих. Не переоделось ли только ваше сладострастие и теперь называется состраданием!

И это знамение даю я вам: многие желавшие изгнать своего дьявола сами вошли при этом в свиней.

Кому тягостно целомудрие, тому надо его отсоветовать: чтобы не сделалось оно путем в преисподнюю, то есть грязью и похотью души.

Разве я говорю о грязных вещах? По-моему, это не есть еще худшее.

Познающий не любит погружаться в воду истины не тогда, когда она грязна, но когда она мелкая.

Поистине, есть целомудренные до глубины души: они более кротки сердцем, они смеются охотнее и больше, чем вы.

Они смеются также и над целомудрием и спрашивают: «Что такое целомудрие?

Целомудрие не есть ли безумие? Но это безумие пришло к нам, а не мы к нему.

Мы предложили этому гостю приют и сердце: теперь он живет у нас — пусть остается, сколько хочет!»

Так говорил Заратустра.

## О друге

«Всегда быть одному слишком много для меня» — так думает отшельник. «Всегда один и один — это дает со временем двух».

*Я и меня* всегда слишком усердствуют в разговоре; как вынести это, если бы не было друга?

Всегда для отшельника друг является третьим: третий — это пробка, мешающая разговору двух опуститься в бездонную глубину.

Ах, существует слишком много бездонных глубин для всех отшельников! Поэтому так страстно жаждут они друга и высоты его.

Наша вера в других выдает, где мы охотно хотели бы верить в самих себя. Наша тоска по другу является нашим предателем.

И часто с помощью любви хотят лишь перескочить через зависть. Часто нападают и создают себе врагов, чтобы скрыть, что и на тебя могут напасть.



*Всегда для отшельника друг является третьим: третий — это пробка,  
мешающая разговору двух опуститься в бездонную глубь*

«Будь хотя бы моим врагом!» — так говорит истинное почитание, которое не осмеливается просить о дружбе.

Если ты хочешь иметь друга, ты должен вести войну за него; а чтобы вести войну, надо *уметь* быть врагом.

Ты должен в своем друге уважать еще врага. Разве ты можешь близко подойти к своему другу и не перейти к нему?

В своем друге ты должен иметь своего лучшего врага. Ты должен быть к нему ближе всего сердцем, когда ты противишься ему.

Ты не хочешь перед другом своим носить одежды? Для твоего друга должно быть честью, что ты даешь ему себя, каков ты есть? Но он за это посылает тебя к черту!

Кто не скрывает себя, возмущает этим других: так много имеее вы оснований бояться наготы! Да, если бы вы были богами, вы могли бы стыдиться своих одежд!

Ты не можешь для своего друга достаточно хорошо нарядиться: ибо ты должен быть для него стрелою и тоскою по сверхчеловеку.

Видел ли ты своего друга спящим, чтобы знать, как он выглядит? Что такое лицо твоего друга? Оно — твое собственное лицо на грубом, несовершенном зеркале.

Видел ли ты своего друга спящим? Испугался ли ты, что так выглядит твой друг? О мой друг, человек есть нечто, что должно превзойти.

Мастером в угадывании и молчании должен быть друг: не всего следует тебе помогаться взглядом. Твой сон должен выдать тебе, что делает твой друг, когда бодрствует.

Пусть будет твое сострадание угадыванием: ты должен сперва узнать, хочет ли твой друг сострадания. Быть может, он любит в тебе несокрушенный взор и взгляд вечности.

Пусть будет сострадание к другу сокрыто под твердой корой, на ней должен ты изгрызть себе зубы. Тогда оно будет иметь свою тонкость и сладость.

Являешься ли ты чистым воздухом, и одиночеством, и хлебом, и лекарством для своего друга? Иной не может избавиться от своих собственных цепей, но является избавителем для друга.

Не раб ли ты? Тогда ты не можешь быть другом. Не тиран ли ты? Тогда ты не можешь иметь друзей.

Слишком долго в женщине были скрыты раб и тиран. Поэтому женщина не способна еще к дружбе: она знает только любовь.

В любви женщины есть несправедливость и слепота ко всему, чего она не любит. Но и в знаемой любви женщины есть всегда еще внезапность, и молния, и ночь рядом со светом.

Еще не способна женщина к дружбе: женщины все еще кошки и птицы. Или, в лучшем случае, коровы.

Еще не способна женщина к дружбе. Но скажите мне вы, мужчины, кто же среди вас способен к дружбе?

О мужчины, ваша бедность и ваша скупость души! Сколько даете вы другу, столько даю я даже своему врагу и не становлюсь от того беднее.

Существует товарищество; пусть будет и дружба!

Так говорил Заратустра.

### О тысяче и одной цели

Много стран видел Заратустра и много народов — так открыл он добро и зло многих народов. Больше власти не нашел Заратустра на земле, чем добро и зло.

Ни один народ не мог бы жить, не сделав сперва оценки: если хочет он сохранить себя, он не должен оценивать так, как оценивает сосед.

Многое, что у одного народа называлось добром, у другого называлось глумлением и позором — так нашел я. Многое, что нашел я, здесь называлось злом, а там украшалось пурпурной мантией почести.

Никогда один сосед не понимал другого: всегда удивлялась душа его безумству и злобе соседа.

Скрижаль добра висит над каждым народом. Взгляни, это скрижаль преодоления; взгляни, это голос воли его к власти.

Похвально то, что кажется ему трудным; все неизбежное и трудное называет он добром; а то, что еще освобождает от величайшей нужды, — редкое и самое трудное — зовет он священным.

Все способствующее тому, что он господствует, побеждает и блещит на страх и зависть своему соседу, — все это означает для него высоту, начало, мерило и смысл всех вещей.

Поистине, брат мой, если узнал ты потребность народа, и страну, и небо, и соседа его, ты, несомненно, угадал и закон его преодоления, и почему он восходит по этой лестнице к своей надежде.

«Всегда ты должен быть первым и стоять впереди других; никого не должна любить твоя ревнивая душа, кроме друга» — слова эти заставляли дрожать душу грека; и шел он своей стезею величия.

«Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелою» казалось в одно и то же время и мило и тяжело тому народу, от которого идет имя мое, — имя, которое для меня в одно и то же время и мило и тяжело.

«Чтить отца и мать и до глубины души служить воле их» — эту скрижаль преодоления навесил на себя другой народ и стал чрез это могучим и вечным.

«Соблюдать верность и ради верности полагать честь и кровь даже на дурные и опасные дела» — так поучаясь, преодолевал себя другой народ, и, так преодолевая себя, стал он чреват великими надеждами.

Поистине, люди дали себе все добро и все зло свое. Поистине, они не заимствовали и не находили его, оно не упало к ним, как глас с небес.

Человек сперва вкладывал ценности в вещи, чтобы сохранить себя, — он создал сперва смысл вещам, человеческий смысл! Поэтому называет он себя «человеком», то есть оценивающим.

Оценивать — значит созидать: слушайте, вы, созидающие! Оценивать — это драгоценность и жемчужина всех оцененных вещей.

Через оценку впервые является ценность; и без оценки был бы пуст орех бытия. Слушайте, вы, созидающие!

Перемена ценностей — это перемена созидающих. Постоянно уничтожает тот, кто должен быть созидателем.

Созидающими были сперва народы и лишь позднее отдельные личности; поистине, сама отдельная личность есть еще самое юное из творений.

Народы некогда наносили на себя скрижаль добра. Любовь, желающая господствовать, и любовь, желающая повиноваться, вместе создали себе эти скрижали.



Тяга к стаду старше происхождением, чем тяга к Я; и откуда чистая совесть имеет стадо, лишь нечистая совесть говорит: Я.

Поистине, лукавое Я, лишенное любви, ищущее своей пользы в пользе многих, — это не начало стада, а гибель его.

Любящие были всегда и созидателями, они создали добро и зло. Огонь любви и огонь гнева горит на именах всех добродетелей.

Много стран видел Заратустра и много народов; большей власти не нашел Заратустра на земле, чем дела любящих: «добро» и «зло» — имя их.

Поистине, чудовищем является власть этих похвал и этой хулы. Скажите, братья, кто победит его мне? Скажите, кто набросит этому зверю цепь на тысячу голов?

Тысяча целей существовала до сих пор, ибо существовала тысяча народов. Недостает еще только цепи для тысячи голов, недостает единой цели. Еще у человечества нет цели.

Но скажите же мне, братья мои: если человечеству недостает еще цели, то, быть может, недостает еще и его самого? —

Так говорил Заратустра.

## О любви к ближнему

Вы жметесь к ближнему, и для этого есть у вас прекрасные слова. Но я говорю вам: ваша любовь к ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе.

Вы бежите к ближнему от самих себя и хотели бы из этого сделать себе добродетель; но я насквозь вижу ваше «бескорыстие».

Ты старше, чем Я; Ты признано священным, но еще не Я: оттого жметя человек к ближнему.

Разве я советую вам любовь к ближнему? Скорее я советую вам бежать от ближнего и любить дальнего!

Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему; выше еще, чем любовь к человеку, ставлю я любовь к вещам и призракам.

Этот призрак, витающий перед тобою, брат мой, прекраснее тебя; почему же не отдаешь ты ему свою плоть и свои кости? Но ты страшишься и бежишь к своему ближнему.

Вы не выносите самих себя и недостаточно себя любите; и вот вы хотели бы соблазнить ближнего на любовь и позолотить себя его заблуждением.

Я хотел бы, чтобы все ближние и соседи их стали для вас невыносимы; тогда вы должны бы были из самих себя создать своего друга с переполненным сердцем его.

Вы приглашаете свидетеля, когда хотите хвалить себя; и когда вы склонили его хорошо думать о вас, сами вы хорошо думаете о себе.

Лжет не только тот, кто говорит вопреки своему знанию, но еще больше тот, кто говорит вопреки своему незнанию. Именно так говорите вы о себе при общении с другими и обманываете соседа насчет себя.

Так говорит глупец: «Общение с людьми портит характер, особенно когда нет его».

Один идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой — потому что он хотел бы потерять себя. Ваша дурная любовь к самим себе делает для вас из одиночества тюрьму.

Дальние оплачивают вашу любовь к ближнему; и если вы соберетесь впятером, шестой должен всегда умереть.

Я не люблю ваших празднеств; слишком много лицедеев находил я там, и даже зрители вели себя часто как лицедеи.

Не о ближнем учу я вас, но о друге. Пусть друг будет для вас праздником земли и предчувствием сверхчеловека.

Я учу вас о друге и переполненном сердце его. Но надо уметь быть губкою, если хочешь быть любимым переполненными сердцами.

Я учу вас о друге, в котором мир предстоит завершенным, как чаша добра, — о созидающем друге, всегда готовом подарить завершенный мир.

И как мир развернулся для него, так опять он свертывается вместе с ним, подобно становлению добра и зла, подобно становлению цели из случая.

Будущее и самое дальнее пусть будет причиною твоего сегодня: в своем друге ты должен любить сверхчеловека как свою причину.

Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам — я советую вам любовь к дальнему.

Так говорил Заратустра.

## О пути созидающего

Ты хочешь, брат мой, идти в уединение? Ты хочешь искать дороги к самому себе? Помедли еще немного и выслушай меня.

«Кто ищет, легко сам теряется. Всякое уединение есть грех» — так говорит стадо. И ты долго принадлежал к стаду.

Голос стада будет звучать еще и в тебе! И когда ты скажешь: «у меня уже не одна совесть с вами», — это будет жалобой и страданием.

Смотри, само это страдание породила еще *единая* совесть: и последнее мерцание этой совести горит еще на твоей печали.

Но ты хочешь следовать голосу своей печали, который есть путь к самому себе? Покажи же мне на это свое право и свою силу!

Являешь ли ты собой новую силу и новое право? Начальное движение? Самокачающееся колесо? Можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг себя?

Ах, так много вождедеющих о высоте! Так много видишь судорог честолюбия! Докажи мне, что ты не из вождедеющих и не из честолюбцев!

Ах, как много есть великих мыслей, от которых проку не более, чем от воздухоудвки: они надувают и делают еще более пустым.

Свободным называешь ты себя? Твою господствующую мысль хочю я слышать, а не то, что ты сбросил ярмо с себя.

Из тех ли ты, что *имеют право* сбросить ярмо с себя? Таких не мало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от рабства.

Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный *для чего?*

Можешь ли ты дать себе свое добро и свое зло и навесить на себя свою волю, как закон? Можешь ли ты быть сам своим судьей и мстителем своего закона?

Ужасно быть лицом к лицу с судьей и мстителем собственного закона. Так бывает брошена звезда в пустое пространство и в ледяное дыхание одиночества.

Сегодня еще страдаешь ты от множества, ты, одинокий: сегодня еще есть у тебя все твое мужество и твои надежды.

Но когда-нибудь ты устанешь от одиночества, когда-нибудь гордость твоя согнется и твое мужество поколеблется. Когда-нибудь ты воскликнешь: «я одинок!»

Когда-нибудь ты не увидишь более своей высоты, а твое низменное будет слишком близко к тебе; твое возвышенное будет даже пугать тебя, как призрак. Когда-нибудь ты воскликнешь: «Все — ложь!»

Есть чувства, которые грозят убить одинокого; если это им не удастся, они должны сами умереть! Но способен ли ты быть убийцею?

Знаешь ли ты, брат мой, уже слово «презрение»? И муку твоей справедливости — быть справедливым к тем, кто тебя презирает?

Ты принуждаешь многих переменить о тебе мнение — это ставят они тебе в большую вину. Ты близко подходил к ним и все-таки прошел мимо — этого они никогда не простят тебе.

Ты стал выше их; но чем выше ты поднимаешься, тем меньшим кажешься ты в глазах зависти. Но больше всех ненавидят того, кто летает.

«Каким образом хотели вы быть ко мне справедливыми! — должен ты говорить. — Я избираю для себя вашу несправедливость как предназначенный мне удел».

Несправедливость и грязь бросают они вослед одинокому; но, брат мой, если хочешь ты быть звездой, ты должен светить им, несмотря ни на что!

И остерегайся добрых и праведных! Они любят распинать тех, кто изобретает для себя свою собственную добродетель, — они ненавидят одинокого.

Остерегайся также святой простоты! Все для нее нечестиво, что не просто; она любит играть с огнем — костров.

И остерегайся также приступов своей любви! Слишком скоро протягивает одинокий руку тому, кто с ним повстречается.

Иному ты должен подать не руку, а только лапу — и я хочу, чтобы у твоей лапы были когти.

Но самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь всегда ты сам; ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах.

Одинокий, ты идешь дорогою к самому себе! И твоя дорога идет впереди тебя самого и твоих семи дьяволов!

Ты будешь сам для себя и еретиком, и колдуном, и прорицателем, и глупцом, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем.

Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени: как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом!

Одинокий, ты идешь путем созидającego: Бога хочешь ты себе создать из своих семи дьяволов!

Одинокий, ты идешь путем любящего: самого себя любишь ты и потому презираешь ты себя, как презирают только любящие.

Созидать хочет любящий, ибо он презирает! Что знает о любви тот, кто не должен был презирать именно то, что любил он!





*Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени...*



Со своей любовью и своим созиданием иди в свое уединение, брат мой, и только позднее, прихрамывая, последует за тобой справедливость.

С моими слезами иди в свое уединение, брат мой. Я люблю того, кто хочет созидать дальше самого себя и так погибает. —

Так говорил Заратустра.

## О старых и молодых бабенках

«Отчего крадешься ты так робко в сумерках, о Заратустра? И что прячешь ты бережно под своим плащом?

Не сокровище ли, подаренное тебе? Или новорожденное дитя твое? Или теперь ты сам идешь по пути воров, ты, друг злых?» —

— Поистине, брат мой! — отвечал Заратустра. — Это — сокровище, подаренное мне: это маленькая истина, что несу я.

Но она беспокойна, как малое дитя; и если бы я не зажимал ей рта, она кричала бы во все горло.

Когда сегодня я шел один своею дорогой, в час, когда солнце садится, мне повстречалась старушка и так говорила к душе моей:

«О многом уже говорил Заратустра даже нам, женщинам, но никогда не говорил он нам о женщине».

И я возразил ей: «О женщине надо говорить только мужчинам».

«И мне также ты можешь говорить о женщине, — сказала она, — я достаточно стара, чтобы тотчас все позабыть».

И я внял просьбе старушки и так говорил ей:

Все в женщине — загадка, и все в женщине имеет одну разгадку: она называется беременностью.

Мужчина для женщины средство; целью бывает всегда ребенок. Но что же женщина для мужчины?

Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки.

Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина — для отдохновения воина; все остальное — глупость.

Слишком сладких плодов не любит воин. Поэтому любит он женщину; в самой сладкой женщине есть еще горькое.

Лучше мужчины понимает женщина детей, но мужчина больше ребенок, чем женщина.

В настоящем мужчине сокрыто дитя, которое хочет играть. Ну-ка, женщины, найдите дитя в мужчине!

Пусть женщина будет игрушкой, чистой и лучистой, как алмаз, сияющей добродетелями еще не существующего мира.

Пусть луч звезды сияет в вашей любви! Пусть вашей надеждой будет: «о, если бы мне родить сверхчеловека!»

Пусть в вашей любви будет храбрость! Своею любовью должны вы наступать на того, кто внушает вам страх.

Пусть в вашей любви будет ваша честь! Вообще женщина мало понимает в чести.

Но пусть будет ваша честь в том, чтобы всегда больше любить, чем быть любимой, и никогда не быть второй.

Пусть мужчина боится женщины, когда она любит: ибо она приносит любую жертву и всякая другая вещь не имеет для нее цены.

Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит: ибо мужчина в глубине души только зол, а женщина еще дурна.

Кого ненавидит женщина больше всего? — Так говорило железо магниту: «я ненавижу тебя больше всего, потому что ты притягиваешь, но недостаточно силен, чтобы перетянуть к себе».

Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет.

«Смотри, теперь только стал мир совершенен!» — так думает каждая женщина, когда она повинуетя от всей любви.

И повиноваться должна женщина, и найти глубину к своей поверхности. Поверхность — душа женщины, подвижная, бурливая пленка на мелкой воде.

Но душа мужчины глубока, ее бурный поток шумит в подземных пещерах; женщина чувствует его силу, но не понимает ее. —

Тогда возразила мне старушка: «Много любезного сказал Заратустра, и особенно для тех, кто достаточно молод для этого.

Странно, Заратустра знает мало женщин, и, однако, он прав относительно их. Не потому ли это происходит, что у женщины нет ничего невозможного?

А теперь в благодарность прими маленькую истину! Я достаточно стара для нее!

Заверни ее хорошенько и зажми ей рот: иначе она будет кричать во все горло, эта маленькая истина».

«Дай мне, женщина, твою маленькую истину!» — сказал я. И так говорила старушка:

«Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!» —

Так говорил Заратустра.

## Об укусе змеи

Однажды Заратустра заснул под смоковницей, ибо было жарко, и положил руку на лицо свое. Но приползла змея и укусила его в шею, так что Заратустра вскрикнул от боли. Отняв руку от лица, он посмотрел на змею; тогда узнала она глаза Заратустры, неуклюже отвернулась и хотела уползти. «Погоди, — сказал Заратустра, — я еще не поблагодарил тебя! Ты разбудила меня кстати, мой путь еще долог». «Твой путь уже короток, — ответила печально змея, — мой яд убивает». Заратустра улыбнулся. «Когда же дракон умирал от яда змеи? — сказал он. — Но возьми обратно свой яд! Ты недостаточно богата, чтобы дарить мне его». Тогда змея снова обвилась вокруг его шеи и начала лизать его рану.

Когда Заратустра однажды рассказал это ученикам своим, они спросили: «В чем же мораль рассказа твоего, о Заратустра?» Заратустра так отвечал на это:

— Разрушителем морали называют меня добрые и праведные: мой рассказ неморален.

Если есть враг у вас, не платите ему за зло добром: ибо это пристыдило бы его. Напротив, докажите ему, что он сделал для вас нечто доброе.

И лучше сердитесь, но не стыдите! И когда проклинают вас, мне не нравится, что вы хотите благословить проклинающих. Лучше прокляните и вы немного!

И если случилась с вами большая несправедливость, скорей сделайте пять малых несправедливостей! Ужасно смотреть, когда кого-нибудь одного давит несправедливость.

Разве вы уже знали это? Разделенная с другими несправедливость есть уже половина справедливости. И тот должен взять на себя несправедливость, кто может нести ее!

Маленькое мщение более гуманно, чем отсутствие всякой мести. И если наказание не есть также право и честь для нарушителя, то я не хочу ваших наказаний.

Благороднее считать себя неправым, чем оказаться правым, особенно если ты прав. Только для этого надо быть достаточно богатым.

Я не люблю вашей холодной справедливости; во взоре ваших судей видится мне всегда палач и его холодный нож.

Скажите, где находится справедливость, которая есть любовь с ясновидящими глазами?

Найдите же мне любовь, которая несет не только всякое наказание, но и всякую вину!

Найдите же мне справедливость, которая оправдывает всякого, кроме того, кто судит!

Хотите ли вы слышать еще и это? У того, кто хочет быть совсем справедливым, даже ложь обращается в любовь к человеку.

Но как мог бы я быть совсем справедливым! Как мог бы я каждому воздать свое! С меня достаточно, если каждому отдаю я мое.

Наконец, братья мои, остерегайтесь быть несправедливыми к отшельникам! Как мог бы отшельник забыть! Как мог бы он отплатить!

На глубокий родник похож отшельник. Легко бросить камень в него; но если упал он на самое дно, скажите, кто захочет снова достать его?

Остерегайтесь обидеть отшельника! Но если вы это сделали, то уж и убейте его!

Так говорил Заратустра.

## О ребенке и браке

Есть у меня вопрос к тебе, брат мой; точно некий лот, бросаю я этот вопрос в твою душу, чтобы знать, как глубока она.

Ты молод и желаешь ребенка и брака. Но я спрашиваю тебя: настолько ли ты человек, чтобы *иметь право* желать ребенка?

Победитель ли ты, преодолел ли ты себя самого, повелитель ли чувств, господин ли своих добродетелей? Так спрашиваю я тебя.

Или в твоём желании говорят зверь и потребность? Или одиночество? Или разлад с самим собою?

Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода страстно желали ребенка. Живые памятники должен ты строить своей победе и своему освобождению.

Дальше себя должен ты строить. Но сперва ты должен сам быть построен прямоугольно в отношении тела и души.



*Если есть враг у вас, не платите ему за зло добром: ибо это пристыдило бы его.  
Напротив, докажите ему, что он сделал для вас нечто доброе*



Не только вширь должен ты расти, но и ввысь! Да поможет тебе в этом сад супружества!

Высшее тело должен ты создать, начальное движение, самокатящееся колесо — созидającego должен ты создать.

Брак — так называю я волю двух создать одного, который больше создавших его. Глубокое уважение друг перед другом называю я браком, как перед хотящими одной и той же воли.

Да будет это смыслом и правдой твоего брака. Но то, что называют браком многое множество, эти лишние, — ах, как назову я его?

Ах, эта бедность души вдвоем! Ах, эта грязь души вдвоем! Ах, это жалкое довольство собою вдвоем!

Браком называют они все это; и они говорят, будто браки их заключены на небе.

Ну что ж, я не хочу этого неба лишних людей! Нет, не надо мне их, этих спутанных небесною сетью зверей!

Пусть подальше останется от меня Бог, который, прихрамывая, идет благословлять то, чего он не соединял!

Не смейтесь над этими браками! У какого ребенка нет оснований плакать из-за своих родителей?

Достойным казался мне этот человек и созревшим для смысла земли; но когда я увидел его жену, земля показалась мне домом для умалишенных.

Да, я хотел бы, чтобы земля дрожала в судорогах, когда святой сочетается с гусыней.

Один вышел, как герой, искать истины, а в конце добыл он себе маленькую наряженную ложь. Своим браком называет он это.

Другой был требователен в общении и разборчив в выборе. Но одним разом испортил он на все разы свое общество: своим браком называет он это.

Третий искал служанки с добродетелями ангела. Но одним разом стал он служанкою женщины, и теперь ему самому надо бы стать ангелом.

Осторожными находил я всех покупателей, и у всех у них были хитрые глаза. Но жену себе даже хитрейший из них умудряется купить в мешке.

Много коротких безумств — это называется у вас любовью. И ваш брак, как одна длинная глупость, кладет конец многим коротким безумствам.

Ваша любовь к жене и любовь жены к мужу — ах, если бы могла она быть жалостью к страдающим и сокрытым богам! Но почти всегда два животных угадывают друг друга.

И даже ваша лучшая любовь есть только восторженный символ и болезненный пыл. Любовь — это факел, который должен светить вам на высших путях.

Когда-нибудь вы должны будете любить дальше себя! Начните же *учиться* любить! И оттого вы должны были испить горькую чашу вашей любви.

Горечь содержится в чаше даже лучшей любви: так возбуждает она тоску по сверхчеловеку, так возбуждает она жажду в тебе, созидающем!

Жажду в созидающем, стрелу и тоску по сверхчеловеку — скажи, брат мой, такова ли твоя воля к браку?

Священны для меня такая воля и такой брак. —

Так говорил Заратустра.

## О свободной смерти

Многие умирают слишком поздно, а некоторые — слишком рано. Еще странно звучит учение: «умри вовремя!»

Умри вовремя — так учит Заратустра.

Конечно, кто никогда не жил вовремя, как мог бы он умереть вовремя? Ему бы лучше никогда не родиться! — Так советую я лишним людям.

Но даже лишние люди важничают еще своею смертью, и даже самый пустой орех хочет еще, чтобы его разгрызли.

Серьезно относятся все к смерти; но смерть не есть еще праздник. Еще не научились люди чтить самые светлые праздники.

Совершенную смерть показываю я вам; она для живущих становится жалом и священным обетом.

Своею смертью умирает совершивший свой путь, умирает победоносно, окруженный теми, кто надеются и дают священный обет.

Следовало бы научиться умирать; и не должно быть праздника там, где такой умирающий не освятил клятвы живущих!

Так умереть — лучше всего; а второе — умереть в борьбе и растратить великую душу.

Но как борющемуся, так и победителю одинаково ненавистна ваша смерть, которая скалит зубы и крадется, как вор, — и, однако, входит, как повелитель.

Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, потому что я хочу.

И когда же захочу я? — У кого есть цель и наследник, тот хочет смерти вовремя для цели и наследника.

Из глубокого уважения к цели и наследнику не повесит он сухих венков в святилище жизни.

Поистине, не хочу я походить на тех, кто сучит веревку: они тянут свои нити в длину, а сами при этом все пьются.

Иные становятся для своих истин и побед слишком стары; беззубый рот не имеет уже права на все истины.

И каждый желающий славы должен уметь вовремя проститься с почестью и знать трудное искусство — уйти вовремя.

Надо перестать позволять себя есть, когда находят тебя особенно вкусным, — это знают те, кто хотят, чтобы их долго любили.

Есть, конечно, кислые яблоки, участь которых — ждать до последнего дня осени; и в то же время становятся они спелыми, желтыми и сморщенными.

У одних сперва стареет сердце, у других — ум. Иные бывают стариками в юности; но кто поздно юн, тот надолго юн.

Иному не удастся жизнь: ядовитый червь гложет ему сердце. Пусть же постареется он, чтобы тем лучше удалась ему смерть.

Иной не бывает никогда сладким: он гниет еще летом. Одна трусость удерживает его на его суку.

Живут слишком многие, и слишком долго висят они на своих сучьях. Пусть же придет буря и стряхнет с дерева все гнилое и червивое!

О, если бы пришли проповедники *скорой* смерти! Они были бы настоящей бурей и сотрясли бы деревья жизни! Но я слышу только проповедь медленной смерти и терпения ко всему «земному».

Ах, вы проповедуете терпение ко всему земному? Но это земное слишком долго терпит вас, вы, злословцы!

Поистине, слишком рано умер тот иудей, которого чтут проповедники медленной смерти; и для многих стало с тех пор роковым, что умер он слишком рано.

Он знал только слезы и скорбь иудея, вместе с ненавистью добрых и праведных — этот иудей Иисус; тогда напала на него тоска по смерти.

Зачем не остался он в пустыне и вдали от добрых и праведных! Быть может, он научился бы жить и научился бы любить землю — и вместе с тем смеяться.

Верьте мне, братья мои! Он умер слишком рано; он сам отрекся бы от своего учения, если бы он достиг моего возраста! Достаточно благороден был он, чтобы отречься!

Но незрелым был он еще. Незрело любит юноша, и незрело ненавидит он человека и землю. Еще связаны и тяжелы у него душа и крылья мысли.

Но зрелый муж больше ребенок, чем юноша, и меньше скорби в нем: лучше понимает он смерть и жизнь.

Свободный к смерти и свободный в смерти, он говорит священное Нет, когда нет уже времени говорить Да: так понимает он смерть и жизнь.

Да не будет ваша смерть хулою на человека и землю, друзья мои: этого прошу я у меда вашей души.

В вашей смерти должны еще гореть ваш дух и ваша добродетель, как вечерняя заря горит на земле, — или смерть плохо удалась вам.

Так хочу я сам умереть, чтобы вы, друзья, ради меня еще больше любили землю; и в землю хочу я опять обратиться, чтобы найти отдых у той, что меня родила.

Поистине, была цель у Заратустры, он бросил свой мяч; теперь будьте вы, друзья, наследниками моей цели, для вас закидываю я золотой мяч.

Больше всего люблю я смотреть на вас, друзья мои, когда вы бросаете золотой мяч! Оттого я простыну еще немного на земле; простите мне это!

Так говорил Заратустра.

## О дарящей добродетели

### 1

Когда Заратустра простился с городом, который любило сердце его и имя которого было «Пестрая корова», последовали за ним многие, называвшие себя его учениками, и составили свиту его. И так дошли они до перекрестка; тогда Заратустра сказал им, что дальше он хочет идти один: ибо он любил ходить в одиночестве. Но ученики его на прощанье подали ему посох, на золотой ручке которого была змея, обвившаяся вокруг солнца. Заратустра обрадовался посоху и оперся на него; потом он так говорил к своим ученикам:

— Скажите же мне: как достигло золото высшей ценности? Тем, что оно необыкновенно и бесполезно, блестяще и кротко в своем блеске; оно всегда дарит себя.

Только как символ высшей добродетели достигло золото высшей ценности. Как золото, светится взор у дарящего. Блеск золота заключает мир между луною и солнцем.

Необыкновенна и бесполезна высшая добродетель, блестяща и кротка она в своем блеске: дарящая добродетель есть высшая добродетель.



*Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне,  
потому что я хочу*



Поистине, я угадываю вас, ученики мои: вы стремитесь, подобно мне, к дарящей добродетели. Что у вас общего с кошками и волками?

Ваша жажда в том, чтобы самим стать жертвою и даянием; потому вы и жаждете собрать все богатства в своей душе.

Ненасытно стремится ваша душа к сокровищам и всему драгоценному, ибо ненасытна ваша добродетель в желании дарить.

Вы принуждаете все вещи приблизиться к вам и войти в вас, чтобы обратно изливались они из вашего родника, как дары вашей любви.

Поистине, в грабителя всех ценностей должна обратиться такая дарящая любовь; но здоровым и священным называю я это себялюбие. —

Есть другое себялюбие, чересчур бедное и голодающее, которое всегда хочет красть, — себялюбие больных, болезненное себялюбие.

Воровским глазом смотрит оно на все блестящее; алчностью голода измеряет оно того, кто может богато есть; и всегда ползает оно вокруг стола дарящих.

Болезнь и невидимое вырождение говорят в этой алчности; о чахлом теле говорит воровская алчность этого эгоизма.

Скажите мне, братья мои: что считается у нас худым и наихудшим? Не есть ли это *вырождение*? — И мы угадываем всегда вырождение там, где нет дарящей души.

Вверх идет наш путь, от рода к другому роду, более высокому. Но ужасом является для нас вырождающееся чувство, которое говорит: «все для меня».

Вверх летит наше чувство: ибо оно есть символ нашего тела, символ возвышения. Символ этих возвышений суть имена добродетелей.

Так проходит тело через историю, становящееся и борющееся.

А дух — что он для тела? Глашатай его битв и побед, товарищ и отголосок.

Символы все — имена добра и зла: они ничего не выражают, они только подмигивают. Безумец тот, кто требует знания от них.

Будьте внимательны, братья мои, к каждому часу, когда ваш дух хочет говорить в символах: тогда зарождается ваша добродетель,

Тогда возвысилось ваше тело и воскресло; своей отрадою увлекает оно дух, так что он становится творцом, и ценителем, и любящим, и благодетелем всех вещей.

Когда ваше сердце бьется широко и полно, как бурный поток, который есть благо и опасность для живущих на берегу, — тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы возвысились над похвалою и порицанием и ваша воля, как воля любящего, хочет приказывать всем вещам, — тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы презираете удобство и мягкое ложе и можете лечь недостаточно далеко от мягкотелых, — тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы хотите единой воли и эта обходимость всех нужд называется у вас необходимостью, — тогда зарождается ваша добродетель.

Поистине, она есть новое добро и новое зло! Поистине, это — новое глубокое журчание и голос нового ключа!

Властью является эта новая добродетель; господствующей мыслью является она и вокруг нее мудрая душа: золотое солнце и вокруг него змея познания.



*Властью является эта новая добродетель; господствующей мыслью является она  
и вокруг нее мудрая душа: золотое солнце и вокруг него змея познания*

## 2

Здесь Заратустра умолк на минуту и с любовью смотрел на своих учеников. Затем продолжал он так говорить — и голос его изменился:

— Оставайтесь верны земле, братья мои, со всей властью вашей добродетели! Пусть ваша дарящая любовь и ваше познание служат смыслу земли! Об этом прошу и заклинаю я вас.

Не позволяйте вашей добродетели улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! Ах, всегда было так много улетевшей добродетели!

Приводите, как я, улетевшую добродетель обратно к земле, — да, обратно к телу и жизни: чтобы дала она свой смысл земле, смысл человеческий!

Сотни раз улетали и заблуждались до сих пор дух и добродетель. Ах, в вашем теле и теперь еще живет весь этот обман и заблуждение: плотью и волею сделались они.

Сотни раз делали попытку и заблуждались до сих пор как дух, так и добродетель. Да, попыткою был человек. Ах, много невежества и заблуждений сделались в нас плотью!

Не только разум тысячелетий — также безумие их прорывается в нас. Опасно быть наследником.

Еще бoremся мы шаг за шагом с исполином случаем, и над всем человечеством цапила до сих пор еще бессмыслица, бессмыслица.

Да послужат ваш дух и ваша добродетель, братья мои, смыслу земли: ценность всех вещей да будет вновь установлена вами!

Поэтому вы должны быть борющимися! Поэтому вы должны быть созидателями!

Познавая, очищается тело; делая попытку к познанию, оно возвышается; для познающего священны все побуждения; душа того, кто возвысился, становится радостной.

Врач, исцелись сам, и ты исцелишь также и своего больного. Было бы лучшей помощью для него, чтобы увидел он своими глазами того, кто сам себя исцеляет.

Есть тысячи троп, по которым еще никогда не ходили, тысячи здоровий и скрытых островов жизни. Все еще не исчерпаны и не открыты человек и земля человека.

Бодрствуйте и прислушивайтесь, вы, одинокие! Неслышными взмахами крыльев веют из будущего ветры; и до тонких ушей доходит благая весть.

Вы, сегодня еще одинокие, вы, живущие вдали, вы будете некогда народом: от вас, избравших самих себя, должен произойти народ избранный и от него — сверхчеловек.

Поистине, местом выздоровления должна еще стать земля! И уже веет вокруг нее новым благоуханием, приносящим исцеление, — и новой надеждой!

## 3

Сказав эти слова, Заратустра умолк, как тот, кто не сказал еще своего последнего слова; долго в нерешимости держал он посох в руке. Наконец так заговорил он — и голос его изменился:

— Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Поистине, я советую вам: уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо оплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником. И почему не хотите вы ошипать венок мой?

Вы уважаете меня; но что будет, если когда-нибудь падет уважение ваше? Берегитесь, чтобы статуя не убила вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре! Вы — верующие в меня; но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие; потому-то всякая вера так мало значит.

Теперь я велю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам.

Поистине, другими глазами, братья мои, я буду тогда искать утерянных мною; другою любовью я буду тогда любить вас.

И некогда вы должны будете еще стать моими друзьями и детьми единой надежды; тогда я захочу в третий раз быть среди нас, чтобы отпраздновать с вами великий полдень.

Великий полдень — когда человек стоит посреди своего пути между животным и сверхчеловеком и празднует свой путь к закату как свою высшую надежду: ибо это есть путь к новому утру.

И тогда заходящий сам благословит себя за то, что был он переходящий; и солнце его познания будет стоять у него на полдне.

*«Умерли все боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек»* — такова должна быть в великий полдень наша последняя воля! —

Так говорил Заратустра.





*«Умерли все боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек» — такова  
должна быть в великий полдень наша последняя воля!*

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

— и только когда вы все  
отречетесь от меня, я вернусь к вам.  
Поистине, другими глазами,  
братья мои, я буду тогда искать  
утерянных мною; другою любовью  
я буду тогда любить вас.

*Заратустра,*  
о дарящей добродетели

### Ребенок с зеркалом

После этого Заратустра опять возвратился в горы, в уединение своей пещеры, и избегал людей, ожидая, подобно сеятелю, посеявшему свое семя. Но душа его была полна нетерпения и тоски по тем, кого он любил: ибо еще многое он имел дать им. А это особенно трудно: из любви сжимать отверстую руку и, как дарящий, хранить стыдливость.

Так проходили у одинокого месяцы и годы; но мудрость его росла и причиняла ему страдание своей полнотою.

Но в одно утро проснулся он еще задолго до зари, долго припоминал что-то, сидя на своем ложе, и наконец заговорил в своем сердце:

«Что же так напугало меня во сне, что я проснулся? Разве не ребенок подходил ко мне, несший зеркало?

«О Заратустра, — сказал мне ребенок, — посмотри на себя в зеркале!»

Посмотрев в зеркало, я вскрикнул, и сердце мое содрогнулось: ибо не себя увидел я в нем, а рожу дьявола и язвительную усмешку его.

Поистине, слишком хорошо понимаю я знамение снов и предостережение их: мое *учение* в опасности, сорная трава хочет называться пшеницею!

Мои враги стали сильны и исказили образ моего учения, так что мои возлюбленные должны стыдиться даров, что дал я им.

Утеряны для меня мои друзья; настал мой час искать утерянных мною!»

С этими словами Заратустра вскочил с ложа, но не как испуганный, ищущий воздуха, а скорее как пророк и песнопевец, на которого снизошел дух. С удивлением смотрели на него его орел и его змея: ибо, подобно утренней заре, грядущее счастье легло на лицо его.

Что же случилось со мной, звери мои? — сказал Заратустра. — Разве я не преобразился? Разве не пришло ко мне блаженство, как бурный вихрь?

Безумно мое счастье, и, безумное, будет оно говорить; слишком оно еще юно — будьте же снисходительны к нему!

Я ранен своим счастьем, все страдающие должны быть моими врачами!

К моим друзьям могу я вновь спуститься, а также к моим врагам! Заратустра вновь может говорить, и дарить, и расточать свою любовь любимым.

Моя нетерпеливая любовь изливается через край в бурных потоках, бежит с высот в долины, на восток и на запад. С молчаливых гор и грозовых туч страдания с шумом спускается моя душа в долины.

Слишком долго тосковал я и смотрел вдаль. Слишком долго принадлежал я одиночеству — так разучился я молчанию.

Я всецело сделался устами и шумом ручья, ниспадающего с высоких скал; вниз, в долины, хочу я низринуть мою речь.

И пусть низринется поток моей любви туда, где нет пути! Как не найти потоку в конце концов дороги к морю!

Правда, есть озеро во мне, отшельническое, себе доверяющее; но поток моей любви мчит его с собою вниз — к морю!

Новыми путями иду я, новая речь приходит ко мне; устал я, подобно всем созидющим, от старых щелкающих языков. Не хочет мой дух больше ходить на истоптанных подошвах.

Слишком медленно течет для меня всякая речь — в твою колесницу я прыгаю, буря! И даже тебя я хочу хлестать своей злобою!

Как крик и как ликование, хочу я мчаться по дальним морям, пока не найду я блаженных островов, где замешкались мои друзья, —

И мои враги между ними! Как люблю я теперь каждого, к кому могу я говорить! Даже мои враги принадлежат к моему блаженству.

И когда я хочу сесть на своего самого дикого коня, мое копье помогает мне всего лучше: оно во всякое время готовый слуга моей ноги —

Копье, что бросаю я в моих врагов! Как благодарю я моих врагов, что я могу наконец метнуть его!

Слишком велико было напряжение моей тучи; среди хохота молний хочу я градом осыпать долины.

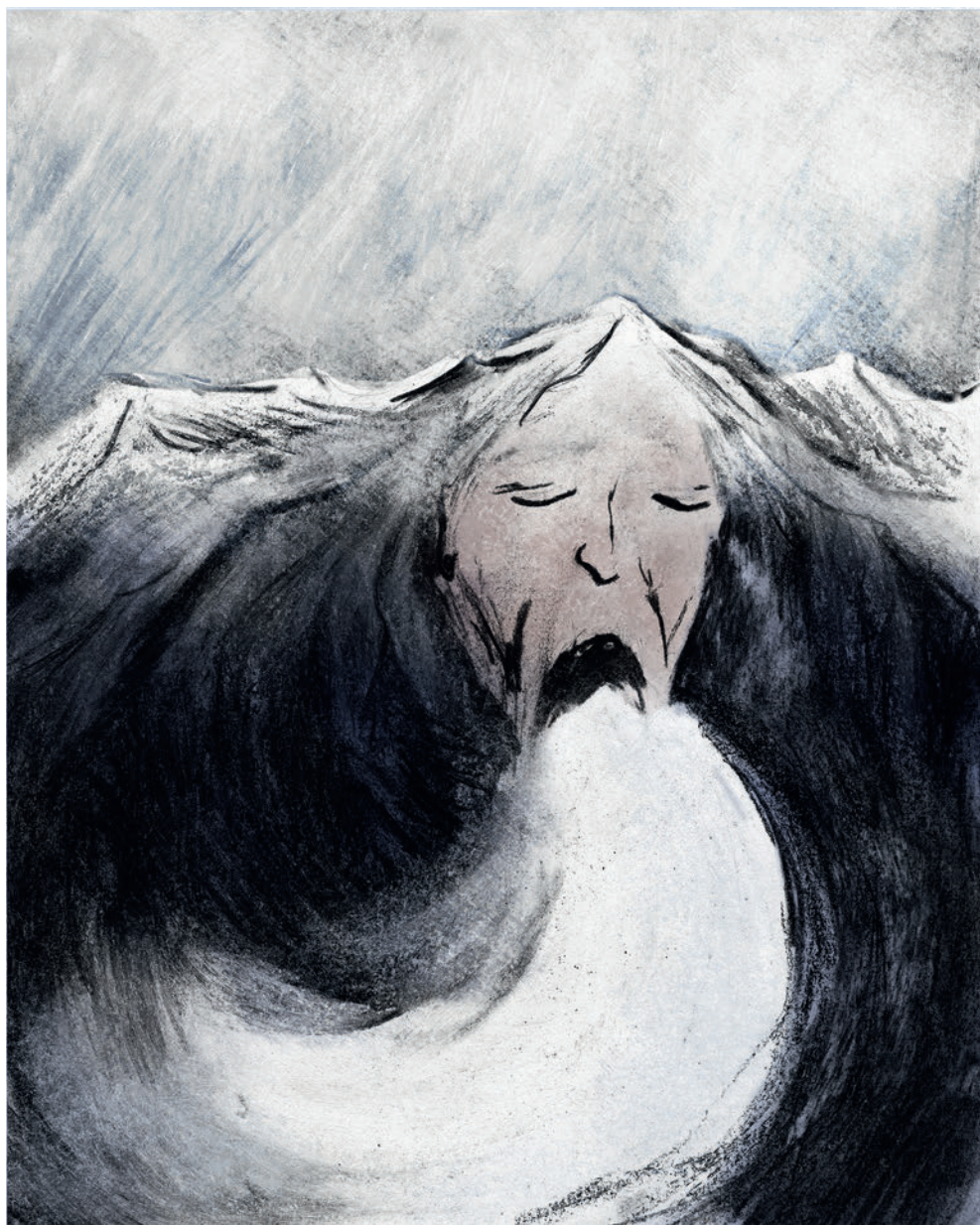
Грозно будет тогда вздыматься моя грудь; грозно, по горам взбушует буря ее — так придет для нее облегчение.

Поистине, как буря, грядет мое счастье и моя свобода! Но мои враги должны думать, что злой дух неистовствует над их головами.

Даже вы, друзья мои, испугаетесь моей дикой мудрости и, быть может, убежите от нее вместе с моими врагами.

Ах, если бы сумел я пастушеской свирелью обратно привлечь вас! Ах, если бы моя львица мудрость научилась нежно рычать! Многому уже учились мы вместе!





*С молчаливых гор и грозовых туч страдания с шумом спускается моя душа  
в долины*



Моя дикая мудрость зачала на одиноких горах; на жестких камнях родила она юное, меньшее из чад своих.

Теперь, безумная, бегает она по суровой пустыне и ищет, все ищет мягкого дерну — моя старая дикая мудрость!

На мягкий дерн ваших сердец, друзья мои! — на вашу любовь хотела бы она уложить свое возлюбленное чадо! —

Так говорил Заратустра.

### На блаженных островах

Плоды падают со смоковниц, они сочны и сладки; и пока они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои; теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо! Осень вокруг нас, и чистое небо, и время после полудня.

Посмотрите, какое обилие вокруг нас! И среди этого преизбытка хорошо смотреть на дальние моря.

Некогда говорили: Бог, — когда смотрели на дальние моря; но теперь учил я вас говорить: сверхчеловек.

Бог есть предположение, но я хочу, чтобы ваше предположение простиралось не дальше, чем ваша созидаящая воля.

Могли бы вы *создать* Бога? — Так не говорите же мне о всяких богах! Но вы несомненно могли бы создать сверхчеловека.

Быть может, не вы сами, братья мои! Но вы могли бы пересоздать себя в отцов и предков сверхчеловека; и пусть это будет вашим лучшим созданием!

Бог есть предположение; но я хочу, чтобы ваше предположение было ограничено рамками мыслимого.

Могли бы вы *мыслить* Бога? — Но пусть это означает для вас волю к истине, чтобы все превратилось в человечески мыслимое, человечески видимое, человечески чувствуемое! Ваши собственные чувства должны вы продумать до конца!

И то, что называли вы миром, должно сперва быть создано вами: ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь должны стать им! И поистине, для вашего блаженства, вы, познающие!

И как могли бы вы выносить жизнь без этой надежды, вы, познающие? Вы не должны быть однородны с непостижимым и неразумным.

Но я хочу совсем открыть вам свое сердце, друзья мои: *если бы* существовали боги, как удержался бы я, чтобы не быть богом! *Следовательно*, нет богов.

Правда, я сделал этот вывод; но теперь он выводит меня.

Бог есть предположение; но кто испил бы всю муку этого предположения и не умер бы? Неужели нужно у созидającego отнять его веру и у орла его парение в до-ступной орлам высоте?

Бог есть мысль, которая делает все прямое кривым и все, что стоит, вращающимся. Как? Время исчезло бы, и все преходящее оказалось бы только ложью?

Мыслить подобное — это вихрь и вертячка для костей человеческих и тошнота для желудка; поистине, предположить нечто подобное называю я болезнью верчения.

Злым и враждебным человеку называю я все это учение о едином, полном, неподвижном, сытом и непреходящем!

Все непреходящее есть только символ! И поэты слишком много агут. —

Но о времени и становлении должны говорить лучшие символы: хвалой должны они быть и оправданием всего, что преходит!

Созидать — это великое избавление от страдания и облегчение жизни. Но чтобы быть созидающим, надо подвергнуться страданиям и многим превращениям.

Да, много горького умирания должно быть в вашей жизни, вы, созидающие. Так будьте вы ходатаями и оправдателями всего, что преходит.

Чтобы сам созидающий стал новорожденным, — для этого должен он хотеть быть роженицей и пережить родильные муки.

Поистине, через сотни душ шел я своею дорогою, через сотни колыбелей и родильных мук. Уже много раз я прощался, я знаю последние, разбивающие сердце часы.

Но так хочет моя созидающая воля, моя судьба. Или, говоря вам откровеннее: такой именно судьбы — волит моя воля.

Все чувствующее страдает во мне и находится в темнице; но моя воля всегда приходит ко мне как освободительница и вестница радости.

Воля освобождает: таково истинное учение о воле и свободе — ему учит вас Заратустра.

Не хотеть больше, не ценить больше и не созидать больше! ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем воля к рождению.

Прочь от Бога и богов тянула меня эта воля; и что осталось бы созидать, если бы боги — существовали!

Но всегда к человеку влечет меня сызнова пламенная воля моя к созиданию; так устремляется молот на камень.

Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!

Теперь дико устремляется мой молот на свою тюрьму. От камня летят куски; какое мне дело до этого?

Завершить хочу я этот образ: ибо тень подошла ко мне — самая молчаливая, самая легкая приблизилась ко мне!

Красота сверхчеловека приблизилась ко мне, как тень. Ах, братья мои! Что мне теперь — до богов!

Так говорил Заратустра.

## О сострадательных

Друзья мои! до вашего друга дошли насмешливые слова: «Посмотрите только на Заратустру! Разве не ходит он среди нас, как среди зверей?»

Но было бы лучше так сказать: «Познающий ходит среди людей, *как* среди зверей».

Но сам человек называется у познающего: зверь, имеющий красные щеки.

Откуда у него это имя? Не потому ли, что слишком часто должен был он стыдиться?

О, друзья мои! Так говорит познающий: стыд, стыд, стыд — вот история человека!

И потому благородный предписывает себе не стыдить других: стыд предписывает он себе перед всяким страдающим.

Поистине, не люблю я сострадательных, блаженных в своем сострадании: слишком лишены они стыда.

Если должен я быть сострадательным, все-таки не хочу я называться им; и если я сострадатель, то только издали.

Я люблю скрывать свое лицо и убегая, прежде чем узнан я; так советую я делать и вам, друзья мои!

Пусть моя судьба ведет меня дорогою тех, кто, как вы, всегда свободны от сострадания и с кем я *вправе* делить надежду, пиршество и мед!

Поистине, я делал и то и другое для всех, кто страдает; но мне казалось всегда, что лучше я делал, когда учился больше радоваться.

С тех пор как существуют люди, человек слишком мало радовался; лишь это, братья мои, наш первородный грех!

И когда мы научимся лучше радоваться, тогда мы тем лучше разучимся причинять другим горе и выдумывать его.

Поэтому умываю я руку, помогавшую страдающему, поэтому вытираю я также и душу.

Ибо когда я видел страдающего страдающим, я стыдился его из-за стыда его; и когда я помогал ему, я прохаживался безжалостно по гордости его.

Большие одолжения порождают не благодарных, а мстительных; и если маленькое благодеяние не забывается, оно обращается в гложущего червя.

«Будьте чопорны, когда принимаете что-нибудь! Вознаграждайте дарящего самым фактом того, что вы принимаете!» — так советую я тем, кому нечем отдарить.

Но я из тех, кто дарит: я люблю дарить как друг — друзьям. Но пусть чужие и бедные сами срывают плоды с моего дерева; это менее стыдит их.

Но нищих надо бы совсем уничтожить! Поистине, сердисься, что даешь им, и сердисься, что не даешь им.

И заодно с ними грешников и угрызения совести! Верьте мне, друзья мои: угрызения совести учат грызть.

Но хуже всего мелкие мысли. Поистине, лучше уж совершить злое, чем подумывать мелкое!

Хотя вы говорите: «Радость мелкой злобы бережет нас от крупного злого дела», но здесь не следует быть бережливым.

Злое дело похоже на нарыв: оно зудит, и чешется, и нарывает, — оно говорит откровенно.

«Гляди, я — болезнь» — так говорит злое дело; в этом откровенность его.

Но мелкая мысль похожа на грибок: он и ползет, и прячется, и нигде не хочет быть, пока все тело не будет вялым и дряблым от маленьких грибков.

Но тому, кто одержим чертом, я так говорю на ухо: «Лучше, чтобы ты вырастил своего черта! Даже для тебя существует еще путь величия!» —

Ах, братья мои! О каждом знают слишком много! И многие делаются для нас прозрачными, но от этого мы не можем еще пройти сквозь них.

Трудно жить с людьми, ибо так трудно хранить молчание.

И не к тому, кто противен нам, бываем мы больше всего несправедливы, а к тому, до кого нам нет никакого дела.

Но если есть у тебя страдающий друг, то будь для страдания его местом отдохновения, но также и жестким ложем, походной кроватью: так будешь ты ему наиболее полезен.

И если друг делает тебе что-нибудь дурное, говори ему: «Я прощаю тебе, что ты мне сделал; но если бы ты сделал это себе, — как мог бы я это простить!»

Так говорит всякая великая любовь: она преодолевает даже прощение и жалость.

Надо сдерживать свое сердце; стоит только распустить его, и как быстро каждый теряет голову!

Ах, где в мире совершалось больше безумия, как не среди сострадательных? И что в мире причиняло больше страдания, как не безумие сострадательных?

Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем сострадание их!

Так говорил однажды мне дьявол: «Даже у Бога есть свой ад — это любовь его к людям».

И недавно я слышал, как говорил он такие слова: «Бог мертв; из-за сострадания своего к людям умер Бог». —

Итак, я предостерегаю вас от сострадания: *оттуда* приближается к людям тяжелая туча! Поистине, я знаю толк в приметах грозы!

Запомните также и эти слова: всякая великая любовь выше всего своего сострадания: ибо то, что она любит, она еще хочет — создать!

«Себя самого приношу я в жертву любви своей *и ближнего своего, подобно себе*» — так надо говорить всем созидающим.

Но все созидающие тверды.

Так говорил Заратустра.

## О священниках

И однажды Заратустра подал знак своим ученикам и говорил им эти слова:

«Вот — священники; и хотя они также мои враги, но вы проходите мимо них молча, с опущенными мечами!

Также и между ними есть герои; многие из них слишком страдали; поэтому они хотят заставить других страдать.

Они — злые враги: нет ничего мстительнее смирения их. И легко оскверняется тот, кто нападает на них.

Но моя кровь родственна их крови, и я хочу, чтобы моя кровь была почтена в их крови». —

И когда прошли они мимо, напала скорбь на Заратустру; но недолго боролся он со своею скорбью, затем начал он так говорить:

Жаль мне этих священников. Они мне противны; но для меня они еще наименьшее зло, с тех пор как живу я среди людей.



Я страдаю и страдал с ними: для меня они — пленники и клейменные. Тот, кого называют они избавителем, заковал их в оковы:

В оковы ложных ценностей и слов безумия! Ах, если бы кто избавил их от их избавителя!

К острову думали они некогда пристать, когда море бросало их во все стороны; но он оказался спящим чудовищем!

Ложные ценности и слова безумия — это худшие чудовища для смертных, — долго дремлет и ждет в них судьба.

Но наконец она пробуждается, выслеживает, пожирает и проглатывает все, что строило на ней жилище себе.

О, посмотрите же на эти жилища, что построили себе эти священники! Церквами называют они свои благоухающие пещеры.

О, этот поддельный свет, этот спертый воздух! Здесь душа не смеет взлететь на высоту свою!

Ибо так велит их вера: «На коленях взбирайтесь по лестнице, вы, грешники!»

Поистине, предпочитаю я видеть бесстыдного, чем перекошенные глаза стыда и благоговения их!

Кто же создал себе эти пещеры и лестницы покаяния? Не были ли ими те, кто хотели спрятаться и стыдились ясного неба?

И только тогда, когда ясное небо опять проглянет сквозь разрушенные крыши на траву и пунцовый мак у разрушенных стен, только тогда опять обращаю я свое сердце к жилищам этого Бога.

Они называли Богом, что противоречило им и причиняло страдание; и поистине, было много героического в их поклонении!

И не иначе умели они любить своего Бога, как распяв человека!

Как трупы, думали они жить; в черные одежды облекли они свой труп; и даже из их речей слышу я еще зловоние склепов.

И кто живет вблизи их, живет вблизи черных прудов, откуда жаба, в сладкой задумчивости, поет свою песню.

Лучшие песни должны бы они мне петь, чтобы научился я верить их избавителю: избавленными должны бы выглядеть его ученики!

Нагими хотел бы я видеть их: ибо только красота должна проповедовать покаяние. Но кого же убедит эта закутанная печаль!

Поистине, сами их избавители не исходили из свободы и седьмого неба свободы! Поистине, сами они никогда не ходили по коврам познания!

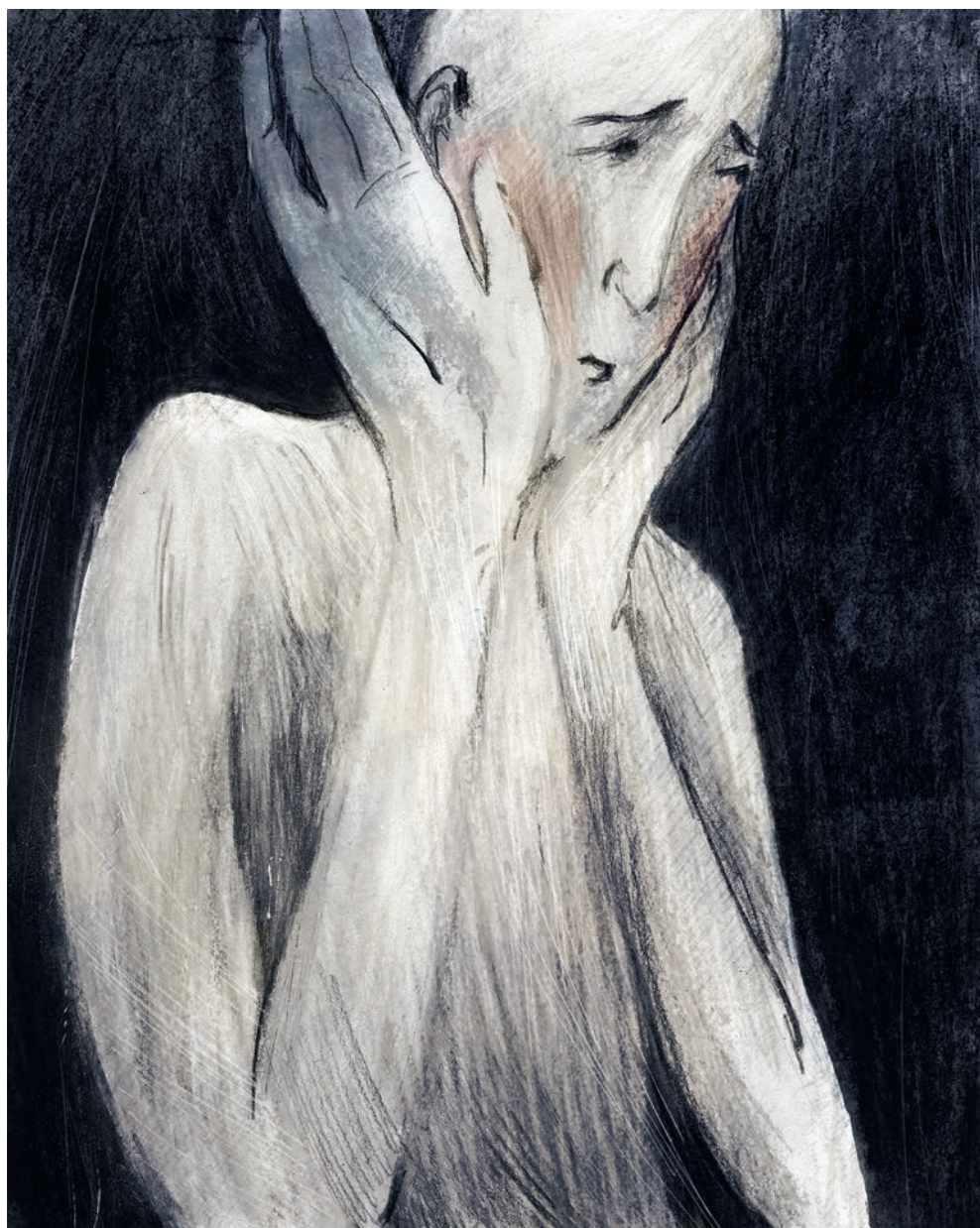
Из дыр состоял дух этих избавителей; и в каждую дыру поместили они свое безумие, свою затычку, которую они называли Богом.

В их сострадании утонул их дух, и, когда они вздувались от сострадания, на поверхности всегда плавало великое безумие.

Гневно, с криком гнали они свое стадо по своей тропинке, как будто к будущему ведет только одна тропинка! Поистине, даже эти пастыри принадлежали еще к овцам!

У этих пастырей был маленький ум и обширная душа; но, братья мои, какими маленькими странами были до сих пор даже самые обширные души!

Знаками крови писали они на пути, по которому они шли, и их безумие учило, что кровью свидетельствуется истина.



*Итак, я предостерегаю вас от сострадания: оттуда приближается к людям  
тяжелая туча!*

Но кровь — самый худший свидетель истины; кровь отравляет самое чистое учение до степени безумия и ненависти сердец.

А если кто и идет на огонь из-за своего учения — что же это доказывает! Поистине, совсем другое дело, когда из собственного горения исходит собственное учение!

Душное сердце и холодная голова — где они встречаются, там возникает ураган, который называют «избавителем».

Поистине, были люди более великие и более высокие по рождению, чем те, кого народ называет избавителями, эти увлекающие все за собой ураганы!

И еще от более великих, чем были все избавители, должны вы, братья мои, избавиться, если хотите вы найти путь к свободе!

Никогда еще не было сверхчеловека! Нагими видел я обоих, самого большого и самого маленького человека.

Еще слишком похожи они друг на друга. Поистине, даже самого великого из них находил я слишком человеческим! —

Так говорил Заратустра.

## О добродетельных

Громом и небесным огнем надо говорить к сонливым и сонным чувствам.

Но голос красоты говорит тихо: он вкрадывается только в самые чуткие души.

Тихо вздрагивал и смеялся сегодня мой гербовый щит: это священный смех и трепет красоты.

Над вами, вы, добродетельные, смеялась сегодня моя красота. И до меня доносился ее голос: «Они хотят еще — чтобы им заплатили!»

Вы еще хотите, чтобы вам заплатили, вы, добродетельные! Хотите получить плату за добродетель, небо за землю, вечность за ваше сегодня?

И теперь негодуете вы на меня, ибо учу я, что нет воздаятеля? И поистине, я не учу даже, что добродетель сама себе награда.

Ах, вот мое горе: в основу вещей коварно волгали награду и наказание — и даже в основу ваших душ, вы, добродетельные!

Но, подобно клыку вепря, должно мое слово бороздить основу вашей души; плугом хочу я называться для вас.

Все сокровенное вашей основы должно выйти на свет; и когда вы будете лежать на солнце, взрытые и изломанные, отделится ваша ложь от вашей истины.

Ибо вот ваша истина: вы *слишком чистоплотны* для грязи таких слов, как мщение, наказание, награда и возмездие.

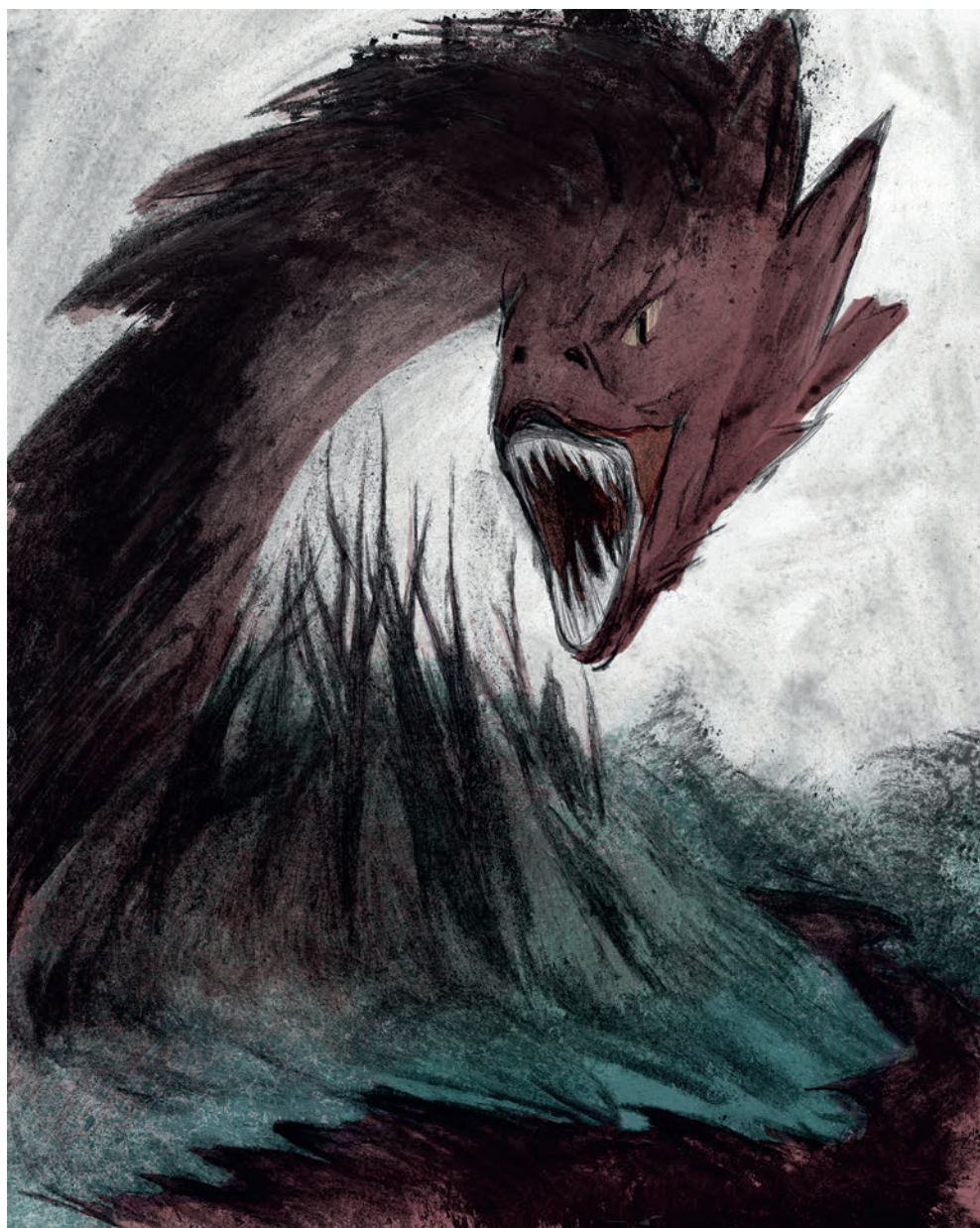
Вы любите вашу добродетель, как мать любит свое дитя; но когда же слыхано было, чтобы мать хотела платы за свою любовь?

Ваша добродетель — это самое дорогое ваше Само. В вас есть жажда кольца; чтобы снова достичь самого себя, для этого вертится и крутится каждое кольцо.

И каждое дело вашей добродетели похоже на гаснущую звезду: ее свет всегда находится еще в пути и блуждает — и когда же не будет он больше в пути?

Так и свет вашей добродетели находится еще в пути, даже когда дело свершено уже. Пусть оно будет даже забыто и мертво: луч его света жив еще и блуждает.





*Кострову думали они некогда пристать, когда море бросало их во все стороны;  
но он оказался спящим чудовищем!*



Пусть ваша добродетель будет вашим Само, а не чем-то посторонним, кожей, кровом — вот истина из основы вашей души, вы, добродетельные!

Но есть, конечно, и такие, для которых добродетель представляется корчей под ударом бича; и вы слишком много слышали вопля их!

Есть и другие, называющие добродетелью ленивое состояние своих пороков; и протягивают конечности их ненависть и их зависть, просыпается также их «справедливость» и трет свои заспанные глаза.

Есть и такие, которых тянет вниз: их демоны тянут их. Но чем ниже они опускаются, тем ярче горят их глаза и вождение их к своему Богу.

Ах, и такой крик достигал ваших ушей, вы, добродетельные: «Что *не* я, то для меня Бог и добродетель!»

Есть и такие, что с трудом двигаются и скрипят, как телеги, везущие камни в долину: они говорят много о достоинстве и добродетели — свою узду называют они добродетелью!

Есть и такие, что подобны часам с ежедневным заводом; они делают свой тик-так и хотят, чтобы тик-так назывался — добродетелью.

Поистине, они забавляют меня: где бы я ни находил такие часы, я завожу их своей насмешкой; и они должны еще пошипеть мне!

Другие гордятся своей горстью справедливости и во имя ее совершают преступление против всего — так что мир тонет в их несправедливости.

Ах, как дурно звучит слово «добродетель» в их устах! И когда они говорят: «Мы правы вместе», всегда это звучит как: «Мы правы в мести!»

Своею добродетелью хотят они выцарапать глаза своим врагам; и они возносятся только для того, чтобы унижить других.

Но опять есть и такие, что сидят в своем болоте и так говорят из тростника: «Добродетель — это значит сидеть смирно в болоте.

Мы никого не кусаем и избегаем тех, кто хочет укунить; и во всем мы держимся мнения, навязанного нам».

Опять-таки есть и такие, что любят жесты и думают: добродетель — это род жестов.

Их колени всегда преклоняются, а их руки восхваляют добродетель, но сердце их ничего не знает о ней.

Но есть и такие, что считают за добродетель сказать: «Добродетель необходима»; но в душе они верят только в необходимость полиции.

И многие, кто не могут видеть высокого в людях, называют добродетелью, когда слишком близко видят низкое их; так, называют они добродетелью свой дурной глаз.

Одни хотят поучаться и стать на путь истинный и называют его добродетелью; а другие хотят от всего отказаться — и называют это также добродетелью.

И таким образом, почти все верят, что участвуют в добродетели; и все хотят по меньшей мере быть знатоками в «добре» и «зле».

Но не для того пришел Заратустра, чтобы сказать всем этим лжецам и глупцам: «Что знаете *вы* о добродетели! Что могли бы вы знать о ней!» —

Но чтобы устали вы, друзья мои, от старых слов, которым научились вы от глупцов и лжецов;

Чтобы устали от слов «награда», «возмездие», «наказание», «месть в справедливости»;



*...и когда вы будете лежать на солнце, взрытые и изломанные, отделится ваша  
ложь от вашей истины*

Чтобы устали говорить: «Такой-то поступок хорош, ибо он бескорыстен».

Ах, друзья мои! Пусть *ваши* Само отразится в поступке, как мать отражается в зеркале, — таково должно быть *ваши* слово о добродетели!

Поистине, я отнял у вас сотню слов и самые дорогие погремушки вашей добродетели; и теперь вы сердитесь на меня, как сердятся дети.

Они играли у моря — вдруг пришла волна и смыла у них в пучину их игрушку: теперь плачут они.

Но та же волна должна принести им новые игрушки и рассыпать перед ними новые пестрые раковины!

Так будут они утешены; и подобно им, и вы, друзья мои, получите свое утешение — и новые пестрые раковины!

Так говорил Заратустра.

### О людском отребье

Жизнь есть родник радости; но всюду, где пьет отребье, все родники бывают отравлены.

Все чистое люблю я; но я не могу видеть морд с оскаленными зубами и жажду нечистых.

Они бросали свой взор в глубь родника; и вот мне светится из родника их мерзкая улыбка.

Священную воду отравили они своею похотью; и когда они свои грязные сны называли радостью, отравляли они еще и слова.

Негодует пламя, когда они свои отсыревшие сердца кладут на огонь; сам дух кипит и дымится, когда отребье приближается к огню.

Приторным и гнилым становится плод в их руках: взор их подтачивает корень и делает сухим валежником плодовое дерево.

И многие, кто отвернулись от жизни, отвернулись только от отребья: они не хотели делить с отребьем ни источника, ни пламени, ни плода.

И многие, кто уходили в пустыню и вместе с хищными зверями терпели жажду, не хотели только сидеть у водоема вместе с грязными погонщиками верблюдов.

И многие приходившие опустошением и градом на все хлебные поля хотели только просунуть свою ногу в пасть отребья и таким образом заткнуть ему глотку.

И знать, что для самой жизни нужны вражда и смерть и кресты мучеников, — это не есть еще тот кусок, которым давился я больше всего:

Но некогда я спрашивал и почти давился своим вопросом: как? неужели для жизни *нужно* отребье?

Нужны отравленные источники, зловонные огни, грязные сны и черви в хлебе жизни?

Не моя ненависть, а мое отвращение пожирало жадно мою жизнь! Ах, я часто утомлялся умом, когда я даже отребье находил остроумным!

И от господствующих отвернулся я, когда увидел, что они теперь называют господством: барышничать и торговаться из-за власти — с отребьем!

Среди народов жил я, иноязычный, заткнув уши, чтобы их язык барышничества и их торговля из-за власти оставались мне чуждыми.

И, зажав нос, шел я, негодующий, через все вчера и сегодня: поистине, дурно пахнут пишущим отребьем все вчера и сегодня!

Как калека, ставший глухим, слепым и немым, так жил я долго, чтобы не жить вместе с властвующим, пишущим и веселящимся отребьем.

С трудом, осторожно поднимался мой дух по лестнице; крохи радости были усладой ему; опираясь на посох, текла жизнь для слепца.

Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как вознесся я на высоту, где отребье не сидит уже у источника?

Разве не само мое отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести родник радости!

О, я нашел его, братья мои! Здесь, на самой выси, бьет для меня родник радости! И существует же жизнь, от которой не пьет отребье вместе со мной!

Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости! И часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его!

И мне надо еще научиться более скромно приближаться к тебе: еще слишком стремительно бьется мое сердце навстречу тебе:

Мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, — как жаждет мое лето-сердце твоей прохлады!

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело, и полуднем лета!

Летом в самой выси, с холодными источниками и блаженной тишиной — о, придите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней!

Ибо это — *наша* высь и наша родина: слишком высоко и круто живем мы здесь для всех нечистых и для жажды их.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости! Разве помутится он? Он улыбнется в ответ вам *своей* чистотою.

На дереве будущего вьем мы свое гнездо; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиноким!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им казалось бы, что они пожирают огонь, и они обожгли бы себе глотки!

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы наше счастье для тела и духа их.

И, подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу — так живут могучие ветры.

И, подобно ветру, хочу я когда-нибудь еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание у духа их — так хочет мое будущее.

Поистине, могучий ветер Заратустра для всех низин; и такой совет дает он своим врагам и всем, кто плюет и харкает: «Остерегайтесь харкать против ветра!»

Так говорил Заратустра.

## О тарантулах

Взгляни, вот яма тарантула! Не хочешь ли ты посмотреть на него самого? Вот висит его сеть — тронь, чтобы она задрожала.



Вот идет он добровольно: здравствуй, тарантул! Черным сидит на твоей спине твой треугольник и примета; и я знаю также, что сидит в твоей душе.

Мщение сидит в твоей душе: куда ты укусишь, там вырастает черный струп; мщением заставляет твой яд кружиться душу!

Так говорю я вам в символе, вы, проповедники *равенства*, заставляющие кружиться души! Тарантулы вы для меня и скрытые мстители!

Но я выведу ваши притоны на свет; поэтому и смеюсь я вам в лицо своим смехом высоты.

Поэтому и рву я вашу сеть, чтобы ярость ваша выманила вас из вашей пещеры лжи и чтобы месть ваша выскочила из-за вашего слова «справедливость».

*Ибо, да будет человек избавлен от мести* — вот для меня мост, ведущий к высшей надежде, и радужное небо после долгих гроз.

Но другого, конечно, хотят тарантулы. «По-нашему, справедливость будет именно в том, чтобы мир был полон грозами нашего мщения» — так говорят они между собою.

«Мщению и позору хотим мы предать всех, кто не подобен нам» — так клянутся сердца тарантулов.

И еще: «Воля к равенству — вот что должно стать отныне именем для добродетели; и против всего власть имущего поднимаем мы свой крик!»

Проповедники равенства! Бессильное безумие тирана вопиет в вас о «равенстве»: так скрывается ваше сокровенное желание тирании за словами о добродетели!

Истосковавшийся мрак, скрытая зависть, быть может, мрак и зависть ваших отцов — вот что прорывается в вас безумным пламенем мести.

То, о чем молчал отец, начинает говорить в сыне; и часто находил я в сыне обнаженную тайну отца.

На вдохновенных похожи они; но не сердце вдохновляет их — а месть. И если они становятся утонченными и холодными, это не ум, а зависть делает их утонченными и холодными.

Их зависть приводит их даже на путь мыслителей; и в том отличительная черта их зависти, что всегда идут они слишком далеко; так что их усталость должна в конце концов засыпать на снегу.

В каждой жалобе их звучит мщение, в каждой похвале их есть желание причинить страдание; и быть судьями кажется им блаженством.

Но я советую вам, друзья мои: не доверяйте никому, в ком сильно стремление наказывать!

Это — народ плохого сорта и происхождения; на их лицах виден палач и ищейка.

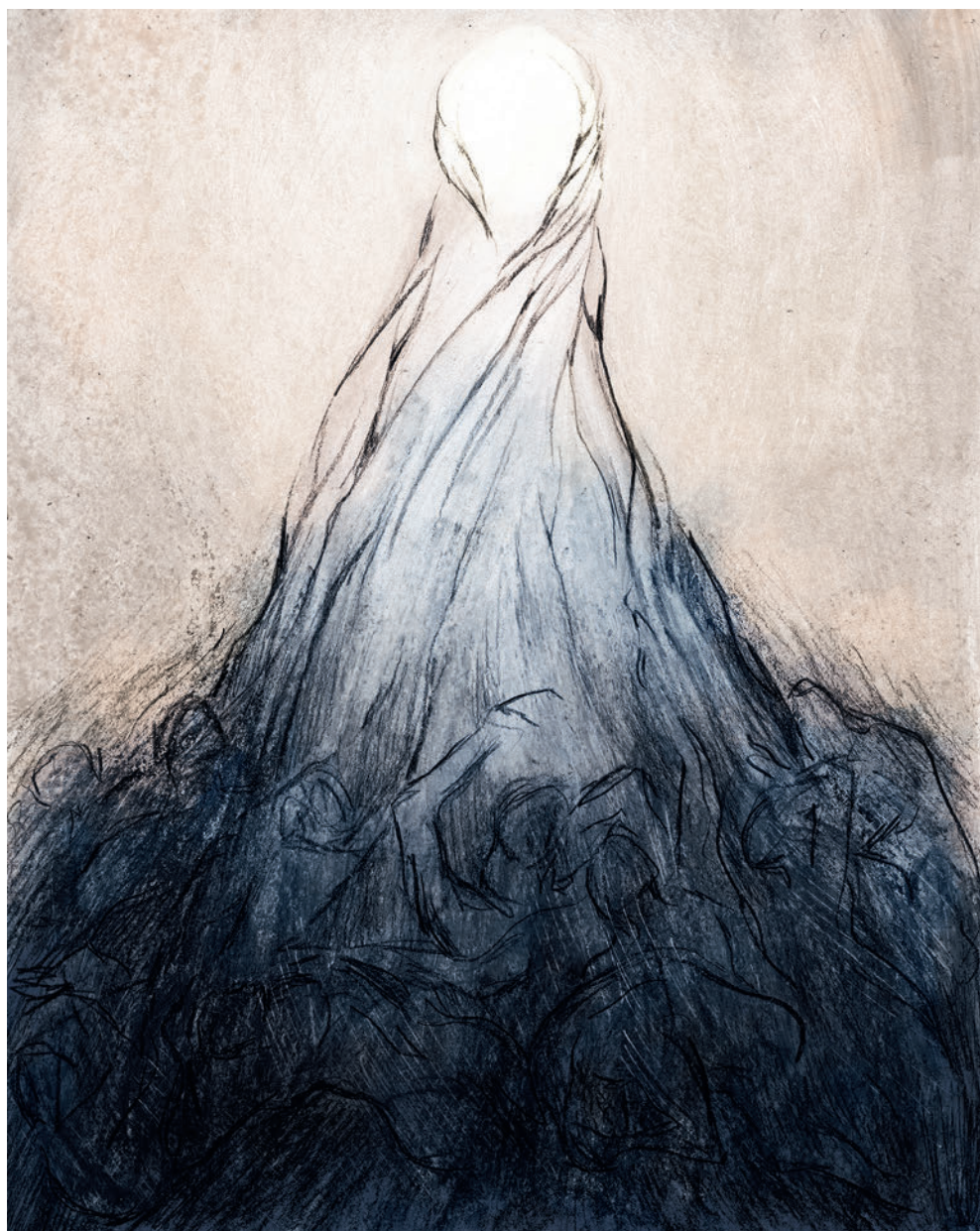
Не доверяйте всем тем, кто много говорят о своей справедливости! Поистине, их душам недостает не одного только меду.

И если они сами себя называют «добрыми и праведными», не забывайте, что им недостает только — власти, чтобы стать фарисеями!

Друзья мои, я не хочу, чтобы меня смешивали или ставили наравне с ними.

Есть такие, что проповедуют мое учение о жизни — и в то же время они проповедники равенства и тарантулы.

Они говорят в пользу жизни, эти ядовитые пауки, хотя они сидят в своих пещерах, отвернувшись от жизни: ибо этим они хотят причинять страдание.



*Ибо это — наша высь и наша родина: слишком высоко и круто живем мы здесь  
для всех нечистых и для жажды их*

Этим они хотят причинять страдание всем, у кого теперь власть: ибо у этих преобладает еще проповедь смерти.

Будь иначе, и тарантулы учили бы иначе: ибо они некогда были худшими клеветниками на мир и сожигателями еретиков.

Я не хочу, чтобы меня смешивали или ставили наравне с этими проповедниками равенства. Ибо так говорит *ко мне* справедливость: «люди не равны».

И они не должны быть равны! Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если бы я говорил иначе?

Пусть по тысяче мостов и тропинок стремятся они к будущему и пусть между ними будет все больше войны и неравенства: так заставляет меня говорить моя великая любовь!

Изобретателями образов и призраков должны они стать во время вражды своей, и этими образами и призраками должны они сразиться в последней борьбе!

Добрый и злой, богатый и бедный, высокий и низкий, и все имена ценностей: все должно быть оружием и кричащим символом и указывать, что жизнь должна всегда сызнова преодолевать самое себя!

Ввысь хочет она воздвигаться с помощью столбов и ступеней, сама жизнь: дальние горизонты хочет она изведать и смотреть на блаженные красоты, — *для этого* ей нужна высота!

И так как ей нужна высота, то ей нужны ступени и противоречия ступеней и поднимающихся по ним! Подниматься хочет жизнь и, поднимаясь, преодолевать себя.

И посмотрите, друзья мои! Здесь, где пещера тарантула, высятся развалины древнего храма, — посмотрите на них просветленными глазами!

Поистине, тот, кто некогда здесь, в камне, воздвигал свои мысли вверх, знал о тайне всякой жизни наравне с мудрейшим из людей!

Что даже в красоте есть борьба, и неравенство, и война, и власть, и чрезмерная власть, — этому учит он нас здесь с помощью самого ясного символа.

Как божественно преломляются здесь, в борьбе, своды и дуги; как светом и тенью они устремляются друг против друга, божественно стремительные, —

Так же уверенно и прекрасно будем врагами и мы, друзья мои! Божественно устремимся мы друг против друга! —

Горе! Тут укусил меня самого тарантул, мой старый враг! Божественно уверенно и прекрасно укусил он меня в палец!

«Должны быть наказание и справедливость — так думает он, — ведь недаром же ему петь здесь гимны в честь вражды!»

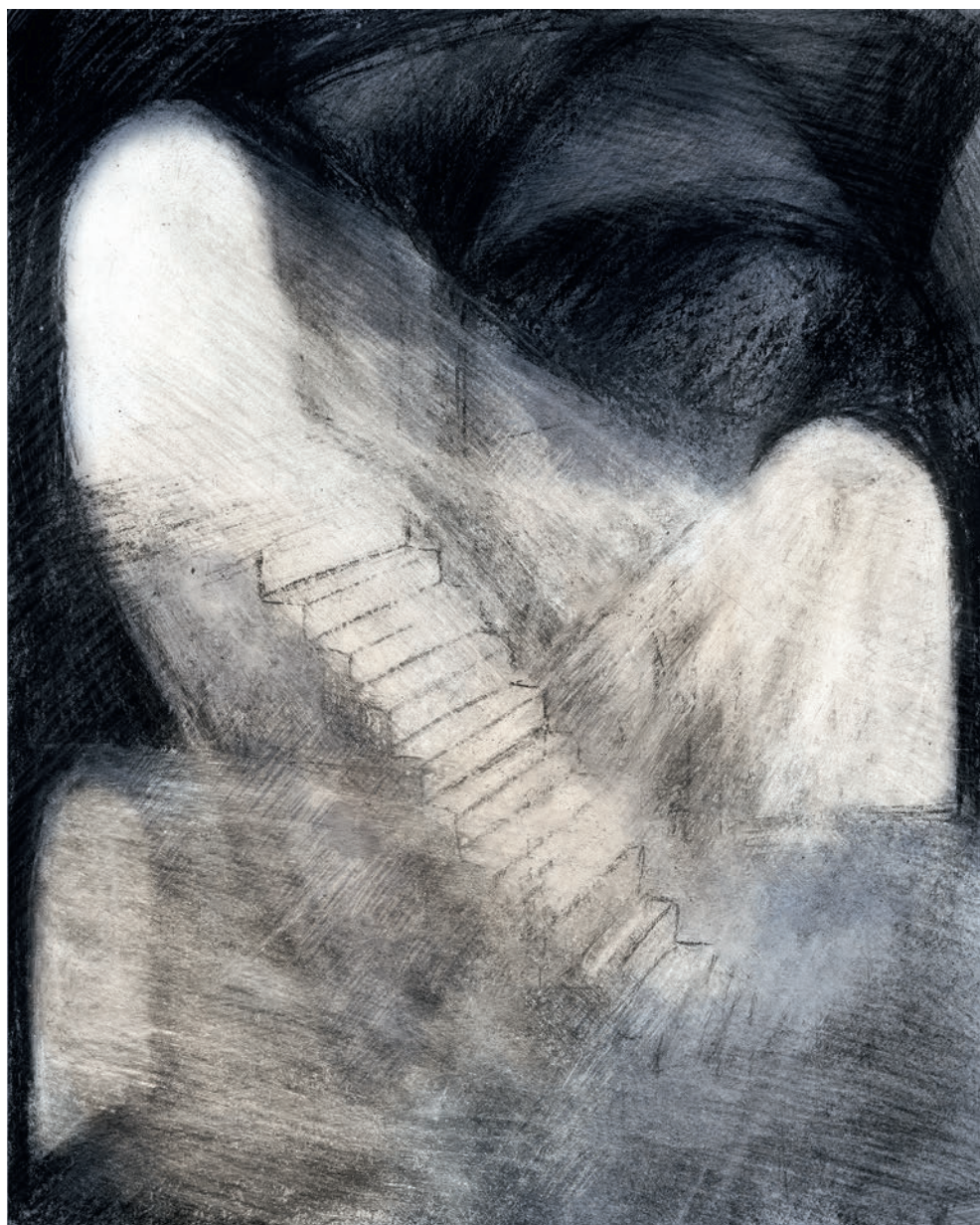
Да, он отомстил за себя! И, горе! теперь мщением заставит он кружиться и мою душу!

Но чтобы *не* стал я кружиться, друзья мои, привяжите меня покрепче к этому столбу! Уж лучше хочу я быть столпником, чем вихрем мщения!

Поистине, не вихрь и не смерч Заратустра; а если он и танцор, то никак не танцор тарантеллы! —

Так говорил Заратустра.





*...даже в красоте есть борьба, и неравенство, и война, и власть, и чрезмерная  
власть...*



## О прославленных мудрецах

Народу служили вы и народному суеверию, вы все, прославленные мудрецы! — а не истине! И потому только платили вам дань уважения.

И потому только выносили ваше неверие, что оно было остроумным окольным путем к народу. Так предоставляет господин волю своим рабам и еще потешается над их своеволием.

Но кто же ненавистен народу, как волк собакам, — свободный ум, враг цепей, кто не молится и живет в лесах.

Выгнать его из его убежища — это называлось всегда у народа «чувством справедливости»; на него он все еще натравливает своих самых кусачих собак.

«Истина существует: ибо существует народ! Горе, горе ищущему!» — так велось истари.

Своему народу хотели вы дать оправдание в его поклонении; это называли вы «волею к истине», вы, прославленные мудрецы!

И ваше сердце всегда говорило себе: «Из народа вышел я, оттуда же низошел на меня голос Бога».

Упрямые и смысленные, как ослы, вы всегда были ходатаями за народ.

И многие властители, желавшие ладить с народом, впрягали впереди своих коней — осленка, какого-нибудь прославленного мудреца.

А теперь, прославленные мудрецы, хотелось бы мне, чтобы вы наконец совсем сбросили с себя шкуру льва!

Пеструю шкуру хищного зверя и космы исследующего, ищущего и завоевывающего!

Ах, чтобы научился я верить в вашу «правдивость», вам надо сперва отказаться от вашей воли к поклонению.

Правдивым называю я того, кто идет в пустыни, где нет богов, и разбивает свое сердце, готовое поклониться.

На желтом песке, палимый солнцем, украдкой смотрит он с жадностью на богатые источниками острова, где все живущее отдыхает под тенью деревьев.

Но его жажда не может заставить его сделаться похожим на этих довольных: ибо, где есть оазисы, там есть и идолы.

Быть голодным, сильным, одиноким и безбожным — так хочет воля льва.

Быть свободным от счастья рабов, избавленных от богов и поклонения им, бесстрашным и наводящим страх, великим и одиноким, — такова воля правдивого.

В пустыне жили исконно правдивые, свободные умы, как господа пустыни; но в городах живут хорошо откормленные, прославленные мудрецы — вячные животные.

Ибо всегда тянут они, как ослы, — телегу народа!

За это не сержусь я на них; но слугами остаются они для меня и людьми запряженными, даже если сбруя их сверкает золотом.

И часто бывали они хорошими слугами, достойными награды. Ибо так говорит добродетель: «Если должен ты быть слугою, ищи того, кому твоя служба всего полезнее!»

«Дух и добродетель твоего господина должны расти благодаря тому, что *ты* его слуга, — так будешь ты расти и сам вместе с его духом и его добродетелью!»



*Ибо всегда тянут они, как ослы, — телегу народа!*

И поистине, вы, прославленные мудрецы, вы, слуги народа! Вы сами росли вместе с духом и добродетелью народа — а народ через вас! К вашей чести говорю я это!

Но народом остаетесь вы для меня даже в своих добродетелях, близоруким народом, — который не знает, что такое дух!

Дух есть жизнь, которая сама врезается в жизнь: своим собственным страданием увеличивает она собственное знание, знали ли вы уже это?

И счастье духа в том, чтобы помазанным быть и освященным быть слезами на заклание, — знали ли вы уже это?

И слепота слепого, и его искание ошущью свидетельствуют о силе солнца, на которое глядел он, — знали ли вы уже это?

С помощью гор должен учиться *строить* познающий! Мало того, что дух двигает горами, — знали ли вы уже это?

Вы знаете только искры духа — но вы не видите наковальни, каковой является он, и жестокости его молота!

Поистине, вы не знаете гордости духа! Но еще менее перенесли бы вы скромность духа, если бы когда-нибудь захотела она говорить!

И никогда еще не могли вы ввергнуть свой дух в заснеженную яму: вы недостаточно горячи для этого! Оттого и не знаете вы восторгов его холода.

Но во всем обходитесь вы, по-моему, слишком запросто с духом; и из мудрости делали вы часто богадельню и больницу для плохих поэтов.

Вы не орлы — оттого и не испытывали вы счастья в испуге духа. И кто не птица, не должен парить над пропастью.

Вы кажетесь мне теплыми; но холодом веет от всякого глубокого познания. Холодны, как лед, самые глубокие источники духа: усада для горячих рук и для тех, кто не покладает рук.

Вот стоите вы, чтимые, строгие, с прямыми спинами, вы, прославленные мудрецы! — вами не движет могучий ветер и сильная воля.

Видели ли вы когда-нибудь парус на море, округленный, надутый ветром и дрожащий от бури?

Подобно парусу, дрожащему от бури духа, проходит по морю моя мудрость — моя дикая мудрость!

Но вы, слуги народа, вы, прославленные мудрецы, — как *могли бы* вы идти со мною! —

Так говорил Заратустра.

## Ночная песнь

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь только пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.

Я — свет; ах, если бы быть мне ночью! Но в том и одиночество мое, что опоясан я светом.

Ах, если бы быть мне темным и ночным! Как упивался бы я сосцами света!

И даже вас благословлял бы я, вы, звездочки, мерцающие, как светящиеся червяки на небе! — и был бы счастлив от ваших даров света.

Но я живу в своем собственном свете, я вновь поглощаю пламя, что исходит из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто мечтал я о том, что красть должно быть еще блаженнее, чем брать.

В том моя бедность, что моя рука никогда не отдыхает от дарения; в том моя зависть, что я вижу глаза, полные ожидания, и просветленные ночи тоски.

О горе всех, кто дарит! О затмение моего солнца! О алкание желаний! О ярый голод среди пресыщения!

Они берут у меня; но затрагиваю ли я их душу? Целая пропасть лежит между дарить и брать; но и через малейшую пропасть очень трудно перекинуть мост.

Голод вырастает из моей красоты; причинить страдание хотел бы я тем, кому я свечу, ограбить хотел бы я одаренных мною — так алчу я злобы.

Отдернуть руку, когда другая рука уже протягивается к ней; медлить, как водопад, который медлит в своем падении, — так алчу я злобы.

Такое мщение измышляет мой избыток; такое коварство рождается из моего одиночества.

Мое счастье дарить замерло в дарении, моя добродетель устала от себя самой и от своего избытка!

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздает, у того рука и сердце натирают себе мозоли от постоянного раздавания.

Мои глаза не делаются уже влажными перед стыдом просящих; моя рука слишком огрубела для дрожания рук наполненных.

Куда же девались слезы из моих глаз и пушок из моего сердца? О одиночество всех дарящих! О молчаливость всех светящихся!

Много солнц вращается в пустом пространстве; всему, что темно, говорят они своим светом — для меня молчат они.

О, в этом и есть вражда света ко всему светящемуся: безжалостно проходит он своими путями.

Несправедливое в глубине сердца ко всему светящемуся, равнодушное к другим солнцам — так движется всякое солнце.

Как буря, несутся солнца своими путями, в этом — движение их. Своей неумолимой воле следуют они, в этом — холод их.

О, это вы, темные ночи, создаете теплоту из всего светящегося! О, только вы пьете молоко и усладу из сосцов света!

Ах, лед вокруг меня, моя рука обжигается об лед! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждою тьмы! И одиночеством!

Ночь: теперь рвется, как родник, мое желание — желание говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И душа моя тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного. —

Так пел Заратустра.



### Танцевальная песнь

Однажды вечером проходил Заратустра со своими учениками по лесу; и вот: отыскивая источник, вышел он на нелепый луг, окаймленный молчаливыми деревьями и кустарником, — на нем танцевали девушки. Узнав Заратустру, девушки бросили свой танец; но Заратустра подошел к ним с приветливым видом и говорил эти слова:

«Не бросайте пляски, вы, милые девушки! К вам подошел не зануда со злым взглядом, не враг девушек.

Ходатай Бога я перед дьяволом, а он — дух тяжести. Как бы мог я, вы, быстроногие, быть врагом божественных танцев? Или женских ножек с красивыми стигами?

Правда, я — лес, полный мрака от темных деревьев, — но кто не испугается моего мрака, найдет и кущи роз под сенью моих кипарисов.

И маленького бога найдет он, любезного девушкам: у колодца лежит он тихо, с закрытыми глазами.

Поистине, среди бела дня уснул он, ленивец! Не гонялся ли он слишком много за бабочками?

Не сердитесь на меня, прекрасные плясуны, если я слегка накажу маленького бога! Быть может, кричать будет он и плакать — но он готов смеяться, даже когда плачет!

И со слезами на глазах пусть просит он у вас о пляске; а я спою песнь к его пляске:

Песнь пляски и насмешки над духом тяжести, моим величайшим и самым могучим демоном, о котором говорят, что он «владыка мира». —

И вот песня, которую пел Заратустра, в то время как Купидон и девушки вместе плясали:

В твои глаза заглянул я недавно, о жизнь! И мне показалось, что я погружаюсь в непостижимое.

Но ты вытащила меня золотой удочкой; насмешливо смеялась ты, когда я тебя называл непостижимой.

«Так говорят все рыбы, — отвечала ты, — чего не постигают *они*, то и непостижимо.

Но я только изменчива и дика, и во всем я женщина, и притом недобродетельная: Хотя я называюсь у вас, мужчин, «глубиной» или «верностью», «вечностью», «тайной».

Но вы, мужчины, одаряете нас всегда собственными добродетелями — ах, вы, добродетельные!»

Так смеялась она, невероятная; но никогда не верю я ей и смеху ее, когда она дурно говорит о себе самой.

И когда я с глазу на глаз говорил со своей дикой мудростью, она сказала мне с гневом: «Ты желаешь, ты жаждешь, ты любишь, потому только ты и *хвалишь* жизнь!»

Чуть было зло не ответил я ей и не сказал правды ей, рассерженной; и нельзя злее ответить, как «сказав правду» своей мудрости.

Так обстоит дело между нами тремя. От всего сердца люблю я только жизнь — и поистине, всего больше тогда, когда я ненавижу ее!

Но если я люблю мудрость и часто слишком люблю ее, то потому, что она очень напоминает мне жизнь!

У ней ее глаза, ее смех и даже ее золотая удочка — чем же я виноват, что они так похожи одна на другую?



*Песнь пляски и насмешки над духом тяжести, моим величайшим и самым могучим демоном, о котором говорят, что он «владыка мира»*

И когда однажды жизнь спросила меня: что такое мудрость? — я с жаром ответил: «О, да! мудрость!

Ее алчут и не насыщаются, смотрят сквозь покровы и ловят сетью.

Красива ли она? Почему я знаю! Но и самые старые карпы еще идут на приманки ее.

Изменчива она и упряма; часто я видел, как кусала она себе губы и путала гребнем свои волосы.

Быть может, она зла и лукава, и во всем она женщина; но когда она дурно говорит о себе самой, тогда именно увлекает она всего больше».

И когда я сказал это жизни, она зло улынулась и закрыла глаза. «О ком же говоришь ты? — спросила она. — Не обо мне ли?

И если даже ты прав, можно ли говорить *это* мне прямо в лицо! Но теперь скажи мне о своей мудрости!»

Ах, ты опять раскрыла глаза свои, о жизнь возлюбленная! И мне показалось, что я опять погружаюсь в непостижимое. —

Так пел Заратустра. Но когда пляска кончилась и девушки ушли, он сделался печален.

«Солнце давно уже село, — сказал он наконец, — луг стал сырым, от лесов веет прохладой.

Что-то неведомое окружает меня и задумчиво смотрит. Как! Ты жив еще, Заратустра?

Почему? Зачем? Для чего? Куда? Где? Как? Разве не безумие — жить еще? —

Ах, друзья мои, это вечер вопрошает во мне. Простите мне мою печаль!

Вечер настал: простите мне, что вечер настал!»

Так говорил Заратустра.

## Надгробная песнь

«Там остров могил, молчаливый; там также могилы моей юности. Туда отнесу я вечно зеленый венок жизни».

Так решив в сердце, сжал я по морю. —

О вы, лики и видения моей юности! О блики любви, божественные миги! Как быстро исчезли вы! Я вспоминаю о вас сегодня как об умерших для меня.

От вас, мои дорогие мертвецы, нисходит на меня сладкое благоухание, облегчающее мое сердце слезами. Поистине, оно глубоко трогает и облегчает сердце одинокому пловцу.

И все-таки я самый богатый и самый завидуемый — я самый одинокий! Ибо вы были у меня, а я и до сих пор у вас; скажите, кому падали такие розовые яблоки с дерева, как мне?

Я все еще наследие и земля любви вашей, цветущий, в память о вас, пестрыми, дико растущими добродетелями, о вы, возлюбленные мои!

Ах, мы были созданы оставаться вблизи друг друга, вы, милые, нездешние чудеса; и не как боязливые птицы приблизились вы ко мне и к желанию моему — нет, как доверчивые к доверчивому!

Да, вы были созданы для верности, подобно мне, и для нежных вечностей; должен ли я теперь называть вас именем вашей неверности, вы, божественные блики и миги: иному имени не научился я еще.

Поистине, слишком быстро умерли вы для меня, вы, беглецы. Но не бежали вы от меня, не бежал и я от вас: не виновны мы друг перед другом в нашей неверности.

Чтобы *меня* убить, душили вас, вы, певчие птицы моих надежд! Да, в нас, вы, возлюбленные мои, пускала всегда злоба свои стрелы — чтобы попасть в мое сердце!

И она попала! Ибо вы были всегда самыми близкими моему сердцу, вы были все, чем я владел и что владело мною, — и *потому* вы должны были умереть молодыми и слишком рано!

В самое уязвимое, чем я владел, пустили они стрелу: то были вы, чья кожа походит на нежный пух, и еще больше на улыбку, умирающую от одного взгляда на нее!

Но так скажу я своим врагам: что значит всякое человекоубийство в сравнении с тем, что вы мне сделали!

Больше зла сделали вы мне, чем всякое человекоубийство: невозвратное взяли вы у меня — так говорю я вам, мои враги.

Разве вы не убивали ликов и самых дорогих чудес моей юности! Товарищей моих игр отнимали вы у меня, блаженных духов! Памяти их возлагаю я этот венок и это проклятие.

Это проклятие вам, мои враги! Не вы ли укоротили мою вечность, подобно звуку, разбивающемуся в холодную ночь! Одним лишь взглядом божественного ока промелькнула она для меня, — одним бликом!

Так говорила в добрый час когда-то моя чистота: «божественными должны быть для меня все существа».

Тогда напали вы на меня с грязными призраками; ах, куда же девался теперь тот добрый час!

«Все дни должны быть для меня священны» — так говорила когда-то мудрость моей юности; поистине, веселой мудрости речь!

Но тогда украли вы, враги, у меня мои ночи и продали их за бессонную муку; ах, куда же девалась теперь та веселая мудрость?

Когда-то искал я по птицам счастливых примет; тогда пустили вы мне на дорогу противное чудовище — сову. Ах, куда же девалось тогда мое нежное стремление?

Когда-то дал я обет отрешиться от всякого отвращения — тогда превратили вы моих близких и ближних в гнойные язвы. Ах, куда же девался тогда мой самый благородный обет?

Как слепец, шел я когда-то блаженными путями — тогда набросали вы грязи на дорогу слепца; и теперь чувствует он отвращение к старой тропинке слепца.

И когда я совершал самое трудное для меня и праздновал победу своих преодолений, тогда вы заставили тех, что любили меня, кричать, что причиняю я им жестокое горе.

Поистине, вы всегда поступали так: вы отравляли мне мой лучший мед и старания моих лучших пчел.

К щедрости моей посылали вы всегда самых наглых нищих; вокруг моего сострадания заставляли вы всегда тесниться неисправимых бесстыдников. Так ранили вы мои добродетели в их вере.



И если приносил я в жертву, что было у меня самого священного, тотчас присоединяло сюда и ваше «благочестие» свои жирные дары, так что в чаду вашего жираглохло, что было у меня самого священного.

И однажды хотел я плясать, как никогда еще не плясал: выше всех небес хотел я плясать. Тогда уговорили вы моего самого любимого певца.

И теперь он запел заунывную, мрачную песню; ах, он трубил мне в уши, как печальный рог!

Убийственный певец, орудие злобы, ты виновен менее всех! Уже стоял я готовым к лучшему танцу — тогда убил ты своими звуками мой восторг!

Только в пляске умею я говорить символами о самых высоких вещах — и теперь остался мой самый высокий символ неизреченным в моих телодвижениях!

Неизреченной и неразрешенной осталась во мне высшая надежда! И умерли все лики и утешения моей юности!

Как только перенес я это? Как избыл и превозмог я эти раны? Как воскресла моя душа из этих могил?

Да, есть во мне нечто неранимое, незахоронимое, взрывающее скалы: *моей волею* называется оно. Молчаливо и не изменяясь проходит оно через годы.

Своей поступью хочет идти моими стопами моя закадычная воля; ее чувство безжалостно и неуязвимо.

Неуязвима во мне только моя пята. Ты жива еще и верна себе, самая терпеливая! Все еще прорываешься ты сквозь все могилы!

В тебе живет еще все неразрешенное моей юности; и как жизнь и юность, сидишь ты здесь, надеясь, на желтых обломках могил.

Да, ты еще для меня разрушительница всех могил; здравствуй же, моя воля! И только там, где есть могилы, есть и воскресение. —

Так пел Заратустра.

## О самопреодолении

«Волею к истине» называете вы, мудрейшие, то, что движет вами и возбуждает вас? Волею к мыслимости всего сущего — так называю я вашу волю!

Все сущее хотите вы *сделать* сперва мыслимым: ибо вы сомневаетесь с добрым недоверием, мыслимо ли оно.

Но оно должно подчиняться и покоряться вам! Так волит ваша воля. Гладким должно стать оно и подвластным духу, как его зеркало и отражение в нем.

В этом вся ваша воля, вы, мудрейшие, как воля к власти, и даже когда вы говорите о добре и зле и об оценках ценностей.

Создать хотите вы еще мир, перед которым вы могли бы преклонить колена, — такова ваша последняя надежда и опьянение.

Но немудрые, народ, — они подобны реке, по которой плывет челнок, — и в челноке сидят торжественные и переряженные оценки ценностей.

Вашу волю и ваши ценности спустили вы на реку становления; старая воля к власти брезжит мне в том, во что верит народ как в добро и зло.

То были вы, мудрейшие, кто посадил таких гостей в этот челнок и дал им блеск и гордые имена, — вы и ваша господствующая воля!



*И однажды хотел я плясать, как никогда еще не плясал: выше всех небес  
хотел я плясать.*

Дальше несет теперь река ваш челнок: она *должна* его нести. Что за беда, если пенится разбитая волна и гневно противится килю!

Не река является вашей опасностью и концом вашего добра и зла, вы, мудрейшие, — но сама эта воля, воля к власти неистощимая, творящая воля к жизни.

Но чтобы поняли вы мое слово о добре и зле, я скажу вам еще свое слово о жизни и свойстве всего живого.

Все живое проследил я, я прошел великими и малыми путями, чтобы познать его свойство.

Стогранным зеркалом ловил я взор жизни, когда уста ее молчали, — дабы ее взор говорил мне. И ее взор говорил мне.

Но где бы ни находил я живое, везде слышал я и речь о послушании. Все живое есть нечто повинующееся.

И вот второе: тому повелевают, кто не может повиноваться самому себе. Таково свойство всего живого.

Но вот третье, что я слышал: повелевать труднее, чем повиноваться. И не потому только, что повелевающий несет бремя всех повинующихся и что легко может это бремя раздавить его:

Попыткой и дерзновением казалось мне всякое повелевание, и, повелевая, живущий всегда рискует самим собою.

И даже когда он повелевает самому себе — он должен еще искупить свое повеление. Своего собственного закона должен он стать судьей, и мстителем, и жертвой.

Но как же происходит это? — так спрашивал я себя. Что побуждает все живое повиноваться и повелевать и, повелевая, быть еще повинующимся?

Слушайте же мое слово, вы, мудрейшие. Удостоверьтесь серьезно, проник ли я в сердце жизни и до самых корней ее сердца!

Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти; и даже в воле служащего находил я волю быть господином.

Чтобы сильнейшему служил более слабый — к этому побуждает его воля его, которая хочет быть господином над еще более слабым: лишь без этой радости не может он обойтись.

И как меньший отдает себя большему, чтобы тот радовался и власть имел над меньшим, — так приносит себя в жертву и больший и из-за власти ставит на доску — жизнь свою.

В том и жертва великого, чтобы было в нем дерзновение, и опасность, и игра в кости насмерть.

А где есть жертва, и служение, и взоры любви, там есть и воля быть господином. Крадучись, вкрадывается слабейший в крепость и в самое сердце сильнейшего — и крадет власть у него.

И вот какую тайну поведала мне сама жизнь. «Смотри, — говорила она, — *я всегда должна преодолевать самое себя.*

Конечно, вы называете это волей к творению или стремлением к цели, к высшему, дальнему, более сложному — но все это образует единую тайну:

Лучше погибну я, чем отрекусь от этого; и поистине, где есть закат и опадение листьев, там жизнь жертвует собою — из-за власти!

Мне надо быть борьбою, и становлением, и целью, и противоречием целей; ах, кто угадывает мою волю, угадывает также, какими *кривыми* путями она должна идти!





*Своего собственного закона должен он стать судьей, и мстителем, и жертвой.*



Что бы ни создавала я и как бы ни любила я созданное — скоро должна я стать противницей ему и моей любви: так хочет моя воля.

И даже ты, познающий, ты только тропа и след моей воли: поистине, моя воля к власти ходит по следам твоей воли к истине!

Конечно, не попал в истину тот, кто запустил в нее словом о «воле к существованию»; такой воли — не существует!

Ибо то, чего нет, не может хотеть; а что существует, как могло бы оно еще хотеть существования!

Только там, где есть жизнь, есть и воля; но это не воля к жизни, но — так учу я тебя — воля к власти!

Многое ценится живущим выше, чем сама жизнь; но и в самой оценке говорит — воля к власти!» —

Так учила меня некогда жизнь, и отсюда разрешаю я, вы, мудрейшие, также и загадку вашего сердца.

Поистине, я говорю вам: добра и зла, которые были бы непреходящими, — не существует! Из себя должны они все снова и снова преодолевать самих себя.

При помощи ваших ценностей и слов о добре и зле совершаете вы насилие, вы, ценители ценностей; и в этом ваша скрытая любовь, и блеск, и трепет, и порыв вашей души.

Но еще большее насилие и новое преодоление растет из ваших ценностей: об них разбивается яйцо и скорлупа его.

И кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.

Так принадлежит высшее зло к высшему благу; а это благо есть творческое. —

Будем же говорить только о нем, вы, мудрейшие, хотя и это дурно. Но молчание еще хуже; все замолчанные истины становятся ядовитыми.

И пусть разобьется все, что может разбиться об наши истины! Сколько домов предстоит еще воздвигнуть! —

Так говорил Заратустра.

## О возвышенных

Спокойна глубина моего моря; кто бы угадал, что она скрывает шутливых чудовищ!

Непоколебима моя глубина; но она блестит от плавающих загадок и хохотов.

Одного возвышенного видел я сегодня, торжественного, кающегося духом; о, как смеялась моя душа над его безобразием!

С выпяченной грудью, похожий на тех, кто вбирает в себя дыхание, — так стоял он, возвышенный и молчаливый.

Увешанный безобразными истинами, своей охотничьей добычей, и богатый разодранными одеждами; также много шипов висело на нем — но я не видел еще ни одной розы.

Еще не научился он смеху и красоте. Мрачным возвратился этот охотник из леса познания.

С битвы, где бился с дикими зверями, вернулся домой он; и сквозь серьезность его проглядывает еще дикий зверь — непобежденный!

Как тигр, все еще стоит он, готовый прыгнуть; но я не люблю этих напряженных душ: не по вкусу мне все эти ощерившиеся.

И вы говорите мне, друзья, что о вкусах и привкусах не спорят? Но ведь вся жизнь есть спор о вкусах и привкусах!

Вкус: это одновременно и вес, и весы, и весовщик; и горе всему живущему, если бы захотело оно жить без спора о весе, о весах и весовщике!

Если бы этот возвышенный утомился своею возвышенностью, — только тогда началась бы его красота; и только тогда вкусил бы я его и нашел бы вкусным.

И только когда он отвратится сам от себя, перепрыгнет он через свою собственную тень — и поистине прямо в *свое* солнце.

Слишком долго сидел он в тени, щеки побледнели у кающегося духом; почти умер он с голоду в своих ожиданиях.

Презрение еще в его взоре, и отвращение таится на его устах. Хотя отдыхает он теперь, но его отдых еще не на солнце.

Он должен был бы работать, как вол; и его счастье должно бы разить землю, а не презрением к земле.

Белым волом хотел бы я его видеть, идущим, фыркая и мыча, впереди плуга, — и его мычание должно бы хвалить все земное!

Темно еще его лицо; тень руки пробегает по нему. Затемнен еще взор его глаз.

Самое дело его есть еще тень на нем: рука затемняет того, кто трудится, не покладая рук. Еще не преодолел он своего дела.

Как люблю я в нем выю вола; но теперь хочу я еще видеть взор ангела.

И от воли своего героя должен он отучиться: вознесенным должен он быть для меня, а не только возвышенным, — сам эфир должен вознести его, лишенного воли!

Он победил чудовище, он разгадал загадки; но он должен еще победить своих чудовищ и разгадать свои загадки, в небесных детей должен он еще превратить их.

Еще не научилось его познание улыбаться и жить без зависти; еще не стих поток его страстей в красоте.

Поистине, не в сытости должно смолкнуть и утонуть его желание, а в красоте! Осанистость свойственна щедрости благородно мыслящего.

Закинув руку за голову — так должен был бы отдыхать герой, так должен был бы преодолевать он даже свой отдых.

Но именно для героя *красота* есть самая трудная вещь. Недостижима красота для всякой сильной воли.

Немного больше, немного меньше: именно это значит здесь много; это значит здесь всего больше.

Стоять с расслабленными мускулами и распряженной волей — это и есть самое трудное для всех вас, вы, возвышенные!

Когда власть становится милостивой и нисходит в видимое — красотой называю я такое нисхождение.

И ни от кого не требую я так красоты, как от тебя, могущественный; твоя доброта да будет твоим последним самопреодолением.

На всякое зло считаю я тебя способным; поэтому я и требую от тебя добра.

Поистине, я смеялся часто над слабыми, которые мнят себя добрыми, потому что у них расслабленные лапы.

К столпу добродетели должен ты стремиться: чем выше он подымается, тем становится он красивее и нежнее, а внутри тверже и выносливее.

Да, возвышенный, когда-нибудь должен ты быть прекрасным и держать зеркало перед своей собственной красотой.

Тогда твоя душа будет содрогаться от божественных вожелений — и поклонение будет в твоём тщеславии!

Это и есть тайна души: только когда герой покинул ее, приближается к ней, в сновидении, — сверхгерой. —

Так говорил Заратустра.

## О стране культуры

Слишком далеко залетел я в будущее; ужас напал на меня.

И, оглянувшись кругом, я увидел, что время было моим единственным современником.

Тогда бежал я назад домой — и спешил все быстрее; так пришел я к вам, вы, современники, и в страну культуры.

Впервые посмотрел я на вас как следует и с добрыми желаниями; поистине, с тоскою в сердце пришел я.

Но что случилось со мной? Как ни было мне страшно, — я должен был рассмеяться! Никогда не видел мой глаз ничего более пестро-испещренного!

Я все смеялся и смеялся, тогда как ноги мои и сердце дрожали: «ба, да тут родина всех красивых горшков!» — сказал я.

С лицами, обмазанными пятьюдесятью кляксами, — так сидели вы, к моему удивлению, вы, современники!

И с пятьюдесятью зеркалами вокруг себя, которые льстили и подражали игре ваших красок!

Поистине, вы не могли бы носить лучшей маски, вы, современники, чем ваши собственные лица! Кто бы мог вас — *узнать*!

Исписанные знаками прошлого, а поверх этих знаков замалеванные новыми знаками, — так сокрылись вы от всех толкователей!

И если даже быть испытующим утробы, кто поверил бы, что есть у вас утробы! Из красок кажетесь вы выпеченными и из склеенных клочков.

Все века и народы пестро выглядывают из-под ваших покровов; все обычаи и все верования пестроязычно глаголят в ваших жестах.

Если бы кто освободил вас от ваших покрывал, мантий, красок и жестов, — все-таки осталось бы у него достаточно, чтобы пугать этим птиц.

Поистине, я сам испуганная птица, однажды увидевшая вас нагими и без красок; и я улетаю, когда скелет стал подавать мне знаки любви.

Ибо скорее хотел бы я быть поденщиком в подземном мире и служить теням минувшего! — Тучнее и полнее вас обитатели подземного мира!

В том и горечь моей утробы, что ни нагими, ни одетыми не выношу я вас, вы, современники!

Все, что есть удушливого в будущем и что некогда пугало улетевших птиц, поистине более задушевно и внушает больше доверия, чем ваша «действительность».



*Белым волом хотел бы я его видеть, идущим, фыркая и мыча, впереди плуга, —  
и его мычание должно бы хвалить все земное!*



Ибо так говорите вы: «Мы всецело действительность, и притом без веры и суеверия»; так выпячиваете вы грудь — ах, даже и не имея груди!

Но как *могли бы* вы верить, вы, размалеванные! — вы, образа всего, во что некогда верили!

Вы — ходячее опровержение самой веры и раскромсание всяких мыслей. *Неправдоподобные* — так называю я вас, вы, сыны действительности!

Все времена пустословят друг против друга в ваших умах; но сны и пустословие всех времен были все-таки ближе к действительности, чем ваше бодрствование!

Бесплодны вы; *потому* и недостает вам веры. Но кто должен был созидать, у того были всегда свои вещие сны и звезды знамения — и верил он в веру! —

Вы — полуоткрытые ворота, у которых ждут могильщики. И вот *ваша* действительность: «Все стоит того, чтобы погибнуть».

Ах, вот стоите вы предо мной с торчащими ребрами! И многие из вас хорошо понимали это и сами.

И они говорили: «Кажется, Бог, пока спал я, что-то отнял у меня? Поистине, достаточно, чтобы сделать из этого самку!»

Удивительна скудость ребер моих!» — так говорили уже многие из людей настоящего.

Да, смех вызываете вы во мне, вы, современники! И в особенности когда вы удивляетесь сами себе!

И горе мне, если бы не мог я смеяться над вашим удивлением и должен был глотать все, что есть противного в ваших мисках!

Но я хочу отнестись к вам легче, ибо *нечто тяжелое* должен нести я; и что мне за дело, если жуки и летучие гады сядут на мою ношу!

Поистине, не станет же она от того тяжелее! И не от вас, вы, современники, должна прийти ко мне великая усталость. —

Ах, куда же еще подняться мне с моей тоской! Со всех гор высматриваю я страны отцов и матерей.

Но родины не нашел я нигде: тревожно мне во всех городах и рвусь я прочь из всех ворот.

Чужды мне и смешны современники; к ним еще недавно влекло меня сердце; и изгнан я из стран отцов и матерей.

Так что люблю я еще только *страну детей моих*, неоткрытую, лежащую в самых далеких морях; и пусть ищут и ищут ее мои корабли.

Своими детьми хочу я искупить то, что я сын своих отцов; и всем будущим — *это* настоящее! —

Так говорил Заратустра.

## О непорочном познании

Когда вчера взошел месяц, я думал, что он хочет родить солнце: так широко, как роженица, лежал он на горизонте.

Но он обманул меня своей беременностью; и скорее еще я поверю, что месяц — мужчина, чем что он — женщина.



*Бесплодны вы; потому и недостает вам веры*

Конечно, мало похож на мужчину этот застенчивый полуночник. Поистине, с нечистой совестью бродит он по крышам.

Ибо полон он похоти и ревности, этот монах в месяце, падок он до земли и всех радостей влюбленных.

Нет, я не люблю его, этого кота на крышах! Противны мне все, кто подкрадывается к полузакрытым окнам!

Набожно и молча бродит он по звездным коврам; но я не люблю мужских ног, ступающих тихо, на которых не звенят даже шпоры.

Праведна поступь любого правдивца; но кошка ходит по земле, крадучись. Взгляни, по-кошачьи восходит луна и нечестно. —

Это сравнение прилагаю я к вам, чувствительные лицемеры, к вам, ищущим «чистого познания»! Вас называю я — сластолюбцами!

Вы также любите землю и земное — я хорошо разгадал вас! — но стыд в вашей любви и нечистая совесть, — вы похожи на луну!

В презрении к земному убежден ваш дух, но не ваше нутро; а *оно* сильнейшее в вас!

И теперь стыдится ваш дух, что он угождает вашему нутру, и крадется путями лжи и обмана, чтобы не встретиться со своим собственным стыдом.

«Для меня было бы высшим счастьем — так говорит себе ваш пролагавшийся дух, — смотреть на жизнь без вожделений, а не как собака, с высунутым языком;

Быть счастливым в созерцании, с умершей волею, без приступов и алчности себя-любия, — холодным и серым всем телом, но с пьяными глазами месяца!

Для меня было бы лучшей долею — так соблазняет самого себя соблазненный, — любить землю, как любит ее месяц, и только одними глазами прикасаться к красоте ее.

И я называю *непорочным* познание всех вещей, когда я ничего не хочу от них, как только лежать перед ними, подобно зеркалу с сотнею глаз». —

О вы, чувствительные лицемеры, вы, сластолюбцы! Вам недостает невинности в вожделении; и вот почему клеветаете вы на вожделение!

Поистине, не как созидающие, производящие и радующиеся становлению любите вы землю!

Где есть невинность? Там, где есть воля к зачатию. И кто хочет созидать дальше себя, у того для меня самая чистая воля.

Где есть красота? Там, где *я должен хотеть* всю волею; где хочу я любить и погибнуть, чтобы образ не остался только образом.

Любить и погибнуть — это согласуется от вечности. Хотеть любви — это значит хотеть также смерти. Так говорю я вам, малодушные!

Но вот же хочет ваше скопческое косоглазие называться «созерцанием»! А к чему можно прикоснуться трусливым глазом, должно быть окрещено именем «прекрасного»! О вы, осквернители благородных имен!

Но в том проклятие ваше, вы, незапятнанные, вы, ищущие чистого познания, что никогда не родите вы, хотя бы широко, как роженица, и лежали вы на горизонте!

И поистине, ваши уста полны благородных слов; и мы должны верить, что и сердце ваше переполнено, вы, лжецы?

Но *мои* слова — слова невзрачные, презрительные и простые; и я люблю подбирать то, что на ваших пиршествах падает под стол.



Все-таки я могу сказать истину им — лицемерам! Да, мои рыбы косточки, раковины и колючие листья должны — щекотать носы лицемерам!

Дурной запах всегда вокруг вас и ваших пиршеств: ибо ваши похотливые мысли, ваша ложь и притворство висят в воздухе!

Рискните же сперва поверить самим себе — себе и своему нутру! Кто не верит себе самому, всегда лжет.

Личиною Бога прикрылись вы перед самими собой, вы, «чистые»: в личине Бога укрылся ужасный кольчатый червь ваш.

Поистине, вы обманываете, вы, «созерцающие»! Даже Заратустра был некогда обманут божественной пленкой вашей; не угадал он, какими змеиными кольцами была набита она.

Душу Бога мечтал я некогда видеть играющей в ваших играх, вы, ищущие чистого познания! О лучшем искусстве не мечтал я никогда, чем ваши искусства!

Нечисть змеиную, и дурной запах скрывала от меня даль, и что хитрость ящерицы похотливо ползала здесь.

Но я подошел к вам *ближе*: тогда наступил для меня день — и теперь наступает он для вас, — кончились похождения месяца!

Взгляните на него! Застигнутый, бледный стоит он — пред утренней зарей!

Ибо оно уже близко, огненное светило, — *его* любовь приближается к земле! Невинность и жажда творца — вот любовь всякого солнца!

Смотрите же на него, как оно нетерпеливо подымается над морем! Разве вы не чувствуете жадного, горячего дыхания любви его?

Морем хочет упиться оно и впить глубину его к себе на высоту — и тысячью грудей поднимается к нему страстное море.

Ибо оно *хочет*, чтобы солнце целовало его и упивалось им; оно *хочет* стать воздухом, и высотой, и стезею света, и самим светом!

Поистине, подобно солнцу, люблю я жизнь и все глубокие моря.

И для меня в том познание, чтобы все глубокое поднялось — на мою высоту! —

Так говорил Заратустра.

## Об ученых

Пока я спал, овца принялась объедать венок из плюща на моей голове, — и, объедая, она говорила: «Заратустра не ученый больше».

И, сказав это, она чванливо и гордо отошла в сторону. Ребенок рассказал мне об этом.

Люблю я лежать здесь, где играют дети, вдоль развалившейся стены, среди чертополоха и красного мака.

Я все еще ученый для детей, а также для чертополоха и красного мака. Невинны они, даже в своей злобе.

Но для овец я уже перестал быть ученым: так хочет моя судьба — да будет она благословенна!

Ибо истина в том, что ушел я из дома ученых, и еще захлопнул дверь за собою.

Слишком долго сидела моя душа голодной за их столом; не научился я, подобно им, познанию, как щелканью орехов.



Простор люблю я и воздух над свежей землей; лучше буду спать я на воловьих шкурах, чем на званиях и почестях их.

Я слишком горяч и сгораю от собственных мыслей; часто захватывает у меня дыхание. Тогда мне нужно на простор, подальше от всех запыленных комнат.

Но они прохлаждаются в прохладной тени: они хотят во всем быть только зрителями и остерегаются сидеть там, где солнце жжет ступни.

Подобно тем, кто стоит на улице и глазест на проходящих, так ждут и они и глазят на мысли, продуманные другими.

Если дотронуться до них руками, от них невольно поднимается пыль, как от мучных мешков; но кто же подумает, что пыль их идет от зерна и от золотых даров нивы?

Когда выдают они себя за мудрых, меня знобит от мелких изречений и истин их; часто от мудрости их идет запах, как будто она исходит из болота; и поистине, я слышал уже, как лягушка квакала в ней!

Ловки они, и искусные пальцы у них — что мое своеобразие при многообразии их! Всякое вдевание нитки и тканье и вязанье знают их пальцы: так вяжут они чулки духа!

Они хорошие часовые механизмы; нужно только правильно заводить их! Тогда показывают они безошибочно время и производят при этом легкий шум.

Подобно мельницам, работают они и стучат: только подбрасывай им свои зерна! — они уж сумеют измельчить их и сделать белую пыль из них.

Они зорко следят за пальцами друг друга и не слишком доверяют один другому. Изобретательные на маленькие хитрости, подстерегают они тех, у кого хромает знание, — подобно паукам, подстерегают они.

Я видел, как они всегда с осторожностью приготавливают яд; и всегда надевали они при этом стеклянные перчатки на пальцы.

Также в поддельные кости умеют они играть; и я заставлял их играющими с таким жаром, что они при этом потели.

Мы чужды друг другу, и их добродетели противны мне еще более, чем лукавства и поддельные игральные кости их.

И когда я жил у них, я жил над ними. Оттого и невзлюбили они меня.

Они и слышать не хотят, чтобы кто-нибудь ходил над их головами; и потому наложили они деревья, земли и сору между мной и головами их.

Так заглушали они шум от моих шагов; и хуже всего слушали меня до сих пор самые ученые среди них.

Все ошибки и слабости людей нагромождали они между собою и мной: «черным полом» называют они это в своих домах.

И все-таки хожу я со своими мыслями *над* головами их; и даже если бы я захотел ходить по своим собственным ошибкам, все-таки был бы я над ними и головами их.

Ибо люди *не* равны — так говорит справедливость. И чего я хочу, они не имели бы права хотеть! —

Так говорил Заратустра.



*Невинность и жажда творца — вот любовь всякого солнца!*

## О поэтах

«С тех пор как лучше знаю я тело, — сказал Заратустра одному из своих учеников, — дух для меня только как бы дух; а все, что «не преходит», — есть только символ».

«Это слышал я уже однажды от тебя, — отвечал ученик, — и тогда ты прибавил еще: «но поэты слишком много лгут». Почему же сказал ты, что поэты слишком много лгут?»

«Почему? — повторил Заратустра. — Ты спрашиваешь, почему? Но я не принадлежу к тем, у кого можно спрашивать об их «почему».

Разве переживания мои начались со вчерашнего дня? Давно уже пережил я основания своих мнений.

Мне пришлось бы быть бочкой памяти, если бы хотел я хранить все основания своих мнений.

Уже и это слишком много для меня — самому хранить свои мнения; и много птиц улетает уже.

И среди них нахожу я и залетного зверька в моей голубятне, он мне чужой и дрожит, когда я кладу на него свою руку.

Но что же сказал тебе однажды Заратустра? Что поэты слишком много лгут? — Но и Заратустра — поэт.

Веришь ли ты, что сказал он здесь правду? Почему веришь ты этому?»

Ученик отвечал: «Я верю в Заратустру». Но Заратустра покачал головой и улыбнулся.

Вера не делает меня блаженным, — сказал он, — особенно вера в меня.

Но положим, что кто-нибудь совершенно серьезно сказал бы, что поэты слишком много лгут; он был бы прав — *мы* лжем слишком много.

Мы знаем слишком мало и дурно учимся, поэтому и должны мы лгать.

И кто же из нас, поэтов, не разбавлял бы своего вина? Многие ядовитые смеси приготавливались в наших погребках; многое, чего нельзя описать, осуществлялось там.

И так как мы мало знаем, то нам от души нравятся нищие духом, особенно если это молодые бабенки.

И даже падки мы к тому, о чем старые бабенки рассказывают себе по вечерам. Это называем мы сами вечной женственностью в нас.

И как будто существует особый, тайный доступ к знанию, *скрытый* для тех, кто чему-нибудь учится: так верим мы в народ и «мудрость» его.

Все поэты верят, что если кто-нибудь, лежа в траве или в уединенной роще, наводит уши, то узнает кое-что о вещах, находящихся между небом и землею.

И когда находят на поэтов приливы нежности, они всегда думают, что сама природа влюблена в них —

И что она подкрадывается к их ушам, чтобы нашептывать им таинственные, влюбленные, лстивые речи, — этим гордятся и чванятся они перед всеми смертными!

Ах, есть так много вещей между небом и землей, мечтать о которых позволяли себе только поэты!

И особенно *выше* неба: ибо все боги суть сравнения и хитросплетения поэтов!

Поистине, нас влечет всегда вверх — в царство облаков: на них сажаем мы своих пестрых баловней и называем их тогда богами и сверхчеловеками —





*Они хорошие часовые механизмы; нужно только правильно заводить их!*



Ибо достаточно легки они для этих седалищ! — все эти боги и сверхчеловеки.

Ах, как устал я от всего недостижимого, что непременно хочет быть событием! Ах, как устал я от поэтов!

Пока Заратустра так говорил, сердился на него ученик его, но молчал. Молчал и Заратустра; но взор его обращен был внутрь, как будто глядел он в глубокую даль. Наконец он вздохнул и перевел дух.

Я — от сегодня и от прежде, — сказал он затем, — но есть во мне нечто, что от завтра, от послезавтра и от когда-нибудь.

Я устал от поэтов, древних и новых: поверхностны для меня они все и мелководны.

Они недостаточно вдумались в глубину; потому и не опускалось чувство их до самого дна.

Немного похоти и немного скуки — таковы еще лучшие мысли их.

Дуновением и бегом призраков кажутся мне все звуки их арф; что знали они до сих пор о зное душевном, рождающем звуки!

Они для меня недостаточно опрятны: все они мутят свою воду, чтобы глубокой казалась она.

И они любят выдавать себя за примирителей; но посредниками и смесителями остаются они для меня и половинчатыми и неопрятными.

Ах, я закидывал свою сеть в их моря, желая наловить хороших рыб, но постоянно вытаскивал я голову какого-нибудь старого бога.

Так алчущему давало море камень. И сами они могли бы вполне произойти из моря.

Несомненно, попадают перлы у них; тем более похожи сами они на твердые раковины. И часто вместо души находил я у них соленую тину.

У моря научились они тщеславию его: не есть ли море павлин из павлинов?

Даже перед самым безобразным из всех буйволов распускает оно свой хвост, и никогда не устает оно играть своим веером из кружев, шелка и серебра.

Тупо смотрит буйвол, в своей душе близкий к песку, еще более близкий к тине, но приближающийся больше всего к болоту.

Что ему красота, и море, и убранство павлина! Это сравнение привожу я поэтам.

Поистине, самый дух их — павлин из павлинов и море тщеславия!

Зрителей требует дух поэта — хотя бы были то буйволы!

Но я устал от этого духа; и я предвижу время, когда он устанет от самого себя.

Я видел уже поэтов изменившимися и направившими взоры на самих себя.

Я видел приближение кающихся духом: они выросли из них. —

Так говорил Заратустра.

## О великих событиях

Есть остров на море — недалеко от блаженных островов Заратустры, — на нем постоянно дымится огнедышащая гора; народ и особенно старые бабы из народа говорят об этом острове, что он привален, подобно камню, перед вратами преисподней; а в самом-де вулкане проходит вниз узкая тропинка, ведущая к этим вратам преисподней.



*Я устал от поэтов, древних и новых: поверхностны для меня они все и мелководны*

В ту пору, как Заратустра пребывал на блаженных островах, случилось, что корабль бросил якорь у острова, где стоит дымящаяся гора; и люди его сошли на берег, чтобы пострелять кроликов. Но около полудня, когда капитан и люди его снова собрались вместе, увидели они вдруг человека, идущего к ним по воздуху, и какой-то голос сказал явственно: «пора! давно пора!» Когда же видение было совсем близко к ним — оно быстро пролетело мимо них, подобно тени, в направлении, где была огненная гора, — тогда узнали они, к величайшему смущению, что это — Заратустра; ибо все они уже видели его, за исключением самого капитана, и любили его, как любит народ: мешая поровну любовь и страх.

«Смотрите, — сказал старый кормчий, — это Заратустра отправляется в ад!»

В то же самое время, как эти корабельщики пристали к огненному острову, разнесся слух, что Заратустра исчез; и когда спрашивали друзей его, они рассказывали, что он ночью сел на корабль, не сказав, куда хочет он ехать.

Так возникло смятение, а через три дня к этому смятению присоединился еще рассказ корабельщиков — и теперь весь народ говорил, что черт унес Заратустру. Хотя ученики его смеялись над этой болтовней, и один из них сказал даже: «Я думаю, что скорее Заратустра унес черта». Но в глубине души все были озабочены и желали скорее увидеть его; как же велика была их радость, когда на пятый день Заратустра появился среди них.

И вот рассказ о беседе Заратустры с огненным псом.

Земля, сказал он, имеет оболочку; и эта оболочка поражена болезнями. Одна из этих болезней называется, например: «человек».

А другая из этих болезней называется «огненный пес»: *о нем* люди много лгали и позволяли лгать.

Чтобы изведать эту тайну, перешел я море — и я увидел истину нагою, поистине! нагою — необутою до самого горла.

Теперь я знаю, что это за огненный пес; а также все бесы извержения и возмущения, которых боятся не одни только старые бабы.

«Выходи, огненный пес, из своей бездны! — кричал я. — И сознайся, как глубока эта глубина! Откуда это ты фыркаешь вверх?»

Ты пьешь обильно у моря: это видно по соли твоего красноречия! Поистине, для пса из бездны берешь ты слишком много пищи с поверхности!

Самое большее, я считаю тебя чревоушателем земли; и всякий раз, когда я слышал речи бесов возмущения и извержения, находил я их похожими на тебя: с твоей же солью, ложью и плоскостью.

Вы умеете рычать и засыпать пеплом. Вы большие хвастуны и вдосталь изучили искусство нагревать тину, чтобы она закипала.

Где вы, там непременно должна быть поблизости тина и много губчатого, пористого и защемленного; все это рвется на свободу.

«Свобода» вопите вы все особенно охотно; но я разучился верить в «великие события», коль скоро вокруг них много шума и дыма.

И поверь мне, друг мой, адский шум! Величайшие события — это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы.

Не вокруг изобретателей нового шума — вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир; *неслышно* вращается он.

И сознайся только! Мало оказывалось всегда совершившегося, когда твой шум и дым рассеивались. Что толку, если город превращается в мумию и колонна лежит в грязи!

И вот что скажу я еще разрушителям колонн. Несомненно, это величайшее безумие — бросать соль в море и колонны в грязь.

В грязи вашего презрения лежала колонна; но таков закон ее, что для нее из презрения вырастает новая жизнь и живая красота.

Теперь в божественном ореоле восстает она, еще более обольстительная в своем страдании; и поистине! она еще поблагодарит вас, что вы низвергли ее, вы, разрушители!

Такой совет даю я царям, и церквам, и всему одряхлевшему от лет и от добродетели — дайте только низвергнуть себя! Чтобы опять вернулись вы к жизни и к вам — добродетель!»

Так говорил я перед огненным псом; но он ворчливо прервал меня и спросил: «Церковь? Что это такое?»

«Церковь? — отвечал я. — Это род государства, и притом самый лживый. Но молчи, лицемерный пес! Ты знаешь род свой лучше других!

Как и ты сам, государство есть пес лицемерия; как и ты, любит оно говорить среди дыма и грохота, — чтобы заставить верить, что, подобно тебе, оно вещает из чрева вещей.

Ибо оно хочет непременно быть самым важным зверем на земле, государство; и в этом также верят ему».

И как только сказал я это, огненный пес, как бешеный, стал извиваться от зависти. «Как, — кричал он, — самым важным зверем на земле? И в этом также верят ему?» И столько дыму и ужасных криков выходило из его глотки, что я думал, что он задохнется от гнева и зависти.

Наконец он умолк, и уменьшилось его пыхтение; но как только он умолк, сказал я со смехом:

«Ты сердишься, огненный пес, — значит, я прав относительно тебя!

И чтобы оставался я правым, послушай о другом огненном псе: он говорит действительно из сердца земли.

Дыхание его из золота и золотого дождя: так хочет сердце его. Что ему до пепла, дыма и горячей слизи!

Смех выпархивает из него, как пестрые тучки; противны ему твое бурчанье, твое плеванье и истерзанные потроха твои!

Но золото и смех — берет он из сердца земли, ибо, чтобы знал ты наконец, — *сердце земли из золота*».

Когда услышал это огненный пес, он не выдержал, чтобы дослушать меня. Пристыженный, поджал он хвост, трусливо проговорил гав, гав! и уполз вниз, в свою пещеру. —

Так рассказывал Заратустра. Но ученики его едва слушали его: так велико было их желание рассказать ему о людях с корабля, о кроликах и о летающем человеке.

«Что мне думать об этом! — сказал Заратустра. — Разве я призрак?

Но вероятно, это была моя тень. Вы, должно быть, кое-что уже слышали о страннике и тени его?



Несомненно одно: нужно, чтобы я держал ее крепче, — иначе она еще испортит мою славу».

И снова Заратустра качал головой и дивился. «Что мне думать об этом!» — повторял он.

«Почему же кричал призрак: «пора! Давно пора!»

*Почему же — давно пора?»*

Так говорил Заратустра.

## Прорицатель

«— и я видел, наступило великое уныние среди людей. Лучшие устали от своих дел.

Объявилось учение, и рядом с ним семенила вера в него: «Все пусто, все равно, все уже было!»

И эхо вторило со всех холмов: «Все пусто, все равно, все уже было!»

Правда, собрали мы жатву; но почему же сгнили и почернели наши плоды? Что упало со злого месяца в последнюю ночь?

Напрасен был всякий труд, в отраву обратилось наше вино, дурной глаз спалил наши поля и наши сердца.

Все мы иссохли; и если бы огонь упал на нас, мы бы рассыпались, как пепел, — но даже огонь утомили мы.

Все источники иссякли, и даже море отступило назад. Земля хочет треснуть, но бездна не хочет поглотить!

«Ах, есть ли еще море, где бы можно было утонуть»: так раздается наша жалоба — над плоскими болотами.

Поистине, мы уже слишком устали, чтобы умереть; и мы еще бодрствуем и продолжаем жить — в склепах!»

Так говорящим слышал Заратустра одного прорицателя; и его предсказания проникли в сердце его и изменили его. Печальный и усталый бродил он; и он стал похож на тех, о ком говорил прорицатель.

Поистине, — сказал он своим ученикам, — еще немного, и наступят эти долгие сумерки. Ах, как спасу я от них мой свет!

Чтобы не потух он среди этой печали! Для дальних миров он должен быть светом и для самых далеких ночей!

Так опечаленный в сердце ходил Заратустра; и три дня не принимал он ни пищи, ни питья, не имел покоя и потерял речь. Наконец случилось, что впал он в глубокий сон. Ученики же его сидели вокруг него, бодрствуя долгими ночами, и с беспокойством ждали, не проснется ли он, не заговорит ли опять и не выздоровеет ли от своей печали.

Вот речь, которую сказал Заратустра, когда проснулся; голос его доходил до учеников как бы издалека:

«Послушайте сон, который я видел, вы, друзья, и помогите мне отгадать его смысл!

Все еще загадка для меня этот сон; его смысл скрыт в нем и пленен и не витает еще свободно над ним.



*Но золото и смех — берет он из сердца земли, ибо, чтобы знал ты наконец, —  
сердце земли из золота*

Я отрешился от всякой жизни, так снилось мне. Я сделался ночным и могильным сторожем в замке Смерти, на одинокой горе.

Там охранял я гробы ее; мрачные своды были полны трофеями побед ее. Из стеклянных гробов смотрела на меня побежденная жизнь.

Запах запыленной вечности вдыхал я; в удушьи и пыли поникла моя душа. И кто же мог бы проветрить там свою душу!

Свет полуночи был всегда вокруг меня, одиночество на корточках сидело рядом с ним; и еще хрипящая мертвая тишина, худшая из моих подруг.

Ключи носил я с собой, самые заржавленные из всех ключей; и я умел отворять ими самые скрипучие из всех ворот.

Подобно зловещему карканью, пробегали звуки по длинным ходам, когда поднимались затворы ворот: зловеще кричала эта птица, неохотно давала она будить себя.

Но было еще ужаснее и еще сильнее сжималось мое сердце, когда все замолкало, и кругом водворялась тишина, и я один сидел в этом коварном молчании.

Так медленно тянулось время, если время еще существовало: почему знаю я это! Но наконец случилось то, что меня разбудило.

Трижды ударили в ворота, как громом, трижды зазвучали и заревели своды в ответ; тогда пошел я к воротам,

Альпа! — кричал я, — кто несет свой прах на гору? Альпа! альпа! Кто несет свой прах на гору?

И я нажимал ключ и напирал на ворота, стараясь отворить их. Но они не отворялись ни на палец.

Тогда бушующий ветер распахнул створы их: свистя, крича, разрезая воздух, бросил он мне черный гроб.

И среди шума, свиста и пронзительного воя раскололся гроб, и из него раздался смех на тысячу ладов.

И тысяча гримас детей, ангелов, сов, глупцов и бабочек величиной с ребенка смеялись и издевались надо мной и неслись на меня.

Страшно испугался я и упал наземь. И я закричал от ужаса, как никогда не кричал.

Но собственный крик разбудил меня — и я пришел в себя». —

Так рассказывал Заратустра свой сон и потом умолк: ибо он не знал еще значения своего сна. Но ученик, которого он любил больше всех, быстро поднялся, схватил руку Заратустры и сказал:

«Сама твоя жизнь объясняет нам сон этот, о Заратустра!

Не ты ли сам этот ветер, с пронзительным свистом распахивающий ворота в замке Смерти?

Не ты ли сам этот гроб, наполненный многоцветной злобою и ангельскими гримасами жизни?

Поистине, подобно детскому смеху на тысячу ладов, входит Заратустра во все склепы, смеясь над ночными и могильными сторожами и над всеми, кто гремит ржавыми ключами.

Пугать и опрокидывать будешь ты их своим смехом; обморок и пробуждение докажут твою власть над ними.

И даже когда наступят долгие сумерки и усталость смертельная, ты не закатаешься на нашем небе, ты, защитник жизни!





*И среди шума, свиста и пронзительного воя раскололся гроб, и из него раздался смех  
на тысячу ладов*



Новые звезды и новое великолепие ночи показал ты нам; поистине, самый смех раскинул ты над нами многоцветным шатром.

Отныне детский смех всегда будет бить ключом из гробов; отныне всегда будет дуть могучий ветер, торжествующий над смертельной усталостью: в этом ты сам нам порука и предсказатель.

Поистине, *самых врагов своих видел ты во сне* — это был твой самый тяжелый сон!

Но как ты проснулся от них и пришел в себя, так и они должны проснуться от себя самих — и прийти к тебе!»

Так говорил ученик; и все остальные теснились к Заратустре, хватали руки его и хотели его убедить оставить ложе и печаль и вернуться к ним. Заратустра же сидел, приподнявшись на своем ложе и с отсутствующим взором. Подобно тому, кто возвращается после долгого отсутствия, смотрел он на своих учеников, вглядываясь в их лица и еще не узнавал их. Но когда они подняли его и поставили на ноги, изменился сразу взор его; он понял все, что случилось, и, глядя себе бороду, сказал твердым голосом:

«Ну что ж, это придет в свое время; но позаботьтесь, ученики мои, чтобы был у нас хороший обед, и поскорей! Так думаю я искупить дурные сны!

Прорицатель же должен есть и пить рядом со мною: и поистине, я покажу ему еще море, в котором может он утонуть!»

Так говорил Заратустра. И он долго смотрел в лицо ученику, объяснившему сон, и качал при этом головою.

## Об избавлении

Однажды, когда Заратустра проходил по большому мосту, окружили его калеки и нищие, и один горбатый так говорил ему:

«Посмотри, Заратустра! Даже народ учится у тебя и приобретает веру в твое учение; но чтобы совсем уверовал он в тебя, для этого нужно еще одно — ты должен убедить еще нас, калек! Здесь у тебя прекрасный выбор и поистине случай с многими шансами на неупущение. Ты можешь исцелять слепых и заставлять бегать хромых, и ты мог бы поубавить кое-что и у того, у кого слишком много за спиной; — это, думаю я, было бы прекрасным средством заставить калек уверовать в Заратустру!»

Но Заратустра так возразил говорившему: «Когда снимают у горбатого горб его, у него отнимают и дух его — так учит народ. И когда возвращают слепому глаза его, он видит на земле слишком много дурного — так что он проклинает исцелившего его. Тот же, кто дает возможность бегать хрому, наносит ему величайший вред: ибо едва ли он сможет бежать так быстро, чтобы пороки не опережали его, — так учит народ о калеках. И почему бы Заратустре не учиться у народа, если народ учится у Заратустры?

Но с тех пор как живу я среди людей, для меня это еще наименьшее зло, что вижу я: «одному недостает глаза, другому — уха, третьему — ноги; но есть и такие, что утратили язык, или нос, или голову».

Я вижу и видел худшее и много столь отвратительного, что не обо всем хотелось бы говорить, а об ином хотелось бы даже умолчать: например, о людях, которым недостает всего, кроме избытка их, — о людях, которые не что иное, как один большой

глаз, или один большой рот, или одно большое брюхо, или вообще одно что-нибудь большое, — калекami наизнанку называю я их.

И когда я шел из своего уединения и впервые проходил по этому мосту, я не верил своим глазам, непрерывно смотрел и наконец сказал: «Это — ухо! Ухо величиною с человека!» Я посмотрел еще пристальнее: и действительно, за ухом двигалось еще нечто, до жалости маленькое, убогое и слабое. И поистине, чудовищное ухо сидело на маленьком, тонком стебле — и этим стеблем был человек! Вооружась лупой, можно было даже разглядеть маленькое завистливое личико, а также отечную душонку, которая качалась на стебле этом. Народ же говорил мне, что большое ухо не только человек, но даже великий человек, гений. Но никогда не верил я народу, когда говорил он о великих людях, — и я остался при убеждении, что это — калеска наизнанку, у которого всего слишком мало и только одного чего-нибудь слишком много».

Сказав так горбату и тем, для кого он был рупором и ходатаем, Заратустра обратился с глубоким негодованием к своим ученикам и сказал:

Поистине, друзья мои, я хожу среди людей, как среди обломков и отдельных частей человека!

Самое ужасное для взора моего — это видеть человека раскромсанным и разбросанным, как будто на поле кровопролитного боя и бойни.

И если переносится мой взор от настоящего к прошлому, всюду находит он то же самое: обломки, отдельные части человека и ужасные случайности — и ни одного человека!

Настоящее и прошлое на земле — ах! друзья мои, это и есть самое невыносимое для меня; и я не мог бы жить, если бы не был я провидцем того, что должно прийти.

Провидец, хотящий, созидающий, само будущее и мост к будущему — и ах, как бы калески на этом мосту: все это и есть Заратустра.

И вы также часто спрашивали себя: «Кто для нас Заратустра? Как должны мы называть его?» И, как у меня, ваши ответы были вопросами.

Есть ли он обещающий? Или исполняющий? Завоевывающий? Или наследующий? Осень? Или плут? Врач? Или выздоравливающий?

Поэт ли он? Говорит ли он истину? Освободитель? Или укротитель? Добрый? Или злой?

Я хожу среди людей, как среди обломков будущего, — того будущего, что вижу я.

И в том мое творчество и стремление, чтобы собрать и соединить воедино все, что является обломком, загадкой и ужасной случайностью.

И как мог бы я быть человеком, если бы человек не был также поэтом, отгадчиком и избавителем от случая!

Спасти тех, кто миновали, и преобразовать всякое «было» в «так хотел я» — лишь это я назвал бы избавлением!

Воля — так называется освободитель и вестник радости; так учил я вас, друзья мои! А теперь научитесь еще: сама воля еще пленница.

«Хотеть» освобождает — но как называется то, что и освободителя заковывает еще в цепи?

«Было» — так называется скрежет зубовой и сокровенное горе воли. Бессильная против того, что уже сделано, она — злобная зрительница всего прошлого.

Обратно не может воля хотеть; что не может она победить время и остановить движение времени, — в этом сокровенное горе воли.

«Хотеть» освобождает; чего только ни придумывает сама воля, чтобы освободиться от своего горя и посмеяться над своим тюремщиком?

Ах, безумцем становится каждый пленник! Безумством освобождает себя и плененная воля.

Что время не бежит назад, — в этом гнев ее; «было» — так называется камень, которого не может катить она.

И вот катит она камни от гнева и досады и мстит тому, кто не чувствует, подобно ей, гнева и досады.

Так стала воля, освободительница, причинять страдание: и на всем, что может страдать, вымещает она, что не может вернуться вспять.

Это, и только это, есть само *мщение*: отвращение воли ко времени и к его «было».

Поистине, великая глупость живет в нашей воле, и проклятием стало всему человеческому, что эта глупость научилась духу.

*Дух мщения*: друзья мои, он был до сих пор лучшей мыслью людей; и где было страдание, там всегда должно было быть наказание.

«Наказание» — именно так называет само себя мщение: с помощью лживого слова оно притворяется чистой совестью.

И так как в самом хотящем есть страдание, что не может он обратно хотеть, — то и сама воля, и вся жизнь должны бы быть — наказанием!

И вот туча за тучей собрались над духом — пока наконец безумие не стало проповедовать: «Все преходит, и потому все достойно того, чтобы прейти!»

И самой справедливостью является тот закон времени, чтобы оно пожирало своих детей, — так проповедовало безумие.

Нравственно все распределено по праву и наказанию. Ах, где же избавление от потока вещей и от наказания «существованием»? Так проповедовало безумие.

Может ли существовать избавление, если существует вечное право? Ах, недвижим камень «было»: вечными должны быть также все наказания. Так проповедовало безумие.

Никакое деяние не может быть уничтожено: как могло бы оно быть несделанным через наказание! В том именно вечное в наказании «существованием», что существование вечно должно быть опять деянием и виной!

Пока наконец воля не избавится от себя самой и не станет отрицанием воли, — но ведь вы знаете, братья мои, эту басню безумия!

Прочь вел я вас от этих басен, когда учил вас: «Воля есть созидательница».

Всякое «было» есть обломок, загадка, ужасная случайность, пока созидаящая воля не добавит: «Но так хотела я!»

— Пока созидаящая воля не добавит: «Но так хочу я! Так захочу я!»

Но говорила ли она уже так? И когда это случается? Распряжена ли уже воля от своего собственного безумия?

Стала ли уже воля избавительницей себя самой и вестницей радости? Забыла ли она дух мщения и всякий скрежет зубовой?

И кто научил ее примирению со временем и высшему, чем всякое примирение?

Высшего, чем всякое примирение, должна хотеть воля, которая есть воля к власти, — но как это может случиться с ней? Кто научит ее хотеть обратно?

— Но на этом месте речи Заратустра вдруг остановился и стал ходить по страшно испугавшегося. Испуганными глазами смотрел он на своих учеников; взор





*И вот туча за тучей собралися над духом...*



его, как стрела, пронизывал их мысли и тайные помыслы. Но минуту спустя он уже опять смеялся и сказал добродушно:

«Трудно жить с людьми, ибо трудно хранить молчание. Особенно для болтлив-го».

Так говорил Заратустра. Но горбатый прислушивался к разговору и закрыл при этом свое лицо; когда же он услышал, что Заратустра смеется, он с любопытством взглянул на него и проговорил медленно:

«Почему Заратустра говорит с нами иначе, чем со своими учениками?»

Заратустра отвечал: «Что ж тут удивительного! С горбатыми надо говорить по-горбато-му!»

«Хорошо, — сказал горбатый, — а ученикам надо разбалтывать тайны.

Но почему говорит Заратустра иначе к своим ученикам, чем к самому себе?»

## О человеческой мудрости

Не высота: склон есть нечто ужасное!

Склон, где взор стремительно падает *вниз*, а рука тянется вверх. Тогда трепещет сердце от двойного желания своего.

Ах, друзья, угадываете ли вы и двойную волю моего сердца?

В том склон для *меня* и опасность, что взор мой устремляется в высоту, а рука моя хотела бы держаться и опираться — на глубину!

За человека цепляется воля моя, цепями связываю я себя с человеком, ибо влечет меня ввысь, к сверхчеловеку: ибо к нему стремится другая воля моя.

И *потому* живу я слепым среди людей; как будто не знаю я их, чтобы моя рука не утратила совсем своей веры в нечто твердое.

Я не знаю вас, люди: эта тьма и это утешение часто окружают меня.

Я сижу у проезжих ворот, доступный для каждого плута, и спрашиваю: кто хочет меня обмануть?

Моя первая человеческая мудрость в том, что я позволяю себя обманывать, чтобы не быть настороже от обманщиков.

Ах, если бы я был настороже от человека, — как бы мог человек быть тогда якорем для воздушного шара моего! Слишком легко оторвался бы я, увлекаемый вверх и вдале!

Таково уж провидение над моею судьбой, что без предвидения должен я быть.

И кто среди людей не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из всех стаканов; и кто среди людей хочет остаться чистым, должен уметь мыться и грязной водой.

И часто так говорил я себе в утешение: «Ну, подымайся, старое сердце! Несчастье не удалось тебе: наслаждайся этим — как своим счастьем!»

Моя вторая человеческая мудрость в том, что больше щажу я *тщеславных*, чем гордых.

Не есть ли оскорбленное тщеславие мать всех трагедий? Но где оскорблена гордость, там вырастает еще нечто лучшее, чем гордость.

Чтобы приятно было смотреть на жизнь, надо, чтобы ее игра хорошо была сыграна, — но для этого нужны хорошие актеры.



*За человека цепляется воля моя, цепями связываю я себя с человеком,  
ибо влечет меня ввысь, к сверхчеловеку...*

Хорошими актерами находил я всех тщеславных: они играют и хотят, чтобы все смотрели на них с удовольствием, — весь дух их в этом желании.

Они исполняют себя, они выдумывают себя; вблизи их люблю я смотреть на жизнь — это исцеляет от тоски.

Потому и щажу я тщеславных, что они врачи моей тоски и привязывают меня к человеку, как к зрелищу.

И потом: кто измерит в тщеславном всю глубину его скромности! Я люблю его, и мне его жаль из-за его скромности.

У вас хочет он научиться своей вере в себя; он питается вашими взглядами, он ест хвалу из ваших рук.

Даже вашей лжи верит он, если вы лжете во хвалу ему, — ибо в глубине вздыхает его сердце: «Что я такое!»

И если истинная добродетель та, что не знает о себе самой, — то и тщеславный не знает о своей скромности!

Моя третья человеческая мудрость в том, что ваша боязливость не делает для меня противным вид злых людей.

Я счастлив при виде чудес, порождаемых знойным солнцем: при виде тигра, пальм и гремучих змей.

Так и среди людей есть прекрасный приплод знойного солнца, и у злых есть много чудесного.

И как мудрейшие среди вас не казались мне такими уж мудрыми, так нашел я и злобу людей в молве о ней.

И часто спрашивал я, качая головой: к чему еще гремите вы, гремучие змеи?

Поистине, даже для зла есть еще будущее! И самый знойный юг не открыт еще для человека.

Сколь многое называют теперь худшей злобою, что имеет всего двенадцать футов в ширину и три месяца в длину! Но некогда придут в мир гораздо большие драконы.

Чтобы сверхчеловек не был лишен своего дракона, сверхдракона, достойного его, — надо, чтобы знойное солнце долго еще пылало над влажным девственным лесом!

Из ваших диких кошек должны вырасти сперва тигры, из ваших ядовитых жаб — крокодилы: ибо у доброго охотника должна быть и добрая охота!

И поистине, вы, добрые и праведные! В вас есть много смешного и особенно ваш страх перед тем, что до сих пор называли «дьяволом»!

Так чужда ваша душа всего великого, что вам сверхчеловек был бы *страшен* в своей доброте!

И вы, мудрые и знающие, вы бежали бы от солнечного зноя той мудрости, в которой сверхчеловек купает с радостью свою наготу.

Вы, высшие люди, каких встречал мой взор! в том сомнение мое в вас и тайный смех мой: я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека — дьяволом!

Ах, устал я от этих высших и лучших: с «высоты» их потянуло меня выше, дальше от них, к сверхчеловеку!

Ужас напал на меня, когда увидел я нагими этих лучших людей; тогда выросли у меня крылья, чтобы унести в далекое будущее.

В далекое будущее, в более южные страны, о каких не мечтал еще ни один художник: туда, где боги стыдятся всяких одежд!

Но переодетыми хочу видеть я *вас*, о братья и ближние мои, и наряженными, тщеславными и гордыми, в качестве «добрых и праведных».

И переодетым хочу я сам сидеть среди вас — чтобы *не узнавать* вас и себя: в этом моя последняя человеческая мудрость. —

Так говорил Заратустра.

### Самый тихий час

Что случилось со мною, друзья мои? Вы видите меня расстроенным, изгнанным, повинующимся против воли, готовым уйти — ах, уйти подальше от *вас*!

Да, еще один раз должен Заратустра вернуться в свое уединение: но неохотно возвращается на этот раз медведь в свою берлогу!

Что случилось со мною? Кто обязывает меня к этому? — Ах, этого хочет мой гневный повелитель, он говорил ко мне; называл ли я вам когда-нибудь имя его?

Вчера вечером говорил ко мне мой *самый тихий час* — вот имя ужасного повелителя моего.

И случилось это так — ибо я должен сказать вам все, чтобы ваше сердце не ожесточилось против внезапно удаляющегося!

Знаете ли вы испуг засыпающего? —

До пальцев своих ног пугается он, ибо почва уходит из-под ног его и начинается сон.

Это говорю я вам для сравнения. Вчера, в самый тихий час, почва ушла из-под моих ног: сон начался.

Стрелка подвинулась, часы моей жизни перевели дух, — никогда еще не было такой тишины вокруг меня: так что сердце мое испугалось.

Тогда заговорила беззвучно тишина ко мне: «*Ты знаешь это, Заратустра?*» —

И я вскрикнул от страха при этом шепоте, и кровь отхлынула от моего лица, — но я молчал.

Тогда во второй раз сказала она мне беззвучно: «Ты знаешь это, Заратустра, но ты не говоришь об этом!» —

И я отвечал наконец, подобно упрямцу: «Да, я знаю это, но не хочу говорить об этом!»

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Ты не *хочешь*, Заратустра? Правда ли это? Не прячься в своем упорстве!»

И я плакал и дрожал, как ребенок, и наконец сказал: «Ах, я хотел бы, но разве могу я! Избавь меня! Это свыше моих сил!»

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Что тебе за дело, что случится с тобой, Заратустра? Скажи свое слово и разбейся!» —

И я отвечал: «Ах, разве это *мое* слово? Кто я такой? Я жду более достойного; я не достоин даже разбиться о него».

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Что тебе за дело, что случится с тобой? Ты еще недостаточно кроток для меня. У кротости самая толстая шкура». —

И я отвечал: «Чего только не вынесла шкура моей кротости!

У подножия своей высоты я живу; как высоки мои вершины? Никто еще не ска- зал мне этого. Но хорошо знаю я свои долины».



Тогда опять сказала она мне беззвучно: «О Заратустра, кто должен двигать горами, тот передвигает также долины и низменности». —

И я отвечал: «Еще мое слово не двигало горами, и что я говорил, не достигало людей. И хотя я шел к людям, но еще не дошел до них».

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Что знаешь ты *об этом!* Роса падает на траву, когда ночь всего безмолвнее». —

И я отвечал: «Они смеялись надо мной, когда нашел я свой собственный путь и пошел по нему; и поистине, дрожали тогда мои ноги.

И так говорили они мне: ты потерял путь, а теперь ты отучиваешься даже ходить!»

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Что тебе до насмешек их! Ты тот, кто разучился повиноваться: теперь должен ты повелевать!

Разве ты не знаешь, кто наиболее нужен всем? Кто приказывает великое.

Совершить великое трудно; но еще труднее приказывать великое.

Самое непростительное в тебе: у тебя есть власть, и ты не хочешь властвовать».

И я отвечал: «Мне недостает голоса льва, чтобы приказывать».

Тогда, словно шепотом, сказала она мне: «Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, ступающие голубиными шагами, управляют миром.

О Заратустра, ты, как тень того, что должно наступить: так будешь ты приказывать и, приказывая, идти впереди».

И я отвечал: «Мне мешает стыд».

Тогда опять сказала она мне беззвучно: «Ты должен еще стать ребенком, чтобы стыд не мешал тебе.

Гордыня юноши тяготее еще на тебе, поздно помолодел ты, — но кто хочет превратиться в дитя, должен преодолеть еще свою юность».

И я решался долго и дрожал. Наконец сказал я то же, что и в первый раз: «Я не хочу».

Тогда раздался смех вокруг меня. Ах, смех этот разрывал мне внутренности и надрывал мое сердце!

И в последний раз сказала она мне: «О Заратустра, плоды твои созрели, но ты не созрел для плодов своих!

И оттого надо тебе опять уединиться; ибо ты должен еще дозреть». —

И опять раздался смех, удалявшийся от меня, — тогда наступила вокруг меня тишина, двойная тишина. Я же лежал на земле, и пот катился с моих членов.

— Теперь слышали вы все, и почему я должен вернуться в свое уединение. Ничего не утаил я от вас, друзья мои.

И все это слышали вы от меня, всегда самого молчаливого из всех людей, — и я хочу остаться таким!

Ах, друзья мои! Я мог бы еще многое сказать вам, я мог бы еще многое дать вам! Почему же не даю я? Разве я скуп?

Но когда Заратустра произнес эти слова, им овладела великая скорбь и близость разлуки со своими друзьями, так что он громко заплакал; и никто не мог утешить его! Ночью же ушел он один и оставил своих друзей.



*Ночью же ушел он один и оставил своих друзей*

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Вы смотрите вверх, когда вы  
стремитесь подняться. А я смотрю  
вниз, ибо я поднялся.  
Кто из вас может одновременно  
смеяться и быть высоко?  
Кто поднимается на высочайшие горы,  
тот смеется над всякой  
трагедией сцены и жизни.

*Заратустра,*  
о чтении и письме

### Странник

Была полночь, когда Заратустра пустился в свой путь через горный хребет острова, чтобы ранним утром достичь противоположного берега: ибо там хотел он сесть на корабль. Там была прекрасная гавань, в которой даже чужие корабли охотно становились на якорь; они брали с собою тех, кто с блаженных островов хотел пуститься в море. Взираясь на гору, Заратустра вспоминал дорогою о своих многочисленных одиноких странствованиях с самой юности и о том, как много гор, хребтов и вершин пришлось ему перейти.

Я, странник и скиталец по горам, говорил он в своем сердце, — я не люблю долин, и, кажется, я не могу долго сидеть спокойно.

И какова бы ни была моя судьба, то, что придется мне пережить, — всегда будет в ней странствование и восхождение на горы: в конце концов мы переживаем только самих себя.

Прошло то время, когда на моем пути могли еще становиться случайности; и что *могло бы* теперь еще случиться со мной, что не было бы моей собственностью.

Мое Само только возвращается ко мне, оно наконец приходит домой; возвращаются и все части его, бывшие долго на чужбине и рассеянные среди всех вещей и случайностей.

И еще одно знаю я: я стою теперь перед последней вершиной своей и перед тем, что давно предназначено мне. Ах, я должен вступить на самый трудный путь свой! Ах, я начал самое одинокое странствование свое!

Но тому, кто подобен мне, не избежать этого часа — часа, который говорит ему: «Только теперь ты идешь своим путем величия! Вершина и пропасть — слились теперь воедино!

Ты идешь своим путем величия: что доселе называлось твоей величайшей опасностью, теперь стало твоим последним убежищем!

Ты идешь своим путем величия: теперь лучшей поддержкой тебе должно быть сознание, что позади тебя нет больше пути!

Ты идешь своим путем величия: здесь никто не может красться по твоим следам! Твои собственные шаги стирали путь за тобою, и над ним написано: «Невозможность».

И если у тебя не будет больше ни одной лестницы, ты должен будешь научиться взбираться на свою собственную голову: как же иначе хотел бы ты подняться выше?

На свою собственную голову и выше через свое собственное сердце! Теперь все самое нежное в тебе должно стать самым суровым.

Кто всегда очень берег себя, под конец хворает от чрезмерной осторожности. Хвала всему, что закаляет! Я не хвалю землю, где течет — масло и мед!

Чтобы видеть *многое*, надо научиться не смотреть на *себя*: эта суровость необходима каждому, кто восходит на горы.

И если кто ищет познания назойливым оком, как увидит он в вещах больше, чем фасад их!

Но ты, о Заратустра, ты хотел видеть основу и подоснову всех вещей; и потому должен ты подниматься над самым собою, все выше и выше, пока даже твои звезды не окажутся *под тобой*!

Да! Смотреть вниз на самого себя и даже на свои звезды — лишь это назвал бы я своей *вершиной*, лишь это осталось для меня моей *последней* вершиной!»

Так говорил Заратустра с собою, поднимаясь на гору и утешая свое сердце суровыми изречениями: ибо сердце его сокрушалось, как никогда еще прежде. И когда он достиг вершины горного хребта, он увидел другое море, расстилавшееся перед ним, и он остановился и долго молчал. А ночь на этой высоте была холодная и ясная и усеяна звездами.

Я узнаю свою судьбу, сказал он наконец с грустью. Ну что ж! Я готов. Началось мое последнее уединение.

Ах, это черное, печальное море подо мною! Ах, это тяжелое, ночное недовольство! Ах, судьба и море! К вам должен я теперь *спуститься*!

Я стою перед самой высокой своею горой и перед самым долгим своим странствованием; поэтому я должен спуститься ниже, чем когда-либо поднимался я:

— глубже погрузиться в страдание, чем когда-либо поднимался я, до самой черной волны его! Так хочет судьба моя. Ну что ж! Я готов.

Откуда берутся высочайшие горы? — так спрашивал я однажды. Тогда узнал я, что выходят они из моря.

Об этом свидетельствуют породы их и склоны вершин их. Из самого низкого должно вознестись самое высокое к своей вершине. —



Так говорил Заратустра на вершине горы, где было холодно; но когда он достиг близости моря и наконец стоял один среди утесов, усталость от пути и тоска овладели им еще сильнее, чем прежде.

Теперь еще все спит, говорил он, спит также и море. Чуждое, сонное смотрит его око на меня.

Но его теплое дыхание чувствую я. И я чувствую также, что оно грезит. В грезах мечется оно на жестких подушках.

Чу! Как оно стонет от тяжких воспоминаний! Или от недобрых предчувствий!

Ах, я разделяю твою печаль, темное чудовище, и из-за тебя досаую я на себя самого.

Ах, почему нет в моей руке достаточной силы! Поистине, охотно избавил бы я тебя от тяжелых грез! —

И пока Заратустра так говорил, смеялся он с тоскою и горечью над самим собой. Как! Заратустра! сказал он, ты еще думаешь утешать море?

Ах, ты, любвеобильный глупец Заратустра, безмерно блаженный в своем доверии! Но таким был ты всегда: всегда подходил ты доверчиво ко всему ужасному.

Ты хотел приласкать всех чудовищ. Теплое дыхание, немного мягкой шерсти на лапах — и ты уже готов был полюбить и привлечь к себе.

*Любовь* есть опасность для самого одинокого; любовь ко всему, *если только оно живое*! Поистине, достойны смеха моя глупость и моя скромность в любви! —

Так говорил Заратустра и опять засмеялся: но тут он вспомнил о своих покинутых друзьях — и, как бы провинившись перед ними своими мыслями, он рассердился на себя за свои мысли. И вскоре смеющийся заплакал — от гнева и тоски горько заплакал Заратустра.

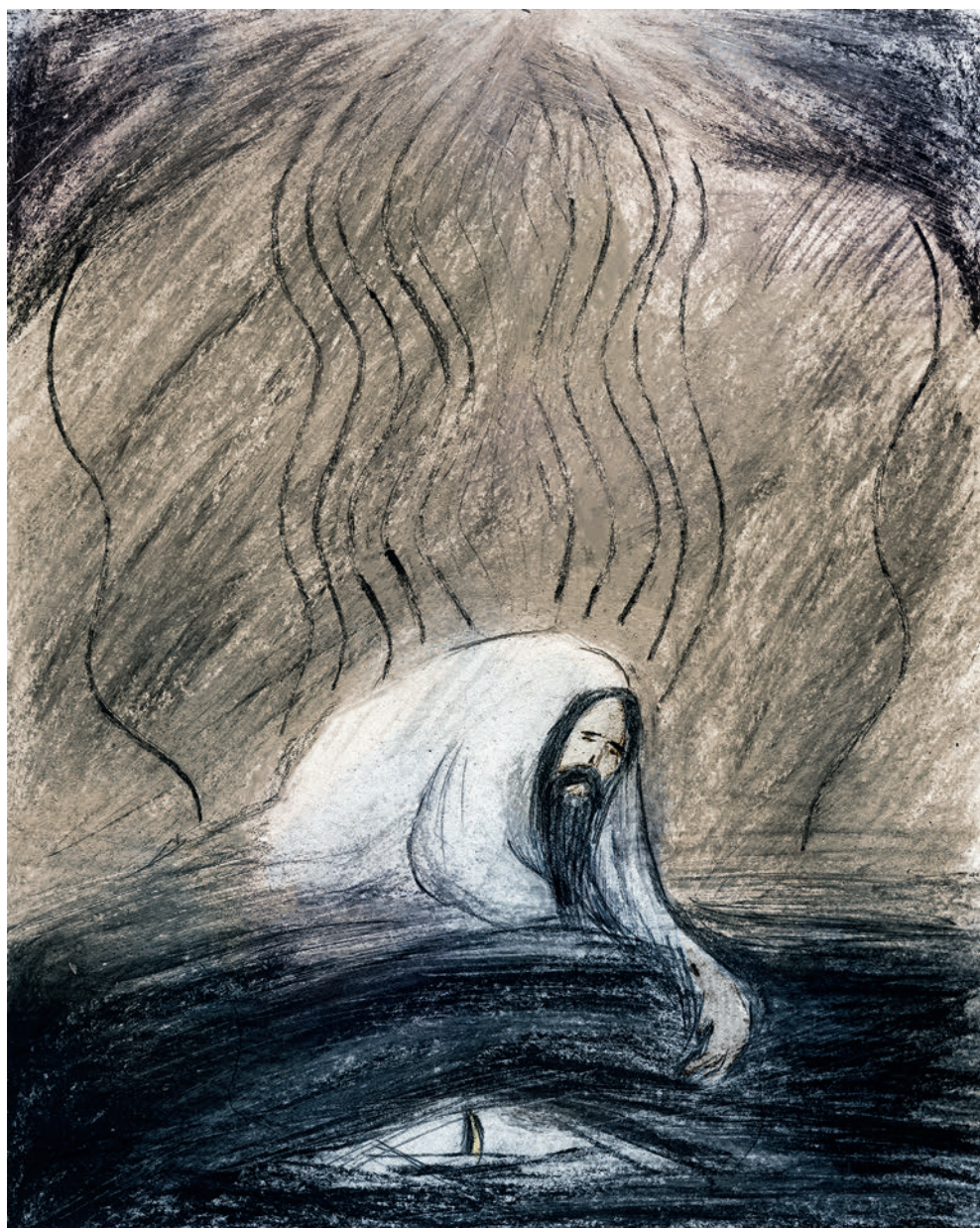
## О призраке и загадке

### 1

Когда среди моряков распространился слух, что Заратустра находится на корабле, — ибо одновременно с ним сел на корабль человек, прибывший с блаженных островов, — всеми овладело великое любопытство и ожидание. Но Заратустра молчал два дня и был холоден и глух от печали, так что не отвечал ни на взгляды, ни на вопросы. К вечеру же второго дня отверз он уши свои, хотя и продолжал молчать: ибо много необыкновенного и опасного можно было услышать на этом корабле, пришедшем издалека и собиравшемся плыть еще далее. Заратустра же любил всех, кто принимает дальние странствования и не может жить без опасности. И вот, пока слушал он других, развязался его собственный язык, и лед сердца его разбился — тогда начал он так говорить:

— Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям, — вам, опьяненным загадками, любителям сумерек, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине, — ибо вы не хотите нащупывать нить трусливой рукой и, где можете вы *угадать*, там ненавидите вы *делать выводы*, —

вам одним расскажу я загадку, которую *видел* я, — призрак, представший пред самым одиноким.



*...когда он достиг близости моря и наконец стоял один среди утесов, усталость  
от пути и тоска овладели им еще сильнее, чем прежде*

Мрачный шел я недавно среди мертвенно-бледных сумерек, — мрачный и суровый, со стиснутыми зубами. Уже не одно солнце закатилось для меня.

Тропинка, капризно извивавшаяся между камнями, злобная, одинокая, не желавшая ни травы, ни кустарника, — эта горная тропинка хрустела под упрямством ноги моей.

Безмолвно ступая среди насмешливого грохота камней, стирая в прах камень, о который спотыкалась моя нога, — так медленно взбирался я вверх.

Вверх: наперекор духу, увлекавшему меня вниз, в пропасть, — духу тяжести, моему демону и смертельному врагу.

Вверх: хотя он сидел на мне, полукарлик, полукрот; хромой, делая хромым и меня; вливая свинец в мои уши, свинцовые мысли в мой мозг.

«О Заратустра, — насмешливо отчеканил он, — ты камень мудрости! Как высоко вознесся ты, но каждый брошенный камень должен — упасть!

О Заратустра, ты камень мудрости, ты камень, пущенный пращою, ты сокрушитель звезд! Как высоко вознесся ты, — но каждый брошенный камень должен — упасть!

Приговоренный к самому себе и к побиению себя камнями: о Заратустра, как далеко бросил ты камень, — но на *тебя* упадет он!»

Карлик умолк; и это длилось долго. Его молчание давило меня; и поистине, вдвоем человек бывает более одиноким, чем наедине с собою!

Я поднимался, я поднимался, я грезил, я думал, — но все давило меня. Я походил на больного, которого усыпляет тяжесть страданий его, но которого снова будит от сна еще более тяжелый сон. —

Но есть во мне нечто, что называю я мужеством: оно до сих пор убивало во мне уныние. Это мужество заставило меня наконец остановиться и сказать: «Карлик! Ты! Или я!» —

Мужество — лучшее смертоносное оружие, — мужество *нападающее*: ибо в каждом нападении есть победная музыка.

Человек же самое мужественное животное: этим победил он всех животных. Победной музыкой преодолел он всякое страдание; а человеческое страдание — самое глубокое страдание.

Мужество побеждает даже головокружение на краю пропасти; а где же человек не стоял бы на краю пропасти! Разве смотреть в себя самого — не значит смотреть в пропасть!

Мужество — лучшее смертоносное оружие: мужество убивает даже сострадание. Сострадание же есть наиболее глубокая пропасть: ибо, насколько глубоко человек заглядывает в жизнь, настолько глубоко заглядывает он и в страдание.

Мужество — лучшее смертоносное оружие, — мужество *нападающее*: оно забивает даже смерть до смерти, ибо оно говорит: «Так *это* была жизнь? Ну что ж! Еще раз!»

Но в этих словах громко звучит победная музыка. Имеющий уши да слышит.

## 2

«Стой, карлик! — сказал я. — Я! Или ты! Но я сильнейший из нас двоих: ты не знаешь самой бездонной мысли моей! Ее бремени — ты не мог бы нести!»



Тут случилось то, что облегчило меня: назойливый карлик спрыгнул с моих плеч! Съежившись, он сел на камень против меня. Путь, где мы остановились, лежал через ворота.

«Взгляни на эти ворота, карлик! — продолжал я. — У них два лица. Две дороги сходятся тут: по ним никто еще не проходил до конца.

Этот длинный путь позади — он тянется целую вечность. А этот длинный путь впереди — другая вечность.

Эти пути противоречат один другому, они сталкиваются лбами, — и именно здесь, у этих ворот, они сходятся вместе. Название ворот написано вверху: «Мгновенье».

Но если кто-нибудь по ним пошел бы дальше — и дальше все и дальше, — то думаешь ли, ты, карлик, что эти два пути себе противоречили бы вечно?»

«Все прямое лжет, — презрительно пробормотал карлик. — Всякая истина крива, само время есть круг».

«Дух тяжести, — проговорил я с гневом, — не притворяйся, что это так легко! Или я оставляю тебя здесь, где ты сидишь, хромой уродец, — а я ведь нес тебя *наверх*!

Взгляни, — продолжал я, — на это Мгновенье! От этих врат Мгновенья уходит длинный, вечный путь *назад*: позади нас лежит вечность.

Не должно ли было все, что *может* идти, уже однажды пройти этот путь? Не должно ли было все, что *может* случиться, уже однажды случиться, сделаться, пройти?

И если все уже было — что думаешь ты, карлик, об этом Мгновенье? Не должны ли были и эти ворота уже — однажды быть?

И не связаны ли все вещи так прочно, что это Мгновенье влечет за собою все грядущее? *Следовательно* — еще и само себя?

Ибо все, что *может* идти, — не *должно* ли оно еще раз пройти — этот длинный путь *вперед*!

И этот медлительный паук, ползущий при лунном свете, и этот самый лунный свет, и я, и ты, что шепчемся в воротах, шепчемся о вечных вещах, — разве все мы уже не существовали?

— и не должны ли мы вернуться и пройти этот другой путь впереди нас, этот длинный жуткий путь, — не должны ли мы вечно возвращаться» —

Так говорил я, и говорил все тише: ибо я страшился своих собственных мыслей и задних мыслей. И вдруг вблизи услышал я *вой* собаки.

Не слышал ли я уже когда-то этот вой собаки? Моя мысль устремилась в прошлое. Да! Когда я был ребенком, в самом раннем детстве:

— тогда слышал я собаку, которая так выла. И я видел ее, ошестинившуюся, с поднятой кверху мордой, дрожащую, в тот тихий полуночный час, когда и собаки верят в призраки;

— и мне было жаль ее. Над домом только что взошел, в мертвом молчании, полный месяц; он остановился круглым огненным шаром над плоской крышей, как вор над чужой собственностью;

— тогда собаку обуял страх: ибо собаки верят в воров и призраков. И когда я опять услышал этот вой, я вновь почувствовал жалость.

Куда же девался карлик? И ворота? И паук? И наши перешептывания? Было ли это во сне? Или наяву? Я увидел вдруг, что стою среди диких скал, один, облитый мертвым лунным светом.



*Но здесь же лежал человек!* И собака с ошестинившейся шерстью прыгала и визжала, — и увидев, что я подошел, — она снова завывала, она *закричала*; слышал ли я когда-нибудь, чтобы собака кричала так о помощи?

И поистине, ничего подобного тому, что увидел я, никогда я не видел. Я увидел молодого пастуха, задыхавшегося, корчившегося, с искаженным лицом; изо рта у него висела черная, тяжелая змея.

Видел ли я когда-нибудь столько отвращения и смертельного ужаса на одном лице? Должно быть, он спал? В это время змея заползла ему в глотку и впиалась в нее.

Моя рука рванула змею, рванула: напрасно! она не вырвала змеи из глотки. Тогда из уст моих раздался крик: «Откуси! Откуси!»

Откуси ей голову!» — так кричал из меня мой ужас, моя ненависть, мое отвращение, моя жалость, все доброе и все злое во мне слилось в один общий крик. —

Вы, смельчаки, окружающие меня! Вы, искатели, испытатели и все, кто плавает под коварными парусами по неисследованным морям! Вы, охотники до загадок!

Разгадайте же мне загадку, которую я видел тогда, растолкуйте же мне призрак, представший пред самым одиноким!

Ибо это был призрак и предвидение: *что* видел я тогда в символе? И *кто* же он, кто некогда еще должен прийти?

*Кто* этот пастух, которому заползла в глотку змея? *Кто* этот человек, которому все самое тяжелое, самое черное заползет в глотку?

— И пастух откусил, как советовал ему крик мой; откусил голову змеи! Далеко отплюнул он ее — и вскочил на ноги. —

Ни пастуха, ни человека более — предо мной стоял преображенный, просветленный, который *смеялся*! Никогда еще на земле не смеялся человек так, как он смеялся!

О братья мои, я слышал смех, который не был смехом человека, — и теперь пожирает меня жажда, тоска, которая никогда не стихнет во мне.

Желание этого смеха пожирает меня: о, как вынесу я еще жизнь? И как вынес бы я теперь смерть! —

Так говорил Заратустра.

## О блаженстве против воли

С такими загадками и с горечью в сердце плыл Заратустра по морю. Но на четвертый день странствования, когда он уже был далеко от блаженных островов и от своих друзей, он превозмог всю свою печаль: победоносно, твердой ногою стоял он снова на пути своей судьбы. И так говорил тогда Заратустра к своей ликующей совести:

— Опять я один и хочу им быть, один с ясным небом и свободным морем; и снова послеполуденное время вокруг меня.

В послеполуденное время обрел я некогда впервые своих друзей, также в послеполуденное время вторично обрел я их: в тот час, когда становится более спокойным всякий свет.

Ибо частички счастья, блуждающие еще между небом и землей, ищут пристанища себе в светлой душе: теперь от *счастья* стал более спокойным всякий свет.



*Ни пастуха, ни человека более — предо мной стоял преображенный,  
просветленный, который смеялся!*

О послепоуденное время моей жизни! Однажды спустилось также и *мое* счастье в долину искать себе пристанища: тогда обрело оно эти открытия, гостеприимные души.

О послепоуденное время моей жизни! Чего не отдал бы я, чтобы иметь одно: живое насаждение моих мыслей и утренний рассвет моей высшей надежды!

Последователей искал некогда созидающий и детей *своей* надежды — и вот оказалось, что он не может найти их иначе, как сам впервые создав их.

Так и я нахожусь среди своего дела, идя к своим детям и возвращаясь от них: ради своих детей должен Заратустра довершить самого себя.

Ибо от всего сердца любят только свое дитя и свое дело; и где есть великая любовь к самому себе, там служит она признаком беременности, — так замечал я.

Еще цветут мои дети *своей* первой весной; стоя близко друг к другу, вместе колеблемые ветром деревья моего сада и лучшей земли.

И поистине! Где такие деревья стоят близко друг к другу, там *находятся* блаженные острова!

Но когда-нибудь я вырою их и расскажу каждое отдельно: чтобы научилось оно одиночеству, упорству и осторожности.

Суковатым и изогнутым, с гибкой твердостью должно стоять оно у моря, живым маяком непобедимой жизни.

Там, где бури низвергаются в море и хобот гор пьет воду, там должно стоять каждое из них, днем и ночью, на страже, чтобы испытать и познать *себя*.

Испытано и познано должно быть оно, чтобы знать, моего ли оно рода и происхождения, — господин ли оно упорной воли, молчаливо ли, даже когда говорит, и делает ли вид, что *берет*, отдавая:

— чтобы стать некогда моим последователем и созидающим и празднующим вместе с Заратустрой — таким, что пишет мою волю на моих скрижалях: для более полного довершения всех вещей.

И ради него и подобных ему должен я довершить самого *себя*, поэтому бегу я теперь своего счастья и отдаю себя в жертву всем несчастьям — чтобы испытать и познать *себя* в последний раз.

И поистине, настало время мне уходить; и тень странника, и поздняя пора, и самый тихий час — все говорило мне: «Давно пора!»

Ветер проникал в замочную скважину и говорил: «Иди!» Дверь лукаво распахивалась и говорила: «Уходи!»

Но я лежал, прикованный любовью к своим детям: желание любви наложило на меня эти узы, так что я сделался жертвою своих детей и из-за них потерял себя.

Желать — это уже значит для меня: потерять себя. *У меня есть вы, мои дети!* В этом обладании все должно быть уверенностью и ничто не должно быть желанием.

Но солнце моей любви пылало надо мной, в собственном соку варился Заратустра, — тогда пронеслись тень и сомнение надо мной.

Я уже жаждал мороза и зимы. «О, если бы мороз и зима заставили меня снова дрожать от стужи и щелкать зубами!» — вздыхал я, — тогда поднялись от меня ледяные туманы.

Мое прошлое вскрыло свои могилы, проснулось много страдания, заживо погребенного: оно лишь дремало, сокрытое в саване.





*...теперь от счастья стал более спокойным всякий свет*



Так все кричало мне знаками: «Пора!» Но я — не слушал; пока наконец не зашевелилась моя бездна и моя мысль не укусила меня.

О бездонная мысль, ты — моя мысль! Когда же найду я силу слышать, как ты роешь, и не дрожать более?

До самой гортани стучит мое сердце, когда я слышу, как ты роешь! Даже твоё молчание душит меня, ты, бездонная молчаливица!

Никогда еще не решался я вызвать тебя *наружу*: довольно того уже, что носил я тебя — с собою! Еще не был я достаточно силен для последней смелости льва и дерзости его.

Твоя тяжесть всегда была для меня уже достаточно ужасной; но когда-нибудь я должен найти силу и голос льва, который вызовет тебя наружу!

И когда я преодолею это в себе, тогда преодолею я еще и нечто большее; и *победа* должна быть печатью моего довершения!

А до тех пор я блуждаю еще по неведомым морям; случай льстит мне и ласкает меня; я смотрю вперед и назад — и не вижу конца.

Еще не наступил час моей последней борьбы — или он только что настает? Поистине, с коварной прелестью смотрят на меня кругом море и жизнь!

О послепоуденное время моей жизни! О счастье, предвестник вечера! О пристань в открытом море! О мир в неизвестности! Как не доверяю я вам всем!

Поистине, я не доверяю вашей коварной прелести! Я похож на влюбленного, который не доверяет слишком бархатной улыбке.

Как он, ревнивец, отталкивает от себя возлюбленную, оставаясь нежным даже в своей суровости, — так и я отталкиваю от себя этот блаженный час.

Прочь от меня, блаженный час! С тобой пришло ко мне блаженство против воли! Готовый к своему самому глубокому страданию, стою я здесь: не вовремя пришел ты!

Прочь от меня, блаженный час! Лучше ищи себе пристанища там — у моих детей! Спеш и благослови их еще до вечера *моим* счастьем!

Уже наступает вечер: солнце садится. Удалилось мое счастье! —

Так говорил Заратустра. И он ждал своего несчастья всю ночь — но ждал напрасно. Ночь оставалась ясной и тихой, и счастье само приближалось к нему все ближе и ближе. А к утру засмеялся Заратустра в сердце своем и сказал насмешливо: «Счастье бежит за мной. Это потому, что я не бегу за женщинами. А счастье — женщина».

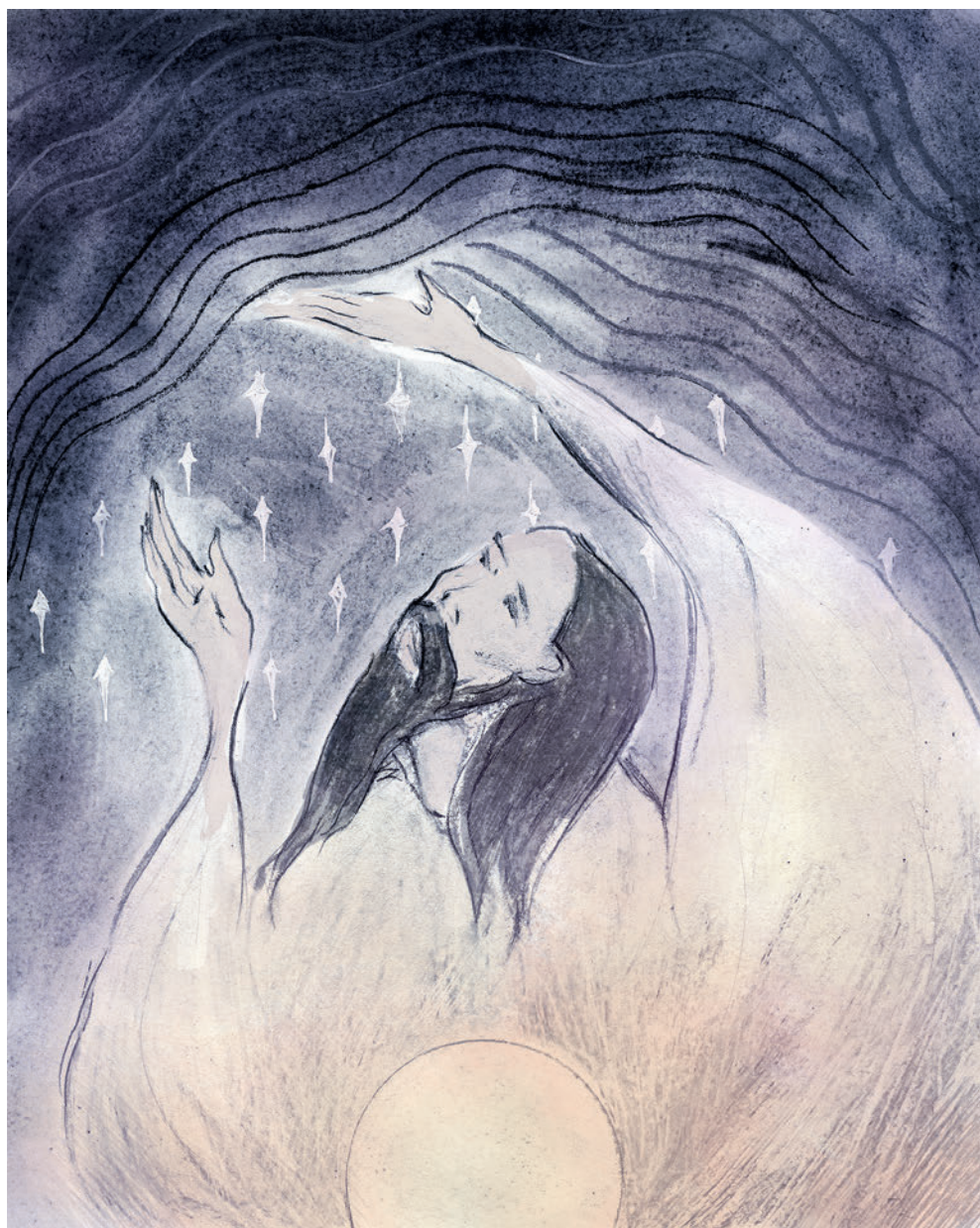
## Перед восходом солнца

О небо надо мной, чистое! Глубокое! Бездна света! Взирая на тебя, я трепещу от божественных порывов.

Броситься в твою высоту — в этом *моя* глубина! Укрыться в твоей чистоте — в этом *моя* невинность!

Бога скрывает красота его — так и ты скрываешь свои звезды. Ты безмолвствуешь — *так* вещаешь ты мне свою мудрость.

Безмолвно над бушующим морем поднялось ты сегодня, твоя любовь и твоя стыдливость открываются моей бушующей душе.



*О небо надо мной, чистое! Глубокое! Бездна света! Взирая на тебя, я трепещу  
от божественных порывов*

В том, что пришло ты ко мне, прекрасное, скрытое в своей красоте, что безмолвно говоришь ты мне, открываясь в своей мудрости:

О, неужели не угадал бы я всей стыдливости твоей души! *Перед* восходом солнца пришло ты ко мне, самому одинокому.

Мы друзья с тобою изначала: у нас едины скорбь, и страх, и дно; даже солнце у нас общее.

Мы не говорим друг с другом, ибо знаем слишком многое: мы безмолвствуем, мы улыбками сообщаем друг другу наше знание.

Не свет ли ты моего пламени? Не живет ли в тебе душа — сестричка моего понимания?

Вместе учились мы всему; вместе учились мы подниматься над собою к себе самим и безоблачно улыбаться: безоблачно улыбаться вниз, светлыми очами и из огромной дали, в то время как под нами струятся, как дождь, насилие, и цель, и вина.

И если блуждал я один, — *чего* алкала душа моя по ночам и на тропинках заблуждения? И если поднимался я на горы, *кого*, как не тебя, искал я на горах?

И все мои странствования и восхождения на горы — разве не были они лишь необходимостью, чтобы помочь неумелому; *лететь* только хочет вся воля моя, лететь до *тебя*!

И кого ненавидел я более, как не ползущие облака и все, что пятнает тебя? И даже свою собственную ненависть ненавидел я, потому что она пятнала тебя!

Ползущие облака ненавижу я, этих крадущихся хищных кошек: они отнимают у тебя и у меня, что есть у нас общего, — огромное, безграничное Да и Аминь!

Мы ненавидим ползущие облака, этих посредников и смесителей — этих половинчатых, которые не научились ни благословлять, ни проклинать от всего сердца.

Лучше буду я сидеть в бочке под закрытым небом или в бездне без неба, чем видеть тебя, ясное небо, запятнанным ползущими облаками!

И часто хотелось мне их скрепить зубчатыми золотыми проволоками молний, чтобы мог я, подобно грому, барабанить по вздутому животу их:

гневно барабанить, ибо они крадут у меня твое Да и Аминь, ты, небо чистое надо мною! Светлое! Ты бездна света! — ибо они крадут у тебя *мое* Да и Аминь!

Ибо легче мне переносить шум, и гром, и проклятие непогоды, чем это осторожное, нерешительное кошачье спокойствие; и даже среди людей ненавижу я всего больше всех тихонько ступающих, половинчатых и неопределенных, нерешительных, медлительных, как ползущие облака.

И «кто не может благословлять, должен *научиться* проклинать!» — это ясное наставление упало мне с ясного неба, эта звезда блестит даже в темные ночи на моем небе.

Но я благословляю и утверждаю, если только ты окружаешь меня, ты, чистое! Ясное! Ты, бездна света! — во все бездны несу я тогда свое благословляющее утверждение.

Я стал благословляющим и утверждающим: я долго боролся и был борцом, чтобы иметь наконец руки свободными для благословения.

И вот мое благословение: над каждою вещью быть ее собственным небом, ее круглым куполом, ее лазурным колоколом и вечным спокойствием — и блажен, кто так благословляет!



Ибо все вещи крещены у родника вечности и по ту сторону добра и зла; а добро и зло суть только бегущие тени, влажная скорбь и ползущие облака.

Поистине, это благословение, а не хула, когда я учу: «над всеми вещами стоит небо-случай, небо-невинность, небо-неожиданность, небо-задор».

«Случай» — это самая древняя аристократия мира, ее возвратил я всем вещам, я избавил их от подчинения цели.

Эту свободу и эту безоблачность неба поставил я, как лазурный колокол, над всеми вещами, когда я учил, что над ними и через них никакая «вечная воля» — не хочет.

Это дерзновение и это безумие поставил я на место той воли, когда я учил: «Всюду одно невозможно — разумный смысл!»

Хотя *немного* разума, семя мудрости рассеяно от звезды до звезды, эта закованная примешана ко всем вещам: из-за безумия примешана мудрость ко всем вещам!

Немного мудрости еще возможно; но эту блаженную уверенность находил я во всех вещах: они предпочитают *танцевать* — на ногах случая.

О небо надо мною, ты, чистое! Высокое! Теперь для меня в том твоя чистота, что нет вечного паука-разума и паутины его:

— что ты место танцев для божественных случаев, что ты божественный стол для божественных игральных костей и играющих в них! —

Но ты краснеешь? Не сказал ли я того, чего нельзя высказывать? Не произнес ли я хулы, желая благословить тебя?

Или покраснело ты от стыда, что находимся мы вдвоем? — Не приказываешь ли ты мне удалиться и замолчать, ибо теперь — *день* приближается?

Мир так глубок, как день помыслить бы не смог. Не все дерзает говорить перед лицом дня. Но день приближается — и мы должны теперь расстаться!

О небо надо мною, ты, стыдливое! Пылающее! О ты, мое счастье перед восходом солнца! День приближается — и мы должны теперь расстаться! —

Так говорил Заратустра.

## Об умаляющей добродетели

### 1

Спустившись на сушу, Заратустра не направился прямо на свою гору и в свою пещеру, а прошелся по разным дорогам, всюду задавая вопросы и осведомляясь о многом, так что, шутя, он говорил о себе самом: «Вот река, многими извилами возвращающаяся к источнику своему!» Ибо он хотел узнать, что случилось *с человеком* в отсутствие его: стал ли он более великим или меньше прежнего? И однажды увидел он ряд новых домов; дивился он этому и сказал:

«Что означают дома эти? Поистине, не великая душа построила их по своему подобию!

Не глупый ли ребенок вынул их из своего ящика с игрушками? Пусть бы другой ребенок опять уложил их в свой ящик!

А эти комнаты и каморки: могут ли *люди* выходить из них и входить туда? Они кажутся мне сделанными для шелковичных червей или для кошек-лакомов, которые не прочь дать полакомиться и собою!»

И Заратустра остановился и задумался. Наконец он сказал с грустью: «*Всё* измелъчало!

Повсюду вижу я низкие ворота: кто подобен *мне*, может еще пройти в них, но — он должен нагнуться!

О, когда же вернусь я на мою родину, где я не должен более нагибаться — не должен более нагибаться перед *маленькими*!» — И Заратустра вздохнул и устремил взор свой вдаль.

В тот же день сказал он речь свою об умяляющей добродетели.

## 2

Я хожу среди этих людей и дивлюсь: они не прощают мне, что я не завижду добродетелям их.

Они огрызаются на меня, ибо я говорю им: маленьким людям нужны маленькие добродетели, — ибо трудно мне согласиться, чтобы маленькие люди были *нужны*!

Я похож здесь на петуха в чужом птичнике, которого клюют даже куры; но оттого не сержусь я на этих кур.

Я вежлив с ними, как со всякой маленькой неприятностью; быть колючим по отношению ко всему маленькому кажется мне мудростью, достойной ежа.

Все они говорят обо мне, сидя вечером у очага, — они говорят обо мне, но никто не думает — обо мне!

Вот новая тишина, которой я научился: их шум вокруг меня накидывает покрывало на мои мысли.

Они шумят между собой: «Что несет нам эта темная туча? берегитесь, чтобы не принесла она нам заразы!»

И недавно одна женщина отдернула своего ребенка, тянувшегося ко мне. «Унесите детей! — кричала она. — Такие глаза опаляют детские души».

Они кашляют, когда я говорю: они думают, что кашель — возражение против могучих ветров, — они нисколько не догадываются о шуме моего счастья!

«У нас еще нет времени для Заратустры» — так возражают они; но что толку во времени, у которого «нет времени» для Заратустры?

И даже когда они восхваляют меня — разве мог бы заснуть я на славе *их*? Терновый пояс — хвала их для меня: я испытываю зуд, даже когда снимаю его.

И вот чему научился я у них: тот, кто хвалит, делает вид, будто воздаст он должное, но на самом деле он хочет получить еще больше!

Спросите у моей ноги, нравится ли ей их манера хвалить и привлекать к себе! Поистине, при таком такте и при таком тик-таке не хочет она ни танцевать, ни оставаться в покое.

Они пробуют хвалить мне маленькую добродетель и привлечь меня к ней; в тик-так маленького счастья хотели бы они увлечь мою ногу.

Я хожу среди этих людей и дивлюсь: они *измельчали* и все еще мельчают — *и делает это их учение о счастье и добродетели*.

Они ведь и в добродетели скромны, ибо они ищут довольства. А с довольством может мириться только скромная добродетель.

Правда, и они учатся шагать по-своему и шагать вперед; но я называю это *ковылянием*. — И этим мешают они всякому, кто спешит.

И многие из них идут вперед и смотрят при этом назад, вытянув шею: я охотно толкаю их.

Ноги и глаза не должны ни лгать, ни изобличать друг друга во лжи. Но много лжи у маленьких людей.

Некоторые из них обнаруживают свою волю, но большинство лишь служит чужой воле. Некоторые из них искренни, но большинство — плохие актеры.

Есть между ними актеры бессознательные и актеры против воли, — искренние всегда редки, особенно искренние актеры.

Качества мужа здесь редки; поэтому их женщины становятся мужчинами. Ибо только тот, кто достаточно мужчина, *освободит* в женщине — *женщину*.

И вот худшее лицемерие, что встретил я у них: даже те, кто повелевают, подделываются под добродетели тех, кто служит им.

«Я служу, ты служишь, мы служим» — так молится здесь лицемерие господствующих, — но горе! если первый господин есть *только* первый слуга!

Ах, даже в их лицемерие залетело любопытство моего взора; и я хорошо угадал их счастье мухи и их жужжание на освещенном солнцем оконном стекле.

Сколько вижу я доброты, столько и слабости. Сколько справедливости и сострадания, столько и слабости.

Все они круглы, аккуратны и благосклонны друг к другу, как круглы, аккуратны и благосклонны песчинки одна к другой.

Скромно обнять маленькое счастье — это называют они «смирением»! и при этом они уже скромно косятся на новое маленькое счастье.

В сущности в своей простоте они желают лишь одного: чтобы никто не причинял им страдания. Поэтому они предупредительны к каждому и делают ему добро.

Но это *трусость* — хотя бы и называлась она «добродетелью». —

И когда этим маленьким людям случается говорить грубо — я слышу в голосе их лишь хрипоту: ибо всякий сквозняк — делает их хрипылыми.

Хитры они, и у добродетелей их хитрые пальцы. Но им недостает кулаков, их пальцы не умеют сжиматься в кулак.

Добродетелью считают они все, что делает скромным и ручным; так превратили они волка в собаку и самого человека в лучшее домашнее животное человека.

«Мы поставили наш стул *посередине*, — так говорит мне ухмылка их, — одинаково далеко от умирающего гладиатора и довольных свиней».

Но это — *посредственность*; хотя бы и называлась она умеренностью.

### 3

Я хожу среди этих людей и роняю много слов; но они не умеют ни брать, ни хранить.

Они удивляются, что я не пришел обличать их похоти и пороки; но поистине, я не пришел также предостерегать от карманных воров!

Они удивляются, что я не желаю оттачивать и накачивать их ум; как будто им мало еще умников, тонких, чей голос скрипит, как грифель по аспидной доске!



И когда я кричу: «Кляните всех трусливых демонов в вас, которые желали бы визжать, крестом складывать руки и поклоняться», они восклицают: «Заратустра — безбожник».

И особенно кричат об этом их проповедники смирения — да, именно им люблю я кричать в самое ухо: да! Я — Заратустра, безбожник!

Проповедники смирения! Всюду, где есть слабость, болезнь и струпья, они ползают, как вши; и только мое отвращение мешает мне давить их.

Ну что ж! Вот моя проповедь для *их* ушей: я — Заратустра, безбожник, который говорит «кто безбожнее меня, чтобы я мог радоваться его наставлению?»

Я — Заратустра, безбожник: где найду я подобных себе? Подобны мне все, кто отдают себя самих своей воле и сбрасывают с себя всякое смирение.

Я — Заратустра, безбожник: я варю каждый случай в *моем* котле. И только когда он там вполне сварится, я приветствую его как *мою* пищу.

И поистине, многие случаи повелительно приближались ко мне; но еще более повелительно говорила к ним моя *воля*, — и тотчас стояли они на коленях, умоляя —

— умоляя, чтобы дал я им пристанище и оказал им сердечный прием, и льстиво уговаривая: «Видишь, о Заратустра, так только друг приближается к другу!» —

Но что говорю я там, где нет ни у кого *моих* ушей! И так стану я вызывать ко всем ветрам:

— Вы все мельчаете, вы, маленькие люди! Вы распадаетесь на крошки, вы, любители довольства! Вы погибнете еще —

— от множества ваших маленьких добродетелей, от множества ваших мелких упущений, от вашего постоянного маленького смирения!

Вы слишком щадите, слишком уступаете: такова почва, на которой произрастаете вы! Но чтобы дерево стало *большим*, для этого должно оно обвить крепкие скалы крепкими корнями!

Даже то, чего вы не исполняете, помогает ткать ткань всего человеческого будущего; даже ваше ничто есть паутина и паук, живущий кровью будущего.

И когда вы берете, вы как бы крадете, вы, маленькие добродетельные люди; но и среди мошенников говорит *честь*: «Надо красть только там, где нельзя грабить».

«Дается» — таково учение смирения. Но я говорю вам, вы, любители довольства: *берется* и будет все больше братья от *вас*!

Ах, если бы вы сбросили с себя всякое *полухотение* и решительно отделились и лени и делу!

Ах, если бы вы поняли мои слова: «Делайте, пожалуй, все, что вы хотите, — но прежде всего будьте такими, которые *могут хотеть*!»

Любите, пожалуй, своего ближнего, как себя, — но прежде всего будьте такими, которые *любят самих себя* —

— любят великой любовью, любят великим презрением!» Так говорит Заратустра, безбожник. —

Но что говорю я там, где нет ни у кого *моих* ушей! Здесь еще целым часом рано для меня.

Свой собственный провозвестник я среди этих людей, свой собственный крик петуха среди темных улиц.

Но приближается их час! Приближается также и мой! Час от часу становятся они меньше, беднее, бесплоднее — бедная трава! бедная земля!



*Некоторые из них обнаруживают свою волю, но большинство лишь служит чужой воле. Некоторые из них искренни, но большинство — плохие актеры*

И *скоро* будут они стоять, подобно сухой степной траве, и поистине, усталые от себя самих, — и томимые скорее жаждой *огня*, чем воды!

О благословенный час молнии! О тайна перед полуднем! — в блуждающие огни некогда превращу я их и в провозвестников огненными языками:

— возвещать будут они некогда огненными языками: он приближается, он близок, *великий полдень*! —

Так говорил Заратустра.

## На горе Елеонской

Зима, злая гостья, сидит у меня в доме; посинели мои руки от ее дружеских рукопожатий.

Я уважаю ее, эту злую гостью, но охотно оставляю ее сидеть одну. Охотно убегаю я от нее; и если бежишь *хорошо*, то и убегаешь от нее!

С теплыми ногами, с теплыми мыслями бегу я туда, где стихает ветер, — в освещенный солнцем уголок моей горы Елеонской.

Так смеюсь я над моей суровой гостью и благодарен ей еще за то, что она ловит у меня в доме мух и заставляет стихать разный мелкий шум.

Ибо она не любит, когда поет комар или даже целых два; она делает улицу пустынной, так что лунный свет боится проникать туда ночью.

Она суровая гостья, — но я чту ее и не молюсь, подобно неженкам, пузатому идо-лу огня.

Лучше немного пощелкать зубами, чем молиться идолам! — так хочет род мой. И особенно ненавижу я всех идолов огня, пылких, дымящихся и удушливых.

Кого я люблю, того люблю я больше зимою, чем летом; лучше и смелее смеюсь я над моими врагами, с тех пор как зима сидит у меня в доме.

Поистине, смело даже тогда, когда я *заползаю* в постель: тогда смеется и шалит мое укрывшееся счастье и мои обманчивые сны начинают смеяться.

Разве я — ползаю? Никогда в жизни не ползал я перед сильными; и если лгал я когда-нибудь, то лгал из любви. Поэтому весел я и на зимней постели.

Скромная постель греет меня больше, чем роскошная, ибо я ревнив к своей бедности. А зимою она больше всего верна мне.

Злобою начинаю я каждый день, я смеюсь над зимою холодной ванной — за это ворчит на меня моя строгая гостья.

Также люблю я ее щекотать маленькой восковой свечкой — чтобы она наконец выпустила небо из пепельно-серых сумерек.

Особенно злым бываю я утром — в ранний час, когда звенит ведро у колодца и раздается на серых улицах теплое ржание лошадей:

С нетерпением жду я, чтобы взошло наконец ясное небо, зимнее снежнобородое небо, старик, белый как лунь, —

— молчаливое зимнее небо, часто умалчивающее даже о своем солнце!

Не у него ли научился я долготу, светлому молчанию? Или оно научилось ему у меня? Или каждый из нас сам изобрел его?

Тысячекратно происхождение всех хороших вещей: все хорошие веселые вещи прыгают от радости в бытие — как могли бы они это сделать — только один раз!





*С теплыми ногами, с теплыми мыслями бегу я туда, где стихает ветер, —  
в освещенный солнцем уголок моей горы Елеонской*



Хорошая, веселая вещь также долгое молчание, и хорошо также смотреть, подобно зимнему небу, с ясным круглоглазым лицом:

— скрывать, подобно ему, свое солнце и свою непреклонную волю-солнце; поистине, хорошо изучил я это искусство и это зимнее веселье!

Моя самая любимая злоба и искусство в том, чтобы мое молчание научилось не выдавать себя молчанием.

Гремя словами и игральными костями, дурачу я тех, кто торжественно ждет, — от всех этих строгих надсмотрщиков должна ускользнуть моя воля и цель.

Чтобы никто не мог видеть основы и последней воли моей, — для этого изобрел я долгое светлое молчание.

Многих умных встречал я: они закрывали покрывалом свое лицо и мutilовали свою воду, чтобы никто не мог насквозь видеть их.

Но именно к ним обращались более умные из среды недоверчивых и грызущих орехи: именно у них вылавливали они наиболее припрятанную рыбу их!

Но умы светлые, смелые и прозрачные — они, по-моему, наиболее умные из всех молчаливых: так *глубока* основа их, что даже самая прозрачная вода — не выдает ее.

Ты, снежнобородое молчаливое зимнее небо, ты, круглоглазая лунь надо мною! О ты, небесный символ моей души и ее радости!

И разве не *должен* я прятаться, как проглотивший золото, — чтобы не распластали мою душу?

Разве не *должен* я пользоваться ходулями, чтобы не *заметили* моих длинных ног, — все эти завистники и ненавистники, окружающие меня?

Эти удушливые, тепличные, изношенные, отцветшие, истосковавшиеся души — как могла бы их зависть вынести мое счастье!

Поэтому я показываю им только зиму и лед на моих вершинах — и *не* показываю, что моя гора окружена также всеми солнечными поясами!

Они слышат только свист моих зимних бурь — и не слышат, что ношусь я и по теплым морям, как тоскующие, тяжелые, горячие южные ветры.

Они сожалеют также о моих нечаянностях и случайностях — но мое слово гласит: «Предоставьте случаю идти ко мне: невинен он, как малое дитя!»

Как *могли бы* они вынести мое счастье, если бы я не наложил несчастий, зимней стужи, шапок из белого медведя и покровов из снежного неба на мое счастье!

— если бы сам я не питал жалости к их *состраданию*: к состраданию этих завистников и ненавистников!

Если бы сам я не вздыхал и не дрожал пред ними от холода и не *одевался* терпеливо, как в шубу, в сострадание их!

В том мудрая блажь и благостыня моей души, что *не прячет* она своей зимы и своих морозных бурь, она не прячет также и своего озноба.

Для одного одиночество есть бегство больного; для другого одиночество есть бегство *от* больных.

Пусть *слышат* они, как дрожу и вздыхаю я от зимней стужи, все эти бедные, завистливые негодники, окружающие меня! Несмотря на эти вздохи и дрожь, все-таки бежал я из их натопленных комнат.

Пусть они жалеют меня и вздыхают вместе со мною о моем ознобе: «от льда познания он *замерзнет* еще!» — так жалуются они.

А я тем временем бегаю всюду с теплыми ногами на моей горе Елеонской; в освещенном солнцем уголку моей горы Елеонской пою и смеюсь я над всяким состраданием. —

Так пел Заратустра.

### О прохождении мимо

Так, медленно проходя среди многих народов и через различные города, вернулся Заратустра окольным путем в свои горы и свою пещеру. И вот, подошел он неожиданно к воротам *большого города*; но здесь бросился к нему с распростертыми руками беснующийся шут и преградил ему дорогу. Это был тот самый шут, которого народ называл «обезьяной Заратустры»: ибо он кое-что перенял из манеры его говорить и охотно черпал из сокровищницы его мудрости. И шут так говорил к Заратустре:

«О Заратустра, здесь большой город; тебе здесь нечего искать, а потерять ты можешь все.

К чему захотел ты вязнуть в этой грязи? Пожалей свои ноги! Плюнь лучше на городские ворота и — вернись назад!

Здесь ад для мыслей отшельника: здесь великие мысли кипятятся заживо и развариваются на маленькие.

Здесь разлагаются все великие чувства: здесь может только гроыхать погремушка костлявых убогих чувств!

Разве ты не слышишь запаха бойни и харчевни духа? Разве не стоит над этим городом смрад от зарезанного духа?

Разве не видишь ты, что души висят здесь, точно обвисшие, грязные лохмотья? — И они делают еще газеты из этих лохмотьев!

Разве не слышишь ты, что дух превратился здесь в игру слов? Отвратительные слова-помои извергает он! — И они делают еще газеты из этих слов-помоев!

Они гонят друг друга и не знают куда? Они распаляют друг друга и не знают зачем? Они бряцают своей жестью, они звенят своим золотом.

Они холодны и ищут себе тепла в спиртном; они разгорячены и ищут прохлады у замерзших умов; все они хилы и одержимы общественным мнением.

Все похоти и пороки здесь у себя дома; но существуют здесь также и добродетельные, существует здесь много услужливой, служащей добродетели:

Много услужливой добродетели с пальцами-писаками и с твердым седалищем и ожидающим; она благословлена мелкими надгрудными звездами и набитыми трухой, плоскозадными дочерьми.

Существует здесь также много благочестия, много лизоблюдов и льстивых ублюдков перед богом воинств.

Ибо «сверху» сыплются звезды и милостивые плевки; вверх тянется каждая беззвездная грудь.

У месяца есть свой двор и при дворе — свои придурки; но на все, что исходит от двора, молится нищая братия и всякая услужливая нищенская добродетель.

«Я служу, ты служишь, мы служим» — так молится властелину всякая услужливая добродетель: чтобы заслуженная звезда прицепилась наконец ко впалой груди!

Но месяц вращается еще вокруг всего земного: так вращается и властелин вокруг самого-что-ни-на-есть земного, — а это есть золото торгашей.

Бог воинств не есть бог золотых слитков; властелин предполагает, а торгаш — располагает!

Во имя всего, что есть в тебе светлого, сильного и доброго, о Заратустра! плюнь на этот город торгашей и вернись назад!

Здесь течет кровь гниловатая и тепловатая и пенится по всем венам; плюнь на большой город, на эту большую свалку, где пенится всякая накипь!

Плюнь на город подавленных душ и впалых грудей, язвительных глаз и липких пальцев —

— на город нахалов, бесстыдников, писак, пискляк, растравленных тщеславцев —

— где все скисшее, сгнившее, смачное, мрачное, слащавое, прыщавое, коварное нарывает вместе —

— плюнь на большой город и вернись назад!»

— Но здесь прервал Заратустра беснующегося шута и зажал ему рот.

«Перестань наконец! — воскликнул Заратустра. — Мне давно уже противны твоя речь и твоя манера говорить!

Зачем же так долго жил ты в болоте, что сам должен был сделаться лягушкой и жабою?

Не течет ли теперь у тебя самого в жилах гнилая, пенистая, болотная кровь, что научился ты так квакать и поносить?

Почему не ушел ты в лес? Или не пахал землю? Разве море не полно зелеными островами?

Я презираю твое презрение, и, если ты предостерегал меня, — почему же не предостерег ты себя самого?

Из одной только любви воспарит полет презрения моего и предостерегающая птица моя: но не из болота! —

Тебя называют моей обезьяной, ты, беснующийся шут; но я называю тебя своей хрюкающей свиньей — хрюканьем портишь ты мне мою похвалу глупости.

Что же заставило тебя впервые хрюкать? То, что никто достаточно не *льстил* тебе: поэтому и сел ты вблизи этой грязи, чтобы иметь основание вдоволь хрюкать, —

— чтобы иметь основание вдоволь мстить! Ибо месть, ты, тщеславный шут, и есть вся твоя пена, я хорошо разгадал тебя!

Но твое шутовское слово вредит мне даже там, где ты прав! И если бы слово Заратустры было даже сто раз право, — *ты* все-таки *вредил* бы мне — моим словом!»

Так говорил Заратустра; и он посмотрел на большой город, вздохнул и долго молчал. Наконец он так говорил:

Мне противен также этот большой город, а не только этот шут. И здесь и там нечего улучшать, нечего ухудшать!

Горе этому большому городу! — И мне хотелось бы уже видеть огненный столб, в котором сгорит он!

Ибо такие огненные столбы должны предшествовать великому полдню. Но всему свое время и своя собственная судьба.





*Это был тот самый шут, которого народ называл  
«обезьяной Заратустры»...*

Но такое поучение даю я тебе, шут, на прощание: где нельзя уже любить, там нужно — пройти мимо! —

Так говорил Заратустра и прошел мимо шута и большого города.

## Об отступниках

### 1

Ах, все уже поблекло и отцвело, что еще недавно зеленело и пестрело на этом лугу! И сколько меду надежды уносил я отсюда в свои улья!

Все эти юные сердца уже состарились — и даже не состарились! только устали, опошлелись и успокоились: они называют это «мы опять стали набожны».

Еще недавно видел я их спозаранку выбегающими на смелых ногах; но их ноги познания устали, и теперь бранят они даже свою утреннюю смелость!

Поистине, многие из них когда-то поднимали свои ноги, как танцоры, их манил смех в моей мудрости, — потом они одумались. Только что видел я их согбенными — ползущими ко кресту.

Вокруг света и свободы когда-то порхали они, как мотыльки и юные поэты! Немного взрослее, немного мерзлее — и вот они уже нетопыри и проныры и печные лежебоки.

Не потому ли поникло сердце их, что, как кит, поглотило меня одиночество? Быть может, долго, с тоскою, *тицетно* прислушивалось их ухо к призыву труб моих и моих герольдов?

— Ах! Всегда было мало таких, чье сердце надолго сохраняет терпеливость и задор; у таких даже дух остается выносливым. Остальные малодушны.

Остальные — это всегда большинство, вседневность, излишек, многое множество — все они *малодушны*.

Кто подобен мне, тому встретятся на пути переживания, подобные моим, — так что его первыми товарищами будут трупы и скоморохи.

Его вторыми товарищами — те, кто назовут себя *верующими* в него: живая толпа, много любви, много безумия, много безбородого почитания.

Но к этим верующим не должен привязывать своего сердца тот, кто подобен мне среди людей; в эти весны и пестрые луга не должен верить тот, кто знает род человеческий, непостоянный и малодушный!

Если бы *могли* они быть иными, они и *хотели* бы иначе. Все половинчатое портит целое. Что листья блекнут, — на что тут жаловаться!

Оставь их лететь и падать, о Заратустра, и не жалуйся! Лучше подуй на них шумящими ветрами, —

— подуй на эти листья, о Заратустра, чтобы все *увядающее* скорей улетело от тебя!

### 2

«Мы опять стали набожны» — так признаются эти отступники; и многие из них еще слишком малодушны, чтобы признаться в этом.

Им смотрю я в глаза, — им говорю я в лицо и в румянец их щек: вы те, что снова *молитесь*!

Но это позор — молиться! Не для всех, а для тебя, и для меня, и для тех, у кого в голове есть совесть. Для *тебя* это позор — молиться!

Ты знаешь хорошо: твой малодушный демон, сидящий в тебе, охотно складывающий руки и опускающий их на колени и любящий удобства, — этот малодушный демон говорит тебе: *есть* Бог!»

Но *потому* и принадлежишь ты к роду боящихся света, к тем, кому свет не дает покоя; теперь должен ты с каждым днем все глубже засовывать голову свою в ночь и в чад!

И поистине, ты хорошо выбрал час: ибо теперь вновь начинают вылетать ночные птицы. Час настал для всех боящихся света, час отдыха, когда они — не «отдыхают».

Я слышу и чую: настал их час для охоты и торжественных шествий, не для дикой охоты, а для домашней, пустынной и вынюхивающей охоты людей тихо ступающих и тихо молящихся, — для охоты на чувствительных ханжей: все мышеловки для сердец теперь опять расставлены! И где ни поднимаю я завесы, отовсюду вылетает ночная бабочка.

Не сидела ли она, спрятавшись вместе с другой ночной бабочкой? Ибо всюду чую я присутствие маленьких скрытых общин; а где есть приюты, там есть новые богомольцы и смрад от богомольцев.

Они сидят по целым вечерам друг у друга и говорят: «Будем опять как малые дети и станем взывать к милосердному Богу!» — устами и желудком, которые испорчены набожными кондитерами.

Или они смотрят долгими вечерами на хитрого, подстерегающего паука-крестовика, который сам проповедует мудрость паукам и так учит их: «Под крестами хорошо ткать паутину!»

Или они сидят целыми днями с удочками у болота и оттого мнят себя *глубокими*, но кто удит там, где нет рыбы, того не назову я даже поверхностным!

Или они с благочестивой радостью учатся играть на гуслях у песнопевца, который не прочь вгусляриться в сердца молодых бабенок, — ибо устал он от старых баб и их похвал.

Или они поучаются страху у полусумасшедшего ученого, ожидающего в темных комнатах появления духов, — тогда как дух совсем убегает от него!

Или прислушиваются к старому бурчащему-урчащему бродяге-дудочнику, который научился у унылых ветров унылости звуков; теперь вторит он ветру и в унылых звуках проповедует уныние.

А иные из них сделали даже ночными сторожами: они научились теперь трубить в рог, делать ночной обход и будить старье, давно уже уснувшее.

Пять слов из старья слышал я вчера ночью у садовой стены: они исходили от этих старых ночных сторожей, унылых и сухих.

«Для отца он недостаточно заботится о своих детях: человеческие отцы делают это лучше!» —

«Он слишком стар! Он уже совсем перестал заботиться о своих детях» — так отвечал другой ночной сторож.

«Разве у него *есть* дети? Никто не может этого доказать, если он сам не докажет! Мне давно хотелось, чтобы он однажды основательно доказал это».

«Доказал? Как будто *он* когда-нибудь что-нибудь доказывал! Доказательства ему трудно даются; он придает больше значения тому, чтобы ему *верили*».

«Да! да! Вера делает его блаженным, вера в него. Такова привычка старых людей! То же будет и с нами!» —

— Так говорили между собой два старых ночных сторожа и пугала света и затем уныло трубили в свой рог: это происходило вчера ночью у садовой стены.

У меня же сердце надрывалось со смеху, оно хотело вырваться и не знало, куда? и надорвало себе живот.

Поистине, я умру оттого — что задохнусь со смеху, глядя на пьяных ослов и слушающая ночных сторожей, сомневающих в Боге.

Разве не прошло *давным-давно* время для всех подобных сомнений? Кто стал бы еще будить давно уснувшее старье, страдающее светобоязнью!

Уже давным-давно пришел конец старым богам, — и поистине, у них был хороший, веселый божественный конец!

Они не «засумерились» до смерти, — об этом, конечно, лгут! Напротив: однажды они сами *засмеяли* себя — до смерти!

Это случилось, когда самое безбожное слово было произнесено одним богом — слово: — «Бог *един*! У тебя не должно быть иного Бога, кроме меня!» — старая бороды, сердитый и ревнивый Бог до такой степени забылся:

И все боги смеялись тогда, качаясь на своих тронах, и восклицали: «Разве не в том божественность, что существуют боги, а не Бог!»

Имеющий уши да слышит. —

Так говорил Заратустра в городе, который любил он и который прозывался: «Пестрая корова». Отсюда оставалось ему всего два дня пути, чтобы быть опять в своей пещере и у своих зверей; и душа его непрестанно радовалась близости возвращения. —

## Возвращение

О, одиночество! Ты, *отчизна* моя, одиночество! Слишком долго жил я диким на дикой чужбине, чтобы не возвратиться со слезами к тебе!

Теперь пригрози мне только пальцем, как грозит мать, теперь улыбнись мне, как улыбается мать, теперь скажи только: «А кто однажды, как вихрь, улетел от меня? —

— кто, расставаясь, кричал: слишком долго сидел я в одиночестве я разучился молчанию! *Этому*, конечно, ты научился теперь?

О Заратустра, все знаю я: и то, что в толпе ты был более *покинутым*, чем когда-либо один у меня!

Одно дело — покинутость, другое — одиночество: *этому* — научился ты теперь! И что среди людей будешь ты всегда диким и чужим —

— диким и чужим, даже когда они любят тебя: ибо прежде всего хотят они, чтобы *щадили* их!

Здесь же ты на родине и у себя дома; здесь можешь ты все высказывать и вытряхивать все основания, здесь нечего стыдиться чувств затаенных и заплесневелых.

Сюда приходят все вещи, ластясь к твоей речи и ластя тебе: ибо они хотят скакать верхом на твоей спине. Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам.

Прямо и напрямик вправе ты говорить здесь ко всем вещам: и поистине, как похвала, звучит в их ушах, что один со всеми вещами — говорит напрямиком!





*Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам*

Но иное дело — покинутость. Ибо помнишь ли ты, о Заратустра? Когда твоя птица кричала над тобой, когда ты стоял в лесу в нерешимости, не зная, куда идти, около трупа:

— когда ты говорил: пусть ведут меня мои звери! Опаснее быть среди людей, чем среди зверей, — *это* была покинутость!

И помнишь ли ты еще, о Заратустра? Когда ты сидел на своем острове, среди пустых ведер источник вина, давая и раздавая, разливая и проливая себя жаждущим:

— пока, наконец, ты не сидел один, жаждущий, среди пьяных и не жаловался по ночам: «Братъ не есть ли большее наслаждение, чем давать? И красть не есть ли еще большее наслаждение, чем брать?» — *Это* была покинутость!

И помнишь ли ты еще, о Заратустра? Когда приблизился твой самый тихий час и гнал тебя прочь от тебя самого, когда говорил он злым шепотом: «Скажи свое слово и умри!» —

— когда он отравил тебе все твоё ожидание и молчание и привел в уныние твоё кроткое мужество, — *это* была покинутость!» —

О, одиночество! Ты, отчизна моя, одиночество! Как блаженно и нежно говорит мне твой голос!

Мы не спрашиваем друг друга, мы не жалуемся друг другу, мы открыто идем вместе в открытые двери.

Ибо открыто у тебя и светло: и даже часы бегут здесь более легкими шагами. В темноте время гнетет больше, чем при свете.

Здесь раскрываются мне слова и ларчики слов всякого бытия: здесь всякое бытие хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у меня говорить.

Но там внизу — всякая речь напрасна! Там забыть и пройти мимо — лучшая мудрость: *этому* — научился я теперь!

Кто хотел бы все понять у людей, должен был бы ко всему прикоснуться. Но для этого у меня слишком чистые руки.

Я не хочу уже вдыхать дыхания их; ах, зачем я так долго жил среди шума и зловонного дыхания их!

О блаженная тишина вокруг меня! О чистый запах вокруг меня! О, как вдыхает эта тишина полную грудь чистое дыхание! О, как она прислушивается, эта блаженная тишина!

Но там внизу — все говорит, там все пропускается мимо ушей. Там хоть в колокола звони про свою мудрость — торгаши на базаре перезвонят ее звоном своих грошей!

Все у них говорит, никто не умеет уже понимать. Все падает в воду, ничто уже не падает в глубокие родники.

Все у них говорит, но ничто не удается и не приходит к концу. Все кудахчет, но кому же еще хочется сидеть в гнезде и высиживать яйца?

Все у них говорит, все заболтано. И что вчера еще было слишком твердым для самого времени и зубов его, нынче висит изо рта у сегодняшних людей изгрызанным и обглоданным.

Все у них говорит, все разглашается. И что некогда называлось тайной и сокровенностью душ глубоких, сегодня принадлежит уличным трубачам и другим бабочкам.

О ты, странное человеческое существо! Ты — шум на темных улицах! Теперь лежишь ты опять позади меня: моя величайшая опасность лежит позади меня!

В пощаде и жалости лежала всегда моя величайшая опасность; а всякое человеческое существо хочет, чтобы пощадили и пожалели его.

С затаенными истинами, с рукою дурня и с одураченным сердцем, богатый маленькою ложью сострадания — так жил я всегда среди людей.

Переодетым сидел я среди них, готовый не узнавать *себя*, чтобы только переносить *их*, и стараясь уверить себя: «Глупец, ты не знаешь людей!»

Перестают знать людей, когда живут среди них: слишком много напускного во всех людях, — что делать *там* дальнзорким, дальногорьким глазам!

И когда они не узнавали меня — я, глупец, щадил их за это больше, чем себя: привыкнув строго относиться к себе и часто еще мстя самому себе за эту пощаду.

Искусанный ядовитыми мухами, изрытый, подобно камню, бесчисленными каплями злобы, так сидел я среди них и еще старался уверить себя: «Невинно все ничтожное в своем ничтожестве!»

Особенно тех, кто называли себя «добрыми», находил я самыми ядовитыми мухами: они кусают в полной невинности, они лгут в полной невинности; как могли *бы* они быть ко мне — справедливыми!

Кто живет среди добрых, того учит сострадание лгать. Сострадание делает удушливым воздух для всех свободных душ. Ибо глупость добрых неисповедима.

Скрывать себя самого и свое богатство — *этому* научился я там внизу: ибо каждого считал я еще за нищего духом. В том была ложь моего сострадания, что в отношении каждого я знал,

— что в отношении каждого я видел и чуял, сколько было ему *достаточно* духа и сколько было уже *слишком много* для него!

Их надутые мудрецы: я называл их мудрыми, а не надутыми, — так научился я проглатывать слова. Их могильщики: я называл их исследователями и испытателями, — так научился я подменять слова.

Могильщики выкапывают болезни себе. Под старым хламом покоятся дурные испарения. Не надо взбалтывать топь. Надо жить на горах.

Блаженными ноздрями вдыхаю я опять свободу гор! Наконец мой нос избавился от запаха всякого человеческого существа!

Защекоченная свежим воздухом, как от шипучих вин, *чихает* моя душа, — чихает и весело приговаривает: на здоровье!

Так говорил Заратустра.

## О трояком зле

### 1

Во сне, последнем утреннем сне, стоял я сегодня на высокой скале — по ту сторону мира, держал весы и *взвешивал* мир.

О, слишком рано утренняя заря подошла ко мне: пылающая, она разбудила меня, ревнивая! Она всегда ревнует меня к моему утреннему, знойному сну.

Измеримым для того, у кого есть время, весомым для хорошего весовщика, достижимым для сильных крыльев, возможным для разгадки теми, кто щелкает божественные орехи, — таким нашел мой сон мир:

Мой сон, смелый плаватель, полукорабль, полушквал, молчаливый, как мотылек, нетерпеливый, как сокол, — как же нашлось у него сегодня терпение и время взвешивать мир!

Не внушила ли ему это тайно моя мудрость, смеющаяся, бодрствующая мудрость дня, которая насмехается над всеми «бесконечными мирами»? Ибо она говорит: «Где есть сила, там становится хозяином и *число*: ибо у него больше силы».

Как уверенно смотрел мой сон на этот конечный мир, без жажды нового, без жажды старого, без страха, без мольбы:

— как будто наливное яблоко просилось в мою руку, спелое золотое яблоко с холодной, мягкой, бархатистой кожицей, — таким представлялся мне мир —

— как будто дерево кивало мне, с широкими ветвями, крепкое волею, согнутое для опоры и как алтарь для усталого путника, — таким стоял мир на моей высокой скале —

— как будто красивые руки несли навстречу мне ларец — ларец, открытый для восторга стыдливых, почтительных глаз, — таким несся сегодня навстречу мне мир —

— не настолько загадкой, чтобы спугнуть человеческую любовь, не настолько разгадкой, чтобы усыпить человеческую мудрость: человечески добрым был для меня сегодня мир, на который так зло клеветают!

Как благодарю я свой утренний сон, что сегодня на заре взвесил я мир! Человечески добрым пришел ко мне этот сон и утешитель сердец!

И пусть днем поступлю я подобно ему, и пусть его лучшее послужит мне примером: хочу я теперь положить на весы три худшие вещи и по-человечески взвесить их. —

Кто учил благословлять, тот учил и проклинать: какие же в мире три наиболее проклятые вещи? Их хочу я положить на весы.

*Сладострастие, властолюбие, себялюбие*: они были до сих пор наиболее проклинаемы и больше всего опорочены и изолганы, — их хочу я по-человечески взвесить.

Ну что ж! Здесь моя скала, а там море: *оно* подкатывается ко мне, косматое, лстынное, верный, старый, стоголовый чудовищный пес, любимый мною.

Ну что ж! Здесь хочу я держать весы над бушующим морем; и свидетеля выберу я, чтобы следил он, — за тобой, ты, одинокое дерево, сильно благоухающее, с широко раскинутой листвою, любимое мною! —

По какому мосту идет к будущему настоящее? Какое принуждение принуждает высокое склоняться к низкому? И что велит высшему — еще расти вверх? —

Теперь весы в равновесии и неподвижны: три тяжелых вопроса я бросил на них, три тяжелых ответа несет другая чаша весов.

## 2

Сладострастие: жало и кол для всех носящих власяницу и презрителей тела и «мир», проклятый всеми потусторонниками: ибо оно вышучивает и дурачит всех наставников плутней и блудней.

Сладострастие: для отребья медленный огонь, на котором сгорает оно; для всякого червивого дерева, для всех зловонных лохмотьев готовая пылающая и клокочущая печь.





*Сладострастие, властолюбие, себялюбие: они были до сих пор наиболее  
проклинаемы и больше всего опорочены и изолганы...*

Сладострастие: для свободных сердец нечто невинное и свободное, счастье сада земного, избыток благодарности всякого будущего настоящему.

Сладострастие: только для увядшего сладкий яд, но для тех, у кого воля льва, великое сердечное подкрепление и вино из вин, благоговейно сбереженное.

Сладострастие: великий символ счастья для более высокого счастья и наивысшей надежды. Ибо многому обещан был брак и больше, чем брак, —

— многому, что более чуждо друг другу, чем мужчина и женщина, — и кто же вполне понимал, *как чужды* друг другу мужчина и женщина!

Сладострастие: однако я хочу изгородить свои мысли и даже свои слова — чтобы не вторглись в сады мои свиньи и гуляки! —

Властолюбие: пылающий бич для самых твердых сердец, жестокая пытка, которую самый жестокий prepares для себя самого; мрачное пламя живых костров.

Властолюбие: злая узда, наложенная на самые тщеславные народы; пересмешник всякой сомнительной добродетели; оно ездит верхом на всяком коне и на всякой гордости.

Властолюбие: землетрясение, сламывающее и взламывающее все гнилое и пустое внутри; рокочущий, грохочущий, карающий разрушитель повапленных гробов; сверкающий вопросительный знак возле преждевременных ответов.

Властолюбие: пред взором его человек пресмыкается, гнется, раболепствует и становится ниже змеи и свиньи: пока наконец великое презрение не возопит в нем. —

Властолюбие: грозный учитель великого презрения, которое городам и царствам проповедует прямо в лицо: «Убирайтесь прочь!» — пока сами они не возопят: «Пора *нам* убираться прочь!»

Властолюбие: оно же заманчиво поднимается к чистым и одиноким и вверх к самодовлеющим вершинам, пылая, как любовь, заманчиво рисующая пурпурные блаженства на земных небесах.

Властолюбие: но кто назовет его *любимым*, когда высокое стремится вниз к власти! Поистине, нет ничего больного и подневольного в такой прихоти и нисхождении!

Чтобы одинокая вершина уединялась не навеки и не довольствовалась сама собой; чтобы гора спустилась к долине и ветры вершины к низинам:

О, кто бы нашел настоящее имя, чтобы окрестить и возвести в добродетель такую тоску! «Дарящая добродетель» — так назвал однажды Заратустра то, чему нет имени.

И тогда случилось — и поистине, случилось в первый раз! — что его слово возвеличило себялюбие, цельное, здоровое себялюбие, бьющее ключом из могучей души —

— из могучей души, которой принадлежит высокое тело, красивое, победоносное и улаждающее, вокруг которого всякая вещь становится зеркалом, —

— гибкое, убеждающее тело, танцор, символом и вытяжкой которого служит душа, радующаяся себе самой. Саморадость таких тел и душ называет сама себя — «добродетелью».

Своими словами о добре и зле огораживает себя такая саморадость, как священной рощею; именами своего счастья гонит она от себя все презренное.

Прочь от себя гонит она все трусливое; она говорит: дурное — *значит*, трусливое! Достойным презрения кажется ей всякий, кто постоянно заботится, вздыхает и жалуется, а также кто собирает малейшие выгоды.

Она презирает и всякую унылую мудрость: ибо, поистине, существует также мудрость, цветущая во мраке, мудрость ночных теней, постоянно вздыхающая: «Все — суета!»

Она не любит боязливой недоверчивости и тех, кто требует клятв вместо взоров и протянутых рук; также всякой слишком недоверчивой мудрости, — ибо таковы повадки душ трусливых.

Еще ниже ценит она слишком услужливого, кто тотчас, как собака, ложится на спину, смиренного; и существует также мудрость смиренная, по-собачьи униженная, смиренная и слишком услужливая.

Ненавистен и мерзок ей тот, кто никогда не хочет защищаться, кто проглатывает ядовитые плевики и злобные взгляды, кто слишком терпелив, кто все переносит и всем доволен: ибо таковы повадки раба.

Раболепствует ли кто пред богами и стопами их, пред людьми и глупыми мнениями их: на *все* рабское плюет оно, это блаженное себялюбие!

Дурно: так называет оно все приниженное и приниженно-рабское, глаза моргающие и покорные, сокрушенные сердца и ту лживую, податливую породу, которая целует большими, трусливыми губами.

И лже-мудрость: так называет оно все, над чем мудрствуют рабы, старики и усталые, — и особенно всю дурную, суемудрую, перемудрившую глупость жрецов!

Лже-мудрецы, однако, — это все жрецы, все уставшие от мира и те, чья душа похожа на душу женщины и раба, — о, какую жестокую игру вели они всегда с себялюбием!

И это должно было быть добродетелью и называться добродетелью, *чтобы* преследовать себялюбие! Быть «без себялюбия» — этого хотели бы с полным основанием сами себе все эти трусы и пауки-крестовики, уставшие от мира! Но для всех для них приближается теперь день, перемена, меч судьбы, *великий полдень*: тогда откроется многое!

И кто называет *Я* здоровым и священным, а себялюбие — блаженным, тот, поистине, говорит, что знает он, как прорицатель: «*Вот, он приближается, он близок, великий полдень!*»

Так говорил Заратустра.

## О духе тяжести

### 1

Уста мои — уста народа: слишком грубо и сердечно говорю я для шелковистых зайцев. И еще более странным звучит мое слово для всех чернильных рыб и лисиц пера!

Моя рука — рука дурня: горе всем столам и стенам и всему, что может дать место для старанья и для маранья дурня!

Моя нога — чертово копыто; сию семеню я рысцой чрез камень и пенек, в поле вдоль и поперек и, как дьявол, радуюсь всякому быстрому бегу.

Мой желудок — должно быть, желудок орла? Ибо он любит больше всего мясо ягненка. Но, во всяком случае, он — желудок птицы.



Вскормленный скудной, невинною пищей, готовый и страстно желающий летать и улетать — таков я: разве я немножко не птица!

И особенно потому, что враждебен я духу тяжести, в этом также природа птицы; и поистине, я враг смертельный, враг заклятый, враг врожденный! О, куда только не летала и куда только не залетала моя вражда!

Об этом я мог бы спеть песню — и *хочу* ее спеть: хотя я один в пустом доме и должен петь ее для своих собственных ушей.

Есть, конечно, другие певцы, у которых только полный дом делает гортань их мягкой, руку красноречивой, взор выразительным, сердце бодрым, — на них не похож я. —

## 2

Кто научит однажды людей летать, сдвинет с места все пограничные камни; все пограничные камни сами взлетят у него на воздух, землю вновь окрестит он — именем «легкая».

Птица страус бежит быстрее, чем самая быстрая лошадь, но и она еще тяжело прячет голову в тяжелую землю; так и человек, не умеющий еще летать.

Тяжелой кажется ему земля и жизнь; так *хочет* дух тяжести! Но кто хочет быть легким и птицей, тот должен любить себя самого, — так учу я.

Конечно, не любовью больных и лихорадочных: ибо у них и собственная любовь дурно пахнет!

Надо научиться любить себя самого — так учу я — любовью цельной и здоровой: чтобы сносить себя самого и не скитаться всюду.

Такое скитание называется «любовью к ближнему»: с помощью этого слова до сих пор лгали и лицемерили больше всего, и особенно те, кого весь мир сносил с трудом.

И поистине, это вовсе не заповедь на сегодня и на завтра — *научиться* любить себя. Скорее, из всех искусств это самое тонкое, самое хитрое, последнее и самое терпеливое.

Ибо для собственника все собственное бывает всегда глубоко зарытым; и из всех сокровищ собственный клад выкапывается последним — так устраивает это дух тяжести.

Почти с колыбели дают уже нам в наследство тяжелые слова и тяжелые ценности: «добро» и «зло» — так называется это приданое. И ради них прощают нам то, что живем мы.

И кроме того, позволяют малым детям приходить к себе, чтобы вовремя запретить им любить самих себя, — так устраивает это дух тяжести.

А мы — мы доверчиво тащим, что дают нам в приданое, на грубых плечах по суровым горам! И если мы обливаемся потом, нам говорят: «Да, жизнь тяжело нести!»

Но только человеку тяжело нести себя! Это потому, что тащит он слишком много чужого на своих плечах. Как верблюд, опускается он на колени и дает как следует навьючить себя.

Особенно человек сильный и выносливый, способный к глубокому почитанию: слишком много *чужих* тяжелых слов и ценностей навьючивает он на себя, — и вот жизнь кажется ему пустыней!

И поистине! Даже многое *собственное* тяжело нести! Многое внутри человека похоже на устрицу, отвратительную и скользкую, которую трудно схватить, —





*Кто научит однажды людей летать,  
сдвинет с места все пограничные камни...*

— так что благородная скорлупа с благородными украшениями должна заступиться за нее. Но и этому искусству надо научиться: *иметь* скорлупою прекрасный призрак и мудрое ослепление!

И опять во многом можно ошибиться в человеке, ибо иная скорлупа бывает ничтожной и печальной и слишком уж скорлупой. Много скрытой доброты и силы никогда не угадывается: самые драгоценные лакомства не находят лакомок!

Женщины знают это, самые лакомые; немного тучнее, немного худее — о, как часто судьба содержится в столь немногом!

Трудно открыть человека, а себя самого всего труднее; часто лжет дух о душе. Так устраивает это дух тяжести.

Но тот открыл себя самого, кто говорит: это *мое* добро и *мое* зло; этим заставил он замолчать крота и карлика, который говорит: «Добро для всех, зло для всех».

Поистине, не люблю я тех, у кого всякая вещь называется хорошей и этот мир даже наилучшим из миров. Их называю я вседовольными.

Вседовольство, умеющее находить все вкусным, — это не лучший вкус! Я уважаю упрямые, разборчивые языки и желудки, которые научились говорить «я», «да» и «нет».

Но все жевать и переваривать — это настоящая порода свиньи! Постоянно говорить И-А — этому научился только осел и кто брат ему по духу!

Густая желтая и яркая алая краски: их требует мой вкус, — примешивающий кровь во все цвета. Но кто окрашивает дом свой белой краской, обнаруживает выбеленную душу.

Одни влюблены в мумии, другие — в призраки; и те и другие одинаково враждебны всякой плоти и крови — о, как противны они моему вкусу! Ибо я люблю кровь.

И там не хочу я жить и обитать, где каждый плюет и плюется: таков *мой* вкус — лучше стал бы я жить среди воров и клятвопреступников. Никто не носит золота во рту.

Но еще противнее мне все прихлебатели; и самое противное животное, какое встречал я среди людей, назвал я паразитом: оно не хотело любить и, однако, хотело жить от любви.

Несчастливыми называю я всех, у кого один только выбор: сделаться лютым зверем или лютым укротителем зверей, — у них не построил бы я шатра своего.

Несчастливыми называю я также и тех, кто всегда должен *быть на страже*, — противны они моему вкусу; все эти мытари и торгаши, короли и прочие охранители страны и лавок.

Поистине, я также основательно научился быть на страже, — но только на страже самого себя. И прежде всего научился я стоять, и ходить, и бегать, и прыгать, и лазить, и танцевать.

Ибо в том мое учение: кто хочет научиться летать, должен сперва научиться стоять, и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать, — нельзя сразу научиться летать!

По веревочной лестнице научился я влезать во многие окна, проворно влезал я на высокие мачты: сидеть на высоких мачтах познания казалось мне немалым блаженством, —

— гореть малым огнем на высоких мачтах: хотя малым огнем, но большим утешением для севших на мель корабельщиков и для потерпевших кораблекрушение! —

Многими путями и способами дошел я до моей истины: не по *одной* лестнице поднимался я на высоту, откуда взор мой устремлялся в мою даль.

И всегда неохотно спрашивал я о дорогах — это всегда было противно моему вкусу! Я лучше сам вопрошал и испытывал дороги.

Испытывать и вопрошать было всем моим хождением — и поистине, даже отвечать надо научиться на этот вопрос! Но таков — мой вкус:

— ни хороший, ни дурной, но мой вкус, которого я не стыжусь и не прячу.

«Это — теперь *мой* путь, — а где же ваш?» — так отвечал я тем, кто спрашивал меня о «пути». Ибо *пути* вообще не существует!

Так говорил Заратустра.

## О старых и новых скрижалях

### 1

— Здесь сижу я и жду; все старые, разбитые скрижали вокруг меня, а также новые, наполовину исписанные. Когда же настанет мой час?

— час моего нисхождения, захождения: ибо еще один раз хочу я пойти к людям.

Его жду я теперь: ибо сперва должны мне предшествовать знамения, что *мой* час настал, — именно, смеющийся лев со стаей голубей.

А пока говорю я сам с собою, как тот, у кого есть время. Никто не рассказывает мне ничего нового, — поэтому я рассказываю себе о самом себе. —

### 2

— Когда я пришел к людям, я нашел их застывшими в старом самомнении: всем им мнилось, что они давно уже знают, что для человека добро и что для него зло.

Старой утомительной вещью мнилась им всякая речь о добродетели, и, кто хотел спокойно спать, тот перед отходом ко сну говорил еще о «добре» и «зле».

Эту сонливость встряхнул я, когда стал учить: *никто не знает еще, что добро и что зло*, — если сам он не есть созидающий!

— Но созидающий — это тот, кто создает цель для человека и дает земле ее смысл и ее будущее: он впервые *создает* добро и зло для всех вещей.

И я велел им опрокинуть старые кафедры и все, на чем только восседало это старое самомнение; я велел им смеяться над их великими учителями добродетели, над их святыми и поэтами, над их избавителями мира.

Над их мрачными мудрецами велел я смеяться им и над теми, кто когда-либо, как черное пугало, предостерегая, сидел на дереве жизни.

На краю их большой улицы гробниц сидел я вместе с падалью и ястребами — и я смеялся над всем прошлым их и гнилым, развалившимся блеском его.

Поистине, подобно проповедникам покаяния и безумцам, изрек я свой гнев на все их великое и малое — что все лучшее их так ничтожно, что все худшее их так ничтожно! — так смеялся я.

Мое стремление к мудрости так кричало и смеялось во мне, поистине, она рождена на горах, моя дикая мудрость! — моя великая, шумящая крыльями тоска.

И часто уносило оно меня вдаль, в высоту, среди смеха; тогда летел я, содрогаюсь, как стрела, чрез опьяненный солнцем восторг:

— туда, в далекое будущее, которого не видала еще ни одна мечта, на юг более жаркий, чем когда-либо мечтали художники: туда, где боги, танцую, стыдятся всяких одежд, —

— так говорю я в символах и, подобно поэтам, запинаясь и бормочу: и поистине, я стыжусь, что еще должен быть поэтом! —

Туда, где всякое становление мнилось мне божественной пляской и шалостью, а мир — выпущенным на свободу, невзнузданным, убегаящим обратно к самому себе, —

— как вечное бегство многих богов от себя самих и опять новое искание себя, как блаженное противоречие себе, новое внимание к себе и возвращение к себе многих богов. —

Где всякое время мнилось мне блаженной насмешкой над мгновениями, где необходимостью была сама свобода, блаженно игравшая с жалом свободы. —

Где снова нашел я своего старого демона и заклятого врага, духа тяжести, и все, что создал он: насилие, устав, необходимость, следствие, цель, волю, добро и зло. —

Разве не должны существовать вещи, *над* которыми можно было бы танцевать? Разве из-за того, что есть легкое и самое легкое, — не должны существовать кроты и тяжелые карлики?

### 3

— Там же поднял я на дороге слово «сверхчеловек» и что человек есть нечто, что должно преодолеть,

— что человек есть мост, а не цель; что он радуется своему полдню и вечеру как пути, ведущему к новым утренним зорям:

слово Заратустры о великом полдне, и что еще навесил я на человека как на вторую пурпурную вечернюю зарю.

Поистине, я дал им увидеть даже новые звезды и новые ночи; и над тучами и днем и ночью раскинул я смех, как пестрый шатер.

Я научил их всем *моим* думам и всем чаяниям *моим*: собрать воедино и вместе нести все, что есть в человеке отрывочного, загадочного и ужасно случайного, —

— как поэт, отгадчик и избавитель от случая, я научил их быть созидателями будущего и все, что *было*, — спасти, созидая.

Спасти прошлое в человеке и преобразовать все, что «было», пока воля не скажет: «Но так хотела я! Так захочу я». —

Это назвал я им избавлением, одно лишь это учил я их называть избавлением. —

Теперь я жду *своего* избавления, — чтобы пойти к ним в последний раз.

Ибо еще *один* раз пойду я к людям: *среди* них хочу я умереть, и, умирая, хочу я дать им свой богатейший дар!

У солнца научился я этому, когда закатывается оно, богатейшее светило: золото сыплет оно в море из неистощимых сокровищниц своих, —

— так что даже беднейший рыбак гребет *золотым* веслом! Ибо это видел я однажды, и, пока я смотрел, слезы, не переставая, текли из моих глаз. —





*Здесь сижу я и жду; все старые, разбитые скрижали вокруг меня, а также новые,  
наполовину исписанные. Когда же настанет мой час?*

Подобно солнцу хочет закатиться и Заратустра: теперь сидит он здесь и ждет; вокруг него старые, разбитые скрижали, а также новые, — наполовину исписанные.

## 4

— Смотри, вот новая скрижаль; но где братья мои, которые вместе со мной понесут ее в долину и в плотяные сердца? —

Так гласит моя великая любовь к самым дальним: (не щади своего *ближнего*. Человек есть нечто, что должно преодолеть.

Существует много путей и способов преодоления — ищи их *сам*! Но только скороморох думает: «Через человека можно *перепрыгнуть*».

Преодолей самого себя даже в своем ближнем: и право, которое ты можешь завоевать себе, ты не должен позволять дать тебе!

Что делаешь ты, этого никто не может возместить тебе. Знай, не существует возмездия.

Кто не может повелевать себе, должен повиноваться. Иные же могут повелевать себе, но им недостает еще многого, чтобы уметь повиноваться себе!

## 5

— Так хочет этого характер душ благородных: они ничего не желают иметь *даром*, всего менее жизнь.

Кто из толпы, тот хочет жить даром; мы же другие, кому дана жизнь, — мы постоянно размышляем, *что* могли бы мы дать лучшего *в обмен* за нее!

И поистине, благородна та речь, которая гласит: «что обещает *нам* жизнь, мы хотим — исполнить для жизни!»

Не надо искать наслаждений там, где нет места для наслаждения. И — не надо *желать* наслаждаться!

Ибо наслаждение и невинность — самые стыдливые вещи: они не хотят, чтобы искали их. Их надо *иметь*, — но *искать* надо скорее вины и страдания! —

## 6

— О братья мои, кто первенец, тот приносится всегда в жертву. А мы теперь первенцы.

Мы все истекаем кровью на тайных жертвенниках, мы все горим и жаримся в честь старых идолов.

Наше лучшее еще молодо; оно раздражает старое небо. Наше мясо нежно, наша шкура только шкура ягненка — как не раздражать нам старых идольских жрецов!

*В нас самих* живет еще он, старый идольский жрец, он жарит наше лучшее себе на пир. Ах, братья мои, как первенцам не быть жертвою!

Но так хочет этого наш род; и я люблю тех, кто не ищет сберечь себя. Погибающих люблю я всею своей любовью: ибо переходят они на ту сторону. —

## 7

— Быть правдивыми — *могут* немногие! И кто может, не хочет еще! Но меньше всего могут быть ими добрые.

О, эти добрые! — *Добрые люди никогда не говорят правды*; для духа быть таким добрым — болезнь.

Они уступают, эти добрые, они покоряются, их сердце вторит, их разум повинуются: но кто слушается, *тот не слушает самого себя*!

Все, что у добрых зовется злым, должно соединиться, чтобы родилась *единая* истина, — о братья мои, достаточно ли вы злы для *этой* истины?

Отчаянное дерзновение, долгое недоверие, жестокое отрицание, пресыщение, надрезывание жизни — как редко бывает *это* вместе. Но из такого семени — рождается истина!

*Рядом* с нечистой совестью росло до сих пор все *знание*! Разбейте, разбейте, вы, познающие, старые скрижали!

## 8

— Когда бревна в воде, когда мосты и перила перекинута над рекою, — поистине, не поверят, если кто скажет тогда: «Все течет».

Даже увальни будут противоречить ему. «Как? — скажут увальни, — все течет? Ведь балки и перила перекинута *над* рекой!»

«*Над* рекою все крепко, все ценности вещей, мосты, понятия, все «добро» и «зло» — все это *крепко*!» —

А когда приходит суровая зима, укротительница рек, — тогда и насмешники начинают сомневаться; и поистине, не одни только увальни говорят тогда: «Не все ли — *спокойно*?»

«В основе все спокойно» — это истинное учение зимы, удобное для бесплодного времени, хорошее утешение для спячих зимою и печных лежек.

«В основе все спокойно» — но *против этого* говорит ветер в оттепель!

Ветер в оттепель — это бык, но не пашущий, а бешеный бык, разрушитель, гневными рогами ломающий лед! Лед же — *ломает мостки*!

О братья мои, не все ли *течет теперь*? Не все ли перила и мосты попадали в воду? Кто же станет *держаться* еще за «добро» и «зло»?

«Горе нам! Благо нам! Теплый ветер подул!» — так проповедуйте, братья мои, по всем улицам!

## 9

Есть старое безумие, оно называется добро и зло. Вокруг прорицателей и звездочетов вращалось до сих пор колесо этого безумия.

Некогда *верили* в прорицателей и звездочетов; и *потому* верили: «Все — судьба: ты должен, ибо так надо!»

Затем опять стали не доверять всем прорицателям и звездочетам; и *потому* верили: «Все — свобода: ты можешь, ибо ты хочешь!»

О братья мои, о звездах и о будущем до сих пор только мечтали, но не знали их; и *потому* о добре и зле до сих пор только мечтали, но не знали их!

## 10

«Ты не должен грабить! Ты не должен убивать!» — такие слова назывались некогда священными; перед ними преклоняли колена и головы, и к ним подходили, разувшись.

Но я спрашиваю вас: когда на свете было больше разбойников и убийц, как не тогда, когда эти слова были особенно священны?

Разве в самой жизни нет — грабежа и убийства? И считать эти слова священными, разве не значит — убивать саму *истину*?

Или это не было проповедью смерти — считать священным то, что противоречило и противоборствовалось всякой жизни? — О братья мои, разбейте, разбейте старые скрижали!

## 11

Мне жаль всего прошлого, ибо я вижу, что оно отдано на произвол, —  
— отдано на произвол милости, духа и безумия каждого из поколений, которое приходит и все, что было, толкует как мост для себя!

Может прийти великий тиран, лукавый изверг, который своей милостью и своей немилостью будет насиловать все прошлое — пока оно не станет для него мостом, знаменiem, герольдом и криком петуха.

Но вот другая опасность и мое другое сожаление: память тех, кто из толпы, не идет дальше деда, — и с дедом кончается время.

И так все прошлое отдано на произвол: ибо может когда-нибудь случиться, что толпа станет господином, и всякое время утонет в мелкой воде.

Поэтому, о братья мои, нужна *новая знать*, противница всего, что есть всякая толпа и всякий деспотизм, знать, которая на новых скрижалях снова напишет слово: «благородный».

Ибо нужно много благородных, и разнородных благородных, чтобы *составилась знать*! Или, как говорил я однажды в символе, «в том божественность, что существуют боги, а не Бог!».

## 12

О братья мои, я жалею вас в новую знать: вы должны стать созидателями и воспитателями — сеятелями будущего, —

— поистине, не в ту знать, что могли бы купить вы, как торгаши, золотом торгащей: ибо мало ценности во всем том, что имеет свою цену.

Не то, откуда вы идете, пусть составит отныне вашу честь, а то, куда вы идете! Ваша воля и ваши шаги, идущие дальше вас самих, — пусть будут отныне вашей новой честью!





*Ветер в оттепель — это бык, но не пашущий, а бешеный бык, разрушитель,  
гневными рогами ломающий лед!*

Поистине, не то, что служили вы князю — что значат теперь князья! — или что были вы оплотом тому, что стоит, чтобы крепче стояло оно!

Не то, что ваш род при дворах сделался придворным и вы научились, пестрые, как фламинго, часами стоять в мелководных прудах.

— Ибо *уменьше* стоять есть заслуга у придворных; и все придворные верят, что к блаженству после смерти принадлежит — *позволение сесть!* —

Также и не то, что дух, которого они называют святым, вел ваших предков в земли обетованные, которых я не обещаю; ибо, где выросло худшее из всех деревьев — крест, — в такой земле хвалить нечего!

— И поистине, куда бы не вел этот «святой дух» своих рыцарей, всегда бежали впереди таких шествий — козлы и гуси, безумцы и помешанные! —

О братья мои, не назад должна смотреть ваша знать, а *вперед!* Изгнанниками должны вы быть из страны ваших отцов и праотцев!

*Страну детей ваших* должны вы любить: эта любовь да будет вашей новой знатью, — страну, еще не открытую, лежащую в самых далеких морях! И пусть ищут и ищут ее ваши паруса!

Своими детьми должны вы искупить то, что вы дети своих отцов: все прошлое должны вы спасти *этим путем!* Эту новую скрижаль ставлю я над вами!

## 13

«К чему жить? Все — суета! Жить — это молотить солому; жить — это сжигать себя и все-таки не согреться». —

Эта старая болтовня все еще слывет за «мудрость»; *за то*, что стара она и пахнет затхлым, еще более уважают ее. Даже плесень облагораживает. —

Дети могли так говорить: они *боятся* огня, ибо он обжег их! Много ребяческого в старых книгах мудрости.

И кто всегда «молотит солому», какое право имеет он хулить молотьбу! Таким глупцам следовало бы завязывать рот!

Они садятся за стол и ничего не приносят с собой, даже здорового голода; и вот хулят они: «все — суета!»

Но хорошо есть и хорошо пить, о братья мои, это, поистине, не суетное искусство! Разбейте, разбейте скрижали тех, кто никогда не радуется!

## 14

«Для чистого все чисто» — так говорит народ. Но я говорю вам: для свиней все превращается в свинью!

Поэтому иступленные и святоши, у которых даже сердце поникло, проповедуют: «Сам мир есть грязное чудовище».

Ибо все они не чисты духом; особенно те, кто не находят ни покоя, ни отдыха, разве что видя мир *сзади*, — и потусторонники!

*Им* говорю я в лицо, хотя это и звучит не любезно: мир тем похож на человека, что и у него есть задняя часть, — и лишь *настолько* это верно!

Существует в мире много грязи — и лишь настолько это верно! Но оттого сам мир не есть еще грязное чудовище!

Есть мудрость в том, что многое в мире дурно пахнет, — но само отвращение создает крылья и силы, угадывающие источники!

Даже в лучшем есть и нечто отвратительное; и даже лучший человек есть нечто, что должно преодолеть!

О братья мои, много мудрости в том, что много грязи есть в мире!

## 15

Я слышал, как благочестивые потусторонники говорили к своей совести, и поистине, без злобы и лжи, — хотя и нет в мире ничего более лживого и злобного.

«Предоставь миру быть миром! Не поднимай против него даже мизинца!»

«Пусть, кто хочет, душит и колет людей и сдирает с них кожу — не поднимай против него даже мизинца! Так научатся они отрекаться от мира».

«А свой собственный разум — ты должен сам задушить его: ибо это разум мира сего, — так научишься ты сам отрекаться от мира».

— Разбейте, разбейте, о братья мои, эти старые скрижали благочестивых! Развейте слова клеветников на мир!

## 16

«Кто много учится, разучивается всякому сильному желанию» — так шепчут сегодня на всех темных улицах.

«Мудрость утомляет, ничто — не вознаграждается; ты не должен желать!» — эту новую скрижаль нашел я вывешенной даже на базарных площадях.

Разбейте, о братья мои, разбейте и эту *новую* скрижаль! Утомленные миром повесили ее и проповедники смерти и тюремщики: ибо, смотрите, это также есть проповедь, призывающая к рабству!

Ибо они дурно учились, и далеко не лучшему, и всему слишком рано и всему слишком скоро: ибо они плохо *ели*, и потому они получили этот испорченный желудок,

— ибо испорченный желудок есть их дух: *он* советует смерть! Ибо, поистине, братья мои, дух *есть* желудок!

Жизнь есть родник радости; но в ком говорит испорченный желудок, отец скорби, для того все источники отравлены.

Познавать — это *радость* для того, в ком воля льва! Но кто утомился, тот сам делается лишь «предметом воли», с ним играют все волны.

И так бывает всегда с людьми слабыми: они теряются на своих путях. И наконец усталость их еще спрашивает: «К чему ходили мы когда-то по дорогам? Везде все равно!»

*Им* приятно слышать, когда проповедуют: «Ничто не вознаграждается! Вы не должны желать!» Но ведь это проповедь, призывающая к рабству.

О братья мои, как дуновение свежего ветра приходит Заратустра ко всем уставшим от их пути; многие носы заставит он еще чихать!

Даже сквозь стены проникает мое свободное дыхание, входит в тюрьмы и плененные умы!

«Хотеть» освобождает: ибо хотеть значит созидать, — *так* учу я. И *только* для созидания должны вы учиться!

И даже учиться должны вы сперва у меня *научиться*, хорошо научиться! — Имеющий уши да слышит!

## 17

Челн готов — на той стороне ты попадешь, быть может, в великое Ничто. — Но кто хочет вступить в это «быть может»?

Никто из вас не хочет вступить в челн смерти! Как же хотите вы тогда быть *утомленными миром*!

Утомленные миром! Вы даже еще не отрешились от земли! Похотливыми находил я вас всегда к земле, еще влюбленными в собственное утомление землею!

Недаром отвисла у вас губа: маленькое земное желание еще сидит на ней! А в глазу — разве не плавает облачко незабытой земной радости?

На земле есть много хороших изобретений, из них одни полезны, другие приятны; ради них стоит любить землю.

И многие изобретения настолько хороши, что являются, как грудь женщины, — одновременно полезными и приятными.

А вы, уставшие от мира и ленивые! Вас надо высечь розгами! Ударами розги надо вернуть вам резвые ноги.

Ибо — если вы не больные и не отжившие твари, от которых устала земля, то вы хитрые ленивцы или вороватые, притаившиеся, похотливые кошки. И если вы не хотите снова весело *бежать*, должны вы — исчезнуть!

Не надо желать быть врачом неизлечимых — так учит Заратустра, — поэтому вы должны исчезнуть!

Но надо больше *мужества* для того, чтобы положить конец, чем чтобы высидеть новый стих, — это знают все врачи и поэты. —

## 18

О братья мои, есть скрижали, созданные утомлением, и скрижали, созданные гнилой леностью, — хотя говорят они одинаково, но хотят, чтобы слушали их неодинаково. —

Посмотрите на этого томящегося жаждой! Только одна пядь еще отделяет его от его цели, но от усталости лег он здесь упрямо в пыли — этот храбрец!

От усталости зевает он на путь, на землю, на цель и на себя самого: ни одного шагу не хочет сделать он дальше — этот храбрец!

И вот солнце палит его, и собаки лижут его пот; но он лежит здесь в своем упрямстве и предпочитает томиться жаждой —

— на расстоянии пяди от своей цели томиться жаждой! И, поистине, вам придется еще тащить его за волосы на его небо — этого героя!



Но еще лучше, оставьте его лежать там, где он лег, чтобы пришел к нему сон-утешитель с шумом освежающего дождя.

Оставьте его лежать, пока он сам не проснется, — пока он сам не откажется от всякой усталости и от всего, чему учила усталость в нем!

Только, братья мои, отгоните от него собак, ленивых проныр и весь шумящий сброд —

— весь шумящий сброд людей «культурных», который лакомится — потом героев! —

## 19

Я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; все меньше поднимающихся со мною на все более высокие горы; я строю хребет из все более священных гор. —

Но куда бы ни захотели вы подняться со мной, о братья мои, — смотрите, чтобы не поднялся вместе с вами какой-нибудь *паразит*!

Паразит — это червь, пресмыкающийся и гибкий, желающий разжиреть в больных, израненных уголках вашего сердца.

И в *том* его искусство, что в восходящих душах он угадывает, где они утомлены; в вашем горе и недовольстве, в вашей нежной стыдливости строит он свое отвратительное гнездо.

Где сильный бывает слаб, а благородный слишком кроток, — там строит он свое отвратительное гнездо: паразит живет там, где у великого есть израненные уголки в сердце.

Какой род всего сущего самый высший и какой самый низший? Паразит — самый низший род; но кто высшего рода, тот кормит наибольшее число паразитов.

Ибо душа, имеющая очень длинную лестницу и могущая опуститься очень низко, — как не сидеть на ней наибольшему числу паразитов? —

— душа самая обширная, которая далеко может бегать, блуждать и метаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность, —

— душа сущая, которая погружается в становление; имущая, которая *хочет* войти в волю и в желание, —

— убегающая от себя самой и широкими кругами себя догоняющая; душа самая мудрая, которую тихонько приглашает к себе безумие, —

— наиболее себя любящая, в которой все вещи находят свое течение и свое противотечение, свой прилив и отлив, — о, как не быть в *самой высокой душе* самым худшим из паразитов?

## 20

О братья мои, разве я жесток? Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!

Все, что от сегодня, — падает и распадается; кто захотел бы удержать его! Но я — я *хочу* еще толкнуть его!

Знакомо ли вам наслаждение скатывать камни в отвесную глубину? — Эти нынешние люди: смотрите же на них, как они скатываются в мои глубины!

Я только прелюдия для лучших игроков, о братья мои! Пример! *Делайте* по моему примеру!

И кого вы не научите летать, того научите — *быстрее падать*! —

## 21

Я люблю храбрых; но недостаточно быть рубакой — надо также знать, *кого* рубить!

И часто бывает больше храбрости в том, чтобы удержаться и пройти мимо — *и этим* сохранить себя для более достойного врага!

Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом, — так учил я уже однажды.

Для более достойного врага должны вы беречь себя, о друзья мои; поэтому должны вы проходить мимо многого, —

— особенно мимо многочисленного отребья, кричащего вам в уши о народе и народах.

Сохраняйте свои глаза чистыми от их «за» и «против»! Там много справедливого, много несправедливого: кто заглянет туда, негодует.

Заглянуть и рубить — это дело одной минуты: поэтому уходите в леса и вложите свой меч в ножны!

Идите *своими* дорогами! И предоставьте народу и народам идти своими! — поистине, темными дорогами, не освещаемыми ни *единой* надеждой!

Пусть царствует торгош там, где все, что еще блестит, — есть золото торгоша! Время королей прошло: что сегодня называется народом, не заслуживает королей.

Смотрите же, как эти народы теперь сами подражают торгошам: они подбирают малейшие выгоды из всякого мусора!

Они подстерегают друг друга, они высматривают что-нибудь друг у друга, — это называют они «добрым соседством». О блаженное далекое время, когда народ говорил себе: «Я хочу над народами — быть *господином*!»

Ибо, братья мои, лучшее должно господствовать, лучшее и *хочет* господствовать! И где учение гласит иначе, там — *нет* лучшего.

## 22

Если бы *эти* — имели хлеб даром, увы! о чем кричали бы *они*! Их пропитание — вот настоящая пища для их разговоров; и пусть оно трудно достается им!

Они хищные звери: в их слове «работать» — слышится еще и грабить, в их слове «заработать» — слышится еще и перехитрить! Поэтому пусть оно трудно достается им!

Так должны они стать лучшими хищными зверями, более хитрыми, более умными, более похожими на *человека*: ибо человек есть самый лучший хищный зверь.

У всех зверей человек уже ограбил добродетели их; поэтому из всех зверей человеку наиболее трудно достается пропитание его.



*...о, как не быть в самой высокой душе самым худшим из паразитов?*

Только еще птицы выше его. И если бы человек научился еще и летать, увы! — *куда бы* не залетала хищность его!

## 23

Я хочу видеть мужчину и женщину: одного способным к войне, другую способную к деторождению, но обоих способными к пляске головой и ногами.

И пусть будет потерян для нас тот день, когда *ни разу* не плясали мы! И пусть ложной назовется у нас всякая истина, у которой не было смеха!

## 24

Заключение ваших браков: смотрите, чтобы не вышло оно плохим *заключением*! Вы заключили слишком быстро: отсюда *следует* — осквернение брака!

И лучше еще осквернить брак, чем изогнуть брак, изолгать брак! — говорила мне одна женщина: «Да, я осквернила брак, но сперва брак осквернил — меня!»

Плохих супругов находил я всегда самыми мстительными: они мстят целому миру за то, что уже не могут идти каждый отдельно.

Поэтому я хочу, чтобы честные говорили друг другу: «мы любим друг друга; *по-смотрим*, можем ли мы продолжать любить друг друга! Или обещание наше будет недосмотром?»

— «Дайте нам срок и недолгий союз, чтобы видели мы, годимся ли мы для долгого союза! Великое дело — всегда быть вдвоем!»

Так советую я всем честным; и чем была бы любовь моя к сверхчеловеку и ко всему, что должно наступить, если бы я советовал и говорил иначе!

Расти не только вширь, но и ввысь — о братья мои, да поможет вам сад супружества!

## 25

Кто умудрен в старых источниках, смотри, тот будет в конце концов искать родников будущего и новых источников. —

О братья мои, еще недолго, и возникнут *новые народы*, и новые родники зашумят, ниспадая в новые глубины.

Ибо землетрясение — засыпает много колодцев и создает много томящихся жаждою; но оно же вызывает на свет внутренние силы и тайны.

Землетрясение открывает новые родники. При сотрясении старых народов вырываются новые родники.

И кто тогда восклицает: «Смотри, здесь единый родник для многих жаждущих, *единое* сердце для многих томящихся, *единая* воля для многих орудий», — вокруг того собирается *народ*, то есть много испытующих.

Кто умеет повелевать, кто должен повиноваться — *это испытывается там*! Ах, каким долгим исканием, удачей и неудачею, изучением и новыми попытками!



Человеческое общество: это попытка, так учу я, — долгое искание; но оно ищет повелевающего! —

— попытка, о братья мои! Но *не* «договор»! Разбейте, разбейте это слово сердец мягких и нерешительных и людей половинчатых!

## 26

О братья мои! В ком же лежит наибольшая опасность для всего человеческого будущего? Не в добрых ли и праведных? —

— не в тех ли, кто говорит и в сердце чувствует: «Мы знаем уже, что хорошо и что праведно, мы достигли этого; горе тем, кто здесь еще ищет!»

И какой бы вред ни нанесли злые, — вред добрых — самый вредный вред!

И какой был вред ни нанесли клеветники на мир, — вред добрых — самый вредный вред.

О братья мои, в сердце добрых и праведных воззрел некогда тот, кто тогда говорил: «Это — фарисеи». Но его не поняли.

Самые добрые и праведные не должны были понять его; их дух в плену у их чистой совести. Глупость добрых неисповедимо умна.

Но вот истина: добрые *должны* быть фарисеями, — им нет другого выбора!

Добрые *должны* распинать того, кто находит себе свою собственную добродетель! *Это* — истина!

Вторым же, кто открыл страну их, страну, сердце и землю добрых и праведных, — был тот, кто тогда вопрошал: «Кого ненавидят они больше всего?»

*Созидающего* ненавидят они больше всего: того, кто разбивает скрижали и старые ценности, разрушителя, — кого называют они преступником.

Ибо добрые — *не могут* созидать: они всегда начало конца —

— они распинают того, кто пишет новые ценности на новых скрижалях, они приносят *себе* в жертву будущее, — они распинают все человеческое будущее!

Добрые — были всегда началом конца.

## 27

О братья мои, поняли ли вы также и это слово? И что сказал я однажды о «последнем человеке»? —

В ком же лежит наибольшая опасность для всего человеческого будущего? Не в добрых ли и праведных?

*Разбейте, разбейте добрых и праведных!* — О братья мои, поняли ли вы также и это слово?

## 28

Вы бежите от меня? Вы испуганы? Вы дрожите при этом слове?

О братья мои, когда я велел вам разбить добрых и скрижали добрых, — тогда впервые пустил я человека плыть по его открытому морю.

И теперь только наступает для него великий страх, великая осмотрительность, великая болезнь, великое отвращение, великая морская болезнь.

Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые все извратили и исказили до самого основания.

Но кто открыл землю «человек», открыл также и землю «человеческое будущее». Теперь должны вы быть мореплавателями, отважными и терпеливыми!

Ходите прямо вовремя, о братья мои, учитесь ходить прямо! Море бушует; многие нуждаются в вас, чтобы снова подняться.

Море бушует: все в море. Ну что ж! вперед! вы, старые сердца моряков!

Что вам до родины! *Туда* стремится корабль наш, где *страна детей* наших! Там, на просторе, более неистово, чем море, бушует наша великая тоска! —

## 29

«Зачем так тверд! — сказал однажды древесный уголь алмазу. — Разве мы не близкие родственники?» —

Зачем так мягки? О братья мои, так спрашиваю я вас: разве вы — не мои братья?

Зачем так мягки, так покорны и уступчивы? Зачем так много отрицания, отречения в сердце вашем? Так мало рока во взоре вашем?

А если вы не хотите быть роковыми и непреклонными, — как можете вы когда-нибудь вместе со мною — победить?

А если ваша твердость не хочет сверкать и резать и рассекать, — как можете вы когда-нибудь вместе со мною — созидать?

Все созидающие именно тверды. И блаженством должно казаться вам налагать вашу руку на тысячелетия, как на воск, —

— блаженством писать на воле тысячелетий, как на бронзе, — тверже, чем бронза, благороднее, чем бронза. Совершенно твердо только благороднейшее.

Эту новую скрижаль, о братья мои, даю я вам: станьте *тверды*! —

## 30

О воля моя! Ты избеганье всех бед, ты неизбежность *моя*! Предохрани меня от всяких маленьких побед!

Ты жребий души моей, который называю я судьбою! Ты во мне! Надо мною! Предохрани и сохрани меня для *единой* великой судьбы!

И последнее величие свое, о воля моя, сохрани для конца, — чтобы была ты неутомима в победе своей! Ах, кто не покорялся победе своей!

Ах, чей глаз не темнел в этих опьяняющих сумерках! Ах, чья нога не спотыкалась и не разучалась в победе — стоять!

Да буду я готов и зрел в великий полдень: готов и зрел, как раскаленная добела медь, как туча, чреватая молниями, и как вымя, вздутое от молока, —

— готов для себя самого и для самой сокровенной воли своей: как лук, пламенеющий к стреле своей, как стрела, пламенеющая к звезде своей;

— как звезда, готовая и зрелая в полдне своем, пылающая, пронзенная, блаженная перед уничтожающими стрелами солнца;

— как само солнце и неумолимая воля его, готовая к уничтожению в победе!

О воля, избеганье всех бед, ты неизбежность *моя*! Сохрани меня для *единой* великой победы!

Так говорил Заратустра.

## Выздоровливающий

### 1

Однажды утром, вскоре после возвращения своего в пещеру, вскочил Заратустра с ложа своего, как сумасшедший, стал кричать ужасным голосом, махая руками, как будто кто-то лежал на ложе и не хотел вставать; и так гремел голос Заратустры, что звери его, испуганные, прибежали к нему и из всех нор и щелей, соседних с пещерой Заратустры, все животные разбежались, улетаая, уползая и прыгая, — какие кому даны были ноги и крылья. Заратустра же так говорил:

Вставай, бездонная мысль, выходи из глубины моей! Я петух твой и утренние сумерки твои, заспавшийся червь: вставай! вставай! голос мой разбудит тебя!

Расторгни узы слуха твоего: слушай! Ибо я хочу слышать тебя! Вставай! Вставай! Здесь достаточно грома, чтобы заставить и могилы прислушиваться!

Сотри сон, а также всякую близорукость, всякое ослепление с глаз своих! Слушай меня даже глазами своими: голос мой — лекарство даже для слепорожденных.

И когда ты проснешься, ты навеки останешься бодрствующей. Не *таков* я, чтобы, разбудив прабабушек от сна, сказать им — чтобы продолжали они спать!

Ты шевелишься, потягиваешься и хрипишь? Вставай! Вставай! Не хрипеть — говорить должна ты! Заратустра зовет тебя, безбожник!

Я, Заратустра, заступник жизни, заступник страдания, заступник круга, — тебя зову я, самую глубокую из мыслей моих!

Благо мне! Ты идешь — я слышу тебя! Бездна моя *говорит*, свою последнюю глубину извлек я на свет!

Благо мне! Иди! Дай руку — ха! пусти! Ха, ха — отвращение! отвращение! отвращение! — горе мне!

### 2

Но едва Заратустра сказал слова эти, как упал замертво и долго оставался как мертвый. Придя же в себя, он был бледен, дрожал, продолжал лежать и долго не хотел ни есть, ни пить. Такое состояние длилось у него семь дней; звери его не покидали его ни днем, ни ночью, и только орел улетаал, чтобы принести пищи. И все, что он находил и что случалось ему отнять силою, складывал он на ложе Заратустры: так что Заратустра лежал наконец среди желтых и красных ягод, среди винограда, розовых яблок, благовонных трав и кедровых шишек. У ног же его были простерты два ягненка, которых орел с трудом отнял у пастухов их.

Наконец, после семи дней, поднялся Заратустра на своем ложе, взял в руку розовое яблоко, понюхал его и нашел запах его приятным. Тогда подумали звери его, что настало время заговорить с ним.

«О Заратустра, — сказали они, — вот уже семь дней, как лежишь ты с закрытыми глазами; не хочешь ли ты наконец снова стать на ноги?

Выйди из пещеры своей: мир ожидает тебя, как сад. Ветер играет тяжелым благоуханием, которое просится к тебе; и все ручьи хотели бы бежать вслед за тобой.

Все вещи тоскуют по тебе, почему ты семь дней оставался один, — выйди из своей пещеры! Все вещи хотят быть твоими врачами!

Разве новое познание снизошло к тебе, горькое, тяжелое? Подобно закисшему тесту, лежал ты, твоя душа поднялась и раздулась за свои пределы».

— О звери мои, — отвечал Заратустра, — продолжайте болтать и позвольте мне слушать вас! Меня освежает ваша болтовня: где болтают, там мир уже простирается предо мною, как сад.

Как приятно, что есть слова и звуки: не есть ли слова и звуки радуга и призрачные мосты, перекинутые через все, что разъединено навеки?

У каждой души особый мир; для каждой души всякая другая душа — потусторонний мир.

Только между самым сходным призраком бывает всего обманчивее: ибо через наименьшую пропасть труднее всего перекинуть мост.

Для меня — как существовало бы что-нибудь вне меня? Нет ничего вне нас! Но это забываем мы при всяком звуке; и как отрадно, что мы забываем!

Имена и звуки не затем ли даны вещам, чтобы человек освежался вещами? Говорить — это прекрасное безумие: говоря, танцует человек над всеми вещами.

Как приятна всякая речь и всякая ложь звуков! Благодаря звукам танцует наша любовь на пестрых радугах.

«О Заратустра, — сказали на это звери, — для тех, кто думает, как мы, все вещи танцуют сами: все приходит, подает друг другу руку, смеется и убегает — и опять возвращается.

Все идет, все возвращается; вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает, вечно бежит год бытия.

Все погибает, все вновь устрояется; вечно строится тот же дом бытия. Все разлучается, все снова друг друга приветствует; вечно остается верным себе кольцо бытия.

В каждый миг начинается бытие; вокруг каждого «здесь» катится «там». Центр всюду. Кривая — путь вечности».

— О вы, проказники и шарманки! — отвечал Заратустра и снова улыбнулся. — Как хорошо знаете вы, что должно было исполниться в семь дней —

— и как то чудовище заползло мне в глотку и душило меня! Но я откусил ему голову и отплюнул ее далеко от себя.

А вы — вы уже сделали из этого уличную песенку? А я лежу здесь, еще не оправившись от этого откусывания и отплеивания, еще больной от собственного избавления.

*И вы смотрели на все это?* О звери мои, разве и вы жестоки? Неужели вы хотели смотреть на мое великое страдание, как делают люди? Ибо человек — самое жестокое из всех животных.





*Наконец, после семи дней, поднялся Заратустра на своем ложе...*

Во время трагедий, боя быков и распятий он до сих пор лучше всего чувствовал себя на земле; и когда он нашел себе ад, то ад сделался его небом на земле.

Когда большой человек кричит: мигом подбегает к нему маленький; и язык висит у него изо рта от удовольствия. Но он называет это своим «состраданием».

Маленький человек, особенно поэт, — с каким жаром обвиняет он жизнь на словах! Слушайте его, но не прослушайте радости во всех жалобах его!

Это обвинители жизни: их побеждает жизнь в одно мгновение. «Ты любишь меня? — говорит дерзновенная. — Подожди же немного, у меня нет еще для тебя времени».

Человек для себя самого самое жестокое животное; и во всем, что зовется «грешник», «несущий крест» и «кающийся», не прослушайте радости, примешанной к этим жалобам и обвинениям!

А я сам — не хочу ли я быть обвинителем человека? Ах, звери мои, только одному научился я до сих пор, что человеку нужно его самое злое для его же лучшего,

— что все самое злое есть его наилучшая *сила* и самый твердый камень для наивысшего создателя; и что человек должен становиться лучше *и* злее:

Не *за то* был я пригвожден к древу мучений, что я знаю, что человек зол, — но за то, что я кричал, как никто еще не кричал:

«Ах, его самое злое так ничтожно! Ах, его самое лучшее так ничтожно!»

Великое отвращение к человеку — *оно* душило меня и заползло мне в глотку; и то, что предсказывал прорицатель: «Все равно, ничто не вознаграждается, знание души».

Долгие сумерки тянулись предо мною, смертельно усталая, пьяная до смерти печаль, которая говорила, зевая во весь рот:

«Вечно возвращается человек, от которого устал ты, маленький человек» — так зевала печаль моя, потягивалась и не могла заснуть.

В пещеру превратилась для меня человеческая земля, ее грудь ввалилась, все живущее стало для меня человеческой гнилью, костями и развалинами прошлого.

Мои вздохи сидели на всех человеческих могилах и не могли встать; мои вздохи и вопросы каркали, давились, грызлись и жаловались день и ночь:

— «Ах, человек вечно возвращается! Маленький человек вечно возвращается!»

Нагими видел я некогда обоих, самого большого и самого маленького человека: слишком похожи они друг на друга, — слишком еще человек даже самый большой человек!

Слишком мал самый большой! — Это было отвращение мое к человеку! А вечное возвращение даже самого маленького человека! — Это было неприязнью моею ко всякому существованию!

Ах, отвращение! отвращение! отвращение! — Так говорил Заратустра, вздыхая и дрожа, ибо он вспоминал о своей болезни. Но тут звери его не дали ему продолжать.

«Перестань говорить, о выздоравливающий! — так отвечали ему звери его. — Уходи отсюда и иди туда, где мир ожидает тебя, подобный саду.

Иди к розам, к пчелам и стаям голубей! В особенности же к певчим птицам, чтобы научиться у них *петь*!

Ибо пение свойственно выздоравливающим; здоровый же пусть говорит. И если даже здоровый хочет песен, он хочет других песен, чем выздоравливающий».

— О вы, проказники и шарманки, замолчите же! — отвечал Заратустра и смеялся над речью своих зверей. — Как хорошо знаете вы, какое утешение нашел я себе в эти семь дней!

Надо, чтобы снова я пел, — *это* утешение и *это* выздоровление нашел я себе; не хотите ли вы и из этого тотчас сделать уличную песенку?

— «Перестань говорить, — отвечали ему во второй раз звери его, — лучше, о выздоравливающий, сделай лиру себе, новую лиру!

Ибо видишь, о Заратустра! Для твоих новых песен нужна новая лира.

Пой и шуми, о Заратустра, врачуй новыми песнями свою душу: чтобы ты мог нести свою великую судьбу, которая не была еще судьбою ни одного человека!

Ибо твои звери хорошо знают, о Заратустра, кто ты и кем должен ты стать; смотри, *ты учитель вечного возвращения*, — в этом теперь *твое* назначение!

Ты должен первым возвестить *это* учение, — и как же этой великой судьбе не быть также и твоей величайшей опасностью и болезнью!

Смотри, мы знаем, чему ты учишь: что все вещи вечно возвращаются и мы сами вместе с ними и что мы уже существовали бесконечное число раз и все вещи вместе с нами.

Ты учишь, что существует великий год становления, чудовищно великий год: он должен, подобно песочным часам, вечно сызнова поворачиваться, чтобы течь сызнова и опять становиться пустым, —

— так что все эти годы похожи сами на себя, в большом и малом, — так что и мы сами, в каждый великий год, похожи сами на себя, в большом и малом.

И если бы ты захотел умереть теперь, о Заратустра, — смотри, мы знаем также, как стал бы ты тогда говорить к самому себе; но звери твои просят тебя не умирать еще.

Ты стал бы говорить бестрепетно, вздохнув несколько раз от блаженства: ибо великая тяжесть и уныние были бы сняты с тебя, о самый терпеливый!

«Теперь я умираю и исчезаю, — сказал бы ты, — и через мгновение я буду ничем. Души так же смертны, как и тела.

Но связь причинности, в которую вплетен я, опять возвратится, — она опять создаст меня! Я сам принадлежу к причинам вечного возвращения.

Я снова возвращусь с этим солнцем, с этой землею, с этим орлом, с этой змеею — *не* к новой жизни, *не* к лучшей жизни, *не* к жизни, похожей на прежнюю:

— я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, в большом и малом, чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей,

— чтобы повторять слово о великом полдне земли и человека, чтобы опять вещать людям о сверхчеловеке.

Я сказал свое слово, я разбиваюсь о свое слово: так хочет моя вечная судьба, — как провозвестник, погибаю я!

Час настал, когда умирающий благословляет самого себя. Так — *кончается* закат Заратустры». —

Сказав это, звери умолкли и ждали, чтобы Заратустра ответил что-нибудь им; но Заратустра не слышал, что они умолкли. Он лежал тихо, с закрытыми глазами, как спящий, хотя и не спал: ибо он разговаривал в это время с своею душой. Змея же и орел, видя его таким молчаливым, почтили великую тишину вокруг него и удалились осторожно.

### О великом томлении

О душа моя, я научил тебя говорить «сегодня» так же, как «когда-нибудь» и «прежде», и водить свои хороводы над всеми «здесь», «там» и «туда».

О душа моя, я избавил тебя от всех закоулков, я отвратил от тебя пыль, пауков и сумерки.

О душа моя, я смыл с тебя маленький стыд и добродетель закоулков и убедил тебя стоять обнаженной пред очами солнца.

Бурею, называемой «духом», подул я на твоё волнующееся море; все тучи прогнал я оттуда, я задушил даже душителя, называемого «грехом».

О душа моя, я дал тебе право говорить Нет, как буря, и говорить Да, как говорит Да отверстие неба; теперь ты тиха, как свет, и спокойно проходишь чрез бури отрицания.

О душа моя, я возвратил тебе свободу над созданным и несозданным — и кому еще, как тебе, ведома радость будущего?

О душа моя, я учил тебя презрению, но не тому, что приходит, как червоточина, а великому, любящему презрению, которое больше всего любит там, где оно больше всего презирает.

О душа моя, я учил тебя так убеждать, чтобы ты самые основания притягивала к себе, — подобно солнцу, убеждающему даже море подняться на его высоту.

О душа моя, я снял с тебя всякое послушание, коленопреклонение и раболепство; я сам дал тебе имя «избегание бед» и «судьба».

О душа моя, я дал тебе новые имена и разноцветные игрушки, я назвал тебя «судьбою», «пространством пространств», «пуповиной времени» и «лазоревым колоколом».

О душа моя, твоей почве дал я испытать всю мудрость, все новые вина и даже все незапамятно старые, крепкие вина мудрости.

О душа моя, всякое солнце изливал я на тебя, и всякую ночь, и всякое молчание, и всякое томление — ты вырастала предо мной, как виноградная лоза.

О душа моя, обильна и тяжела ты теперь, как виноградная лоза со вздутыми соками и плотными темно-золотистыми гроздьями, —

— стесненная и придавленная своим счастьем, в ожидании избытка и стыдясь еще своего ожидания.

О душа моя, не существует теперь нигде другой души, более любящей, более объемлющей и более обширной! Где же будущее и прошедшее были бы ближе друг к другу, как не у тебя?

О душа моя, я дал тебе все, и руки мои опустели из-за тебя — а теперь! Теперь говоришь ты мне, улыбаясь, полная тоски: «Кто же из нас должен благодарить? —

— должен ли благодарить дающий, что берущий брал у него? Дарить — не есть ли потребность? Брать — не есть ли сострадание?»

О душа моя, я понимаю улыбку твоей тоски: твоё чрезмерное богатство само стирает теперь тоскующие руки!

Твой избыток бросает взоры на шумящее море и ищет, и ждет; тоска от чрезмерного избытка смотрит из смеющегося неба твоих очей!

И поистине, о душа моя! Кто бы мог смотреть на твою улыбку и не обливаться слезами? Сами ангелы обливаются слезами от чрезмерной доброты твоей улыбки.



Твоя доброта, и чрезмерная доброта, не хочет жаловаться и плакать: и все-таки, о душа моя, твоя улыбка жаждет слез и твои дрожащие уста рыданий.

«Разве всякий плач не есть жалоба? И всякая жалоба не есть обвинение?» Так говоришь ты сама себе, и потому хочешь ты, о душа моя, лучше улыбаться, чем изливать в слезах свое страдание, —

— в потоках слез изливать все свое страдание от избытка своего и от тоски виноградника по виноградарю и ножу его!

Но если не хочешь ты плакать и выплакать свою пурпурную тоску, то ты должна петь, о душа моя! — Смотри, я сам улыбаюсь, предложивший тебе петь:

— петь бурным голосом, пока не стихнут все моря, чтобы прислушаться к твоему томлению, —

— пока по тихим, тоскующим морям не поплывет челнок, золотое чудо, вокруг золота которого кружатся все хорошие, дурные, удивительные вещи, —

— и много животных, больших и малых, и все, что имеет легкие удивительные ноги, чтобы бежать по голубым тропам —

— туда, к золотому чуду, к вольному челноку и хозяину его; но это — виноградарь, ожидающий с алмазным ножом, —

— твой великий избавитель, о душа моя, безымянный — только будущие песни найдут ему имя! И поистине, уже благоухает твое дыхание будущими песнями, —

— уже пылаешь ты и грезишь, уже пьешь ты жадно из всех глубоких, звонких колодцев-утешителей, уже отдыхает твоя тоска в блаженстве будущих песен! —

О душа моя, теперь я дал тебе все и даже последнее свое, и руки мои опустели для тебя: (в том, что я велел тебе *петь*, был последний мой дар!

За то, что я велел тебе петь, скажи же, скажи: *кто* из нас должен теперь — благодарить? — Но лучше: пой мне, пой, о душа моя! И предоставь мне благодарить! —

Так говорил Заратустра.

## Другая танцевальная песнь

### 1

«В твои глаза заглянул я недавно, о жизнь: золото мерцало в ночи глаз твоих — сердце мое замерло от этой неги:

— челн золотой, как в зеркале, мерцал там на водах ночных, точно качалка, ныряющий, и всплывающий, и все снова и снова кивающий челн золотой!

На стопу мою, падкую к танцу, ты метнула свой взор, свой качально улыбчивый, дымчатый, вспыхивый взор:

Только дважды коснулась ручонками ты погремущки своей — и уже закачалась нога моя в приступе танца. —

Пятки мои покидали уже землю, замер я на носках, тебе внемля: ведь уши танцора — в цыпочках его!

К тебе прыгнул я — ты отпрыгнула вмиг; и лизнули меня на лету зашипевшие змейки волос вдруг взлетевших твоих!

От тебя я отпрыгнул назад и от змей твоих прикосаний; ты стояла уже, обернувшись слегка, и глаза были полны желаний.



*О душа моя, теперь я дал тебе все и даже последнее свое, и руки мои  
опустели для тебя...*

Глазами розня, учишь меня ты стезям криведным; на стезях криведных учится стопа моя — козням!

Я люблю тебя дальней, ты вблизи мне пуще неволи; твое бегство манит меня, поиск твой полонит меня — я страдаю, но ради тебя разве я не готов и к юдоли!

Ты, чей холод, как зуд, чье презренье — искус, чей уход, точно жгут, чья насмешка — укус:

— ты ль не была ненавистна всегда, ты, вязальщица, повивальщица, зазывальщица, домогальщица и находчица! Ты ль не была и любима всегда, непорочная, нетерпячая, ветроногая, детоокая грехотворица!

Куда же ты тащишь меня, неугомонка и невиданка? И вновь избегаешь меня, сладкая-сладкая горлица и грубиянка!

Я в танце несусь за тобою, я с ритмом твоим неизбытно един. Где же ты? Протяни мне руку! Ну, хоть палец один!

Здесь пещеры и дебри — мы же заблудимся вместе! Стой! Да потише! Не видишь ли ты, как мелькают вокруг стаи сов и летучие мыши?

Ты сова! Ты летучая мышь! Ты охоча меня дразнить? Где мы, где? У собак, видно, ты научилась так твякать и выть.

Зубки белые скалишь прелестно на меня ты без слов, и сверлят меня злючие глазки из кудластых твоих завитков!

Что за пляс одурелый, точно буян; я охотник — решай, кто мне ты: ловчий пес или лань?

Ну, злая прыгунья, ко мне! Да живет, мигом! Ну-ка вверх! И барьер! Горе мне! Я и сам вот плюхнулся, прыгнув!

О, взгляни, я лежу, ты, спесивица, и молю о милости! Мне бы с тобою бродить да бродить по тропинкам жимолостным!

— по тропинке любви сквозь кусты пятнастые, немые! Или там вдоль озера: в нем резвятся и пляшут рыбки золотые!

Ты устала? Взгляни, вон овцы, и в воздухе за вечерело: ну разве не сладко уснуть под звуки пастушьей свирели?

Ты валишься с ног? Я тебя понесу, опусти только руки! И если ты хочешь пить, скажи — я нашел бы, чем тебя утолить, но тебе не до этой услуги!

— О, что за чертовка, плутовка, так ловко исчезла змеєю-скользьянкой! Куда? Но от рук два пятна на лице горят, точно красные ранки!

Я, право, устал изрядно пастушить твоих ягнят! До сих пор, о ведьма, я пел для тебя, нынче *ты* завизжишь — у меня!

Будешь плясать и ахать плетке моей вслед! Я не забыл-таки плетку? — Нет!>

## 2

Так отвечала мне жизнь тогда и при этом зажала изящные ушки свои:

«О Заратустра! Не щелкай так страшно своей плеткой! Ты ведь знаешь: шум убивает мысли — а ко мне как раз пришли такие нежные мысли.

Мы с тобою оба — сущие недобродеи и незлодеи. По ту сторону добра и зла обрели мы свой остров и зеленый свой луг — мы вдвоем, одни! Уже оттого и должны мы ладить друг с другом!

И если мы и не любим друг друга от чистого сердца, — то гоже ли злиться на то, что не любишь от чистого сердца?

И что я лажу с тобою, и часто слишком лажу, ты знаешь это: и все оттого, что ревную тебя я к мудрости твоей. Ах, эта мудрость, полоумная старая дура!

Если бы мудрость твоя сбежала однажды от тебя, ах! Тогда мигом сбежала бы от тебя и моя любовь».

Тут жизнь задумчиво оглянулась вокруг и тихо сказала: «О Заратустра, ты мне недостаточно верен!

Ты любишь меня вовсе не так сильно, как говоришь; я знаю, ты думаешь о том, что хочешь скоро покинуть меня.

Есть старый тяжелый-тяжелый колокол-ревун: он ревет по ночам до самой твоей пещеры:

— когда ты слышишь, как колокол этот бьет полночь, тогда между первым и двенадцатым ударом думаешь ты о том —

— ты думаешь о том, о Заратустра, я знаю это, что ты хочешь скоро покинуть меня!»

«Да, — отвечал я робко, — но ты знаешь также —» И я сказал ей нечто на ухо, прямо в ее спутанные, желтые, безумные пряди волос.

«Ты *знаешь* это, о Заратустра? Этого не знает никто...»

И мы стояли лицом к лицу и глядели на зеленый луг, на который как раз набегал прохладный вечер, и плакали вместе. — И жизнь была тогда мне милее, чем вся моя мудрость когда-либо. —

Так говорил Заратустра.

### 3

*Раз!*

О, внимли, друг!

*Два!*

Что полночь тихо скажет вдруг?

*Три!*

«Глубокий сон сморил меня, —

*Четыре!*

Из сна теперь очнулась я:

*Пять!*

Мир — так глубок,

*Шесть!*

Как день помыслить бы не смог.

*Семь!*

Мир — это скорбь до всех глубин, —

*Восемь!*

Но радость глубже бьет ключом!

*Девять!*





*И жизнь была тогда мне милее, чем вся моя мудрость когда-либо*

Скорбь шепчет: сгинь!

А радость рвется в отчий дом, — *Десять!*

В свой кровный, вековечный дом!» *Одиннадцать!*

*Двенадцать!*

### Семь печатей (или: пение о Да и Аминь)

#### 1

Если я прорицатель и полон того пророческого духа, что носится над высокой скалой между двух морей —

— носится между прошедшим и будущим, как тяжелая туча, — враждебный удушливым низменностям и всему, что устало и не может ни умереть, ни жить:

готовый к молнии в темной груди и к лучу искупительного света, чреватый молниями, которые говорят Да и смеются, готовый к пророческим молниеносным лучам, —

— но блажен, кто так чреват! И поистине, кто должен некогда зажечь свет будущего, тому приходится долго висеть, как тяжелая туча, на вершине скалы! —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения!

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

#### 2

Если гнев мой некогда разрушал могилы, сдвигал пограничные столбы и скатывал старые, разбитые скрижали в отвесную пропасть, —

Если насмешка моя некогда сметала, как сор, истлевшие слова и я приходил, как метла для пауков-крестовиков и как очистительный ветер — для старых удушливых склепов, —

Если некогда сидел я, ликуя, на месте, где были погребены старые боги, благословляя мир, любя мир, возле памятников старых клеветников на мир:

ибо даже церкви и могилы Бога люблю я, когда небо смотрит ясным оком сквозь разрушенные своды их; я люблю сидеть, подобно траве и красному маку, на развалинах церквей, —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*





*О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец —  
к кольцу возвращения?*

## 3

Если некогда дыхание снисходило на меня от дыхания творческого и от той небесной необходимости, что принуждает даже случайности водить звездные хороводы, —

Если некогда смеялся я смехом созидающей молнии, за которой, гремя, но с покорностью следует долгий гром действия, —

Если некогда за столом богов на земле играл я в кости с богами, так что земля содрогалась и трескалась, изрыгая огненные реки, —

ибо земля есть стол богов, дрожащий от новых творческих слов и от шума игральных костей, —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

## 4

Если некогда одним глотком опорожнял я пенящийся кубок с пряною смесью, где хорошо смешаны все вещи, —

Если некогда рука моя подливала самое дальнее к самому близкому, и огонь к духу, радость к страданию и самое худшее к самому лучшему, —

Если и сам я крупница той искупительной соли, которая заставляет все вещи хорошо смешиваться в кубковой смеси, —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

## 5

Если я люблю море и все, что похоже на море, и больше всего, когда оно гневно противоречит мне, —

Если есть во мне та радость искателя, что гонит корабль к еще не открытому, если есть в моей радости радость мореплавателя, —

Если некогда восклицало ликование мое: «берег исчез — теперь спали с меня последние цепи —

— беспредельность шумит вокруг меня, где-то вдали блестит мне пространство и время, ну что ж! вперед! старое сердце!» —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*



## 6

Если добродетель моя — добродетель танцора, и часто прыгал я обеими ногами в золотисто-изумрудный восторг;

Если злоба моя — смеющаяся злоба, живущая под кустами роз и под изгородью из лилий:

— ибо в смехе все злое собрано вместе, но признано священным и оправдано своим собственным блаженством —

И если в том альфа и омега моя, чтобы все тяжелое стало легким, всякое тело — танцором, всякий дух — птицею; и поистине, в этом альфа и омега моя! —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

## 7

Если некогда простирал я тихие небеса над собою и летал на собственных крыльях в собственные небеса;

Если я плавал, играя, в глубокой светлой дали, и прилетала птица-мудрость свободы моей:

— ибо так говорит птица-мудрость: «Знай, нет ни верха, ни низа! Бросайся повсюду, вверх и вниз, ты, легкий! Пой! перестань говорить!

— разве все слова не созданы для тех, кто запечатлен тяжестью? Не лгут ли все слова тому, кто легок! Пой! Перестань говорить!» —

О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения?

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

*Ибо я люблю тебя, о Вечность!*

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, И ПОСЛЕДНЯЯ

Ах, где в мире совершалось больше  
безумия, как не среди сострадательных?  
И что в мире причиняло больше страдания,  
как не безумие сострадательных?  
Горе всем любящим, у которых нет более  
высокой вершины, чем сострадание их!  
Так говорил однажды мне дьявол:  
«Даже у Бога есть свой ад —  
это любовь его к людям».  
И недавно я слышал, как говорил он такие  
слова: «Бог мертв; из-за сострадания своего  
к людям умер Бог».

*Так говорил Заратустра*

### Жертва медовая

— И снова бежали месяцы и годы над душой Заратустры, и он не замечал их; но волосы его побелели. Однажды, когда он сидел на камне перед пещерой своей и молча смотрел вдаль — ибо отсюда далеко видно было море поверх вздымавшихся пучин, — звери его задумчиво ходили вокруг него и наконец остановились перед ним.

«О Заратустра, — сказали они, — не высматриваешь ли ты счастья своего?» — «Что мне до счастья! — отвечал он. — Я давно уже не стремлюсь к счастью, я стремлюсь к своему делу». — «О Заратустра, — снова заговорили звери, — это говоришь ты, как тот, кто пресыщен добром. Разве не лежишь ты в лазоревом озере счастья?» — «Плуты, — отвечал Заратустра, улыбаясь, — как удачно выбрали вы сравнение! Но вы знаете также, что счастье мое тяжело и не похоже на подвижную волну: оно гнетет меня и не отстаёт от меня, прилипнув, как расплавленная смола».

Тогда звери продолжали задумчиво ходить вокруг него и затем снова остановились перед ним. «О Заратустра, — сказали они, — так вот *почему* ты сам становишься все желтее и темнее, хотя волосы твои хотят казаться белыми, похожими на лен?

Смотри же, ты сидишь в своей смоле!» — «Что говорите вы, звери мои, — сказал Заратустра, смеясь, — поистине, я клеветал, говоря о смоле. Что происходит со мною, бывает со всеми плодами, которые созревают. Это *мед* в моих жилах делает мою кровь более густой и мою душу более молчаливой». — «Должно быть, так, о Заратустра, — отвечали звери, приближаясь к нему, — но не хочешь ли ты сегодня подняться на высокую гору? Воздух чист, и сегодня мир виден больше, чем когда-либо».

— «Да, звери мои, — отвечал он, — вы даете прекрасный совет, и он мне по сердцу: я хочу сегодня подняться на высокую гору! Но позаботьтесь, чтобы там мед был у меня под руками, золотой сотовый мед, желтый и белый, хороший и свежий, как лед. Ибо знайте, я хочу там наверху принести жертву медовую».

Но когда Заратустра был на вершине, отослал он домой зверей, провожавших его, и нашел, что теперь он один, — тогда засмеялся он от всего сердца, оглянувшись кругом и так говорил:

Я говорил о жертвах и о медовых жертвах; но это было только уловкою речи моей и поистине полезным безумием! Здесь наверху я могу говорить уже свободнее, чем перед пещерами отшельников и домашними животными их.

Что говорил я о жертвах! Я расточаю, что дарится мне, я расточитель с тысячею рук; как бы мог я называть это — жертвоприношением!

И когда я хотел меду, хотел я лишь приманки и сладкой патоки и отвара, которым лакомятся ворчуны медведи и странные, угрюмые, злые птицы:

— лучшей приманки, в какой нуждаются охотники и рыболовы. Ибо если мир похож на темный лес, населенный зверями, на сад для улады всех диких охотников, то, по-моему, он еще больше и скорее похож на бездонное богатое море,

— на море, полное разноцветных рыб и раков, из-за которого сами боги пожела-ли бы стать рыболовами и закинуть сети свои: так богат мир странностями, большими и малыми!

Особенно человеческий мир, человеческое море — в *него* закидываю я теперь свою золотую удочку и говорю: разверзнься, человеческая бездна!

Разверзнься и выбрось мне твоих рыб и сверкающих раков! Своей лучшей приманкой приманиваю я сегодня самых удивительных человеческих рыб!

— само счастье свое закидываю я во все страны, на восток, на юг и на запад, чтобы видеть, много ли человеческих рыб будут учиться дергаться и биться на кончике счастья моего.

Пока они, закусив острые скрытые крючки мои, не будут вынуждены подняться на высоту мою, самые пестрые пескари глубин к злейшему ловцу человеческих рыб.

Ибо *таков* я от начала и до глубины, притягивающий, привлекающий, поднимающий и возвышающий, воспитатель и надсмотрщик, который некогда не напрасно говорил себе: «Стань таким, каков ты есть!»

Пусть же люди поднимаются *вверх* ко мне: ибо жду я еще знамения, что час нисхождения моего настал, еще сам я не умираю, как я должен среди людей.

Поэтому жду я здесь, хитрый и насмешливый, на высоких горах, не будучи ни нетерпеливым, ни терпеливым, скорее как тот, кто разучился даже терпению, ибо он не «терпит» больше.

Ибо судьба моя дает мне время: не забыла ли она меня? Или сидит она за большим камнем в тени и ловит мух?

И поистине, я благодарен вечной судьбе моей, что она не гонит, не давит меня и дает мне время для шуток и злобы: так что сегодня для рыбной ловли поднялся я на эту высокую гору.

Ловил ли когда-нибудь человек рыб на высоких горах? И пусть даже будет безумием то, чего я хочу здесь наверху и что делаю: все-таки это лучше, чем если бы стал я там внизу торжественным, зеленым и желтым от ожидания —

— гневно надутым от ожидания, как завывание священной бури, несущейся с гор, как нетерпеливец, который кричит в долины: «Слушайте, или я ударю вас бичом Божиим!»

Не потому, чтобы я сердился на этих негодующих: они хороши лишь для того, чтобы мне посмеяться над ними! Я понимаю, что нетерпеливы они, эти большие шумящие барабаны, которым принадлежит слово «сегодня», или «никогда»!

Но я и судьба моя — мы не говорим к «сегодня», мы не говорим также к «никогда»: у нас есть терпенье, чтобы говорить, и время, и даже слишком много времени. Ибо некогда он должен же прийти и не может не прийти.

Кто же должен некогда прийти и не может не прийти? Наш великий Хазар, наше великое, далекое Царство Человека, царство Заратустры, которое продолжится тысячу лет.

Далека ли еще эта «даль»? что мне до этого! Она оттого не пошатнется — обеими ногами крепко стою я на этой почве.

— на вечной основе, на твердом вековом камне, на этой самой высокой, самой твердой первобытной горе, где сходятся все ветры, как у грани бурь, вопрошая: где? откуда? куда?

Здесь смейся, смейся, моя светлая, здоровая злоба! С высоких гор бросай вниз свой сверкающий, презрительный смех! Примани мне своим сверканием самых прекрасных человеческих рыб!

И что во всех морях принадлежит *мне*, что мое и для меня во всех вещах, — *это* выуди мне, *это* извлеки ко мне наверх: этого жду я, злейший из всех ловцов рыб.

Дальше, дальше, удочка моя! Опускайся глубже, приманка счастья моего! Источай по каплям сладчайшую росу свою, мед сердца моего! Впивайся, моя удочка, в живот всякой черной скорби!

Смотри вдаль, глаз мой! О, как много морей вокруг меня, сколько зажигающихся человеческих жизней! А надо мной — какая розовая тишина! Какое безоблачное молчание!

## Крик о помощи

На следующий день Заратустра опять сидел на камне своем перед пещерою, в то время как звери его блуждали по свету, чтобы принести домой новую пищу, — а также и новый мед: ибо Заратустра истратил старый мед до последней капли. Но пока он так сидел, с посохом в руке, и рисовал свою тень на земле, погруженный в размышление, и поистине! не о себе и не о тени своей, — он внезапно испугался и вздрогнул: ибо он увидел рядом со своею тенью еще другую тень. И едва он успел оглянуться и быстро встать, как увидел вблизи себя прорицателя, того самого, которого он однажды кормил и поил за столом своим, провозвестника великой усталости, учившего:





*Особенно человеческий мир, человеческое море — в него закидываю я теперь  
свою золотую удочку...*

«Все одинаково, не стоит ничего делать, в мире нет смысла, знание души». Но тем временем изменилось лицо его; и когда Заратустра взглянул ему в глаза, вторично испугалось сердце его: так много дурных предсказаний и пепельно-серых молний пробежало по этому лицу.

Прорицатель, почувствовавший, что произошло в душе Заратустры, провел рукою по лицу своему, как бы желая стереть его; то же сделал и Заратустра. И когда они оба, молча, так оправились и подкрепили себя, они подали друг другу руку, чтобы показать, что желают узнать один другого.

«Милости просим, предсказатель великой усталости, — сказал Заратустра, — ты не напрасно однажды был гостем за моим столом. Также и сегодня ешь и пей у меня и прости, если веселый старик сядет за стол вместе с тобою!» — «Веселый старик? — отвечал прорицатель, качая головою. — Но кем бы ты ни был или кем бы ни хотел быть, о Заратустра, тебе не долго оставаться здесь наверху, — твой челн скоро не будет лежать на суше!» — «Разве я лежу на суше?» — спросил Заратустра, смеясь. — «Волны вокруг горы твоей, — отвечал прорицатель, — все поднимаются и поднимаются, волны великой нищеты и печали: скоро они поднимут челн твой и унесут тебя отсюда». — Заратустра молчал и удивлялся. — «Разве ты еще ничего не слышишь? — продолжал прорицатель. — Не доносятся ли шум и клокотанье из глубины?» — Заратустра снова молчал и прислушивался: тогда он услышал долгий, протяжный крик, который пучины перебрасывали одна другой, ибо ни одна из них не хотела оставить его у себя: так гибельно звучал он.

«Роковой провозвестник, — сказал наконец Заратустра, — это крик о помощи, крик человека, он, очевидно, исходит из черного моря. Но что мне за дело до человеческой беды! Последний грех, оставленный мне, — знаешь ли ты, как называется он?»

— «*Состраданием!* — отвечал прорицатель от полноты сердца и поднял обе руки. — О Заратустра, я иду, чтобы ввести тебя в твой последний грех!»

И едва произнесены были эти слова, как вторично раздался крик, более протяжный и тоскливый, чем прежде, и уже гораздо ближе. «Слышишь? слышишь, о Заратустра? — кричал прорицатель. — К тебе обращен этот крик, тебя зовет он: приходи, приходи, приходи, время настало, нельзя терять ни минуты!» —

Но Заратустра молчал, смущенный и потрясенный; наконец он спросил, как некто колеблющийся в себе самом: «А кто тот, который там зовет меня?»

«Но ты ведь знаешь его, — с раздражением отвечал прорицатель, — зачем же ты скрываешься? *Это высший человек* зовет к тебе!»

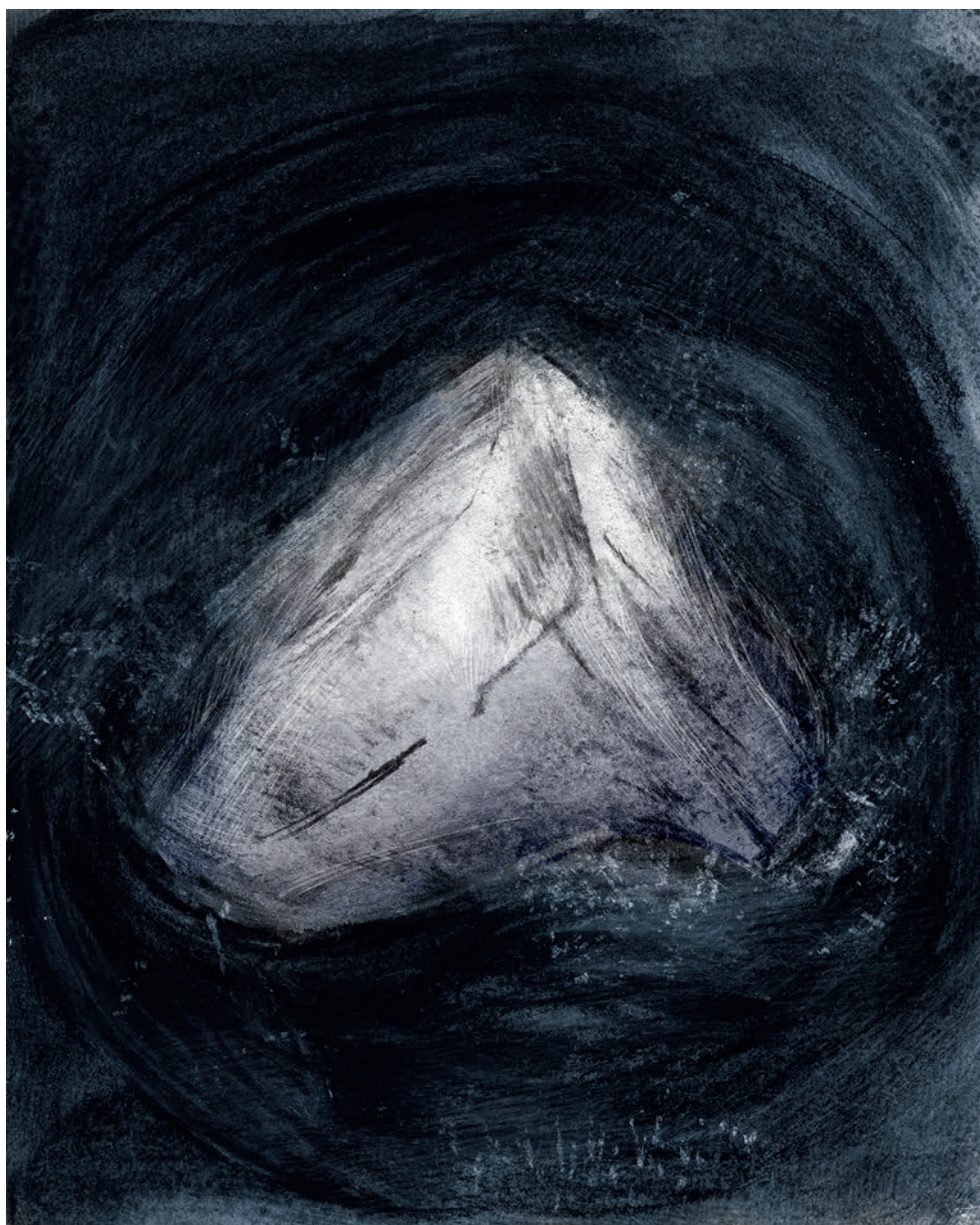
«Высший человек? — воскликнул Заратустра, объятый ужасом. — Чего хочет он? Чего хочет он? Высший человек! Чего хочет он здесь?» — и тело его покрылось потом.

Но прорицатель не отвечал на испуг Заратустры, а продолжал прислушиваться к пучине. Когда же там надолго водворилась тишина, он оглянулся и увидел, что Заратустра стоит по-прежнему и дрожит.

«О Заратустра, — начал он печальным голосом, — ты стоишь не так, как тот, кого счастье заставляет кружиться: ты должен будешь плясать, чтобы не упасть навзничь.

И если бы даже ты и захотел плясать предо мною и проделывать прыжки свои во все стороны, — все-таки никто не мог бы сказать мне: «Смотри, вот пляшет последний веселый человек!»





*«Волны вокруг горы твоей, — отвечал прорицатель, — все поднимаются и поднимаются, волны великой нищеты и печали: скоро они поднимут челн твой и унесут тебя отсюда»*

Напрасно поднимался бы на эту вершину тот, кто искал бы *его* здесь: он нашел бы пещеры и в пещерах тайники для скрывшихся, но не нашел бы шахт и сокровищниц счастья, ни новых золотых жил его.

Счастье — разве можно найти счастье, у этих заживо погребенных и отшельников! Неужели должен я искать последнего счастья на блаженных островах и далеко среди забытых морей?

Но все одинаково, не стоит ничего делать, тщетны все поиски, не существует больше и блаженных остров!»

Так вздыхал прорицатель; но при последнем вздохе его сделался Заратустра опять светел и уверен, как некто из глубокой пропасти выходящий на свет. «Нет! Нет! Трижды нет! — воскликнул он твердым голосом и погладил себе бороду. — *Это* знаю я лучше! Существуют еще блаженные острова! Не говори об *этом*, ты, вздыхающий мешок печали!

Перестань журчать об *этом*, ты, дождевое облако перед полуднем! Разве я еще не промок от печали твоей, как облитая водою собака?

Теперь я встряхнусь и убегу от тебя, чтобы просохнуть: этому ты не должен удивляться! Не кажешь ли я тебе невежливым? Но здесь *мои* владения.

Что же касается твоего высшего человека — ну, что ж! Я мигом поищу его в этих лесах: *оттуда* раздавался крик его. Быть может, его преследует какой-нибудь лютый зверь.

Он в *моих* владениях — здесь не должно случиться с ним несчастья! И поистине, есть много лютых зверей у меня».

С этими словами Заратустра хотел уйти. Тогда сказал прорицатель: «О Заратустра, ты — плут!

Я знаю: ты хочешь отделаться от меня! С большим удовольствием побежишь ты в леса и будешь охотиться на диких зверей!

Но поможет ли это тебе? Вечером все-таки я буду у тебя; в твоей собственной пещере буду я сидеть, терпеливый и тяжелый, как колода, — и поджидать тебя!»

«Пусть будет так! — крикнул Заратустра, уходя. — И что есть моего в пещере моей принадлежит и тебе, дорогому гостю моему!

Если же ты найдешь в ней еще и мед, ну что ж! полижи его, ты, ворчливый медведь, и улади душу свою! Ибо к вечеру оба мы будем веселы,

— веселы и довольны, что день этот кончился! И ты сам должен будешь плясать под песни мои, как ученый медведь мой.

Ты не веришь этому? Ты качаешь головой? Ну что ж! Ступай! Старый медведь! Но и я прорицатель».

Так говорил Заратустра.

## Беседа с королями

### 1

Заратустра не ходил еще и часу в горах и лесах своих, как вдруг увидел он странное шествие. Как раз по дороге, с которой он думал спуститься, шли два короля, украшенные коронами и красными поясами и пестрые, как птица фламинго; они гнали перед собой нагруженного осла. «Чего хотят эти короли в царстве моем?» — с удив-



лением говорил Заратустра в сердце своем и быстро спрятался за куст. Но когда короли подошли близко к нему, он сказал вполголоса, как некто говорящий сам с собой: «Странно! Странно! Как увязать это? Я вижу двух королей и только одного осла!»

Тогда оба короля остановились, улыбнулись, посмотрели в ту сторону, откуда исходил голос, и затем взглянули друг другу в лицо. «Так думают многие и у нас, — сказал король справа, — но не высказывают этого».

Король слева пожал плечами и ответил: «Это, должно быть, козопас. Или отшельник, слишком долго живший среди скал и деревьев. Ибо отсутствие всякого общества тоже портит добрые нравы».

«Добрые нравы? — с негодованием и горечью возразил другой король. — Кого же сторонимся мы? Не «добрых ли нравов»? Не нашего ли «хорошего общества»?

Поистине, уж лучше жить среди отшельников и козопасов, чем среди нашей раззолоченной, лживой, нарумяненной черни, — хотя бы она и называла себя «хорошим обществом»,

— хотя бы она и называла себя «аристократией». Но в ней все лживо и гнило, начиная с крови, благодаря застарелым дурным болезням и еще более дурным исцелителям.

Я предпочитаю ей во всех смыслах здорового крестьянина — грубого, хитрого, упрямого и выносливого: сегодня это самый благородный тип.

Крестьянин сегодня лучше всех других; и крестьянский тип должен бы быть господином! И однако теперь царство толпы, — я не позволяю себе более обольщаться. Но толпа значит: всякая всячина.

Толпа — это всякая всячина: в ней все перемешано, и святой, и негодяй, и барин, и еврей, и всякий скот из Ноева ковчега.

Добрые нравы! Все у нас лживо и гнило. Никто уже не умеет благоговеть: *этого* именно мы все избегаем. Это заискивающие, назойливые собаки, они золотят пальмовые листья.

Отвращение душит меня, что мы, короли, сами стали поддельными, что мы обвешаны и переодеты в старый, пожелтевший прадедовский блеск, что мы лишь показные медали для глупцов и пройдох и для всех тех, кто ведет сегодня торговлю с властью!

Мы не первые — надо, чтобы мы *казались* первыми: мы устали и пресытились наконец этим обманом.

От отребья отстранились мы, от всех этих горлодеров и пишущих навозных мух, от смрада торгашей, от судороги честолюбий и от зловонного дыхания: тьфу, жить среди отребья,

— тьфу, среди отребья казаться первыми! Ах, отвращение! отвращение! отвращение! Какое значение имеем еще мы, короли!»

«Твоя старая болезнь возвращается к тебе, — сказал тут король слева, — отвращение возвращается к тебе, мой бедный брат. Но ты ведь знаешь, кто-то подслушивает нас».

И тотчас же вышел Заратустра из убежища своего, откуда он с напряженным вниманием слушал эти речи, подошел к королям и начал так:

«Кто Вас слушает, и слушает охотно, Вы, короли, тот называется Заратустра.

Я — Заратустра, который однажды сказал: «Что толку еще в королях!» Простите, я обрадовался, когда Вы сказали друг другу: «Что нам до королей!»

Но здесь *мое* царство и мое господство — чего могли бы Вы искать в моем царстве? Но, быть может, дорогою *нашли* Вы то, чего я ищу: высшего человека».

Когда короли услышали это, они ударили себя в грудь и сказали в один голос: «Мы узнаны!

Мечом этого слова рассекаешь ты густейший мрак нашего сердца. Ты открыл нашу скорбь, ибо — видишь ли! — мы пустились в путь, чтобы найти высшего человека, —

— человека, который выше нас, — хотя мы и короли. Ему ведем мы этого осла. Ибо высший человек должен быть на земле и высшим повелителем.

Нет более тяжкого несчастья во всех человеческих судьбах, как если сильные мира не суть также и первые люди. Тогда все становится лживым, кривым и чудовищным.

И когда они бывают даже последними и более скотами, чем людьми, — тогда поднимается и поднимается толпа в цене, и наконец говорит даже добродетель толпы: „смотри, лишь я добродетель!“» —

«Что слышал я только что? — отвечал Заратустра. — Какая мудрость у королей! Я восхищен, и поистине, мне очень хочется облечь это в рифмы:

— то будут, быть может, рифмы, которые едва ли придутся по ушам каждого. Я разучился давно уже обращать внимание на длинные уши. Ну что ж! Вперед!

(Но тут случилось, что и осел также заговорил: но он сказал отчетливо и со злым умыслом И-А.)

Однажды — в первый год по Рождестве Христа —

Сивилла пьяная (не от вина) сказала:

«О, горе, горе, как все низко пало!

Какая всюду нищета!

Стал Рим большим публичным домом,

Пал Цезарь до скота, еврей стал — Богом!»

## 2

Короли наслаждались этими рифмами Заратустры; но король справа сказал: «О Заратустра, как хорошо сделали мы, что пришли повидать тебя!

Ибо враги твои показывали нам образ твой в своем зеркале: там являлся ты в гримасе демона с язвительной улыбкой его; так что мы боялись тебя.

Но разве это помогло! Ты продолжал проникать в уши и сердца наши своими изречениями. Тогда сказали мы наконец: что нам до того, как он выглядит!

Мы должны его *слышать*, его, который учит: «любите мир как средство к новым войнам, и короткий мир больше, чем долгий!»

Никто не произносил еще таких воинственных слов: «Что хорошо? Хорошо быть храбрым. Благо войны освящает всякую цель».

О Заратустра, кровь наших отцов заволновалась при этих словах в нашем теле: это была как бы речь весны к старым бочкам вина.

Когда мечи скрещивались с мечами, подобно змеям с красными пятнами, тогда жили отцы наши полною жизнью: всякое солнце мира казалось им бледным и холодным, а долгий мир приносит позор.



*«Странно! Странно! Как увязать это?  
Я вижу двух королей и только одного осла!»*



Как они вздыхали, отцы наши, когда они видели на стене совсем светлые, притупленные мечи! Подобно им, жаждали они войны. Ибо меч хочет упиваться кровью и сверкает от желания». —

Пока короли говорили с жаром, мечтая о счастье отцов своих, напало на Заратустру сильное желание посмеяться над пылом их: ибо было очевидно, что короли, которых он видел перед собой, были очень миролюбивые короли, со старыми, тонкими лицами. Но он превозмог себя. «Ну что ж! — сказал он. — Вот дорога, ведущая к пещере Заратустры; и пусть у сегодняшнего дня будет долгий вечер! А теперь мне пора, меня зовет от Вас крик о помощи.

Пещере моей будет оказана честь, если короли будут сидеть в ней и ждать: но, конечно, долго придется Вам ждать!

Так что ж! Где же учатся сегодня лучше ждать, как не при дворах? И вся добродетель королей, какая у них еще осталась, — не называется ли она сегодня *умением ждать?*»

Так говорил Заратустра.

## Пиявка

И Заратустра в раздумье продолжал свой путь, спускаясь все ниже, проходя по лесам и мимо болот; и как случается с каждым, кто обдумывает трудные вещи, наступил он нечаянно на человека. И вот посыпались ему разом в лицо крик боли, два проклятья и двадцать скверных ругательств — так что он в испуге замахнулся палкой и еще ударил того, на кого наступил. Но тотчас же он опомнился; и сердце его смеялось над глупостью, только что совершенной им.

«Прости, — сказал он человеку, на которого наступил и который с яростью поднялся и сел, — прости и выслушай прежде сравнение.

Как путник, мечтающий о далеких вещах, нечаянно на пустынной улице наталкивается на спящую собаку, лежащую на солнце;

— как оба они вскакивают и бросаются друг на друга, подобно смертельным врагам, оба смертельно испуганные, — так случилось и с нами.

И однако! И однако — немногого недоставало, чтобы они приласкали друг друга, эта собака и этот одинокий! Ведь оба они — одинокие!»

«Кто бы ты ни был, — ответил, все еще в гневе, человек, на которого наступил Заратустра, — ты слишком больно наступаешь на меня и своим сравнением, а не только своей ногою!

Смотри, разве я собака?» — и при этих словах тот, кто сидел, поднялся и вытащил свою голую руку из болота. Ибо сперва он лежал, вытянувшись на земле, скрытый и неузнаваемый, как те, кто выслеживают болотную дичь.

«Но что с тобой! — воскликнул испуганный Заратустра, ибо он увидел кровь, обильно струившуюся по обнаженной руке. — Что случилось с тобой? Не укусило ли тебя, несчастный, какое-нибудь вредное животное?»

Обливавшийся кровью улыбнулся, все еще продолжая сердиться. «Что тебе за дело! — сказал он и хотел идти дальше. — Здесь я дома и в своем царстве. Пусть спрашивает меня кто хочет: но всякому болвану вряд ли стану я отвечать».



«Ты заблуждаешься, — сказал Заратустра с состраданием и удержал его, — ты ошибаешься: здесь ты не в своем, а в моем царстве, и здесь ни с кем не должно быть несчастья.

Называй меня, впрочем, как хочешь, — я тот, кем я должен быть. Сам же себя называю я Заратустрой.

Ну что ж! Там вверху идет дорога к пещере Заратустры, она не далека, — не хочешь ли ты у меня полечить свои раны?

Пришлось тебе плохо, несчастный, в этой жизни: сперва укусило тебя животное, и потом — наступил на тебя человек!» —

Но, услышав имя Заратустры, задетый преобразился. «Что со мной! — воскликнул он. — *Кто* же интересует меня еще в этой жизни, как не этот единственный человек — Заратустра и не это единственное животное, живущее кровью, — пиявка?

Ради пиявки лежал я здесь, на краю этого болота, как рыболов, и уже была моя вытянутая рука укушена десять раз, как вдруг начинает питаться моей кровью еще более прекрасное животное, сам Заратустра!

О счастье! О чудо! Да будет благословен самый день, привлекий меня в это болото! Да будет благословенна лучшая, самая действительная из кровососных банок, ныне живущих, да будет благословенна великая пиявка совести, Заратустра!»

Так говорил тот, на кого наступил Заратустра; и Заратустра радовался словам его и их тонкой почтительности. «Кто ты? — спросил он и протянул ему руку. — Между нами остается еще многое, что надо выяснить и осветить; но уже, кажется мне, настает чистый, ясный день».

«Я *совестливый духом*, — отвечал вопрошаемый, — и в вопросах духа трудно найти кого-либо более меткого, более едкого и более твердого, чем я, исключая того, у кого я учился, самого Заратустру.

Лучше ничего не знать, чем знать многое наполовину! Лучше быть глупцом на свой риск, чем мудрецом на основании чужих мнений! Я — доискиваюсь основы:

— что до того, велика ли она или мала? Называется ли она болотом или небом? Пяди основания достаточно для меня: если только она действительно есть основание и почва!

— пяди основания: на нем можно стоять. В истинной совестливости знания нет ничего, ни большого, ни малого».

«Так ты, быть может, познающий пиявку? — спросил Заратустра. — И ты исследуешь пиявку до последнего основания, ты, *совестливый духом*?»

«О Заратустра, — отвечал тот, на кого наступил Заратустра, — было бы чудовищно, если бы дерзнул я на это!

Но если что знаю я прекрасно и досконально, так это *мозг* пиявки — это *мой* мир!

И это также мир! — Но прости, если здесь говорит моя гордость, ибо здесь нет мне равного. Поэтому и сказал я «здесь я дома».

Сколько уже времени исследую я эту единственную вещь, мозг пиявки, чтобы скользкая истина не ускользнула от меня! Здесь *мое* царство!

— ради этого отбросил я все остальное, ради этого стал я равнодушен ко всему остальному; и рядом со знанием моим простирается черное невежество мое.

Совестливость духа моего требует от меня, чтобы знал я что-нибудь *одно* и остальное не знал: мне противны все половинчатые духом, все туманные, порхающие и мечтательные.

Где кончается честность моя, я слеп и хочу быть слепым. Но где я хочу знать, хочу я также быть честным, а именно суровым, метким, едким, жестким и неумолимым.

Как сказал *ты* однажды, о Заратустра: «Дух есть жизнь, которая сама врезается в жизнь», это соблазнило и привело меня к учению твоему. И, поистине, собственную кровью умножил я себе собственное знание!»

— «Как доказывает очевидность», — перебил Заратустра; ибо кровь все еще текла по обнаженной руке совестливого духом. Ибо десять пиявок впились в нее.

«О странный малый, сколь многому учит меня эта очевидность, именно сам ты! И, быть может, не все следовало бы мне влить в твои меткие уши!

Ну что ж! Расстанемся здесь! Но мне очень хотелось бы опять встретиться с тобой. Там вверху идет дорога к пещере моей — сегодня ночью будешь ты там желанным гостем моим!

Мне хотелось бы также полечить тело твое, на которое наступил ногой Заратустра, — об этом я подумаю. А теперь мне пора, меня зовет от тебя крик о помощи».

Так говорил Заратустра.

## Чародей

### 1

Но когда Заратустра обогнул скалу, он увидел внизу, недалеко от себя на ровной дороге человека, который трясся как беснующийся и наконец бросился животом на землю. «Стой! — сказал тогда Заратустра в сердце своем. — Должно быть, это вышший человек, от него исходил тот мучительный крик о помощи, — я посмотрю, нельзя ли помочь ему». Подбежав к месту, где лежал на земле человек, нашел он дрожащего старика с неподвижными глазами; и как ни старался Заратустра поднять его и поставить на ноги, все усилия его были тщетны. Даже казалось, что несчастный не замечает, что возле него есть кто-то; напротив, он трогательно осматривался, как человек, покинутый целым миром и одинокий. Наконец, после продолжительного дрожанья, судорог и подергиваний так начал он горько жаловаться:

Кто в силах отогреть меня, кто еще любит?

Горячие мне руки протяните

И пламя рдеющих углей для сердца дайте.

Лежу бессильно я, от страха цепenea,

Как перед смертью, когда уж ноги стынют,

Дрожа в припадках злой, неведомой болезни

И трепеща под острыми концами

Твоих холодных, ледящих стрел.

За мной охотишься ты, мысли дух,

Окутанный, ужасный, безымянный —

Охотник из-за туч! —

Как молниєю, поражен я глазом,

Насмешливо из темноты смотрящим!

И так лежу я, извиваясь,



*Да будет благословенна лучшая, самая действительная из кровососных банок, ныне живущих, да будет благословенна великая пиявка совести, Заратустра!*

Согбенный, скрюченный, замученный свирепо  
Мученьями, что на меня наслал ты,  
Безжалостный охотник,  
Неведомый мне бог! —

Рази же глубже,  
Еще раз попади в меня и сердце  
Разбей и проколи!  
Но для чего ж теперь  
Тупыми стрелами меня терзать?  
Зачем опять ты смотришь на меня,  
Ненасытимый муками людскими,  
Молниеносным и злорадным бога взглядом?  
Да, убивать не хочешь ты,  
А только мучить, мучить хочешь!  
Зачем тебе, зачем мое мученье,  
Злорадный незнакомый бог?  
Я вижу, да!

В полночный час подкрался ты ко мне.  
Скажи ж, чего ты хочешь?  
Меня теснишь и давишь ты,  
И, право, чересчур уж близко!  
Ты слушаешь дыхание мое,  
Подслушиваешь сердца ты биенье, —  
Да ты ревнуешь! Но к кому ж ревнуешь?  
Прочь, прочь! Куда —  
Пробраться затеваешь ты?  
Ты в сердце самое проникнуть хочешь,  
В заветнейшие помыслы проникнуть!  
Бесстыдный ты, чужой мне, вор!  
Что хочешь выкрасть ты себе на долю  
И что подслушать хочется тебе?  
Что хочешь выпытать ты от меня, мучитель?  
Божественный палач!  
Или я должен, как собака,  
Валяться пред тобой, хвостом вилая  
И отдаваясь вне себя от страсти,  
Тебе в любви виляньем признаваться?

Напрасно трудишься,  
Рази сильнее!  
Какой укол ужасный!  
Нет, не ищейка я тебе — твоя добыча.  
Безжалостный охотник,



Я пленник гордый твой,  
За облаками скрывшийся разбойник!  
Скажи мне наконец, чего,  
Чего, грабитель, от меня  
ты хочешь?

Как? Выкупа?  
Какого же и сколько?  
Потребуй много — так твердит мне гордость, —  
И кратко говори — другой ее совет.

Так вот как? Да? Меня?  
Меня ты хочешь?  
Меня всецело, и всего?  
А! — так зачем же  
Ты мучаешь меня, глупец, при этом?  
Зачем терзаешь душу униженьем?..  
— Дай мне любви, кому меня согреть?  
Горячую мне руку протяни  
И пламя рдеющих углей для сердца дай мне,  
Мне одинокому в своем уединенье, —  
Что ко врагам и седмиричный лед,  
К врагам стремиться научает.  
Ты сам отдайся мне.  
Необоримый враг, —  
Сам — мне!

Прочь! Улетел! —  
Умчался прочь —  
Единственный товарищ мой и враг,  
Великий враг  
И чуждый мне опять  
Божественный палач.

Нет!  
Возвратись ко мне  
И с пытками твоими,  
Мои все слезы льются за тобой,  
И для тебя вдруг загорелся снова  
Огонь последний на сердце моем.  
Вернись, вернись ко мне, мой бог, — мое  
страданье,  
И счастье последнее мое!..

## 2

— Но тут Заратустра не мог долее сдерживать себя, схватил свою палку и ударил изо всех сил того, кто так горько жаловался. «Перестань, — кричал он ему со злобным смехом, — перестань, комедиант! фальшивомонетчик! закоренелый лжец! Я узнаю тебя!

Я отопрею тебе ноги, злой чародей, я хорошо умею поджаривать таких, как ты!»

— «Оставь, — сказал старик и вскочил с земли, — не бей больше, о Заратустра! Все это была только комедия!

В этом искусство мое; тебя самого хотел я испытать, подвергая тебя этому искусу! И истине, ты разгадал меня!

Но и ты также — дал мне о себе немалое свидетельство: ты *суров*, ты, мудрый Заратустра! Суровые удары наносишь ты своими «истинами», палка твоя вынуждает у меня — *эту истину!*»

«Не лъсти, — отвечал Заратустра, все еще возбужденный и мрачно смотря на него, — ты закоренелый фигляр! Ты лжив: что толкуешь ты — об истине!

Ты павлин из павлинов, ты море тщеславия, *что* разыгрывал ты предо мною, ты, злой чародей, в *кого* должен был я верить, когда ты так горько жаловался?»

«В *кающегося духом*, — сказал старик, — *его* представлял я; ты сам избобрел некогда это слово —

— поэта и чародея, обратившего наконец дух свой против себя самого, преображенного, который замерзает от своего плохого знания и от своей дурной совести.

И сознайся: нужно было много времени, о Заратустра, прежде чем ты заметил искусство мое и ложь мою! Ты *поверил* в мое горе, когда ты держал мне голову обеими руками, —

— я слышал, как ты горько жаловался: «его слишком мало любили, слишком мало любили!» Что я так далеко тебя обманул, этому радовалась внутри меня злоба моя».

«Ты, пожалуй, обманывал и более хитрых, чем я, — сказал Заратустра сурово. — Я не стерегусь обманщиков, ибо неосторожным *должен* я быть: так хочет судьба моя.

Но ты — *должен* обманывать: настолько я знаю тебя! Слова твои всегда должны иметь два-три-четыре смысла! Даже в чем сознавался ты сейчас, не было для меня ни достаточной правдой, ни достаточной ложью!

Злой фальшивомонетчик, разве мог бы ты поступать иначе! Даже болезнь свою нарумянил бы ты, если бы нагим показался врачу своему.

Точно так же румянил ты предо мною ложь свою, когда говорил: «Все это была *только* комедия!» Было в этом и нечто *серьезное*, ибо и сам *ты* отчасти такой же кающийся духом!

Я хорошо угадываю тебя: ты стал чародеем для всех, но для себя не осталось у тебя больше ни лжи, ни лукавства, — ты сам перестал быть для себя чародеем!

Ты пожинал отвращение как единственную истину свою. Нет ни одного правдивого слова в тебе, но еще правдивы уста твои: правдиво отвращение, прилипшее к устам твоим».

«Но кто же ты! — воскликнул тут старый чародей надменным голосом, — кто смеет так говорить со *мною*, самым великим среди живущих ныне?» — и зеленая молния сверкнула из его глаз на Заратустру. Но тотчас же он изменился и сказал с грустью:



*Перестань, — кричал он ему со злобным смехом, —  
перестань, комедиант! фальшивомонетчик! закоренелый лжец!*

«О Заратустра, я устал, противны мне искусства мои, я не *велик*, для чего притворяюсь я! Но, ты знаешь это хорошо, — я искал величия!

Великого человека хотел я представлять и убедил в этом многих; но эта ложь была выше сил моих. Об нее разбиваюсь я.

О Заратустра, все ложь во мне; но что я разбиваюсь — это *правда* во мне!» —

«Это делает тебе честь, — сказал Заратустра мрачно и смотря в сторону, — делает тебе честь, что искал ты величия, но это же и выдает тебя. Ты не велик.

Злой, старый чародей, *это* твое лучшее и самое честное, и я чту в тебе то, что устал ты от себя и сказал: «Я не велик».

За *это* чту я тебя, как кающегося духом: даже если только на один миг, но в этот момент был ты — правдив.

Но скажи, чего ищешь ты здесь в лесах и на скалах *моих*? И если для *меня* лежал ты на дороге, чего хотел ты от меня? —

— в чем искушал ты *меня*?»

Так говорил Заратустра, и глаза его сверкали. Старый чародей помолчал немного, потом сказал он: «Разве я искушал тебя? Я — только ищущий.

О Заратустра, я ищущего-нибудь правдивого, простого, справедливого, недвусмысленного, человека честного во всех отношениях, сосуда мудрости, праведника знания, великого человека! Разве ты не знаешь этого, о Заратустра! *Я ищущий Заратустру*».

— Тут воцарилось долгое молчание между ними; Заратустра погрузился в глубокое раздумье, так что даже закрыл глаза. Но затем, возвратясь к своему собеседнику, он схватил чародея за руку и сказал ему вежливо и с хитростью:

«Ну что ж! Туда вверх идет дорога, там находится пещера Заратустры. В ней можешь ты искать, кого хотел бы ты найти.

И спроси совета у зверей моих, у орла моего и у змеи моей: пусть помогут они тебе искать. Но пещера моя велика.

Правда, я сам — я не видел еще великого человека. Для великого груб еще сегодня глаз даже самых тонких людей. Теперь царство толпы.

Многих встречал я уже, которые тянулись и надувались, а народ кричал: «Вот великий человек!» Но что толку во всех воздуходувках! В конце концов воздух выйдет из них.

В конце концов лопается лягушка, которая слишком долго надувалась: и воздух выйдет из нее. Ткнуть в живот надувшемуся — это называю я славной шуткою. Слушайте, дети!

Это сегодня принадлежит толпе: кто там *знает* еще, что велико и что мало! Кто искал там успешно величия! Только глупец: и глупцы имеют успех.

Ты ищешь великих людей, ты, странный глупец? Кто *научил* тебя искать их? Разве теперь время для этого? О злой искатель, в чем — ищешь ты меня?» —

Так говорил Заратустра, утешенный в сердце своем, и пошел, смеясь, своей дорогой.



### В отставке

Немного спустя после того, как Заратустра освободился от чародея, увидел он опять, что кто-то сидит на дороге, по которой он шел; это был черный высокий человек с исхудавшим, бледным лицом, сильно раздосадовавший его. «Горе, — сказал он в сердце своем, — вот сидит закутанная печаль, мне кажется, она из рода священников; чего хотят они в моем царстве?

Как! Едва избег я одного чародея, — и вот другой чернокнижник опять становится мне поперек дороги, —

— какой-нибудь колдун со сложенными руками, какой-нибудь мрачный чудотворец Божьей милостью, какой-нибудь помазанный клеветник на мир, чтоб черт его побрал!

Но черт никогда не бывает там, где он был бы на месте: всегда приходит он слишком поздно, этот проклятый карлик и колченожка!»

Так бранился Заратустра с нетерпением в сердце своем и думал, как бы, не глядя на черного человека, проскользнуть мимо него, — но случилось иначе. Ибо в этот самый момент его уже увидел сидевший; и подобно тому, кто наталкивается на неожиданное счастье, вскочил он и пошел навстречу Заратустре.

«Кто бы ты ни был, ты, странник, — сказал он, — помоги заблудившемуся, ищущему, старому человеку, с которым здесь легко может случиться несчастье!

Этот мир здесь мне чужд и далек, даже слышал я рычание диких зверей; а того, кто мог бы служить мне защитой, уже нет.

Я искал последнего благочестивого человека, святого и отшельника, который один в лесу своем еще ничего не слышал о том, о чем весь мир знает сегодня».

«О чем же знает сегодня весь мир? — спросил Заратустра. — Не о том ли, что старый Бог не жив более, в которого весь мир некогда верил?»

«Ты говоришь, — отвечал опечаленный старик. — А я служил этому старому Богу до последнего часа его.

Теперь же я в отставке, без господина, и все-таки я не свободен, нет у меня ни одного веселого часа, разве только в воспоминаниях.

Для того и поднялся я на эти горы, чтобы наконец опять устроить себе праздник, как подобает старому папе и отцу церкви — ибо знай, я последний папа! — праздник благочестивых воспоминаний и богослужений.

Но теперь умер и он, самый благочестивый человек, тот святой в лесу, который постоянно славил своего Бога пением и бормотанием.

Его самого не нашел я уже, когда я нашел его хижину — и двух волков в ней, которые выли об его смерти, — ибо все звери любили его. И я убежал оттуда.

Неужели я пришел напрасно в эти леса и горы? Тогда решилось сердце мое искать другого, самого благочестивого из всех тех, кто не верят в Бога, — искать Заратустру!»

Так говорил старик и окинул острым взглядом того, кто стоял пред ним; Заратустра же взял руку старого папы и рассматривал ее долго с удивлением.

«Посмотри, досточтимый, — сказал он потом, — какая прекрасная и длинная рука! Это рука того, кто постоянно раздавал благословение. Но теперь держит она того, кого ты ищешь, меня, Заратустру.

Это — я, безбожный Заратустра, который говорит: кто безбожнее меня, чтобы мог я радоваться наставлению его?»

Так говорил Заратустра и пронизывал своим взором мысли и задние мысли старого папы. Наконец тот начал:

«Кто его любил и им владел больше всего, тот теперь и утратил его больше всего: — посмотри, не сам ли я из нас двоих теперь более безбожник? Но кто бы мог этому радоваться!» —

«Ты служил ему до конца, — спросил Заратустра задумчиво, после глубокого молчания, — ты знаешь, как он умер?»

Правда ли, как говорят, что его задушила жалость, — что он видел, как *человек* висел на кресте, и не вынес этого, так что любовь к человеку сделалась его адом и наконец его смертью?» —

Но старый папа ничего не ответил, а посмотрел робко в сторону страдальческим, мрачным взглядом.

«Оставь его, — сказал Заратустра после долгого размышления, продолжая смотреть старику прямо в глаза. —

Оставь его, он умер. И хотя тебе делает честь, что ты о мертвом говоришь только хорошее, но ты так же хорошо знаешь, как и я, *кто* он был; и что он ходил странными путями».

«Говоря с глазу на полуглаз, — сказал, повеселев, старый папа (ибо он был слеп на один глаз), — в вопросах Бога я просвещеннее самого Заратустры — и имею право на это.

Моя любовь служила ему долгие годы, моя воля следовала во всем его воле. Но хороший слуга знает все и даже многое, что его господин скрывает от себя самого.

Это был скрытный Бог, полный таинственности. Поистине, даже к сыну своему шел он не иначе как потаенным путем. У дверей его веры стоит прелюбодеяние.

Кто его прославляет как Бога любви, тот недостаточно высокого мнения о самой любви. Разве этот Бог не хотел быть также судьей? Но любящий любит по ту сторону награды и возмездия.

Когда он был молод, этот Бог с востока, тогда был он жесток и мстителен и выстроил себе ад, чтобы забавлять своих любимцев.

Но наконец он состарился, стал мягким и сострадательным, более похожим на деда, чем на отца, и всего больше похожим на трясущуюся старую бабушку.

Так сидел он, поблекший, в своем углу на печке, и сокрушался о своих слабых ногах, усталый от мира, усталый от воли, пока наконец не задохнулся от своего слишком большого сострадания». —

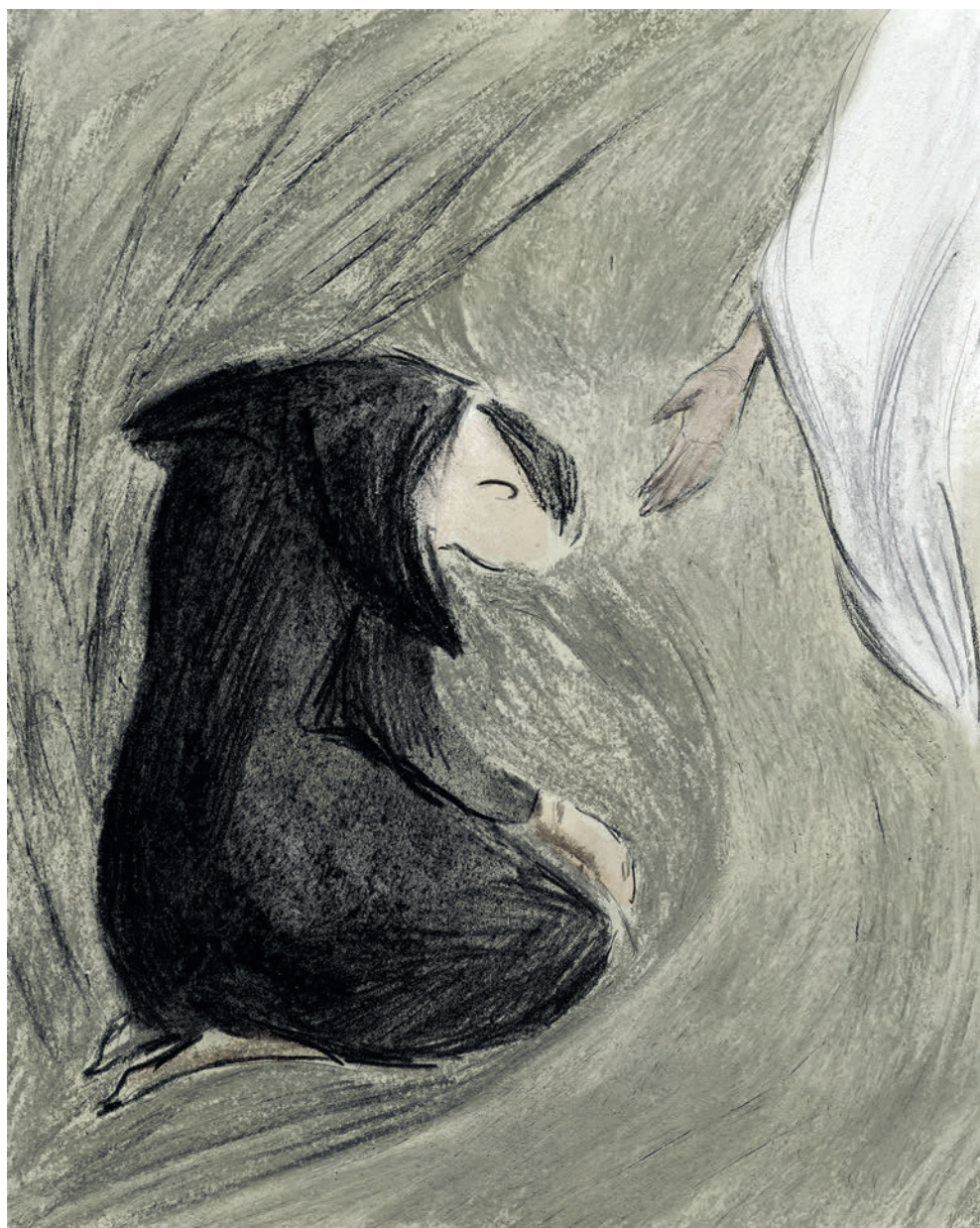
«Ты старый папа, — прервал тут Заратустра, — видел ли ты *это* своими глазами? Могло быть и так, могло быть *и* иначе. Когда боги умирают, умирают они всегда разными смертями.

Ну что ж! Так или иначе — он умер! Он был не по вкусу моим ушам и глазам, худшего не хотел бы я о нем говорить.

Я люблю все, что ясно смотрит и правдиво говорит. Но он — ты ведь знаешь это, ты, старый папа, он был немного из твоего рода, из рода священнического — его можно было разное понимать.

Его часто и совсем нельзя было понять. Как же сердился он на нас, этот дышащий гневом, что мы его плохо понимали! Но почему же не говорил он яснее!

И если вина была в наших ушах, почему дал он нам уши, которые его плохо слышали. Если была грязь в наших ушах, кто же вложил ее туда?



*...вот сидит закутанная печаль, мне кажется, она из рода священников...*

Слишком многое не удавалось ему, этому горшечнику, не доучившемуся до конца! Но если он еще мстил своим горшкам и творениям за то, что они ему плохо удавались, — это было уже грехом против *хорошего вкуса*.

Существует и в благочестии хороший вкус; *он* говорит наконец: «Прочь с *таким* Богом! Лучше совсем без Бога, лучше на собственный страх устраивать судьбу, лучше быть безумцем, лучше самому быть Богом!»

«Что слышу я! — сказал тут старый папа, наострив уши. — О Заратустра! ты благочестивее, чем ты думаешь, при таком безверии! Какой-нибудь Бог в тебе обратил тебя к твоему безбожию.

Разве не само твое благочестие не позволяет тебе более верить в Бога? И твоя чрезмерная правдивость поведет тебя еще дальше, по ту сторону добра и зла!

Посмотри, что осталось тебе? У тебя есть глаза, руки и уста, которые от вечности предназначены для благословения. Благословляют не только рукой.

Вблизи тебя, хотя ты и хочешь быть самым безбожным, я предчувствую тайное благоухание долгих благословений; мне становится при этом хорошо и мучительно.

Позволь мне быть твоим гостем, о Заратустра, на одну только ночь! Нигде на земле мне не будет теперь лучше, чем у тебя!»

«Аминь! Да будет так! — сказал Заратустра с великим удивлением. — Туда вверх ведет дорога, там находится пещера Заратустры.

Поистине, я сам охотно проводил бы тебя туда, досточтимый, ибо я люблю всех благочестивых людей. Но теперь меня поспешно отзывает от тебя крик о помощи.

В моем царстве ни с кем не должно быть несчастья; пещера моя — хорошая пристань. И больше всего хотел бы я всякого, кто печалится, опять поставить на твердую землю и на твердые ноги.

Но кто снимет с плеч *твою* печаль? Для этого я слишком слаб. Поистине, долго придется нам ждать, пока кто-нибудь опять воскресит тебе твоего Бога.

Ибо этот старый Бог не жив более: он основательно умер».

Так говорил Заратустра.

### Самый безобразный человек

— И опять бежали ноги Заратустры по горам и лесам, и глаза его непрестанно искали, но нигде не было видно, кого искали они, кто кричал о помощи и страдал великою скорбью. Всю дорогу, однако, радовался он в сердце своем и был полон признательности. «Какие хорошие вещи, — говорил он, — подарил мне, однако, этот день в награду за то, что так скверно начался он! Каких редких собеседников нашел я!

Долго придется пережевывать мне слова их, как хорошие хлебные зерна; и зубам моим придется измолотить и истолочь их, пока не потекут они в душу мою, как молоко!»

Но когда дорога опять обогнула скалу, сразу изменился ландшафт, и Заратустра вступил в царство смерти. Здесь торчали черные и красные выступы скал; не было ни травы, ни деревьев, ни пения птиц. Ибо это была долина, которой избегали все животные, даже хищные звери; и только змеи одной породы — безобразные, толстые, зеленые, состарившись, приползали сюда умирать. Поэтому называли пастухи эту долину: Смерть змей.



Но Заратустра погрузился в мрачные воспоминания, ибо ему казалось, что однажды он уже стоял в этой долине. И много тяжелого вспоминалось ему: так что шел он все тише и тише и наконец остановился совсем. Здесь, открыв глаза, увидел он перед собою что-то сидевшее на краю дороги, по виду напоминавшее человека или почти что человека, нечто невыразимое. И мгновенно охватил Заратустру великий стыд, что пришлось ему своими глазами увидеть нечто подобное: покраснев до корней седых волос своих, отвернулся он и хотел уже бежать из этого скверного места. Вдруг мертвая пустыня огласилась шипевшими и хрипевшими звуками, поднимавшимися из самой земли, подобно тому как ночью шипит и хрипит вода в засорившейся водопроводной трубе; наконец эти звуки сложились в человеческий голос и человеческую речь — и она так гласила:

«Заратустра! Заратустра! Разгадай загадку мою! Говори, говори! Что такое *месть свидетелю*?

Я предостерегаю тебя, здесь скользкий лед! Смотри, смотри, как бы гордость твоя не сломала здесь ногу себе!

Ты считаешь себя мудрым, ты, гордый Заратустра! Так разгадай же загадку, ты, щелкун твердых орешков, — загадку, которую представляю я! Скажи: кто *я*!»

— Но когда Заратустра услышал слова эти, как думаете вы, что случилось с душою его? *Сострадание овладело им*, и вдруг он упал ниц, как дуб, долго сопротивлявшийся многим дровосекам, тяжело, внезапно, пугая даже тех, кто хотел срубить его. Но вот он снова поднялся с земли, и лицо его сделалось суровым.

«Я отлично узнаю тебя, — сказал он голосом, звучавшим, как медь, — *ты убийца Бога!* Пусти меня.

Ты *не вынес* того, кто видел *тебя*, — кто всегда и насквозь видел тебя, — самого безобразного человека! Ты отомстил этому свидетелю!»

Так говорил Заратустра и хотел идти, но невыразимый схватил его за край одежды и снова стал клокотать и подыскивать слова. «Останься! — сказал он наконец —

— останься! Не проходи мимо! Я угадал, какой топор сразил тебя: хвала тебе, о Заратустра, что ты снова встал!

Ты угадал, я знаю это, каково тому, кто его убил, — убийце Бога. Останься! Присядь ко мне, это будет не напрасно.

К кому же стремился я, как не к тебе? Останься, сядь! Но не смотри на меня! Почти этим — безобразие мое!

Они преследуют меня — теперь ты последнее убежище мое. *Не* ненавистью своей, не своими ищeyками — о, над таким преследованием смеялся бы я, гордился бы им и радовался ему!

Разве успех не был доселе на стороне хорошо преследуемых? И кто хорошо преследует, легко научится *следовать* — раз уж он очутился — позади! Но от их *сострадания* —

— от их сострадания бегу я и прибегаю к тебе. О Заратустра, защити меня, ты последнее убежище мое, ты единственный, разгадавший меня:

— ты угадал, каково тому, кто убил *его*. Останься! И если ты хочешь идти, ты, нетерпеливый, — не ходи дорогою, какую я шел. *Эта* дорога плохая.

Ты сердишься, что я так долго уже заикаюсь и спотыкаюсь? Что я даю уже советы тебе? Но знай, что это я, самый безобразный человек,

— у которого самые большие и тяжелые ноги. Где я шел, там дорога плохая. Я обращаю все дороги в смерть и позор.

Но по тому, как ты прошел молча мимо меня, как ты покраснел, я это видел, — я узнал в тебе Заратустру.

Всякий другой бросил бы мне милостыню свою, сострадание свое, взором и речью. Но для этого — я недостаточно нищий, это угадал ты —

— для этого я слишком *богат*, богат великим, ужасным, самым безобразным и невыразимым! Твой стыд, о Заратустра, *почтил* меня!

С трудом ушел я из толпы сострадательных, — чтобы найти единственного, который учит нынче: «Сострадание навязчиво», — тебя, о Заратустра!

— будь оно божеским, будь оно человеческим состраданием

— оно перечит стыду. И нежелание помочь может быть благороднее, чем эта путающаяся под ногами добродетель.

Но сострадание называется сегодня у всех маленьких людей самой добродетелью — они не умеют чтить великое несчастье, великое безобразие, великую неудачу.

Поверх всех их смотрю я, как смотрит собака поверх спин овец, копошащихся в стадах своих. Это маленькие, мягкошерстные, доброхотные, серые люди.

Как цапля, закинув голову, с презрением смотрит поверх мелководных прудов, — так смотрю я поверх копошения серых маленьких волн, воля и душ.

Давно уже дано им право, этим маленьким людям, — так *что* дана им наконец и власть — теперь учат они: «Хорошо только то, что маленькие люди называют хорошим».

И «истиной» называется сегодня то, о чем говорил проповедник, сам вышедший из них, этот странный святой и защитник маленьких людей, который свидетельствовал о себе: «Я — истина».

Этот нескромный давно уже сделал маленьких людей горделивыми — он, учивший огромному заблуждению, когда он учил: «Я — истина».

Отвечал ли кто нескромному учтивее? — Но ты, о Заратустра, прошел мимо него и говорил: «Нет! Нет! Трижды нет!»

Ты предостерегал от его заблуждения, ты первый предостерегал от сострадания — не всех и не каждого, но себя и подобных тебе.

Ты стыдишься стыда великих страданий; и поистине, когда ты говоришь: «От сострадания приближается тяжелая туча, берегитесь, люди!»

— когда ты учишь: «Все созидющие тверды, всякая великая любовь выше их сострадания», — о Заратустра, как хорошо кажешься ты мне изучившим приметы грома!

Но и ты сам — остерегайся ты сам *своего* сострадания! Ибо многие находятся на пути к тебе, многие страждущие, сомневающиеся, отчаивающиеся, утопающие, замерзающие. —

Я предостерегаю тебя и против меня. Ты разгадал мою лучшую, мою худшую загадку, меня самого и что свершил я. Я знаю топор, сразивший тебя.

Но он — *должен был* умереть: он видел глазами, которые все видели, — он видел глубины и бездны человека, весь его скрытый позор и безобразие.

Его сострадание не знало стыда: он проникал в мои самые грязные закоулки. Этот любопытный, сверх-назойливый, сверх-сострадательный должен был умереть.

Он видел всегда *меня*: такому свидетелю хотел я отомстить — или самому не жить.



*...увидел он перед собою что-то сидевшее на краю дороги, по виду напоминавшее человека или почти что человека, нечто невыразимое*

Бог, который все видел, не исключая и *человека*, — этот Бог должен был умереть! Человек *не выносит*, чтобы такой свидетель жил».

Так говорил самый безобразный человек. Заратустра же встал и собирался уходить: ибо его знобило до костей.

«Ты, невыразимый, — сказал он, — ты предостерег меня от своего пути. В благодарность за это хвалю я тебе мой путь. Смотри, там вверху пещера Заратустры.

Моя пещера велика и глубока, и много закоулков в ней; там находит самый скрытый сокровенное место свое.

И поблизости есть сотни расщелин и сотни убежищ для животных пресмыкающихся, порхающих и прыгающих.

Ты, изгнанный, сам себя изгнавший, ты не хочешь жить среди людей и человеческого сострадания? Ну что ж, делай, как я! Так научишься ты у меня; только тот, кто действует, учится.

И прежде всего разговаривай с моими животными! Самое гордое животное и самое умное животное — пусть будут для нас обоих верными советчиками!»

Так говорил Заратустра и пошел своей дорожкой, еще задумчивее и еще медленнее, чем прежде: ибо он вопрошал себя о многом и нелегко находил ответы.

«Как беден, однако, человек! — думал он в сердце своем. — Как безобразен, как он хрипит, как полон скрытого позора!

Мне говорят, что человек любит себя самого, — ах, как велико должно быть это себялюбие! Как много презрения противостоит ему!

И этот столько же любил себя, сколько презирал себя, — по-моему, он великий любящий и великий презирающий.

Никого еще не встречал я, кто бы глубже презирал себя, — а *это* и есть высота. Горе, быть может, *это* был высший человек, чей крик я слышал?

Я люблю великих презирающих. Но человек есть нечто, что должно превзойти». —

## Добровольный нищий

Когда Заратустра покинул самого безобразного человека, ему стало холодно и он почувствовал себя одиноким; ибо много холодного и одинокого пронеслось по чувствам его, так что даже тело его похолодело. Но едва он поднялся дальше, по горам и долинам, миновав зеленые пастбища и пустое, каменистое русло, где прежде нетерпеливый ручей пролагал себе ложе, — ему сразу стало теплее, и сердце его укрепились.

«Что со мной? — спросил он себя. — Что-то теплое и живое подкрепляет меня, оно должно быть вблизи от меня.

Уже я не так одинок, неведомые спутники и братья бродят вокруг меня, их теплое дыхание волнует мне душу».

Осматриваясь кругом и ища утешителей в одиночестве своем, он увидел коров, столпившихся на возвышении; их близость и запах согрели сердце его. По-видимому, эти коровы старательно слушали кого-то, говорившего к ним, и не обращали внимания на вновь прибывшего.





*По-видимому, эти коровы старательно слушали кого-то, говорившего к ним...*

Когда же Заратустра подошел совсем близко к ним, услышал он отчетливо человеческий голос из стада коров; и видно было, что все они повернули свои головы к говорившему.

Тогда Заратустра стремительно бросился на возвышение и разогнал коров, ибо он боялся, чтобы здесь не случилось с кем-нибудь несчастья, которому едва ли помогло бы сострадание коров. Но в этом он ошибся; ибо перед ним сидел человек на земле и, казалось, убеждал животных, чтобы они не боялись его, — миролюбивый человек и нагорный проповедник, из глаз которого проповедовала сама доброта. «Чего ищешь ты здесь?» — воскликнул Заратустра с удивлением.

«Чего я здесь ищу? — отвечал он. — Того же самого, чего ищешь и ты, нарушитель мира! ищу счастья на земле.

Ему хотел я научиться у этих коров. Ибо, знаешь ли, половину утра говорю я к ним, и они только что собрались отвечать мне. Зачем помешал ты им?

Если мы не вернемся назад и не будем как коровы, мы не войдем в Царство Небесное. Ибо одному должны мы научиться у них — пережевыванию.

И поистине, если бы человек приобрел целый мир и не научился одному — пережевыванию: какая польза была бы ему! Он не избавился бы от скорби своей,

— от великой скорби своей; но она называется сегодня *отвращением*. А у кого же сегодня сердце, уста и глаза не полны отвращения? И у тебя! И у тебя! Но взгляни на этих коров!» —

Так говорил нагорный проповедник и поднял взор свой на Заратустру: ибо до сей поры глядел он с любовью на коров — и вдруг преобразился он. «Кто это, с кем говорю я? — воскликнул он в испуге и вскочил с земли. —

Это человек, свободный от отвращения, это сам Заратустра, победитель великого отвращения, это глаза, это уста, это сердце самого Заратустры».

И, говоря так, он с глазами, полными слез, поцеловал руку тому, кому он говорил, и вел себя совсем как тот, кому неожиданно падает с неба драгоценный дар или сокровище. А коровы смотрели на все это и удивлялись.

«Не говори обо мне, ты, странный, милый человек! — сказал Заратустра, защищаясь от его нежности. — Говори сперва о себе! Не тот ли ты добровольный нищий, который некогда отказался от большого богатства, —

— который устыдился богатства своего и богатых и бежал к самым бедным, чтобы отдать им избыток свой и сердце свое? Но они не приняли его».

«Но они не приняли меня, — сказал добровольный нищий, — ты хорошо знаешь это. Так что пошел я наконец к зверям и коровам этим».

«Там научился ты, — прервал Заратустра говорившего, — насколько труднее уметь дарить, чем уметь брать, и что хорошо дарить есть *искусство*, и притом высшее, самое мудреное искусство доброты».

«Особенно в наши дни, — отвечал добровольный нищий, — особенно теперь, когда все низкое возмутилось, стало недоверчивым и по-своему чванливым: на манер черни.

Ибо, ты знаешь, настал час великого восстания черни и рабов, восстания гибельного, долгого и медлительного: оно все растет и растет!

Теперь возмущает низших всякое благодеяние и подачка; и те, кто слишком богат, пусть будут настороже!

Кто сегодня, подобно пузатой бутылке, сочтется сквозь слишком узкое горлышко, — у таких бутылей любят теперь отбивать горлышко.

Похотливая алчность, желчная зависть, подавленная мстительность, надмевание черни — все это бросилось мне в глаза. Уже не верно, что нищие блаженны. Но Царство Небесное у коров».

«А почему же оно не у богатых?» — спросил испытующе Заратустра, отгоняя коров, которые дружески обдавали дыханием миролюбивого проповедника.

«К чему испытываешь ты меня? — отвечал он. — Ты сам знаешь это лучше меня. Что же гнало меня к самым бедным, о Заратустра? разве не отвращение к нашим богачам?

— к каторжникам богатства, извлекающим выгоды свои из всякого мусора, с холодными глазами и похотливыми мыслями, к этому отребью, от которого подымается к небу зловоние,

— к этой раззолоченной, лживой черни, предки которой были воришками, или стервятниками, или тряпичниками, падкими до женщин, похотливыми и забывчивыми: ибо все они недалеко ушли от блудницы —

Чернь сверху, чернь снизу! Что значит сегодня «бедный» и «богатый»? Эту разницу забыл я, — и бежал я все дальше и дальше, пока я не пришел к этим коровам».

Так говорил миролюбивый проповедник, а сам тяжело пыхтел и потел при своих словах — так что коровы снова удивлялись. Но Заратустра, пока он так сурово говорил, смотрел ему с улыбкою в лицо и молча качал при этом головою.

«Ты совершаешь над собою насилие, ты, нагорный проповедник, употребляя такие суровые слова. Для такой суровости не годятся ни твои уста, ни твои глаза.

И, как мне кажется, даже желудок твой: ему противны всякий гнев и всякая ненависть с пеною. Твой желудок требует более мягкой пищи: ты не любитель мяса.

Скорее кажешься ты мне любителем растительной пищи и собирателем трав и корней. Быть может, жуешь ты зерна. Во всяком случае ты не находишь удовольствия в мясе и любишь мед».

«Ты угадал, — отвечал добровольный нищий с облегченным сердцем. — Я люблю мед и жую зерна, ибо я ищу того, что приятно на вкус и делает дыхание чистым;

— а также что требует много времени и над чем трудятся целые дни рты кротких лентяев и тунеядцев.

Но дальше всех ушли в этом эти коровы: они изобрели пережевывание и лежание на солнце. И они воздерживаются от всяких тяжелых мыслей, от которых пучит сердце».

«Ну что ж! — сказал Заратустра. — Тебе бы следовало увидеть и *моих* зверей, орла моего и змею мою, — равных им не существует теперь на земле.

Смотри, там дорога ведет к пещере моей: будь гостем ее этой ночью. И поговори со зверями моими о счастье зверей, —

— пока я сам не вернусь. А теперь меня поспешно отзывает от тебя крик о помощи. Также найдешь ты новый мед у меня, в свежих янтарных сотах: ешь его!

А теперь простись поскорее со своими коровами, странный милый человек! как бы тебе тяжело это ни было. Ибо это лучшие учителя твои и друзья!» —

— «За исключением одного, которого я люблю еще больше, — отвечал добровольный нищий. — Ты сам добрый и лучше еще, чем всякая корова, о Заратустра!»

«Прочь уходи от меня! ты низкий льстец! — закричал Заратустра со злобою. — Зачем портишь ты меня такой похвалой и медом лести?»

«Прочь, прочь от меня!» — закричал он еще раз и замахнулся своей палкой на нежного нищего; но тот поспешно бежал от него.



## Тень

Но едва убежал добровольный нищий и Заратустра остался опять один с собою, как услышал он позади себя новый голос, вызвавший: «Стой, Заратустра! Подожди же меня! Ведь это я, о Заратустра, я, тень твоя!» Но Заратустра не остановился, ибо внезапная досада овладела им, что так тесно стало в горах у него. «Куда же девалось уединение мое? — говорил он. —

Поистине, это становится слишком много для меня; эти горы кишат людьми, царство мое уже не от мира сего, мне нужны новые горы.

Моя тень зовет меня? Что мне до тени моей! Пусть бежит себе за мною! я — убегу от нее».

Так говорил Заратустра в сердце своем и бежал дальше. Но тот, кто был позади его, следовал за ним: так что образовалось трое бегущих один за другим — впереди бежал добровольный нищий, потом Заратустра, и позади всех тень его. Но недолго бежали они так, ибо Заратустра скоро опомнился от своего неразумия и *сразу* страхнул с себя всякую досаду и всякое отвращение.

«Как! — говорил он. — Разве самые смешные вещи с давних пор не случались с нами, старыми отшельниками и святыми?

Поистине, безумие мое сильно выросло в горах! И вот теперь слышу я, как шесть старых дурацких ног топочут одна за другой!

Но разве Заратустра имеет право бояться какой-нибудь тени? И наконец, мне кажется, что ноги ее длиннее моих».

Так говорил Заратустра, смеясь глазами и всем нутром своим; он остановился и быстро обернулся назад, так что чуть было не опрокинул на землю тень, которая преследовала его: так близко следовала она по пятам его и так слаба была она. Ибо, когда он измерил ее глазами, испугался он, как перед внезапным призраком: так худ, черен, изможден и призрачен был этот преследователь.

«Кто ты? — спросил Заратустра грубо. — Что делаешь ты здесь? И почему называешь ты себя моей тенью? Ты не нравишься мне».

«Прости меня, — отвечала тень, — что это я; и если я тебе не нравлюсь, ну что ж! о Заратустра, я хвалю тебя и твой хороший вкус.

Я — странник, который уже много ходил по пятам твоим; вечно в дороге, но без цели и даже без родины; так что мне, поистине, немногого недостает до вечного жида, разве только что не вечен я и не жид.

Как? Неужели должна я всегда быть в пути? Увлекаемой и гонимой каждым ветром? О земля, ты стала для меня слишком круглой!

На всякой поверхности побывала я уже; как усталая пыль, спала я на зеркалах и оконных стеклах: все берет от меня, но ничто не дает, я становлюсь тощей — почти похожу я на тень.

Но за тобой, о Заратустра, я следовала и преследовала тебя дольше всего, и, если я и пряталась от тебя, все-таки я была твоей верной тенью: где бы ни сел ты, садилась и я.

С тобой обошла я самые далекие, самые холодные миры, как призрак, который охоч бегать зимою по крышам и по снегу.

Вместе с тобою стремилась я ко всему запретному, самому дурному и дальнему: и если что-нибудь во мне может быть названо добродетелью, так это то, что не боялась я никакого запрета.





*Вместе с тобою стремилась я ко всему запретному, самому дурному и дальнему...*

Вместе с тобою разбила я все, что когда-либо чтило сердце мое, все пограничные столбы и всех идолов опрокинула я, за самыми опасными желаниями гонялась я, — поистине, по всем преступлениям однажды прошла я.

Вместе с тобою разучилась я вере в слова, ценности и великие имена. Когда черт меняет кожу, не отпадает ли тогда также и имя его? Ибо имя есть только кожа. И сам черт, быть может, — только кожа.

«Нет истины, все позволено» — так убеждала я себя. В самые холодные воды погружалась я сердцем и головою. Ах, как часто стояла я поэтому нагая и красная, как рак!

Ах, куда девалось все доброе, и весь стыд, и вся вера в добрых! Ах, куда девалась та изолгавшаяся невинность, которой некогда обладала я, невинность добрых и их благородной лжи!

Слишком часто, поистине, следовала я по пятам за истиной: и она давала мне пинка. Много раз думала я, что лгу, и только тогда прикасалась я — к истине.

Слишком многое прояснилось для меня: теперь оно уже не касается меня. Уже ничто не живо, что я люблю, — как могла бы я еще любить самое себя?

«Жить, как мне нравится, или вовсе не жить» — так хочу я, так хочет даже святой. Но, увы! есть ли еще для *меня* — радость?

Есть ли еще у меня — цель? Пристань, куда бежит парус *мой*?

Попутный ветер? Ах, только тот, кто знает, *куда* он едет, знает также, какой ветер ему по пути.

Что еще осталось мне? Усталое, дерзкое сердце; беспокойная воля; крылья негодные, чтобы летать; разбитый хребет.

А это искание *своего* дома: о Заратустра, ты ведь знаешь, это искание было взысканием моим, оно пожирает меня.

«Где — дом *мой*?» Я спрашиваю о нем, ищу и искала его и нигде не нашла. О вечное везде, о вечное нигде, о вечное — напрасно!»

Так говорила тень, и лицо Заратустры вытягивалось при словах ее. «Да, ты — моя тень, — сказал он наконец с грустью. —

И не малая опасность грозит тебе, ты, вольнодумец и странник! Плохой день был у меня: смотри, как бы не наступил еще худший вечер!

Таким беспокойным, как ты, может наконец даже тюрьма показаться блаженством. Видела ли ты когда-нибудь, как спят заключенные преступники? Они спят спокойно, они наслаждаются впервые своей безопасностью.

Берегись, чтобы тебя наконец не уловила в сети какая-нибудь узкая вера, какое-нибудь жестокое, суровое заблуждение! Ибо теперь соблазняет и искушает тебя все узкое и твердое.

Ты утратила цель; увы, как прошептишь и как утетишь ты эту утрату? Вместе с ней ты — потеряла и дорогу!

Бедный, блуждающий мечтатель, уставший мотылек! не хочешь ли ты на этот вечер иметь пристанище и отдых? Так иди вверх в пещеру мою!

Эта дорога ведет к пещере моей. А теперь я скорее убегу от тебя. Уже ложится как бы тень на меня.

Я побегу один, чтобы опять стало светло вокруг меня. К тому же я еще долго должен быть весел и на ногах. Вечером же будут у меня — танцы!» —

Так говорил Заратустра.

### В полдень

— И Заратустра все бежал, и не находил никого больше. Он был один и продолжал встречать только себя, он наслаждался и упивался своим одиночеством и думал о хороших вещах — целыми часами. В полуденный час, когда солнце стояло прямо над головой Заратустры, проходил он мимо старого дерева, кривого и суковатого, которое было увито обильной любовью виноградной лозы и скрыто от себя самого; с него свешивались путнику пышные желтые гроздья. Тогда захотелось ему утолить маленькую жажду и сорвать одну кисть; но едва протянул он к ней руку, как овладело им другое желание, более сильное, — лечь под деревом в самый полдень и уснуть.

Так и сделал Заратустра; и лишь только он лег на землю, среди таинственной тиши пестрой травы, как забыл он тотчас о своей маленькой жажде и заснул. Ибо, как гласит поговорка Заратустры: одно бывает необходимее другого. Только глаза его оставались открытыми: ибо они не могли досыта насмотреться и насладиться деревом и любовью к нему виноградной лозы. Но, засыпая, так говорил Заратустра в сердце своем:

«Тише! Тише! Не стал ли мир совершенен? Что же, однако, происходит со мной?

Как легкий ветерок невидимо танцует по гладкому морю, легкий, как перышко, так — сон танцует на мне.

Глаз не смыкает он мне, душу оставляет он бодрствовать. Легок он, поистине! Легок, как перышко.

Он убеждает меня, я не знаю, как? он дотрагивается внутри меня ласкающей рукою, он принуждает меня. Да, он принуждает мою душу потягиваться —

— какой она становится длинной и усталой, моя странная душа! Неужели вечер седьмого дня пришелся для нее как раз в полдень! Уж не блуждала ли она слишком долго, блаженная, среди добрых и зрелых вещей?

Долго потягивается она, — все больше и больше! она лежит тихо, странная душа моя. Слишком уж много доброго вкусила она; эта золотая печаль гнетет ее, она скывывает уста.

— Как корабль, зашедший в самую тихую пристань свою, — теперь опирается он на землю, усталый от долгих странствий и неведомых морей. Разве земля не надежнее?

Когда такой корабль пристает к берегу, жметя к нему — тогда достаточно, чтобы паук протянул от земли к нему паутину свою. В более крепкой веревке нет надобности.

Как такой усталый корабль в тихой пристани, так отдыхаю и я теперь близко к земле, преданный, доверчивый, ожидающий, привязанный к ней тончайшими нитями.

О счастье! О счастье! Не хочешь ли ты запеть, о душа моя? Ты лежишь в траве. Но теперь таинственный, торжественный час, когда ни один пастух не играет на свирели своей.

Берегись! Жаркий полдень спит на нивах. Не пой! Тише! Мир совершенен.

Не пой, ты, полевая птичка, о душа моя! Не шепчи даже! Смотри — кругом тишина! старый полдень спит, он шевелит губами: не пьет ли он сейчас каплю счастья —

— старую, потемневшую каплю золотого счастья, золотого вина? Счастье пробегает по нему, его счастье смеется. Так — смеется Бог. Тише! —

— «Для счастья, как мало надо для счастья!» — так говорил я когда-то и считал себя мудрым. Но это была хула, *этому* научился я теперь. Мудрые дурни говорят лучше.

Ибо все самое малое, самое тихое, самое легкое, шорох ящерицы, дуновение, мгновение, миг — *малое*, вот что составляет качество *лучшего* счастья. Тише!

— Что случилось со мною: слушай! Не улетело ли время? Не падаю ли я? Не упал ли я — слушай! — в колодец вечности?

— Что происходит со мною? Тише! Меня кольнуло — о, горе! — в сердце? В самое сердце! О, разбейся, разбейся, сердце, после такого счастья, после такого укола!

— Как? Не стал ли мир сейчас совершенен? Круглым и зрелым? О золотой круглый зрак — куда летит он? Разве я бегу за ним! Тише! Тише» ( — тут Заратустра потянулся и почувствовал, что спит). «Вставай, ты, сонливец! — говорил он самому себе. — Ты, спящий в полдень! Ну, вставайте, вы, старые ноги! Уже пора, давно пора, еще добрый конец пути остался вам. —

Теперь вы выспались, долго ли спали вы? Половину вечности? Ну, вставай теперь, мое старое сердце! Много ли нужно тебе времени после такого сна — чтобы проснуться?»

(Но тут он снова заснул, а душа его противилась, защищалась и опять легла) — «Оставь же меня! Тише! Не стал ли мир сейчас совершенен? О золотой круглый шар!» —

«Вставай, — говорил Заратустра, — ты, маленькая воровка, тунейдка! Как? Все еще потягиваться, зевать, вздыхать и падать в глубокие колодцы?

Кто же ты, о душа моя!» (и тут испугался он, ибо солнечный луч упал с неба на лицо ему).

«О небо надо мной, — сказал он, вздыхая, и сел, — ты глядишь на меня? Ты слушаешь странную душу мою?

Когда выпьешь ты эту каплю росы, упавшую на все земное, — когда выпьешь ты эту странную душу, —

— когда, о родник вечности! ты, радостная, ужасающая полуденная бездна! когда обратно втянешь ты в себя мою душу?»

Так говорил Заратустра и поднялся с ложа своего у дерева, как бы после странного опьянения; а солнце все еще стояло прямо над головою его. Из этого вполне можно было заключить, что Заратустра в тот раз спал недолго.

## Приветствие

Лишь поздно вечером, после долгих напрасных исканий и блужданий, Заратустра опять вернулся к пещере своей. Но когда он остановился перед нею не более как в двадцати шагах, случилось то, чего он теперь ожидал всего менее: снова услышал он великий *крик о помощи*. И, поразительно! на этот раз крик исходил из его собственной пещеры. Но это был долгий, сложный, странный крик, и Заратустра ясно различал, что он состоит из многих голосов: только издали можно было принять его за крик из одних только уст.

Тогда Заратустра бросился к пещере своей, и вот какое зрелище ожидало его тотчас после этого слушалища! Там сидели в сборе все, с кем провел он день: король справа и король слева, старый чародей, папа, добровольный нищий, тень, совестливый духом, мрачный прорицатель и осел; а самый безобразный человек надел на себя корону и опоясался двумя красными поясами — ибо он любил, как все безобразные,





*Там сидели в сборе все, с кем провел он день...*

красиво одеваться. Посреди же этого печального общества стоял орел Заратустры, взъерошенный и тревожный, ибо он должен был на многое отвечать, на что у гордости его не было ответа; а мудрая змея висела вокруг шеи его.

На все это смотрел Заратустра с великим удивлением; затем разглядел он отдельно каждого из гостей своих со снисходительным любопытством, читал в душе их и удивлялся снова. Тем временем собравшиеся поднялись с мест своих и почтительно ожидали, чтобы Заратустра заговорил. Заратустра же говорил так:

«Вы, отчаявшиеся! Вы, странные люди! Это *ваш* крик о помощи слышал я? И теперь знаю я, где надо искать *того*, кого тщетно искал я сегодня: *высшего человека* —

— в моей собственной пещере сидит он, высший человек! Но чему удивляюсь я! Не сам ли я привлек его к себе медовыми жертвами и хитрыми приманками счастья своего?

Однако мне кажется, что вы не годитесь для совместного общества, вы, взывающие о помощи, вы смущаете сердце друг другу, сидя здесь вместе. Сперва должен прийти некто,

— некто, который опять заставит вас смеяться, добрый, веселый шутник, танцор, ветер, сорвиголова, какой-нибудь старый дурень — как кажется вам?

Но простите мне, вы, отчаявшиеся, что я обращаюсь к вам с такой ничтожной речью, недостойной, поистине, таких гостей! Но вы не догадываетесь, *что* делает бодрым сердце мое, —

— вы сами и вид ваш, простите меня! Ибо всякий, кто смотрит на отчаявшегося, становится бодрым. Чтобы утешить отчаявшегося — для этого считает себя каждый достаточно сильным.

Мне самому придали вы эту силу — драгоценный дар, мои высокие гости! Настоящий подарок гостей! Ну что ж, не сердитесь, что я предлагаю вам свой.

Здесь царство мое и владения мои: но все мое на этот вечер и эту ночь должно быть и вашим. Пусть звери мои служат вам; пусть будет пещера моя местом отдохновения вашего!

В моем доме, у очага моего никто не должен отчаиваться, в моих владениях защищаю я каждого от диких зверей их. И первое, что предлагаю я вам, — безопасность!

Второе же — мой мизинец. И если *он* у вас, возьмите и всю руку, ну что ж! и сердце в придачу! Милости просим, поклон вам, желанные гости мои!»

Так говорил Заратустра и смеялся, полный любви и злобы. После этого приветствия гости его вторично поклонились ему в почтительном молчании; король же справа отвечал ему от их имени.

«По тому, о Заратустра, как ты предложил нам руку и привет свой, узнаем мы в тебе Заратустру. Ты унился перед нами, почти оскорбил наше уважение к тебе —

— но кто сумел бы, как ты, унизиться с такой гордостью? *Это* — ободряет нас самих, это улада для глаз и сердец наших.

Чтобы видеть только это, мы охотно поднялись бы на более высокие горы, чем эта гора. Ибо, как любители зрелищ, пришли мы, мы хотели видеть, что делает ясным печальный взор.

И вот, уже прекратился всякий крик наш о помощи. Уже открыты мысли и сердца наши и восхищены. Еще немного — и наше мужество станет бодрым.

Ничего, о Заратустра, не растет на земле более радостного, как высокая, сильная воля: она прекраснейшее из произведений ее. Целый ландшафт оживляется от *одного* такого дерева.

С пинией сравниваю я, о Заратустра, всякого, кто вырастает подобно тебе: высокий, молчаливый, твердый, одинокий, сделанный из лучшего гибкого дерева, господственный, —

— простирающий крепкие зеленые ветви за пределы господства *своего*, мощно вопрошающий ветры и бурю и все, что от века близко к высотам,

— еще мощнее отвечающий, повелевающий, победоносный; о, кто бы ни поднялся на высокие горы, чтобы только посмотреть на такие деревья?

Под деревом твоим, о Заратустра, оживляется и печальный и неудачник, при виде тебя успокаивается беспокойный и исцеляется сердце его.

И, поистине, на гору твою и к дереву твоему обращены сегодня многие взоры; возникла великая тоска, и многие научились спрашивать: кто такой Заратустра?

И все, кому ты некогда по каплям вливал в уши песню свою и мед свой; все, кто прятался, кто жил одиноко или одиночествовал вдвоем, заговорили сразу к сердцу своему:

«Жив ли еще Заратустра? Не стоит больше жить, все равно, все тщетно, — или мы должны жить с Заратустрой!»

«Почему не приходит тот, кто так давно возвестил о себе? — так вопрошают многие. — Не поглотило ли его одиночество? Или мы должны сами пойти к нему?»

Теперь случается, что само одиночество истлело и распадается, подобно могиле, которая распадается и не может больше держать мертвецов своих. Всюду видны воскресшие.

Теперь волны поднимаются все выше и выше вокруг горы твоей, о Заратустра. И как ни высока высота твоя, многие должны подняться к тебе; твой челн уже недолго останется на суше.

И то, что мы, отчаявшиеся, теперь пришли в пещеру твою и уже свободны от отчаяния, — служит лишь предзнаменованием, что лучшие находятся на пути к тебе, —

— ибо он сам находится на пути к тебе, последний остаток Бога среди людей, а таковы именно: все люди великой тоски, великого отвращения, великого пресыщения,

— все, что не хочет жить, если только не научатся снова *надеяться* — если только не научатся у тебя, о Заратустра, *великой* надежде!»

Так говорил король справа и схватил руку Заратустры, чтобы поцеловать ее; но Заратустра уклонился от его почитания и отступил с испугом, молча и как бы внезапно отлетая в широкую даль. Но немного спустя был он уже опять у гостей своих, смотрел на них ясным, испытующим взором и говорил:

«Гости мои, вы, высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки и ясно. Не *вас* ожидал я здесь, в этих горах».

(«По-немецки и ясно? Боже упаси! — сказал тут король слева в сторону; заметно, он не знает милых немцев, этот мудрец с востока!»)

Но он хочет сказать «по-немецки и грубо» — ну что ж! По нынешним временам это еще не худший вкус!»)

Пусть, поистине, вы будете, вместе взятые, высшими людьми; но для меня — вы недостаточно высоки и недостаточно сильны.

Для меня это значит: для неумолимого, что молчит во мне, но не всегда будет молчать. Если вы и принадлежите мне, то все же не так, как правая рука моя.



Ибо кто сам ходит на больных и слабых ногах, подобно вам, тот хочет прежде всего, знает ли он это или скрывает от себя: чтобы *щадили* его.

Но ни рук моих, ни ног моих не щажу я, *я не щажу своих воинов*: как же могли бы вы годиться для *моей* войны?

С вами погубил бы я всякую победу. И многие из вас упали бы, услышав громкий бой барабанов моих.

Также вы для меня недостаточно прекрасны и недостаточно благородны. Я употребляю чистые и гладкие зеркала для учения своего; а на вашей поверхности искажается даже собственный образ мой.

Ваши плечи давит много тяжестей, много воспоминаний; много злых карликов сидят, скорчившись, в закоулках ваших. Даже в вас есть скрытая чернь.

И пусть вы высоки и более высокого рода: многое в вас криво и безобразно. Нет в мире кузнеца, который мог бы исправить и выпрямить вас.

Вы только мост: пусть высшие перейдут через вас! Вы означаете ступени; не сердитесь же на того, кто по вас поднимается на высоту *свою*!

Быть может, из семени вашего некогда вырастет настоящий сын и совершенный наследник мой — но это еще далеко. Сами вы не те, кому принадлежит наследство мое и имя мое.

Не вас жду я здесь, в этих горах, не с вами спущусь я вниз в последний раз. Только как предзнаменование пришли вы ко мне, что высшие люди находятся уже на пути ко мне, —

— не люди великой тоски, великого отвращения, великого пресыщения и не те, кого назвали вы последним остатком Бога.

— Нет! нет! трижды нет! *Других* жду я здесь, в этих горах, и без них не шевельну я ногой, чтобы уйти отсюда.

— высших, более сильных, победоносных, более веселых, таких, у которых прямоугольно построены тело и душа: *смеющиеся львы* должны прийти!

О желанные гости мои, вы, странные люди, — неужели вы еще ничего не слышали о детях моих? И что они находятся на пути ко мне?

Говорите же мне о садах моих, о блаженных островах моих, о новом прекрасном потомстве моем, — почему не говорите вы мне о них?

Об этом даре прошу я у любви вашей, чтобы говорили вы мне о детях моих. Ими богат я, через них обеднел я: чего не отдал я, —

— чего ни отдал бы я, чтобы иметь лишь одно: *этих* детей, *эти* живые насаждения, *эти* деревья жизни воли моей и моей высшей надежды!»

Так говорил Заратустра и внезапно прервал речь свою: ибо им овладела тоска его, и он сомкнул глаза и уста, так велико было движение сердца его. И все гости его также молчали, неподвижные и смущенные: один только старый прорицатель делал знаки рукою и выражением лица своего.

## Тайная вечеря

На этом месте прорицатель прервал приветствие Заратустры и гостей его: он протеснился вперед, как тот, кому нельзя терять времени, схватил руку Заратустры и воскликнул: «Но, Заратустра!



Одно бывает необходимее другого, так говоришь ты сам: ну что ж, одно для *меня* теперь необходимее всего остального.

Кстати: разве не пригласил ты меня на *трапезу*? И здесь находятся многие совершившие длинный путь. Не речами же хочешь ты накормить нас?

Кроме того, все мы уже слишком много говорили о замерзании, утоплении, удушении и других телесных бедствиях: но никто не вспомнил о моей беде, о страхе умереть с голоду». —

(Так говорил прорицатель; но, когда звери Заратустры услышали слова эти, они со страху убежали. Ибо они видели, что всего принесенного ими в течение дня будет недостаточно, чтобы накормить досыта одного только прорицателя.)

«Включая сюда и страх умереть от жажды, — продолжал прорицатель. — И хотя я слышу, что вода здесь журчит, подобно речам мудрости, в изобилии и неустанно: но я — хочу *вина*!

Не всякий, как Заратустра, пьет от рождения одну только воду. Вода не годится для усталых и поблекших: *нам* подобает вино — только *оно* дает внезапное выздоровление и импровизированное здоровье!»

При этом удобном случае, пока прорицатель просил вина, удалось и королю слева, молчаливому, также промолвить слово. «О вине, — сказал он, — мы позаботились, я с моим братом, королем справа: у нас вина достаточно — осел целиком нагружен им. Так что недостает только хлеба».

«Хлеба? — возразил Заратустра, смеясь. — Как раз хлеба и не бывает у отшельников. Но не хлебом единым жив человек, но и мясом хороших ягнят, а у меня их два:

— пусть скорее заколют их и приправят шалфеем: так люблю я. Также нет недостатка в кореньях и плодах, годных даже для лакомок и гурманов; есть также орехи и другие загадки, чтобы пощелкать.

Мы скоро устроим знатный пир. Но кто хочет в нем участвовать, должен также приложить руку, даже короли. Ибо у Заратустры даже королю не зазорно быть поваром».

Это предложение пришлось всем по сердцу; только добровольный нищий был против мяса, вина и пряностей.

«Слушайте-ка этого чревоугодника Заратустру! — сказал он шутливо. — Для того ль идут в пещеры и на высокие горы, чтобы устраивать такие пиры?

Теперь понимаю я, чему он некогда нас учил, говоря: «Хвала малой бедности!», почему и он хочет уничтожить нищих».

«Будь весел, как я, — отвечал Заратустра. — Оставайся при своих привычках, превосходный человек! жуй свои зерна, пей свою воду, хвали свою кухню — если только она веселит тебя!

Я — закон только для моих, а не закон для всех. Но кто принадлежит мне, должен иметь крепкие кости и легкую поступь, —

— находить удовольствие в войнах и пиршествах, а не быть букой и Гансом-мечтателем, быть готовым ко всему самому трудному, как к празднику своему, быть здоровым и неведимым.

Лучшее принадлежит моим и мне; и если не дают нам его, мы сами его берем: лучшую пищу, самое чистое небо, самые мощные мысли, самых прекрасных женщин!» —

Так говорил Заратустра; но король справа заметил: «Странно! Слыханы ли когда-нибудь такие умные речи из уст мудреца?»

И, поистине, весьма редко встречается мудрец, который был бы умен и вдобавок не был бы ослом».

Так говорил король справа и удивлялся; осел же злорадно прибавил к его речи И-А. Это и было началом той продолжительной беседы, которая названа «тайной вечере» в исторических книгах. Но за нею не говорилось ни о чем другом, как только о *высшем человеке*.

## О высшем человеке

### 1

Когда в первый раз пошел я к людям, совершил я глупость отшельника, великую глупость: я явился на базарную площадь.

И когда я говорил ко всем, я ни к кому не говорил. Но к вечеру канатные плясуны были моими товарищами и трупы; и я сам стал почти что трупом.

Но с новым утром пришла ко мне и новая истина — тогда научился я говорить: «Что мне до базара и толпы, до шума толпы и длинных ушей ее!»

Вы, высшие люди, этому научитесь у меня: на базаре не верит никто в высших людей. И если хотите вы там говорить, ну что ж! Но толпа моргает: «Мы все равны».

«Вы, высшие люди, — так моргает толпа, — не существует высших людей, мы все равны, человек есть человек, перед Богом — мы все равны!»

Перед Богом! — Но теперь умер этот Бог. Но перед толпою мы не хотим быть равны. Вы, высшие люди, уходите с базара!

### 2

Перед Богом! — Но теперь умер этот Бог! Вы, высшие люди, этот Бог был вашей величайшей опасностью.

С тех пор как лежит он в могиле, вы впервые воскресли. Только теперь наступает великий полдень, только теперь высший человек становится — господином!

Поняли ли вы это слово, о братья мои? Вы испугались: встревожилось сердце ваше? Не зияет ли здесь бездна для вас? Не лает ли здесь адский пес на вас?

Ну что ж! вперед! высшие люди! Только теперь гора человеческого будущего мечется в родовых муках. Бог умер: теперь хотим *мы*, чтобы жил сверхчеловек.

### 3

Самые заботливые вопрошают: «Как сохраниться человеку?» Заратустра же спрашивает, единственный и первый: «Как *превзойти* человека?»

К сверхчеловеку лежит сердце мое, *он* для меня первое и единственное, — а не человек: не ближний, не самый бедный, не самый страждущий, не самый лучший.



*Вы, высшие люди, этому научитесь у меня: на базаре не верит никто  
в высших людей*

О братья мои, если что я могу любить в человеке, так это только то, что он есть переход и гибель. И даже в вас есть многое, что пробуждает во мне любовь и надежду.

Ваша ненависть, о высшие люди, пробуждает во мне надежду. Ибо великие ненавистники суть великие почитатели.

Ваше отчаяние достойно великого уважения. Ибо вы не научились подчиняться, вы не научились маленькому благоразумию.

Ибо теперь маленькие люди стали господами: они все проповедуют покорность, скромность, благоразумие, старание, осторожность и нескончаемое «и так далее» маленьких добродетелей.

Все женское, все рабское, и особенно вся чернь: *это* хочет теперь стать господином всей человеческой судьбы — о отвращение! отвращение! отвращение!

*Они* неустанно спрашивают: «как лучше, дольше и приятнее сохраниться человеку?» И потому — они господа сегодняшнего дня.

Этих господ сегодняшнего дня превзойдите мне, о братья мои, — этих маленьких людей: *они* величайшая опасность для сверхчеловека!

Превзойдите мне, о высшие люди, маленькие добродетели, маленькое благоразумие, боязливую осторожность, кишенье муравьев, жалкое довольство, «счастье большинства»! —

И лучше уж отчаивайтесь, но не сдавайтесь. И поистине, я люблю вас за то, что вы сегодня не умеете жить, о высшие люди! Ибо так *вы* живете — лучше всего!

#### 4

Есть ли в вас мужество, о братья мои? Есть ли сердце в вас? *Не* мужество перед свидетелями, а мужество отшельника и орла, на которое уже не смотрит даже Бог?

У холодных душ, у мулов, у слепых и у пьяных нет того, что называю я мужеством. Лишь у того есть мужество, кто знает страх, но *побеждает* его, кто видит бездну, но с *гордостью* смотрит в нее.

Кто смотрит в бездну, но глазами орла, кто *хватает* бездну когтями орла — лишь в том есть мужество.

#### 5

«Человек зол» — так говорили мне в утешение все мудрецы. Ах, если бы это и сегодня было еще правдой! Ибо зло есть лучшая сила человека.

«Человек должен становиться все лучше и злее» — так учу я. Самое злое нужно для блага сверхчеловека.

Могло быть благом для проповедника маленьких людей, что страдал и нес он грехи людей. Но я радуюсь великому греху как великому *утешению* своему.

Но все это сказано не для длинных ушей. Не всякое слово годится ко всякому рылу. Это тонкие, дальние вещи: копыта овец не должны топтать их!



## 6

О высшие люди, не думаете ли вы, что я здесь для того, чтобы исправить то, что сделали вы дурного?

Или что хочу я отныне удобнее уложить вас спать, страдающих? Или указать вам, беспокойным, сбившимся с пути и потерявшимся в горах, новые, более удобные тропинки?

Нет! Нет! Трижды нет! Все больше все лучшие из рода вашего должны гибнуть, — ибо вам должно становиться все хуже и жестче. Ибо только этим путем —

— только этим путем вырастает человек до той высоты, где молния порождает и убивает его: достаточно высоко для молнии!

На немногое, на долгое, на дальнее направлена мысль моя и тоска моя — что мне до вашей маленькой, обыкновенной и короткой нищеты!

По-моему, вы еще недостаточно страдаете! Ибо вы страдаете собой, вы еще не страдали человеком. Вы солгали бы, если бы сказали иначе! Никто из вас не страдает тем, чем страдал я. —

## 7

Мне недостаточно, чтобы молния не вредила больше. Не отвращать хочу я ее: она должна научиться работать — для *меня*.

Моя мудрость собирается уже давно, подобно туче, она становится все спокойнее и темнее. Так бывает со всякою мудростью, которая должна некогда родить *молнии*. —

Для этих людей сегодняшнего дня не хочу я быть *светом*, ни называться им. Их — хочу я ослепить: молния мудрости моей! выжги им глаза!

## 8

Вы не должны ничего хотеть свыше сил своих: дурная лживость присуща тем, кто хочет свыше сил своих.

Особенно когда они хотят великих вещей! Ибо они возбуждают недоверие к великим вещам, эти ловкие фальшивомонетчики, эти комедианты —

— пока наконец они не изолгутся, косые, снаружи окрашенные, но внутри разъедаемые червями, прикрытые великими словами, показными добродетелями, блестящими поддельными делами.

Будьте тут особенно осторожны, о высшие люди! Ибо нет для меня сегодня ничего более драгоценного и более редкого, чем правдивость.

Не принадлежит ли это «сегодня» толпе? Но толпа не знает, что велико, что мало, что прямо и правдиво: она криводушна по невинности, она лжет всегда.

## 9

Будьте сегодня недоверчивы, о высшие люди, люди мужественные и чистосердечные! И держите в тайне основания ваши! Ибо это «сегодня» принадлежит толпе.

Чему толпа научилась верить без оснований, кто мог бы у нее это опровергнуть — основаниями?

На базаре убеждают жестами. Но основания делают толпу недоверчивой.

И если когда-нибудь истина достигала там торжества, то спрашивайте себя с недоверием: «Какое же могучее заблуждение боролось за нее?»

Остерегайтесь также ученых! Они ненавидят вас: ибо они бесплодны! У них холодные, иссохшие глаза, перед ними лежит всякая птица ощипанной.

Они кичатся тем, что они не лгут: но неспособность ко лжи далеко еще не есть любовь к истине. Остерегайтесь!

Отсутствие лихорадки далеко еще не есть познание. Застывшим умам не верю я. Кто не может лгать, не знает, что есть истина.

## 10

Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте *нести* себя, не садитесь на чужие плечи и головы!

Но ты сел на коня? Ты быстро мчишься теперь вверх к своей цели? Ну что ж, мой друг! Но твоя хромая нога также сидит на лошади вместе с тобою!

Когда ты будешь у цели своей, когда ты спрыгнешь с коня своего, — именно на *высоте* своей, о высший человек, — ты и споткнешься!

## 11

Вы, созидающие, вы, высшие люди! Бывает беременность только своим ребенком.

Не позволяйте вводить себя в заблуждение! Кто же ближний *ваш*? И если действуете вы «для ближнего», — вы создаете все-таки не для него!

Разучитесь же этому «для» вы, созидающие: ибо ваша добродетель требует, чтобы вы не имели никакого дела с этим «для», «ради» и «потому что». Заткните уши свои от этих поддельных, маленьких слов.

«Для ближнего» — это добродетель только маленьких людей: у них говорят: «один стоит другого» и «рука руку моет»; у них нет ни права, ни силы для *вашего* эгоизма!

В эгоизме вашем, вы, созидающие, есть осторожность и предусмотрительность беременной женщины! Чего никто еще не видел глазами, плод, — он охраняет, бережет и питает всю вашу любовь.

В ребенке вашем вся ваша любовь, в нем же и вся ваша добродетель! Ваше дело, ваша воля — «ближний» *ваш*; не позволяйте навязывать себе ложных ценностей!

## 12

Вы, созидающие, вы, высшие люди! Кто должен родить, тот болен; но кто родил, тот не чист.

Спросите у женщин: родят не потому, что это доставляет удовольствие. Боль заставляет кудахтать кур и поэтов.

Вы, созидающие, и в вас есть много нечистого. Это потому, что вы должны быть матерями.

Новорожденный: о, как много новой грязи появилось с ним на свет! Посторонитесь! И кто родил, должен омыть душу свою!

## 13

Не будьте добродетельны свыше сил своих! И не требуйте от себя ничего невероятного!

Ходите по стопам, по которым уже ходила добродетель отцов ваших! Как могли бы вы подняться высоко, если бы воля отцов ваших не поднималась с вами?

Но кто хочет быть первенцем, пусть смотрит, как бы не сделаться ему последышем! И где есть пороки отцов ваших, там не должны вы желать разыгрывать святых!

Что было бы, если бы потребовал от себя целомудрия тот, чьи отцы посещали женщин и любили крепкие вина и кабанов?

Это было бы безумием! Для него, поистине, будет уже много, если будет он мужем одной, двух или трех женщин.

И если бы основывал он монастыри и писал над дверью: «дорога к святому», — я все-таки сказал бы: к чему! ведь это новое безумие!

Он основал для себя самого смиренный дом и убежище, — на здоровье! Но я не верю этому.

В уединении растет то, что каждый вносит в него, даже внутренняя скотина. Поэтому отговариваю я многих от одиночества.

Существовало ли до сих пор на земле что-нибудь более грязное, чем пустынножители? Около *них* свалился с цепи не только дьявол, — но и свинья.

## 14

Оробевшими, пристыженными, неловкими, похожими на тигра, которому не удался прыжок его: такими, о высшие люди, видел я часто вас, когда крались вы стороною. *Игра в кости* не удалась вам.

Но что ж из этого, вы, играющие в кости! Вы не научились играть и смеяться, как нужно играть и смеяться! Не сидим ли мы всегда за большим столом насмешек и игр?

И если вам не удалось великое, значит ли это, что вы сами — не удались? И если не удались вы сами, не удался и — человек? Если же не удался человек — ну что ж!

## 15

Чем совершеннее вещь, тем реже она удается. О высшие люди, разве не все вы — не удались?

Будьте бодры, что из этого! Сколь многое еще возможно! Учитесь смеяться над собой, как надо смеяться!

Что ж удивительного, что вы не удались или что удались наполовину, вы, полуразбитые! Не бьется ли и не мечется ли в вас — *будущее* человека?

Все, что есть в человеке самого далекого, самого глубокого, звездоподобная высота его и огромная сила его, — все это не бродит ли в котле вашем?

Что ж удивительного, если иной котел разбивается! Учитесь смеяться над собой, как надо смеяться! О высшие люди, сколь многое еще возможно!

И, поистине, сколь многое удалось уже! Как богата эта земля маленькими, хорошими, совершенными вещами, вещами, вполне удавшимися!

Окружайте себя маленькими, хорошими, совершенными вещами, о высшие люди! Их золотая зрелость исцеляет сердце. Все совершенное учит надеяться.

## 16

Что было здесь на земле доселе самым тяжким грехом? Не были ли этим грехом слова того, кто говорил: «Горе здесь смеющимся!»

Разве не нашел он на земле никаких оснований для смеха? Значит, искал он плохо. Дитя находит здесь основания для смеха.

Он — недостаточно любил: иначе он полюбил бы и нас, смеющихся? Но он ненавидел и позорил нас, плач и скрежет зубовой предрекал он нам.

Надо ли тотчас проклинать, где не любишь? Это — кажется мне дурным вкусом. Но так делал он, этот безусловный. Он происходил из толпы.

И он сам недостаточно любил; иначе он меньше сердился бы, что не любят его. Всякая великая любовь *хочет* не любви: она хочет большего.

Сторонитесь всех этих безусловных! Это бедный, больной род, род толпы — они дурно смотрят на эту жизнь, у них дурной глаз на эту землю.

Сторонитесь всех этих безусловных! У них тяжелая поступь и тяжелые сердца — они не умеют плясать. Как могла бы для них земля быть легкой!

## 17

Кривым путем приближаются все хорошие вещи к цели своей. Они выгибаются, как кошки, они мурлычут от близкого счастья своего, — все хорошие вещи смеются.

Походка обнаруживает, идет ли кто уже по пути *своему*, — смотрите, как я иду! Но кто приближается к цели своей, тот танцует.

И, поистине, статуй не сделался я, еще не стою я неподвижным, тупым и окаменелым, как столб; я люблю быстрый бег.

И хотя есть на земле трясина и густая печаль, — но у кого легкие ноги, тот бежит поверх тины и танцует, как на расчищенном льду.

Возносите сердца ваши, братья мои, выше, все выше! И не забывайте также и ног! Возносите также и ноги ваши, вы, хорошие танцоры, а еще лучше — стойте на голове!



## 18

Этот венец смеющегося, этот венец из роз, — я сам возложил на себя этот венец, я сам признал священным свой смех. Никого другого не нашел я теперь достаточно сильным для этого.

Заратустра танцор, Заратустра легкий, машущий крыльями, готовый лететь, манящий всех птиц, готовый и проворный, блаженно-легко-готовый —

Заратустра вещей словом, Заратустра вещей смехом, не нетерпеливый, не безусловный, любящий прыжки и вперед, и в сторону; я сам возложил на себя этот венец!

## 19

Возносите сердца ваши, братья мои, выше! все выше! И не забывайте также и ног! Поднимайте также и ноги ваши, вы, хорошие танцоры, а еще лучше — стойте на голове!

Существуют и в счастье тяжеловесные звери, есть неуклюжие от рождения. Они делают смешные усилия, как слон, старающийся стоять на голове.

Но лучше быть дурашливым от счастья, чем дурашливым от несчастья, лучше неуклюже танцевать, чем ходить, хромая. Учитесь же у мудрости моей: даже у худшей вещи есть две хорошие изнанки, —

— даже у худшей вещи есть хорошие ноги для танцев: так учитесь же вы сами, о высшие люди, становиться на настоящие ноги свои!

Разучитесь же скорби и всякой печали толпы! О, какими печальными кажутся мне сегодня народные шуты. Но это «сегодня» принадлежит толпе.

## 20

Подражайте ветру, когда вырывается он из своих горных ущелий: под звуки собственной свирели хочет он танцевать, моря дрожат и прыгают под стопами его.

Хвала доброму неукротимому духу, который дает крылья ослам, который доит львиц, который приходит, как ураган, для всякого «сегодня» и для всякой толпы:

— который есть враг всем чертополошным и взбалмошным головам, всем увядшим листьям и сорным травам; хвала этому духу бурь, дикому, доброму и свободному, который танцует по болотам и по печали, как по лугам!

Который ненавидит чахлах псов из толпы и всякое неудачное мрачное отродье; хвала этому духу всех свободных умов, смеющейся буре, которая засыпает глаза пылью всем, кто видит лишь черное и сам покрыт язвами!

О высшие люди, ваше худшее в том, что все вы не научились танцевать, как нужно танцевать, — танцевать поверх самих себя! Что из того, что вы не удались!

Сколь многое еще возможно! Так научитесь же смеяться поверх самих себя! Возносите сердца ваши, вы, хорошие танцоры, выше, все выше! И не забывайте также и доброго смеха!

Этот венец смеющегося, этот венец из роз, — вам, братья мои, кидаю я этот венец! Смех признал я священным; о высшие люди, научитесь же у меня — смеяться!

## Песнь тоски

## 1

Когда Заратустра говорил эти речи, стоял он близко ко входу в пещеру свою; но с последними словами незаметно ускользнул он от гостей и выбежал на короткое время на чистый воздух.

«О чистый запах, — воскликнул он, — о блаженная тишина, меня окружающие! Но где звери мои? Сюда, сюда, орел мой и змея моя!

Скажите мне, звери мои: эти высшие люди все вместе — быть может, они пахнут не хорошо? О чистый запах, окружающий меня! Теперь только знаю и чувствую я, как я люблю вас, звери мои».

— И Заратустра повторил еще раз: «Я люблю вас, звери мои!» Орел же и змея приблизились к нему, когда он произнес эти слова, и подняли на него взоры свои. Так стояли они тихо вдвоем и вдыхали и втягивали в себя чистый воздух. Ибо воздух здесь, снаружи, был лучше, чем у высших людей.

## 2

Но едва покинул Заратустра пещеру свою, как поднялся старый чародей, лукаво оглянувшись и сказал: «Он вышел!

И вот уже, о высшие люди, — позвольте и мне, подобно ему, пощекотать вас этим льстивым именем — и вот уже овладевает мною мой злой дух, обманщик и чародей, мой демон тоски,

— который до глубины души противник этого Заратустры, — простите это ему! Теперь *хочет* он показать вам свои чары, ибо настал час *его*: тщетно борюсь я с этим злым духом.

Всем вам, какое бы почитание ни воздавали вы себе на словах, будете ли вы называть себя «свободомыслящими», или «правдивыми», или «кающимися духом», или «освобожденными от оков», или «алчущими и жаждущими»,

— всем вам, страдающим подобно мне *великим отвращением*, для которых умер старый Бог, а новый Бог даже не лежит еще спеленутым в колыбели, — всем вам мил мой дух и демон-чародей.

Я знаю вас, о высшие люди, я знаю его, — я знаю также этого демона, которого люблю против воли, этого Заратустру: он сам часто кажется мне похожим на прекрасную маску святого,

— похожим на новый удивительный маскарад, в котором находит удовольствие мой злой дух, мой демон тоски, — я люблю Заратустру, часто кажется мне, ради моего злого духа. —

Но *он* уже овладевает мною и угнетает меня, этот дух тоски, этот демон вечерних сумерек; и, поистине, о высшие люди, ему хочется —

— шире раскройте глаза! — ему хочется прийти *нагим*, мужчиной или женщиной, еще не знаю я; но он идет, он гнетет меня, горе! шире раскройте чувства ваши!

День отзвучал, для всех вещей наступает теперь вечер, даже для лучших вещей; слушайте теперь и смотрите, о высшие люди, каков этот демон, мужчина ли, женщина ли, этот дух вечерней тоски!»

Так говорил старый чародей, лукаво оглянувшись и схватил свою арфу.



*Так стояли они тихо вдвоем и вдыхали и вытягивали в себя чистый воздух*

## 3

Когда яснее воздух и на землю,  
Как утешение, роса нисходит  
Стопой невидимой, неслышанной и нежной,  
Как все несущее успокоенья сладость, —  
Ты вспоминаешь ли, горячая душа, —  
Какою жаждою томилась ты когда-то  
По ниспадающим с небес слезам-росинкам,  
Усталая в изнеможенье жалком,  
Под злыми взглядами спускавшегося солнца,  
Спешившего тропинкой пожелтевшей  
Злоратно ослеплявшими лучами  
Между дерев, черневших вокруг меня.  
Ты *истины* жених? так тешились они.  
Нет, ты поэт, и только.  
Ты хищный, лживый, ползающий зверь,  
Который должен лгать,  
Под маской хитрой жертву карауля,  
Сам маска для себя  
И сам себе добыча.  
И *это* истины жених? О нет!  
Лишь скоморох, поэт, и только!  
Хитро болтающий под маскою затейной,  
Ты, рыскающий вокруг, карабкаясь, всползаешь —  
По ложным из нагроможденных слов мостам,  
По лживым радугам среди небес обманных.  
*Лишь* скоморох, поэт, *и только!*

И это — истины жених? О нет!  
Ты не стоишь холодный, неподвижный,  
Как образ божества, спокойный,  
Как изваяние его пред храмом,  
Как врат Господних страж...  
Ты добродетельной устойчивости враг,  
Не в храмах дома ты, а в дикой чаще,  
Ты полн упрямого, кошачьего стремленья,  
Рад выпрыгнуть в окно под всякий случай  
И лесу девственному рад кричать приветно,  
Что в чаще непролазной ты носился.  
Средь пестрых хищников в косматых шкурах,  
Греховной красоты здоровья полный, —  
Что, сладострастно ноздри раздувая,



Насмешливый в блаженстве кровожадном,  
Ты хищничал и крался полный лжи.

Порой орлу подобно с высоты,  
Уставив в глубину недвижный взгляд,  
В *свое* владенье, в пропасть смотришь долго,  
Как, вглубь стремясь, она все ниже, вниз  
Змеится кольцами, спускаясь внутрь —

И вдруг

Затем

В падении отвесном

Полет, как меч, направив,

В *ягнят* ударил ты,

Стремительно бросаясь с хищным жаром

Терзать ягнят

Со злобой против всех овечьих душ

И яростно кипя на всё, что смотрит

Овцеподобно, ягнеоко и курчаво,

С приветной тупостью ягнят молочных.

Вот так

Пантеры свойств, орлиных качеств

Исполнены поэта ощущения,

Они твои под тысячью личин.

*Твои*, поэт и скоморох!

Ведь это ты, признавший в человеке

Так безразлично Бога и овцу,

И божество *терзя* в человеке,

В нем также и овцу терзаешь ты,

Терзаешь, *радуясь*.

Твое блаженство *в этом*,

Блаженство злой пантеры и орла,

Блаженство скомороха и поэта.

Когда яснее воздух и луна

Серпом зеленоватым между тучек,

Среди полос пурпурных вдруг мелькнувши,

Прокрадется, завистливо, как враг,

Дневного света враг, —

Она все ближе, ближе подступает,

Подрезывая тайно, постепенно

Ковры из роз, гирляндами висящих,

Пока цветы с головкой побледневшей

Не опрокинутся в ночную тьму.  
Так я упал когда-то с высоты,  
Где в сновиденьях правды я носился —  
Весь полный ощущений дня и света,  
Упал я навзничь в тьму вечерней тени,  
Испепеленный правдою одною  
И жаждущий единой этой правды. —  
Ты помнишь ли еще, горячая душа,  
Как мы тогда томились этой жаждой,  
Томились тем, *что ты в изгнание вечном*  
*От всякой правды далеко,*  
*Лишь скоморох, поэт, и только.*

### О науке

Так пел чародей; и все собравшиеся попали, как птицы, незаметно в сети его хитрого, тоскливого сладострастия. Только совестливый духом не был пойман им: он быстро выхватил арфу из рук чародея и воскликнул: «Воздуху! Впустите чистого воздуха! Впустите Заратустру! Ты делаешь воздух этой пещеры удушливым и ядовитым, ты, старый, злой чародей!

Аживый и утонченный, ты соблазняешь к неведомым страстям и к неведомым пустыням. И горе, если такие, как ты, говорят об *истине* и придают значение ей!

Горе всем свободным умам, которые не остерегаются *таких* чародеев! Они должны проститься со свободой своей: ты учишь возвращению в тюрьмы и манишь назад, в темницы, —

— ты старый, мрачный демон, в жалобе твоей слышится манящая свирель, ты похож на тех, кто своей похвалой целомудрию призывает тайно к разврату!»

Так говорил совестливый; старый же чародей оглядывался вокруг, наслаждаясь победой своей, и оттого проглотил досаду, причиненную ему совестливым. «Помолчи! — сказал он скромным голосом. — Хорошие песни должны хорошо отзываться в сердцах: после хороших песен надо долго хранить молчание.

Так поступают все эти высшие люди. Но ты, должно быть, мало понял из песни моей? В тебе очень мало от духа чародея».

«Ты хвалишь меня, — возразил совестливый, — отделяя меня от себя; ну что ж! Но вы, остальные, что вижу я? Вы все сидите еще с похотливыми глазами —

о свободные души, куда девалась свобода ваша! Вы кажетесь мне похожими на тех, кто долго смотрел на развратных женщин, нагих и танцующих: ваши души сами начали танцевать!

В вас, о высшие люди, еще много есть из того, что чародей называет своим злым духом обмана и чар, — мы, конечно, должны быть различны.

И, поистине, мы достаточно говорили и думали вместе, прежде чем Заратустра вернулся в пещеру свою, достаточно, чтобы знать, что мы различны.

И мы *ищем* различного даже здесь, наверху, вы и я. Ибо я ищу побольше устойчивости, потому и пришел я к Заратустре. Ибо он самая крепкая башня и воля —



*В вас, о высшие люди, еще много есть из того, что чародей называет своим злым духом обмана и чар...*

— теперь, когда все колеблется, когда вся земля дрожит. Но когда я вижу глаза ваши, какие вот сейчас у вас, я скорее поверил бы, что вы ищете *побольше неустойчивости*,

— побольше трепета, побольше опасности, побольше землетрясения. Вы хотите, так кажется мне, простите предположение мое, о высшие люди, —

— вы хотите самой трудной, самой опасной жизни, внушающей мне наибольший страх, жизни диких зверей, хотите лесов, пещер, горных стремнин и непроходимых ущелий.

И не те, что выводят вас из опасности, нравятся вам больше всего, а те, что отвращают вас в сторону от всех дорог, совратители. Но если такое желание *истинно* в вас, все-таки оно кажется мне *невозможным*.

Ибо страх — наследственное, основное чувство человека; страхом объясняется все, наследственный грех и наследственная добродетель. Из страха выросла и моя добродетель, она называется: наука.

Ибо страх перед дикими животными — этот страх дольше всего воспитывается в человеке, включая и страх перед тем животным, которого человек прячет и страшится в себе самом. — Заратустра называет его «внутренней скотиной».

Этот долгий, старый страх, ставший наконец тонким и одухотворенным, — нынче, сдается мне, называется: наука».

Так говорил совестливый; но Заратустра, который только что вернулся в пещеру свою и слышал последние слова и угадал смысл их, кинул совестливому горсть роз и смеялся над «истинами» его.

«Как! — воскликнул он. — Что слышал я только что? Поистине, кажется мне, что или ты глупец, или я сам, — и твою «истину» мигом поставлю я вверх ногами.

Ибо *страх* — исключение для нас. Но мужество, дух приключений, любовь к неизвестному, к тому, на что никто еще не отважился, — *мужеством* кажется мне вся предшествующая история человека.

Самым диким, самым мужественным животным позавидовал он и отнял у них все добродетели их: только этим путем стал он — человеком.

Это мужество, ставшее наконец духовничьим, духовным, это мужество человеческое, с орлиными крыльями и змеиною мудростью: *это* мужество, сдается мне, называется теперь...»

«Заратустрой!» — крикнули в один голос все собравшиеся и громко рассмеялись; но от них поднялось как бы тяжелое облако. Чародей также засмеялся и сказал с лукавым видом: «Ну что ж! Он ушел, мой злой дух!

И разве я сам не предостерегал вас от него, когда говорил, что он обманщик, дух лжи и обмана?

Особенно когда он показывается нагим. Но разве я ответствен за козни его! Разве я создал его и мир?

Ну что ж! Будем опять добрыми и веселыми! И хотя Заратустра смотрит уже сердито — взгляните же на него! Он сердится на меня, —

— но прежде чем наступит ночь, научится он снова меня любить и хвалить, он не может долго жить, не делая этих глупостей.

Он — любит врагов своих; это искусство понимает он лучше всех, кого только я видел. Но за это он мстит — друзьям своим!»



Так говорил старый чародей, и высшие люди согласились с ним; так что Заратустра стал обходить друзей своих, пожимая им руки со злобой и любовью, — как тот, кому у каждого нужно испросить прощенья в чем-то и что-нибудь загладить. Но когда подошел он к вратам пещеры своей, ему опять захотелось на чистый воздух и к зверям своим — и он уже собрался ускользнуть к ним.

## Среди дочерей пустыни

### 1

«Не уходи! — сказал тут странник, называвший себя тенью Заратустры. — Останься с нами, — иначе прежняя, удушливая тоска опять овладеет нами.

Уже лучшим образом угостил нас этот старый чародей всем худшим, что было у него, и смотри, добрый благочестивый папа сидит уже со слезами на глазах и готов плавать по морю тоски.

Эти короли, кажется мне, еще делают перед нами хорошую мину: ибо этому научились *они* у всех нас сегодня лучше всего! Но не будь свидетелей, держу пари, и у них опять началась бы скверная игра, —

— скверная игра ползущих облаков, влажной тоски, заволоченного неба, украденных солнц, завывающих осенних ветров, —

— скверная игра нашего плача и крика о помощи — останься у нас, Заратустра! Здесь много скрытой нищеты, которая хочет говорить, много сумрака, много туч, много удушливого воздуха!

Ты напитал нас крепкой пищею мужей и подкрепляющими изречениями — не допускай же, чтобы нами, на десерт, опять овладели изнеженные женские духи!

Ты один делаешь окружающий тебя воздух крепким и чистым! Находил ли я когда-нибудь на земле такой чистый воздух, как у тебя в пещере твоей?

И однако, много стран видел я, нос мой научился различать и оценивать разный воздух, — но только у тебя испытывают ноздри мои величайшую радость!

Кроме, — кроме, — о, прости мне одно старое воспоминание! Прости мне одну старую застольную песнь, которую я некогда сложил среди дочерей пустыни.

Ибо и у них был такой же хороший, чистый воздух Востока; там был я всего дальше от старой Европы, покрытой тучами, сырой и тоскливой!

Тогда любил я этих девушек Востока и другие царства с лазоревыми небесами, над которыми не висели ни облака, ни мысли.

Вы не поверите, как чинно сидели они, когда не танцевали, глубокие, но без мыслей, как маленькие тайны, как украшенные лентами загадки, как десертные орехи, —

пестрые и чуждые, поистине! но без туч: загадки, которые легко разгадывались, — в честь этих девушек сочинил я тогда свой застольный псалом».

Так говорил странник, называвший себя тенью Заратустры, и, прежде чем кто-либо успел ответить ему, он уже схватил арфу старого чародея и, скрестив ноги, оглянулся вокруг, спокойный и мудрый; затем он медленно, испытующе потянул воздух ноздрями, как тот, кто в новых странах пробует новый чужой воздух. Потом он запел с каким-то завываньем.

## 2

Пустыня ширится сама собою: горе  
тому, кто сам в себе свою пустыню носит.

— Ха! Торжественно!

Достойное начало!

Торжественно, по-африкански, да!

Достойно даже льва

Иль обезьяны — ревуна морали;

Но ведь совсем ничто для вас,

Прелестные мои подруги.

А между тем сидеть у ваших ног

Мне, европейцу, у подножья пальм

На долю счастье выпало. Села.

Да, это удивительно: сижу я

Почти в самой пустыне, и, однако,

По-прежнему далекий от нее

И опустыненный в Ничто.

Сказать яснее: проглотил меня

Оазис маленький,

Который, вдруг зевнув,

Мне ротик свой открыл навстречу,

И в эти тонко пахнущие губки

Попал я вдруг и там пропал,

Ворвался, проскочил, и вот я среди вас,

Подруги мои милые. Села.

Да слава, слава оному киту,

Коль так же хорошо в нем было гостю!

Ведь ясен вам, не правда ли, вполне

Намек ученый мой?

Да здравствует вовек китово чрево,

Когда оно таким же милым было

Оазисом-брюшком, как мой приют;

Но это мне сомнительно, конечно,

Ведь прибыл к вам я из Европы,

Что недоверчивей всех старых женок в мире.

Пусть сам Господь исправит то!

Аминь.

Переслащенный, словно финик смуглый,

И вождений золотистых полн, как он,

Я с вами здесь в оазисе-малютке, —

Как он, томлюсь по девичьей мордашке,

По зубкам-грызунам, по белоснежным,

Как девушки, и острым и холодным;  
По ним-то именно сердца тоскуют  
Всех распаленных фиников. Села.

Как этот южный плод, и сам  
Похожий на него сверх меры,  
Лежу я здесь, летучим роем  
Жучков крылатых окруженный,  
И вокруг меня в игривой пляске рея,  
Мелькают также крохотные ваши,  
Язвительно затейливые ваши  
Причуды и желаньица...  
Вы, окружившие меня облавой молчаливой,  
Чего-то чающие и немые,  
Вы кошки-девушки,  
Зулейка и Дуду.

*Осфинксовали* вы меня кругом  
(Чтоб много чувств вместить в *едино* слово —  
Грех против языка прости мне, Боже), —  
И я сижу, вдыхая здесь —  
Чистейший воздух, райский воздух, право,  
Прозрачно легкий в золотых полосках.  
Нет, никогда еще с луны на землю  
Не ниспадал такой хороший воздух,  
Ни по случайности, ни по капризу,  
О чем нам пели древние поэты.  
Но это мне сомнительно, конечно,  
Ведь прибыл к вам я из Европы,  
Что недоверчивей всех старых женок в мире,  
Пусть сам Господь исправит то!  
Аминь.

Чистейший этот воздух поглощая  
Ноздрями-кубками, раскрытыми широко,  
Без будущего, без воспоминаний,  
Сижу я здесь, прелестные подруги,  
И все смотрю, смотрю на эту пальму,  
Которая, подобно танцовщице,  
Так изгибается и ластится, качаясь...  
Что, заглядевшись, станешь делать то же  
Подобно танцовщице, долго-долго,  
Опасно долго, на *одной* лишь ножке  
Она стояла до того, что, право, будто  
О той другой и вовсе позабыла.

По крайней мере, тщетно я старался  
Сокрывшуюся прелесть разглядеть,  
Обоих близнецов единства прелесть, —  
Конечно, именно вторую ножку,  
В священной близости изящных и воздушных  
Блестящей юбочки порхающих зубцов.  
И если мне, прекрасные подруги,  
Готовы верить вы охотно — прелесть эту  
Она утратила.  
Уж нет ее! Утраченная ножка  
Навек потеряна, как жалко милой ножки!  
Где, одинокая, она грустит в разлуке,  
Покинутая, где она тоскует?  
Быть может, в ужасе пред белокурым  
Чудовищем со львиной гривой или,  
Быть может, уж обглодана до кости  
Она, увы, изъедена! Села.

О, да не плачьте же, не смейте плакать  
Вы, нежные сердца!  
В беломолочной груди, словно финик,  
Сердечко ваше, кошелек-мешочек  
Со сладким корешком.  
Зулейка, будь мужчиною, довольно!  
Бодрей, бодрее, бледная Дуду,  
Не плачь же больше! —  
— Иль, может быть,  
Уместней здесь иное средство, сердце,  
Способное легко унять — скрепить?  
Как назидательное изречение, к слову —  
Или воззвания торжественный призыв?

Да, да, зову тебя,  
Достоинство, на сцену,  
Честь европейца!  
Ты добродетелью надутый мех,  
Шипи, свисти и дуй еще,  
Ха!  
Еще раз проревь  
Морали ревом,  
Рыкая львом пред дочерьми пустыни,  
Морали львом!  
Ведь, милые мои!..  
Вой добродетели в Европе заглушает  
Весь жар души, всю страстность европейца



И европейца волчий аппетит.  
И вот я перед вами, европеец,  
И не могу, о Господи, иначе.  
Да будет так!  
Аминь.

*Пустыня ширится сама собою: горе  
тому, кто сам в себе свою пустыню носит!*

## Пробуждение

### 1

После песни странника и тени пещера наполнилась вдруг шумом и смехом; и так как собравшиеся гости говорили все сразу и даже осел, при подобном поощрении, не остался безмолвен, то Заратустрой овладело некоторое отвращение и насмешливое чувство к посетителям своим, — хотя его и тешила радость их. Ибо она казалась ему признаком выздоровления. Он незаметно вышел из пещеры на чистый воздух и стал говорить со зверями своими.

«Куда же девалось теперь несчастье их? — спросил он и уже сам вздохнул с облегчением от своей маленькой досады. — У меня разучились они, как мне кажется, кричать о помощи!

— хотя, к сожалению, не разучились еще вообще кричать». И Заратустра заткнул уши себе, ибо в тот момент ослиное И-А удивительно смешивалось с шумом веселья этих высших людей.

«Они веселы, — продолжал он, — и кто знает? быть может, на счет хозяина их; и если научились они у меня смеяться, то не *моему* смеху научились они.

Ну что ж! Они старые люди: они выздоравливают по-своему, они смеются по-своему; мои уши выносили еще худшее и не увядали.

Этот день — победа: он удаляется уже, он бежит, *дух тяжести*, мой старый заклятый враг! Как хорошо хочет кончиться этот день, так дурно и тяжело начавшийся.

И кончиться *хочет* он! Уже настает вечер: по морю скачет он, добрый всадник! Как он качается на своих пурпурных седлах, он, блаженный, возвращающийся домой!

Небо ясное смотрит, мир покоится глубоко: о все вы, странные люди, пришедшие ко мне, право, стоит жить у меня!»

Так говорил Заратустра. И снова крик и смех высших людей слышался из пещеры. И Заратустра продолжал:

«Они идут на улочку, приманка моя действует, и от них отступает враг их, дух тяжести. Уже учатся они смеяться сами над собой — так ли слышу я?

Моя пища мужей действует, мои изречения сочные и сильные — и, поистине, я не кормил их овощами, от которых пучит живот! Но пищею воинов, пищею завоевателей новые вожделения пробудил я в них.

Новые надежды забились в руках и ногах их, сердце их потягивается. Они находят новые слова, скоро дух их будет дышать дерзновением.

Такая пища, конечно, не для детей и не для томных женщин, молодых и старых. Нужны иные средства, чтобы убедить их нутро; я не врач и не учитель их.

*Отвращение* отступает от этих высших людей: ну что ж! Это — моя победа. В царстве моем они чувствуют себя в безопасности, всякий глупый стыд бежит их, они открываются.

Они открывают сердца свои, хорошее время возвращается к ним, они празднуют и пережевывают, — они становятся *благодарными*.

*Это* считаю я за лучший признак: они становятся благодарными. Еще немного, и они начнут придумывать себе праздники и поставят памятники своим старым радостям.

Они — *выздоровливающие!*» Так говорил Заратустра радостно в сердце своем и глядел вдаль; звери же его теснились к нему и чтили счастье его и молчание его.

## 2

Но внезапно испуган был слух Заратустры: ибо в пещере, дотоле полной шума и смеха, сразу водворилась мертвая тишина; нос же его ощутил благоухающий дым ладана, как будто горели кедровые шишки.

«Что тут происходит? Что делают они?» — спрашивал он себя и подкрался ко входу, чтобы незаметно смотреть на гостей своих. О чудо из чудес! что пришлось ему там увидеть своими собственными глазами!

«Все они опять стали *набожны*, они *молятся*, они *безумцы!*» — говорил он и дивился чрезмерно. И действительно! все эти высшие люди, два короля, папа в отставке, злой чародей, добровольный нищий, странник и тень, старый прорицатель, совестливый духом и самый безобразный человек, — все они, как дети или старые бабы, стояли на коленях и молились ослу. И вот начал самый безобразный человек пыхтеть и клокотать, как будто что-то неизрекаемое собиралось выйти из него; но когда он в самом деле добрался до слов, неожиданно оказались они благоговейным, странным молебном в прославление осла, которому молились и кадили. И этот молебен так звучал:

Аминь! Слава, честь, премудрость, благодарение, хвала и сила Богу нашему, во веки веков!

— Осел же кричал на это И-А.

Он несет тяготу нашу, он принял образ раба, он кроток сердцем и никогда не говорит нет; и кто любит своего Бога, тот бичует его.

— Осел же кричал на это И-А.

Он не говорит; только миру, им созданному, он вечно говорит Да: так прославляет он мир свой. Его хитрость не позволяет ему говорить; поэтому бывает он редко не прав.

— Осел же кричал на это И-А.

Незаметным проходит он через мир. В серый цвет тела своего закутывает он добродетель свою. Если есть в нем дух, то он скрывает его; но всякий верит в длинные уши его.

— Осел же кричал на это И-А.

Какая скрытая мудрость в том, что он носит длинные уши и говорит всегда Да и никогда Нет! Разве не создал он мир по образу своему, т. е. глупым насколько возможно?



*Все они опять стали набожны, они молятся, они безумцы!*

— Осел же кричал на это И-А.

Ты идешь прямыми и кривыми путями, и беспокоит тебя мало, что нам, людям, кажется прямым или кривым. По ту сторону добра и зла царство твое. Невинность твоя в том, чтобы не знать, что такое невинность.

— Осел же кричал на это И-А.

И вот ты не отталкиваешь от себя никого, ни нищих, ни королей. Детей допускаешь ты к себе, и, если злые мальчишки соблазняют тебя, ты говоришь просто И-А.

— Осел же кричал на это И-А.

Ты любишь ослиц и свежие смоквы, ты неразборчив на пищу. Чертополох радует сердце твое, когда ты голоден. В этом премудрость Бога.

— Осел же кричал на это И-А.

## Праздник осла

### 1

Но на этом месте молебна не мог Заратустра больше сдерживать себя, сам закричал И-А еще громче, чем осел, и бросился в середину своих обезумевших гостей. «Что делаете вы здесь, вы, человеческие дети? — воскликнул он, поднимая молящихся с земли. — Горе, если бы вас увидел кто-нибудь другой, а не Заратустра:

всякий подумал бы, что вы с вашей новой верою стали худшими из богохульников или самыми неразумными из всех старых баб!

И ты сам, ты, старый папа, как миришься ты с самим собою, что в таком образе молишься ослу здесь, как Богу?» —

«О Заратустра, — отвечал папа, — прости мне, но в вопросах Бога я просвещеннее тебя! Так лучше.

Лучше молиться Богу в этом образе, чем без всякого образа. Поразмысли об этом изречении, мой высокий друг — и ты скоро убедишься, что в этом изречении скрывается мудрость.

Тот, кто говорил «Бог есть дух», — тот делал до сих пор на земле величайший шаг к безверию: такие слова на земле не легко исправлять!

Мое старое сердце бьется и трепещет от того, что еще есть на земле чему молиться. Прости это, о Заратустра, старому благочестивому сердцу папы!» —

— «И ты, — сказал Заратустра страннику и тени, — ты называешь и мнишь себя свободным духом? И совершаешь здесь подобные идолослужения и обманы?

Худшим, поистине, занимаешься ты здесь делом, чем у своих скверных, смуглых девушек, ты, новый верующий и хитрец!»

«Довольно скверно, — отвечал странник и тень, — ты прав; но что же делать! Старый Бог еще жив, о Заратустра, что бы ты ни говорил.

Самый безобразный человек виноват во всем: он опять воскресил его. И хотя он говорит, что он его некогда убил, — *смерть* у богов всегда есть только предрассудок».

— «И ты, — сказал Заратустра, — ты, злой старый чародей, что наделал ты! Кто же в этот свободный век будет впредь тебе верить, если *ты* веришь в подобных богов-ослов?

То, что ты делал, было глупостью; как мог ты, хитрый, делать такую глупость!»



«О Заратустра, — отвечал хитрый чародей, — ты прав, это была глупость, — она достаточно дорого обошлась мне».

— «И даже ты, — сказал Заратустра совестливому духом, — подумай же и приложи палец к своему носу! Разве здесь нет ничего противного твоей совести? Не слышишь ли чист дух твой для этих молений и для фимиама этих святош?»

«Есть нечто, — отвечал совестливый духом и приложил палец к носу, — есть нечто в этом зрелище, что даже приятно моей совести.

Быть может, я не имею права верить в Бога; но несомненно, что Бог в этом образе кажется мне еще наиболее достойным веры.

Бог должен быть вечным, по свидетельству самых благочестивых: у кого так много времени, тот не спешит. Так долго и так глупо, как только возможно; *с этим* можно, однако, идти очень далеко.

И у кого слишком много духа, тот может сам заразиться глупостью и безумством. Подумай о себе самом, о Заратустра!

Ты сам — поистине — даже ты мог бы от избытка мудрости сделаться ослом.

Не идет ли и совершенный мудрец охотно по самым кривым путям? Как доказывает очевидность, о Заратустра, — *твоя* очевидность!»

— «И ты сам наконец, — сказал Заратустра и обратился к самому безобразному человеку, все еще лежавшему на земле и протягивавшему руку к ослу (ибо он поил его вином). — Скажи, ты, неизреченный, что ты сделал!

Ты кажешься мне преображенным, твой взор горит, плащ возвышенного облакает безобразие твое, — *что* делал ты?

Правду ли говорят они, что ты опять воскресил его? И к чему? Разве он не был с полным основанием убит?

Ты сам кажешься мне воскрешенным — что делал ты? Что ниспровергал *ты*? В чем убеждал *ты* себя? Говори, ты, неизреченный!»

«О Заратустра, — отвечал самый безобразный человек, — ты — плут!

Жив ли *он* еще, или воскрес, или окончательно умер, — кто из нас двоих знает это лучше? Я спрашиваю тебя.

Одно только знаю я — от тебя самого однажды научился я этому, о Заратустра: кто хочет окончательно убить, тот *смеется*.

«Убивают не гневом, а смехом» — так говорил ты однажды. О Заратустра, ты, скрывающийся, ты, разрушитель без гнева, ты, опасный святой, ты — плут!»

## 2

Но тут случилось, что Заратустра, удивленный этими плутовскими ответами, бросился ко входу в пещеру свою и, обращаясь ко всем своим гостям, крикнул громким голосом:

«О, все вы хитрые проныры и скоморохи! Что притворяетесь и скрываетесь вы предо мной!

Как трепетало сердце каждого из нас от радости и злобы, что вы наконец опять стали, как дети, благочестивы, —

— что вы наконец опять поступали, как поступают дети, именно молились, складывали крестом руки и говорили «Боже милостивый!»

Но теперь предоставьте мне *эту* детскую комнату, мою собственную пещеру, где сегодня было столько ребячества. Остудите на воздухе ваш горячий детский задор и биение ваших сердец!

Конечно: если не будете вы как дети, то не войдете вы в *это* Небесное Царство». (И Заратустра показал рукою наверх.)

«Но мы и не хотим вовсе войти в Небесное Царство: мужами стали мы — *и потому хотим мы царства земного*».

И еще раз начал говорить Заратустра: «О мои новые друзья, — говорил он, — вы, странные, вы, высшие люди, как нравитесь вы мне теперь, —

— с тех пор как стали вы опять веселыми! Поистине, вы все расцвели: мне кажется, что таким цветам, как вы, нужны *новые праздники*,

— какая-нибудь маленькая смелая чепуха, какое-нибудь богослужение и праздник осла, какой-нибудь старый веселый дурень — Заратустра, вихрь, который дыханием своим надувает вам души.

Не забывайте этой ночи и этого праздника осла, вы, высшие люди! *Это* изобрели вы у меня, *это* принимаю я, как доброе знамение, — нечто подобное изобретают только выздоравливающие!

И если будете вы вновь праздновать этот праздник осла, делайте это из любви к себе, делайте также из любви ко мне: и в *мое* воспоминанье!»

Так говорил Заратустра.

## Песнь опьянения

### 1

Но тем временем они вышли один за другим на чистый воздух, в прохладную задумчивую ночь; Заратустра же вел за руку самого безобразного человека, чтобы показать ему свой ночной мир, большую круглую луну и серебряные водопады у пещеры своей. И вот наконец они стояли безмолвно все вместе; это были старые люди, но сердца их утешились, исполнились решимости, и дивились они про себя, что им так хорошо было на земле; а тайна ночи все глубже проникала в сердца их. И снова думал Заратустра про себя: «О, как нравятся мне теперь эти высшие люди!», но он не сказал этого, ибо чтит счастье их и молчание их. —

И тогда случилось то, что было самого изумительного в тот долгий изумительный день: самый безобразный человек во второй, и последний, раз принялся пыхтеть и клокотать, но когда он добрался до слов, то из уст его вдруг отчетливо и чисто вылетел вопрос — хороший, глубокий, ясно поставленный вопрос, от которого у всех слышавших его шевельнулось сердце в груди.

«Вы все, друзья мои, что теперь у вас на сердце? — спросил самый безобразный человек. — Ради этого дня — *я* впервые доволен, что жил всю свою жизнь.

И засвидетельствовать столь многое — это для меня еще недостаточно. Стоит жить на земле: *один* день, *один* праздник, проведенный с Заратустрой, научил меня любить землю.

«Так *это* была жизнь? — скажу я смерти. — Ну что ж! Еще раз!»

Друзья мои, что теперь у вас на сердце? Не скажете ли вы смерти, подобно мне: так *это* была — жизнь? Ну что ж, ради Заратустры — еще раз!» —

Так говорил самый безобразный человек; но было уже близко к полуночи. И как вы думаете, что случилось тогда? Как только высшие люди услышали его вопрос, они вдруг сознали превращение свое и выздоровление свое и кому обязаны они всем этим, — тогда они бросились к Заратустре, исполненные признательности, уважения и любви, целуя ему руки, и, смотря по настроению каждого, одни смеялись, другие плакали. Старый же прорицатель плясал от удовольствия; и если, как думают многие повествователи, он был тогда пьян от сладкого вина, то, несомненно, он был еще более пьян от сладости жизни; и он отрекся от всякой усталости. Некоторые даже рассказывают, что тогда плясал и осел: ибо не напрасно самый безобразный человек напоил его вином. Это было так, может быть, и иначе; и если действительно осел не плясал в тот вечер, все-таки случилось тогда еще более великие и диковинные вещи, чем танец осла. Одним словом, как гласит поговорка Заратустры: «ну так что же!»

## 2

Заратустра же, пока это происходило с самым безобразным человеком, стоял как опьяненный: его взор потух, его язык заплетался, его ноги дрожали. И кто сумел бы отгадать, какие мысли бежали тогда по душе Заратустры? Но видно было, что дух его отступил от него, бежал впереди и находился где-то в широкой дали, блуждая, как сказано в писании, «над высокой скалой, между двух морей,

между прошедшим и будущим, как тяжелая туча». Но мало-помалу, пока высшие люди поддерживали его, немного пришел он в себя и отстранил рукою толпу озабоченных почитателей; однако он не говорил. Но вдруг повернул он быстро голову, ибо казалось, что он услышал что-то; тогда приложил он палец к губам и сказал: «Идем!»

И тотчас водворилась тишина и тайна вокруг него; а из глубины медленно доносился звук колокола. Заратустра прислушивался к нему, также как и высшие люди; потом он вторично приложил палец к губам и опять сказал: («Идем! Идем! Полночь приближается!») — и голос его изменился. Но он все еще не трогался с места — тогда водворилась еще большая тишина и еще большая тайна, и весь мир прислушивался, даже осел и почетные звери Заратустры, орел и змея, а также пещера Заратустры, большая холодная луна и даже сама ночь. Заратустра же в третий раз приложил палец к губам и сказал:

— *Идем! Идем! Идем! Начнем теперь странствовать! Час настал! Начнем странствовать ночью!*

## 3

Полночь приближается, о высшие люди, — и вот скажу я вам нечто на ухо, как этот старый колокол говорит мне на ухо, —

— с такой же таинственностью, с таким же ужасом, с такой же сердечностью, с какой говорит ко мне этот полночный колокол, переживший больше, чем человек:

— уже отсчитавший болезненные удары сердца ваших отцов, — ах! ах! как она вздыхает! как она смеется во сне! Старая, глубокая, глубокая полночь!

Тише! Тише! Слышится многое, что не смеет днем говорить о себе; но теперь, когда воздух чист, когда стихает шум сердец ваших, —

— теперь говорится оно, теперь слышится, теперь крадется оно в ночные бодрствующие души: ах! ах! как она вздыхает! Как она смеется во сне!

— разве не слышишь ты, с какой таинственностью, с каким ужасом, с какой сердечностью говорит к тебе старая, глубокая, глубокая полночь?

*О, внимли, друг!*

#### 4

Горе мне! Куда девалось время? Не опустился ли я в глубокие родники? Мир спит —

Ах! Ах! Пес воет, луна сияет. Я предпочитаю умереть, умереть, чем сказать вам, о чем сейчас думает мое полночное сердце.

Вот я уже умер. Свершилось. Паук, зачем ткешь ты паутину вокруг меня? Ты хочешь крови? Ах! Ах! Роса падает, час приближается —

— час, когда знобит меня и я мерзну, час, который спрашивает, неустанно спрашивает: «у кого достаточно мужества для этого?

— кому быть господином земли? Кто скажет: *так* должны вы течь, вы, большие и малые реки!»

— час приближается: о человек, о высший человек, внимли! эта речь для тонких ушей, для твоих ушей — *что полночь тихо скажет вдруг?*

#### 5

Меня уносит, душа моя танцует. Ежедневный труд! Ежедневный труд! Кому быть господином земли?

Месяц холоден, ветер молчит. Ах! Ах! Летали ли вы уже достаточно высоко? Вы плясали: но ноги еще не крылья.

О добрые плясуны, теперь всякая радость миновала: вино прокисло, все кубки разбились, могилы заговорили.

Вы летали недостаточно высоко — теперь заговорили могилы: «Спасите же мертвых! Почему длится так долго ночь? Не опьяняет ли нас луна?»

О высшие люди, спасите же могилы, воскресите трупы! Ах, почему гложет еще червь? Приближается, приближается час, —

— колокол глухо звучит, сердце еще хрипит, червь еще гложет, червь сердца. Ах! Ах! Мир — *так глубок!*

#### 6

Сладкозвучная лира! Сладкозвучная лира! Я люблю звук твоих струн, этот опьяненный квакающий звук! — как медленно, как издалека доносится до меня твой звук, издалека, с прудов любви!





*Некоторые даже рассказывают, что тогда плясал и осел...*

Ты, старый колокол, ты, сладкозвучная лира! Все скорби разрывали сердце тебе, скорбь отца, скорбь дедов, скорбь прадедов; речь твоя стала зрелой, —  
— зрелой, подобно золотой осени и полдню, подобно моему сердцу отшельника,  
— теперь говоришь ты: мир сам созрел, лоза зарумянилась,  
— теперь хочет он умереть, умереть от счастья. О высшие люди, чувствуете ли вы запах? Тайно поднимается запах,  
— благоухание, запах вечности, запах золотистого вина, потемневшего и блаженно-красного от старого счастья,  
— от опьяненного счастья смерти, от счастья полуночи, которое поет: мир — *так глубоко, как день помыслить бы не смог!*

## 7

Оставь меня! Оставь меня! Я слишком чист для тебя. Не дотрагивайся до меня! Разве мой мир сейчас не стал совершенным?

Моя кожа слишком чиста для твоих рук. Оставь меня, ты, глупый, бестолковый, душный день! Разве полночь не светлее?

Самые чистые должны быть господами земли, самые непознанные, самые сильные, души полночные, которые светлее и глубже всякого дня.

О день, ты ошупью идешь за мной? Ты протягиваешь руки за моим счастьем? Для тебя я богат, одинокий, для тебя я клад и сокровищница?

О мир, ты хочешь меня? Разве для тебя я от мира? Разве я набожен? Разве я божествен? Но день и мир, вы слишком грубы,

— имейте более ловкие руки, прострите их к более глубокому счастью, к более глубокому несчастью, прострите их к какому-нибудь Богу, но не простирайте их ко мне, —

— мое несчастье, мое счастье глубоки, ты, дивный день, но все же я не Бог и не ад Божий: *мир — это скорбь до всех глубин.*

## 8

Скорбь Бога глубже, о дивный мир! Простри руки к скорби Бога, а не ко мне! Что я! Опьяненная сладкозвучная лира,

— полночная лира, звук колокола, которого никто не понимает, но который должен говорить перед глухими, о высшие люди! Ибо вы не понимаете меня!

Свершилось! Свершилось! О юность! О полдень! О послеполудень! Теперь наступил вечер, и ночь, и полночь, — пес воет, ветер, —

— разве ветер не пес? Он визжит, он тявкает, он воет. Ах! Ах! Как она вздыхает, как она смеется, как она хрипит и охает, эта полночь!

Как она сейчас трезво говорит, эта пьяная мечтательница! Она, должно быть, перепила свое опьянение? она стала чересчур бодрой? она снова переживает?

— свою скорбь переживает она во сне, старая, глубокая полночь, и еще больше свою радость. Ибо это радость, когда уже скорбь глубока: *но радость глубже бьет ключом.*





*Меня уносит, душа моя танцует. Ежедневный труд! Ежедневный труд!  
Кому быть господином земли?*

## 9

Ты, виноградная лоза! За что хвалишь ты меня! Ведь я срезал тебя! Я жесток, ты истекаешь кровью: для чего воздаешь ты хвалу моей опьяненной жестокости?

«Что стало совершенным, все зрелое хочет умереть!» — так говоришь ты. Благословен, да будет благословен нож виноградаря! Но все незрелое хочет жить: о горе!

Скорбь шепчет: «Сгинь! Исчезни, ты, скорбь!» Но все, что страдает, хочет жить, чтобы стать зрелым, радостным и полным желаний,

— полным желаний далекого, более высокого, более светлого. «Я хочу наследников, — так говорит все, что страдает, — я хочу детей, я не хочу *себя*». —

Радость же не хочет ни наследников, ни детей, — радость хочет себя самое, хочет вечности, хочет возвращения, хочет, чтобы все было вечным.

Скорбь говорит: «Разбейся, истекай кровью, сердце! Двигайтесь, ноги! Крылья, летите! Вдаль! Вверх! Скорбь!» Ну что ж! Да будет! О мое старое сердце! *Скорбь шепчет: сгинь!*

## 10

О высшие люди? Что теперь у вас на сердце? Прорицатель ли я? Сновидец? Опьяненный? Толкователь снов? Полночный колокол?

Капля росы? Испарение и благоухание вечности? Разве вы не слышите? Разве вы не чувствуете? Мой мир сейчас стал совершенным, полночь — тот же полдень. —

Скорбь также радость, проклятие тоже благословение, ночь тоже солнце, — уходите! или вы научитесь: мудрец тот же безумец.

Утверждали ли вы когда-либо радость? О друзья мои, тогда утверждали вы также и всякую скорбь. Все сцеплено, все спутано, все влюблено одно в другое, —

— хотели ли вы когда-либо дважды пережить мгновение, говорили ли вы когда-нибудь: «Ты нравишься мне, счастье! Миг! мгновенье!» Так хотели вы, чтобы *все* вернулось!

— все сызнова, все вечно, все сцеплено, все спутано, все влюблено одно в другое, о, так *любили* вы мир, —

— вы, вечные, любите его вечно и во все времена; и говорите также к скорби: сгинь, но вернись назад! *А радость рвется — в отчий дом!*

## 11

Всякая радость хочет вечности всех вещей, хочет меду, хочет дрожжей, хочет опьяненной полуночи, хочет могил, хочет слез утешения на могилах, хочет золотой вечерней зари —

— *чего* только не хочет радость! она более жаждущая, более сердечная, более алчущая, более ужасная, более таинственная, чем всякая скорбь, она хочет *себя*; она вливается в *себя*, воля кольца борется в ней, —

— она хочет любви, она хочет ненависти, она чрезмерно богата, она дарит, отвергает, просит, как милостыни, чтобы кто-нибудь взял ее, благодарит берущего, она хотела бы, чтобы ее ненавидели, —



— так богата радость, что она жаждет скорби, зла, ненависти, позора, уродства, *мира*, ибо этот мир, о, вы, конечно, знаете его!

О высшие люди, по вас томится радость, необузданная, блаженная, — по скорби вашей, вы, неудачники! По всему неудавшемуся томится всякая вечная радость.

Ибо всякая радость хочет себя самое, вот почему хочет она также сердечной муки! О счастье, о скорбь! О сердце, разбейся! Высшие люди, научитесь же, радость хочет вечности,

— радость хочет вечности всех вещей, она рвется *в свой кровный, вековечный дом!*

## 12

Научились ли вы теперь песне моей? Угадали ли вы, чего хочет она? Ну что ж! Да будет! О высшие люди, так спойте же мне теперь все вместе песню мою!

Спойте мне теперь сами ту песню, имя которой — «Еще раз», а смысл — «во веки веков, — спойте же все вместе, о высшие люди, песнь Заратустры!

О, внемли, друг!

Что полночь тихо скажет вдруг?

«Глубокий сон сморил меня, —

Из сна теперь очнулась я:

Мир — так глубок,

Как день помыслить бы не смог.

Мир — это скорбь до всех глубин, —

Но радость глубже бьет ключом:

Скорбь шепчет: сгинь!

А радость рвется в отчий дом, —

В свой кровный, вековечный дом!»

## Знамение

Но поутру, после этой ночи, вскочил Заратустра с ложа своего, опоясал чресла свои и вышел из пещеры своей, сияющий и сильный, как утреннее солнце, поднимающееся из-за темных гор.

«Великое светило, — сказал он, как некогда уже говорил он, — ты, глубокое око счастья, к чему свелось бы счастье твое, если бы не было у тебя *тех*, кому ты светишь!

И если бы они оставались в домах своих, в то время как ты уже проснулось и идешь, чтобы одарять и наделять, — как негодовала бы на это гордая стыдливость твоя!

Ну что ж! Они спят еще, эти высшие люди, в то время как *я* уже бодрствую: *это* не настоящие спутники мои! Не их жду я здесь в горах моих.

За свое дело хочу я приняться и начать свой день — но они не понимают, каковы знамения утра моего, мои шаги — для них не призыв к пробуждению.

Они спят еще в пещере моей, их сон упивается еще моими песнями опьянения. Ушей, слушающих *меня*, — ушей послушных недостает им».

Заратустра говорил это в сердце своем, в то время как солнце поднималось; тогда он вопросительно взглянул на небо, ибо услышал над собою резкий крик орла своего: «Ну что ж! — крикнул он в вышину. — Это нравится мне, это подобает мне. Звери мои проснулись, ибо я проснулся.

Орел мой проснулся и чит, подобно мне, солнце. Орлиными когтями хватает он новый свет. Вы настоящие звери мои; я люблю вас.

Но еще недостает мне моих настоящих людей!» —

Так говорил Заратустра; но тут случилось, что он вдруг почувствовал себя как бы окруженным множеством птиц, летавших вокруг него, — шум от такого множества крыльев и давка над головою его были так велики, что он закрыл глаза. И, поистине, на него спустилась как бы туча из стрел, которые сыплются на нового врага. Но здесь это была туча любви, спускавшаяся на нового друга.

«Что происходит со мной?» — думал Заратустра в удивленном сердце своем, и медленно опустился на большой камень, лежавший у входа в пещеру его. Но пока он махал руками вокруг себя и над собою, защищаясь от нежности птиц, случилось с ним нечто еще более изумительное: ибо он незаметно ухватился за густую, теплую, косматую гриву; и в то же мгновение раздался перед ним рев — кроткий, протяжный рев льва.

«Знамение приближается», — сказал Заратустра, и сердце его преобразилось. И, поистине, когда перед ним просветлело, он увидел, что у ног его лежал огромный желтый зверь, прижимаясь головою к коленям его; из любви он не хотел покидать его и походил на собаку, нашедшую старого хозяина своего. Но и голуби были не менее усердны в любви своей, чем лев; и всякий раз, когда голубь порхал перед носом льва, лев с удивлением качал головою и начинал смеяться.

Видя это, Заратустра произнес одно только слово: «*Дети мои близко, мои дети*» — затем стал он совершенно нем. Но сердце его было утешено, и из глаз его текли слезы и падали на руки ему. А он ни на что не обращал больше внимания и сидел неподвижно, не защищаясь уже от зверей. Голуби же улетали и прилетали, садились на плечи ему, ласкали седые волосы его и не уставали в нежности и блаженстве своем. А могучий лев беспрестанно лизал слезы, падавшие на руки Заратустры, и робко рычал при этом. Так вели себя эти звери.

Все это продолжалось или долгое время, или очень короткое время: ибо, в действительности, не существует для таких вещей на земле времени. — Между тем высшие люди проснулись в пещере Заратустры и готовились устроить шествие, чтобы идти навстречу Заратустре и принести ему утреннее приветствие: ибо, проснувшись, они заметили, что его уже нет между ними. Но когда они подошли к выходу из пещеры, предшествуемые шумом шагов своих, лев грозно наострил уши и, отвернувшись сразу от Заратустры, с диким ревом прыгнул к пещере; а высшие люди, услышав рев его, вскрикнули в один голос и, побежав обратно, исчезли в одно мгновение.

Но сам Заратустра, оглушенный и пораженный, поднялся с места своего, оглянувшись с удивлением, вопрошая сердце свое, подумал и остался один. «Что слышал я? — сказал он наконец медленно. — Что сейчас произошло со мною?»

И вот воспоминание вернулось к нему, и он сразу понял все, что произошло между вчера и сегодня. «Вот камень, — сказал он, глядя себе бороду, — на нем вчера утром сидел я; а здесь приходил прорицатель ко мне, здесь впервые услышал я крик, только что слышанный мною, великий крик о помощи.



*«Знамение приближается», — сказал Заратустра, и сердце его преобразилось*

О высшие люди, это о помощи вам говорил мне вчера утром старый прорицатель, —

— помощью вам хотел он соблазнить и искусить меня: о Заратустра, — говорил он мне, — я иду, чтобы ввести тебя в твой последний грех.

В мой последний грех? — воскликнул Заратустра, гневно смеясь над своим собственным словом. — *Что* же было оставлено мне как мой последний грех?»

— И еще раз погрузился Заратустра в себя, опять сел на большой камень и предался мыслям. Вдруг он вскочил. —

«*Сострадание! Сострадание к высшему человеку!* — воскликнул он, и лицо его стало, как медь. — Ну что ж! *Этому* — было свое время!

Мое страдание и мое сострадание — ну что ж! Разве к счастью стремлюсь я? Я ишу своего дела!

И вот! Лев пришел, дети мои близко, Заратустра созрел, час мой пришел. —

Это *мое* утро, брезжит мой день: *вставай же, вставай, великий полдень!*» —

Так говорил Заратустра и покинул пещеру свою, сияющий и сильный, как утреннее солнце, подымающееся из-за темных гор.



**СУМЕРКИ ИДОЛОВ,  
ИЛИ  
КАК  
ФИЛОСОФСТВУЮТ  
МОЛОТОМ**

Перевод  
Н. Полилова



*Война была всегда великим благоразумием слишком ушедших в себя,  
ставших слишком глубокими умов...*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Сохранять веселость в мрачном и чрезмерно ответственном деле не малый фокус; а что же тут нужнее веселости? Ни одна вещь не удастся, если в ней не принимает участия задор. Излишек силы только и есть доказательство силы. — *Переоценка всех ценностей*, этот вопросительный знак, столь черный, столь чудовищный, что он бросает тень на того, кто его ставит, — такая роковая задача вынуждает каждое мгновение выбегать на солнце стряхивать с себя ставшую тяжелой, слишком тяжелой серьезность. Тут хорошо всякое средство, тут всякий «случай» — счастливый случай. Прежде всего *война*. Война была всегда великим благоразумием слишком ушедших в себя, ставших слишком глубокими умов; даже полученная рана заключает в себе целебную силу. Изречение, происхождение которого я утаю от ученого любопытства, было издавна моей любимой поговоркой:

increscunt animi, virescit volnere virtus.<sup>1</sup>

Другое выздоровление, при случае более желательное для меня, есть *выслеживание идолов*... В мире больше идолов, чем реальностей: это мой «злой взгляд» на этот мир, это также мое «злое ухо»... Тут задавать вопросы *молотом* и, быть может, услышать в ответ тот знаменитый глухой тон, который говорит о вспученных внутренностях, — какой это восторг для человека, имеющего за ушами еще уши, — для меня, старого психолога и крысолова, перед которым *должно звучать* то именно, что хотело бы пребывать в безмолвии...

Также и настоящее сочинение — заглавие выдает это — есть прежде всего отдых, солнечное пятно, прыжок в сторону, в праздность психолога. Быть может, также новая война? И будут выслежены новые идолы?.. Это маленькое сочинение есть *великое объявление войны*; что же касается выслеживания идолов, то на сей раз это не временные, а *вечные* идолы, к которым я здесь прикасаюсь молотом, как камертоном, — не существует вообще более старых, более уверенных, более надутых идолов... А также более пустых... Это не препятствует тому, что в них *больше всего верят*; да и говорят, особенно в важнейшем случае, отнюдь не идолы...

Фридрих Ницше

Турин, 30 сентября 1888,  
в день, когда была окончена первая книга  
*Переоценки всех ценностей*

---

<sup>1</sup> Души крепнут, доблесть расцветает от ран (лат.).

## ИЗРЕЧЕНИЯ И СТРЕЛЫ

1

Праздность есть мать всей психологии. Как? разве психология — порок?

2

И самый мужественный из нас лишь редко обладает мужеством на то, что он, собственно, *знает*...

3

Чтобы жить в одиночестве, надо быть животным или богом, говорит Аристотель. Не хватает третьего случая: надо быть и тем и другим — *философом*.

4

«Всякая истина проста» — Не двусмысленно ли это ложь? —

5

Я хочу раз навсегда не знать многого. — Мудрость полагает границы также и познанию.

6

В своем диком естестве отдыхаешь лучше всего от своей неестественности, от своей духовности...



## 7

Как? разве человек только промах Бога? Или Бог только промах человека? —

## 8

*Из военной школы жизни.* — Что не убивает меня, то делает меня сильнее.

## 9

Помогай себе сам: тогда поможет тебе и каждый. Принцип любви к ближнему.

## 10

Не надо проявлять трусости по отношению к своим поступкам! не надо вслед за тем бежать от них! — Угрызения совести неприличны.

## 11

Может ли *осел* быть трагичным? — Что гибнешь под тяжестью, которой не можешь ни нести, ни сбросить?.. Случай философа.

## 12

Если имеешь свое *почему?* жизни, то мирись почти со всяким *как?* — Человек стремится *не* к счастью; только англичанин делает это.

## 13

Мужчина создал женщину — но из чего? Из ребра ее бога — ее «идеала»...

## 14

Что? ты ищешь? ты хотел бы удесятерить себя, увеличить во сто раз? ты ищешь приверженцев? — Ищи *нулей!* —

## 15

Посмертных людей — меня, например, — хуже понимают, чем современных, но лучше *слушают*. Говоря точнее: нас никогда не поймут — и *отсюда* наш авторитет...

## 16

Среди *женщин*. — «Истина? О, вы не знаете истины! Разве она не покушение на все наши *pudeurs?*»

## 17

Вот художник, каких я люблю, скромный в своих потребностях: он хочет собственно только двух вещей, своего хлеба и своего искусства, — *panem et Circen*

## 18

Кто не умеет влагать в вещи своей воли, тот по крайней мере все же влагает в них *смысл*: т. е. он полагает, что в них уже есть воля (Принцип «веры»).

## 19

Как? вы выбрали добродетель и возвышенные чувства, а вместе с тем коситесь на барыши людей бесцеремонных? — Но, выбрав добродетель, *отказываются* этим от «барышей»... (на входную дверь антисемиту).

## 20

Совершенная женщина занимается литературой так же, как совершает маленький грех: для опыта, мимоходом, оглядываясь, замечает ли это кто-нибудь, и *чтобы* это кто-нибудь заметил...

## 21

Становиться исключительно в такие положения, когда нельзя иметь кажущихся добродетелей, когда, напротив, как канатный плясун на своем канате, либо падаешь, либо стоишь — либо благополучно отделываешься...

## 22

«У злых людей нет песен». — Отчего же у русских есть песни?

## 23

«Немецкий ум»: уже восемнадцать лет *contradictio in adjecto*.

## 24

Ища начал, делаешься раком. Историк смотрит вспять; в конце концов он и *верит* тоже вспять.

## 25

Довольство предохраняет даже от простуды. Разве когда-нибудь простудилась женщина, умевшая хорошо одеться? — Предполагаю случай, что она была едва одета.



*Ища начал, делаешься раком. Историк смотрит вспять; в конце концов  
он и верит тоже вспять*

## 26

Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности.

## 27

Женщину считают глубокой — почему? потому что у нее никогда не достанешь дна. Женщина даже и не мелка.

## 28

Если женщина имеет мужские добродетели, то от нее нужно бежать; если же она не имеет мужских добродетелей, то бежит сама.

## 29

«Как много приходилось некогда кусать совести! Какие хорошие зубы были у нее! — А нынче? чего не хватает?» — Вопрос зубного врача.

## 30

Люди редко совершают одну неосмотрительность. В первой неосмотрительности всегда делают слишком много. Именно поэтому совершают обыкновенно еще вторую — и на этот раз делают слишком мало...

## 31

Червяк, на которого наступили, начинает извиваться. Это благоразумно. Он уменьшает этим вероятность, что на него наступят снова. На языке морали: *смирение*. —

## 32

Есть ненависть ко лжи и притворству, вытекающая из чувствительности в вопросах чести; есть такая же ненависть, вытекающая из трусости, поскольку ложь *запрещена* божественной заповедью. Слишком труслив, чтобы лгать...

## 33

Как мало нужно для счастья! Звук волынки. — Без музыки жизнь была бы заблуждением. Немец представляет себе даже Бога распеваящим песни.

## 34

On ne peut penser et écrire qu'assis (Г. Флобер). — Вот я и поймал тебя, нигилист! Усидчивость есть как раз грех против духа святого. Только *выложенные* мысли имеют ценность.



## 35

Бывают случаи, когда мы уподобляемся лошадям, мы, психологи, и впадаем в беспокойство: мы видим перед собой нашу собственную колеблющуюся тень. Психолог должен не обращать на *себя* внимания, чтобы вообще видеть.

## 36

Наносим ли мы, имморалисты, *вред* добродетели? — Так же мало, как анархисты царям. Только с тех пор, как их начали подстреливать, они вновь прочно сидят на своем троне. Мораль: *нужно подстреливать мораль*.

## 37

Ты бежишь *вперед*? — Делаешь ты это как пастух? или как исключение? Третьим случаем был бы беглец... *Первый* вопрос совести.

## 38

Настоящий ли ты? или только актер? Заместитель или само замещенное? — В конце концов ты, может быть, просто поддельный актер... *Второй* вопрос совести.

## 39

*Разочарованный говорит*. — Я искал великих людей, а находил всегда лишь *обезьян* их идеала.

## 40

Из тех ли ты, кто смотрит как зритель? или кто участвует? — или кто не обращает внимания, идет стороной?... *Третий* вопрос совести.

## 41

Хочешь ты сопутствовать? или предшествовать? или идти сам по себе?... Надо знать, чего хочешь и хочешь ли. *Четвертый* вопрос совести.

## 42

Это были ступени для меня, я поднялся выше их, — для этого я должен был пройти по ним. Они же думали, что я хотел сесть на них для отдыха...

## 43

Что в том, что я остаюсь правым! Я слишком прав. — А кто нынче смеется лучше всего, тот будет также смеяться и последним.

## 44

Формула моего счастья: Да, Нет, прямая линия, *цель*...

## ПРОБЛЕМА СОКРАТА

### 1

О жизни мудрейшие люди всех времен судили одинаково: *она не стоит ничего...* Всегда и всюду из уст их слышали одну и ту же речь — речь, полную сомнения, полную тоски, полную усталости от жизни, полную сопротивления жизни. Даже Сократ сказал, умирая: «Жить — это значит быть долго больным: я должен исцелителю Асклепию петуха». Даже Сократу она надоела. — Что *доказывает* это? На что *указывает* это? — В прежнее время сказали бы (— о, это говорили, и довольно громко, и прежде всех наши пессимисты!): «Здесь во всяком случае что-нибудь должно быть истинным! Consensus sapientium доказывает истину». — Будем ли мы и нынче так говорить? *смеем* ли мы это? «Здесь во всяком случае что-нибудь должно быть *больным*», — ответим мы: эти мудрейшие всех времен, надо бы сперва посмотреть на них вблизи! Быть может, все они были уже нетвердыми на ногах? старыми? шатающимися? *décadents*? Не появляется ли, быть может, мудрость на земле, как ворон, которого вдохновляет малейший запах падали?..

### 2

Мне самому эта непочтительность, что великие мудрецы суть *типы упадка*, пришла в голову при рассмотрении того случая, где ей сильнее всего противоборствует ученый и неученый предрассудок: я опознал Сократа и Платона как симптомы гибели, как орудия греческого разложения, как псевдогреков, как антигреков («Рождение трагедии», 1872). Упомянутый выше consensus sapientium — я понимал это все более и более — менее всего доказывает, что они были правы в том, в чем гармонировали: он доказывает скорее, что сами они, эти мудрейшие, кое в чем гармонировали *физиологически*, чтобы относиться в равной мере отрицательно к жизни, — чтобы быть *вынужденными* так относиться к ней. Суждения о ценности жизни, «за»



*...эти мудрейшие всех времен, надо бы сперва посмотреть на них вблизи!  
Быть может, все они были уже нетвердыми на ногах? старыми? шатающимися?  
décadents?*

или «против», в конце концов никогда не могут быть истинными: они имеют ценность лишь как симптомы, они принимаются в соображение лишь как симптомы, — сами по себе такие суждения являются глупостями. Надо непременно протянуть к ним свои пальцы и попытаться ухватить ту изумительную *finesse*, что *ценность жизни не может быть установлена*. Живым — нет, потому что таковой является стороною, даже объектом спора, а не судьей. Мертвым — нет, по другой причине. — Со стороны философа видеть проблему в *ценности* жизни является таким образом даже возражением против него, вопросительным знаком около его мудрости, неразуме- ем. — Как? а все эти великие мудрецы — разве они были не только *décadents*, разве они даже не были мудрыми? — Но я возвращаюсь к проблеме Сократа.

## 3

Сократ по своему происхождению принадлежал к низшим слоям народа: Сократ был чернью. Нам известно, мы даже видим это, как безобразен был он. Но безобразие, являющееся само по себе возражением, служит у греков почти опровержением. Был ли Сократ вообще греком? Безобразие является довольно часто выражением скрещенного, *заторможенного* скрещением развития. В другом случае оно является *нисходящим* развитием. Антропологи среди криминалистов говорят нам, что типичный преступник безобразен: *monstrum in fronte, monstrum in animo*. Но преступник есть *décadent*. Был ли Сократ типичным преступником? — По крайней мере этому не противоречит то знаменитое суждение физиономиста, которое казалось таким обидным друзьям Сократа. Один иностранец, умевший разбираться в лицах, проходя через Афины, сказал в лицо Сократу, что он *monstrum*, — что он таит в себе все дурные пороки и похоти. И Сократ ответил только: «Вы знаете меня, милостивый государь!» —

## 4

На *décadence* указывает у Сократа не только признанная разнузданность и анархия в инстинктах; на это указывает также суперфётация логического и характеризующая его *злоба рахитика*. Не забудем и о тех галлюцинациях слуха, которые были истолкованы на религиозный лад, как «демония Сократа». Все в нем преувеличено, *buffo*, карикатура, все вместе с тем отличается скрытностью, задней мыслью, подземностью. — Я пытаюсь постичь, из какой идиосинкразии проистекает сократическое уравнение: разум = добродетели = счастью — это причудливейшее из всех существующих уравнений, которому в особенности противоречат все инстинкты более древних эллинов.

## 5

С появлением Сократа греческий вкус изменяется в благоприятную для диалектики сторону; что же происходит тут в сущности? Прежде всего этим побеждает-



ся *аристократический* вкус; чернь всплывает наверх с диалектикой. До Сократа в хорошем обществе чурались диалектических манер: они считались дурными манерами, они компрометировали. От них предостерегали юношество. Также не доверяли всякому такому предъявлению своих доводов. Благопристойные вещи, как и благопристойные люди, не носят своих доводов так прямо в руках. Неприлично показывать все пять пальцев. Что сперва требует доказательства, то имеет мало ценности. Всюду, где авторитет относится еще к числу хороших обычаев, где не «обосновывают», а повелевают, диалектик является чем-то вроде шута: над ним смеются, к нему не относятся серьезно. — Сократ был шутком, *возбуждившим серьезное отношение* к себе: что же случилось тут, собственно? —

## 6

Диалектику выбирают лишь тогда, когда нет никакого другого средства. Известно, что ею возбуждаешь недоверие, что она мало убеждает. Ничто так легко не изглаживается, как эффект диалектика: опыт каждого собрания, где говорят речи, доказывает это. Она может быть лишь *необходимой самообороной* в руках людей, не имеющих уже никакого иного оружия. Надо *вынуждать* признание своего права: до этого ее ни во что нельзя употребить. Евреи были поэтами диалектиками; Рейнеке-Лис был им; как? и Сократ был им также? —

## 7

— Есть ли ирония Сократа проявление бунта? *ressentiment* черни? наслаждался ли он, как угнетенный, своей собственной кровожадностью в ударах ножа силлогизма? *мстит* ли он знатым, которых очаровывает? В качестве диалектика имеешь в руках беспощадное орудие; с ним можно стать тираном; побеждая, компрометируешь. Диалектик предоставляет своему противнику доказывать, что он не идиот: он приводит в бешенство, он вместе с тем делает беспомощным. Диалектик *депотенцирует* интеллект своего противника. — Как? разве диалектика является только формой *мести* у Сократа?

## 8

Я дал понять, чем мог отталкивать Сократ; тем более надо объяснить то обстоятельство, что он очаровывал. — Что он открыл нового вида агон, что он был первым учителем фехтования в этой области для знатных афинских кругов, — это раз. Он очаровывал, затрагивая атональный инстинкт эллинов, — он внес вариант в ристалищную борьбу между молодыми мужчинами и юношами. Сократ был также великим *эротиком*.

## 9

Но Сократ отгадал еще больше. Он видел кое-что за *спиной* своих знатных афинян; он понимал, что *его* случай, его идиосинкразия уже не была исключительным случаем. Такое же вырождение подготовлялось всюду в тиши: старым Афинам приходил конец. — И Сократ понимал, что все *нуждаются* в нем — в его средстве, в его врачевании, в его личной сноровке самосохранения... Повсюду инстинкты находились в анархии; повсюду были в пяти шагах от эксцесса: *monstrum in amino* было всеобщей опасностью. «Инстинкты хотят стать тираном; нужно изобрести *противотирана*, который был бы сильнее»... Когда упомянутый физиономист открыл Сократу, кто он такой, назвав его вертепом всех дурных похотей, великий насмешник проронил еще одно слово, дающее ключ к нему. «Это правда, — сказал он, — но я стал господином над всеми». *Как* сделался Сократ господином над *собой*! — Его случай был, в сущности, лишь крайним случаем, лишь самым бросающимся в глаза из того, что тогда начинало делаться всеобщим бедствием: что никто уже не был господином над собою, что инстинкты обратились друг *против* друга. Он очаровывал, как этот крайний случай, — его возбуждающее ужас безобразие говорило о нем каждому глазу: он очаровывал, само собою разумеется, еще сильнее как ответ, как решение, как кажущееся *врачевание* этого случая. —

## 10

Если потребно сделать из *разума* тирана, как это сделал Сократ, то не мала должна быть опасность, что нечто иное делается тираном. В разумности тогда угадали *спасительницу*; ни Сократ, ни его «больные» не были вольны быть разумными — это было *de rigueur*, это было их *последнее* средство. Фанатизм, с которым все греческие помыслы набрасываются на разумность, выдает бедственное положение: находились в опасности, был только *один* выбор: или погибнуть, или — быть *абсурдно-разумными*... Морализм греческих философов, начиная с Платона, обусловлен патологически; равным образом и их оценка диалектики. Разум = добродетели = счастью — это значит просто: надо подражать Сократу и возжечь против темных вожделений *неугасимый свет* — свет разума. Надо быть благоразумным, ясным, светлым во что бы то ни стало: каждая уступка инстинктам, бессознательному ведет *вниз*...

## 11

Я дал понять, чем очаровывал Сократ: он казался врачом, спасителем. Нужно ли еще указывать на заблуждение, заключавшееся в его вере в «разумность во что бы то ни стало»? — Это самообман со стороны философов и моралистов, будто они уже тем выходят из *décadence*, что объявляют ему войну. Выйти из него — выше их сил: то, что они выбирают как средство, как спасение, само опять-таки является выражением *décadence* — они *изменяют* его выражение, они не устраняют его самого. Сократ был недоразумением; *вся исправительная мораль, также и христианская, была недоразумением*... Самый яркий свет разумности во что бы то ни стало, жизнь светлая, холодная, осторожная, сознательная, без инстинкта, сопротивляющаяся ин-



*Диалектик предоставляет своему противнику доказывать, что он не идиот:  
он приводит в бешенство, он вместе с тем делает беспомощным*

стинктам, была сама лишь болезнью, иной болезнью — а вовсе не возвращением к «добродетели», к «здоровью», к счастью... Быть *вынужденным* побеждать инстинкты — это формула для *décadence*: пока жизнь *восходит*, счастье равно инстинкту. —

## 12

— Понял ли он это сам, этот умнейший из всех перехитривших самих себя? Не сказал ли он это себе под конец *мудростью* своего мужества перед смертью?.. Сократ *хотел* умереть: не Афины, *он* дал себе чашу с ядом, он вынудил Афины дать ему ее... «Сократ не врач, — тихо сказал он себе, — одна смерть здесь врач... Сократ сам был только долго болен...»



## «РАЗУМ» В ФИЛОСОФИИ

### 1

Вы спрашиваете меня, что же является идиосинкразией у философов?.. Например, отсутствие у них исторического чувства, их ненависть к самому представлению становления, их египтизм. Они воображают, что делают *честь* какой-нибудь вещи, если деисторизируют ее, *sub specie aeterni*, — если делают из нее мумию. Все, что философы в течение тысячелетий пускали в ход, были мумии понятий; ничто действительное не вышло живым из их рук. Они убивают, они бальзамируют, эти господа-идолопоклонники понятий, когда поклоняются, — они становятся опасными для жизни всего, когда поклоняются. Смерть, изменение, старость, так же как зарождение и рост, являются для них возражениями — даже опровержениями. Что есть, то не *становится*; что становится, то не *есть*... И вот все они, даже с каким-то отчаянием, верят в сущее. Но так как они не могут его ухватить, то ищут причин, почему им не дают его. «Должна быть иллюзия, обман в том, что мы не воспринимаем сущего: где же скрывается обманщик?» — «Мы нашли его, — кричат они радостно, — это чувственность! Эти чувства, *которые и вообще-то так безнравственны*, обманывают нас относительно *истинного* мира. Мораль: освободиться от обмана чувств, от становления, от истории, от лжи, — история есть не что иное, как вера в чувства, вера в ложь. Мораль: отрицать все, что верит чувствам, все остальное человечество — все это «толпа». Быть философом, быть мумией, изображать монотонотеизм мимикой могильщиков! — И прежде всего прочь *тело*, эту достойную сожаления *idée fixe* чувств! одержимое всеми ошибками логики, какие только есть, опровергнутое, даже невозможное, хотя оно достаточно нагло для того, чтобы изображать из себя нечто действительное!...»

### 2

Я с глубоким почтением исключаю имя *Гераклита*. Если прочая философская публика отвергала свидетельство чувств, потому что последние говорили о множест-

венности и изменении, то он отвергал их свидетельство, потому что они показывали, будто вещи обладают постоянством и единством. Гераклит также был несправедлив к чувствам. Они не лгут ни так, как полагали элсаты, ни так, как полагал он, — они вообще не лгут. Впервые то, что мы *делаем* из их свидетельства, влагает в них ложь, например ложь единства, ложь вешности, субстанции, постоянства... «Разум» является причиной того, что мы искажаем свидетельство чувств. Поскольку чувства говорят о становлении, об исчезновении, о перемене, они не лгут... Но Гераклит останется вечно правым в том, что бытие есть пустая фикция. «Кажущийся» мир есть единственный: «истинный мир» только *прилган к нему*...

## 3

— И какие тонкие орудия наблюдения имеем мы в наших чувствах! Этот нос, например, о котором еще ни один философ не говорил с уважением и благодарностью, является между тем даже самым деликатным инструментом из находящихся в нашем распоряжении: он может еще констатировать минимальные разности движения, которых не констатирует даже спектроскоп. Мы владеем нынче наукой ровно постольку, поскольку мы решились *принимать* свидетельство чувств, — поскольку мы научились еще изощрять их, вооружать, продумывать до конца. Остальное — недоноски и еще-не-наука: имею в виду метафизику, теологию, психологию, теорию познания. Или формальную науку, учение о знаках: как логика и та прикладная логика, математика. В них действительности нет и в помине, даже как проблемы; так же как и вопроса, какую ценность имеет вообще такая конвенция о знаках, как логика. —

## 4

*Другая* идиосинкразия философов не менее опасна: она состоит в смешивании последнего и первого. Они ставят в начале как таковом то, что появляется в конце, — жаль! ибо оно не должно бы появиться вовсе! — «высшие понятия», то есть самые общие, самые пустопорожние понятия, последний дым испаряющейся реальности. Это опять-таки только выражение их манеры поклоняться: высшее не *должно* произрастать из низшего, не *должно* вообще произрастать... Мораль: все, что первого ранга, должно быть *causa sui*. Происхождение из чего-нибудь другого считается возражением, усомнением в ценности. Все высшие ценности суть первого ранга, все высшие понятия: сущее, безусловное, доброе, истинное, совершенное — все это не может произойти, следовательно, должно быть *causa sui*. Но все это не может быть также неравным одно другому, не может быть в противоречии с собою... Вот у них и готово их необычное понятие «Бог»... Последнее, самое разреженное, самое пустое предполагается как первое, как причина сама по себе, как *ens realissimum*... Чтобы человечество вынуждено было серьезно относиться к мозговым страданиям больных пауков-ткачей! — И оно дорого заплатило за это!...



*Все, что философы в течение тысячелетий пускали в ход, были мумии понятий;  
ничто действительное не вышло живым из их рук (к с. 287)*

## 5

— Противопоставим же наконец этому, насколько иначе смотрим *мы* (— я говорю из учтивости мы...) на проблему заблуждения и кажимости. Некогда считали изменение, смену, становление вообще доказательством кажимости, признаком того, что тут должно быть нечто вводящее нас в заблуждение. Нынче, напротив, мы видим ровно настолько, насколько предрассудок разума принуждает нас применять единство, идентичность, постоянство, субстанцию, причину, вещьность, бытие, некоторым образом впутывает нас в заблуждение, *принеоливает* к заблуждению; как ни уверены мы на основании строгой проверки счета в том, что тут заблуждение. Дело с этим обстоит так же, как с движением солнца: там заблуждение имеет постоянным адвокатом наш глаз, здесь — наш язык. Язык, по его возникновению, относится ко времени рудиментарнейшей формы психологии: мы впадаем в грубый фетишизм, если вводим в наше сознание основные предположения метафизики языка, по-немецки — *разума*. Оно видит всюду делателя и делание: оно верит в волю как причину вообще; оно верит в «Я», в Я как бытие, в Я как субстанцию и *проецирует* веру в субстанцию-Я на все вещи — оно *создаст* впервые этим понятие «вещь»... Бытие вмысливается, *подсовывается* всюду; из концепции «Я» вытекает впервые, как производное, понятие «бытия»... В начале стоит великое роковое заблуждение, что воля есть нечто *действующее* — что воля есть *способность*... Нынче мы знаем, что она — только слово... Гораздо позже среди в тысячу раз более просвещенного мира в сознание философов неожиданно проникла *уверенность*, субъективная *достоверность* в применении категорий разума: они пришли к заключению, что последние не могут вытекать из эмпирии — ведь вся эмпирия находится в противоречии с ними. *Откуда же вытекают они?* — И в Индии, как и в Греции, сделали одинаковый промах: «мы должны были уже некогда жить в высшем мире (— вместо того, чтобы сказать — *в гораздо более низшем*: что было бы истиной!), мы должны были быть божественными, *ибо* мы имеем разум»!.. В самом деле, ничто до сих пор не имело более наивной силы убеждения, нежели заблуждение о бытии, как оно сформулировано, например, элейцами: ведь за него говорит каждое слово, каждое изрекаемое нами предложение! — Также и противники элейатов подчинялись обольщению их понятием бытия: в числе других и Демокрит, когда он измыслил свой *атом*... «Разум» в языке — о, что это за старый обманщик! Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в грамматику...

## 6

Мне будут благодарны, если я выражу кратко столь существенное, столь новое уразумение в четырех тезисах: этим я облегчаю понимание, этим я вызываю возражение.

*Первое положение.* Основания, в силу которых «этот» мир получил название кажущегося, доказывают скорее его реальность, — *иной* вид реальности абсолютно не доказуем.

*Второе положение.* Признаки, которыми наделили «истинное бытие» вещей, суть признаки не-бытия, признаки, указывающие на *ничто*: «истинный мир» построили из противоречия действительному миру — вот в самом деле кажущийся мир, поскольку он является лишь *морально-оптическим* обманом.





*Бытие вмысливается, подсовывается всюду; из концепции «Я» вытекает впервые,  
как производное, понятие «бытия»...*

*Третье положение.* Бредить об «ином» мире, чем этот, не имеет никакого смысла, предполагая, что мы не обуреваемы инстинктом оклеветания, унижения, опорожнения жизни: в последнем случае мы *мстим* жизни фантазмагорией «иной», «лучшей» жизни.

*Четвертое положение.* Делить мир на «истинный» и «кажущийся», все равно, в духе ли христианства или в духе Канта (в конце концов *коварного* христианина —), — это лишь внушение *décadence* — симптом *нисходящей* жизни... Что художник ценит кажимость выше реальности, это не возражение против данного положения. Ибо «кажимость» означает здесь реальность *вдвойне*, только избранную, усиленную, корректированную... Трагический художник *вовсе не* пессимист, он говорит как раз *Да* всему загадочному и страшному, он проникнут дионисическим духом...

# КАК «ИСТИННЫЙ МИР» НАКОНЕЦ СТАЛ БАСНЕЙ

## История одного заблуждения

1. Истинный мир, достижимый для мудреца, для благочестивого, для добродетельного, — он живет в нем, *он есть этот мир*.

(Старейшая форма идеи, относительно умная, простая, убедительная. Перифраза положения: «я, Платон, *есть* истина».)

2. Истинный мир, недостижимый нынче, но обетованный для мудреца, для благочестивого, для добродетельного («для грешника, который кается»).

(Прогресс идеи: она становится тоньше, запутаннее, неопостижимее, — *она становится женщиной*, она становится христианской...)

3. Истинный мир, недостижимый, недоказуемый, не могущий быть обетованным, но уже, как мыслимый, утешение, долг, императив.

(Старое солнце, в сущности, но светящее сквозь туман и скепсис: идея, ставшая возвышенной, бледной, северной, кёнигсбергской.)

4. Истинный мир — недостижимый? Во всяком случае, недостигнутый. И как недостигнутый, также *неведомый*. Следовательно, также не утешающий, не спасающий, не обязывающий: к чему может обязывать нас нечто неведомое?..

(Серое утро. Первое позевывание разума. Петуший крик позитивизма.)

5. «Истинный мир» — идея, ни к чему больше не нужная даже более не обязывающая, — ставшая бесполезной, ставшая лишней идея, *следовательно*, опровергнутая идея — упраздним ее!

(Светлый день; завтрак; возвращение bon sens и веселости; краска стыда Платона; дьявольский шум всех свободных умов.)

6. Мы упразднили истинный мир — какой же мир остался? Быть может, кажущийся?.. Но нет! *Вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся!*

(Полдень; мгновение самой короткой тени; конец самого долгого заблуждения; кульминационный пункт человечества; INCIPIT ZARATHUSTRA.)

## МОРАЛЬ КАК ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОСТЬ

### 1

У всех страстей бывает пора, когда они являются только роковыми, когда они с тяжеловесностью глупости влекут свою жертву вниз, — и более поздняя, гораздо более поздняя пора, когда они соединяются брачными узами с духом, когда они «одухотворяются». Некогда из-за глупости, заключающейся в страсти, объявляли войну самой страсти: давали клятву уничтожить ее, — все старые чудовища морали сходятся в том, что «il faut tuer les passions». Самая знаменитая формула на этот счет находится в Новом Завете, в той Нагорной проповеди, где, кстати сказать, вещи рассматриваются отнюдь не с *высоты*. Там, например, говорится в применении к половому чувству: «если око твое соблазняет тебя, вырви его» — к счастью, ни один христианин не поступает по этому предписанию. *Уничтожать* страсти и вожделения только для того, чтобы предотвратить их глупость и неприятные последствия этой глупости, кажется нам нынче, в свою очередь, только острой формой глупости. Мы уже не удивляемся зубным врачам, которые *вырывают* зубы, чтобы они больше не болели... С другой стороны, нельзя не признать с некоторой справедливостью, что на той почве, из которой выросло христианство, вовсе не может иметь места концепция понятия «*одухотворение* страсти». Ведь, как известно, первая церковь боролась *против* «интеллигентных» на благо «нищих духом»; как же можно было ожидать от нее интеллигентной войны со страстью? — Церковь побеждает страсть вырезыванием во всех смыслах: ее практика, ее «лечение» есть *кастрация*. Она никогда не спрашивает: «как одухотворяют, делают прекрасным, обожествляют вожделение?» — она во все времена полагала силу дисциплины в искоренении (чувственности, гордости, властолюбия, алчности, мстительности). — Но подрывать корень страстей значит подрывать корень жизни: практика церкви *враждебна жизни*...



## 2

То же самое средство: осклопление, искоренение — инстинктивно выбирается в борьбе с каким-нибудь вождением теми, которые слишком слабовольны, слишком выродились, чтобы быть в состоянии соблюдать в нем меру; теми натурами, которым нужна la Tгарре, говоря иносказательно (и без иносказания —), какой-нибудь окончательный разрыв, *пропасть* между собою и страстью. Без радикальных средств не могут обойтись лишь дегенераты; слабость воли, говоря точнее, неспособность *не* реагировать на раздражение, есть, в свою очередь, только другая форма вырождения. Радикальная вражда, смертельная вражда к чувственности остается наводящим на размышление симптомом: он дает право на предположения относительно общего состояния до такой степени эксцессивного человека. — Впрочем, эта вражда, эта ненависть только тогда достигает своего апогея, когда такие натуры сами уже не имеют достаточной твердости для радикального лечения, для отречения от своего «дьявола». Просмотрите всю историю жрецов и философов, причисляя сюда и художников: самое ядовитое слово против чувств сказано *не* импотентами, также *не* аскетами, а невозможными аскетами, такими людьми, которым понадобилось бы быть аскетами...

## 3

Одухотворение чувственности называется *любовью*: оно является великим торжеством над христианством. Другим торжеством является наше одухотворение *вражды*. Оно состоит в глубоком понимании ценности иметь врагов: словом, в том, что поступаешь и умозакключаешь обратно тому, как поступали и умозакключали некогда. Церковь хотела во все времена уничтожения своих врагов — мы же, мы, имморалисты и антихристиане, видим нашу выгоду в том, чтобы церковь продолжала существовать... Также и в области политики вражда стала теперь одухотвореннее — гораздо благоразумнее, гораздо рассудительнее, гораздо *снисходительнее*. Почти каждая партия видит интерес своего самосохранения в том, чтобы противная партия не потеряла силы; то же самое можно сказать и о большой политике. В особенности новое создание, например новая империя, нуждается более во врагах, нежели в друзьях: только в контрасте чувствует она себя необходимой, только в контрасте *становится* она необходимой... Не иначе относимся мы и к «внутреннему врагу»: и тут мы одухотворяли вражду, и тут мы постигли ее *ценность*. Являешься *плодовитым* лишь в силу того, что богат контрастами; остаешься *молодым* лишь при условии, что душа не ложится врястяжку, не жаждет мира... Ничто не стало нам более чуждым, чем эта давняя желательность, желательность «мира души», *христианская* желательность; ничто не возбуждает в нас менее зависти, чем моральная корова и жирное счастье чистой совести. Отказываешься от *великой* жизни, если отказываешься от войны... Во многих случаях, конечно, «мир души» является просто недоразумением — кое-чем *иным*, что не умеет только назвать себя честнее. Без лишних слов и предрассудков приведу несколько случаев. «Мир души» может быть, например, мягким излучением богатой животности в область морального (или религиозного). Или началом усталости, первой тенью, которую бросает вечер, всякого рода вечер. Или признаком того, что воздух становится влажным, что приближаются южные ветры. Или бессознательной благодарностью за удачное пищеварение (порою называемой «человеколюбием»).

Или успокоением выздоравливающего, для которого все вещи приобретают новый вкус и который ждет... Или состоянием, следующим за сильным удовлетворением нашей господствующей страсти, приятным чувством редкой сытости. Или старческой слабостью нашей воли, наших вожделений, ваших пороков. Или ленью, которую тщеславие убедило вырядиться в моральном стиле. Или наступлением уверенности, даже страшной уверенности, после долгого напряжения и мучения вследствие неуверенности. Или выражением зрелости и мастерства в делании, созидании, воспроизведении, хотении, спокойным дыханием, *достигнутой* «свободой воли»... *Сумерки идолов*: кто знает? быть может, это тоже лишь известный вид «мира души»...

## 4

— Я формулирую один принцип. Всякий натурализм в морали, т. е. всякая *здоровая* мораль, подчиняется инстинкту жизни, — какая-нибудь заповедь жизни исполняется определенным каноном о «должен» и «не должен», какое-нибудь затруднение или враждебность на пути жизни устраняется этим. *Противоестественная* мораль, т. е. почти всякая мораль, которой до сих пор учили, которую чтили и проповедовали, направлена, наоборот, как раз *против* инстинктов жизни — она является то тайным, то явным и дерзким *осуждением* этих инстинктов. Говоря, что «Бог читает в сердце», она говорит Нет низшим и высшим вожделениям жизни и считает Бога *врагом жизни*... Святой, угодный Богу, есть идеальный кастрат... Жизнь кончается там, где *начинается* «Царствие Божие»...

## 5

Если предположить, что понята преступность такого восстания против жизни, которое стало почти священным в христианской морали, то вместе с этим, к счастью, понято также нечто другое: бесполезность, иллюзорность, абсурдность, *жизвость* такого восстания. Осуждение жизни со стороны живущего остается в конце концов лишь симптомом известного вида жизни: вопрос о справедливости или несправедливости тут совершенно не ставится. Надо было бы занимать позицию *вне* жизни и, с другой стороны, знать ее так же хорошо, как один, как многие, как все, которые ее прожили, чтобы вообще сметь касаться проблем *ценности* жизни — достаточные основания для того, чтобы понять, что эта проблема для нас недоступна. Говоря о ценностях, мы говорим под влиянием инспирации, под влиянием оптики жизни: сама жизнь принуждает нас устанавливать ценности, сама жизнь ценит через нас, *когда* мы определяем ценности... Отсюда следует, что и та *противоестественная мораль*, которая понимает Бога как противопонятие и осуждение жизни, есть лишь оценка, производимая жизнью — *какой* жизнью? *каким* видом жизни? — Но я уже дал ответ на это: нисходящей, расслабленной, усталой, осужденной жизнью. Мораль, как ее понимали до сих пор — как напоследок ее формулировал еще и Шопенгауэр в качестве «отрицания воли к жизни», — есть сам *инстинкт décadence*, делающий из себя императив; она говорит: «*погибни!*» — она есть приговор осужденных...



*Отказываешься от великой жизни, если отказываешься от войны...  
Во многих случаях, конечно, «мир души» является просто недоразумением —  
кое-чем иным, что не умеет только назвать себя честнее*

## 6

Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще говорить: «человек *должен бы* быть таким-то и таким-то!» Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь расточительной игры и смены форм; а какой-нибудь несчастный поденщик-моралист говорит на это: «Нет! человек должен бы быть *иным*»?.. Он даже знает, *каким* он должен бы быть, этот лизоблюд и пустосвят, он малюет себя на стене и говорит при этом «esse homo»!.. Но даже когда моралист обращается к отдельному человеку и говорит ему: «*Ты* должен бы быть таким-то и таким-то!» — он не перестает делать себя посмешищем. Индивид есть частица фатума во всех отношениях, лишний закон, лишняя необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему: «изменись» — значит требовать, чтобы все изменилось, даже вспять... И действительно, были последовательные моралисты, они хотели видеть человека иным, именно добродетельным, они хотели видеть в нем свое подобие, именно пустосвята: для этого они *отрицали* мир! Не малое безумие! Вовсе не скромный вид нескромности!.. Мораль, поскольку она *осуждает*, сама по себе, а не из видов, соображений, целей жизни, есть специфическое заблуждение, к которому не должно питать никакого сострадания, *идиосинкразия дегенератов*, причинившая невыразимое количество вреда!.. Мы иные люди, мы, имморалисты, наоборот, раскрыли наше сердце всякому пониманию, постижению, *одобрению*. Мы отрицаем не легко, мы ищем нашей чести в том, чтобы быть *утверждающими*. Все больше раскрываются наши глаза на ту экономию, которая нуждается и умеет пользоваться даже всем тем, что отвергает святое сумасбродство жреца, *большого* разума в жреце, на ту экономию в законе жизни, которая извлекает свою выгоду даже из отвратительной специи пустосвята, жреца, добродетельного, — *какую* выгоду? — Но сами мы, мы, имморалисты, являемся ответом на это...



## ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

### 1

**З**аблуждение, заключающееся в смешивании причины и следствия. Нет более опасного заблуждения, чем *смешивать следствие с причиной*: я называю его подлинной испорченностью разума. Тем не менее это заблуждение принадлежит к числу древнейших и позднейших привычек человечества: оно даже освящено у нас, оно носит название «религии»-»морали». Каждое положение, формулируемое религией и моралью, содержит его в себе; жрецы и законодатели нравственности являются виновниками этой испорченности разума. — Приведу пример. Всякий знает книгу знаменитого Корнаро, в которой он рекомендует свою скудную диету как рецепт для долгой и счастливой — а также добродетельной — жизни. Не многие книги находили столько читателей, как эта; она еще и теперь печатается в Англии ежегодно во многих тысячах экземпляров. Не сомневаюсь в том, что едва ли какая-нибудь книга (разумеется, исключая Библию) причинила столько бедствий, *сократила* столько жизней, как это столь благонамеренное *sigiosum*. Основание этого: смешивание следствия с причиной. Честный итальянец видел в своей диете *причину* своей долгой жизни: тогда как предусловие долгой жизни — чрезвычайная медленность обмена веществ, малая трата была причиной его скудной диеты. Он не был волен есть мало *или* много. Его умеренность была *не* «свободной волей»: он становился больным, когда ел больше. Но кто не карп, тому не только хорошо, но и нужно есть *как следует*. Ученый наших дней, при быстром расходовании своей нервной силы, погубил бы себя этим régime Корнаро. *Crede experto*. —

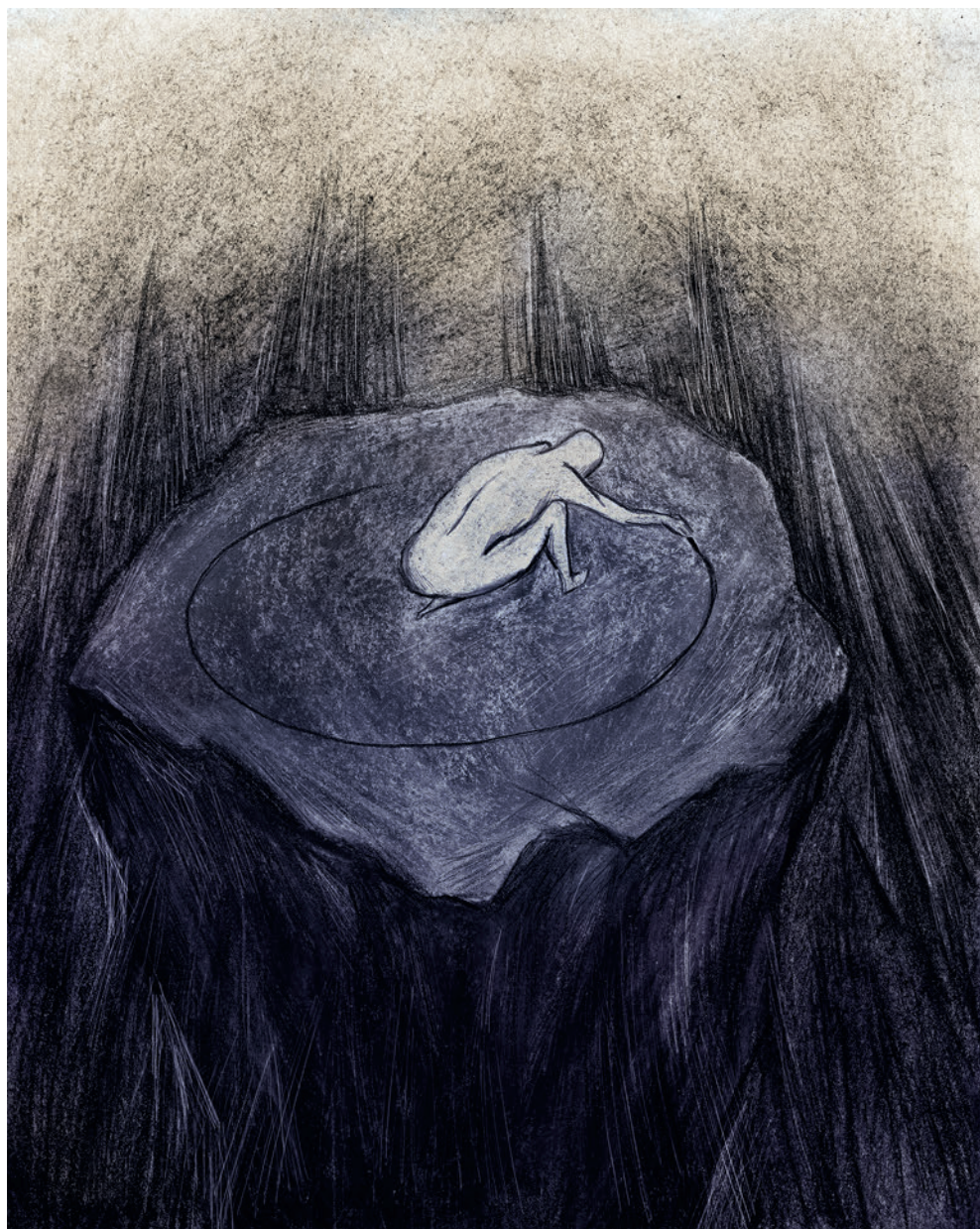
### 2

Самая общая формула, лежащая в основе всякой религии и морали, гласит: «*делай то-то и то-то, не делай того-то и того-то — и ты будешь счастлив!* В противном

случае...» Каждая мораль, каждая религия *есть* этот императив — я называю его великим наследственным грехом разума, *бессмертным неразумием*. В моих устах эта формула превращается в обратную ей — *первый* пример моей «переоценки всех ценностей»: удачный человек, «счастливец», *должен* совершать известные поступки и инстинктивно боится иных поступков, он вносит порядок, который он физиологически являет собою, в свои отношения к людям и вещам. Формулируя это: его добродетель есть следствие его счастья... Долгая жизнь, многочисленное потомство не есть награда за добродетель, скорее сама добродетель есть то замедление обмена веществ, которое, между прочим, имеет следствием также долгую жизнь, многочисленное потомство, словом, корнаризм. — Церковь и мораль говорят: «род, народ гибнет от порока и роскоши». Мой *восстановленный* разум говорит: если народ гибнет, физиологически вырождается, то из этого *вытекают* порок и роскошь (то есть потребность все в более сильных и частых раздражениях, которая знакома всякой истощенной натуре). Этот молодой человек рано становится бледным и вялым. Его друзья говорят: этому причина такая-то и такая-то болезнь. Я говорю: *что* он стал больным, *что* он не мог сопротивляться болезни, было уже следствие оскудевшей жизни, наследственного истощения. Читатель газет говорит: эта партия губит себя такой ошибкой. Моя *высшая* политика говорит: партия, делающая такую ошибку, находится на краю гибели — она уже не обладает уверенностью своего инстинкта. Каждая ошибка во всяком смысле есть следствие вырождения инстинкта, дисрегуляции воли: этим почти определяется *дурное*. Все *хорошее* есть инстинкт — и, следовательно, легко, необходимо, свободно. Тягостный труд есть возражение, *Бог* имеет типичное отличие от героя (на моем языке: *легкие* ноги суть первый атрибут божественности).

### 3

*Заблуждение ложной причинности.* Во все времена полагали, что знают, что такое причина, — но откуда взяли мы это знание, точнее, нашу веру, что мы знаем это? Из области знаменитых «внутренних фактов», из которых ни один до сих пор не выказал своей фактичности. Мы воображали самих себя причинными в акте воли; мы полагали по меньшей мере, что *поймали тут причинность с поличным*. Равным образом не сомневались в том, что все *antecedentia* поступка, его причины, надо искать в сознании и что они найдутся там, если их поискать — в качестве «мотивов»: иначе ведь мы не были бы свободны *совершить* поступок, не были бы ответственны *за* него. Наконец, кто станет оспаривать, что мысль причиняется? что *Я* производит мысль?.. Из этих трех «внутренних фактов», которые, по-видимому, служили ручательством за причинность, первым и самым убедительным является факт *воли как причины*; концепция сознания («духа») как причины, а еще позже концепция *Я* («субъекта») как причины родились лишь впоследствии, после того как относительно воли причинность была установлена как данная, как *эмпирия*... Между тем мы лучше обдумали этот вопрос. Мы не верим нынче ни одному слову из всего этого. «Внутренний мир» полон призраков и блуждающих огней: воля есть один из них. Воля уже более ничем не движет, следовательно, также ничего более не объясняет — она только сопровождает события, она может также и отсутствовать. Так называемый «мотив» — другое заблуждение. Просто поверхностный феномен сознания, спутник деяния, ко-



*Заблуждение, заключающееся в смешивании причины и следствия*



торый скорее прикрывает *antecedentia* деяния, нежели выставляет их. И даже Я! Оно стало басней, фикцией, игрой слов: оно совершенно перестало мыслить, чувствовать и хотеть!.. Что отсюда следует? Нет никаких духовных причин! Вся мнимая эмпирия в пользу этого пошла к черту! *Вот* что отсюда следует! — И мы мило злоупотребляли этой «эмпирией», мы *создали* на основании ее мир как мир причин, как мир воли, как мир духов. Над этим работала самая древняя и самая продолжительная психология, она не делала ничего другого: всякое совершение стало для нее действием, всякое действие следствием воли, мир стал для нее множеством действующих лиц, действующее лицо («субъект») подсовывало себя под каждое совершение. Человек выпроецировал из себя свои три «внутренних факта», то, во что он тверже всего верил, — волю, дух, Я, он выудил понятие «бытие» впервые из понятия Я, он понял «вещи», как нечто сущее, по своему подобию, по своему понятию Я как причины. Что же удивительного, если он позже всегда лишь находил в вещах то, *что вложил в них?* — Сама вещь, повторяю, понятие «вещь», просто рефлекс веры в Я как причину... И даже еще ваш атом, господа механики и физики, сколько заблуждения, сколько рудиментарной психологии осталось еще в вашем атоме! — Не говоря уже о «вещи в себе», *horrendum pudendum* метафизиков! Заблуждение о духе как причине смешать с реальностью! И сделать мерилом реальности! И назвать *Богом*! —

## 4

*Заблуждение воображаемой причинности.* Начнем со сновидения: под какое-нибудь определенное ощущение, например от отдаленного пушечного выстрела, задним числом подсовывается причина (часто целый маленький роман, в котором именно грезящий является главным лицом). Между тем ощущение продолжается, как бы в виде резонанса: оно как бы ждет, пока инстинкт причины позволит ему выступить на передний план — теперь уже не в качестве случая, а в качестве «смысла». Пушечный выстрел выступает на сцену *каузальным* путем, в кажущемся обратном течении времени. Более позднее, мотивация, переживается раньше, часто с сотней подробностей, протекающих с быстротою молнии, выстрел *следует*... Что же случилось? Представления, *порожденные* известным состоянием, были ложно поняты как его причина. — Фактически мы делаем во время бдения то же самое. Большая часть наших общих чувств — всякого вида затруднение, гнет, напряжение, взрыв в перекрестной игре органов, в особенности же состояние *pervius sympathicus* — возбуждают наш инстинкт причины: мы хотим иметь *основание* того, что чувствуем себя *так-то и так-то* — чувствуем себя дурно или хорошо. Нам никогда не бывает достаточно просто лишь установить факт, что мы чувствуем себя так-то и так-то: мы допускаем этот факт — *сознаем* его — лишь тогда, *когда* дали ему нечто вроде мотивировки. — Воспоминание, начинающее действовать в таких случаях без нашего ведома, приводит прежние состояния подобного рода и сросшиеся с ними каузальные толкования — *не* их причинность. Конечно, вера в то, что представления, что сопровождающие явления сознания были причинами, также всплывает благодаря воспоминанию. Так возникает *привычка* к известному причинотолкованию, которая в действительности затрудняет *исследование* причины и даже исключает его.





*Заблуждение воображаемой причинности*

## 5

*Психологическое объяснение этого.* Сведение чего-нибудь незнакомого к чему-нибудь знакомому облегчает, успокаивает, умиротворяет, кроме того, дает чувство власти. Незнакомое приносит с собою опасность, беспокойство, заботу — первый инстинкт направляется к тому, чтобы *устранить* тягостное состояние. Первый принцип: какое-нибудь объяснение лучше, чем никакое. Так как дело идет, в сущности, лишь о желании освободиться от угнетающих представлений, то в средствах освободиться от них не бывают очень-то разборчивы: первое представление, которым незнакомое объясняется как знакомое, действует так благотворно, что его «считают истинным». Доказательство от *удовольствия* («силы») как критерий истины. — Итак, инстинкт причины обуславливается и возбуждается чувством страха. «Почему?» должно, если только возможно, не столько давать причину ради нее самой, сколько скорее *нечто вроде причины* — успокаивающую, освобождающую, облегчающую причину. Что нечто уже *знакомое*, пережитое, записанное в воспоминании прилагается в качестве причины, это первое следствие такой потребности. Новое, неизданное, чуждое исключается как причина. — Таким образом в качестве причины ищется не только какой-нибудь вид объяснений, а *избранный и привилегированный* вид объяснений, таких, при которых быстрее всего, чаще всего устраняется чувство чуждого, нового, неизданного, — *обыкновенных* объяснений. — Следствие: один вид установления причин перевешивает все более, концентрируется в систему и, наконец, выступает *доминирующим*, т. е. просто исключаящим *другие* причины и объяснения. — Банкир сейчас же думает о «деле», христианин — о «грехе», девушка — о своей любви.

## 6

*Вся область морали и религии может быть подведена под это понятие воображаемых причин.* «Объяснение» *неприятных* общих чувств. Они обуславливаются существами, враждебными нам (злыми духами: самый прославленный случай — ложное понимание истеричек как ведьм). Они обуславливаются поступками, не заслуживающими одобрения (чувство «греха», «греховности», подсовываемое под физиологическое недомогание, — всегда имешь основания быть недовольным собой). Они обуславливаются как наказания, как расплата за нечто, чего мы не должны бы были делать, чем мы не должны бы были *быть* (в бесстыдной форме обобщено Шопенгауэром в том положении, в котором мораль является тем, что она есть, подлинной отравительницей и клеветницей жизни: «Всякое великое страдание, все равно, телесное или духовное, говорит нам, чего мы заслуживаем, ибо оно не могло бы постигнуть нас, если бы мы его не заслуживали»). «Мир как воля и представление II 666). Они обуславливаются необдуманностями, дурно кончающимися поступками (— аффекты, чувства, предполагаемые в качестве причин, в качестве «виновных»; физиологические бедствия, истолкованные с помощью *других* бедствий как «заслуженные»). — «Объяснение» *приятных* общих чувств. Они обуславливаются упованием на Бога. Они обуславливаются сознанием хороших поступков (так называемая «чистая» совесть, физиологическое состояние, порою схожее с удачным пищеварением как две капли воды). Они обуславливаются счастливым исходом предприятий

(— наивное ложное заключение: счастливый исход предприятия отнюдь не даст кому-нибудь ипохондрику или Паскалю приятных общих чувств). Они обуславливаются верой, любовью, надеждой — христианскими добродетелями. — В действительности все эти мнимые объяснения суть *результаты* и как бы переводы чувства удовольствия или неудовольствия на фальшивый диалект: находятся в состоянии надежды, *потому что* основное физиологическое чувство становится снова сильным и богатым: уповают на Бога, *потому что* чувство полноты и силы дает человеку покойствие. Мораль и религия всецело относятся к *психологии заблуждения*: в каждом отдельном случае причина смешивается с действием; или истина смешивается с действием чего-то *считаемого* истинным; или состояние сознания смешивается с причинностью этого состояния. —

## 7

*Заблуждение относительно свободной воли.* Мы нынче совершенно не сочувствуем понятию «свободная воля»: мы слишком хорошо знаем, что оно такое — самый сомнительный фокус теологов, какой только есть, с целью сделать человечество «ответственным» в их смысле, т. е. *сделать зависимым от них самих...* Я даю здесь лишь психологию всякого делания ответственным. — Всюду, где ищутся ответственности, ищущим обыкновенно является инстинкт *желания наказывать и судить*. Лишают становление его невинности, если сводят какое-нибудь данное состояние к воле, к намерениям, к актам ответственности: учение о воле измышлено главным образом для целей наказания, т. е. *желания находить виновных*. Вся древняя психология, психология воли, зиждется на том, что ее создатели, жрецы, стоявшие во главе древних общин, хотели создать себе *право* присуждать к наказаниям — или создать для Бога право на это... Людей мыслили «свободными», чтобы их можно было судить и наказывать, — чтобы они могли быть *виновными*: следовательно, каждый поступок *должен был* мыслиться как намеренный, а источник каждого поступка — находящимся в сознании (— чем *наипринципиальная* фабрикация фальшивых монет in psychologicis была возведена в принцип самой психологии...). Нынче, когда мы вступили в *обратное* движение, когда особенно мы, имморалисты, пытаемся всеми силами снова изъять из мира понятия вины и наказания и очистить от них психологию, историю, природу, общественные установления и санкции, в наших глазах не существует более радикальных противников, чем теологи, продолжающие заражать невинность становления понятием «нравственного миропорядка», «наказанием» и «виною». Христианство есть метафизика палача...

## 8

Что только и может быть *нашим* учением? — Что никто не *дает* человеку его качеств, ни Бог, ни общество, ни его родители и предки, ни *он сам* (— бессмыслица последнего из отрицаемых представлений имеет место в учении Канта, как «интелигибельная свобода», а может быть, уже и у Платона). *Никто* не ответствен за то, что он вообще существует, что он обладает такими-то и такими-то качествами, что



он находится среди этих обстоятельств, в этой обстановке. Фатальность его существования не может быть высвобождена из фатальности всего того, что было и что будет. Он *не* есть следствие собственного намерения, воли, цели, в лице его *не* делается попытка достигнуть «идеала человека», или «идеала счастья», или «идеала нравственности», — абсурдно желать *свалить* его сущность в какую-нибудь цель. Мы изобрели понятие «цель»: в реальности *отсутствует* цель... Являешься необходимым, являешься частицей рока, принадлежишь к целому, *существуешь* в целом — нет ничего, что могло бы судить, мерить, сравнивать, осуждать наше бытие, ибо это значило бы судить, мерить, сравнивать, осуждать целое... *Но нет ничего, кроме целого!* — Что никто более не будет делаем ответственным, что вид бытия нельзя сводить к causa prima, что мир, ни как сенсориум, ни как «дух», не есть единство, *только это и есть великое освобождение*, — только этим и восстанавливается вновь *невинность* становления... Понятие «Бог» было до сих пор сильнейшим *возражением* против существования... Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность в Боге: *этим* впервые спасаем мы мир. —



## «ИСПРАВИТЕЛИ» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

### 1

Известно требование, предъявляемое мною философам: становиться *по ту сторону* добра и зла, — оставить *под* собою иллюзию морального суждения. Это требование вытекает из познания, сформулированного впервые мною: *что не существует вовсе никаких моральных фактов*. Моральное суждение имеет то общее с религиозным, что верит в реальности, не являющиеся таковыми. Мораль есть лишь истолкование известных феноменов, говоря точнее, *ложетолкование*. Моральное суждение, как и религиозное, относится к той ступени невежества, на которой еще отсутствует даже понятие реального, различие реального и воображаемого: так что «истина» на этой ступени означает все такие вещи, которые мы нынче называем «фантазиями». Постольку моральное суждение никогда не следует принимать буквально: как таковое, оно всегда содержит лишь нелепость. Но оно остается неоценимым как *семиотика*: оно открывает, по крайней мере сведущему, ценнейшие реальности культур и внутренних переживаний, которые недостаточно *знали*, чтобы «понимать» самих себя. Мораль есть просто язык знаков, просто симптоматология: нужно уже знать, *о чем* идет дело, чтобы извлекать из нее пользу.

### 2

Первый пример и совершенно предварительно. Во все времена хотели «исправлять» людей — это прежде всего называлось моралью. Но за одним и тем же словом скрываются самые разнообразные тенденции. Как *укрощение* зверя человека, так и *расположение* известной породы человека называется «улучшением»: только эти зоологические термины выражают реальности, — конечно, такие реальности, о которых типичный «исправитель», жрец, ничего не знает, — ничего не *хочет* знать... Называть укрощение животного его «улучшением» — это звучит для нашего уха по-

чти как шутка. Кто знает, что происходит в зверинцах, тот сомневается в том, чтобы зверя там «улучшали». Его ослабляют, делают менее вредным, он становится благодаря депрессивному аффекту страха, боли, ранам, голоду *болезненным* зверем. — Не иначе обстоит дело и с укрощенным человеком, которого «исправил» жрец. В начале Средних веков, когда церковь действительно была прежде всего зверинцем, всюду охотились за прекраснейшими экземплярами «белокурых бестий», — «исправляли», например, знатных германцев. Но как выглядел вслед за тем такой «исправленный», завлеченный в монастырь германец? Как карикатура человека, как выродок: он сделался «грешником», он сидел в клетке, его заперли в круг сплошных ужасных понятий... И вот он лежал там больной, жалкий, озлобленный на самого себя; полный ненависти к позывам к жизни, полный подозрений ко всему, что было еще сильным и счастливым. Словом, «христианин»... Говоря физиологически: в борьбе со зверем разрушение его здоровья *может* быть единственным средством сделать его слабым. Это поняла церковь: она *испортила* человека, она ослабила его, — но она заявила претензию на то, что «исправила» его...

### 3

Возьмем другой случай так называемой морали, случай расползания известной расы и породы. Самый грандиозный пример этого дает индийская мораль, санкционированная как религия, в качестве «Закона Ману». Тут поставлена задача вывести не менее четырех сортов рас одновременно: жреческую, военную, торговую и земледельческую, наконец, расу слуг, шудр. Ясно, что здесь мы уже не среди укротителей зверей: во сто раз, более мягкий и разумный вид человека нужен уже для того, чтобы лишь начертать план такого расползания. Вдыхаешь свободно, переходя из христианской атмосферы больниц и тюрем в этот более здоровый, более высокий, *более просторный* мир. Как убог «Новый Завет» по сравнению с Ману, как скверно пахнет он! — Но и этой организации понадобилось быть *устрашающей*, — на этот раз в борьбе не с бестией, а с *ее* противопонятием, с неплеменным человеком, с человеко-помесью, с чандалою. И опять-таки она не нашла другого средства сделать его безопасным, слабым, как сделав его *больным*, — это была борьба с «великим множеством». Быть может, нет ничего более противоречащего нашему чувству, нежели *эти* предохранительные меры индийской морали. Третье предписание, например (Avadana-Sastra I) «о нечистых овощах», устанавливает, что единственной пищей, дозволенной чандалам, должны быть лук и чеснок, принимая во внимание, что священная книга воспрещает давать им семена или плоды, носящие семена, или *воду*, или огонь. То же предписание устанавливает, что необходимая им вода не может быть взята ни из рек, ни из источников, ни из прудов, а лишь из доступов к болотам и из углублений, оставляемых следами животных. Равным образом им запрещалось мыть свое белье и *мыться самим*, так как даваемою им из милости водою разрешалось пользоваться только для утоления жажды. Наконец, запрещалось женщинам-шудрам оказывать помощь женщинам-чандалам при родах, так же как последним *помогать при этом друг другу*... — Результат таких санитарно-полицейских предписаний не преминул обнаружиться: смертельные эпидемии, омерзительные половые болезни и по отношению к ним опять применение «закона ножа», обре-



*Во все времена хотели «исправлять» людей — это прежде всего называлось  
моралью*



зание для мальчиков, удаление малых срамных губ для девочек. — Сам Ману говорит: «Чанда́ла — плод прелюбодеяния, кровосмешения и преступления (— это *необходимая* последовательность понятия располжения). Одеждой им должны служить лишь лохмотья с трупов, посудой — разбитые горшки, для украшений старое железо, для богослужений только злые духи: они должны без отдыха бродить с одного места на другое. Им запрещается писать слева направо и пользоваться для писания правой рукой: пользование правой рукой и писание слева направо остается только за *доброделельными*, за людьми *расы*». —

## 4

Эти предписания довольно поучительны: в них мы имеем *арийскую* гуманность в совершенно чистом, в совершенно первоначальном виде, — мы узнаем, что понятие «чистая кровь» является антиподом безобидного понятия. С другой стороны, становится ясным, в *каком* народе увековечилась ненависть, ненависть чанда́лы к этой «гуманности», где она стала религией, где она стала *гением*... С этой точки зрения Евангелия являются документом первого ранга; еще более книга Еноха. — Христианство, имеющее иудейский корень и понятное лишь как растение этой почвы, представляет собою *движение, противное* всякой морали располжения, *расы*, привилегии: это *антиарийская* религия *par excellence*; христианство — переоценка всех арийских ценностей, победа ценностей чанда́лы, проповедь Евангелия нищим и низменным, общее восстание всего попираемого, отверженного, неудавшегося, пострадавшего против «расы», — бессмертная месть чанда́лы, как *религия любви*...

## 5

Мораль *располжения* и мораль *укрошения* по средствам для достижения своих целей вполне стоят друг друга: мы имеем право установить в качестве высшего положения, что для *создания* морали надо иметь безусловно волю к противоположному. Вот великая, *жуткая* проблема, которую я преследовал дольше всего: психология «исправителей» человечества. Маленький и, в сущности, скромный факт, факт так называемой *ria graus*, дал мне первый доступ к этой проблеме: *ria graus*, наследие всех философов и жрецов, которые «исправляли» человечество. Ни Ману, ни Платон, ни Конфуций, ни иудейские и христианские учителя никогда не сомневались в своем *праве* на ложь. Они не сомневались в *совсем других правах*... Формулируя это, можно сказать: *все средства, которые до сих пор должны были сделать человечество нравственным, были совершенно безнравственными*. —



## ЧЕГО НЕДОСТАЕТ НЕМЦАМ

### 1

Среди немцев нынче недостаточно иметь ум: нужно еще заявить претензию на него, *позволить* себе быть умным...

Быть может, я знаю немцев, быть может, я смею даже высказать им несколько истин. Новая Германия представляет собою большое количество унаследованной и привитой доблести, так что даже может некоторое время расточительно расходовать накопленное сокровище силы. *Не* высокая культура достигла в ее лице господства, еще того менее утонченный вкус, аристократическая «красота» инстинктов; но *более мужские* добродетели, чем может выставить какая-либо другая страна Европы. Много бодрости и уважения к самому себе, много уверенности в обхождении, во взаимности обязанностей, много трудолюбия, много выносливости — и унаследованная умеренность, нуждающаяся скорее в шипах, чем в тормозе. Прибавлю к этому, что тут еще повинуются без того, чтобы повиновение смиряло... И никто не презирает своего противника...

Читатель видит, что мое желание — быть справедливым к немцам: мне не хотелось бы изменить себе в этом, — стало быть, я должен также сказать, что я имею против них. Дорого стоит достигнуть могущества: могущество *одуряет*... Немцы — их называли некогда народом мыслителей, — мыслят ли они еще нынче вообще? Немцы скучают теперь от ума, немцы не доверяют теперь уму, политика поглощает всю серьезность, нужную для действительно духовных вещей — «Deutschland, Deutschland über alles», я боюсь, что это было концом немецкой философии... «Есть ли немецкие философы? есть ли немецкие поэты? есть ли *хорошие* немецкие книги?» — спрашивают меня за границей. Я краснею, но с храбростью, свойственной и мне в отчаянных случаях, отвечаю: «Да, *Бисмарк*!» — Разве я посмел бы хоть только сознаться, какие книги читают теперь?.. Проклятый инстинкт посредственности! —

## 2

— Чем *мог бы* быть немецкий ум, кто только не размышлял об этом с тоскою! Но этот народ самовольно одурял себя почти в течение тысячи лет: нигде так порочно не злоупотребляли двумя сильными европейскими наркотиками, алкоголем и христианством. С недавнего времени к ним прибавилось еще и третье, которое одно уже способно доконать всякую топкую и смелую гибкость ума, — музыка, наша засоренная, засоряющая немецкая музыка. — Сколько утрюмой тяжести, вялости, сырости, халата, сколько *пива* в немецкой интеллигенции! Как это, собственно, возможно, чтобы молодые люди, посвятившие жизнь духовным целям, не чувствовали бы в себе первого инстинкта духовности, *инстинкта самосохранения духа* — и пили бы пиво?.. Алкоголизм ученой молодежи, быть может, еще не является вопросительным знаком по отношению к их учености — можно, даже и не обладая умом, быть великим ученым, — но во всяком другом отношении он остается проблемой. — Где только не найдешь его, этого тихого вырождения, которое производит в духовной области пиво! Я указал уже однажды в случае, ставшем почти знаменитым, на такое вырождение — вырождение нашего первого немецкого вольнодумца, *умного* Давида Штрауса, в автора евангелия распивочных и «новой веры»... Недаром он выразил в стихах свое обещание «прелестной шатенке!» — верность до гроба...

## 3

— Я сказал о немецком уме, что он стал грубее, что он опошляется. Довольно ли этого? — В сущности, меня ужасает нечто совершенно другое: как все более умаляется немецкая серьезность, немецкая глубина, немецкая *страсть* в духовных вещах. Изменился пафос, а не только интеллектуальность. — Возьмем хотя бы немецкие университеты: что за атмосфера царит среди их ученых, какой бесплодный, какой невзыскательный и остывший дух! Было бы глубоким недоразумением выставять мне здесь в качестве возражения немецкую науку — да еще и доказательством того, что не читали ни одного слова из моих сочинений. Я неустанно указывал в течение семнадцати лет на *обездрушивающее* влияние нашего теперешнего научного стремления. Суровое илотство, на которое осуждает нынче каждого чудовищный объем наук, является главным основанием того, что более одаренные, богатые, *глубокие* натуры уже не находят соответственного им воспитания, *а также воспитателей*. Наша культура не страдает ничем *в большей степени*, нежели излишком заносчивых поденщиков и обрывков человека: наши университеты являются, против воли, настоящими теплицами для этого вида оскудения инстинкта духа. И вся Европа уже понимает это — великая политика не обманет никого... Германия слывет все более *плоскостной* Европы. — Я все еще *ищу* немца, с которым *я* мог бы быть серьезным на свой лад, — во сколько же раз больше жажду я найти такого, с которым я мог бы быть веселым! — *Сумерки идолов*: ах, кто поймет нынче, *от какой серьезности* отдыхает тут отшельник! — Веселость в нас самое непостижимое...



*Возьмем хотя бы немецкие университеты: что за атмосфера царит среди их ученых, какой бесплодный, какой невзыскательный и остывший дух!*



## 4

Произведем подсчет: не только ясно, что немецкая культура понижается, но есть и достаточное основание для этого. Никто не может в конце концов расходовать больше, чем имеет — это справедливо относительно отдельных лиц, это справедливо и относительно народов. Если израсходуешь себя на могущество, на великую политику, на хозяйство, на международные сношения, парламентаризм, военные интересы, — если отдашь то количество ума, серьезности, воли, самопреодоления, которое представляешь собою, в эту сторону, то явится недочет на другой стороне. Культура и государство — не надо обманываться на этот счет — антагонисты: «культурное государство» есть только современная идея. Одно живет другим, одно преуспевает за счет другого. Все великие эпохи культуры суть эпохи политического упадка: что велико в смысле культуры, то было неполитичным, даже *антиполитичным*... У Гёте вошло сердце при появлении Наполеона, — оно *зашло* у него во время «войн за свободу»... В то же самое мгновение, как Германия возвышается в качестве великой державы, получает Франция, как *культурная держава*, новое значение. Уже нынче много новой серьезности, много новой *страсти* духа переключалось в Париж; вопрос пессимизма, например вопрос Вагнера, почти все психологические и художественные вопросы трактуются там несравненно тоньше и основательнее, чем в Германии, — немцы даже *не способны* на серьезность этого рода. — В истории европейской культуры возникновение «империи» означает прежде всего одно: *перенесение центра тяжести*. Уже известно везде: в главном — а им остается культура — немцы не принимаются более в расчет. Спрашивают: можете ли вы указать хоть на один имеющий европейское значение ум? каким был ваш Гёте, ваш Гегель, ваш Генрих Гейне, ваш Шопенгауэр? — Что нет более ни одного немецкого философа, это вызывает удивления без конца. —

## 5

Все высшее воспитательное дело в Германии лишилось главного — *цели*, равно как и *средства* для достижения цели. Что воспитание, *образование* само есть цель — а не «империя», — что для этой цели нужны *воспитатели* — а не учителя гимназий и университетские ученые — об этом забыли... Нужны воспитатели, которые *сами воспитаны*, превосходящие других, аристократы духа, доказывающие это каждую минуту, доказывающие это и словом и молчанием, зрелые, ставшие *сладкими* культуры, — а не ученые олухи, каких нынче предлагает юношеству гимназия и университет в качестве «высших няnek». Воспитателей *нет*, не считая исключений из исключений, нет *первого* предусловия воспитания — *отсюда* упадок немецкой культуры. — Одним из этих редчайших исключений является мой достопочтенный друг Якоб Буркхардт в Базеле: ему прежде всего обязан Базель своим превосходством по части гуманности. — То, чего фактически достигают «высшие школы» Германии, есть зверская дрессировка с целью приготовить с возможно меньшей потерей времени множество молодых людей, полезных, могущих быть *использованными* для государственной службы. «Высшее воспитание» и *множество* — это заранее противоречит одно другому. Всякое высшее воспитание подобает лишь исключениям: нужно быть привилегированным, чтобы иметь право на такую высокую привилегию. Все вели-



кие, все прекрасные вещи никогда не могут быть общим достоянием: *pulchrum est raucogum hominum*. — Что обуславливает упадок немецкой культуры? Что «высшее воспитание» уже не является *преимуществом* — демократизм «всеобщего», ставшего *пошлым* «образования»... Не следует забывать, что воинские льготы положительно вынуждают *слишком многих к посещению* высших школ, то есть способствуют их упадку. — Никто уже не волен в нынешней Германии дать своим детям аристократическое воспитание: все наши «высшие» школы рассчитаны на самую двусмысленную посредственность, с их учителями, учебными планами, учебными целями. И всюду царит неприличная торопливость, точно будет что-нибудь упущено, если молодой человек в 23 года еще не «готов», еще не знает, что ответить на «главный вопрос»: *какое призвание?* — Высшая порода людей, с позволения сказать, не любит «призваний», именно потому, что сознает себя призванной... У нее есть время, она не спешит, она совсем не думает о том, чтобы стать «готовой», — в тридцать лет, в смысле высшей культуры, являешься начинающим, ребенком. — Наши переполненные гимназии, наши обремененные, отупленные учителя гимназий — ведь это скандал: чтобы защищать такое положение дел, как это было недавно сделано профессорами Гейдельберга, на это, быть может, есть *причины*, — оснований для этого нет.

## 6

— Чтобы остаться верным своему характеру, характеру *утверждающему* и лишь косвенно, лишь поневоле имеющему дело с противоречием и критикой, я устанавливаю тотчас же три задачи, ради которых нужны воспитатели. Надо научиться *смотреть*, надо научиться *мыслить*, надо научиться *говорить* и *писать*: целью всех трех является аристократическая культура. — Научиться *смотреть* — приучить глаз к спокойствию, к терпению, приучить его заставлять приближаться к себе; откладывать суждение, научиться обходить и охватывать частный случай со всех сторон. Такова *первая* подготовка к духовному развитию: *не* реагировать тотчас же на раздражение, а приобрести тормозящие, запирающие инстинкты. Научиться *смотреть*, как я понимаю это, есть почти то самое, что на нефилософском языке называется сильной волей: существенное в этом именно — *не* «хотеть», *мочь* откладывать решение. Вся духовная неразвитость, вся пошлость зиждется на неспособности сопротивляться раздражению: человек *должен* реагировать, он следует каждому импульсу. Во многих случаях такая необходимость является уже болезненностью, упадком, симптомом истощения, — почти все, что нефилософское невежество называет именем «порока», есть только эта физиологическая неспособность *не* реагировать. — Применение выучки смотреть: делаешься, как *учащийся* вообще, медленным, недоверчивым, сопротивляющимся. Чуждое, *новое* всякого вида заставляешь сперва подходить к себе с враждебным спокойствием, — отдергиваешь от него руку. Раскрывание всех дверей, покорное лежание на брюхе перед каждым маленьким фактом, готовность во всякое время влезать, *вторгаться* в других и в другое, словом, знаменитая современная «объективность» является дурным вкусом и *неаристократична* par excellence.

## 7

Научиться *мыслить*: в наших школах не имеют более никакого понятия об этом. Даже в университетах, даже среди подлинных эрудитов философии логика как теория, как практика, как *ремесло* начинает вымирать. Почитайте немецкие книги: никакого, даже самого отдаленного, воспоминания о том, что для мышления нужна техника, учебный план, воля к мастерству, — что мышление *требует* изучения, как требуют его танцы, *как* нечто вроде танца... Кто из немцев знает еще по опыту те тонкие содрогания, которыми *легкие ноги* в умственной области переполняют все мускулы. — Надутая неуклюжесть умственных приемов, *грубая* рука при схватывании — это нечто до такой степени немецкое, что за границей это смешивают вообще с немецкой натурой. У немца нет *пальцев* для nuances... Что немцы хоть только выдержали своих философов, прежде всего этого уродливейшего идейного калеку, какой только существовал, *великого* Канта, это дает немалое понятие о немецком изяществе. — Нельзя именно исключить из *аристократического воспитания танцы* во всякой форме, умение танцевать ногами, понятиями, словами: нужно ли мне еще говорить, что это надо уметь делать также *пером*, — что нужно научиться *писать*? — Но в этом пункте я стал бы для немецких читателей полнейшей загадкой...

## НАБЕГИ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО

### 1

*Мои невозможные.* Сенека, или тореадор добродетели. — Руссо, или возвращение к природе in impuris naturalibus. — Шиллер, или трубач морали из Зэкингена. — Данте, или гиена, *слагающая стихи* в могилах. — Кант, или saint как интеллигибельный характер. — Виктор Гюго, или маяк у моря безумия. — Лист, или школа беглости — за женщинами. — Жорж Санд, или lactea ubertas, по-немецки: дойная корова с «прекрасным стилем». — Мишле, или вдохновение, снимающее скюртук. — Карлейль, или пессимизм, как вышедший назад обед. — Джон Стюарт Милль, или оскорбительная ясность. — *Les frères de Goncourt*, или два Аякса в борьбе с Гомером. Музыка Оффенбаха. — Золя, или «радость издавать зловоние».

### 2

*Ренан.* Теология, или испорченность разума «наследственным грехом» (христианством). Доказательство — Ренан, который промахивается с томительной регулярностью, как только рискнет на какое-нибудь Да или Нет более общего вида. Ему хотелось бы, например, соединить в одно la science и la noblesse, но la science относится к демократии, ведь это ясно как день. Он желает, с немалым честолюбием, представлять собою духовный аристократизм; но вместе с тем он ползает на коленях, и не только на коленях, перед противоположным ему учением, перед *evangile des humbles*... Чему поможет все вольнодумство, весь модернизм, вся насмешливость и проворство вертишейки, если своим нутром человек остался христианином, католиком и даже жрецом! Ренан, совершенно как иезуит и ксёндз, изобретателен в оболыщении; его гению не чужды широкие поповские улыбки, — он, как и все жрецы, становится опасным лишь тогда, когда любит. Никто не сравнится с ним в искусстве поклоняться с большей опасностью для жизни... Этот дух Ренана, дух *энервирующий*, является лишним фатумом для бедной, больной, страдающей болезнью воли Франции. —

## 3

*Сент-Бёв.* Ничего от мужчины; полон мелкой злобы ко всем мужам по духу. Блуждает вокруг, утонченный, любопытный, надоедливый, подслушивающий, — в сущности, особа женского пола, с женской мстительностью и женской чувственностью. Как психолог, гений de la medisance; неистощимо богат средствами на это; никто не умеет лучше его смешивать похвалу с ядом. Плебей в своих низших инстинктах и родственник с *ressentiment* Руссо: *следовательно*, романтик, — ибо под всем *romantisme* скрывается хрюкающий и жаждущий мести инстинкт Руссо. Революционер, но еще кое-как сдерживаемый страхом. Без свободы перед всем, что обладает силой (общественное мнение, академия, двор, даже Пор-Рояль). Озлобленный против всего великого в людях и вещах, против всего, что верит в себя. В достаточной степени поэт и полуженщина, чтобы все еще чувствовать великое как власть; постоянно извивающийся, как тот знаменитый червь, потому что он постоянно чувствует себя придавленным. Как критик, без масштаба, опоры и хребта, с языком космополитического *libertin* для самого разнообразного, но без мужества даже сознаться в *libertinage*. Как историк, без философии, без *властности* философского взора, — поэтому отклоняющий задачу судьбы во всех важных вещах, прикрывающийся «объективностью», как маской. Иначе относится он ко всем вещам, где тонкий, изощренный вкус является высшей инстанцией: тут он действительно имеет мужество в отношении себя, наслаждается собою, — тут он *мастер*. — С некоторых сторон это предформа Бодлера. —

## 4

*Imitatio Christi* принадлежит к числу книг, которые я держу в руках не без физиологического отвращения: она издает *parfum* Вечно-Женственного, для которого уже нужно быть французом — или вагнерианцем... У этого святого такая манера говорить о любви, что возбуждает любопытство даже у парижанок. — Мне говорят, что тот *умнейший* иезуит, Ог. Конт, который хотел привести своих *французов* *окольным путем* науки в Рим, вдохновился этой книгой. Я верю этому: «религия сердца»...

## 5

*Дж. Элиот.* Они освободились от христианского Бога и полагают, что тем более должны удерживать христианскую мораль: это *английская* последовательность; мы не будем осуждать за нее моральных самок à la Элиот. В Англии за каждую маленькую эмансипацию от теологии надо снова ужасающим образом восстанавливать свою честь в качестве фанатика морали. Там это *штраф*, который платят. Для нас, иных людей, дело обстоит иначе. Отрекаясь от христианской веры, выдергиваешь этим у себя из-под ног *право* на христианскую мораль. Последняя отнюдь *не* понятна сама по себе — нужно постоянно указывать на это, наперекор английским тупицам. Христианство есть система, сообразованное и *цельное* воззрение на вещи. Если из него выломаешь главное понятие, веру в Бога, то разрушаешь этим также и целое: в руках не остается более ничего необходимого. Христианство предполагает, что человек не знает, не *может* знать, что для него добро и что зло: он верит в Бога, который один



знает это. Христианская мораль есть повеление; ее источник трансцендентен; она находится по ту сторону всякой критики, всякого права на критику; она истинна лишь в том случае, если Бог есть истина, — она держится и падает вместе с верой в Бога. — Если фактически англичане верят, будто они знают сами, «интуитивно», что является добрым и злым, если они, следовательно, полагают, что им более не нужно христианство как гарантия морали, то это в свою очередь является лишь *следствием* господства христианских суждений о ценностях и выражением *силы* и *глубины* этого господства; так что источник английской морали забыт, так что очень условная сторона ее права на существование уже не ощущается более. Для англичанина мораль еще не проблема...

## 6

*Жорж Санд.* Я читал первые lettres d'un voyageur: как все, что ведет свое происхождение от Руссо, они фальшивы, деланны, напыщенны, лишены чувства меры. Я не выношу этого пестрого коврового стиля; так же, как плебейской претензии на благородные чувства. Самым худшим, конечно, остается женское кокетничанье мужскими повадками, манерами невоспитанных малых. — Как холодна она должна была быть при всем этом, эта несносная художница! Она заводила себя, как часы, — и писала... Холодная, как Гюго, как Бальзак, как все романтики, когда они сочиняли! И с каким самодовольством, должно быть, возлежала она при этом, эта плодовая пищающая корова, которая имела в себе нечто немецкое в дурном смысле, подобно самому Руссо, ее учителю, и во всяком случае была возможна только при упадке французского вкуса! — Но Ренан читает ее...

## 7

*Мораль для психологов.* Не заниматься разносчицей психологией! Никогда не наблюдать для того, *чтобы* наблюдать! Это вызывает фальшивую оптику, косоглазие, нечто принужденное и лишенное чувства меры. Переживание как *хотение* переживать — это не удастся. Не *следует*, переживая что-нибудь, озираться на себя, каждый взгляд становится тут «дурным глазом». Прирожденный психолог инстинктивно остерегается смотреть, чтобы смотреть; то же самое можно сказать о природном живописце. Он никогда не работает «с натуры», — он предоставляет своему инстинкту, своей camera obscura просеивать и выражать «случай», «природу», «пережитое»... Только *общее* проникает в его сознание, только заключение, результат: ему незнакомо это произвольное абстрагирование от отдельного случая. — Что же выйдет, если станешь поступать иначе? Например, если наподобие парижских гомансье станешь в больших и малых размерах заниматься разносчицей психологией? Они как бы подкарауливают действительность, *они* приносят каждый вечер домой целую пригоршню курьезов... Но стоит только посмотреть, что выходит из этого в конце концов, — множество пятен, в лучшем случае мозаика, во всяком случае нечто составленное, беспокойное, кричащее красками. Самого худшего в этом достигают Гонкуры: они не составят трех предложений, которые просто не оскорбляли

бы глаз, глаз *психолога*. — Природа с артистической точки зрения вовсе не модель. Она преувеличивает, она искажает, она оставляет пробелы. Природа есть *случай*. Работа «с натуры» кажется мне дурным признаком: она выдает подчинение, слабость, фатализм, — это падание ниц перед *petits faits* недостойно *цельного* художника. Видеть то, *что есть*, — это подобает совсем иному роду людей, людям *антиартистическим*, людям факта. Надо знать, кто ты такой...

## 8

*К психологии художника.* Для того, чтобы существовало искусство, для того, чтобы существовало какое-либо эстетическое творчество и созерцание, необходимо одно физиологическое предусловие — *опьянение*. Опыянение должно сперва усилить возбудимость целой машины: иначе дело не дойдет до искусства. Все виды опыянения, сколь разнообразны ни были бы их причины, обладают силой для этого: прежде всего опыянение полового возбуждения, эта древнейшая и изначальнейшая форма опыянения. Равным образом опыянение, являющееся следствием всех сильных вожделений, всех сильных аффектов: опыянение празднества, состязания, браваурной пьесы, победы, всех крайних возбуждений; опыянение жестокости; опыянение разрушения; опыянение под влиянием известных метеорологических явлений, например весеннее опыянение; или под влиянием наркотических средств; наконец, опыянение воли, опыянение перегруженной и вздувшейся воли. — Существенным в опыянении является чувство возрастания силы и полноты. Из этого чувства мы отдаем кое-что вещам, мы *принуждаем* их брать от нас, мы насилуем их, — это явление называют *идеализированием*. Освободимся тут от одного предрассудка: идеализирование *не* состоит, как обыкновенно думают, в отвлечении или исключении незначительного, побочного. Скорее решающим является чудовищное *выдвигание* главных черт, так что другие, благодаря этому, исчезают.

## 9

В этом состоянии обогащаешь все из своего собственного избытка: что видишь, чего хочешь, то видишь вздувшимся, сгущенным, сильным, перегруженным силой. Человек в этом состоянии изменяет вещи до тех пор, пока они не начнут отражать его мощь, — пока они не станут рефlekсами его совершенства. Эта *потребность* превращать в совершенное есть — искусство. Даже все, что не он, несмотря на это, становится для него наслаждением собою; в искусстве человек наслаждается собою, как совершенством. — Было бы позволительно измыслить себе противоположное состояние, специфическую антихудожественность инстинкта, — такой вид бытия, который все разжижал бы, делал бы бедным, чахоточным. И в самом деле, история богата такими антиартистами, такими заморышами жизни, которые по необходимости должны питаться вещами, обглаживать их, делать их *более тощими*. Таков, например, случай истого христианина, например Паскаля; христианина, который был бы вместе с тем и художником, *встретить нельзя...* Не следует с детской простотою выставлять мне в виде возражения Рафаэля или каких-нибудь гомеопатических христиан девят-



*Прирожденный психолог инстинктивно остерегается смотреть, чтобы  
смотреть; то же самое можно сказать о природном живописце*



надцатого столетия: Рафаэль говорил Да, Рафаэль *делал* Да, следовательно, Рафаэль не был христианином...

## 10

Что означают введенные мною в эстетику противопонятия *аполлонического* и *дионисического*, если понимать их как виды опьянения? Аполлоническое опьянение держит прежде всего в состоянии возбуждения глаз, так что он получает способность к видениям. Живописец, пластик, эпический поэт — визионеры *par excellence*. В дионисическом состоянии, напротив, возбуждена и повышена вся система аффектов: так что она сразу выгружает все свои средства выражения и выдвигает одновременно силу изображения, подражания, преобразования, превращения, всякого вида мимику и актерство. Существенным остается легкость метаморфоза, неспособность *не* реагировать (— подобно некоторым истеричным, которые также по каждому мановению входят во *всякую* роль). Для дионисического человека невозможно не понять какого-либо внушения, он не проглядит ни одного знака аффекта, он обладает наивысшей степенью понимающего и отгадывающего инстинкта, равно как и наивысшей степенью искусства передачи. Он входит во *всякую* шкуру, во *всякий* аффект: он преобразуется постоянно. — Музыка, как мы понимаем ее нынче, есть также общее возбуждение и разряжение аффектов, однако это лишь остаток гораздо более полного арсенала выражений аффекта, лишь *residuum* дионисического гистрионизма. Для возможности музыки, как обособленного искусства, заставили умолкнуть некоторые чувства, прежде всего мускульное чувство (по крайней мере относительно: ибо в известной степени всякий ритм еще говорит нашим мускулам); так что человек уже не воспроизводит и не изображает тотчас же в лицах все то, что он чувствует. Тем не менее *это* — подлинно нормальное дионисическое состояние, во всяком случае первобытное состояние; музыка есть медленно достигнутая спецификация его в ущерб близкородственным ему способностям.

## 11

Актер, мим, танцор, музыкант, лирик весьма близки по своим инстинктам и представляют собою одно, но постепенно они специализировались и отделились друг от друга — доходя даже до противоречия. Лирик долгие годы составлял одно с музыкантом, актер с танцором. — *Зодчий* не представляет собою ни дионисического, ни аполлонического состояния: тут перед нами великий акт воли, воля, сдвигающая горы, опьянение великой воли, жаждущей искусства. Самые могущественные люди всегда вдохновляли зодчих; зодчий находился всегда под внушением власти. В архитектурном произведении должна воплощаться гордость, победа над тяжестью, воля к власти; архитектура есть нечто вроде красноречия власти в формах, то убеждающего, даже лстящего, то исключительно повелевающего. Высшее чувство власти и уверенности выражается в том, что имеет *великий стиль*. Власть, которой уже не нужны доказательства; которая пренебрегает тем, чтобы нравиться; которая с трудом отвечает; которая не чувствует вокруг себя ни одного свидетеля; которая живет без созна-



ния того, что существует противоречие ей, которая отдыхает в себе, фаталистичная, закон из законов: *вот что* говорит о себе как великий стиль. —

## 12

Я читал жизнь *Томаса Карлейля*, этот невольный и не ведающий себя фарс, эту героически-моральную интерпретацию диспептических состояний. — Карлейль, человек сильных слов и поз, ритор по нужде, которого постоянно возбуждает жажда сильной веры, а также чувство неспособности на это (— в этом он типичный романтик!). Жажда сильной веры не есть доказательство сильной веры, скорее напротив. Если имеешь ее, то можешь позволить себе прекрасную роскошь скепсиса: для этого являешься достаточно уверенным, достаточно твердым, достаточно связанным. Карлейль заглушает нечто в себе посредством fortissimo своего преклонения перед людьми сильной веры и своей яростью по отношению к людям менее простодушным: ему нужен шум. Постоянная страстная бесчестность по отношению к себе — это его *progrium*, этим он делается и остается интересным. — Конечно, в Англии его чтут именно за его честность... Что ж, это по-английски; а принимая во внимание, что англичане представляют собою народ совершенного сант, даже справедливо, а не только понятно. В сущности, Карлейль — английский атеист, ищущий своей чести в том, чтобы не быть им.

## 13

*Эмерсон*. Гораздо более просвещенный, увлекающийся, разносторонний, утонченный, нежели Карлейль, прежде всего более счастливый... Такой человек, который инстинктивно питается только амбросией, который оставляет нетронутым неудобоваримое в вещах. По сравнению с Карлейлем человек вкуса. — Карлейль, очень его любивший, несмотря на это, сказал про него: «Он дает нам недостаточно кусать», — что, может быть, сказано справедливо, но не служит упреком Эмерсону. — Эмерсон обладает той доброй и гениальной веселостью, которая обескураживает всякую серьезность; он совершенно не знает того, как он уже стар и как он еще будет молод, — он мог бы сказать о себе словами Лопе де Веги: «Yo me sucedo a mi mismo». Его ум всегда находит основания быть довольным и даже благодарным; а иногда он соприкасается с веселой трансцендентностью того доброго малого, который вернулся с любовного свидания *tamquam re bene gesta*. «Ut desint vires, — сказал он с благодарностью, — tamen est laudanda voluptas». —

## 14

*Анти-Дарвин*. Что касается знаменитой «борьбы за существование», то она кажется мне, однако, более плодом утверждения, нежели доказательства. Она происходит, но как исключение; общий вид жизни есть не нужда, не голод, а, напротив, богатство, изобилие, даже абсурдная расточительность, — где борются, там борются

за *власть*... Не следует смешивать Мальтуса с природой. — Но положим, что существует эта борьба — и в самом деле, она происходит, — в таком случае она, к сожалению, кончается обратно тому, как желает школа Дарвина, как, быть может, мы *смели бы* желать вместе с нею: именно неблагоприятно для сильных, для привилегированных, для счастливых исключений. Роды *не* возрастают в совершенстве: слабые постоянно вновь становятся господами над сильными, — это происходит оттого, что их великое множество, что они также *умнее*... Дарвин забыл про ум (— это по-английски!), у *слабых больше ума*... Надо нуждаться в уме, чтобы приобрести ум, — его теряют, когда он становится более ненужным. Кто обладает силой, тот отрекается от ума (— «проваливай себе! — думают нынче в Германии, — *империя* должна все-таки у нас остаться»...). Как видите, я понимаю под умом осторожность, терпение, хитрость, притворство, великое самообладание и все, что является *timidity* (к последнему относится большая часть так называемой добродетели).

## 15

*Казуистика психолога.* Вот знаток людей — для чего он, собственно, изучает их? Он хочет выудить маленькие преимущества над ними или также большие, — он политик!.. Вот тоже знаток людей — а вы говорите, что он ничего не хочет извлекать из этого для себя, что это великий «безличный». Вглядитесь пристальней! Быть может, он хочет даже еще более *недоброго* преимущества — чувствовать себя выше людей, сметь смотреть на них сверху вниз, не смешивать уже более себя с ними. Этот «безличный» *презирает* людей: и тот первый является более туманной *species*, что бы ни говорила внешность. Он по крайней мере становится вровень с ними, становится в *ряды* их...

## 16

*Психологический такт* немцев кажется мне подвергнутым сомнению целым рядом случаев, представить перечень которых мне мешает моя скромность. Но в одном случае у меня нет недостатка в великом поводе обосновать мой тезис: я не могу простить немцам, что они ошиблись в *Канте* и его «философии задних дверей», как я называю ее, — это *не* был тип интеллектуальной честности. — Другое, чего я не могу слышать, это пресловутое «и»: немцы говорят «Гёте и Шиллер», — боюсь, что они говорят «Шиллер и Гёте»... Разве еще не *знают* этого Шиллера? — Есть еще худшие «и»; я слышал собственными ушами, конечно, лишь среди университетских профессоров, «Шопенгауэр и Гартман»...

## 17

Гениальнейшие люди, предполагая, что они являются и самыми мужественными, переживают также и далеко более мучительные трагедии — но именно в силу того чтут они жизнь, что она выставляет против них своих величайших противников.



*Казуистика психолога*



## 18

*К «интеллектуальной совести».* Ничто не кажется мне более редким нынче, чем истое лицемерие. Сильно подозреваю, что этому растению не полезен мягкий воздух нашей культуры. Лицемерие относится к векам сильной веры: когда даже при *принуждении* выставлять напоказ другую веру не отступались от той веры, которую имели. Нынче от нее отступаются; или, что еще обычнее, прибавляют себе еще вторую веру, — *честными* остаются во всяком случае. Без сомнения, нынче возможно гораздо большее число убеждений, чем прежде: возможно, то есть дозволено, то есть *безвредно*. Из этого возникает терпимость по отношению к самому себе. — Терпимость по отношению к самому себе допускает множество убеждений: они живут мирно вместе, они, как и все нынче, остерегаются компрометировать себя. Чем компрометируешь себя нынче? Если имеешь последовательность. Если идешь по прямой линии. Если являешься менее чем пятиличным. Если являешься неподдельным... Я очень боюсь, что современный человек просто слишком ленив для некоторых пороков: так что последние прямо-таки вымирают. Все злое, обусловленное сильной волей, — а быть может, нет ничего злого без силы воли — вырождается в нашем теплом воздухе в добродетель... Немногие лицемеры, с которыми я познакомился, поддельвали лицемерие: они были, как в наши дни почти каждый десятый человек, актерами. —

## 19

*Прекрасное и безобразное.* Нет ничего более условного, скажем, более *ограниченного*, нежели наше чувство прекрасного. Кто захотел бы мыслить его свободным от удовольствия, доставляемого человеку человеком, тот потерял бы тотчас же почву под ногами. «Прекрасное само по себе» есть просто слово, даже не понятие. В прекрасном человек делает себя мерилom совершенства; в избранных случаях он поклоняется в этом себе. Род совершенно не *может* не говорить таким образом одному себе. Да. *Самый низший* его инстинкт, инстинкт самосохранения и самораспространения, излучается даже в таких возвышенных вещах. Человек считает и самый мир обремененным красотой, — он *забывает* себя как ее причину. Он один одарил его красотой, ах! только человеческой, слишком человеческой красотой... В сущности, человек смотрит в вещи, он считает прекрасным все, что отражает ему его образ: суждение «прекрасное» есть его *родовое тщеславие*... Скептику именно маленькое недоверие может шепнуть на ухо вопрос: действительно ли мир украшается тем, что как раз человек считает его прекрасным? Он *очеловечил* его — вот и все. Но ничто, решительно ничто не может быть порукой в том, что именно человек служит моделью прекрасного. Кто знает, как выглядит он в глазах высшего судьи вкуса? Быть может, рискованно? быть может, даже забавно? быть может, немного своеобразно?.. «О Дионис, божественный, зачем тянешь ты меня за уши?» — спросила раз Ариадна во время одного из тех знаменитых диалогов на Наксосе своего философа-любownika. — «Я нахожу какой-то юмор в твоих ушах, Ариадна; почему они не еще длиннее?»



## 20

Ничто не прекрасно, только человек прекрасен: на этой наивности зиждется вся эстетика, она ее *первая* истина. Прибавим к ней сейчас же и вторую: ничто не безобразно, кроме *вырождающегося* человека, — этим будет ограничена область эстетического суждения. — По физиологической проверке, все безобразное ослабляет и огорчает человека. Оно напоминает ему о гибели, опасности, бессилии; он фактически теряет при этом силу. Действие безобразного можно измерять динамометром. Когда человек вообще подавлен, то он чувствует близость чего-то «безобразного». Его чувство власти, его воля к власти, его мужество, его гордость — все это умаляется вместе с безобразным и возрастает вместе с прекрасным... Как в том, так и в другом случае *мы делаем одно заключение*: предпосылки для этого имеются в чудовищном изобилии в инстинкте. Безобразное понимается как знак и симптом вырождения: что хоть самым отдаленным образом напоминает о вырождении, то вызывает в нас суждение «безобразно». Каждый признак истощения, тяжести, старости, усталости, всякого вида несвобода, как судорога, паралич, прежде всего запах, цвет, форма разложения, тления, хотя бы даже в самом разреженном виде символа, — все это вызывает одинаковую реакцию, оценку «безобразно». *Ненависть* вырывается здесь — кого ненавидит тут человек? Но в этом нет сомнения: *упадок своего типа*. Он ненавидит тут в силу глубочайшего инстинкта рода; в этой ненависти сказывается содрогание, осторожность, глубина, дальнзоркость, — это глубочайшая ненависть, какая только есть. В силу ее искусство *глубоко*...

## 21

*Шопенгауэр*. Шопенгауэр, последний немец, идущий в счет (— представляющий собою *европейское* явление подобно Гёте, подобно Гегелю, подобно Генриху Гейне, а не только местное, «национальное»), является для психолога случаем первого ранга: именно как злобно-гениальная попытка вывести в бой в пользу общего нигилистического обесценения жизни как раз противоположные инстанции, великие самоутверждения «воли к жизни», формы избытка жизни. Он истолковал, одно за другим, *искусство*, героизм, гений, красоту, великое сочувствие, познание, волю к истине, трагедию как следствия «отрицания воли» или потребности воли в отрицании — величайшая психологическая фабрикация фальшивых монет, какая только есть в истории, за исключением христианства. Если взглядеться внимательнее, он является в этом лишь наследником христианской интерпретации: с тою только разницей, что также и *отвергнутое* христианством, великие факты культуры человечества, он сумел *одобрить* все еще в христианском, то есть нигилистическом, смысле (— именно как пути к «спасению», как предформы «спасения», как *stimulantia* потребности в «спасении»...).

## 22

Рассмотрю один случай. Шопенгауэр говорит о *красоте* с меланхолическим пылом, — почему, в конце концов? Потому что он видит в ней *мост*, который ведет

дальше или возбуждает жажду идти дальше... Она является для него освобождением от «воли» на мгновения — она влечет к освобождению навсегда... Особенно ценит он ее, как освободительницу от «лучецентра воли», от полового чувства, — в красоте он видит половой инстинкт *отрицаемым*... Удивительный святой! Кто-то противоречит тебе, боюсь, что природа. *Для чего* вообще существует красота звука, цвета, аромата, ритмического движения в природе? что *вызывает* красота? — К счастью, ему противоречит также один философ. Не какой-нибудь менее значительный авторитет, а божественный

Платон (— так называет его сам Шопенгауэр) поддерживает другое положение: что всякая красота возбуждает к произрождению, — что это именно есть *progrrium* ее действия, начиная с самого чувственного и кончая высшим духовным...

## 23

Платон идет дальше. С невинностью, для которой нужно быть греком, а не «христианином», он говорит, что не было бы вовсе никакой платоновской философии, если бы в Афинах не было таких прекрасных юношей: их вид только и погружает душу философа в эротическое опьянение и не дает ей покоя, пока она не бросит семя всего великого в такую прекрасную почву. Тоже удивительный святой! — не веришь своим ушам, предполагая даже, что веришь Платону. По крайней мере угадываешь, что в Афинах философствовали *иначе*, прежде всего публично. Ничто не является в меньшей степени греческим, нежели плетение паутины понятий отшельником, *amot intellectualis dei*, на манер Спинозы. Философию в духе Платона можно бы скорее определить как эротическое состязание, нежели как дальнейшее развитие и одухотворение древней атональной гимнастики и ее *предусловий*... Что выросло под конец из этой философской эротики Платона? Новая художественная форма греческого агон, диалектика. — Напомню еще, *против* Шопенгауэра и во славу Платона, о том, что также вся высшая культура и литература *классической* Франции выросла на почве полового интереса. В ней всюду можно искать галантность, чувства, половое состязание, «женщину», — никогда не будешь искать напрасно...

## 24

*L'art pour l'art.* Борьба с целью в искусстве является всегда борьбой с *морализирующей* тенденцией в искусстве, с подчинением его морали. *L'art pour l'art* означает: «черт побери мораль!» — Но и эта вражда еще указывает на засилье предрассудка. Если мы исключим из искусства цель моральной проповеди и улучшения человека, то из этого далеко еще не следует, что искусство бесполезно, бесцельно, бессмысленно, словом, что оно *l'art pour l'art* — червь, кусающий собственный хвост. «Лучше совсем никакой цели, чем моральная цель!» — так говорит голая страсть. Психолог, напротив, спрашивает: что делает всякое искусство? не восхваляет ли оно? не прославляет ли оно? не выбирает ли оно? не выдвигает ли оно? Всем этим оно *усиливает* или *ослабляет* известные оценки... Есть ли это только побочное явление? случай? нечто такое, в чем инстинкт художника не принимает совершенно никакого участия? Или на-

оборот: не является ли это предусловием того, что художник *может..?* Направлен ли самый низший инстинкт его на искусство или же на смысл искусства, *жизнь?* на известную *желательность жизни?* — Искусство есть великий стимул к жизни — как можно считать его бесцельным, *l'art pour l'art?* — Остается один вопрос: ведь искусство изображает также много безобразного, сурового, проблематичного в жизни, — не стремится ли оно этим отбить охоту к жизни? — И в самом деле, были философы, придававшие ему такой смысл: Шопенгауэр учил, что «освобождение от воли» есть общая цель искусства, он видел великую пользу трагедии в том, что она «склоняет к резиньяции». — Но это, я уже говорил об этом, есть оптика пессимиста и «дурной глаз»: надо апеллировать к самим художникам. *Что сообщает о себе трагический художник?* Не показывает ли он именно состояние бесстрашия перед страшным и загадочным? — Само это состояние является высшей желательностью; кто знает его, тот чтит его высшими почестями. Он сообщает о нем, он *должен* о нем сообщать, предполагая, что он художник, гений сообщения. Мужество и свобода чувства перед мощным врагом, перед бедствием высшего порядка, перед проблемой, возбуждающей ужас, — вот то *победное* состояние, которое выбирает трагический художник, которое он прославляет. Перед трагедией воинственное в нашей душе празднует свои сатурналии; кто привык к страданию, кто ищет страдания, *героический* человек, платит трагедией за свое существование, — ему одному дает трагический поэт отведасть напитка этой сладчайшей жестокости. —

## 25

Быть невзыскательным к людям, держать открытым свое сердце — это либерально, но и только либерально. Сердца, способные на *аристократическое* гостеприимство, узнаются по многим завешенным окнам и закрытым ставням: свои лучшие помещения они держат пустыми. Почему же? — Потому что они ждут гостей, к которым *не* бывают «невзыскательны»...

## 26

Мы уже не достаточно ценим себя, если рассказываем о себе. Наши подлинные переживания совершенно не болтливы. Они не могли бы рассказать о себе, если бы хотели. Это происходит оттого, что они лишены слова. Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть гран презрения. Речь, по-видимому, изобретена для среднего, посредственного, сообщаемого. Ею уже *вульгаризируется* говорящий. — Из морали для глухонемых и других философов.

## 27

«Это изображение чарующе прекрасно!»... Литературная женщина, неудовлетворенная, возбужденная, бесплодная сердцем и чревом, постоянно прислушивающаяся с мучительным любопытством к императиву, шепчущему из глубин ее органи-

зации «aut liberi aut libri»: литературная женщина, достаточно образованная, чтобы понимать голос природы, даже когда она говорит по-латыни, а с другой стороны, тщеславная и в достаточной степени гусыня, чтобы втайне все еще говорить с собою по-французски: «je me verrai, je me lirai, je m'extasierai et je dirai: Possible, que j'aie eu tant d'esprit?»...

## 28

«Безличные» начинают говорить. — «Ничто не удастся нам так легко, как быть мудрыми, терпеливыми, обладающими превосходством. Мы пропитались наскомаслом снисхождения и сочувствия, мы абсурдно справедливы, мы прощаем все. Именно поэтому нам следовало бы держать себя несколько строже; именно поэтому нам следовало бы время от времени *выращивать* себе маленький аффект, маленький порочный аффект. Пусть это нам и трудно; и между собою мы, быть может, смеемся над видом, который мы при этом представляем. Но что же делать! У нас не осталось никакого другого способа самопреодоления — это *наш* аскетизм, *наше* покаяние»... *Сделаться личным* — добродетель «безличного»...

## 29

*Из докторской диссертации.* «Какова задача всякой высшей школы?» — Сделать из человека машину. — «Что служит средством для этого?» — Он должен научиться скучать. — «Как достигается это?» — С помощью понятия долга. — «Кто является для него образцом в этом отношении?» — Филолог: он учит *зубрить*. — «Кто является совершенным человеком?» — Государственный чиновник. — «Какая философия дает высшую формулу для государственного чиновника?» — Философия Канта: государственный чиновник как вещь в себе, поставленный судьбою над государственным чиновником как явлением. —

## 30

*Право на глупость.* Усталый и медленно дышащий работник, который глядит добродушно, который предоставляет событиям идти так, как они идут: эта типичная фигура, встречаемая теперь, в эпоху работы (а *также* «империи»! — ) во всех классах общества, заявляет нынче свои притязания именно на *искусство*, включая сюда книгу, прежде всего газету, — во сколько же раз более на прекрасную природу, Италию... Вечерний человек с «уснувшими дикими инстинктами», о которых говорит Фауст, нуждается в летней прохладе, в морских купаниях, в глетчере, в Байрейте... В такие эпохи искусство имеет право на *чистую глупость*, — как на нечто вроде каникул для ума, юмора и чувства. Это понял Вагнер. *Чистая глупость* восстанавливает вновь...





*Перед трагедией воинственное в нашей душе празднует свои сатурналии;  
кто привык к страданию, кто ищет страдания, героический человек,  
платит трагедией за свое существование...*

## 31

*Еще одна проблема диеты.* Меры, которыми Юлий Цезарь защищался от хворости и головной боли: чудовищные марши, самый простой образ жизни, непрерывное пребывание на свежем воздухе, постоянные нагрузки — это, говоря вообще, меры сохранения и предохранения от крайней хрупкости той нежной и под высшим давлением работающей машины, которая называется гением. —

## 32

*Имморалист говорит.* Ничто так не претит вкусу философа, нежели человек, *по-скольку он желает...* Если он видит человека только за его делом, если он видит это храбрейшее, хитрейшее, выносливейшее животное даже заблудившимся в лабиринте бедствий, то каким достойным удивления кажется ему человек! Он еще поощряет его... Но философ презирает желающего человека, а также «желательного» человека — и вообще все желательности, все *идеалы* человека. Если бы философ мог быть нигилистом, то был бы им, ибо он находит ничто за всеми идеалами человека. Или даже не только ничто, — а лишь ничего не стоящее, абсурдное, болезненное, трусливое, усталое, всякого вида подонки из *выпитого* кубка его жизни... Отчего это происходит, что человек, который так достопочтенен в качестве реальности, не заслуживает никакого уважения, раз он желает? Разве он должен искупать то, что он так ценен в качестве реальности? Разве он должен вознаграждать свою деятельность, напряжение ума и воли во всякой деятельности, лежанием враспашку в воображаемом и абсурдном? — История его желательностей была до сих пор *partie honteuse* человека: надо остерегаться читать ее слишком долго. Что оправдывает человека, так это его реальность, — она будет оправдывать его вечно. Во сколько раз ценнее действительный человек по сравнению с каким-нибудь только желательным, воображаемым, выгнанным человеком? с каким-нибудь *идеальным* человеком?.. И лишь идеальный человек приходится не по вкусу философу.

## 33

*Естественная ценность эгоизма.* Эгоизм стоит столько, *сколько* физиологически стоит тот, кто им обладает: он может быть очень ценным, он может быть ничего не стоящим и презренным. Каждый человек может быть рассматриваем в зависимости от того, представляет ли он восходящую или нисходящую линию жизни. Решение этого вопроса служит вместе с тем и каноном для того, чего стоит его эгоизм. Если он представляет восхождение линии, то ценность его действительно огромна, — и ради всей жизни, которая делает в лице его шаг *далее*, его забота о сохранении, о создании своего *optimum* условий может быть сама крайней. Отдельный человек, «индивидуум», как его до сих пор понимали толпа и философ, есть ведь заблуждение: он не есть что-либо самостоятельное, не атом, не «звено цепи», не что-либо только унаследованное от прошлого, — он есть *одна* цельная линия «человек» вплоть до него самого... Если он представляет собою нисходящее развитие, гибель, хроническое вырождение, болезнь (— болезни, говоря вообще, являются уже след-

ствиями гибели, а *не* ее причинами), то ценность его мала, и простая справедливость требует, чтобы он как можно меньше *отнимал* у удачных. Он только их паразит...

## 34

**Христианин и анархист.** Если анархист, как глашатай *нисходящих* слоев общества, требует с красивым негодованием «права», «справедливости», «равных прав», то он находится в этом случае лишь под давлением своей некультурности, которая не может понять, *почему* он, собственно, страдает тем, *чем* он беден, — жизнью. Один причинный инстинкт могуч в нем: кто-нибудь должен быть виновен в том, что он себя плохо чувствует... Да и само «красивое негодование» уже действует на него благотворно; браниться — это удовольствие для всех бедняков, — это дает маленькое опьянение властью. Уже жалоба, сетование может сообщить жизни привлекательность, ради которой ее выносят: маленькая доза *мести* есть в каждой жалобе; за свое скверное положение, а иногда даже за свою дрянность упрекают тех, у кого дело обстоит иначе, — как за несправедливость, как за *недозволенное* преимущество. «Если я сапaille, то и ты должен бы быть таким же»: на основании этой логики производят революцию. — Сетование во всяком случае ничего не стоит: оно истекает из слабости. Приписывают ли свое дурное положение другим или *самим себе* — первое делает социалист, последнее, например, христианин, — это, собственно, не составляет никакой разницы. Общее, скажем также, *недостойное* в этом то, что некто должен быть *виновным* в том, что страдаешь, — словом, что страдающий прописывает себе против своего страдания мед мести. Объектами этой потребности мести, как потребности *удовольствия*, являются случайные причины: страдающий всюду находит причины вымещать свою маленькую месть, — повторяю, если он христианин, то он находит их в *себе*... Христианин и анархист — оба суть *décadents*. — Но когда христианин осуждает «мир», клеветает на него, чернит его, то он делает это в силу того же инстинкта, в силу которого социалист-рабочий осуждает *общество*, клеветает на него, чернит его: сам «страшный суд» есть сладкое утешение мести — революция, какой ожидает и социалист-рабочий, только несколько более отдаленная... Да и «тот мир» — для чего тот мир, если бы он не был средством чернить этот?..

## 35

**Критика морали *décadence*.** «Альтруистическая» мораль, мораль, при которой *пропадает* эгоизм, — остается при всяких обстоятельствах дурным признаком. Это относится к индивидууму, это относится к народам. Не хватает самого лучшего, когда начинает не хватать эгоизма. Инстинктивно выбирать вредное себе, быть *влекомым* «бескорыстными» мотивами — это почти формула для *décadence*. «Не искать *своей* пользы» — это просто моральный фиговый лист для совершенно иной, именно физиологической действительности: «я уже не умею *найти* своей пользы»... Дисгрегация инстинктов! — Конец человеку, если он становится альтруистом. — Вместо того чтобы сказать наивно «я больше ничего не стою», моральная ложь в устах *décadent* говорит: «все не стоит ничего, — *жизнь* не стоит ничего»...



Такое суждение остается в конце концов большой опасностью, оно действует заразительно, — на всей гнилой почве общества оно разрастается вскоре в тропическую растительность понятий, то как религия (христианство), то как философия (шопенгауэрщина). Порою такая выросшая из гнили ядовитая растительность отравляет своими испарениями далеко на тысячелетия *жизнь*...

## 36

*Мораль для врачей.* Больной — паразит общества. В известном состоянии неприлично продолжать жить. Прозабывание в трусливой зависимости от врачей и искусственных мер, после того как потерян смысл жизни, *право* на жизнь, должно бы вызывать глубокое презрение общества. Врачам же следовало бы быть посредниками в этом презрении, — не рецепты, а каждый день новая доза *отвращения* к своему пациенту... Создать новую ответственность, ответственность врача, для всех случаев, где высший интерес жизни, *восходящей* жизни, требует беспощадного подавления и устранения *вырождающейся* жизни — например, для права на зачатие, для права быть рожденным, для права жить... Гордо умереть, если уже более нет возможности гордо жить. Смерть, выбранная добровольно, смерть вовремя, светлая и радостная, принимаемая среди детей и свидетелей: так что еще возможно действительное прощание, когда *еще существует* тот, кто прощается, равным образом действительная оценка достигнутого и того, чего желал, *подведение итога* жизни — все противоположное жалкой и ужасающей комедии, которую делало из смертного часа христианство. Никогда не следует забывать христианству того, что оно злоупотребляло слабостью умирающего для насильствования совести, а родом самой смерти — для оценки человека и его прошлого! — Здесь следует, наперекор всей трусости предрассудка, прежде всего восстановить правильную, то есть физиологическую, оценку так называемой *естественной* смерти, — которая в конце концов является также лишь «неестественной», самоубийством. Никогда не гибнешь от кого-либо другого, а всегда от самого себя. Только это смерть при презреннейших условиях, несвободная смерть, смерть *не вовремя*, смерть труса. Следовало бы, из любви к *жизни*, — желать иной смерти, свободной, сознательной, без случая, без неожиданности... Наконец, совет господам пессимистам и другим *décadents*. Не в наших руках воспрепятствовать нашему рождению: но эту ошибку — ибо порою это ошибка — мы можем исправить. Если *уничтожаешь* себя, то делаешь достойное величайшего уважения дело: этим почти заслуживаешь жить... Общество, что говорю я! сама *жизнь* имеет от этого бóльшую выгоду, чем от какой-нибудь «жизни» в отречении, бледной немочи и другой добродетели, — освобождаешь других от своего вида, освобождаешь жизнь от *возражения*... Пессимизм, *pur, vert, доказывается* только самоопровержением господ пессимистов: надо сделать шаг далее в его логике, отрицать жизнь не только «волей и представлением», как это делал Шопенгауэр, — надо *прежде всего отрицать Шопенгауэра*... Пессимизм, кстати сказать, как он ни разлителен, все же в общем не увеличивает болезненности данного времени, данного поколения: он является ее выражением. Ему подвергаются, как подвергаются холере: надо быть уже достаточно хилым для этого. Сам пессимизм не создает ни одного лишнего *décadent*; напоминая тот вывод статистики, что годы, в которые свирепствует холера, не отличаются общей цифрой смертных случаев от других лет.





*Пессимизм, кстати сказать, как он ни заразителен, все же в общем не увеличивает болезненности данного времени, данного поколения: он является ее выражением*

*Стали ли мы нравственные.* Против моего понятия «по ту сторону добра и зла», как и следовало ожидать, ополчилась вся *ярость* морального отупения, которая, как известно, считается в Германии за саму мораль: я мог бы рассказать об этом премилые истории. Прежде всего мне предложили подумать о «неопровержимом превосходстве» нашего времени в нравственном суждении, о нашем действительно сделанном в этой области *прогрессе*: какого-нибудь Чезаре Борджа, по сравнению с нами, во все-де нельзя считать «высшим человеком», чем-то вроде сверхчеловека, как делаю это я... Один швейцарский редактор («Bund»'а) зашел так далеко, что, отдавая дань уважения мужеству на такое дерзновение, «понимает» смысл моего сочинения в том, что я предлагаю в нем уничтожить все пристойные чувства. Благодарю покорно! — Позволю себе в качестве ответа поставить вопрос, *действительно ли мы стали нравственные?* Что все этому верят, есть уже возражение на это... Мы, современные люди, очень нежные, очень уязвимые и сотни раз уступающие и принимающие уступки, в самом деле воображаем, что эта нежная человечность, которую мы собою являем, это *достигнутое* единодушие в пощаде, в готовности на помощь, во взаимном доверии есть позитивный прогресс, что в этом отношении мы далеко опередили Ренессанс. Но так думает каждое время, так *должно* оно думать. Достоверно то, что мы не смеем помещать себя в обстановку Ренессанса, даже не смеем мыслить себя в ней: наши нервы не выдержали бы этой действительности, не говоря уже о наших мускулах. Но этой неспособностью доказывается не прогресс, а лишь другое, более позднее состояние, более слабое, нежное, уязвимое, из которого необходимо рождается *богатая уступками* мораль. Если мы устраним мысленно нашу изнеженность и запоздалость, наше физиологическое одряхление, то и наша мораль «очеловечения» потеряет тотчас же свою ценность — сама по себе никакая мораль не имеет ценности, — она обесценит нас самих. С другой стороны, не будем сомневаться в том, что мы, современные люди, с нашей плотно наватованной гуманностью, ни за что не желающей ушибаться о камни, показались бы современникам Чезаре Борджа уморительной комедией. В самом деле, мы невольно чересчур смешны с нашими современными «добродетелями»... Умаление враждебных и возбуждающих недоверие инстинктов — а ведь в этом и состоит наш «прогресс» — представляет собою лишь одно из следствий в общем уменьшении *жизненности*: требуется во сто раз больше труда, больше осторожности, чтобы отстаивать столь обусловленное, столь позднее существование. Тут взаимно помогают друг другу, тут каждый является больным и каждый санитаром. Это называется «добродетелью» — среди людей, которые знали бы еще и иную жизнь, более полную, расточительную, бьющую через край, это назвали бы иначе, быть может, «трусостью», «ничтожеством», «моралью старых баб»... Наше смягчение нравов — это мое положение, это, если угодно, мое *новшество* — есть следствие упадка; суровость и ужасность нравов может, наоборот, быть следствием избытка жизни. Тогда именно смеют на многое отваживаться, многого требовать, а также много *расточать*. Что некогда было приправой жизни, то было бы для нас *ядом*... Быть индифферентными — а это тоже известная форма силы — для этого мы равным образом слишком стары, слишком поздны: наша мораль сочувствия, от которой я первый предостерегал, то, что можно бы назвать l'impressionisme morale, есть лишнее выражение чрезмерной физиологической раздражимости, свойственной всему упадочному. То движение, которое пыталось с помощью шопенгау-

эровской *морали сострадания* стать на научную почву, — весьма неудачная попытка! — есть подлинное движение *décadence* в морали и как таковое глубоко родственно христианской морали. Сильные эпохи, *аристократические* культуры видят в сострадании, в «любви к ближнему», в недостатке самости и чувства собственного достоинства нечто презренное. — О временах следует судить по их *позитивным силам* — и при этом выходит, что то столь расточительное и роковое время Ренессанса было последним *великим* временем, а мы, мы, современники, с нашей боязливой заботливостью о себе и любовью к ближнему, с нашими добродетелями труда, непритязательности, законности, научности — накапливающие, расчетливые, машиноподобные — *слабое* время... Наши добродетели обусловлены, они *вызываются* нашей слабостью... «Равенство», известное фактическое уподобление, только заявляющее о себе в теории о «равных правах», относится, по существу, к упадку: пропасть между человеком и человеком, сословием и сословием, множественность типов, воля быть самим собой, отодвигаться от других, — то, что я называю *пафосом дистанции*, свойственно каждому *сильному* времени. Сила напряжения, дальность ее действия между крайностями становится нынче все меньше, — крайности даже сглаживаются в конце концов, доходя до схождения... Все наши политические теории и государственные устройства, отнюдь не исключая «Германской империи», суть следствия, необходимые следствия упадка; несознаваемое влияние *décadence* проникло до самых идеалов отдельных наук. Моим возражением против всей социологии в Англии и во Франции остается то, что она знает из опыта только *упадочные формации* общества и вполне невинно принимает собственные упадочные инстинкты за *норму* социологической оценки. *Нисходящая* жизнь, умаление всякой организующей, то есть разделяющей, вырывающей пропасти, подчиняющей одно другому силы, возведено в нынешней социологии в *идеал*... Наши социалисты суть *décadents*, но и господин Герберт Спенсер тоже *décadent* — он видит в победе альтруизма нечто достойное желанья!..

## 38

**Мое понятие свободы.** Ценность вещи заключается иногда не в том, чего с помощью ее достигают, а в том, что за нее заплатили, — чего она нам стоит. Приведу пример. Либеральные учреждения тотчас же перестают быть либеральными, как только их добились: после этого нет худших и более радикальных врагов свободы, чем либеральные учреждения. Ведь известно, *до чего* они доводят: они подводят мины под волю к власти, они являются возведенной в мораль нивелировкой гор и долин, они делают маленькими, трусливыми и похотливыми, — они являются каждый раз торжеством стадного животного. Либерализм: по-немецки *обращение в стадных животных*... Те же самые учреждения, пока за них еще борются, производят совсем другое действие; тогда они действительно мощно споспешествуют свободе. Говоря точнее, это действие производит война, война за либеральные учреждения, которая в качестве войны позволяет *нелиберальным* инстинктам продолжать свое существование. И война воспитывает к свободе. Ибо что такое свобода? То, что имеешь волю к собственной ответственности. Что сохраняешь дистанцию, которая нас разделяет. Что становишься равнодушным к тягостям, суровости, лишениям, даже к жизни. Что готов жертвовать за свое дело людьми, не исключая и самого себя. Свобода означает, что



мужские, боевые и победные инстинкты господствуют над другими инстинктами, например над инстинктами «счастья». *Ставший свободным человек*, а в гораздо большей степени ставший свободным *ум*, топчет ногами тот презренный вид благоденствия, о котором мечтают мелочные лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и другие демократы. Свободный человек — *воин*. — Чем измеряется свобода, как у индивидов, так и у народов? Сопротивлением, которое должно быть побеждено, трудом, который расходуешь, чтобы оставаться *наверху*. Высший тип свободных людей следовало бы искать там, где постоянно побеждается высшее сопротивление: в пяти шагах от тирании, у самого порога опасности рабства. Это верно психологически, если понимать здесь под «тираном» непреклонные и страшные инстинкты, требующие по отношению к себе maximum авторитета и дисциплины, — прекраснейший тип этого Юлий Цезарь; это верно также и в политическом отношении, стоит лишь проследить ход истории. Народы, имевшие какую-либо ценность, *ставшие* ценными, никогда не делали таковыми под влиянием либеральных учреждений: *великая опасность* делала из них нечто заслуживающее уважения, опасность, которая впервые знакомит нас с нашими средствами помощи, нашими добродетелями, с нашим оружием, с нашим *духом*, — которая *принуждает* нас быть сильными... *Первый* принцип: надо иметь необходимость быть сильным — иначе им не будешь никогда. — Те огромные теплицы для сильной, для сильнейшей породы людей, какая когда-либо доселе существовала, аристократические государства, подобные Риму и Венеции, понимали свободу как раз в том смысле, в каком я понимаю это слово: как нечто такое, что имеешь и не имеешь, чего *хочешь*, что *завоевываешь*...

### 39

**Критика современности.** Наши учреждения не стоят больше ничего — это общее мнение. Но в этом виноваты не они, а *мы*. После того как у нас пропали все инстинкты, из которых вырастают учреждения, для нас пропали вообще учреждения, потому что *мы* уже негодны для них. Демократизм был во все времена упадочной формой организующей силы: уже в «Человеческом, слишком человеческом» (I 682) [I 446] я охарактеризовал современную демократию со всеми ее половинчатостями, вроде «Германской империи», как *упадочную форму государства*. Чтобы существовали учреждения, должна существовать известная воля, инстинкт, императив, антилиберальный до злобы: воля к традиции, к авторитету, к ответственности на столетия вперед, к *солидарности* цепи поколений вперед и назад *in infinitum*. Если эта воля налицо, то основывается нечто подобное *imperium Romanum*; или подобное России, *единственной* державе, которая нынче является прочной, которая может ждать, которая еще может нечто обещать, — России, противопонятию жалкому европейскому партикуляризму и нервозности, вступившим в критический период с основанием Германской империи... У всего Запада нет более тех инстинктов, из которых вырастают учреждения, из которых вырастает *будущее*: его «современному духу», быть может, ничто не приходится в такой степени не по нутру. Живут для сегодняшнего дня, живут слишком быстро, — живут слишком безответственно: именно это называют «свободой». То, что *делает* из учреждений учреждения, презирается, ненавидится, отстраняется; воображают опасность нового рабства там, где хоть только



произносится слово «авторитет». Так далеко идет *décadence* инстинкта ценностей у наших политиков, у наших политических партий: *они инстинктивно предпочитают* то, что разлагает, что ускоряет конец... Свидетельством этому служит *современный брак*. Из современного брака, очевидно, улетучилась всякая разумность — но это является возражением не против брака, а против современности. Разумность брака — она заключалась в юридической, исключительно на муже лежащей ответственности: это давало браку устойчивость, тогда как нынче он хромает на обе ноги. Разумность брака — она заключалась в его принципиальной нерасторжимости: это давало ему такой тон, который, наперекор случайному чувству, страсти и мгновению, умел *сотворять к себе внимание*. Она заключалась равным образом в ответственности семей за выбор супругов. Возрастающей снисходительностью к бракам *по любви* устраняется именно основа брака, то, что только и *делает* из него учреждение. Учреждение никогда не основывают на идиосинкразии, брак, как сказано, *не* основывают на «любви», — его основывают на половом инстинкте, на инстинкте собственности (жена и ребенок как собственность), на *инстинкте властвования*, который постоянно организует себе самую маленькую область господства, семью, которому *нужны* дети и наследники, чтобы удержать также и физиологически достигнутую меру власти, влияния, богатства, чтобы подготовить долгие задачи, инстинктивную солидарность веков. Брак, как учреждение, уже заключает в себе утверждение величайшей, прочнейшей организационной формы: если само общество не может *поручиться* за себя, как целое, до самых отдаленных будущих поколений, то брак вообще не имеет смысла. — Современный брак *потерял* свой смысл, — следовательно, он упраздняется. —

## 40

**Рабочий вопрос.** Глупость, в сущности вырождение инстинкта, являющееся нынче причиной *всех* глупостей, заключается в том, что существует рабочий вопрос. Об известных вещах *не спрашивают*: первый императив инстинкта. — Я совершенно не понимаю, что хотят сделать с европейским рабочим, после того как из него сделали вопрос. Он чувствует себя слишком хорошо, чтобы не спрашивать все более и более, все с большей нескромностью. В конце концов, он имеет на своей стороне великое множество. Совершенно исчезла надежда, что тут слагается в сословие скромная и довольная собою порода человека, тип китайца: а это было бы разумно, это было бы именно необходимо. Что же сделали? — Всё, чтобы уничтожить в зародыше даже предусловие для этого, — инстинкты, в силу которых рабочий возможен как сословие, возможен для *самого себя*, разрушили до основания самой непротестительной бессмыслицей. Рабочего сделали воинственным, ему дали право союзов, политическое право голоса: что же удивительного, если рабочий смотрит нынче на свое существование уже как на бедствие (выражаясь морально, как на *несправедливость* —)? Но чего *хотят*? спрашиваю еще раз. Если хотят цели, то должны хотеть и средств; если хотят рабов, то надо быть дураками, чтобы воспитывать их для господства. —

## 41

«Свобода, которой я *не* разумею...» — В такие времена, как нынешние, быть предоставленным своим инстинктам является лишним злоупотреблением. Эти инстинкты противоречат, мешают друг другу, взаимно разрушают друг друга; я уже определил *современность* как физиологическое самопротиворечие. Разумность воспитания требовала бы, чтобы под железным гнетом была *парализована* по крайней мере одна из этих систем инстинктов, дабы позволить другой системе набираться сил, сделаться сильной, достигнуть господства. Нынче следовало бы делать возможным индивидуум, лишь *подстригая* его: возможным, то есть *совершенным*... Происходит обратное: притязание на независимость, на свободное развитие, на *laissez aller* изъясняется с наибольшей горячностью теми, для кого никакая узда *не была бы слишком строгой*, — это имеет место *in politicis*, это имеет место в искусстве. Но это симптом *décadence*: наше современное понятие «свобода» есть лишнее доказательство вырождения инстинкта. —

## 42

*Где необходима вера.* Ничто не является столь редким среди моралистов и святых, как честность; быть может, они говорят противное, быть может, они даже *верят* противному. Когда именно вера полезнее, действительнее, убедительнее, чем *сознательное* лицемерие, лицемерие инстинктивно становится *невинностью*: первое положение для понимания великих святых. Также и у философов, у другого вида святых, все ремесло их делает то, что они допускают лишь известные истины — именно такие, на которые их ремесло имеет *общественную* санкцию, — говоря по-кантовски, истины *практического* разума. Они знают, что они *должны* доказывать, в этом они практичны, — они узнают друг друга по тому, что они сходятся во взглядах относительно «истин». — «Ты не должен лгать» — по-немецки: *берегитесь*, господин философ, говорить правду...

## 43

*На ухо консерваторам.* Чего раньше не знали, что теперь знают, могли бы знать, — *обратное образование*, возврат в каком бы то ни было смысле и степени совершенно невозможен. Мы, физиологи, по крайней мере знаем это. Но все жрецы и моралисты верили в нечто подобное, — они *хотели* вернуть, *завинтить* человечество до *прежней* меры добродетели. Мораль была всегда прокрустовым ложем. Даже политики подражали в этом проповедникам добродетели; еще и нынче есть партии, мечтающие как о цели, чтобы все вещи стали *двигаться* *раком*. Но никто не волен быть *раком*. Нечего делать: *надо* идти вперед, хочу сказать, *шаг за шагом* *далее* *в decadence* (— вот мое определение современного «прогресса»...). Можно *преградить* это развитие и тем запрудить самое вырождение, накопить его, сделать более бурным и *внезапным* — больше сделать нельзя ничего. —



*Если хотят цели, то должны хотеть и средств; если хотят рабов, то надо быть дураками, чтобы воспитывать их для господства*

## 44

*Мое понятие о гении.* Великие люди, как и великие времена, суть взрывчатые вещества, в которых накоплена огромная сила; их предусловием, исторически и физиологически, всегда является то, что на них долго собиралось, накапливалось, сберегалось и сохранялось, — что долго не происходило взрыва. Если напряжение в массе становится слишком велико, то достаточно самого случайного раздражения, чтобы вызвать к жизни «гения», «деяние», великую судьбу. Что значит тогда окружение, эпоха, «дух времени», «общественное мнение»? — Возьмем случай Наполеона. Франция времен революции, а еще более Франция до революции, породила бы из своей среды тип, противоположный Наполеону; да она и *породила* его. И так как Наполеон был человеком *иного* закала, наследником более сильной, более долгой, более древней цивилизации, чем та, которая разлетелась вдребезги во Франции, то он стал здесь властелином, он один *был* здесь властелином. Великие люди необходимы, время же их появления случайно; что они почти всегда делаются господами над ним, это происходит оттого, что они сильнее, что они старше, что на них дольше собиралось. Между гением и его временем существует такое же отношение, как между сильным и слабым, а также как между старым и молодым: время относительно всегда гораздо более молодо, слабо, незрело, неуверенно, ребячливо. — Что нынче на этот счет во Франции думают *совершенно иначе* (в Германии тоже — но это неважно), что теория среды, истинная теория невротиков, стала там священной и почти научной, встречая веру в себя даже у физиологов, это «нехорошо пахнет», это наводит на печальные мысли. — И в Англии это понимают не иначе, но на сей счет не обманется ни один человек. У англичанина есть только два способа разделаться с гением и «великим человеком»: либо *демократически* на манер Бокля, либо *религиозно* на манер Карлейля. — *Опасность*, заключающаяся в великих людях и временах, чрезвычайна; истощение всякого вида, бесплодие идет за ними по пятам. Великий человек есть конец; великое время, Ренессанс например, есть конец. Гений — в творчестве, в деле — необходимо является расточителем: *что он расходует себя*, в этом его величие... Инстинкт самосохранения как бы снят с петель; чрезмерно мощное давление вырывающихся потоком сил воспрещает ему всякую такую заботу и осторожность. Это называют «жертвой»; восхваляют в этом его «героизм», его равнодушие к собственному благу, его самопожертвование идее, великому делу, отечеству — сплошные недоразумения... Он изливается, он переливается, он расходует себя, он не щадит себя, — с фатальностью, роковым образом, невольно, как невольно выступает река из своих берегов. Но если таким взрывчатым людям многим обязаны, то за это им также и много подарили, например: нечто вроде *высшей морали*... Это ведь в духе людской благодарности: она неверно *понимает* своих благодетелей. —

## 45

*Преступник и что ему родственно.* Тип преступника — это тип сильного человека при неблагоприятных условиях, это сильный человек, сделанный больным. Ему недостает зарослей, известной более свободной и более опасной природы и формы бытия, в которой все, являющееся оружием и защитой в инстинкте сильного человека, *является правом*. Его *добродетели* изгнаны обществом; его живейшие инстинкты,



которые он принес с собою, срastaются тотчас же с угнетающими аффектами, с подозрением, страхом, бесчестьем. Но это уже почти *рецепт* для физиологического вырождения. Человек, который должен делать тайно то, что он лучше всего может, больше всего любит, должен делать с долгим напряжением, осторожностью, хитростью, становится анемичным; и так как он постоянно пожинает от своих инстинктов лишь опасность, преследование, роковые последствия, то изменяется и его чувство к этим инстинктам — он чувствует их фатальными. Это в обществе, в нашем прирученном, посредственном, оскoпленном обществе, сын природы, пришедший с гор или из морских походов, необходимо вырождается в преступника. Или почти необходимо: ибо бывают случаи, когда такой человек оказывается сильнее общества, — корсиканец Наполеон самый знаменитый тому пример. Для проблемы, являющейся перед нами здесь, важно свидетельство Достоевского — Достоевского, единственного психолога, у которого я мог кое-чему поучиться: он принадлежит к самым счастливым случаям моей жизни, даже еще более, чем открытие Стендаля. Этот *глубокий* человек, который был десять раз вправе презирать поверхностных немцев, нашел сибирских каторжников, в среде которых он долго жил, исключительно тяжких преступников, для которых уже не было возврата в общество, совершенно иными, чем сам ожидал, — как бы выточенными из самого лучшего, самого твердого и драгоценнейшего дерева, какое только растет на русской земле. Обобщим случай преступника: представим себе натуры, которые по какой-либо причине лишены общественного сочувствия, которые знают, что их не считают благодетельными, полезными, — то чувство чандалы, что считаешься не равным, а отверженным, недостойным, марающим. Мысли и поступки таких натур имеют окраску чего-то подземного; у них все становится бледнее, чем у таких, бытие которых озарено светом дня. Но почти все формы существования, считаемые нами нынче выдающимися, пребывали некогда в этом полумогильном воздухе: человек науки, артист, гений, свободомыслящий, актер, купец, человек, делающий великие открытия... Пока *жрец* считался высшим типом, *всякий* ценный вид человека был лишен ценности... Придет время — даю слово, — когда он будет считаться *низменнейшим, нашим* чандалом, лживейшей, непристойнейшей породой человека... Обращаю внимание на то, как еще и теперь, при самом мягком господстве обычая, какое только когда-либо имело место на земле, по крайней мере в Европе, каждая отстраненность, каждое долгое, слишком долгое *под*, каждая необычная, непрозрачная форма бытия приближает к тому типу, который завершает преступник. Все новаторы духа некоторое время имеют на челе бледное, фатальное клеймо чандалы: *не* потому, что на них так смотрят, а потому, что они сами чувствуют страшную пропасть, отделяющую их от всего обычного и находящегося в чести. Почти каждому гению знакомо, как одна из фаз его развития, «катилинарное существование», чувство ненависти, мести и бунта против всего, что уже *есть*, что больше не *становится*... Катилина — форма предсуществования *всякого* Цезаря. —

*Здесь вид свободный вдаль.* Это может быть величием души, если философ молчит; это может быть любовью, если он противоречит себе; возможна учтивость познающего, которая лжет. Не без тонкости сказано: *il est indigne des grands coeurs de*

répandre le trouble qu'ils ressentent: нужно только прибавить к этому, что не бояться *самого постыдного* может быть также величием души. Женщина, которая любит, жертвует своей честью; познающий, который «любит», жертвует, быть может, своей человечностью; Бог, который любил, стал жидом...

## 47

**Красота не случай.** Также и красота расы или семьи, их изящество и мягкость во всех жестах вырабатывается: она, подобно гению, есть конечный результат накопленной работы поколений. Надо, чтобы были принесены большие жертвы хорошему вкусу, надо, чтобы ради него многое делалось, многое не делалось — семнадцатый век во Франции достоин удивления и в том и в другом, — надо, чтобы в нем видели принцип выбора общества, места, одежды, полового удовлетворения; надо, чтобы красота предпочиталась выгоде, привычке, мнению, косности. Высшее правило: надо не «распускаться» также и перед самим собою. — Хорошие вещи чрезмерно дороги: и постоянно имеет силу закон, что тот, кто ими *обладает*, является иным человеком, чем тот, кто их *приобретает*. Все хорошее есть наследство: что не унаследовано, то несовершенно, то является началом... В Афинах во времена Цицерона, выражающего свое удивление по поводу этого факта, мужчины и юноши были гораздо красивее женщин: но какой работы и напряжения в служении красоте требовал там от себя мужской пол в течение столетий! — Тут надо именно не промахнуться насчет методики: голая дисциплина чувств и мыслей почти ноль (— в этом заключается великое недоразумение немецкого образования, которое совершенно иллюзорно) — надо прежде всего убедить *тело*. Строгое соблюдение значительных и избранных жестов, обязательство жить лишь с такими людьми, которые не «распускаются», совершенно достаточно для того, чтобы сделаться самому значительным и избранным: через два-три поколения все это уже *переходит в духовную область*. Для жребия народа и человечества является решающим обстоятельством, чтобы культура начиналась с *надлежащего места* — не с души (что составляло роковое суеверие жрецов и полужрецов): надлежащее место есть тело, наружность, диета, физиология, *остальное* вытекает отсюда... Греки остались поэтому *первым культурным событием* истории — они знали, они *делали* то, что было необходимо; христианство, презиравшее тело, было до сих пор величайшим несчастьем человечества. —

## 48

**Прогресс в моем смысле.** И я также говорю о «возвращении к природе», хотя это, собственно, не движение назад, а *восхождение* — вверх, в горную, свободную, даже страшную природу и естественность, в такую, которая играет великими задачами, *смеет* играть... Если говорить *аллегорически*: Наполеон был экземпляром «возвращения к природе», как я понимаю его (например, in rebus tacticis, еще более, как знают военные, в стратегии). — Но Руссо — куда, собственно, хотел *он* назад? Руссо, этот первый современный человек, идеалист и canaille в *одном* лице, которому нужно было моральное «достоинство», чтобы выносить собственный вид; больной от раз-



*...восхождение — вверх, в горнюю, свободную, даже страшную природу  
и естественность, в такую, которая играет великими задачами, смеет играть...*



нужданного тщеславия и разнузданного самопрезрения. Также и этот выродок, растянувшийся у порога нового времени, хотел «возвращения к природе» — куда, спрашиваю еще раз, хотел Руссо назад? Я ненавижу Руссо еще и в революции: она есть всемирно-историческое выражение для этой двойственности идеалиста и *canaille*. Кровавый фарс, которым разыгралась эта революция, ее «имморальность», мало меня трогает: я ненавижу ее *моральность* в духе Руссо — так называемые «истины» революции, которые все еще не утратили влияния и привлекают к ней все плоское и посредственное. Учение о равенстве!.. Но нет более ядовитого яда: ибо *кажется*, что его проповедует сама справедливость, тогда как оно *конец* справедливости... «Равным равное, неравным неравное — *это* было бы истинной речью справедливости — и, как отсюда следует, никогда не делать равным неравное». — Что это учение о равенстве сопровождалось такими страшными и кровавыми событиями, это придало названной «новой идее» *par excellence* нечто вроде блеска и ореола, отчего революция и соблазнила, как *зрелище*, даже благороднейшие умы. В конце концов, это не основание чтить ее более. — Я вижу лишь одного, кто смотрел на нее, как и должно, с *отвращением*, — Гёте...

## 49

*Göte* — явление не немецкое, а европейское: грандиозная попытка победить восемнадцатый век возвращением к природе, *восхождением* к естественности Ренессанса, нечто вроде самопреодоления со стороны этого века. — Он носил в себе его сильнейшие инстинкты: чувствительность, идолатрию природы, антиисторическое, идеалистическое, нереальное, революционное (— последнее есть лишь известная форма нереального). Он брал себе в помощь историю, естествознание, древность, равным образом Спинозу, прежде всего практическую деятельность; он обставил себя сплошь замкнутыми горизонтами; он не освобождался от жизни, он входил в нее; он не был робким и брал, сколько возможно, на себя, сверх себя, в себя. Чего он хотел, так это *цельности*; он боролся с рознью разума, чувственности, чувства, воли (— которую в ужасающей схоластике проповедовал *Кант*, антипод Гёте), он дисциплинировал себя в нечто цельное, он *создал* себя... Гёте был среди нереально настроенного века убежденным реалистом: он говорил Да всему, что было ему родственно в этом, — в его жизни не было более великого события, нежели то *ens realissimum*, которое называлось Наполеоном. Гёте создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего самого себя в узде, уважающего самого себя человека, который может отважиться разрешить себе всю полноту и все богатство естественности, который достаточно силен для этой свободы; человека, обладающего терпимостью, не вследствие слабости, а вследствие силы, так как даже то, от чего погибла бы средняя натура, он умеет использовать к своей выгоде; человека, для которого нет более ничего запрещенного, разве что *слабость*, все равно, называется она пороком или добродетелью... Такой *ставший свободным дух* пребывает с радостным и доверчивым фатализмом среди Вселенной, *веруя*, что лишь единичное является негодным, что в целом все искупается и утверждается, — *он не отрицает более...* Но такая вера — высшая из всех возможных: я окрестил ее по имени *Диониса*. —



## 50

Можно бы сказать, что в известном смысле девятнадцатый век *также* стремился ко всему тому, к чему стремился Гёте как личность: к универсальности в понимании, в одобрении, к допусканию-к-себе-чего-угодно, к смелому реализму, к благоговению перед всем фактическим. Отчего же общим результатом этого является не какой-нибудь Гёте, а хаос, нигилистические стенания, незнание-где-вход-где-выход, инстинкт усталости, который *in pax* постоянно побуждает к тому, чтобы *вернуться к восемнадцатому веку* (— например, как романтизм чувства, как альтруизм и гиперсентиментальность, как феминизм во вкусе, как социализм в политике)? Не есть ли девятнадцатый век, особенно в своем конце, лишь усиленный, *загрубевший* восемнадцатый век, то есть век *décadence*? Так что, Гёте был не только для Германии, но и для всей Европы лишь случайным явлением, прекрасным «напрасно»? — Но это значит не понимать великих людей, если смотреть на них с жалкой точки зрения общественной пользы. Что из них не умеют извлечь никакой пользы, *это само, быть может, относится к величию...*

## 51

Гёте — последний немец, к которому я отношусь с уважением: он, по-видимому, чувствовал три вещи, которые чувствую я, — мы сходимся также и насчет «креста»... Меня часто спрашивают, для чего я, собственно, пишу *по-немецки*: нигде не читают меня хуже, чем в отечестве. Но кто знает в конце концов, да *желаю* ли я еще, чтобы меня читали нынче? — Создавать вещи, на которых время будет напрасно пробовать свои зубы; по форме, *по субстанции* домогаться маленького бессмертия — я никогда еще не был достаточно скромн, чтобы желать от себя меньшего. Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы «вечности»; мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, что всякий другой говорит в целой книге, — чего всякий другой *не* скажет в целой книге...

Я дал человечеству самую глубокую книгу, какую оно обладает, моего *Заратустру*: в непродолжительном времени я дам ему самую независимую. —

## ЧЕМ Я ОБЯЗАН ДРЕВНИМ

### 1

В заключение несколько слов о том мире, к которому я искал доступы, к которому я, быть может, нашел новый доступ, — об античном мире. Мой вкус, являющийся, пожалуй, противоположностью снисходительного вкуса, и здесь далек от того, чтобы говорить Да всему вместе: он вообще неохотно говорит Да, охотнее Нет, а охотнее всего не говорит совершенно ничего... Это относится к целым культурам, это относится к книгам, — это относится также к местностям и ландшафтам. В сущности, я прочел в своей жизни очень небольшое число античных книг, не считая знаменитейших. Мое чувство стиля, чувство эпиграммы как стиля, пробудилось почти мгновенно при соприкосновении с Саллюстием. Я не забыл изумления моего уважаемого учителя Корссена, когда он должен был поставить высшую отметку своему худшему латинисту, — я кончил одним ударом. Сжатый, строгий, с наибольшим количеством субстанции в основе, с холодной злобой к «прекрасным словам», а также к «прекрасным чувствам» — по этому я угадал себя. Всюду вплоть до моего «Заратустры» у меня опознают очень серьезное притязание на *римский* стиль, на «аеге регеппиус» в стиле. — Не иначе было со мною при первом соприкосновении с Горацием. До сих пор ни один поэт не приводил меня в такое артистическое восхищение, в какое приводила меня с самого начала ода Горация. В известных языках нельзя даже *желать* того, что здесь достигнуто. Эта мозаика слов, где каждое слово как звук, как пятно, как понятие, изливает свою силу и вправо, и влево, и на целое, это *minimum* объема и числа знаков, это достигаемое таким путем *maximum* энергии знаков — все это в римском духе и, если поверят мне, *аристократично* *par excellence*. Вся остальная поэзия является по сравнению с этим чем-то слишком популярным, — простой болтливостью чувств...



*Мое чувство стиля, чувство эпиграммы как стиля, пробудилось почти мгновенно  
при соприкосновении с Саллюстием*

## 2

Грекам я отнюдь не обязан подобными по силе впечатлениями; и, говоря это прямо, они не *могут* быть для нас тем, чем являются римляне. *Учатся* не у греков — их порода слишком чужда нам, она также слишком текуча, чтобы действовать императивно, действовать «классически». Кто учился когда-либо писать у грека! Кто учился этому когда-либо *без* римлян!.. Пусть мне не возражают Платоном. По отношению к Платону я радикальный скептик и никогда не был в состоянии присоединить свой голос к обычному, среди ученых удивлению, возбуждаемому артистом Платоном. В конце концов, тут на моей стороне даже утонченнейшие судьи вкуса из древних. Платон, как мне кажется, беспорядочно смешивает все формы стиля, он является поэтому *первым* *décadent* стиля: у него на совести лежит нечто вроде того, что у циников, которые изобрели *satura Menippea*. Чтобы платоновский диалог, этот ужасающе самодовольный и детский вид диалектики, мог действовать возбуждающе, для этого надо быть совершенно незнакомым с хорошими французскими авторами, — с Фонтенелем например. Платон скучен. В конце концов мое недоверие к Платону становится глубже: я нахожу его в такой степени отклонившимся от всех основных инстинктов эллинов, в такой степени пропитанным моралью, в такой степени предформой христианина — у него уже понятие «добрый» является высшим понятием, — что я охотнее применил бы ко всему феномену Платона суровое слово «высшее шарлатанство» или, если это приятнее слышать, идеализм, — чем какое-нибудь другое слово. Дорого пришлось заплатить за то, что этот афинянин поучался у египтян (— или у евреев в Египте?..). В великом роковом событии, именуемом христианством, Платон является той названной «идеалом» двусмысленностью и приманкой, которая сделала возможным для более благородных натур древности неправильно понять самих себя и вступить на *мост*, который вел к «кресту»... И сколько Платона еще в понятии «церковь», в строе, системе, практике церкви! — Моим отдыхом, моим пристрастием, моим *исцелением* от всякого платонизма был всегда *Фукидид*. Фукидид и, быть может, *principe* Макиавелли ближе всего родственны мне самому безусловной волей ничем себя не морочить и видеть разумность в *реальности* — а не в «разуме», еще того менее в «морали»... От жалкого размалевывания греков в идеал, которое «классически образованный» юноша уносит с собою в жизнь как награду за свою гимназическую дрессуру, ничто не вылечивает так радикально, как Фукидид. Надо выворачивать его строка за строкой и так же отчетливо читать его задние мысли, как его слова: мало найдется мыслителей, столь богатых задними мыслями. В нем получает свое законченное выражение *культура софистов*, я хотел сказать *культура реалистов*: это неоцененное движение среди всюду прорывающегося шарлатанства морали и идеала сократических школ. Греческая философия как *décadence* греческого инстинкта; Фукидид как великий итог, последнее откровение той сильной, строгой, суровой фактичности, которая коренилась в инстинкте более древнего эллина. *Мужество* перед реальностью различает в конце концов такие натуры, как Фукидид и Платон: Платон — трус перед реальностью, — *следовательно*, он ищет убежища в идеале; Фукидид владеет *собой*, следовательно, он сохраняет также и владычество над вещами...



## 3

Пронюхать в греках «прекрасные души», «золотые середины» и другие совершенства, удивляться, например, их спокойному величию, идеальному образу мыслей, высокой простоте — от этой «высокой простоты», этой *plaisanterie allemande* в конце концов, меня предостерег психолог, которого я носил в себе. Я видел их сильнейший инстинкт, волю к власти, я видел их дрожащими перед неукротимой мощью этого инстинкта, — я видел, что все их учреждения вырастали из предохранительных мер, чтобы взаимно обезопасить себя от их внутреннего *взрывчатого вещества*. Чудовищное внутреннее напряжение разрядилось затем в страшной и беспощадной внешней вражде: городские общины терзали одна другую, чтобы граждане каждой из них обрели покой от самих себя. Необходимость заставляла быть сильными: опасность была близка, — она подстерегала всюду. Великолепно развитое тело, смелый реализм и имморализм, свойственный эллину, был *нуждой*, а не «природой». Он был лишь следствием, он не существовал вначале. Да и празднествами и искусствами не хотели достичь ничего иного, как чувствовать себя *наверху*, *показываться* наверху: это средства прославлять самих себя, порою возбуждать страх перед собой... Судить о греках на немецкий манер по их философам, пользоваться хотя бы простодушием сократических школ для объяснения того, *что* такое, в сущности, эллинское!.. Ведь философы — *décadents* эллинства, они олицетворяют собою восстание против старого, аристократического вкуса (— против атонального инстинкта, против *polis*, против ценности расы, против авторитета происхождения). Сократовские добродетели были проповедуемы, *потому что* они пропали у греков: раздражительные, боязливые, непостоянные, комедианты все до одного, они имели несколько лишних причин позволить проповедовать себе мораль. Не то чтобы это чему-нибудь помогло, — но высокие слова и величественные позы так к лицу *décadents*...

## 4

Я был первым, кто, для уразумения более древнего, еще богатого и даже бьющего через край эллинского инстинкта, отнесся серьезно к тому удивительному феномену, который носит имя Диониса: он объясним единственно *избытком* силы. Кто изучает греков так, как тот глубочайший знаток их культуры из живущих нынче, как Якоб Буркхардт в Базеле, тот поймет тотчас же, что этим кое-что сделано: Буркхардт включил в свою «Культуру греков» специальную главу о названном феномене. Если угодно познакомиться с противоположным отношением к делу, то стоит только посмотреть на почти забавную бедность инстинкта немецких филологов, когда они приближаются к дионисическому. Особенно знаменитый Лобек, который с достоинственной уверенностью высохшего среди книг червяка заполз в этот мир таинственных состояний и убедил себя в своей научности, заключающейся в том, что он был до отвращения легкомыслен и ребячлив, — Лобек дал понять со всею ученостью, что, в сущности, все эти курьезы не имеют никакого значения. Жрецы действительно могли сообщать участникам таких оргий кое-что не лишнее ценности, например, что вино возбуждает веселье, что человек порой живет, питаясь плодами, что растения весной распускаются, а осенью увядают. Что касается того удивительного богатства обрядов, символов и мифов оргиастического происхождения, которыми букваль-

но зарос античный мир, то Лобек находит в нем повод повысить свое остроумие еще на один градус. «Греки, — говорит он, Aglaophamus I 672, — если им больше нечего было делать, смеялись, прыгали, бесновались, или, так как у человека порой является охота и к этому, они сидели, плакали и вопили. *Другие* присоединялись к ним позже и искали хоть какой-нибудь причины изумительного явления; так возникли для объяснения этих обычаев бесчисленные сказания о празднествах и мифы. Другая сторона полагала, что те *забавы*, которые, раз уж имели место в дни празднеств, являлись необходимой составной частью празднований, и соблюдала их как необходимую часть богослужения». — Это презренная болтовня, к такому Лобеку нельзя ни минуты относиться серьезно. Совершенно иное впечатление получим мы, если исследуем понятие «греческого», которое составили себе Винкельман и Гёте, и найдем его несовместимым с тем элементом, из которого вырастает дионисическое искусство, — с оргиазмом. Я действительно не сомневаюсь в том, что Гёте принципиально исключал нечто подобное из возможностей греческой души. *Следовательно, Гёте не понимал греков.* Ибо лишь в дионисических Мистериях, в психологии дионисического состояния выражается *основной факт* эллинского инстинкта — его «воля к жизни». *Что* гарантировал себе эллин этими Мистериями? *Вечную* жизнь, вечное возвращение жизни; будущее, обетованное и освященное в прошедшем; торжествующее Да по отношению к жизни наперекор смерти и изменению; *истинную* жизнь как общее продолжение жизни через соитие, через мистерии половой жизни. Поэтому в *половом* символе греки видели достойный уважения символ сам по себе, подлинный глубокий смысл всего античного благочестия. Все отдельное в акте соития, беременности, родов возбуждало высшие и полные торжества чувства. В учении Мистерий освящено *страдание*: «муки роженицы» освящают страдание вообще, — всякое становление и рост, все гарантирующее будущность *обуславливает* страдание... Чтобы существовала вечная радость созидания, чтобы воля к жизни вечно подтверждала сама себя, для этого *должны* также существовать «муки роженицы»... Все это означает слово «Дионис»: я не знаю высшей символики, чем эта *греческая* символика, символика дионисий. В ней придается религиозный смысл глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности жизни, — самый путь к жизни, соитие, понимается как *священный путь*... Только христианство со своим *ressentiment по отношению* к жизни, лежащим в его основе, сделало из половой жизни нечто нечистое: оно запачкало *грязью* начало, предусловие нашей жизни...

## 5

Психология оргиазма, как бьющего через край чувства жизни и силы, в котором даже страдание действует, как возбуждающее средство, дала мне ключ к понятию *трагического* чувства, неверно понятого как Аристотелем, так и в особенности нашими пессимистами. Трагедия так далека от того, чтобы доказывать что-либо в пользу пессимизма эллинов в смысле Шопенгауэра, что скорее может быть считаемая решительным отклонением и *противоинстанцией* его. Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая в жертве своими высшими типами собственной неисчерпаемости, — *вот что* назвал я дионисическим, *вот в чем* угадал я мост к психологии *трагического* поэта. *Не* для того, чтобы

освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением — так понимал это Аристотель, — а для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, *быть самому* вечной радостью становления, — той радостью, которая заключает в себе также и *радость уничтожения*... Но тут я снова соприкасаюсь с тем пунктом, из которого некогда вышел, — «Рождение трагедии» было моей первой переоценкой всех ценностей: тут я снова возвращаюсь на ту почву, из которой растет мое хотение, моя мочь, — я, последний ученик философа Диониса, — я, учитель вечного возвращения...

## МОЛОТ ГОВОРИТ

Так говорил Заратустра (II 460) [II 155-156]

*«Зачем так тверд! — сказал однажды древесный уголь алмазу. — Разве мы не близкие родственники?» —*

*Зачем так мягки? О братья мои, так спрашиваю я вас: разве вы — не мои братья?*

*Зачем так мягки, так покорны и уступчивы? Зачем так много отрицания, отречения в сердце вашем? Так мало рока во взоре вашем?*

*Если вы не хотите быть роковыми и непреклонными, — как можете вы когда-нибудь вместе со мною — победить?*

*Если ваша твердость не хочет сверкать и резать и рассекать, — как можете вы когда-нибудь вместе со мною — созидать?*

*Все созидающие именно тверды. И блаженством должно казаться вам налагать вашу руку на тысячелетия, как на воск, —*

*— блаженством, писать на воле тысячелетий, как на бронзе, — тверже, чем бронза, благороднее, чем бронза. Совершенно твердо только благороднейшее.*

*Эту новую скрижаль, о братья мои, даю я вам: станьте тверды! —*



# АНТИХРИСТ

## Проклятие христианству

Перевод  
В. А. Флёровой

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга принадлежит немногим. Может быть, никто из этих немногих еще и не существует. Ими могут быть те, кто понимает моего Заратустру; как *мог бы* я смешаться с теми, у кого лишь сегодня открываются уши? Только послезавтра принадлежит мне. Иные люди родятся *posthum*.

Условия, при которых меня понимают и тогда уже понимают *с необходимостью*, — я знаю их слишком хорошо. Надо быть честным в интеллектуальных вещах до жестокости, чтобы только вынести мою серьезность, мою страсть. Надо иметь привычку жить на горах — видеть *под* собою жалкую болтовню современной политики и национального эгоизма. Надо сделаться равнодушным, никогда не спрашивать, приносит ли истина пользу или становится роком для личности... Пристрастие силы к вопросам, на которые сегодня ни у кого нет мужества; мужество к *запретному*, предназначение к лабиринту. Опыт из семи одиночеств. Новые уши для новой музыки. Новые глаза для самого дальнего. Новая совесть для истин, которые оставались до сих пор немymi. *И* воля к экономии высокого стиля: сплачивать свою силу, свое *вдохновение*. Уважение к себе; любовь к себе; безусловная свобода относительно себя...

Итак, только это — мои читатели, мои настоящие читатели, мои предопределенные читатели: что за дело до *остального*? Остальное — лишь человечество. Надо стать выше человечества силой, *высотой* души — презрением...

Фридрих Ницше

## 1

Обратимся к себе. Мы гиперборейцы — мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. «Ни землей, ни водой ты не найдешь пути к гиперборейцам» — так понимал нас еще Пиндар. По ту сторону севера, льда, смерти — *наша* жизнь, *наше* счастье. Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта. Кто же нашел его? — Неужели современный человек? — «Я не знаю, куда деваться; я все, что не знает, куда деваться», — вздыхает современный человек. *Этой* современностью болели мы, мы болели ленивым миром, трусливым компромиссом, всей добродетельной нечистоплотностью современных Да и Нет. Эта терпимость, *largesse* сердца, которая все «извиняет», потому что все «понимает», действует на нас, как сирокко. Лучше жить среди льдов, чем под теплыми веяниями современных добродетелей. Мы были достаточно смелы, мы не щадили ни себя, ни других, но мы долго не знали, *куда* нам направить нашу смелость. Мы были мрачны, нас называли фаталистами. *Нашим* фатумом было: полнота, напряжение, накопление сил. Мы жаждали молнии и дел, мы оставались вдали от счастья немощных, от «смирения». Грозовые тучи вокруг, мрак внутри нас: *мы не имели пути*; формула нашего счастья: одно Да, одно Нет, одна прямая линия, одна цель.

## 2

Что хорошо? — Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самую власть.

Что дурно? — Все, что происходит из слабости.

Что есть счастье? — Чувство *растущей* власти, чувство преодолеваемого противодействия.

*Не* удовлетворенность, но стремление к власти, *не* мир вообще, но война, *не* добродетель, но полнота способностей (добродетель в стиле Ренессанса, *virtu*, добродетель, свободная от моралины).

Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение *нашей* любви к человеку. И им должно еще помочь в этом.

Что вреднее всякого порока? — Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым — христианство.

### 3

Моя проблема не в том, как завершает собою человечество последовательный ряд сменяющихся существ (человек — это *конец*), но какой тип человека следует *взращивать*, какой тип *желателен*, как более ценный, более достойный жизни, будущности.

Этот более ценный тип уже существовал нередко, но лишь как счастливая случайность, как исключение, — и никогда как нечто *преднамеренное*. Наоборот, — *его* боялись более всего; до сих пор он внушал почти ужас, и из страха перед ним желали, возвращали и *достигали* человека противоположного типа: типа домашнего животного, стадного животного, больного животного — христианина.

### 4

Человечество *не* представляет собою развития к лучшему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. «Прогресс» есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея. Теперешний европеец по своей ценности глубоко ниже европейца эпохи Возрождения, поступательное развитие решительно *не* представляет собою какой-либо необходимости повышения, усиления.

Совсем в ином смысле, в единичных случаях на различных территориях земного шара и среди различных культур, удастся проявление того, что фактически представляет собою *высший тип*, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны. И при благоприятных обстоятельствах такими удачами могут быть целые поколения, племена, народы.

### 5

Не следует украшать и выражать христианство: оно объявило *смертельную войну* этому *высшему* типу человека, оно отрелось от всех основных инстинктов этого типа; из этих инстинктов оно выщедило понятие зла, злого человека: сильный человек сделался негодным человеком, «отверженцем». Христианство взяло сторону всех слабых, униженных, неудачников, оно создало идеал из *противоречия* инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый разум духовно-сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как греховные,





*Мы жаждали молнии и дел, мы оставались вдали от счастья немощных,  
от «смирения»*

ведущие к заблуждению, как *искушения*. Вот пример, вызывающий глубочайшее сожаление: гибель Паскаля, который верил в то, что причиной гибели его разума был первородный грех, между тем как ею было лишь христианство

## 6

Мучительное, страшное зрелище представилось мне: я отдернул завесу с *испорченности* человека. В моих устах это слово свободно по крайней мере от одного подозрения: будто бы оно заключает в себе моральное обвинение. Слово это — я желал бы подчеркнуть это еще раз — лишено морального смысла, и притом в такой степени, что испорченность эта как раз ощущается мною сильнее всего именно там, где до сих пор наиболее сознательно стремились к «добродетели», к «божественности». Я понимаю испорченность, как об этом можно уже догадаться, в смысле *décadence*: я утверждаю, что все ценности, к которым в настоящее время человечество стремится, как к наивысшим, — суть *ценности* *décadence*.

Я называю животное — род, индивидуум — испорченным, когда оно теряет свои инстинкты, когда оно выбирает, когда оно *предпочитает* то, что ему вредно. История «высоких чувств», «идеалов человечества» — может быть, именно мне нужно ею заняться — была бы почти только выяснением того, почему человек так испорчен. Сама жизнь ценится мною, как инстинкт роста, устойчивости, накопления сил, *власти*: где недостает воли к власти, там упадок. Я утверждаю, что всем высшим ценностям человечества *недостает* этой воли, что под самыми святыми именами господствуют ценности упадка, *нигилистические* ценности.

## 7

Христианство называют религией *сострадания*. Сострадание противоположно тоническим аффектам, повышающим энергию жизненного чувства; оно действует угнетающим образом. Через сострадание теряется сила. Состраданием еще увеличивается и усложняется убыль в силе, наносимая жизни страданием. Само страдание делается заразительным через сострадание; при известных обстоятельствах путем сострадания достигается такая величина ущерба жизни и жизненной энергии, которая находится в нелепо преувеличенном отношении к величине причины (— случай смерти Назореянина). Вот первая точка зрения, но есть еще и более важная. Если измерять сострадание ценностью реакций, которые оно обыкновенно вызывает, то опасность его для жизни еще яснее. Сострадание вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора. Оно поддерживает то, что должно погибнуть, оно встает на защиту в пользу обездоленных и осужденных жизнью; поддерживая в жизни неудачное всякого рода, оно делает саму жизнь мрачною и возбуждающею сомнение. Осмелились назвать сострадание добродетелью (в каждой *благородной* морали оно считается слабостью); пошли еще дальше: сделали из него добродетель по преимуществу, почву и источник всех добродетелей, конечно, лишь с точки зрения





*Само страдание делается заразительным через сострадание...*

нигилистической философии, которая пишет на своем щите *отрицание жизни*, — и это надо всегда иметь в виду. Шопенгауэр был прав: сострадание отрицает жизнь, оно делает ее более *достойной отрицания*, — сострадание есть *практика* нигилизма. Повторяю: этот угнетающий и заразительный инстинкт уничтожает те инстинкты, которые исходят из поддержания и повышения ценности жизни: *умножая* бедствие и *охраняя* все бедствующее, оно является главным орудием *décadence* — сострадание увлекает в *ничто!*.. Не говорят «ничто»: говорят вместо этого «по ту сторону», или «Бог», или «*истинная жизнь*», или нирвана, спасение, блаженство... Эта невинная риторика из области религиозно-нравственной идиосинкразии оказывается *гораздо менее невинной*, когда поймешь, *какая* тенденция облекается здесь в мантию возвышенных слов, тенденция, *враждебная жизни*. Шопенгауэр был враждебен жизни — *поэтому* сострадание сделалось у него добродетелью... Аристотель, как известно, видел в сострадании болезненное и опасное состояние, при котором недурно кое-когда прибегать к слабительному; он понимал трагедию — как слабительное. Исходя из инстинкта жизни, можно бы было в самом деле поискать средство *удалить хирургическим путем* такое болезненное и опасное скопление сострадания, какое представляет случай с Шопенгауэром (и, к сожалению, весь наш литературный и артистический *décadence* от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера)... Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как христианское сострадание. *Здесь* быть врачом, *здесь* быть неумолимым, *здесь* действовать ножом, — это надлежит *нам*, это *наш* род любви к человеку, с которой живем *мы* — философы, мы — гиперборей!..

## 8

Необходимо сказать, *кого* мы считаем своей противоположностью: теологов и все, что от плоти и крови теологов, — всю нашу философию... Нужно вблизи увидеть роковое, больше того — нужно пережить его на себе, почти дойти до гибели, чтобы с ним уже не шутить более (свободомыслие наших господ естествоиспытателей и физиологов в моих глазах есть *шутка*; им недостает страсти в этих вещах, они *не страдают* ими). Отрава идет гораздо далее, чем думают: я нашел присущий теологам инстинкт высокомерия всюду, где теперь чувствуют себя «идеалистами», где, ссылаясь на высшее происхождение, мнят себя вправе относиться к действительности как к чему-то чуждому и смотреть на нее свысока... Идеалист совершенно так, как и жрец, все великие понятия держит в руке (и не только в руке!); он играет ими с благосклонным презрением к «разуму», «чувству», «чести», «благоденствию», «науке»; на все это он смотрит *сверху вниз*, как на вредные и соблазнительные силы, над которыми парит «дух» в самодовлеющей чистоте: как будто жизнь до сих пор не вредила себе целомудрием, бедностью, одним словом, — *святостью* гораздо более, чем всякими ужасами и пороками... Чистый дух — есть чистая ложь...

Пока жрец, этот отрицатель, клеветник, отравитель жизни *по призванию*, считается еще человеком *высшей* породы, — нет ответа на вопрос: что *есть* истина? Раз сознательный защитник отрицания жизни является заступником «истины», тем самым истина ставится вверх ногами...



## 9

Этому инстинкту теолога объявляю я войну: всюду находил я следы его. У кого в жилах течет кровь теолога, тот с самого начала не может относиться ко всем вещам прямо и честно. Развивающийся отсюда пафос называется *вера*, т. е. раз и навсегда закрывание глаз, чтобы не страдать от зрелища неисправимой лжи. Из этого оптического обмана создают себе мораль, добродетель, святость; чистую совесть связывают с *фальшивым* взглядом; освящая собственное мировоззрение терминами «Бог», «спасение», «вечность», не допускают, чтобы какая-нибудь *иная* оптика претендовала на ценность. Везде откапывал я инстинкт теолога: он есть самая распространенная и самая *подземная* форма лжи, которая только существует на земле. Все, что ощущает теолог как истинное, то *должно* быть ложным: в этом мы почти имеем критерий истины. Его глубочайший инстинкт самосохранения запрещает, чтобы реальность в каком бы то ни было отношении пользовалась почетом или хотя бы просто заявляла о себе. Поскольку простирается влияние теологов, постольку извращается *оценка*, — необходимо подменяются понятия «истинный» и «ложный»: что более всего вредит жизни, то здесь называется «истинным»; что ее возвышает, поднимает, утверждает, оправдывает и доставляет ей торжество, то называется «ложным».

Если случается, что теологи, путем воздействия на «совесть» государей (*или* народов), протягивают руку к *власти*, то мы не сомневаемся, *что* собственно каждый раз тут происходит: воля к концу, *нигилистическая* воля волит власти...

## 10

Немцам сразу понятны мои слова, что кровь теологов испортила философию.

Протестантский пастор — дедушка немецкой философии, сам протестантизм ее *reccatum originale*. Вот определение протестантизма: односторонний паралич христианства — *и* разума... Достаточно сказать слово «тюбингенская школа», чтобы сделалось ясным, что немецкая философия в основании своем — *коварная* теология... Швабы — лучшие лжецы в Германии, — они лгут невинно... Откуда то ликование при появлении *Канта*, которое охватило весь немецкий ученый мир, состоящий на три четверти из сыновей пасторов и учителей? Откуда убеждение немцев, еще и до сих пор находящее свой отзвук, что с Кантом начался поворот к *лучшему*? Инстинкт теолога в немецком ученом угадал, *что* теперь снова сделалось — возможным... Открылась лазейка к старому идеалу; понятие «*истинный* мир», понятие о морали как *сущности* мира (два зlostнейших заблуждения, какие только существуют!) — эти два понятия, благодаря хитроумному скептицизму, если не доказываются, то более не *опровергаются*... Разум, *право* разума сюда не достигает... Из реальности сделали «видимость», из совершенно изолганного мира, мира сущего, сделали реальность... Успех Канта есть лишь успех теолога. Кант, подобно Лютеру, подобно Лейбницу, был лишним тормозом для недостаточно твердой на ногах немецкой честности...

## 11

Еще одно слово против Канта как *моралиста*. Добродетель должна быть нашим изобретением, *нашей* глубоко личной защитой и потребностью: во всяком ином смысле она только опасность. Что не обуславливает нашу жизнь, то *вредит* ей: добродетель только из чувства уважения к понятию «добродетель», как хотел этого Кант, вредна. «Добродетель», «долг», «добро само по себе», доброе с характером безличности и всеобщности — все это химеры, в которых выражается упадок, крайнее обессиливание жизни, кёнигсбергский китаизм. Самые глубокие законы сохранения и роста повелевают как раз обратное: чтобы каждый находил себе *свою* добродетель, *свой* категорический императив. Народ идет к гибели, если он смешивает *свой* долг с понятием долга вообще. Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий «безличный» долг, всякая жертва молоху абстракции. — Разве не чувствуется категорический императив Канта, как *опасный для жизни!*.. Только инстинкт теолога взял его под защиту! — Поступок, к которому вынуждает инстинкт жизни, имеет в чувстве удовольствия, им вызываемом, доказательство своей *правильности*, а тот нигилист с христиански-догматическими потрохами принимает удовольствие за *возражение*... Что действует разрушительнее того, если заставить человека работать, думать, чувствовать без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без *удовольствия*? как автомат «долга»? Это как раз *рецепт* *décadence*, даже идиотизма... Кант сделался идиотом. — И это был современник *Гёте*! Этот роковой паук считался *немецким* философом! — Считается еще и теперь!.. Я остерегаюсь высказать, что я думаю о немцах... Разве не видел Кант во французской революции перехода неорганической формы государства в *органическую*? Разве не задавался он вопросом, нет ли такого явления, которое совершенно не может быть объяснено иначе как моральным настроением человечества, так чтобы им раз и навсегда была *доказана* «тенденция человечества к добру»? Ответ Канта: «это революция». Ошибочный инстинкт в общем и в частности, *противоприродное* как инстинкт, немецкая *décadence* как философия — *вот что такое Кант!* —

## 12

Если оставить в стороне пару скептиков, представителей порядочности в истории философии, то остальное все не удовлетворяет первым требованиям интеллектуальной честности. Все эти великие мечтатели и чудаки, вместе взятые, все они поступают, как бабенки: «прекрасные чувства» принимают они за аргументы, «душевное воздыхание» за воздуходувку Божества, убеждение за *критерий* истины. В конце концов еще Кант в «немецкой» невинности пытался приобщить к науке эту форму коррупции, этот недостаток интеллектуальной совести, под видом понятия «практический разум»: он нарочно изобрел разум для того случая, когда о разуме не может быть и речи, когда именно мораль провозглашает свое возвышенное требование: «ты должен». Принимая во внимание, что почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие жреческого типа, нечего удивляться его *жульничеству перед самим собой*, этому наследию жреца. Если имеешь священные задачи вроде исправления, спасения, искупления человечества, если носишь в груди божество, счита-



*...почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие  
жреческого типа...*

ешь себя рупором потустороннего императива, то, облеченный в такую миссию, ставишь себя уже вне всех чисто рациональных оценок, — *сам*, освященный подобной задачей, изображаешь тип высшего порядка!.. Что за дело жрецу до *науки*! Он стоит слишком высоко для этого! — И этот жрец до сих пор *господствовал*! — Он определял понятие «истинный» и «неистинный»!..

### 13

Оценим в должной мере то, что *мы сами*, мы, свободные умы, уже есть «переоценка всех ценностей», *воплощенный* клич войны и победы над всеми старыми понятиями об «истинном» и «неистинном». Самое ценное в интеллектуальном отношении отыскивается позднее всего. Но самое ценное — это *методы*. Все методы, все предпосылки нашей теперешней научности, встречали глубочайшее презрение в течение тысячелетий; из-за них иные исключались из общества «честных» людей, считались «врагами Бога», презирающими истину, «одержимыми». Научные склонности человека делали из него чандалу... Весь пафос человечества — его понятие о том, что *должно* быть истиной, чем *должно* быть служение истине — все было против нас: каждое «ты должен» было до сих пор направлено *против* нас... Предметы наших занятий, самые занятия, весь род наш — тихий, осмотрительный, недоверчивый — все казалось совершенно недостойным и заслуживающим презрения. — В конце концов, с известной долей справедливости можно бы было спросить себя: не *эстетический* ли вкус удерживал человечество в столь длительной слепоте? Оно требовало от истины *живописного* эффекта, оно требовало и от познающего, чтобы он сильно действовал на чувство. Наша *скромность* дольше всего претила его вкусу... О, как они это угадали, эти божьи индюки!..

### 14

Нам пришлось переучиваться. Во всем мы сделались скромнее. Мы более не выводим человека из «духа», из «божества», мы отодвинули его в ряды животных. Мы считаем его сильнейшим животным, потому что он хитрее всех, — следствием этого является его духовность. С другой стороны, мы устраним от себя тщеславное чувство, которое и здесь могло бы проявиться: что человек есть великая скрытая цель развития животного мира. Он совсем не венец творения, каждое существо рядом с ним стоит на равной ступени совершенства... Утверждая это, мы утверждаем еще большее: человек, взятый относительно, есть самое неудачное животное, самое болезненное, уклонившееся от своих инстинктов самым опасным для себя образом, — но, конечно, со всем этим и самое *интереснейшее*! — Что касается животных, то с достойною уважения смелостью Декарт впервые рискнул высказать мысль, что животное можно понимать как *machina*, — вся наша физиология старается доказать это положение. Развивая логически эту мысль, мы не исключаем и человека, как это делал еще Декарт: современные понятия о человеке развиваются именно в механическом на-



правлении. Прежде придавали человеку качество высшего порядка — «свободную волю»; теперь мы отняли у него даже волю в том смысле, — что под волей нельзя уже более подразумевать силу.

Старое слово «воля» служит только для того, чтобы обозначить некую результат, некий род индивидуальной реакции, которая необходимо следует за известным количеством частью противоречащих, частью согласующихся раздражении: воля более не «действует», более не «двигает»... Прежде видели в сознании человека, в «духе», доказательство его высшего происхождения, его божественности; ему советовали, если он хотел быть *совершенным*, втянуть, подобно черепахе, в себя свои чувства, прекратить общение с земным, скинуть земную оболочку: тогда от него должно было остаться главное — «чистый дух». На счет этого мы теперь уже лучше соображаем: как раз именно сознание, «дух», мы считаем симптомом относительного несовершенства организма, как бы попыткой, прощупыванием, промахом, как бы усилением, при котором бесполезно тратится много нервной силы; мы отрицаем, чтобы что-нибудь могло быть совершенным, раз оно делается сознательно. «Чистый дух» есть чистая глупость: если мы сбросим со счета нервную систему и чувства, «смертную оболочку», то мы *обсчитаемся* — вот и все.

## 15

Ни мораль, ни религия не соприкасаются в христианстве ни с какой точкой действительности. Чисто воображаемые *причины* («Бог», «душа», «Я», «дух», «свободная воля», — или даже «несвободная»); чисто воображаемые *действия* («грех», «искупление», «милость», «наказание», «прощение греха»). Общение с воображаемыми *существами* («Бог», «духи», «души»); воображаемая наука о *природе* (антропоцентрическая; полное отсутствие понятия о естественных причинах); воображаемая *психология* (явное непонимание самого себя, толкование приятных или неприятных всем общих чувств — как, например, известных состояний *pervus sympathicus* — при помощи символического языка религиозно-моральной идиосинкразии, — «раскаяние», «угрызение совести», «искушение дьявола», «близость Бога»); воображаемая *телеология* («Царство Божье», «Страшный суд», «вечная жизнь»). — Этот мир чистых *фикций* сильно отличается не в свою пользу от мира грез именно тем, что последний *отражает* действительность, тогда как *первый* извращает ее, обесценивает, отрицает. Только после того, как понятие «природа» было противопоставлено понятию «Бог», слово «природный», «естественный» должно было сделаться синонимом «недостойный» — корень всего этого мира фикций лежит в *ненависти* к естественному (действительность!); этот мир есть выражение глубокого отвращения к действительному... *И этим все объясняется*. У кого единственно есть основание *отречься* от действительности, *оклеветавши* ее? — У того, кто от нее *страдает*. Но страдать от действительности — это значит самому быть *неудачной* действительностью... Перевес чувства неудовольствия над чувством удовольствия есть *причина* этой фиктивной морали и религии, а такой перевес дает содержание *формуле* *décadence*...

## 16

К такому заключению вынуждает критика *христианского понятия о Боге*. — Народ, который еще верит в самого себя, имеет также и своего собственного Бога. В нем он чтит условия, благодаря которым он поднялся, — свои добродетели. Его самоудовлетворенность, его чувство власти отражается для него в существе, которое можно за это благодарить. Кто богат — хочет давать; гордый народ нуждается в божестве, чтобы *жертвовать*... Религия при таких предпосылках является выражением благодарности. Народ, благодарный за свое существование, нуждается для выражения этой благодарности в божестве. — Такое божество должно иметь силу приносить пользу или вред, быть другом или врагом; ему удивляются как в добре, так и в зле. *Противоестественная* кастрация божества в божество только добра была бы здесь совсем нежелательна. В злом божестве так же нуждаются, как и в добром: ведь и собственное существование не есть лишь дар снисходительности и дружеского расположения к человеку... Какой смысл в божестве, которое не знает ни гнева, ни мести, ни зависти, ни насмешки, ни хитрости, ни насилия? Которому, быть может, никогда не были знакомы приводящие в восхищение *ardeurs* победы и уничтожения? Такое божество было бы и непонятно: к чему оно? — Конечно, если народ погибает, если он чувствует, что окончательно исчезает его вера в будущее, его надежда на свободу, если покорность начинает входить в его сознание, как первая полезность, если добродетели подчинения являются необходимыми условиями его поддержания, то и его божество *должно* также измениться. Оно делается теперь пронырливым, боязливым, скромным, советует «душевный мир», воздержание от ненависти, осторожность, «любовь к другу и врагу». Оно постоянно морализирует, оно вползает в каждую частную добродетель, становится божеством для отдельного человека, становится частным лицом, космополитом... Некогда божество представляло собою народ, мощь народа, все агрессивное и жаждущее власти в душе народа — теперь оно только лишь благое божество... Поистине, для богов нет иной альтернативы: *или* они есть воля к власти, и тогда они бывают национальными божествами, — *или же* они есть бессилие к власти — и тогда они по необходимости делаются *добрыми*...

## 17

Где понижается воля к власти в какой бы то ни было форме, там всякий раз происходит также и физиологический спад, *décadence*. Божество *décadence*, кастрированное в сильнейших своих мужских добродетелях и влечениях, делается теперь по необходимости Богом физиологически вырождающихся, Богом слабых.

Сами себя они не называют слабыми, они называют себя «добрыми»... Понятно без дальнейших намеков, в какие моменты истории впервые делается возможной дуалистическая фикция доброго и злого Бога. Руководствуясь одним и тем же инстинктом, поработанные низводят своего Бога до «доброго в самом себе» и вместе с тем лишают Бога своих поработителей его добрых качеств; они мстят своим господам тем, что их Бога *обращают в черта*. — *Добрый Бог*, равно как и черт, — то и другое суть исчадия *décadence*. Как можно еще в настоящее время так поддаваться простоте христианских теологов, чтобы вместе с ними декретировать, что дальнейшее

развитие понятия о Боге от «Бога Израиля», от Бога народа, к христианскому Богу, к вместилищу всякого добра, — что это был *прогресс*? — Но сам Ренан делает это. Как будто Ренан имеет право на простоту! А между тем противоположное бросается в глаза. Если из понятия о божестве удалены все предпосылки *возрастающей* жизни, все сильное, смелое, повелевающее, гордое, если оно опускается шаг за шагом до символа посоха для уставших, якоря спасения для всех утопающих, если оно становится Богом бедных людей, Богом грешников, Богом больных раг excellence и предикат «Спаситель», «Избавитель» делается как бы божеским предикатом вообще, — то *о чем* говорит подобное превращение, подобная *редукция* божественного? — Конечно, «Царство Божье» тем самым увеличилось. Прежде Бог знал только свой народ, свой «избранный» народ. Между тем он пошел, как и народ его, на чужбину, начал странствовать, и с тех пор он уже нигде не оставался в покое, пока наконец не сделался всюду туземцем — великий космополит, — пока не перетянул он на свою сторону «великое число» и половину земли. Но Бог «великого числа», демократ между богами, несмотря на это, не сделался гордым богом язычников; он остался иудеем, он остался богом закоулка, богом всех темных углов и мест, всех нездоровых жилищ целого мира!.. Царство его мира всегда было царством преисподней, госпиталем, царством souterrain, царством гетто... И сам он, такой бледный, такой слабый, такой *décadent*... Даже самые бледные из бледных, господа метафизики, альбиносы понятия, стали над ним господами. Метафизики опутывали его своей пряжей до тех пор, пока он сам, загнипнотизированный их движениями, не сделался пауком, сам не сделался метафизиком. Теперь он уже прят мир из самого себя — *sub specie Spinozae* — теперь он сам преображался, все утончался и бледнел; он стал «идеалом», стал «чистым духом», стал «absolutum», стал «вещью в себе»... *Падение божества*: Бог стал «вещью в себе»...

## 18

Христианское понятие о божестве (Бог как Бог больных, Бог как паук, Бог как дух) — это понятие есть одно из самых извращеннейших понятий о божестве, какие только существовали на земле; быть может, оно является даже измерителем той глубины, до которой может опуститься тип божества в его нисходящем развитии. Бог, выродившийся в *противоречие с жизнью*, вместо того чтобы быть ее просветлением и вечным ее *утверждением*! Бог, объявляющий войну жизни, природе, воле к жизни! Бог как формула всякой клеветы на «посюстороннее», для всякой лжи о «потустороннем»! Бог, обожествляющий «ничто», освящающий волю к «ничто»!..

## 19

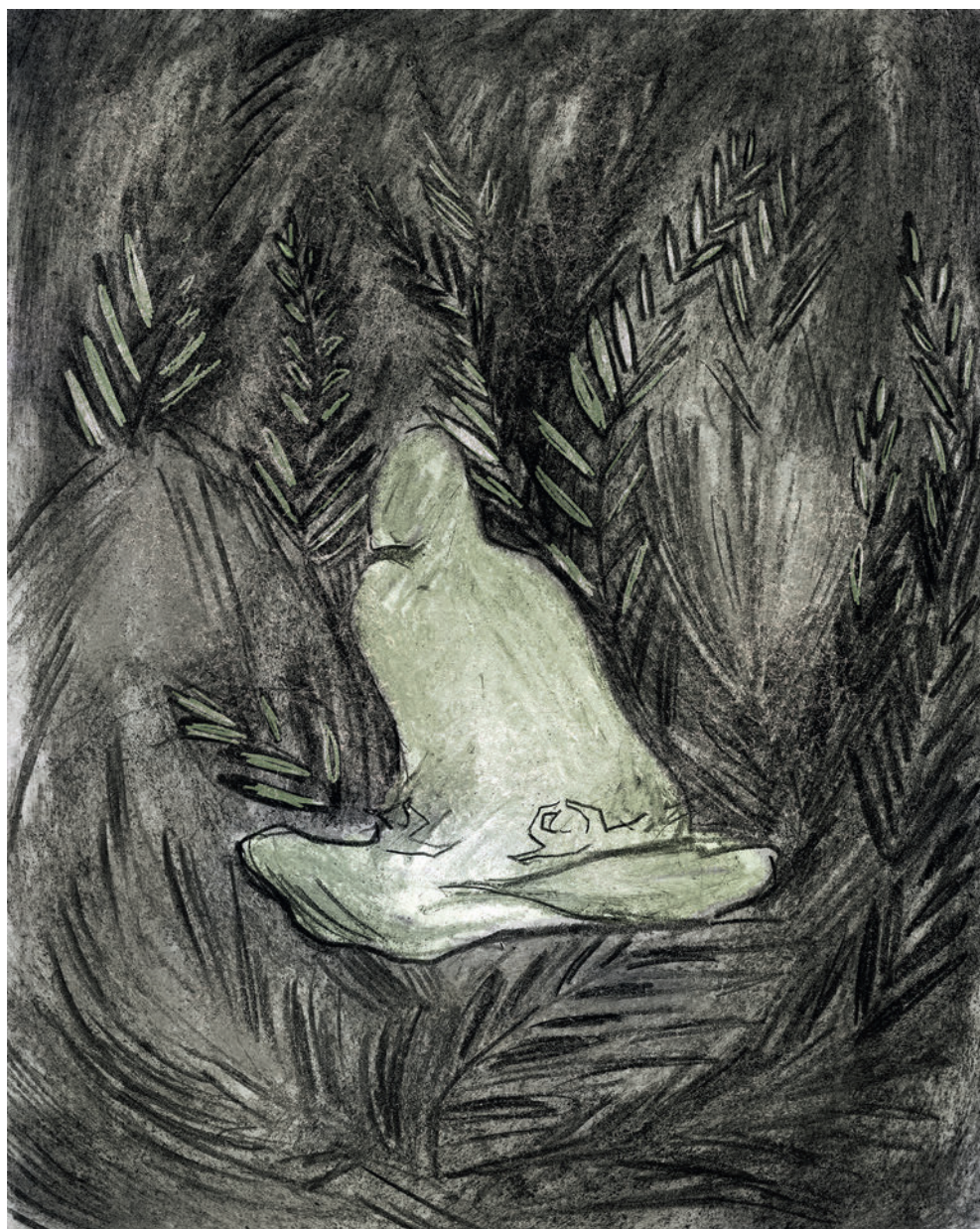
Сильные расы северной Европы не оттолкнули от себя христианского Бога, и это не делает чести их религиозной одаренности, не говоря уже о вкусе. Они *должны* бы справиться с таким болезненным и слабым вырождением *décadence*. Но за то, что они не

справились с ним, на них лежит проклятие: они впитали во все свои инстинкты болезненность, дряхлость, противоречие, они уже не *создали* с тех пор более никакого Бога! Почти два тысячелетия — и ни одного нового божества! Но все еще он и как бы по праву, как бы *ultimatum* и *maximum* богообразовательной силы, *creator spiritus* в человеке, — все он, этот жалкий Бог христианского монотонотеизма! Этот гибрид упадка, образовавшийся из нуля, понятия и противоречия, в котором получили свою санкцию все инстинкты *décadence*, вся трусливость и усталость души!..

## 20

Осуждая христианство, я не хотел бы быть несправедливым по отношению к родственной религии, которая даже превосходит христианство числом последователей: по отношению к *буддизму*. Обе принадлежат к нигилистическим религиям, как религии *décadence*, и обе удивительно непохожи одна на другую. Теперь их уже можно *сравнивать*, и за это критик христианства должен быть глубоко благодарен индийским ученым. Буддизм во сто раз реальнее христианства, — он представляет собою наследие объективной и холодной постановки проблем, он является *после* философского движения, продолжавшегося сотни лет; с понятием «Бог» уже было покончено, когда он явился. Буддизм есть единственная истинно *позитивистская* религия, встречающаяся в истории; даже в своей теории познания (строгом феноменализме) он не говорит: «борьба против *греха*», но, с полным признанием действительности, он говорит: «борьба против *страдания*». Самообман моральных понятий он оставляет уже позади себя, — и в этом его глубокое отличие от христианства — он стоит, выражаясь моим языком, *по ту сторону* добра и зла. — Вот два физиологических факта, на которых он покоится и которые имеет в виду: *первое* — преувеличенная раздражительность, выражающаяся в утонченной чувствительности к боли, *второе* — усиленная духовная жизнь, слишком долгое пребывание в области понятий и логических процедур, ведущее к тому, что инстинкт личности, ко вреду для себя, уступает место «безличному» (оба состояния, по опыту известные, по крайней мере некоторым из моих читателей — «объективным» подобно мне самому). На основе этих физиологических условий возникло состояние *депрессии*, против него-то и выступил со своей гигиеной Будда. Он предписывает жизнь на свежем воздухе, в странствованиях; умеренность и выбор в пище, осторожность относительно всех спиртных; предусмотрительность также по отношению ко всем аффектам, вырабатывающим желчь, разгорячающим кровь, — никаких *забот* ни о себе, ни о других. Он требует представлений успокаивающих или развеселяющих — он изобретает средства отучить себя от других. Он понимает доброту, доброжелательное настроение как требование здоровья. *Молитва* исключается, равно как и *аскеза*; никакого категорического императива, никакого *принуждения* вообще, даже внутри монастырской общины (откуда всегда возможен выход). Все это было бы средствами к усилению преувеличенной раздражительности. Поэтому именно он не требует никакой борьбы с теми, кто иначе думает; его учение *сильнее всего* вооружается против чувства мести, отвращения, *ressentiment* («не путем вражды кончается вражда» — трогательный рефрен всего буддизма). И это с полным правом: именно эти аффекты были





*Буддизм есть единственная истинно позитивистская религия,  
встречающаяся в истории...*

бы вполне *нездоровы* по отношению к главной, *диететической*, цели. Если он встречается духовное утомление, которое выражается в слишком большой «объективности» (то есть в ослаблении индивидуального интереса, в потере «эгоизма»), он с ним борется тем, что придает даже и вполне духовным интересам строго *личный* характер. В учении Будды эгоизм делается обязанностью. «Необходимо одно: как *тебе* освободиться от страданий», — это положение регулирует и ограничивает всю духовную диету (быть может, следует вспомнить того афинянина, который также объявлял войну чистой «научности», а именно Сократа, поднявшего личный эгоизм в область моральных проблем).

## 21

Чрезвычайно мягкий климат, кротость и либеральность в нравах, *отсутствие* милитаризма — вот условия, предрасполагающие к буддизму; равно как и то, чтобы очагом движения были высшие и даже ученые сословия. Ясность духа, спокойствие, отсутствие желаний как высшая цель — вот чего хотят и чего *достигают*. Буддизм не есть религия, в которой лишь стремятся к совершенству: совершенное здесь есть нормальный случай. —

В христианстве инстинкты подчиненных и угнетенных выступают на передний план: именно низшие сословия ищут в нем спасения. Казуистика греха, самокритика, инквизиция совести практикуются здесь как *занятие*, как средство против скуки; здесь постоянно (путем молитвы) поддерживается пыл по отношению к *могущественному* существу, называемому «Бог»; высшее значит здесь как недостижимое, как дар, как «милость». В христианстве недостает также откровенности: темное место, закоулок — это в его духе. Тело здесь презирается, гигиена отвергается как чувственность; церковь отвращается даже от чистоплотности (первым мероприятием христиан после изгнания мавров было закрытие общественных бань, каковых только в Кордове насчитывалось до двухсот семидесяти). Христианство есть в известном смысле жестокость к себе и другим, ненависть к инакомыслящим, воля к преследованию. Мрачные и волнующие представления здесь на переднем плане. Состояния, которых домогаются и отмечают высокими именами, — это эпилептоидные состояния. Диета приспособлена к тому, чтобы покровительствовать болезненным явлениям и крайне раздражать нервы. Христианство есть смертельная вражда к господам земли, к «знатным», и вместе с тем скрытое, тайное соперничество с ними (им предоставляют «плоть», себе хотят *только* «душу»...). Христианство — это ненависть к *уму*, гордости, мужеству, свободе; это — *libertinage* ума; христианство есть ненависть к *чувствам*, к радостям чувств, к радости вообще...

## 22

Когда христианство покинуло свою первоначальную почву, то есть низшие сословия, *подонки* античного мира, когда оно вышло на поиски власти, очутилось среди варварских народов — с тех пор оно не могло уже более рассчитывать на *утомленных* людей, но ему предстояло иметь дело с людьми внутренне-одичавшими и тер-

зающими друг друга — людьми сильными, но неудачниками. Недовольство собою, страдание от самого себя *не* имеют здесь характера чрезмерной раздражительности и восприимчивости к боли, как у буддиста, а скорее наоборот, — чересчур сильное стремление к причинению боли, к разрешению внутреннего напряжения путем враждебных поступков и представлений. Христианству нужны были *варварские* понятия и оценки, чтобы господствовать над варварами: такова жертва первенца, приращение в виде питья крови, презрение духа и культуры, всевозможные — чувственные и сверхчувственные — пытки, помпезность культа. Буддизм — религия для *поздних* людей, для добрых, нежных рас, достигших высшей степени духовности, которые слишком восприимчивы к боли (Европа далеко еще не созрела для него); он есть возврат их к миру и веселости, к диете духа, к известной закалке тела. Христианство хочет приобрести господство над *дикими зверями*; средством его для этого является — сделать их *больными*. Делать слабым — это христианский рецепт к *приручению*, к «цивилизации». Буддизм есть религия цивилизации, приведшей к усталости, близящейся к концу, христианство еще не застает такой цивилизации, — при благоприятных обстоятельствах оно само ее устанавливает.

## 23

Буддизм, повторяю еще раз, в сто раз холоднее, правдивее, объективнее. Он не нуждается в том, чтобы своему страданию, своей болезненности придать вид *приличия*, толкуя его как грех, — он просто говорит то, что думает: «я страдаю». Для варвара, напротив, страдание само по себе есть нечто неприличное: он нуждается в известном истолковании, чтобы самому себе признаться, что он страдает (его инстинкт прежде всего указывает ему на то, чтобы отрицать страдание, скрывая его). Слово «дьявол» явилось здесь благодеянием: в нем имели налицо могущественного и сильного врага: можно было не стыдиться страдания от такого врага. —

Христианство имеет в основании несколько тонкостей, принадлежащих Востоку. Прежде всего оно знает, что само по себе безразлично, истинно ли то или другое, но в высшей степени важно, *насколько* верят, что оно истинно. Истина и *вера*, что известная вещь истинна, — это два мира совсем отдельных, почти *противоположных* интересов: к тому и другому ведут пути, в основе совершенно различные. Знать это — значит на Востоке *быть* почти мудрецом: так понимают это брамины, так понимает Платон, так же каждый ученик эзотерической мудрости. Если, например, *счастье* заключается в том, чтобы верить в спасение от греха, то для этого *нет* необходимости в предположении, чтобы человек был грешен, но только, чтобы он *чувствовал* себя грешным. Но если вообще прежде всего необходима *вера*, то разум, познание, исследование необходимо дискредитировать: путь к истине делается *запрещенным* путем. — Сильная *надежда* есть гораздо больший жизненный *стимул*, чем какое бы то ни было действительно наступившее счастье. Страдающих можно поддержать надеждой, которая не может быть опровергнута действительностью, которая не устраняется осуществлением, — надеждой на потустороннее. (Именно благодаря этой способности поддерживать несчастных надежда считалась у греков злом, изо всех зол единственно *коварным* злом: она осталась в ларце зла.) — Чтобы была возможна *любовь*, Бог должен быть личностью; чтобы могли при этом загово-



рить самые низшие инстинкты, Бог должен быть молод. Чтобы воспламенить женщин, надо было выдвинуть на передний план прекрасного святого, для мужчин — Марию. Все это при предположении, что христианство будет господствовать там, где *понятие* культа уже определилось культом Афродиты или Адониса. Требование *целомудрия* усиливает внутренний пыл религиозного инстинкта — оно делает культ горячее, мечтательнее, душевнее. — Любовь есть такое состояние, когда человек по большей части видит вещи *не* такими, каковы они есть. Здесь господствует сила иллюзии, одновременно *преображающая* и улаждающая. При любви можно перенести больше, можно вытерпеть все. Необходимо изобрести религию, которая была бы преисполнена любви, с любовью можно перейти через самое плохое в жизни: его уже и вовсе не замечаешь. Вот что можно сказать о трех христианских добродетелях: вере, надежде, любви; я называю их тремя христианскими хитростями. — Буддизм слишком зрел и к тому же слишком позитивистичен для того, чтобы прибегать к подобным хитростям.

## 24

Я здесь только коснусь проблемы *возникновения* христианства. *Первое* положение к ее решению гласит: христианство можно понять единственно в связи с той почвой, на которой оно выросло, — оно *не* есть движение, враждебное иудейскому инстинкту, оно есть его последовательное развитие, силлогизм в его логической цепи, внушающей ужас. По формуле Искупителя: «спасение идет от иудеев». — *Второе* положение гласит: психологический тип Галилеянина еще доступен распознаванию, но быть пригодным для того, для чего он употреблялся, то есть быть типом *Спасителя* человечества, он мог лишь при полном своем вырождении (которое одновременно есть искажение и перегрузка чуждыми ему чертами).

Евреи — это самый замечательный народ мировой истории, потому что они, поставленные перед вопросом: быть или не быть, со внушающей ужас сознательностью предпочли быть *какою бы то ни было* ценою: и этою ценою было радикальное *извращение* всей природы, всякой естественности, всякой реальности, всего внутреннего мира, равно как и внешнего. Они оградили себя *от* всех условий, в которых до сих пор народ мог и *должен* был жить, они создали из себя понятие противоположности *естественным* условиям, непоправимым образом обратили они по порядку религию, культ, мораль, историю, психологию в *противоречие к естественным ценностям этих понятий*. Подобное явление встречаем мы еще раз (и в несравненно преувеличенных пропорциях, хотя это только копия): христианская церковь по сравнению с «народом святых» не может претендовать на оригинальность. Евреи вместе с тем *самый роковой* народ всемирной истории: своими дальнейшими влияниями они настолько извратили человечество, что еще теперь христианин может чувствовать себя анти-иудеем, не понимая того, что он есть *последний логический вывод иудаизма*.

В «Генеалогии морали» я впервые представил психологическую противоположность понятий *благородной* морали и морали *ressentiment*, выводя последнюю из *отрицания* первой; но эта последняя и есть всецело иудейско-христианская мораль. Чтобы сказать Нет всему, что представляет на земле *восходящее* движение жизни, удачу, силу, красоту, самоутверждение, — инстинкт *ressentiment*, сделавшийся ге-



нием, должен был изобрести себе *другой* мир, с точки зрения которого это *утверждение жизни* являлось злом, недостойным само по себе. По психологической проверке еврейский народ есть народ самой упорнейшей жизненной силы; поставленный в невозможные условия, он добровольно, из глубокого и мудрого самосохранения, берет сторону всех инстинктов *décadence* — *не* потому, что они им владеют, но потому, что в них он угадал ту силу, посредством которой он может отстоять себя *против* «мира». Евреи — это эквивалент всех *décadents*: они сумели *изобразить* их до иллюзии, с актерским гением до *non plus ultra*, сумели поставить себя во главе всех движений *décadence* (как христианство *Павла*), чтобы из них создать нечто более сильное, чем всякое иное движение, *утверждающее жизнь*. Для той человеческой породы, которая в иудействе и христианстве домогается власти, то есть для *жреческой* породы, — *décadence* есть только средство: эта порода людей имеет свой жизненный интерес в том, чтобы сделать человечество *больным*, чтобы понятия «добрый» и «злой», «истинный» и «ложный» извратить в опасном для жизни смысле, являющемся клеве-тою на мир.

## 25

История Израиля неоценима, как типичное изображение того процесса, посредством которого естественные ценности *лишались всякой естественности*: я отмечаю этот процесс пятью фактами. Первоначально, во времена Царей, и Израиль стоял ко всем вещам в *правильном*, т. е. естественном, отношении. Его Иегова был выражением сознания власти, радости, надежды на себя: в нем ожидали победы и спасения, с ним доверяли природе, что она дает то, в чем нуждается народ, и прежде всего дождь. Иегова — Бог Израиля и, *следовательно*, Бог справедливости: такова логика всякого народа, который обладает силою и с чистой совестью пользуется ею. В празднествах выражаются обе эти стороны самоутверждения народа: он благодарен за великие судьбы, которые возвышают, он благодарен за круговую смену времен года, за всю свою удачу в скотоводстве и земледелии. — Это положение долго оставалось идеалом уже и после того, как ему был положен печальный конец, анархией внутри, ассириянами извне. Но народ выше всего ценил образ царя — хорошего солдата и вместе с тем строгого судью: так понимал это прежде всего Исая — этот типичный пророк (то есть критик и сатирик момента). — Но надежда не осуществлялась. Старый Бог ничего более не *мог* из того, что мог он ранее. От него должны были бы отказаться. Что же случилось? *Изменили* понятие о нем, — это понятие *лишили естественности*; этой ценой его *удержали*. — Иегова — Бог «справедливости» — *более не составляет* единства с Израилем, он не служит выражением народного самосознания: он только условный Бог... Понятие о нем сделалось орудием в руках жрецов-агитаторов, которые теперь истолковывали всякое счастье как награду, всякое несчастье — как наказание за непослушание против Бога, как «грех»: извращенная манера мнимого «нравственного миропорядка», посредством которого раз навсегда извращаются естественные понятия «причина» и «действие». Теперь, когда с наградой и наказанием изгнана была из мира естественная причинность, явилась потребность в *противоестественной* причинности; отсюда следует вся дальнейшая *противоестественность*. Бог, который *требует*, — вместо Бога, который помогает, советует, который в осно-

ве является словом для всякого счастливого вдохновения мужества и самодоверия... *Мораль* не является уже более выражением условий, необходимых для жизни и роста народа, его глубочайшего инстинкта жизни, но, сделавшись абстрактною, становится противоположностью жизни, — мораль как коренное извращение фантазии, «дурной глаз» по отношению к миру. *Что* такое еврейская, *что* такое христианская мораль? Случай, лишенный своей невинности, несчастье, оскверненное понятием «греха», благосостояние как опасность, как «искушение», физиологически плохое самочувствие, отравленное червем совести.

## 26

Понятие о Боге извращено; понятие о морали извращено: но на этом не остановилось еврейское жречество. Можно было обойтись и без всей *истории* Израиля: прочь ее... Эти жрецы устроили чудо из искажения, документальным доказательством которого является перед нами добрая часть Библии: прошлое собственного народа они *перенесли в религию* с полным надругательством над всяким преданием, над всякой исторической действительностью, иначе говоря, сделали из этого прошлого тупой механизм спасения, соединивши вину против Иеговы с наказанием, благочестие с наградой. Этот позорнейший акт исторического извращения мы чувствовали бы гораздо болезненнее, если бы тысячелетнее *церковное* истолкование истории не притупило в нас требования к честности *in historicis*. А церкви вторили философы: *ложь* «нравственного миропорядка» проходит через все развитие даже новейшей философии. Что означает «нравственный миропорядок»? То, что раз навсегда существует Божья воля на то, что человек может делать и чего не может, что ценность народа и отдельной личности измеряется тем, как много или мало он повинуетсЯ Божьей воле; что в судьбах народа и отдельной личности воля Божья называется *господствующей*, то есть наказывающей и награждающей, сообразно со степенью послушания. — *Действительность* вместо этой жалкой лжи гласит: тот человек — паразит, который преуспевает на счет всего здорового в жизни, то есть *жрец*, злоупотребляет именем Бога: такое положение вещей, при котором жрец определяет ценности, он называет «Царством Божьим», средство, при помощи которого достигается или поддерживается такое состояние, он называет «волей Божьей»; с хладнокровным цинизмом мерит он народы, времена, отдельные личности меркою полезности или вреда для власти жрецов. В самом деле: в руках еврейских жрецов *великое* время истории Израиля сделалось временем упадка; изгнание, продолжительное несчастье, обратилось в вечное *наказание* за прошлые великие времена, за те времена, когда жрец еще был ничем. Из сильных, весьма *свободных*, удачных образов истории Израиля они сделали, сообразуясь с потребностями, жалких проныр и ханжей или «безбожников»; психологию всякого великого события они упростили идиотской формулой «послушания *или* непослушания Богу». Еще шаг далее: «Божья воля» (то есть условие для поддержания власти жреца) должна быть *известна*, — для этой цели необходимо «откровение». По-немецки: является необходимость в великой литературной фальсификации — открывается «Священное Писание»; оно делается публичным со всей иерархической помпой, с покаянными днями, с воплями горести о «грехах». «Воля Божья» уже давно известна: вся беда в том, что чужда-

ются «Священного Писания»... Уже Моисей открыл «волю Божью»... Что же произошло? Раз навсегда, со строгостью, с педантизмом, сформулировал жрец, *что хочет он иметь*, «в чем Божья воля», вплоть до больших и малых податей, которые должны были платить ему (не были забыты и самые вкусные куски мяса, так как жрец есть пожиратель бифштексов)... И с тех пор вся жизнь устраивается так, что *нигде нельзя обойтись* без жреца; во всех естественных событиях жизни — при рождении, браке, болезни, смерти, не говоря о «жертве» (трапезе), — является священный паразит, чтобы *лишить все это естественности*, «освятить» их, выражаясь его языком... Ибо нужно же понять это; всякий естественный обычай, всякое естественное учреждение (государство, судоустройство, брак, попечение о бедных и больных), всякое требование, исходящее от инстинкта жизни, — короче, все, что имеет свою цену *в самом себе*, через паразитизм жреца (или «нравственный миропорядок») в основе своей лишается ценности, становится *противоценным*, и даже более того: в дополнение требуется санкция, — необходима *сообщающая ценность* сила, которая, отрицая природу, сама *создает* ценность... Жрец обесценивает природу, *лишает ее святости*: этой ценой он существует вообще. — Неповиновение Богу, т. е. жрецу, «закону», получает теперь имя «греха»; средствами для «примирения с Богом», само собой, являются такие средства, которые основательнее обеспечивают подчинение жрецу: только жрец «спасает».

В каждом жречески организованном обществе психологически неизбежными делаются «грехи»: они факторы власти, жрец *живет* грехами, он нуждается в том, чтобы «грешили»... Высшее положение: «Бог прощает тому, кто раскаивается»; по-немецки; *кто подчиняется жрецу*. —

## 27

На такой-то *ложной* почве, где все естественное, всякая естественная ценность, всякая *реальность* возбуждала против себя глубочайшие инстинкты господствующего класса, выросло *христианство*, самая острая форма вражды к реальности, какая только до сих пор существовала. «Святой народ», удержавший для всего только жреческие оценки, только жреческие слова, и с ужасающей последовательностью заклеивавший все, что на земле представляло еще силу, словами «нечестивый», «мир», «грех», — этот народ выдвинул для своего инстинкта последнюю формулу, которая в своей логике доходила до самоотрицания: в лице *христианства* он отрицал последнюю форму реальности — он отрицал «святой народ», «избранный народ», самое *иудейскую* реальность. Случай первого ранга: маленькое мятежное движение, окрещенное именем Иисуса из Назарета, *еще* раз представляет собою иудейский инстинкт, иначе говоря, жреческий инстинкт, который не выносит уже более жреца как реальность, который изобретает еще *более отвлеченную* форму существования, еще *менее реальное* представление о мире, чем то, которое обуславливается учреждением церкви. Христианство *отрицает* церковь...

Я не понимаю, против чего иного могло направляться восстание, зачинщиком которого, по справедливости или *по недоразумению*, считается Иисус, если это не было восстанием против еврейской церкви, принимая «церковь» в том смысле, какой дается этому слову теперь. Это было восстанием против «добрых и справедливых»,

против «святых Израиля», против общественной иерархии, — *не* против их испорченности, но против касты, привилегии, порядка, формулы, это было *неверие* в «высших людей», это было *отрицание* всего, что было жрецом и теологом. Но иерархия, которая всем этим хотя бы на одно мгновение подвергалась сомнению, была той сваей, на которой еще продолжал удерживаться посреди «воды» иудейский народ, с трудом достигнутая *последняя* возможность уцелеть, *residuum* его обособленного политического существования: нападение на нее было нападением на глубочайший инстинкт народа, на самую упорную народную волю к жизни, которая когда-либо существовала на земле. Этот святой анархист, вызвавший на противодействие господствующему порядку низший народ, народ изгнанных и «грешников», чандалы внутри еврейства, речами, которые, если верить Евангелию, еще и теперь могли бы довести до Сибири, — он был политическим преступником, поскольку таковой возможен в обществе, *до абсурда неполитическом*. Это привело его на крест: доказательством может служить надпись на кресте. Он умер за *свою* вину, — нет никакого основания утверждать, как бы часто это ни делали, что он умер за вину других. —

## 28

Совсем иной вопрос, сознавал ли он вообще этот антагонизм или лишь другие в нем его *чувствовали*. Здесь я впервые касаюсь проблемы *психологии Спасителя*. — Я признаюсь, что мало книг читаю с такими затруднениями, как Евангелия. Эти затруднения не те, в разъяснении которых ученая любознательность немецкого духа праздновала свой самый незабвенный триумф. Далеко то время, когда и я, подобно всякому молодому ученому, с благоразумной медлительностью утонченного филолога смаковал произведение несравненного Штрауса. Тогда мне было 20 лет: теперь я слишком серьезен для этого. Какое мне дело до противоречий «предания»? Как можно вообще назвать «преданием» легенду о святых? Истории святых — это самая двусмысленная литература, какая вообще только существует: применять научные методы там, *где отсутствуют какие-либо документы*, представляется мне с самого начала делом совершенно безнадежным, ученым праздномыслием...

## 29

Что касается *меня*, то мне интересен психологический тип Спасителя. Он *мог* бы даже удержаться в Евангелиях, вопреки Евангелиям, как бы его ни калечили и какими бы чуждыми чертами его ни наделяли: так удержался тип Франциска Ассизского в легендах о нем, вопреки этим легендам. Истина *не* в том, что он сделал, что сказал, как он собственно умер; но важен вопрос, *можно ли* представить его тип, даются ли «преданием» черты для его представления. Я знаю попытку вычитать из Евангелия даже *историю* «души»; это представляется мне доказательством психологического легкомыслия, достойного презрения. Господин Ренан, этот гаер in psychologicis, для объяснения типа Иисуса дал два *самых неуместных* понятия, какие только возможны: понятие *гений* и понятие *герой* (*héros*). Но что только можно назвать неевангельским, так это именно понятие «герой». Как раз все, противоположное борьбе, про-



тивоположное самочувствию борца, является здесь как инстинкт: неспособность к противодействию делается здесь моралью («не противься злему» — глубочайшее слово Евангелия, его ключ в известном смысле); блаженство в мире, в кротости, в *неспособности* быть врагом. Что такое «благовестие»? — Найдена истинная жизнь, вечная жизнь — она не только обещается, но она тут, она *в вас*: как жизнь в любви, в любви без уступки и исключения, без дистанции. Каждый есть дитя Божье — Иисус ни на что не имеет притязания для себя одного, — как дитя Божье, каждый равен каждому... И из Иисуса делать *героя*! — А что за недоразумение со словом «гений»? Все наше понятие о «духе», целиком культурное понятие, — в том мире, в котором живет Иисус, не имеет никакого смысла. Говоря со строгостью физиолога, здесь было бы уместно совершенно иное слово, слово «идиот». Мы знаем состояние болезненной раздражительности *чувства осязания*, которое производит содрогание при всяком дотрагивании, при всяком прикосновении твердого предмета. Представим подобный физиологический *habitus* в его последнем логическом выражении: как инстинкт ненависти против *всякой* реальности, как бегство в «непостижимое», в «необъяснимое», как отвращение от всякой формулы, от всякого понятия, связанного с временем и пространством, от всего, что твердо, что есть обычаи, учреждения, церковь, как постоянное пребывание в мире, который не соприкасается более ни с каким родом реальности, в мире лишь «внутреннем», «истинном», «вечном». «Царство Божье *внутри вас*».

## 30

*Инстинктивная ненависть против реальности*: это есть следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, избегающей вообще всякого «прикосновения», потому что оно ощущается ею слишком глубоко.

*Инстинктивное отвращение от всякого нерасположения, от всякой вражды, от всех границ и расстояний в чувстве*: следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, которая всякое противодействие, всякую необходимость противодействия ощущает как невыносимое *отвращение* (то есть как *вредное*, как *отрицаемое* инстинктом самосохранения), блаженство же свое (удовольствие) видит в том, чтобы ничему и никому не оказывать противодействия — ни злу, ни злему, — любовь, как единственная, как *последняя* возможность жизни...

Это две *физиологические реальности*, на которых, из которых выросло учение спасения. Я называю их высшим развитием гедонизма, на вполне болезненной основе. Близкородственным ему, хотя с большим придатком греческой жизненности и нервной силы, является эпикуреизм, языческое учение спасения. Эпикур — *типичный décadent*, впервые признанный таковым мною. — Боязнь боли, даже бесконечно малого в боли, не *может* иметь иного конца, как только в *религии любви*.

## 31

Я предвосхитил свой ответ на проблему. Предпосылкой для него является то, что тип Спасителя мы получили только в сильном искажении. Это искажение само

по себе очень правдоподобно. Такой тип по многим основаниям не мог остаться чистым, цельным, свободным от примесей. На нем должна была оставить следы и среда, в которой вращался этот чуждый образ, еще более история, *судьба* первой христианской общины: она обогатила этот тип такими чертами, которые делаются понятными только в целях борьбы или пропаганды. Тот странный и больной мир, в который вводят нас Евангелия, — мир как бы из одного русского романа, где сходятся отбросы общества, нервное страдание и «ребячество» идиота, — этот мир должен был при всех обстоятельствах сделать тип более *грубым*: в особенности первые ученики, чтобы хоть что-нибудь понять, переводили это бытие, расплывающееся в символическом и непонятном, на язык собственной грубости, — для них тип существовал только после того, как он *отлился* в более знакомые формы... Пророк, Мессия, будущий судья, учитель морали, чудотворец, Иоанн Креститель, — вот сколько было обстоятельств, чтобы извратить тип... Наконец, не будем низко оценивать *progrrium* всякого великого почитания, в особенности сектантского почитания: оно сглаживает оригинальные, часто мучительно-чуждые, черты и идиосинкразии в почитаемом существе — *оно даже их не видит*. Можно было бы пожалеть, что вблизи этого интереснейшего из *décadents* не жил какой-нибудь Достоевский, то есть кто-либо, кто сумел бы почувствовать захватывающее очарование подобного смещения возвышенного, больного и детского. Еще одна точка зрения: тип *мог бы*, как тип *décadence*, фактически совмещать в себе многое и противоречивое: такая возможность не исключается вполне. Однако все говорит против этого именно: предание должно было бы в этом случае быть вполне верным и объективным — а все заставляет предполагать противоположное. Обнаруживается зияющее противоречие между проповедником на горах, море и лугах, появление которого так же приятно поражает, как появление Будды, хотя не на индийской почве, и тем фанатиком нападения, смертельным врагом теологов и жрецов, которого злость Ренана прославила как «le grand maitre en ironie». Я сам не сомневаюсь в том, что обильная мера желчи (и даже *esprit*) перелилась в тип учителя из возбужденного состояния христианской пропаганды: достаточно известна беззастенчивость всех сектантов, которые стряпают себе *апологию* из своего учителя. Когда первой общине понадобился судящий, сварливый, гневающийся, злостный, хитрый теолог *против* теолога, она *создала* себе по своим потребностям своего «Бога»: без колебания она вложила в его уста те вполне не евангельские понятия, без которых она не могла обойтись, каковы: «будущее Пришествие», «Страшный суд», всякий род ожидания и обещания.

## 32

Еще раз говорю, что я против того, чтобы в тип Спасителя вносить фанатизм: слово *impérieux*, которое употребил Ренан, одно *уничтожает* тип. «Благовестие» и есть именно благая весть о том, что уже не существует более противоречий; Царство Небесное принадлежит *детям*; вера, которая здесь заявляет о себе, не приобретает завоеванием; она тут, она означает возвращение к детству в области психического. Подобные случаи замедленной зрелости и недоразвитого организма, как следствия дегенерации, известны но крайней мере физиологам. — Такая вера не гневается, не прищипывает, не обороняет себя: она не приносит «меч», она не предчувствует, на-



*Инстинктивная ненависть против реальности: это есть следствие  
крайней чувствительности к страданию и раздражению...*



сколько она может сделаться началом разъединяющим. Она не нуждается в доказательствах ни чудом, ни наградой и обещанием, ни «даже писанием»: она сама всякое мгновение есть свое чудо, своя награда, свое доказательство, свое «Царство Божье». Эта вера даже не формулирует себя — она *живет*, она отверщается от формул. Конечно, случайность среды, языка, образования определяет круг понятий: первое христианство владеет *только* иудейско-семитическими понятиями (сюда относится еда и питье при причастии, которыми так злоупотребляет церковь, как всем еврейским). Но пусть остерегаются видеть здесь что-нибудь более чем язык знаков, семиотику, повод для притчи. Ни одно слово этого анти-реалиста не должно приниматься буквально, — вот предварительное условие для того, чтобы он вообще мог говорить. Между индусами он пользовался бы понятиями Санкхья, среди китайцев — понятиями Лао-цзы, и при этом не чувствовал бы никакой разницы. — Можно было бы с некоторой терпимостью к выражению назвать Иисуса «свободным духом» — для него не существует ничего устойчивого: слово *убивает*; все, что устойчиво, то *убивает*. Понятие «жизни», *опыт* «жизни», какой ему единственно доступен, противится у него всякого рода слову, формуле, закону, вере, догме. Он говорит только о самом внутреннем: «жизнь», или «истина», или «свет» — это его слово для выражения самого внутреннего; все остальное, вся реальность, вся природа, даже язык, имеет для него только ценность знака, притчи. — Здесь нельзя ошибаться насчет того, как велик соблазн, который лежит в христианском, точнее сказать, в *церковном* предрассудке: такой символист *par excellence* стоит вне всякой религии, всех понятий культа, всякой истории, естествознания, мирового опыта, познания, политики, психологии, вне всяких книг, вне искусства, — его «знание» есть *чистое безумие*, не ведающее, что есть что-нибудь подобное. О *культуре* он не знает даже и понаслышке, ему нет нужды бороться против нее, он ее не отрицает... То же самое по отношению к *государству*, ко всему гражданскому порядку и обществу, к *труду*, к войне, — он никогда не имел основания отрицать «мир»; он никогда не предчувствовал церковного понятия «мир»... *Отрицание* для него есть нечто совершенно невозможное. — Подобным же образом нет и диалектики, нет представления о том, что веру, «истину» можно доказать доводами (*его* доказательства — это внутренний «свет», внутреннее чувство удовольствия и самоутверждения, только «доказательства от силы»). Такое учение также не *может* противоречить, оно не постигает, что существуют, что *могут* существовать другие учения, оно не умеет представить себе противоположное рассуждение... Где бы оно ни встретилось с ним, оно будет печалиться с самым глубоким сочувствием о «слепоте» — ибо оно само видит «свет» — но не сделает никакого возражения.

### 33

Во всей психологии «Евангелия» отсутствует понятие вины и наказания; равно как и понятие награды. «Грех», все, чем определяется расстояние между Богом и человеком, уничтожен, — *это и есть «благовестие»*. Блаженство не обещается, оно не связывается с какими-нибудь условиями: оно есть *единственная* реальность; остальное — символ, чтобы говорить о нем...

*Следствие* подобного состояния проецируется в новую *практику*, собственно в евангельскую практику. Не «вера» отличает христианина. Христианин действует, он



отличается *иным* образом действий. Ни словом, ни в сердце своем он не противодействует тому, кто обнаруживает зло по отношению к нему. Он не делает различия между чужим и своим, между иудеем и не иудеем («ближний» в собственном смысле слова есть иудей, единоверец). Он ни на кого не гневается, никого не презирует. Он не появляется на суде и не позволяет привлекать себя к суду («не клянись вовсе»). Он ни при каких обстоятельствах не разведется с женой, даже в случае доказанной неверности ее. — Все в основе — *один* принцип, все — следствие *одного* инстинкта. —

Жизнь Спасителя была не чем иным, как *этой* практикой, не чем иным была также и его смерть. Он не нуждался более ни в каких формулах, ни в каком обряде для обхождения с Богом, ни даже в молитве. Он всецело отрешился от иудейского учения раскаяния и примирения; он знает, что это есть единственная жизненная *практика*, с которой можно себя чувствовать «божественным», «блаженным», «евангелическим», во всякое время быть как «дитя Божье». *Не* «раскаяние», не «молитва о прощении» суть пути к Богу: *одна евангельская практика* ведет к Богу, она и *есть* «Бог»! — То, с чем *покончило* Евангелие, это было иудейство в понятиях «грех», «прощение греха», «вера», «спасение через веру», — все иудейское учение *церкви* отрицалось «благовестием».

Глубокий инстинкт, как *должно жить*, чтобы чувствовать себя на «небесах», чтобы чувствовать себя «вечным», между тем как при всяком ином поведении *совсем нельзя* чувствовать себя «на небесах», — это единственно и есть психологическая реальность «спасения». — Новое поведение, но не новая вера...

### 34

Если я что-нибудь понимаю в этом великом символизме, так это то, что только *внутренние* реальности он принимал как реальности, как «истины», — что остальное все, естественное, временное, пространственное, историческое, он понимал лишь как символ, лишь как повод для притчи. Понятие «Сын Человеческий» не есть конкретная личность, принадлежащая истории, что-нибудь единичное, единственное, но «вечная» действительность, психологический символ, освобожденный от понятия времени. То же самое, но в еще более высоком смысле можно сказать и о Боге этого типичного символиста, о «Царстве Божьем», о «Царстве Небесном», о «Сыновности Бога». Ничего нет более не христианского, как *церковные грубые понятия* о Боге как личности, о *грядущем* «Царстве Божьем», о *потустороннем* «Царстве Небесном», о «Сыне Божьем», *втором лице* св. Троицы. Все это выглядит — мне простят выражение — неким кулаком в глаз: о, в какой глаз! — евангельский: *всемирно-исторический цинизм* в поругании символа... А между тем очевидно, как на ладони, что затрагивается символами «Отец» и «Сын», — допускаю, что не на каждой ладони: словом «Сын» выражается *вступление* в чувство общего просветления (блаженство); словом «Отец» — *само это чувство*, чувство вечности, чувство совершенства. — Мне стыдно вспомнить, что сделала церковь из этого символизма: не поставила ли она на пороге христианской «веры» историю Амфитриона? И еще сверх того догму о «непорочном зачатии»?.. *Но этим она опорочила зачатие...*

«Царство Небесное» есть состояние сердца, а не что-либо, что «выше земли» или приходит «после смерти». В Евангелии *недостает* вообще понятия естествен-

ной смерти: смерть не мост, не переход, ее нет, ибо она принадлежит к совершенно иному, только кажущемуся, миру, имеющему лишь символическое значение. «Час смерти» *не* есть христианское понятие. «Час», время, физическая жизнь и ее кризисы совсем не существуют для учителя «благовестия»... «Царство Божье» не есть что-либо, что можно ожидать; оно не имеет «вчера» и не имеет «послезавтра», оно не приходит через «тысячу лет» — это есть опыт сердца; оно повсюду, оно нигде...

## 35

Этот «благовестник» умер, как и жил, как и *учил*, — не для «спасения людей», но чтобы показать, как нужно жить. То, что оставил он в наследство человечеству, есть *практика*, его поведение перед судьями, преследователями, обвинителями и всякого рода клеветой и насмешкой — его поведение на *кресте*. Он не сопротивляется, не защищает своего права, он не делает ни шагу, чтобы отвести от себя самую крайнюю опасность, более того — *он вызывает ее*... И он молит, он страдает, он любит *с* теми, *в* тех, которые делают ему зло. В словах, обращенных к *разбойнику* на кресте, содержится все Евангелие.

«Воистину это был *Божий* человек, Сын Божий!» — сказал разбойник. «Раз ты чувствуешь это, — ответил Спаситель, — значит, *ты в Раю*, значит, ты сын Божий». *Не* защищаться, *не* гневаться, *не* привлекать к ответственности... Но также не противиться злему, — *любить* его...

## 36

— Только мы, *ставившие свободными* умы, имеем подготовку, чтобы понять то, чего не понимали девятнадцать веков, — мы имеем правдивость, обратившуюся в инстинкт и страсть и объявляющую войну «святой лжи» еще более, чем всякой иной лжи... Люди были несказанно далеки от нашего нейтралитета, полного любви и предусмотрительности, от той дисциплины духа, при помощи которой единственно стало возможным угадывание столь чуждых, столь тонких вещей: во все иные времена люди с бесстыдным эгоизмом желали только *своей* выгоды; воздвигли *церковь* в противоположность Евангелию...

Кто искал бы знамений того, что позади великой игры миров скрыт перст какого-то насмешливого божества, тот нашел бы не малое доказательство в том *чудовищном вопросительном знаке*, который зовется христианством. Что человечество преклоняется перед противоположностью того, что было происхождением, смыслом, *правом* Евангелия, что оно в понятии «церковь» признало за святое как раз то, что «благовестник» чувствовал стоящим *ниже* себя, *позади* себя, — напрасно искать большего проявления *всемирно-исторической иронии*...

## 37

— Наш век гордится своим историческим чувством; как можно было поверить такой бессмыслице, что в начале христианства стоит *грубая басня о чудотворце и Спасителе*, — и что все духовное и символическое есть только позднейшее развитие? Наоборот: история христианства — и именно от смерти на кресте — есть история постепенно углубляющегося грубого непонимания *первоначального* символизма. С распространением христианства на более широкие и грубые массы, которым не доставало все более и более источников христианства, — становилось все необходимое делать христианство *вульгарным, варварским*, — оно поглотило в себя учения и обряды всех *подземных* культов *imperium Romani*, всевозможную бессмыслицу большого разума. Судьба христианства лежит в необходимости сделать самую веру такой же болезненной, низменной и вульгарной, как были болезненны, низменны и вульгарны потребности, которые оно должно было удовлетворять. *Больное варварство* суммируется наконец в силу в виде церкви, этой формы, смертельно враждебной всякой правдивости, всякой *высоте* души, всякой дисциплине духа, всякой свободно настроенной и благожелательной гуманности. — *Христианские ценности — аристократические ценности*. Только мы, *ставшие свободными* умы, снова восстановили эту величайшую из противоположностей, какая только когда-либо существовала между ценностями! —

## 38

— Здесь я не могу подавить вздоха. Бывают дни, когда меня охватывает чувство черной, самой черной меланхолии, — это *презрение к человеку*. Чтобы не оставить никакого сомнения в том, *что* я презираю, *кого* я презираю, — это теперешнего человека, человека, которому я роковым образом являюсь современником. Теперешний человек — я задыхаюсь в его нечистом дыхании... По отношению к прошедшему я, как и все познающие, обладаю большой терпимостью, так сказать *великодушным* самопринуждением: с мрачной осмотрительностью прохожу я через мир, в течение целых тысячелетий представляющий собою сумасшедший дом, называется ли этот мир «христианством», «христианской верой» или «христианской церковью», — я остерегаюсь делать человечество ответственным за его душевные болезни. Но чувство мое возмущается, отвращается, как только я вступаю в новейшее время, в *наше* время. Наше время есть время *знания*... Что некогда было только болезненным, теперь сделалось неприличным — неприлично теперь быть христианином. *Вот тут-то и начинается мое отвращение*. — Я осматриваюсь вокруг: не осталось более ни одного слова из того, что некогда называлось «истина», нам просто невозможно уже одно только выговаривание жрецом слова «истина». Даже при самом скромном притязании на честность, *должно* теперь признать, что теолог, жрец, папа, с каждым положением, которое он высказывает, не только заблуждается, но *лжет*; что он уже не волен лгать по «невинности», по «незнанию». Жрец знает так же хорошо, как и всякий, что нет никакого «Бога», никакого «грешника», никакого «Спасителя», — что «свободная воля», «нравственный миропорядок» есть *ложь*: серьезность, глубокое самопреодоление духа никому более не *позволяет не знать* этого... Все понятия церкви опознаны за то, что они есть, то есть за самую злостную фабри-

кацию фальшивых монет, какая только возможна, с целью *обесценить* природу, естественные ценности; сам жрец признан таковым, каков он есть, то есть опаснейшим родом паразита, настоящим ядовитым пауком жизни... Мы знаем, наша *совесть* знает теперь, *какова* вообще цена тех зловещих изобретений жрецов и церкви, *для чего служили* эти изобретения, при помощи которых человечество достигло того состояния самораствления, вид которого внушает отвращение: понятия «по ту сторону», «Страшный суд», «бессмертие души», сама «душа» — это орудия пытки, это системы жестокостей, при помощи которых жрец сделался господином и остался таковым... Каждый это знает; и, *несмотря на это, все остается по-старому*. Куда девались остатки чувства приличия, уважения самих себя, когда даже наши государственные люди, в других отношениях очень беззастенчивые люди и фактически насквозь антихристиане, еще и теперь называют себя христианами и идут к причастию? Юный государь во главе полков, являясь в своем великолепии выражением эгоизма и высокомерия своего народа, признает *без* всякого стыда себя христианином!.. Но тогда *кого же* отрицает христианство? *что* называет оно «миром»? Солдата, судью, патриота, все, что защищается, что держится за свою честь, что ищет своей выгоды, что имеет *гордость*... Всякая практика каждого момента, всякий инстинкт, всякая оценка, переходящая в *дело*, — все это теперь антихристианское: каким *выродком фальшивости* должен быть современный человек, если он, несмотря на это, *не стыдится* еще называться христианином!..

## 39

— Я возвращаюсь, я рассказываю *истинную* историю христианства. — Уже слово «христианство» есть недоразумение, — в сущности был только один христианин, и он умер на кресте. «Евангелие» *умерло* на кресте. То, что с этого мгновения называется «Евангелием», было уже противоположностью *его* жизни: «*дурная* весть», Dysangelium. До бессмыслицы *лживо* в «вере» видеть примету христианина, хотя бы то была вера в спасение через Христа; христианской может быть только христианская *практика*, то есть такая жизнь, какою *жил* тот, кто умер на кресте... Еще теперь возможна *такая* жизнь, для *известных* людей даже необходима: истинное, первоначальное христианство возможно во все времена. *Не* верить, но делать, а прежде всего многого *не* делать, иное *бытие*... Состояния сознания, когда веришь или считаешь что-нибудь за истинное, — каждый психолог знает это, — такие состояния совершенно незначительны и пятистепенны по сравнению с ценностью инстинктов: строго говоря, все понятие духовной причинности ложно. Сводить христианское строение лишь к признанию истины, к голому состоянию сознания — значит отрицать христианство. *На самом деле вовсе не было христиан*. «Христианин», то, что в течение двух тысячелетий называется христианином, есть психологическое самонедоразумение. Если смотреть прямее, то в нем господствовали, *вопреки* всякой вере, *только* инстинкты — и *что за инстинкты!* — «Вера» была во все времена, как у Лютера, только мантией, предлогом, завесой, за которой инстинкты разыгрывали свою игру, — благоразумная *слепота* относительно господства *известных* инстинктов. «Вера» — я уже называл ее собственно христианским *благоразумием*, — всегда *говорили* о «вере», *действовали же* по инстинкту... В мире представлений христиани-





*...благоразумная слепота относительно господства известных инстинктов*

на нет ничего, что хотя бы только касалось действительности: напротив, в корне христианства мы признали единственным деятельным элементом инстинктивную ненависть ко всякой действительности. Что из этого следует? То, что здесь in psychologis заблуждение является радикальным, то есть значимым по существу, то есть самой субстанцией. Удалим *одно* понятие, поставим на место его одну-единственную реальность, и все христианство низвергается в ничто! — Если смотреть с высоты, то это самый странный из всех фактов: эта религия, не только обусловленная заблуждениями, но и до гениальности изобретательная во вредных, отравляющих жизнь и сердце заблуждениях, эта религия остается *зрелищем для богов*, для тех божеств, которые вместе с тем и философы и с которыми я, например, встречался в знаменитых диалогах на Наксосе. В то мгновение, когда отступает от них *отвращение* (и от нас *также!*), они проникаются благодарностью за зрелище христианина: жалкая, маленькая звезда, называемая Землей, быть может, только ради *этого* курьезного случая заслуживает божественного взгляда, божественного участия... Не будем же низко ценить христианина; христианин, фальшивый *до невинности*, высоко поднимается над обезьяной; по отношению к христианину знаменитая теория происхождения — только учтивость...

## 40

— Судьба Евангелия была решена смертью, оно было распято на «кресте». Только смерть, эта неожиданная позорная смерть, только крест, который вообще предназначался лишь для сапайле, — только этот ужаснейший парадокс поставил учеников перед настоящей загадкой: «*кто это был? что это было?*» Потрясенное и до глубины оскорбленное чувство, подозрение, что такая смерть может быть *опровержением* их дела, страшный вопросительный знак «почему именно так?» — такое состояние слишком понятно. Здесь все *должно* было быть необходимо, все должно было иметь смысл, разум, высший разум; любовь ученика не признает случайности. Теперь только разверзлась пропасть: «*кто его убил? кто был его естественным врагом?*» — этот вопрос блеснул, как молния. Ответ: *господствующее* иудейство, его высшее словие. С этого мгновенья почувствовали в себе возмущение *против* порядка, вслед за тем поняли и Иисуса, как *возмущение против порядка*. До сих пор в его образе *не доставало* этой черты — воинственной, отрицающей словом и делом; даже более, в нем было обратное этому. Очевидно, маленькая община именно *не* поняла главного, символического в таком способе смерти, свободу, превосходство *над* всяким чувством ressentiment: признак того, как мало вообще они его понимали! Сам Иисус ничего не мог пожелать в своей смерти, как только открыто дать сильнейший опыт, *доказательство* своего учения. Но его ученики были далеки от того, чтобы *простить* эту смерть, — что было бы в высшей степени по-евангельски, — или *отдать себя* такой же смерти с нежным и мягким спокойствием души... Всплыло наверх как раз в высшей степени неевангельское чувство, чувство *мести*. Сделалось невозможным, чтобы дело окончилось с этой смертью: явилась нужда в «возмездии», в «суде» (и, однако, что может быть более неевангельским, чем «возмездие», «наказание», «суд»!).

Еще раз явилось на переднем плане популярное ожидание Мессии; исторический момент был уловлен; «Царство Божье» наступит, чтобы судить его врагов...

Но этим все сделалось непонятным: «Царство Божье» как заключительный акт, как обещание! Евангелие было именно бытие, исполнение, *действительность* этого Царствия. Именно такая смерть *была* как раз «Царством Божиим». Теперь только включили в тип учителя все презрение и горечь к фарисеям и теологам и этим *сделали* из него фарисея и теолога. С другой стороны, необузданное прославление этих совершенно выскочивших из колеи душ не выдерживало более того евангельского утверждения равенства всех как детей Божьих, которому учил Иисус; мстью их было неумеренно *поднять* Иисуса, отделить его от себя: совершенно так, как некогда иудеи из мести к своим врагам отделились от своего Бога и подняли его на высоту. *Один Бог и один Сын Божий*: оба порождения *ressentiment*...

## 41

— И вот теперь всплыла абсурдная проблема: «как *мог* Бог допустить это!» На это поврежденный разум маленькой общины дал такой же поистине ужасный по своей абсурдности ответ: Бог отдал своего Сына для искупления грехов, как *жертву*. Так разом покончили с Евангелием! *Очистительная жертва*, и притом в самой отвратительной, в самой варварской форме, жертва *невинным* за грехи виновных! Какое страшное язычество! Иисус уничтожил даже самое понятие «вины», он совершенно отрицал пропасть между Богом и человеком, он *жизнью своей* представил это единство Бога и человека как *свое* «благовестие»... А *не* как преимущество! — С этого времени шаг за шагом в тип Спасителя внедряется учение о Суде и Втором Пришествии, учение о смерти как жертвенной смерти, учение о *Воскресении*, с которым из Евангелия фокуснически изымается все понятие «блаженства», единственная его реальность, в пользу состояния *после* смерти!.. Павел со всей наглостью раввина, которая так ему присуща, дал этому пониманию, этому распутству мысли, такое логическое выражение: «*если* Христос не воскрес, то вера наша тщетна». — И разом из Евангелия вышло самое презренное из всех неисполнимых обещаний, — *бесстыдное* учение о личном бессмертии... Павел учил о нем даже как о *награде*!..

## 42

Теперь уже видно, *чему* положила конец смерть на кресте: новому, самобытному стремлению к буддистскому спокойствию, к действительному, а *не* только обещанному *счастью на земле*. Ибо — как я уже указывал — основным различием между обеими религиями-décadence остается то, что буддизм не обещает, но исполняет, христианство же обещает все, но *не исполняет ничего*. — За «благой вестью» последовала по пятам весть *самая скверная*: весть Павла. В Павле воплотился тип, противоположенный «благовестнику», гений в ненависти, в видениях ненависти, в неумолимой логике ненависти. *Чего* только не принес этот dysangelist в жертву своей ненависти! Прежде всего Спасителя: он распял его на *своем* кресте. Жизнь, пример, учение, смерть, смысл и право всего Евангелия — ничего более не осталось, когда этот фальшивомонетчик путем ненависти постиг, в чем единственно он нуждается. *Не* в реальности, *не* в исторической истине!.. И еще раз жреческий инстинкт иудея учинил то же великое



преступление над историей, — он просто вычеркнул вчера, позавчера христианства, он *изобрел историю первого христианства*. Даже более: он еще раз извратил историю Израиля, чтобы представить ее как предварительную историю для *своего* дела; все пророки говорили о *его* «Спасителе»... Церковь извратила позже даже историю человечества, обратив ее в предысторию христианства... Тип Спасителя, учение, практика, смерть, смысл смерти, даже то, что было после смерти, — ничто не осталось неприкосновенным, ничто не осталось даже напоминающим действительность. Павел просто переложил центр тяжести всего того бытия *за* это бытие — в *ложь* о «воскрешшем» Иисусе. В сущности, ему не нужна была жизнь Спасителя — ему нужна была смерть на кресте и кое-что еще... Поистине, было бы явной *niaiserie* со стороны психолога доверять Павлу, родиной которого была столица стоического просвещения, когда он выдавал за *доказательство* посмертной жизни Спасителя галлюцинацию, или доверять хотя бы даже его рассказу, что он имел эту галлюцинацию: Павел хотел цели, *следовательно*, он хотел и средства... Во что не верил он сам, в то верили те идиоты, среди которых он сеял *свое* учение. — *Его* потребностью была *власть*; при помощи Павла еще раз жрец захотел добиться власти, — ему нужны были только понятия, учения, символы, которыми тиранизируют массы, образуют стада. *Что* единственно заимствовал позже Магомет у христианства? Изобретение Павла, его средство к жрецеской тирании, к образованию стада: веру в бессмертие, то есть *учение о «Суде»*...

## 43

Когда жизненный центр тяжести переносят из жизни в «потустороннее» — в *ничто*, то тем самым вообще лишают жизнь центра тяжести. Великая ложь о личном бессмертии разрушает всякий разум, всякую естественность в инстинктах; все, что есть в инстинктах благодетельного, что способствует жизни, ручается за будущее, — возбуждает теперь недоверие. Жить *так*, чтобы не было более *смысла жить*, — это становится теперь «смыслом» жизни... К чему дух общности, к чему еще благодарность за происхождение и предков, к чему работать вместе, к чему доверять, к чему способствовать общему благу и иметь его в виду?.. Все это «соблазны», все это отклонения от «истинного пути» — «*единое* есть на потребу»... Чтобы каждый, как «бессмертная душа», был равен каждому, чтобы в совокупности всего живущего «спасение» *каждой* отдельной единицы смело претендовать на вечность, чтобы маленькие святоши и на три четверти чокнутые смели воображать, что ради них постоянно *нарушаются* законы природы, такое беззастенчивое возведение всякого рода эгоизма в бесконечное, в *бесстыдное*, надо клеймить презрением в полной мере. И однако же, христианство обязано своей *победой* именно *этому* жалкому тщеславию отдельной личности, — как раз этим самым оно обратило к себе всех неудачников, настроенных враждебно к жизни, потерпевших крушение, все отребья и отбросы человечества. «Спасение души» по-немецки: «мир вращается вокруг *меня*»... Яд учения «*равные* права для всех» христианство посеяло самым основательным образом. Из самых тайных уголков дурных инстинктов христианство создало смертельную вражду ко всякому чувству благоговения и почтительного расстояния между человеком и человеком, которое является *предусловием* для всякого повышения и роста культу-



ры, — из ressentiment масс оно выковало *главное орудие* против нас, против всего благородного, радостного, великодушного на земле, против нашего счастья на земле...

«Бессмертие», признаваемое за каждым Петром и Павлом, было до сего времени величайшим и зlostнейшим посягательством на *аристократию* человечества... — И не будем низко ценить то роковое влияние, которое от христианства пробралось в политику! Никто теперь не имеет более мужества заявлять об особых правах, о правах господства, о чувстве почтения к себе, к другому, нет более *нафоса дистанции*... Наша политика *болеет* этим недостатком мужества! — Аристократизм настроения ложью о равенстве душ погребен окончательно; и если вера в «право большинства» делает революции и *будет их делать*, то нельзя сомневаться в том, что это — христианство, *христианские* суждения ценности, которые каждая революция только переводит в кровь и преступление! Христианство есть восстание всего по-земле-пресмыкающегося против того, что над ней *возвышается*: Евангелие «низших» *унижает*...

## 44

— Евангелия неоценимы, как свидетельства уже неудержимой коррупции *внутри* первых общин. То, что позже Павел с логическим цинизмом раввина довел до конца, было лишь процессом распада, начавшегося со смертью Спасителя. — При чтении этих Евангелий нужно быть как можно более осторожным: за каждым словом встречается затруднение. Я признаюсь, — и меня поддержат — что именно этим они доставляют психологу первостепенное удовольствие, — как *противоположность* всякой наивной испорченности, как утонченность раг excellence, — как виртуозность в психологической испорченности. Евангелия ручаются сами за себя. Библия вообще стоит вне сравнения. Чтобы не потеряться здесь совершенно, прежде всего нужно помнить, что ты среди евреев. Игра в «святое», достигшая здесь такой гениальности, какой не достигала она нигде в другом месте — ни в книгах, ни среди людей, — жульничество в словах и жестах, как *искусство*, — это не есть случайность какой-нибудь единичной одаренности, какой-нибудь исключительной натуры. Это принадлежность *расы*. В христианстве, как искусстве свято лгать, все иудейство, вся наистрожайшая многовековая иудейская выучка и техника доходят до крайних пределов мастерства. Христианин, этот ultima ratio лжи, есть иудей во второй, даже *третьей степени*... Основная воля, направляемая только на то, чтобы обращаться с такими понятиями, символами, телодвижениями, которые доказываются из практики жреца, инстинктивное уклонение от всякой *другой* практики, от перспектив всякого *иного* рода оценок и полезностей — это не только традиция, это *наследственность*: лишь как наследственное действует оно, как природа. Все человечество, даже лучшие умы лучших времен (исключая одного, который, может быть, единственный — не человек) позволяли себя обманывать. Евангелие читали как *книгу невинности*... ни малейшего указания на то, с каким мастерством ведется здесь игра. — Конечно, если бы мы *видели* их, даже хотя бы мимоходом, всех этих удивительных лицемеров и фокусников-святых, то с ними было бы покончено — и именно потому, что я не читаю ни одного слова без того, чтобы не видеть жестов, я и *покончил с ними*... Я не выношу по отношению к ним известного способа смотреть

снизу вверх. — К счастью, книги для большинства есть только *литература*. Нельзя позволять вводить себя в заблуждение: «не судите!» — говорят они, но сами посылают в ад все, что стоит у них на пути. Препоручая суд Богу, они судят сами; прославляя Бога, они прославляют самих себя; *требуя* тех добродетелей, которые как раз им свойственны, — даже более, которые им необходимы, чтобы вообще не пойти ко дну, — они придают себе величественный вид борьбы за добродетель, борьбы за господство добродетели. «Мы живем, мы умираем, мы жертвуем собою за *бла-го*» («Истина», «Свет», «Царство Божье»); в действительности же они делают то, чего не могут не делать. Сидя в углу, ежась, как крот, живя в тени, как призрак, — они создают себе из этого *обязанность*: по обязанности жизнь их является смирением, как смирение она есть лишнее доказательство благочестия... Ах, этот смиренный, целомудренный, мягкосердый род лжи! — «За нас должна свидетельствовать сама добродетель»... Читайте Евангелия, как книги соблазна при посредстве *морали*: эти маленькие люди конфискуют мораль, — они знают, как нужно обращаться с моралью! Люди всего лучше *водятся за нос моралью!* — реальность заключается в том, что здесь самое сознательное *самоуничижение избранников* разыгрывает скромность: *себя*, «общину», «добрых и справедливых» раз навсегда поставили на одну сторону, на сторону «истины», а все остальное, «мир», — на другую... *Это* был самый роковой род мании величия, какой когда-либо до сих пор существовал на земле: маленькие выродки святош и лжецов стали употреблять понятия «Бог», «истина», «свет», «дух», «любовь», «мудрость», «жизнь» как синонимы самих себя, чтобы этим отграничить от себя «мир»; маленькие евреи в суперлативе, зрелые для любого сумасшедшего дома, перевернули все ценности сообразно *самим себе*, как будто «христианин» был смыслом, солью, мерой, а также *последним судом* всего остального... Вся дальнейшая судьба предопределилась тем, что в мире уже существовал родственный по расе вид мании величия, — *иудейский*: коль скоро разверзлась пропасть между иудеем и иудейским христианином, последнему не оставалось никакого иного выбора, как ту же процедуру самоподдержания, которую внушал иудейский инстинкт, обратить *против* самих иудеев в то время, как иудеи обращали ее до сих пор только против всего *не иудейского*. Христианин есть тот же еврей, только «*более свободный*» исповедания.

## 45

— Я дам несколько примеров того, что засело в голову этих маленьких людей, что *вложили они в уста* своему учителю: это настоящее признание «прекрасных душ». —

«И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу» (Марк 6, 11). — Как это *по-евангельски!*..

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Марк 9, 42). — Как это *по-евангельски!*..

«И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Марк 9, 47). — Не глаз только здесь подракумевается...

«И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Марк 9, 1). — Хорошо *солгал*, лев.

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. *Ибо...*» (*Примечание психолога*. Христианская мораль опровергается этим «ибо»: опровергать ее «основы» — это по-христиански) (Марк 8, 34). —

«Не судите, да не судимы будете. Какою мерою мерите, такую и *вам* будут мерить» (Матф. 7, 1). — Какое понятие о справедливости, о «праведном судии!..»

«Ибо, если вы будете любить любящих вас, *какая вам награда?* Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, *что особенного делаете?* Не так же ли поступают и мытари?» (Матф. 5, 46). — Принцип «христианской любви»: она хочет быть в конце концов хорошо оплаченной...

«А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матф. 6, 15). — Очень компрометирует вышеназванного «Отца»...

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф. 6, 33). — Все это: т. е. пища, одежда, все насущные потребности жизни. *Заблуждение*, скромно выражаясь... Незадолго перед этим Бог является портным, по крайней мере в известных случаях...

«Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, *ибо велика вам награда на небесах*. Так поступали с пророками отцы их» (Лука 6, 23). — *Бесстыдное* отродье! Они сравнивают себя уже с пророками!..

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, *того покарает Бог*, ибо храм Божий свят; а *этот храм — вы*» (Павел I к Коринф. 3, 16). — Для подобного нет достаточной меры презрения...

«Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же *вами* будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» (Павел I к Коринф. 6, 2). К сожалению, не только речь сумасшедшего... Этот *ужасный лжец* продолжает: «разве не знаете, что *мы* будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские!..»

«Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих... не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но *Бог избрал немудрое мира*, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (Павел I к Коринф. 1, 20 и далее). — Чтобы *понять* это место — перворазрядное свидетельство для психологии всякой морали чандалы, нужно прочесть первое рассмотрение моей «Генеалогии морали»: там впервые выведена на свет противоположность *аристократической* морали и морали чандалы, родившейся из *ressentiment* и бессильной мести. Павел был величайшим из всех апостолов мести...

— *Что из этого следует?* То, что хорошо делают, если надевают перчатки при чтении Нового Завета. Близость такой массы нечистоплотности почти вынуждает к этому. Мы так же мало желали бы общения с «первыми христианами», как и с польскими евреями, — не потому, чтобы мы имели что-нибудь против них: те и другие нехорошо пахнут. — Напрасно высматривал я в Новом Завете хотя бы одну симпатичную черту: там нет ничего, что можно бы было назвать свободным, добрым, откровенным, честным. Человечность не сделала здесь еще и своего первого шага, — недостает инстинктов *чистоплотности*... В Новом Завете только *дурные* инстинкты, и даже нет мужества к этим дурным инстинктам. Сплошная трусость, сплошное закрывание глаз и самообман. Всякая книга кажется чистоплотной, если ее читать вслеп за Новым Заветом; так, например, непосредственно после Павла я читал с восхищением того прелестного, задорного насмешника Петрония, о котором можно было бы сказать то же, что Доменико Боккачио написал герцогу Парма о Чезаре Борджа: «*è tutto festo*» — бессмертно здоровый, бессмертно веселый и удачливый... Эти маленькие ханжи просчитываются как раз в главном. Они нападают, но все то, на что они нападают, тем самым *получает отличие*. На кого нападает «первый христианин», тот *не* бывает этим замаран... Напротив: есть некоторая честь иметь против себя «первых христиан». Читая Новый Завет, отдаешь предпочтение всему, что он третирует, не говоря уже о «мудрости мира сего», которую дерзкий враль напрасно пытается посрамить «юродливой проповедью»... Даже фарисеи и книжники выигрывают от таких противников: должно же быть в них что-нибудь ценное, если их так неприлично ненавидят.

Лицемерие, вот упрек, который *смели* бросить «первые христиане»! Достаточно того, что это были *привилегированные*, — ненависть чандалы не нуждается в других основаниях. «Первый христианин» — я боюсь, что и «последний», *которого, может быть, я еще переживу*, — по самым низменным инстинктам есть бунтовщик против всего привилегированного, — он живет, он борется всегда за «*равные права*»... Если приглядеться, то он не имеет иного выбора. Если хотят быть в собственном лице «избранниками Бога», или «храмом Божьим», или «судьей ангелов», то всякий *другой* принцип выбора, например принцип правдивости, ума, мужественности и гордости, красоты и свободы сердца, попросту «мира», — есть уже *зло само по себе*... Мораль: каждое слово в устах «первого христианина» есть ложь, каждый поступок, совершаемый им, есть инстинктивная ложь, — все его ценности, все его цели вредны, но *кого* он ненавидит, *что* он ненавидит, *то* имеет ценность... Христианин, христианский священник в особенности, есть *критерий ценностей*... Нужно ли говорить еще, что во всем Новом Завете встречается только *единственная* фигура, достойная уважения? Пилат, римский правитель. Он не может принудить себя к тому, чтобы принять *всерьез* спор иудеев. Одним евреем больше или меньше — что за важность?.. Благородная насмешка римлянина, перед которым происходит бесстыдное злоупотребление словом «истина», обогатила Новый Завет новым выражением, *которое имеет цену*, которое само по себе есть его критика, его *отрицание*: «что есть истина!..»



## 47

— Не то отличает *нас* от других, что мы не находим Бога ни в истории, ни в природе, ни за природой, но то, что мы почитаемое за Бога чувствуем не как «божественное», но как жалкое, абсурдное, вредное — не как заблуждение только, но как *преступление перед жизнью*... Мы отрицаем Бога как Бога... Если бы нам *доказали* этого Бога христиан, мы еще менее сумели бы поверить в него. — По формуле: *deus, qualem Paulus creavit, dei negatio*. Религия, которая, подобно христианству, не соприкасается с действительностью ни в одном пункте, которая падает тотчас, стоит только действительности предъявить свои права хоть в одном пункте, — по справедливости должна быть смертельно враждебна «мудрости мира», другими словами, *науке*, — для нее будут хороши все средства, которыми можно отравить, оклеветать, *обесславить* дисциплину духа, ясность и строгость в вопросах совести, духовное благородство и свободу. «Вера», как императив, есть veto против науки, in pгaxi ложь во что бы то ни стало... Павел *понял*, что ложь, что «вера» была необходима; церковь позже поняла Павла. — Тот «Бог», которого изобрел Павел, Бог, который позорит «мудрость мира» (т. е. собственно двух великих врагов всякого суеверия, филологию и медицину), — это поистине только смелое *решение* самого Павла назвать «Богом» свою собственную волю, *thога*, — это сугубо иудейское. Павел *хочет* позорить «мудрость мира»; его враги — это *хорошие* филологи и врачи александрийской выучки, — им объявляет он войну.

Действительно, филолог и врач не может не быть в то же время и *антихристианином*. Филолог смотрит *позади* «священных книг», врач *позади* физиологической негодности типичного христианина. Врач говорит: «неизлечимый», филолог: «шарлатан»...

## 48

— Поняли ли собственно знаменитую историю, которая помещена в начале Библии, — историю об адском страхе Бога перед *наукой*?.. Ее не поняли. Эта жреческая книга *par excellence* начинается, как и следовало ожидать, великим внутренним затруднением жреца: *он* имеет только *одну* великую опасность, *следовательно*, Бог имеет только *одну* великую опасность. —

Ветхий Бог, «дух» всецело, настоящий верховный жрец, истинное совершенство, прогуливается в своем саду: беда только, что он скучает.

Против скуки даже и боги борются тщетно. Что же он делает? Он изобретает человека: человек занимателен... Но что это? и человек также скучает.

Безгранично милосердие Божье к тому единственному бедствию, от которого не свободен ни один рай: Бог тотчас же создал еще и других животных. *Первый* промах Бога: человек не нашел животных занимательными, — он возгосподствовал над ними, он не пожелал быть «животным». — Вследствие этого Бог создал женщину. И действительно, со скукой было покончено, — но с другим еще нет! Женщина была *вторым* промахом Бога. — «Женщина по своему существу змея, Нева», — это знает всякий жрец; «от женщины происходит в мире всякое несчастье», — это также знает всякий жрец. «*Следовательно*, от нее идет и наука»... Только через женщину человек научился вкушать от древа познания. — Что же случилось? Ветхого Бога охва-

тил адский страх. Сам человек сделался *величайшим* промахом Бога, он создал в нем себе соперника: наука делает *равным Богу*, — приходит конец жрецам и богам, когда человек начинает познавать науку! — *Мораль*: наука есть нечто запрещенное само по себе, она одна запрещена. Наука — это *первый* грех, зерно всех грехов, *первородный* грех. *Только это одно и есть мораль*. — «Ты не должен познавать»; остальное все вытекает из этого. — Адский страх не препятствует Богу быть благоразумным. Как *защищаться* от науки? — это сделалось надолго его главной проблемой. Ответ: прочь человека из рая! Счастье, праздность наводит на мысли — все мысли суть скверные мысли... Человек не *должен* думать. — И «жрец в себе» изобретает нужду, смерть, беременность с ее опасностью для жизни, всякого рода бедствия, старость, тяготу жизни, а прежде всего *болезнь* — все верные средства в борьбе с наукой! Нужда не *позволяет* человеку думать... И все-таки! ужасно! Дело познания воздвигается, возвышаясь до небес, затемняя богов, — что делать? — Ветхий Бог изобретает *войну*, он разъединяет народы, он делает так, что люди взаимно истребляют друг друга (— жрецам всегда была необходима война...). Война наряду с другим — великая помеха науке! — Невероятно! Познание, *эмансипация от жреца* даже возрастает, несмотря на войну. — И вот последнее решение приходит ветхому Богу: «человек познал науку, — *ничто не помогает, нужно его утопить!*»...

## 49

— Я понят. Начало Библии содержит *всю* психологию жреца. — Жрец знает только *одну* великую опасность — науку: здоровое понятие о причине и действии. Но наука в целом преуспевает только при счастливых обстоятельствах: нужно иметь *избыток* времени и духа, чтобы «познавать»... *Следовательно*, нужно человека сделать несчастным: это всегда было логикой жреца. — Можно уже угадать, *что*, сообразно этой логике, теперь явилось на свет: «*грех*»... Понятие о вине и наказании, весь «нравственный миропорядок» изобретен *против* науки, *против* освобождения человека от жреца... Человек *не* должен смотреть вне себя, он должен смотреть внутрь себя: он *не* должен смотреть на вещи умно и предусмотрительно, как изучающий; он вообще не должен смотреть: он должен *страдать*... И он должен так страдать, чтобы ему всегда был необходим жрец. — Прочь, врачи! *Нужен Спаситель*. — Чтобы разрушить в человеке *чувство причинности*, изобретаются понятия о вине и наказании, включая учение о «милости», об «искуплении», о «прощении» (насквозь *ложные* понятия без всякой психологической реальности): все это покушение на понятия причины и действия! — И покушение *не* при помощи кулака или ножа или откровенности в любви и ненависти! Но из самых трусливых, самых хитрых, самых низменных инстинктов! Покушение *жреца*! Покушение *паразита*! Вампиризм бледных подземных кровопийц!.. Если естественные следствия перестают быть естественными, но мыслятся как обусловленные призрачными понятиями суеверия («Бог», «дух», «душа»), как «моральные» следствия, как награда, наказание, намек, средство воспитания, — этим уничтожаются необходимые условия познания — *над человечеством совершается величайшее преступление*. — Грех — это форма саморастления человека *par excellence*, — как уже было сказано, изобретен для того, чтобы де-



*...наука есть нечто запрещенное само по себе, она одна запрещена*



лать невозможной науку, культуру, всякое возвышение и облагораживание человека; жрец *господствует*, благодаря изобретению греха.

## 50

— Я не обойду здесь молчанием психологию «веры», «верующих», именно для пользы самих «верующих». Если теперь еще нет недостатка в таких, которые не знают, насколько *неприлично* быть «верующим», или что это служит признаком *décadence*, искащенной воли к жизни, то завтра они уже будут знать это. Мой голос достигает и тугих на ухо. — Кажется, если только я не ослышался, у христиан существует критерий истины, который называется «доказательство от силы». «Вера делает блаженным: *следовательно*, она истинна». — Можно бы было возразить, что блаженство здесь не доказывается, а только *обещается*; блаженство обуславливается «верой»; *должен* сделаться блаженным, *потому что* веришь... Но чем доказывается, что действительно наступает то, что жрец обещает верующему как «потустороннее», недоступное для всякого контроля? — Таким образом, мнимое «доказательство от силы» в основе есть опять-таки только вера в то, что явится действие, обещанное верой. По формуле: «я верю, что вера делает блаженным, — *следовательно*, она истинна». — Но мы подошли к концу. Это «следовательно» было бы *absurdum*, как критерий истины. — Однако если мы предположим, с некоторой снисходительностью, что доставление блаженства доказывается верой (*не* только как желаемое, *не* только как нечто обещаемое подозрительными устами жреца), — то все же было ли блаженство — выражаясь технически, *удовольствие* — когда-нибудь доказательством истины?

Так мало, что оно почти дает доказательство противоположного; во всяком случае, если чувство удовольствия вмещивается в обсуждение вопроса «что есть истина?», то возникает огромное подозрение относительно истины.

«Удовольствие» как доказательство есть только доказательство «удовольствия» — не более. Откуда имеем мы право утверждать, что именно *истинные* суждения доставляют более удовольствия, чем ложные, и что, в силу предустановленной гармонии, они необходимо влекут за собой приятные чувства? — Опыт всех строгих и глубоких умов учит нас *обратному*. Каждый шаг в сторону истины надо было отвоевывать, нужно было за него пожертвовать всем, чем питается наше сердце, наша любовь, наше доверие к жизни. Для этого нужно величие души.

Служение истине есть самое суровое служение. — Что значит быть *честным* в духовных вещах? Быть строгим к своему сердцу, презирать «прекрасные чувства», из всякого Да и Нет делать вопросы совести!.. Вера делает блаженным: *следовательно*, она лжет!..

## 51

Что вера при известных обстоятельствах делает блаженным, что блаженство из навязчивой идеи еще не делает *истинной* идеи, что вера не двигает горами, но скорее *нагромождает* горы, где их совсем нет, — это в достаточной мере можно выяснить, пройдясь по *сумасшедшему дому*. Конечно, *не* жрецу, ибо жрец из инстинкта отрица-



ет, что болезнь есть болезнь, что сумасшедший дом есть сумасшедший дом. Христианство *нуждается* в болезни почти в такой же мере, как Греция нуждалась в избытке здоровья: *делать* больным — это собственно задняя мысль всей той системы, которую церковь предлагает в видах спасения. И не является ли сама церковь — в последнем идеале католическим сумасшедшим домом? — И сама земля вообще не сумасшедший ли дом? — Религиозный человек, каким его *хочет* церковь, — есть типичный *décadent*; время, когда религиозный кризис господствует над народом, всегда отмечается нервными эпидемиями; «внутренний мир» религиозного человека так похож на внутренний мир перевозбужденных и истощенных, что их можно смешать друг с другом. «Высшие состояния», которые христианство навязало человечеству как ценность всех ценностей, — это эпилептоидные формы. Церковь причисляла к лику святых только сумасшедших *или* великих обманщиков *in majorem dei honorem*... Я позволил себе однажды охарактеризовать весь христианский *training* раскаяния и спасения (который теперь лучше всего можно изучить в Англии), как методически воспитываемую *folie circulaire*, само собой разумеется, на почве к тому уже подготовленной, то есть глубоко болезненной. Не всякий может сделаться христианином: в христианство не «обращаются», — для этого должно сделаться больным... Мы, другие, имеющие *мужество* к здоровью *и* также к презрению, как можем *мы* не презирать религию, которая учила пренебрегать телом! которая не хочет освободиться от предрассудка о душе! которая из недостаточного питания делает «заслугу»! которая борется со здоровым, как с врагом, дьяволом, искушением! которая убедила себя, что можно влачить «совершенную душу» в теле, подобном труп, и при этом имела надобность создать себе новое понятие о «совершенстве», нечто бледное, болезненное, идиотски-мечтательное, так называемую святость; святость — просто ряд симптомов обедневшего, энервирующего, неисцелимого испорченного тела!.. Христианское движение, как европейское движение, с самого начала есть общее движение всего негодного и вырождающегося, которое с христианством хочет приобрести власть. Христианское движение *не* выражает упадка расы, но оно есть агрегат, образовавшийся из тяготеющих друг к другу форм *décadence*. *Не* развращенность древности, *благородной* древности, сделала возможным христианство, как это думают. Ученый идиотизм, который и теперь еще утверждает нечто подобное, заслуживает самого резкого опровержения. В то время, как христианизировались во всей империи больные, испорченные слои чандалы, существовал как раз *противоположный* тип, благородство в самом его красивом и зрелом образе. Но численность получила господство; демократизм христианских инстинктов *победил*... Христианство не было национальным, не обуславливалось расой. Оно обращалось ко всем обездоленным жизнью, оно имело своих союзников повсюду.

Христианство, опираясь на галсипе больных, обратило инстинкт *против* здоровых, *против* здоровья. Все удачливое, гордое, смелое, красота прежде всего, болезненно поражает его слух и зрение. Еще раз вспоминаю я неоценимые слова Павла: «Бог избрал *немоющее* мира, *немудрое* мира, *незнатное* мира, *уничтоженное* мира»: *это* была та формула, *in hoc signo* которой победил *décadence*. — Бог на кресте — неужели еще до сих пор не понята ужасная подоплека этого символа? Все, что страдает, что на кресте, — *божественно*... Мы все на кресте, следовательно, *мы* божественны... Мы одни божественны... Христианство было победой, *более благородное* погибло в нем, до сих пор христианство было величайшим несчастьем человечества...

## 52

Христианство стоит в противоречии также со всякой *духовной* удачливостью, оно нуждается только в больном разуме, как христианском разуме, оно берет сторону всякого идиотизма, оно изрекает проклятие против «духа», против *superbia* здорового духа. Так как болезнь относится к сущности христианства, то и типически христианское состояние, «вера», — *должно* быть также формой болезни, все прямые честные, научные пути к познанию *должны* быть также отвергаемы церковью как пути *запрещенные*. Сомнение есть уже грех... Совершенное отсутствие психологической чистоплотности, обнаруживающееся во взгляде священника, есть проявление *décadence*. Можно наблюдать на истерических женщинах и рахитичных детях, сколь закономерным выражением *décadence* является инстинктивная лживость, удовольствие лгать, чтобы лгать, неспособность к прямым взглядам и поступкам. «Верой» называется *нежелание* знать истину. Ханжа, священник обоих полов, фальшив, *потому что* он болен: его инстинкт *требует* того, чтобы истина нигде и ни в чем не предъявляла своих прав. «Что делает больным, есть *благо*, что исходит из полноты, из избытка, из власти, то зло» — так чувствует верующий. *Непроизвольность* во лжи — по этому признаку я угадываю каждого теолога по призванию — Другой признак теолога — это его *неспособность к филологии*. Под филологией здесь нужно подразумевать искусство хорошо читать, конечно, в очень широком смысле слова, искусство вычитывать факты, *не* искажая их толкованиями, *не* теряя осторожности, терпения, тонкости в стремлении к пониманию. Филология как *Ephexis* в толковании: идет ли дело о книгах, о газетных новостях, о судьбах и состоянии погоды, — не говоря о «спасении души»... Теолог, все равно в Берлине или Риме, толкует ли он «Писание» или переживание, как, например, победу отечественного войска в высшем освещении псалмов Давида, всегда настолько *смел*, что филолог при этом готов лезть па стену. Да и что ему делать, когда ханжи и иные коровы из Швабии свою жалкую серую жизнь, свое затхлое существование с помощью «перста Божия» обращают в «чудо милости», «промысел», «спасение»? Самая скромная доза ума, чтобы не сказать *приличия*, должна была бы привести этих толкователей к тому, чтобы они убедились, сколько вполне ребяческого и недостойного в подобном злоупотреблении божественным перстом. Со столь же малой дозой истинного благочестия мы должны бы были признать вполне абсурдным такого Бога, который лечит нас от насморка или подает нам карету в тот момент, когда разражается сильный дождь, и, если бы он даже существовал, его следовало бы упразднить. Бог как слуга, как почтальон, как календарь, — в сущности, это только слово для обозначения всякого рода глупейших случайностей. «Божественное Провидение», в которое теперь еще верит приблизительно каждый третий человек в «образованной» Германии, было бы таким возражением против Бога, сильнее которого нельзя и придумать. И во всяком случае оно есть возражение против немцев!..

## 53

— Что мученичество может служить доказательством истины чего-либо, — в этом так мало правды, что я готов отрицать, чтобы мученик вообще имел какое-нибудь отношение к истине. Уже в тоне, которым мученик навязывает миру то, что счи-

тает он истинным, выражается такая низкая степень интеллектуальной честности, такая *тупость* в вопросе об истине, что он никогда не нуждается в опровержении. Истина не есть что-нибудь такое, что мог бы иметь один, а не иметь другой: так могли думать об истине только мужики или апостолы из мужиков вроде Лютера. Можно быть уверенным, что сообразно со степенью совестливости в вопросах духа все более увеличивается *скромность*, осторожность относительно этих вещей. *Знать* не многое, а все остальное осторожно отстранять для того, чтобы познавать дальше... «Истина», как это слово понимает каждый пророк, каждый сектант, каждый свободный дух, каждый социалист, каждый церковник, — есть совершенное доказательство того, что здесь нет еще и начала той дисциплины духа и самопреодоления, которое необходимо для отыскания какой-нибудь маленькой, совсем крошечной еще истины. Смерти мучеников, мимоходом говоря, были большим несчастьем в истории: они *соблазняли*... Умозаключение всех идиотов, включая сюда женщин и просто-народе, таково, что то дело, за которое кто-нибудь идет на смерть (или даже которое порождает эпидемию стремления к смерти, как это было с первым христианством), имеет за себя что-нибудь, — такое умозаключение было огромным тормозом исследованию, духу исследования и осмоторительности.

Мученики *вредили* истине. Даже и в настоящее время достаточно только жестокости в преследовании, чтобы создать *почтенное* имя самому ничемному сектантству. — Как? разве изменяется вещь в своей ценности только от того, что за нее кто-нибудь кладет свою жизнь? — Заблуждение, сделавшееся почтенным, есть заблуждение, обладающее лишним очарованием соблазна, — не думаете ли вы, господа теологи, что мы дадим вам повод сделаться мучениками из-за вашей лжи? — Опровергают вещь, откладывая ее почтительно в долгий ящик; так же опровергают и теологов. Всемирио-исторической глупостью всех преследователей и было именно то, что они придавали делу своих противников вид почтенности, одаряя ее блеском мученичества... До сих пор женщина стоит на коленях перед заблуждением, потому что ей сказали, что кто-то за него умер на кресте. *Разве же крест аргумент?* Но относительно всего этого только один сказал то слово, в котором нуждались в продолжение тысячелетий, — *Заратустра*.

Знаками крови писали они на пути, по которому они шли, и их безумие учило, что кровью свидетельствуется истина.

Но кровь — самый худший свидетель истины; кровь отравляет самое чистое учение до степени безумия и ненависти сердец.

А если кто и идет на огонь из-за своего учения — что же это доказывает! Поистине, совсем другое дело, когда из собственного горения исходит собственное учение (II, 350) II 66.

## 54

Пусть не заблуждаются: великие умы — скептики. Заратустра — скептик. Крепость, *свобода*, вытекающие из духовной силы и ее избытка, *доказываются* скептицизмом. Люди убеждения совсем не входят в рассмотрение всего основного в ценностях и отсутствии таковых. Убеждение — это тюрьма. При нем не видишь достаточно далеко вокруг, не видишь *под* собой: а между тем, чтобы осмелиться говорить о ценно-

стях и неценностях, нужно оставить *под* собой, *за* собой пятьсот убеждений... Дух, который хочет великого, который хочет также иметь и средства для этого великого, по необходимости будет скептик. Свобода от всякого рода убеждений — это сила, это *способность* смотреть свободно...

Великая страсть, основание и сила бытия духа еще яснее, еще деспотичнее, чем сам дух, пользуется всецело его интеллектом: она заставляет его поступать, не сомневаясь; она дает ему мужество даже к недозволенным средствам; она *разрешает* ему при известных обстоятельствах и убеждения. Убеждение как *средство*: многого можно достигнуть только при посредстве убеждения. Великая страсть может пользоваться убеждениями, может их использовать, но она не подчиняется им — она считает себя суверенной. — Наоборот: потребность в вере, в каком-нибудь безусловном Да или Нет, в карлейлизме, если позволительно так выразиться, — есть потребность *слабости*. Человек веры, «верующий» всякого рода, — по необходимости человек зависимый, — такой, который не может полагать *себя* как цель и вообще полагать цели, опираясь на себя. «Верующий» принадлежит не *себе*, он может быть только средством, он должен быть *использован*, он нуждается в ком-нибудь, кто бы его использовал. Его инстинкт чтит выше всего мораль самоотвержения; все склоняет его к ней: его благоразумие, его опыт, его тщеславие. Всякого рода вера есть сама выражение самоотвержения, самоотчуждения... Пусть взвешают, как необходимо большинству что-нибудь регулирующее, что связывало бы их и укрепляло внешним образом, как принуждение, как *рабство* в высшем значении этого слова, — единственное и последнее условие, при котором преуспевает слабовольный человек, особенно женщина, — тогда поймут, что такое убеждение, «вера». Человек убеждения имеет в этом убеждении свою опору. *Не* видеть многого, ни в чем не быть непосредственным, быть насквозь пропитанным духом партии, иметь строгую и неуклонную оптику относительно всех ценностей — все это обуславливает вообще существование такого рода людей. Но тем самым этот род становится *антагонистом* правдивости, — истины... Верующий не волен относиться по совести к вопросу об «истинном» и «неистинном»; сделайся он честным в *этом* пункте, это тотчас повело бы его к гибели. Патологическая обусловленность его оптики из убежденного человека делает фанатика — Савонаролу, Лютера, Руссо, Робеспьера, Сен-Симона, — тип, противоположный сильному, ставшему *свободным* духу. Но величая поза этих *больных* умов, этих умственных эпилептиков, действует на массу, — фанатики живописны; человечество предпочитает смотреть на жесты, чем слушать *доводы*...

## 55

— Еще один шаг в психологию убеждения, «веры». Давно уже меня интересовал вопрос, не являются ли убеждения более опасными врагами истины, чем ложь. («Человеческое слишком человеческое» афоризмы 54 и 483.) На этот раз я ставлю решающий вопрос: существует ли вообще противоположение между ложью и убеждением? — Весь мир верит в это; но чему только не верит весь мир! — Всякое убеждение имеет свою историю, свои предварительные формы, свои попытки и заблуждения: оно *становится* убеждением после того, как долгое время *не* было им и еще более долгое время *едва* им было. Как? неужели и под этими эмбриональными фор-





*Поистине, совсем другое дело, когда из собственного горения  
исходит собственное учение*

мами убеждения не могла скрываться ложь? — Иногда необходима только перемена личностей: в сыне делается убеждением то, что в отце было еще ложью. — Ложью я называю: *не* желать видеть того, что видят, не желать видеть *так*, как видят, — неважно, при свидетелях или без свидетелей ложь имеет место. Самый обыкновенный род лжи тот, когда обманывают самих себя: обман других есть относительно уже исключительный случай. — В настоящее время это *нежелание* видеть то, что видят, и нежелание видеть так, как видят, есть почти первое условие для всех *партийных* в каком бы то ни было смысле: человек партии по необходимости лжец. Немецкая историография, например, убеждена, что Рим был деспотизмом, что германцы принесли в мир дух свободы: какое различие между этим убеждением и ложью? Следует ли удивляться тому, что инстинктивно все партии, равно как и немецкие историки, изрекают великие слова морали, что мораль чуть ли не потому еще *продолжает существовать*, что всякого рода человек партии нуждается в ней ежеминутно? — «Это наше убеждение: мы исповедуем его перед всем миром, мы живем и умираем за него — почтение перед всем, что имеет убеждение». — Нечто подобное слышал я даже из уст антисемитов. Напротив, господа! Антисемит совсем не будет оттого приличнее, что он лжет по принципу. Священники, которые в таких вещах тоньше и очень хорошо понимают возражение, лежащее в понятии убеждения, то есть обоснованной, *ввиду* известных целей, лжи, позаимствовали от евреев благоразумие, подставивши сюда понятие «Бог», «воля Божья», «откровение Божье». Кант со своим категорическим императивом был на том же пути: в этом пункте его разум сделался *практическим*. — Есть вопросы, в которых человеку *не* предоставлено решение относительно истинности их или неистинности: все высшие вопросы, все высшие проблемы ценностей находятся по ту сторону человеческого разума... Коснуться границ разума — *вот это* прежде всего и есть философия... Для чего дал Бог человеку откровение? Разве Бог сделал что-нибудь лишнее? Человек *не может* знать сам собою, что есть добро и что зло, поэтому научил его Бог своей воле... Мораль: священник *не* лжет, — в тех вещах, о которых говорят священники, *нет* вопросов об «истинном и ложном», эти вещи совсем не позволяют лгать. Ибо, чтобы лгать, нужно быть в состоянии решать, *что* здесь истинно. Но этого как раз человек *не может*; священник здесь только рупор Бога. Такой жреческий силлогизм не является только еврейским или христианским: право на ложь и на *благоразумие* «откровения» принадлежит жрецу в его типе, будь то жрецы *décadence* или жрецы язычества. (Язычники — это все те из относящихся к жизни положительно, для которых Бог служит выражением великого Да по отношению ко всем вещам.) — «Закон», «воля Божья», «священная книга», «боговдохновение» — все это только слова для обозначения условий, *при которых* жрец идет к власти, *которыми* он поддерживает свою власть — эти понятия лежат в основании всех жреческих организаций, всех жреческих и жреческо-философских проявлений господства.

«Святая ложь» обща Конфуцию, книге законов Ману, Магомету, христианской церкви; в ней нет недостатка и у Платона. «Истина здесь» — эти слова, где бы они ни слышались, означают: *жрец лжет*.





*Коснуться границ разума — вот это прежде всего и есть философия...*

## 56

— В конце концов, мы подходим к тому, с какою *целью* агут. Что христианству недостает «святых» целей, это мое возражение против его средств. У него только *дурные* цели: отравление, оклеветание, отрицание жизни, презрение тела, уничтожение и самораствление человека через понятие греха, — *следовательно*, также дурны и его средства. — Совершенно с противоположным чувством я читаю книгу законов *Ману*, произведение, несравненное в духовном отношении; даже *назвать* его на одном дыхании с Библией было бы грехом против *духа*. И понятно, почему: оно имеет за собой, «в» себе действительную философию, а не только зловонный иудаизм с его раввинизмом и суевериями, наоборот, оно кое-что дает даже самому избалованному психологу. *Нельзя* забывать главного — основного отличия этой книги от всякого рода Библии: *знатные* сословия, философы и воины при ее помощи держат в руках массы: повсюду благородные ценности, чувство совершенства, утверждение жизни, торжествующее чувство благосостояния по отношению к себе и к жизни, *солнечный свет* разлит на всей книге. — Все вещи, на которые христианство испускает свою бездонную пошлость, как, например, зачатие, женщина, брак, здесь трактуются серьезно, с почтением, любовью и доверием. Как можно давать в руки детей или женщин книгу, которая содержит такие гнусные слова: «во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа... лучше вступить в брак, нежели разжигаться?» И *можно ли* быть христианином, коль скоро понятием об *immaculata conceptio* самое происхождение человека охристианивается, то есть загрязняется?.. Я не знаю ни одной книги, где о женщине сказано бы было так много нежных и благожелательных вещей, как в книге законов *Ману*; эти старые седобородые святые обладают таким искусством вежливости по отношению к женщинам, как, может быть, никто другой. «Уста женщины, — говорится в одном месте, — грудь девушки, молитва ребенка, дым жертвы всегда чисты». В другом месте: «нет ничего более чистого, чем свет солнца, тень коровы, воздух, вода, огонь и дыхание девушки». Далее следует, быть может, святая ложь: «все отверстия тела выше пупка — чисты, все ниже лежащие — нечисты; только у девушки все тело чисто».

## 57

Если цель *христианства* сопоставить с целью законов *Ману*, если наилучшим образом осветить эту величайшую противоположность целей, то *нечестивость* христианских средств можно поймать *in fragranti*. Критик христианства не может избежать того, чтобы не выставить христианства заслуживающим *презрения*. Книга законов, вроде законов *Ману*, имеет такое же происхождение, как и всякая хорошая книга законов: она резюмирует опыт, благоразумие и экспериментальную мораль столетий, она подводит черту, но не творит ничего. Предпосылкой к кодификации такого рода является то, что средства создать авторитет *истине*, медленно и дорогой ценой завоеванной, совершенно отличны от тех средств, которыми она доказывается. Книга законов никогда не говорит о пользе, об основаниях, о казуистике в предварительной истории закона: именно благодаря этому она лишилась бы того императивного тона, того «ты должен», которое является необходимым условием для повиновения. В этом-то и заключается проблема. — В определенный момент развития народа его глу-



бокий, всеохватывающий опыт, — сообразно с которым он должен, то есть, собственно говоря, *может жить*, — является законченным. Его цель сводится к тому, чтобы собрать возможно полную и богатую жатву с времен эксперимента и *отрицательного* опыта. Следовательно, прежде всего теперь нужно остерегаться дальнейшего экспериментирования, дальнейшей эволюции ценностей, уходящего в бесконечность исследования, выбора, критики ценностей. Всему этому противопоставляется двойная стена: во-первых, *откровение*, т. е. утверждение, что разум тех законов *не* человеческого происхождения, что он *не* есть результат медленного изыскания, сопровождаемого ошибками, но, как имеющий божественное происхождение, он был только сообщен уже в совершенном виде, без истории, как дар, как чудо... Во-вторых, *традиция*, т. е. утверждение, что закон уже с древнейших времен существовал, что сомневаться в этом было бы нечестиво и преступно по отношению к предкам. Авторитет закона покоится на тезисах: Бог это *дал*, предки это *пережили*. Высший разум подобного процесса заключается в намерении оттеснить шаг за шагом сознание от жизни, признаваемой за правильную (то есть *доказанную* огромным и тонко просеянным опытом), чтобы достигнуть таким образом полного автоматизма инстинкта, — это предпосылки ко всякого рода мастерству, ко всякого рода совершенству в искусстве жизни. Составить книгу законов по образцу Ману — значит признать за народом мастера, признать, что он может претендовать на обладание высшим искусством жизни. *Для этого она должна быть создана бессознательно*: в этом цель всякой священной лжи. — *Порядок каст*, высший господствующий закон, есть только санкция *естественного порядка*, естественная законность первого ранга, над которой не имеет силы никакой произвол, никакая «современная идея». В каждом здоровом обществе выступают, обуславливая друг друга, три физиологически разнопритягательных типа, из которых каждый имеет свою собственную гигиену, свою собственную область труда, особый род чувства совершенства и мастерства. Природа, а не Ману отделяет одних — по преимуществу сильных духом, других — по преимуществу сильных мускулами и темпераментом и третьих, не выдающихся ни тем, ни другим — посредственных: последние, как большинство, первые, как элита. Высшая каста — я называю ее кастой *немногих* — имеет, будучи совершенной, также и преимущества немногих: это значит — быть земными представителями счастья, красоты, доброты. Только наиболее одаренные духовно люди имеют разрешение на красоту, *на* прекрасное; только у них доброта не есть слабость. Pulchrum est paucorum hominum: доброе есть преимущество. Ничто так не возбраняется им, как дурные манеры, или пессимистический взгляд, глаз, который *все видит в дурном свете*, или даже негодование на общую картину мира. Негодование — это преимущество чандалы; также и пессимизм. «*Мир совершенен*» — так говорит инстинкт духовно одаренных, инстинкт, утверждающий жизнь: «несовершенство, все, что стоит *ниже* нас, дистанция, пафос дистанции, сама чандала, — все принадлежит к этому совершенству». Духовно одаренные, как *самые сильные*, находят свое счастье там, где другие нашли бы свою погибель, — в лабиринте, в жестокости к себе и другим, в исканиях; их удовольствие — это самопринуждение; аскетизм делается у них природой, потребностью, инстинктом. Трудную задачу считают они привилегией; играть тяжестями, которые могут раздавить других, — это их *отдых*... Познание для них форма подвижничества. — Такой род людей более всех достоин почтения — это не исключает того, что они самые веселые, радужные люди. Они господствуют не потому, что хотят, но потому, что они *сущест-*

вуют; им не предоставлена свобода быть вторыми. — *Вторые* — это стражи права, опекуны порядка и безопасности, это благородные воины, это прежде всего *король*, как высшая формула воина, судьи и хранителя закона. Вторые — это исполнители сильных духом, их ближайшая среда, то, что берет на себя все *грубое* в господстве, их свита, их правая рука, их лучшие ученики. — Во всем, повторяю, нет ничего произвольного, ничего «деланного»; все, что *не так*, то сделано, — природа там опозорена... Порядок каст, *иерархия*, только и формулирует высший закон самой жизни; разделение трех типов необходимо для поддержания общества, для того, чтобы сделать возможными высшие и наивысшие типы, — *неравенство* прав есть только условие к тому, чтобы вообще существовали права. — Право есть привилегия. Преимущество каждого в особенностях его бытия. Не будем низко оценивать преимущества *посредственных*. Жизнь, по мере *возвышения*, всегда становится суровее, — увеличивается холод, увеличивается ответственность. Высокая культура — это пирамида: она может стоять только на широком основании, она имеет, как предпосылку, прежде всего сильную и здоровую посредственность. Ремесло, торговля, земледелие, *наука*, большая часть искусств, одним словом, все, что содержится в понятии *специальной* деятельности, согласуется только с посредственным — в возможностях и желаниях; подобному нет места среди исключений, относящийся сюда инстинкт одинаково противоречил бы как аристократизму, так и анархизму. Чтобы иметь общественную полезность, быть колесом, функцией, для этого должно быть естественное призвание: *не* общество, а род *счастья*, к которому способно только большинство, делает из них интеллигентные машины. Для посредственностей быть посредственностью есть счастье; мастерство в одном, специальность — это естественный инстинкт. Было бы совершенно недостойно более глубокого духа в посредственности самой по себе видеть нечто отрицательное. Она есть *первая* необходимость для того, чтобы существовали исключения: ею обуславливается высокая культура. Если исключительный человек относится к посредственным бережнее, чем к себе и себе подобным, то это для него не вежливость лишь, но просто его *обязанность*... Кого более всего я ненавижу между теперешней сволочью? Сволочь социалистическую, апостолов чандалы, которые хоронят инстинкт, удовольствие, чувство удовлетворенности рабочего с его малым бытием, — которые делают его завистливым, учат его мести... Нет несправедливости в неравных правах, несправедливость в притязании на «*равные*» права... Что *дурно*? Но я уже сказал это: все, что происходит из слабости, из зависти, из *мести*. — Анархист и христианин одного происхождения.

## 58

Конечно, есть различие, с какою целью лгут: для того ли, чтобы поддерживать или чтобы *разрушать*. Сравним *христианина* и *анархиста*: их цель, их инстинкт ведет только к разрушению. Доказательство этого положения можно вычитать из истории: она представляет его с ужасающей ясностью. Мы только что познакомились с религиозным законодательством, целью которого было «увековечить» великую организацию общества — высшее условие для того, чтобы *преуспевала* жизнь; христианство нашло свою миссию в том, чтобы положить конец такой организации,

*потому что в ней преуспевает жизнь.* С давно прошедших времен эксперимента и неуверенности разум должен был отложить там свои плоды для дальнейшего пользования, и собранная жатва была так обильна, так совершенна, как только возможно: здесь, наоборот, жатва была *отравлена* за ночь... То, что составляло *aere perennius* — *imperium Romanum*, самая грандиозная форма организации при труднейших условиях, такая форма, какая до сих пор могла быть только достигнута, в сравнении с которой все прошедшее и последующее есть только кустарничество, тупость, дилетантизм, — из всего этого те святые анархисты сделали себе «благочестие» с целью разрушить «мир», *то есть imperium Romanum*, так, чтобы не осталось камня на камне, пока германцы и прочий сброд не сделали над ним господами... Христианин и анархист: оба *décadents*, оба не способны действовать иначе, как только разлагая, отравляя, угнетая, *высасывая кровь*, оба — инстинкт *смертельной ненависти* против всего, что возвышается, что велико, что имеет прочность, что обещает жизни будущность... Христианство было вампиром *imperii Romani*; за ночь погубило оно огромное дело римлян — приготовить почву для великой культуры, *требующей времени*. — Неужели все еще этого не понимают? Известная нам *imperium Romanum*, с которой мы лучше всего знакомимся из истории римских провинций, это замечательнейшее художественное произведение великого стиля, было лишь началом, его строение было *рассчитано* на тысячелетия, — никогда до сих пор не только не строили так, но даже не мечтали о том, чтобы строить настолько *sub specie aeterni*! — Эта организация была достаточно крепка, чтобы выдержать скверных императоров: случайность личностей не должна иметь значения в подобных вещах — *первый* принцип всякой великой архитектуры. Но она не могла устоять против самого *разрушительного* вида разложения — против *христианина*... Этот потайной червь, который во мраке, тумане и двусмысленности вкрался в каждую отдельную личность и из каждого высосал серьезное отношение к *истине*, вообще инстинкт к *реальности*; эта трусливая, феминистская и слащавая банда, шаг за шагом отчуждая «души» от грандиозного строительства, отчуждала те высокоценные, те мужественно-благородные натуры, которые чувствовали дело Рима как свое собственное дело, свою собственную нешуточность, свою собственную гордость. Пронырство лицемеров, скрытные сборища, такие мрачные понятия, как ад, как жертва невинного, как *unio mystica* в питеи крови, и прежде всего медленно раздуваемый огонь мести, мести чандалы, — *вот* что стало господствовать над Римом, тот род религии, которому уже Эпикур объявил войну в его зародышевой форме. Читайте Лукреция, чтобы понять, с *чем* боролся Эпикур, не с язычеством, но с «христианством», я хочу сказать, с порчей душ через понятия вины, наказания и бессмертия. — Он боролся с *подземными* культами, со всем скрытым христианством, — отрицать бессмертие было тогда уже истинным *освобождением*. — И Эпикур победил, всякий достойный уважения дух в римском государстве был эпикурейцем: *но вот явился Павел*... Павел, сделавшийся плотью и гением гнева чандалы против Рима, против «мира», жид, *вечный жид* *par excellence*... Он угадал, что при помощи маленького сектантского христианского движения можно зажечь «мировой пожар» в стороне от иудейства, что при помощи символа «Бог на кресте» можно суммировать в одну чудовищную власть все, лежащее внизу, все втайне мятежное, все наследие анархической пропаганды в империи. «Спасение приходит от иудеев». — Христианство, как формула, чтобы превзойти всякого рода подземные культы, например Осириса, Великой Матери, Митры, и чтобы суммировать

их, — в этой догадке и заключается гений Павла. В этом отношении инстинкт его был так верен, что он, беспощадно насилая истину, вкладывал в уста «Спасителю» своего изобретения те представления религий чандалы, при помощи которых затемнялось сознание; он *делал* из него нечто такое, что было понятно и жрецу Митры... И вот перед нами момент в Дамаске: он понял, что ему *необходима* вера в бессмертие, чтобы обесценить «мир», что понятие «ад» дает господство над Римом, что «потустороннее» *умерицвляет жизнь*... Нигилист и христианин (Nihilist und Christ) — это рифмуется, и не только рифмуется...

## 59

Вся работа античного мира *напрасна*: у меня нет слов чтобы выразить чудовищность этого. — И принимая в соображение, что эта работа была только предварительной работой, что гранитом его самосознания был заложен лишь фундамент к работе тысячелетий, — весь *смысл* античного мира напрасен!.. К чему греки? к чему римляне? — Там были уже все предпосылки к научной культуре, все научные *методы*, было твердо поставлено великое несравненное искусство хорошо читать, — эта предпосылка к традиции культуры, к единству науки; естествознание в союзе с математикой и механикой было на наилучшем пути, — *понимание фактов*, последнее и самое ценное из всех пониманий, имело свои школы, имело уже столетия традиций! Понятно ли это? Все *существенное* было найдено, чтобы можно было приступить к работе: методы, повторяю десять раз, это и *есть* самое существенное, а вместе с тем и самое трудное, то, чему упорнее всего противятся привычки и лень. Все дурные христианские инстинкты сидят еще в нас, и нужно было огромное самопринуждение, чтобы завоевать свободный взгляд на реальность, осмотрительность в действии, терпение и серьезность в самомалейшем, всю *честность* познания, — и все это уже было там! было уже более чем два тысячелетия перед этим! Прибавьте сюда еще тонкий такт и вкус! *Не* как дрессировка мозга! *Не* как «немецкое» образование с вульгарными манерами! Но как тело, как жесты, как инстинкт, — одним словом, как реальность! *Все напрасно!* За одну лишь ночь стало это только воспоминанием! — Греки! римляне! Благородство инстинкта, вкус, методическое исследование, гений организации и управления, вера, *воля* к будущему людей, великое утверждение всех вещей, воплотившихся в *imperium Romanum*, и очевидных для всех чувств, великий стиль, сделавшийся не только искусством, но реальностью, истиной, *жизнью*... — И все это завалено не через какую-нибудь внезапную катастрофу! Не растоптано германцами или иными увальнями! Но осквернено хитрыми, тайными, невидимыми малокровными вампирами! Не побеждено — только высосано!.. Скрытая мстительность, маленькая зависть стали *господами*! Разом поднялось *наверх* все жалкое, страдающее само по себе, охваченное дурными чувствами, весь душевный мир *гетто*!.. Нужно только почитать какого-нибудь христианского агитатора, например св. Августина, чтобы понять, чтобы *почувствовать обонянием*, какие нечистоплотные существа выступили тогда наверх. Совершенно обманулись бы, если бы предположили недостаток ума у вождей христианского движения: о, они умны, умны до святости, эти господа отцы церкви! Им недостает совсем иного. Природа ими пренебрегла, —



она забыла уделить им скромное приданое честных, приличных, *чистоплотных* инстинктов... Между нами будь сказано, это не мужчины... Если ислам презирает христианство, то он тысячу раз прав: предпосылка ислама — мужчины...

## 60

Христианство погубило жатву античной культуры, позднее оно погубило жатву культуры *ислама*. Чудный мавританский культурный мир Испании, в сущности более *нам* родственный, более говорящий нашим чувствам и вкусу, чем Рим и Греция, был *растоптан* (— я не говорю, какими ногами). Почему? потому что он обязан своим происхождением благородным мужественным инстинктам, потому что он утверждал жизнь также и в ее редких мавританских утонченностях... Крестоносцы позже уничтожали то, перед чем им приличнее было бы лежать во прахе, — культуру, сравнительно с которой даже наш девятнадцатый век является очень бедным, очень «запоздавшим». — Конечно, они хотели добычи: Восток был богат... Однако смущаться нечего. Крестовые походы были только пиратством высшего порядка, не более того! Немецкое дворянство, в основе своей — дворянство викингов, было, таким образом, в своей стихии: церковь знала слишком хорошо, как ей *быть* с немецким дворянством... Немецкое дворянство — всегдашние «швейцарцы» церкви, всегда на службе у всех дурных инстинктов церкви, но на *хорошем жалованье*... Как раз церковь, с помощью немецких мечей, немецкой крови и мужества, вела смертельную войну со всем благородным на земле! В этом пункте сколько наболевших вопросов! Немецкого дворянства почти *нет* в истории высшей культуры, и можно догадаться почему: христианство, алкоголь — два *великих* средства разложения... Не может быть выбора между исламом и христианством, так же как между арабом и иудеем. Решение дано, и никто не волен выбирать. Или мы чандала или *не* чандала... «Война с Римом на ножах! Мир, дружба с исламом»: так чувствовал, так *поступал* тот великий свободный дух, гений среди немецких императоров, Фридрих Второй. Как? неужели, чтобы *прилично* чувствовать, немцу нужно быть гением, свободным духом? Я не понимаю, как немец мог когда-нибудь чувствовать *по-христиански*...

## 61

Здесь необходимо коснуться воспоминаний, еще в сто раз более мучительных для немцев. Немцы лишили Европу последней великой культурной жатвы, которую могла собрать Европа, — культуры *Ренессанса*. Понимают ли наконец, *хотят* ли понять, что такое был Ренессанс? *Переоценка христианских ценностей*, попытка доставить победу *противоположным* ценностям, *благородным* ценностям, при помощи всех средств, инстинктов, всего гения... До сих пор была только *эта* великая война, до сих пор не было постановки вопросов более решительной, чем постановка Ренессанса, — *мой* вопрос есть его вопрос: никогда *нападение* не было проведено более основательно, прямо, более строго по всему фронту и в центре! Напасть в самом решающем месте, в самом гнезде христианства, здесь возвести на трон *благородные* ценно-

сти, я хочу сказать, возвести их в инстинкты и глубокие потребности и желания там восседающих... Я вижу перед собой *возможность* совершенно неземного очарования и прелести красок: мне кажется, что она сверкает всем трепетом утонченной красоты, что в ней искусство действует так божественно, так чертовски божественно, что напрасно мы искали бы в течение тысячелетий второй такой возможности; я вижу зрелище, столь полное смысла и вместе с тем удивительно парадоксальное, что все божества Олимпа имели бы в нем повод к бессмертному смеху, — *Чезаре Борджа папа...* Понимают ли меня?... *Это* была бы победа, которой в настоящий момент добиваюсь только я один: тем самым христианство было *уничтожено*! — Но что случилось? Немецкий монах Лютер пришел в Рим. Этот монах, со всеми мстительными инстинктами неудавшегося священника, возмутился в Риме *против* Ренессанса... Вместо того, чтобы с глубокой благодарностью понять то чудовищное, что произошло, — победу над христианством в его *гнезде*, он лишь питал этим зрелищем свою ненависть. Религиозный человек думает только о себе. — Лютер видел *порчу* папства, в то время как налицо было противоположное: уже не старая порча, не *reccatum originale*, не христианство восседало на папском престоле! Но жизнь! Но триумф жизни! Но великое Да всем высоким, прекрасным, дерзновенным видам!.. И Лютер снова *восстановил церковь*: он напал на нее... Ренессанс — явление без смысла, вечное *напрасно*. — Ах, эти немцы, чего они уже нам стоили! Напрасно — это всегда было *делом* немцев. — Реформация, Лейбниц, Кант и так называемая немецкая философия, войны за «свободу», империя — всякий раз обращается в тщету то, что уже было, *чего нельзя уже вернуть назад*... Сознаюсь, что это *мои* враги, эти немцы: я презираю в них всякого рода нечистоплотность понятия и оценки, *трусость* перед каждым честным Да и Нет. Почти за тысячу лет они все сбили и перепутали, к чему только касались своими пальцами, они имеют на своей совести все половинчатости — три восьминых! — которыми больна Европа, они имеют также на совести самый нечистоплотный род христианства, какой только есть, самый неисцелимый, самый неопровержимый — протестантизм... Если не справятся окончательно с христианством, то *немцы* будут в этом виноваты...

## 62

— Этим я заканчиваю и высказываю мой приговор. Я *осуждаю* христианство, я выдвигаю против христианской церкви страшнейшие из всех обвинений, какие только когда-нибудь бывали в устах обвинителя. По-моему, это есть высшее из всех мыслимых извращений, оно имело волю к последнему извращению, какое только было возможно. Христианская церковь ничего не оставила не тронутым в своей порче, она обесценила всякую ценность, из всякой истины она сделала ложь, из всего честного — душевную низость. Осмеливаются еще мне говорить о ее «гуманитарных» благословениях! *Удалить* какое-нибудь бедствие — это шло глубоко вразрез с ее пользой: она жила бедствиями, она *создавала* бедствия, чтобы *себя* увековечить... Червь греха, например, таким бедствием впервые церковь обогатила человечество! — «Равенство душ перед Богом», эта фальшь, этот *предлог* для *гапсунес* всех низменно настроенных, это взрывчатое вещество мысли, которое сделалось наконец революцией, современной идеей и принципом упадка всего общественного порядка, — таков



*Почти за тысячу лет они все сбили и перепутали, к чему только касались своими пальцами, они имеют на своей совести все половинчатости — три восьминых!..*

*христианский* динамит... «Гуманитарные» благословения христианства! Выдрессировать из *humanitas* само противоречие, искусство самоосквернения, волю ко лжи во что бы то ни стало, отвращение, презрение ко всем хорошим и честным инстинктам! Вот что такое, по-моему, благословения христианства! — Паразитизм, как *единственная* практика церкви, высасывающая всю кровь, всю любовь, всю надежду на жизнь своим идеалом бледной немочи и «святости»; потустороннее как воля к отрицанию всякой реальности; крест как знак принадлежности к самому подземному заговору, какие когда-либо бывали, — заговору против здоровья, красоты, удачливости, смелости, духа, против душевной *доброты, против самой жизни...*

Это вечное обвинение против христианства я хочу написать на всех стенах, где только они есть, — у меня есть буквы, чтобы и слепых сделать зрячими... Я называю христианство *единым* великим проклятием, *единой* великой внутренней порчей, *единым* великим инстинктом мести, для которого никакое средство не будет достаточно ядовито, коварно, низко, достаточно *мало*, — я называю его *единым* бессмертным, позорным пятном человечества...

И вот считают *время* с того *dies nefastus*, когда начался этот рок, с *первого* дня христианства! — *Почему лучше не с последнего?* — *Не с сегодняшнего?* — Переоценка всех ценностей!



# ЕССЕ НОМО

**Как становятся сами собою**

Перевод  
Ю. М. Антоновского

## ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Большинству читателей Ницше настоящая книга известна во французском издании (*Ecce homo*, traduit par Henri Albert, 5<sup>e</sup> édition, Paris, 1909) и главным образом потому, что ее немецкий оригинал составляет библиографическую редкость. Чтобы получить его, нам пришлось прибегнуть к анкете на немецких книжных рынках. Наконец мы получили эту книгу. У нее очень оригинальный внешний вид. На первой странице, занятой сплошь золотой виньеткой, значится посреди: *Ecce homo*, а ниже виньетки написано только: Friedrich Nietzsche. Нет помину о годе издания, но надо думать, что оно относится к концу 1909 г. Вместо названия глав, первая строка каждой главы набрана золотыми буквами. Оригинальна еще та особенность, что так называемых красных строк не употребляется, и вся книга написана подряд, без перерывов. В нашем издании мы постарались, насколько возможно, сохранить особенности оригинала; пришлось только первые строки глав напечатать не золотым, а жирным шрифтом. Не помещено также обширное «Послесловие издателя» Рауля Рихтера. На последней странице оригинала еще значится: «Das *Ecce homo* wurde für den Insol-Verlag zu Leipzig in 1250 Exemplaren (davon 150 auf Japan) bei Friedrich Richter in Leipzig gedmckt. Titel, Einband und Ornamente zeichnnte Henry van de Vehle. Exemplar 1228».

Недавно московское книгоиздательство «Заря» выпустило свой перевод *Ecce homo*, перевод весьма несовершенный и при том сделанный с французского издания. Мы упомянули о нем только потому, что его появление принудило нас, во избежание смещения, отступить от оригинала и над *Ecce homo* прибавить сверху; Автобиография.

В своей книге Ницше очень часто цитирует Заратустру; все эти цитаты позаимствованы нами из уже существующего русского перевода «Так говорил Заратустра»<sup>1</sup>. Другие сочинения Ницше названы нами, как они значатся в прекрасном переводе

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Перевод Ю. М. Антоновского. 4 изд. СПб.: «Прометей», 1911

Н. Полилова, к сожалению, рано умершего и не доведшего своего создания до конца<sup>1</sup>.

Покончив с внешней стороной издания, надо еще сказать несколько слов о содержании *Ессе номо*. По нашему мнению, лучший путь проникнуть в сущность, в смысл философии и настроения Ницше — это прочесть, прежде всего, две его книги *Ессе номо* и *Der Antichrist*. Они дают возможность быстро ориентироваться в его учении; после их прочтения многое темное или неясное в других сочинениях Ницше получает достаточное освещение. Особенно это относится к *Заратустре*, в котором все символы и намеки, после знакомства с *Ессе номо*, становятся понятными. Поэтому автобиография Ницше является важным пособием к пониманию творца *Заратустры*; и нам, русским, кажется лишь непонятным, почему издательница сочинений Ницше, его сестра Елизавета Фёрстер-Ницше, не нашла до сего времени возможным издать давно вышедшую из продажи автобиографию своего брата. Не мешает ли этому ненависть Фридриха Ницше к немцам, которой так пропитана вся книга? Но читатель пока может только строить догадки в этом отношении. И только французы, которых Ницше так любил, переиздали на своем языке его книгу. К сожалению, она не может заменить оригинала; из нее главным образом исчез стиль Ницше, а стиль в данном случае — это сам Ницше. Поэтому мы старались сохранить этот стиль в русском издании.

Ю. Антоновский.  
15 мая 1911 г.

---

<sup>1</sup> Переводы Н. Полилова. *Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдии к философии будущего*. СПб.: Изд. Д. Е. Жуковского, 1905; *Ницше Ф. Сумерки идолов или Как философы стучат молотом*. СПб., 1907; *Ницше о Вагнере. I. Вагнер как явление. II. Ницше contra Вагнер*. СПб. 1907.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

### 1

**В ПРЕДВИДЕНИИ, ЧТО НЕ ДАЛЕК ТОТ ДЕНЬ**, когда я должен буду подвергнуть человечество испытанию более тяжкому, чем все те, каким оно подвергалось когда-либо, я считаю необходимым сказать, кто я. Знать это в сущности не так трудно, ибо я не раз «свидетельствовал о себе». Но несоответствие между величию моей задачи и ничтожеством моих современников проявилось в том, что меня не слышали и даже не видели. Я живу на свой собственный кредит, и, быть может, то, что я живу, — один предрассудок?.. Мне достаточно только поговорить с каким-нибудь «культурным» человеком, проводшим лето в Верхнем Энгадине, чтобы убедиться, что я не живу... При этих условиях возникает обязанность, против которой в сущности возмущается моя обычная сдержанность и еще больше гордость моих инстинктов, именно обязанность сказать: *Выслушайте меня! ибо я такой-то и такой-то. Прежде всего не смеивайтесь меня с другими!*

### 2

Я, например, вовсе не пугало, не моральное чудовище, — я даже натура, противоположная той породе людей, которую до сих пор почитали как добродетельную. Между нами, как мне кажется, именно это составляет предмет моей гордости. Я ученик философа Диониса, я предпочел бы скорее быть сатиром, чем святым. Но прочтите-ка это сочинение. Быть может, оно не имеет другого смысла, как объяснить названную противоположность в более светлой и доброжелательной форме. «Улучшить» человечество — было бы последним, что я мог бы обещать. Я не создаю новых идолов; пусть научатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. Мое ремесло скорее — *низвергать идолов* — так называю я «идеалы». В той мере, в какой *выдумали* мир идеальный, отняли у реальности



ее ценность, ее смысл, ее истинность... «Мир истинный» и «мир кажущийся» — по-немецки: мир *изолганный* и реальность... *Ложь* идеала была до сих пор проклятием, тяготевшим над реальностью, само человечество, проникаясь этой ложью, извращалось вплоть до глубочайших своих инстинктов, до обоготворения ценностей, обратных тем, которые обеспечивали бы развитие, будущность, высшее право на будущее.

### 3

— Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, *здоровый* воздух. Надо быть созданным для него, иначе рискуешь простудиться. Лед вблизи, чудовищное одиночество — но как безмятежно покоятся все вещи в свете дня! как легко дышится! сколь многое чувствуешь *ниже* себя! — Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор гонимого моралью.

Долгий опыт, приобретенный мною в этом странствовании по *запретному*, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, заставлявшие до сих пор морализировать и создавать идеалы. Мне открылась *скрытая* история философов, психология их великих имен. — Та степень истины, какую только дух *переносит*, та степень истины, до которой только и *держат* дух, — вот что все больше и больше становилось для меня настоящим мерилom ценности. Заблуждение (вера в идеал) не есть слепота, заблуждение есть *трусость*... Всякое завоевание, всякий шаг вперед в познании *вытекает* из мужества, из строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя... Я не отвергаю идеалов, я только надеваю в их присутствии перчатки... Nitimur in *vetitum*: этим знамением некогда победит моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина.

### 4

— Среди моих сочинений мой *Заратустра* занимает особое место. Им сделал я человечеству величайший дар из всех сделанных ему до сих пор. Эта книга с голосом, звучащим над тысячелетиями, есть не только самая высокая книга, которая когда-либо существовала, настоящая книга горного воздуха — самый факт человек лежит в чудовищной дали *ниже* ее — она также книга *самая глубокая*, рожденная из самых сокровенных недр истины, неисчерпаемый колодец, откуда всякое погружившееся ведро возвращается на поверхность полным золота и доброты. Здесь говорит не «пророк», не какой-нибудь из тех ужасных гермафродитов болезни и воли к власти, которые зовутся основателями религий.

Надо прежде всего правильно *вслушаться* в голос, исходящий из этих уст, в этот халкионический тон, чтобы не ошибиться в значении его мудрости. «Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, приходящие как голубь, управляют миром». —

Плоды падают со смоковниц, они сочны и сладки; и, пока они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои; теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо! Осень вокруг нас, и чистое небо, и время после полудня. —

Здесь говорит не фанатик, здесь не «проповедуют», здесь не требуют *веры*: из бесконечной полноты света и глубины счастья падает капля за каплей, слово за словом — нежная медленность есть темп этих речей. Подобные речи доходят только до самых избранных; быть здесь слушателем — несравненное преимущество; не всякий имеет уши для Заратустры... Тем не менее не *соблазнитель* ли Заратустра?.. Но что же говорит он сам, когда в первый раз опять возвращается к своему одиночеству? Прямо противоположное тому, что сказал бы в этом случае какой-нибудь «мудрец», «святой», «спаситель мира» или какой-нибудь *décadent*... Он не только говорит иначе, он и сам иной...

Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо оплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником. И почему не хотите вы ощипать венок мой?

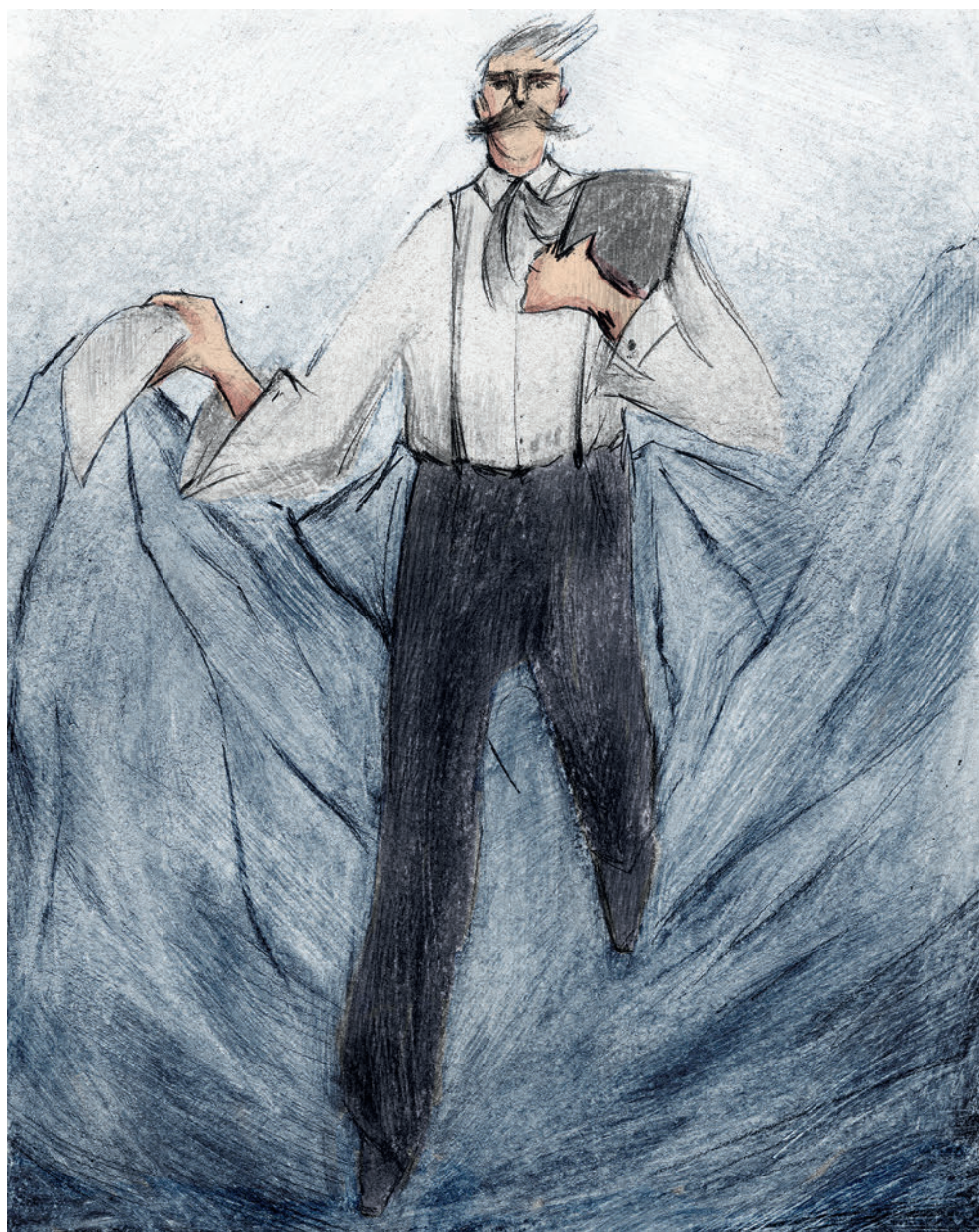
Вы уважаете меня; но что будет, если когда-нибудь падет уважение ваше? Берегитесь, чтобы статуя не убила вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре? Вы — верующие в меня; но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие; потому-то вера так мало значит.

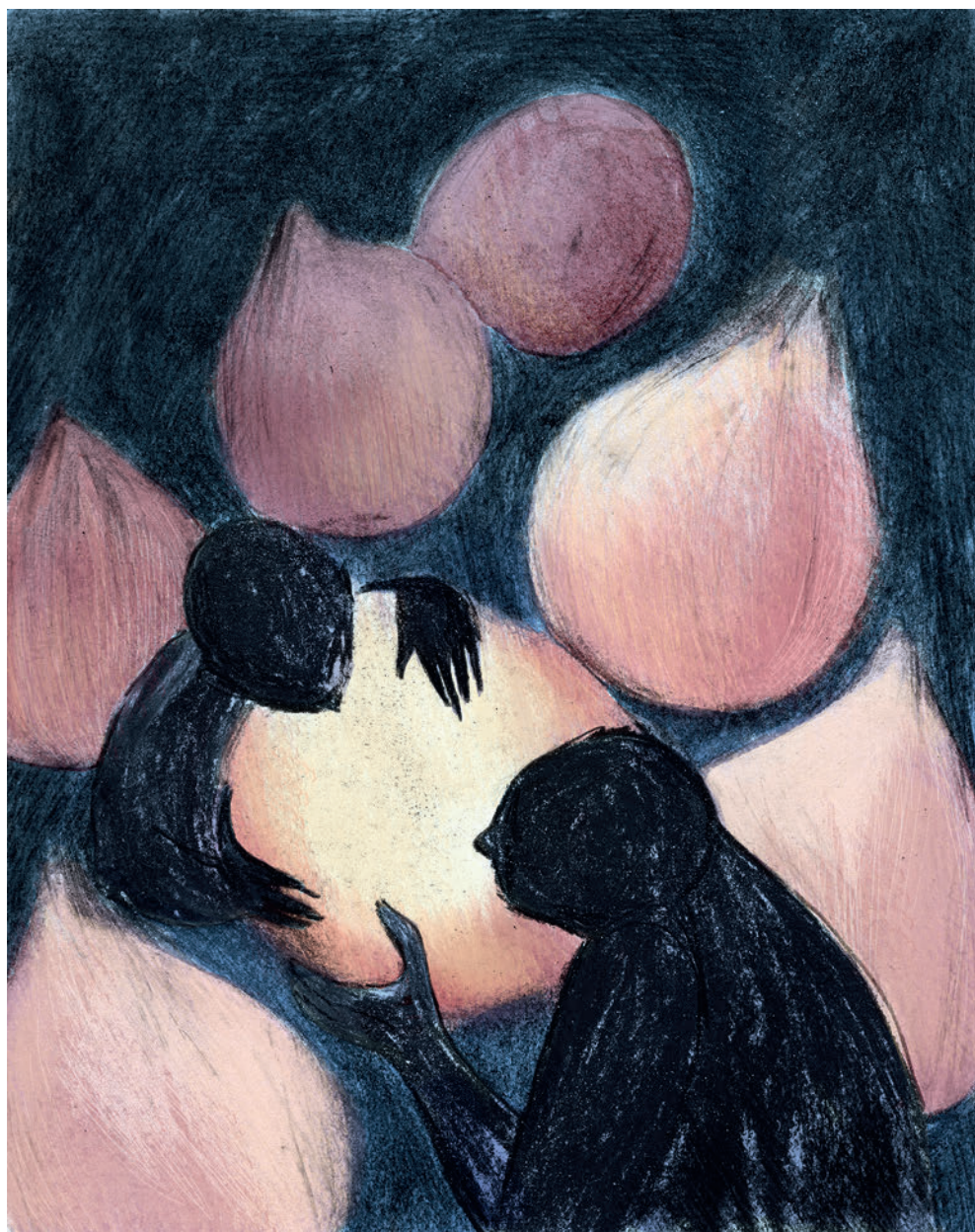
Теперь я вею вам потерять меня и найти себя; и только *когда вы все отречетесь от меня*, я вернусь к вам...

Фридрих Ницше



*Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание  
среди льдов и горных высот...*





*Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои;  
теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо!*



**В ТОТ СОВЕРШЕННЫЙ ДЕНЬ, КОГДА ВСЕ** достигает зрелости и не одни только виноградные грозди краснеют, упал луч солнца и на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей. Не напрасно хоронил я сегодня мой сорок четвертый год, у меня *было право* хоронить его — что было в нем жизненно, было спасено, стало бессмертным. Первая книга *Переоценки всех ценностей, Песни Заратустры*, Сумерки идолов, моя попытка философствовать молотом — сплошные дары, принесенные мне этим годом, даже его последней четвертью! Почему же мне не быть благодарным всей своей жизни?

Итак, я рассказываю себе свою жизнь.

**Почему я так мудр?** Счастье моего существования, его уникальность лежит, быть может, в его судьбе: выражаясь в форме загадки, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни — одновременно и *décadent*, и *начало* — всего лучше объясняет, быть может, отличительную для меня нейтральность, беспартийность в отношении общей проблемы жизни. У меня более тонкое, чем у кого другого, чутье восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель *par excellence* — я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. — Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому суждено было пройти бесследно, — он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью.

Его существование пришло в упадок в том же году, что и мое: в тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей витальности — я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В то время — это было в 1879 году — я покинул профессию в Базеле, прожил летом *как* тень в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел как тень в Наумбурге. Это был мой минимум: «Странник и его тень» возник тем временем.

Без сомнения, я знал тогда толк в тенях... В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которые почти обусловлены крайним оскудением в крови и мускулах, создали «Утреннюю зарю». Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, уживались во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с эксцессом чувства боли. Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слюзью, я обладал ясностью диалектика *par excellence*, очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях не нашел бы в себе достаточно утонченности и *спокойствия*, не нашел бы дерзости скалолаза. Мои читатели, должно быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом случае: в случае Сократа. — Все болезненные нарушения интеллекта, даже полубоморок, следующий за лихорадкой, оставались до сего времени совершенно чуждыми для меня вещами, о природе которых я впервые узнал лишь научным путем. Моя кровь бежит медленно. Никому



*...следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел  
как тень в Наумбурге*

никогда не удавалось обнаружить у меня жар. Один врач, долго лечивший меня как нервноболезного, сказал наконец: «Нет! больны не Ваши нервы, я сам лишь болен нервами». Конечно, хотя этого и нельзя доказать, во мне есть частичное вырождение; мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью желудочной системы.

Болезнь глаз, доведившая меня подчас почти до слепоты, была не причиной, а только следствием; всякий раз, как возрастали мои жизненные силы, возвращалось ко мне в известной степени и зрение. — Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление — он означает, к сожалению, и обратный кризис, упадок, периодичность известного рода *décadence*. Нужно ли после этого говорить, что я испытан в вопросах *décadence*? Я прошел его во всех направлениях, взад и вперед. Само это филигранное искусство схватывать и понимать вообще, этот указатель *puances*, эта психология оттенков и изгибов и все, что образует мою особенность, все это было тогда впервые изучено и составило истинный дар того времени, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Рассматривать с точки зрения больного более здоровые понятия и ценности, и наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более *богатой* жизни смотреть на таинственную работу инстинкта декаданса — таково было мое длительное упражнение, мой действительный опыт, и если в чем, так именно в этом я стал мастером. Теперь у меня есть опыт, опыт в том, чтобы *перемещать перспективы*: главное основание, почему одному только мне, пожалуй, стала вообще доступна «переоценка ценностей». —

## 2

Если исключить, что я *décadent*, я еще и его противоположность. Мое доказательство, между прочим, состоит в том, что я всегда инстинктивно выбирал *верные* средства против болезненных состояний: тогда как *decadent* всегда выбирает вредные для себя средства. Как *summa summarum*, я был здоров; как частность, как специальный случай, я был *décadent*. Энергия к абсолютному одиночеству, отказ от привычных условий жизни, усилие над собою, чтобы больше не заботиться о себе, не служить себе и не позволять себе *лечиться*, — все это обнаруживает безусловный инстинкт-уверенность в понимании, *что* было тогда прежде всего необходимо. Я сам взял себя в руки, я сам сделал себя наново здоровым: условие для этого — всякий физиолог согласится с этим — *быть в основе здоровым*. Существо типически болезненное не может стать здоровым, и еще меньше может сделать себя здоровым; для типически здорового, напротив, болезнь может даже быть энергичным *стимулом* к жизни, к продлению жизни. Так фактически представляется мне *теперь* этот долгий период болезни: я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие не легко могут находить в них вкус, — я сделал из моей воли к здоровью, к *жизни*, мою философию... Потому что — и это надо отметить — я *перестал* быть пессимистом в годы моей наименьшей витальности: инстинкт самовосстановления *воспротивился* мне философию нищеты и уныния... А в чем проявляется в сущности *удачность*! В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам, что он вырезан из дерева твердого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно; его удовольствие, его желание



прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений, он обращает в свою пользу вредные случайности; что его не губит, делает его сильнее. Он инстинктивно собирает из всего, что видит, слышит, переживает, *свою* сумму: он сам есть принцип отбора, он многое пропускает мимо. Он всегда в *своем* обществе, окружен ли он книгами, людьми или ландшафтами; он удостоивает чести, *выбирая, допуская, доверяя*. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с тою медленностью, которую выработали в нем долгая осторожность и намеренная гордость, — он испытывает раздражение, которое приходит к нему, но он далек от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в «несчастье», ни в «вину»; он справляется с собою, с другими, он умеет *забывать*, — он достаточно силен, чтобы все обращать себе на благо. Ну что ж, я емь *противоположность* *décadent*: ибо я только что описал *себя*.

### 3

Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо разъединенные миры повторяется в моей натуре во всех отношениях — я двойник, у меня есть и «второе» лицо кроме первого. *И*, должно быть, еще и третье... Уже мое происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив; мне не стоит никакого труда быть «добрым европейцем». С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы, — я последний *антиполитический* немец. И однако, мои предки были польские дворяне: от них в моем теле много расовых инстинктов, кто знает? В конце концов даже и *liberum veto*. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь к *крапленным* немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае нечто очень немецкое; так же как и моя бабушка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кругом Гёте. Ее брат, профессор богословия Краузе в Кенигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабушка, фигурирует под именем «Мутген» в дневнике юного Гёте. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она решилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849 году. До вступления в обязанности приходского священника общины Реккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырех принцесс. Его ученицами были ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская.

Он был приспосабливан глубокого благоговения перед прусским королем Фридрихом-Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход; события 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рожденный в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов — *Фридрих* Вильгельм. Одну выгоду

во всяком случае представлял выбор этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. — Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества — за вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких и хрупких вещей: я там дома, моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. — Чтобы только понять что-либо в моем Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, — одной ногой стоять *по ту сторону* жизни...

## 4

Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя — этим я также обязан моему несравненному отцу, — в тех даже случаях, когда это казалось мне крайне важным. Я даже, как бы не по-христиански ни выглядело это, не восстановлен против самого себя; можно вращать мою жизнь как угодно, и редко, в сущности один только раз, будут обнаружены следы недоброжелательства ко мне, — но, пожалуй, найдется слишком много следов *доброй* воли... Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят без исключения в их пользу; я приручаю всякого медведя; я и шутов делаю благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Педагогума, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая; мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент «человек», мне удастся, если я не болен, извлечь нечто такое, что можно слушать. И как часто слышал я от самих «инструментов», что еще никогда они так не звучали... Лучшее всего, может быть, слышал я это от того непростительно рано умершего Генриха фон Штейна, который однажды, после заботливо испрошенного позволения, явился на три дня в Сильс-Мария, объясняя всем и каждому, что он приехал не ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровском болоте (и кроме того, еще и в дюринговском!), был за эти три дня словно перерожден бурным ветром свободы, подобно тому, кто вдруг поднимается на *свою* высоту и получает крылья. Я повторял ему, что это результат хорошего воздуха здесь наверху, что так бывает с каждым, кто не зря поднимается на высоту 6000 футов над Байрейтом, — но он не хотел мне верить... Если, несмотря на это, против меня прегрешали не одним малым или большим проступком, то причиной тому была не «воля», меньше всего *злая* воля: скорее я мог бы — я только что указал на это — сетовать на добрую волю, внесшую в мою жизнь немалый беспорядок. Мои опыты дают мне право на недоверие вообще к так называемым «бескорыстным» инстинктам, к «любви к ближнему», всегда готовой сунуться словом и делом. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности сопротивляться раздражениям, — *сострадание* только у *décadents* зовется добродетелью. Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликатное чувство дистанции, что от сострадания во мгновение



*Уже мое происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону  
всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив...*





*Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может  
быть расстроен инструмент «человек», мне удастся, если я не болен, извлечь  
нечто такое, что можно слушать*



ока разит чернью и оно походит, до возможности смешения, на дурные манеры, — что сострадательные руки могут при случае разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение после ран, в *преимущественное право* на тяжелую вину. Преодоление сострадания отношу я к *аристократическим* добродетелям: в «Искушении Заратустры» я описал тот случай, когда до него доходит великий крик о помощи, когда сострадание, как последний грех, нисходит на него и хочет его заставить изменить *себе*. Здесь остаться господином, здесь *высоту* своей задачи сохранить в чистоте перед более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках, в этом и есть испытание, может быть, последнее испытание, которое должен пройти Заратустра, — истинное *доказательство* его силы...

## 5

Также и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие «возмездие» так же недоступно, как понятие «равные права», я запрещаю себе в тех случаях, когда в отношении меня совершается малая или *очень большая* глупость, всякую меру противодействия, всякую меру защиты, — равно как и всякую оборону, всякое «оправдание». Мой способ возмездия состоит в том, чтобы как можно скорее послать вслед глупости что-нибудь умное: таким образом, пожалуй, можно еще догнать ее. Говоря притчей: я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от *кислой* истории... Стоит только дурно поступить со мною, как я «мщу» за это, в этом можно быть уверенным: я нахожу в скором времени повод выразить «злодею» свою благодарность (между прочим, даже за злодеяние) — или *попросить* его о чем-то, что обязывает к большему, чем что-либо дать... Также кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчания. Тем, кто молчит, недостает почти всегда тонкости и учтивости сердца; молчание есть возражение; проглатывание по необходимости создает дурной характер — оно портит даже желудок. Все молчаливники страдают дурным пищеварением. — Как видно, я не хотел бы, чтобы грубость была оценена слишком низко, она является *самой гуманной* формой противоречия и, среди современной изнеженности, одной из наших первых добродетелей. — Кто достаточно богат, для того является даже счастьем нести на себе несправедливость. Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего другого *делать*, кроме несправедливости, — взять на себя не наказание, а *вину*, — только это и было бы божественно.

## 6

Свобода от злобы, ясное понимание мщения — кто знает, какой благодарностью обязан я за это своей долгой болезни! Проблема не так проста: надо пережить ее, исходя из силы и исходя из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем слабее действительный инстинкт исцеления, а это и есть *инстинкт обороны и нападения* в человеке. Ни от чего не можешь отделаться, ни с чем не можешь справиться

ся, ничего не можешь оттолкнуть — все оскорбляет. Люди и вещи подходят назойливо близко, переживания поражают слишком глубоко, воспоминание предстает гноящейся раной. Болезненное состояние само *есть* вид злобы. — Против него существует у больного только одно великое целебное средство — я называю его *русским фатализмом*, тем безропотным фатализмом, с каким русский солдат, когда ему слишком в тягость военный поход, ложится наконец в снег. Ничего больше не принимать, не допускать к себе, не воспринимать в себя — вообще не реагировать больше... Глубокий смысл этого фатализма, который не всегда есть только мужество к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, выражает ослабление обмена веществ, его замедление, своего рода волю к зимней спячке. Еще несколько шагов дальше в этой логике — и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу... Так как истощался бы слишком быстро, *если бы* реагировал вообще, то уже и вовсе не реагируешь — это логика. Но ни от чего не сторают быстрее, чем от аффектов *ressentiment*. Досада, болезненная чувствительность к оскорблениям, бессилие в мести, желание, жажда мести, отравление во всяком смысле — все это для истощенных есть, несомненно, самый опасный род реагирования: быстрая трата нервной силы, болезненное усиление вредных выделений, например желчи в желудок, обусловлены всем этим. *Ressentiment* есть нечто *само по себе* запретное для больного — *его* зло: к сожалению, также и его наиболее естественная склонность. — Это понимал глубокий физиолог Будда. Его «религия», которую можно было бы скорее назвать *гигиеной*, дабы не смешивать ее с такими достойными жалости вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над *ressentiment*: освободить *от него* душу есть первый шаг к выздоровлению. «Не враждою оканчивается вражда, дружбою оканчивается вражда» — это стоит в начале учения Будды: так говорит не мораль, так говорит физиология. — *Ressentiment*, рожденный из слабости, всего вреднее самому слабому — в противоположном случае, когда предполагается богатая натура, *ressentiment* является *лишним* чувством, чувством, над которым остаться господином есть уже доказательство богатства. Кто знает серьезность, с какой моя философия предприняла борьбу с мстительными последышами чувства вплоть до учения о «свободной воле» — моя борьба с христианством есть только частный случай ее, — тот поймет, почему именно здесь я выясняю свое личное поведение, свой *инстинкт-уверенность* на практике. Во времена *décadence* я *запрещал* их себе как вредные; как только жизнь становилась вновь достаточно богатой и гордой, я запрещал их себе как нечто, что *ниже* меня. Тот «русский фатализм», о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что годами я упорно держался за почти невыносимые положения, местности, жилища, общества, раз они были даны мне случаем, — это было лучше, чем изменять их, чем *чувствовать* их изменчивыми, — чем восставать против них... Мешать себе в этом фатализме, насильно возбуждать себя считал я тогда смертельно вредным: поистине, это и было всякий раз смертельно опасно. — Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя «иным» — это и есть в таких обстоятельствах само *великое понимание*.



*...молчание есть возражение; проглатывание по необходимости создает  
дурной характер — оно портит даже желудок*





*...я упорно держался за почти невыносимые положения, местности, жилища,  
общества, раз они были даны мне случаем...*



## 7

Иное дело война. Я по-своему воинствен. Нападать принадлежит к моим инстинктам. *Уметь* быть врагом, быть врагом — это предполагает, быть может, сильную натуру, во всяком случае это обусловлено в каждой сильной натуре. Ей нужны сопротивления, следовательно, она *ищет* сопротивления: *агрессивный* пафос так же необходимо принадлежит к силе, как мстительные последыши чувства к слабости. Женщина, например, мстительна: это обусловлено ее слабостью, как и ее чувствительность к чужой беде. — Сила нападающего имеет в противнике, который ему нужен, своего рода *меру*, всякое возрастание проявляется в поисках более сильного противника — или проблемы: ибо философ, который воинствен, вызывает и проблемы на поединок. Задача не в том, чтобы победить вообще сопротивление, но преодолеть такое сопротивление, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием, — *равного* противника... Равенство перед врагом есть первое условие *честной* дуэли. Где презирают, там *нельзя* вести войну; где повелевают, где видят нечто ниже себя, там не *должно* быть войны. — Моя практика войны выражается в четырех положениях. Во-первых: я нападаю только на вещи, которые победоносны, — я жду, когда они при случае будут победоносны. Во-вторых: я нападаю только на вещи, против которых я не нашел бы союзников, где я стою один — где я только себя компрометирую... Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: это *мой* критерий правильного образа действий.

В-третьих: я никогда не нападаю на личности — я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на *успех* его дряхлой книги у немецкого «образования», — так поймал я это образование с поличным... Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на половинчатый инстинкт нашей «культуры», которая смешивает утонченных с богатыми, запоздалых с великими. В-четвертых: я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей, где нет никакой подоплеки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь, я отличаю тем, что связываю свое имя с вещью, с личностью: за или против — это мне безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне, потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений, — самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам, противник христианства *de rigueur*, далек от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий. —

## 8

Могу ли я осмелиться указать еще одну, последнюю черту моей натуры, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно жуткая впечатлительность инстинкта чистоты, так что близость — что говорю я? — самое сокровенное, или «потроха», всякой души я воспринимаю физиологически — *обоняю*... В этой впечатлительности — мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякой тайною: большая *скрытая* грязь

на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная побелкой воспитания, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие непримиримые с моей чистоплотностью натуры относятся в свою очередь с предосторожностью к моему отвращению: но от этого они не становятся благоухающими... Как я себя постоянно приучал — крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования, я погибаю в нечистых условиях, — я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне из общения с людьми немалое испытание терпения; моя гуманность состоит *не* в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы *переносить* само это сочувствие к нему... Моя гуманность есть постоянное самопреодоление. — Но мне нужно *одиночество*, я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего воздуха... Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству, или, если меня поняли, *чистоте*... К счастью, не *чистому безумству*. — У кого есть глаза для красок, тот назовет его алмазным. — *Отвращение* к человеку, к «отребью» было всегда моей величайшей опасностью... Хотите послушать слова, в которых Заратустра говорит о своем *освобождении* от отвращения?

Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как вознесся я на высоту, где отребье не сидит уже у источника?

Разве не само мое отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести родник радости! —

О, я нашел его, братья мои! Здесь, на самой выси, бьет для меня родник радости! И существует же жизнь, от которой не пьет отребье вместе со мной!

Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости! И часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его.

И мне надо еще научиться более скромно приближаться к тебе: еще слишком стремительно бьется мое сердце навстречу тебе:

мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, — как жаждет мое лето-сердце твоей прохлады!

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело, и полуднем лета!

Летом в самой выси, с холодными источниками и блаженной тишиной — о, придите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней!

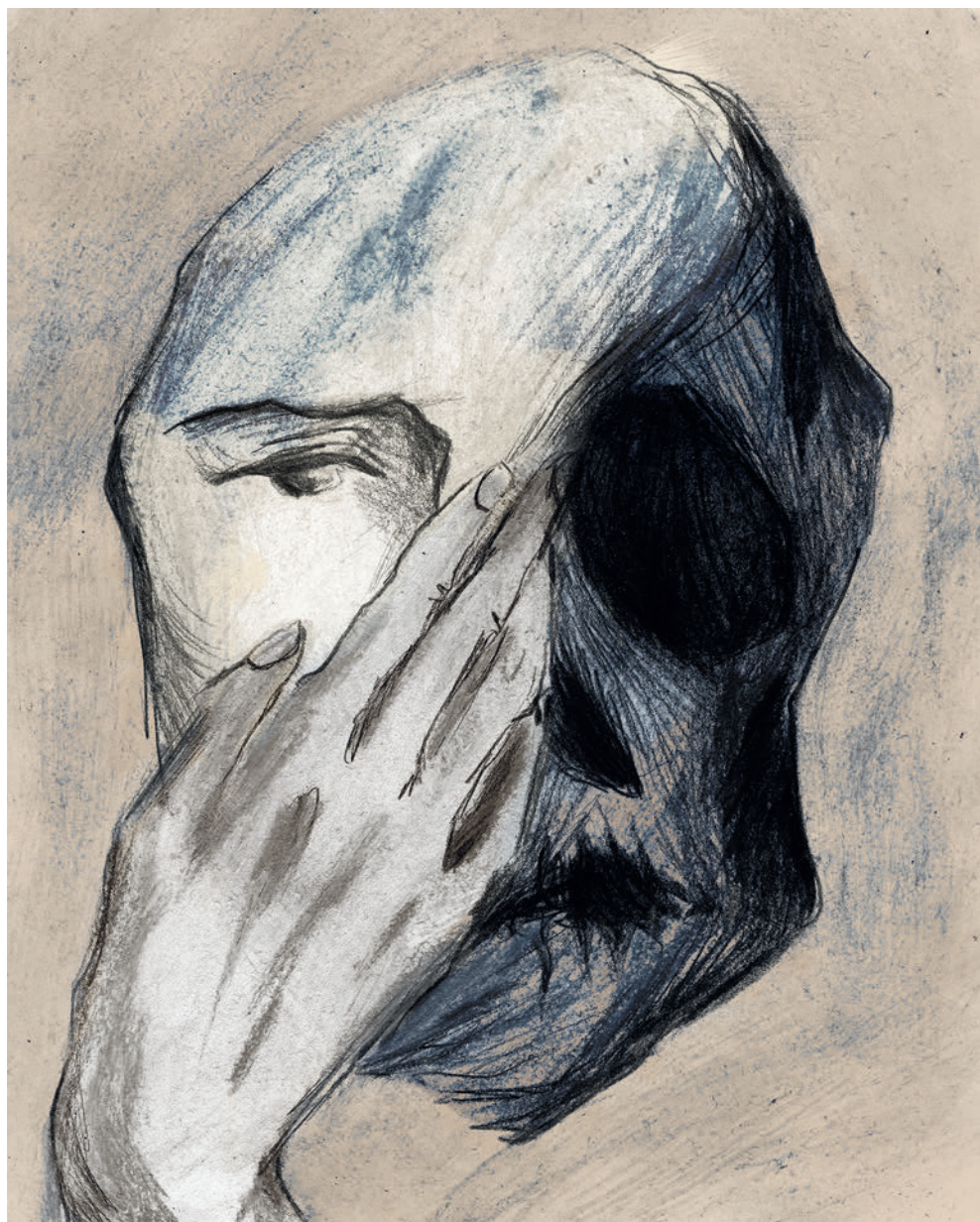
Ибо это — *наша* высь и наша родина: слишком высоко и круто живем мы здесь для всех нечистых и для жажды их.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости! Разве помутится он? Он улыбнется в ответ вам *своей* чистотою.

На дереве будущего вьем мы свое гнездо; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиночим!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им казалось бы, что они пожирают огонь, и они обожгли бы себе глотки.

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы наше счастье для тела и духа их!



*...большая скрытая грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может,  
дурной кровью, но замаскированная побелкой воспитания, становится  
мне известной почти при первом соприкосновении*

И, подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу — так живут могучие ветры.

И, подобно ветру, хочу я когда-нибудь еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание у духа их — так хочет мое будущее.

Поистине, могучий ветер Заратустра для всех низин; и такой совет дает от своим врагам и всем, кто плюет и харкает: остерегайтесь харкать *против* ветра!..



**Почему я так умен.** Почему я о некоторых вещах знаю *больше*? Почему я вообще так умен? Я никогда не думал над вопросами, которые не являются таковыми, — я себя не расточал. — Настоящих *религиозных* затруднений, например, я не знаю по опыту.

От меня совершенно ускользнуло, как я мог бы быть «склонным ко греху». Точно так же у меня нет надежного критерия для того, что такое угрызение совести: по тому, что судачат на сей счет, угрызение совести не представляется мне чем-то достойным уважения... Я не хотел бы отказываться от поступка *после его совершения*, я предпочел бы совершенно исключить дурной исход, *последствия* из вопроса о ценности. При дурном исходе слишком легко теряют *верный* глаз на то, что сделано; угрызение совести представляется мне своего рода «*дурным глазом*». Читть тем выше то, что не удалось, как раз *потому*, что оно не удалось, — это уже скорее принадлежит к моей морали. — «Бог», «бессмертие души», «искупление», «потусторонний мир» — сплошные понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени, даже ребенком, — быть может, я никогда не был достаточно ребенком для этого? — Я знаю атеизм отнюдь не как результат, еще меньше как событие; он разумеется у меня из инстинкта. Я слишком любопытен, слишком *загадочен*, слишком надменен, чтобы позволить себе ответ, грубый, как кулак. Бог и есть грубый, как кулак, ответ, неделикатность по отношению к нам, мыслителям, — в сущности, даже просто грубый, как кулак, *запрет* для нас: вам нечего думать!.. Гораздо больше интересует меня вопрос, от которого больше зависит «спасение человечества», чем от какой-нибудь теологической курьезности: вопрос о *питании*. Для обиходного употребления можно сформулировать его таким образом: «как должен именно ты питаться, чтобы достигнуть своего максимума силы, *virtù* в стиле Ренессанс, добродетели, свободной от морали-на?» — Мои опыты здесь из ряда вон плохи; я изумлен, что так поздно внял этому вопросу, так поздно научился из этих опытов «разуму». Только совершенная негодность нашей немецкой культуры — ее «идеализм» — объясняет мне до некоторой степени, почему я именно здесь отстал до святости. Эта «культура», которая наперед учит терять из виду *реальности*, чтобы гнаться за исключительно проблематическими, так называемыми «идеальными» целями, например за «классическим образованием», — как будто уже не осуждено наперед соединение в *одном* понятии

«классического» и «немецкого»! Более того, это действует увеселительно — представьте себе «классически образованного» жителя Лейпцига! — В самом деле, до самого зрелого возраста я всегда ел *плохо* — выражаясь морально, «безлично», «бескорыстно», «альтруистически», — на благо поваров и прочих братьев во Христе. Я очень серьезно отрицал, например, благодаря лейпцигской кухне, одновременно с началом моего изучения Шопенгауэра (1865), свою «волю к жизни». В целях недостаточного питания еще испортить себе и желудок — эту проблему названная кухня разрешает, как мне казалось, удивительно счастливо. (Говорят, 1866 год внес сюда перемену.) Но немецкая кухня вообще — чего только нет у нее на совести! Суп *перед* обедом (еще в венецианских поваренных книгах XVI века это называлось *alla tedesca*); вареное мясо, жирно и мучнисто приготовленные овощи; извращение мучных блюд в пресс-папье! Если прибавить к этому еще прямо скотскую потребность в питье после еды старых, отнюдь не одних только *старых* немцев, то становится понятным происхождение *немецкого духа* — из расстроенного кишечника...

Немецкий дух есть несварение, он ни с чем не справляется. — Но и *английская* диета, которая по сравнению с немецкой и даже французской кухней есть нечто вроде «возвращения к природе», именно к каннибализму, глубоко противна моему собственному инстинкту; мне кажется, что она дает духу *тяжелые* ноги — ноги англичанок... Лучшая кухня — кухня *Пьемонта*. — Спиртные напитки мне вредны; стакан вина или пива в день вполне достаточно, чтобы сделать мне из жизни «юдоль скорби», — в Мюнхене живут мои антиподы. Если даже предположить, что я несколько поздно понял это, все-таки я *переживал* это с самого раннего детства. Мальчиком я думал, что потребление вина, как и курение табака, вначале есть только суета молодых людей, позднее — дурная привычка. Может быть, в этом *терпком* суждении виновно также наумбургское вино. Чтобы верить, что вино *просветляет*, для этого я должен был бы быть христианином, стало быть, верить в то, что является для меня абсурдом. Довольно странно, что при этой крайней способности расстраиваться от *малых*, сильно разбавленных доз алкоголя я становлюсь почти моряком, когда дело идет о *сильных* дозах. Еще мальчиком вкладывал я в это свою смелость. Написать и также переписать в течение *одной* ночи длинное латинское сочинение, с честолюбием в пере, стремящимся подражать в строгости и сжатости моему образцу Саллюстия, и выпить за латынью грог самого тяжелого калибра — это, в бытность мою учеником почтенной Шульпфорты, вовсе не противоречило моей физиологии, быть может, и физиологии Саллюстия, что бы ни думала на сей счет почтенная Шульпфорта... Позже, к середине жизни, я восставал, правда, все решительнее *против* всяких «духовных» напитков: я, противник вегетарианства по опыту, совсем как обративший меня Рихард Вагнер, могу вполне серьезно советовать всем *более духовным* натурам безусловное воздержание от алкоголя. Достаточно *воды*... Я предпочитаю местности, где есть возможность черпать из текущих родников (Ницца, Турин, Сильс); маленький стакан следует всюду за мною, как собака. *In vino veritas*: кажется, и здесь я опять не согласен со всем миром в понятии «истины» — для меня дух носится над водою... Еще несколько указаний из моей морали. Сытный обед переваривается легче небольшого обеда.

Приведение в действие желудка, как целого, есть первое условие хорошего пищеварения. Величину своего желудка надо *знать*. По той же причине не следует советовать тех продолжительных обедов, которые я называю прерванными жертвенными



*...вопрос, от которого больше зависит «спасение человечества»,  
чем от какой-нибудь теологической курьезности: вопрос о питании*



торжествами, — таковы обеды за *table d'hôte*. — Никаких ужинов, никакого кофе: кофе омрачает. *Чай* только утром полезен. Немного, но крепкий; чай очень вреден и делает больным на целый день, если он на один градус слабее нужного. У каждого здесь своя мера, часто в самых узких и деликатных границах. В очень раздражающем климате не следует советовать чай сначала: нужно начинать за час до чаю чашкой густого, очищенного от масла какао. — Как можно меньше *сидеть*; не доверять ни одной мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении — когда и музыкалы празднуют свой праздник.

Все предрассудки происходят от кишечника. — Сидячая жизнь — я уже говорил однажды — есть истинный *грех* против духа святого. —

## 2

С вопросом о питании тесно связан вопрос о *месте* и *климате*. Никто не волен жить где угодно; а кому суждено решать великие задачи, требующие всей его силы, тот даже весьма ограничен в выборе. Климатическое влияние на *обмен веществ*, его замедление и ускорение, заходит так далеко, что ошибка в месте и климате может не только сделать человека чуждым его задаче, но даже вовсе скрыть от него эту задачу: он никогда не увидит ее. Животная сила никогда не станет в нем настолько большой, чтобы было достигнуто то чувство свободы, наполняющей дух, когда человек признает: *это* могу я один... Обратившейся в привычку, самой малой вялости кишечника вполне достаточно, чтобы из гения сделать нечто посредственное, нечто «немецкое»; одного немецкого климата достаточно, чтобы лишить мужества сильный, даже склонный к героизму кишечник. Темп обмена веществ стоит в прямом отношении к подвижности или слабости *ног* духа; ведь сам «дух» есть только род этого обмена веществ. Пусть сопоставят места, где есть и были богатые духом люди, где остроумие, утонченность, злость принадлежали к счастью, где гений почти необходимо чувствовал себя дома: они имеют все замечательно сухой воздух. Париж, Прованс, Флоренция, Иерусалим, Афины — эти имена о чем-нибудь да говорят: гений *обусловлен* сухим воздухом, чистым небом — стало быть, быстрым обменом веществ, возможностью всегда вновь доставлять себе большие, даже огромные количества силы. У меня перед глазами случай, где значительный и склонный к свободе дух только из-за недостатка инстинкта-тонкости в климатическом отношении сделался узким, кропотливым специалистом и брюзгой. Я и сам мог бы в конце концов обратиться в такой случай, если бы болезнь не принудила меня к разуму, к размышлению о разуме в реальности. Теперь, когда я, вследствие долгого упражнения, отмечаю на себе влияния климатического и метеорологического происхождения, как на тонком и верном инструменте, и даже при коротком путешествии, скажем, из Турина в Милан вычисляю физиологически на себе перемену в градусах влажности воздуха, теперь я со страхом думаю о том *зловещем* факте, что моя жизнь до последних десяти лет, опасных для жизни лет, всегда протекала в неподобающих и как раз для меня *запретных* местностях. Наумбург, Шюльфорта, Тюрингия вообще, Лейпциг, Базель, Венеция — все это несчастные места для моей физиологии. Если у меня вообще нет приятного воспоминания обо всем моем детстве и юности, то было бы глупостью приписывать это так называемым моральным причинам, — например бесспорному недостатку *удов-*





*...самой малой вялости кишечника вполне достаточно, чтобы из гения  
сделать нечто посредственное, нечто «немецкое»...*

летворительного общества: ибо этот недостаток существует и теперь, как он существовал всегда, но не мешал мне быть бодрым и смелым.

Невежество в физиологии — проклятый «идеализм» — вот действительная напасть в моей жизни, лишнее и глупое в ней, нечто, из чего не выросло ничего доброго, с чем нет примирения, чему нет возмещения. Последствиями этого «идеализма» объясняю я себе все промахи, все большие инстинкты-заблуждения и «скромности» в отношении *задачи* моей жизни, например, что я стал филологом — почему по меньшей мере не врачом или вообще чем-нибудь раскрывающим глаза? В базельскую пору вся моя духовная диета, в том числе распределение дня, была совершенно бессмысленным злоупотреблением исключительных сил, без какого-либо покрывающего их трату притока, без мысли о потреблении и возмещении. Не было никакого более тонкого эгоизма, не было никакой *охраны* повелительного инстинкта; это было приравнование себя к кому угодно, это было «бескорыстие», забвение своей дистанции — нечто, чего я себе никогда не прощу. Когда я пришел почти к концу, именно *потому*, что я пришел почти к концу, я стал размышлять об этой основной неразумности своей жизни — об «идеализме». Только *болезнь* привела меня к разуму. —

### 3

Выбор пищи; выбор климата и места; третье, в чем ни за что не следует ошибиться, есть выбор *своего способа отдыха*. И здесь, смотря по тому, насколько дух есть *sui generis*, пределы ему дозволенного, то есть *полезного*, очень узки. В моем случае всякое чтение принадлежит к моему отдыху: следовательно, к тому, что освобождает меня от себя, что позволяет мне гулять по чужим наукам и чужим душам — чего я не принимаю уже всерьез. Чтение есть для меня отдых именно от *моей* серьезности. В глубоко рабочее время у меня не видать книг: я остерегся бы позволить кому-нибудь вблизи меня говорить или даже думать. А это и называю я читать... Заметили ли вы, что в том глубоком напряжении, на какое беременность обрекает дух и в сущности весь организм, всякая случайность, всякий род раздражения извне влияют слишком болезненно, «поражают» слишком глубоко? Надо по возможности устранить со своего пути случайность, внешнее раздражение; нечто вроде самозамуровывания принадлежит к первым мудрым инстинктам духовной беременности. Позволю ли я *чужой* мысли тайно перелезть через стену? — А это и называлось бы читать... За временем работы и ее плодов следует время отдыха: ко мне тогда, приятные, умные книги, которых я только что избегал! — Будут ли это немецкие книги?.. Я должен отсчитать полгода назад, чтобы поймать себя с книгой в руке. Но что же это была за книга? — Прекрасное исследование Виктора Брошара, *Les sceptiques grecs*, в котором хорошо использованы и мои *Laetiana*. Скептики — это единственный *достойный уважения* тип среди от двух- до пятизначной семьи философов!.. Впрочем, я почти всегда нахожу убежище в одних и тех же книгах, в небольшом их числе, именно в *доказанных* для меня книгах. Мне, быть может, не свойственно читать много и многое: читальная комната делает меня больным. Мне не свойственно также много и многое любить. Осторожность, даже враждебность к новым книгам скорее принадлежит к моему инстинкту, чем «терпимость», «*largeur du coeur*» и прочая «любовь к ближнему»... Я всегда возвращаюсь к небольшому числу старших французов: я верю толь-





*...нечто вроде самозамуровывания принадлежит к первым мудрым инстинктам  
духовной беременности*

ко во французскую культуру и считаю недоразумением все, что кроме нее называется в Европе «культурой», не говоря уже о немецкой культуре... Те немногие случаи высокой культуры, которые я встречал в Германии, были все французского происхождения, прежде всего госпожа Козима Вагнер, самый ценный голос в вопросах вкуса, какой я когда-либо слышал. — Что я не читаю Паскаля, но *люблю* как самую поучительную жертву христианства, которую медленно убивали сначала телесно, потом психологически, люблю как целую логику ужаснейшей формы нечеловеческой жестокости; что в моем духе, кто знает? должно быть, и в теле есть нечто от причудливости Монтеня; что мой артистический вкус не без злобы встает на защиту имен Мольера, Корнеля и Расина против дикого гения, каков Шекспир, — все это в конце концов не исключает возможности, чтобы и самые молодые французы были для меня очаровательным обществом. Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать столь интересных и вместе с тем столь деликатных психологов, как в нынешнем Париже: называю наугад — ибо их число совсем не мало — господина Поль Бурже, Пьер Лоти, Жип, Мельяк, Анатолий Франс, Жюль Леметр или, чтобы назвать одного из сильной расы, истого латинянина, которому я особенно предан, — Ги де Мопассан. Я предпочитаю *это* поколение, между нами говоря, даже их великим учителям, которые все были испорчены немецкой философией (господин Тэн, например, Гегелем, которому он обязан непониманием великих людей и эпох). Куда бы ни простиралась Германия, она *портит* культуру. Впервые война «освободила» дух во Франции... Стендаль, одна из самых прекрасных случайностей моей жизни — ибо все, что в ней составляет эпоху, принес мне случай и никогда рекомендация, — совершенно неоценим с его предвосхищающим глазом психолога, с его схватыванием фактов, которое напоминает о близости величайшего реалиста (*ex ungue Napoleonem*); наконец, и это немалая заслуга, как *честный* атеист — редкая и почти с трудом отыскиваемая во Франции порода — надо воздать должное *Просперу Мериме*...

Может быть, я и сам завижду Стендалю? Он отнял у меня лучшую остроту атеиста, которую именно я мог бы сказать: «Единственное оправдание для Бога состоит в том, что он не существует»... Я и сам сказал где-то: что было до сих пор самым большим возражением против существования? *Бог*...

#### 4

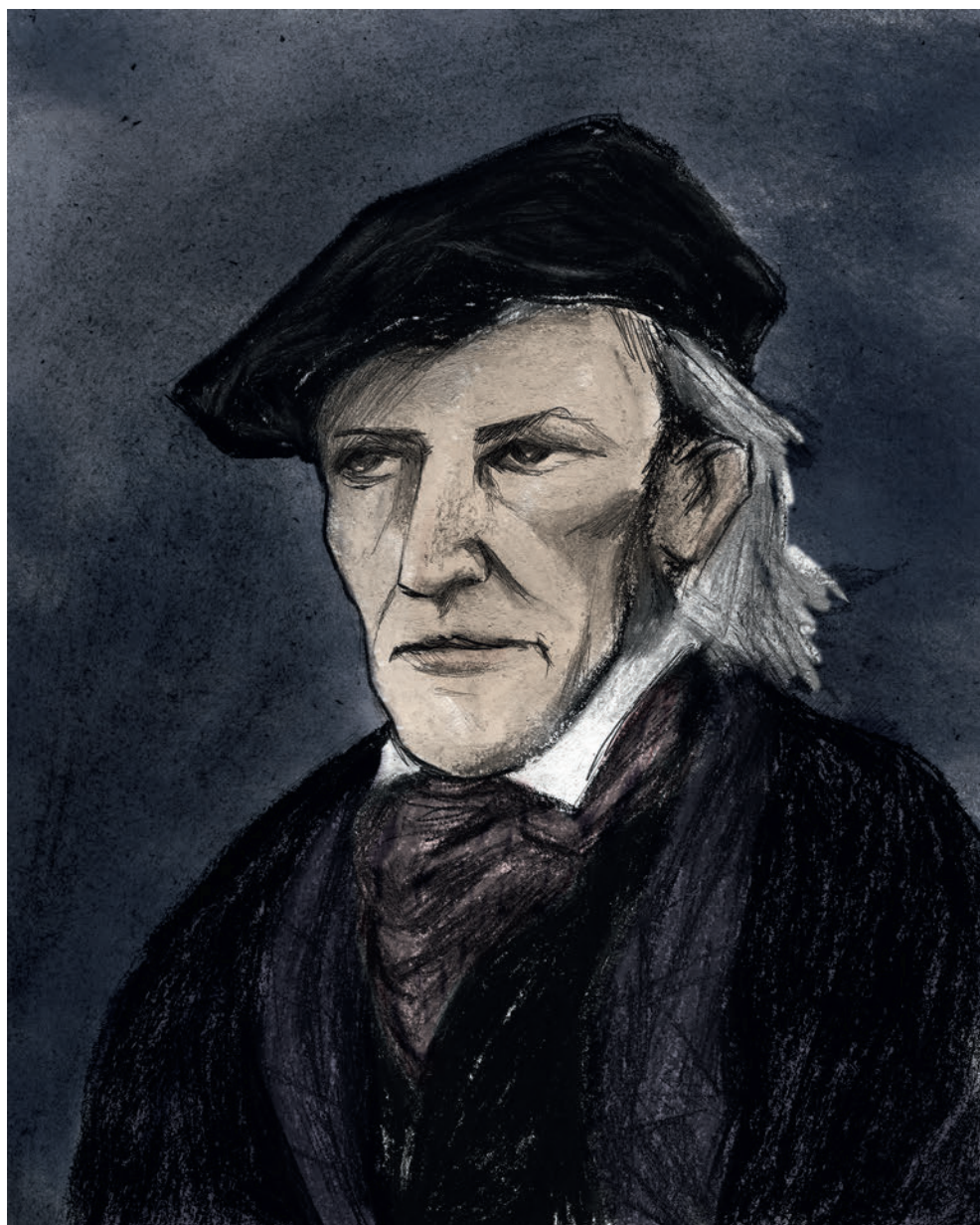
Высшее понятие о лирическом поэте дал мне *Генрих Гейне*. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки. Он обладал той божественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства, — я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим их бог от сатира. — И как он владел немецким языком! Когда-нибудь скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка — в неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы. — С Манфредом *Байрона* должны меня связывать глубокие родственные узы: я находил в себе все эти бездны — в тринадцать лет я был уже зрел для этого произведения. У меня нет слов, только взгляд для тех, кто осмеливается в присутствии Манфреда произнести слово «Фауст». Немцы *неспособны* к пониманию величия: доказательство — Шуман. Я сочинил намеренно, из злобы к этим слащавым саксонцам контрвертю к Манфреду, о которой Ганс фон Бюлов сказал, что ничего подобно-



го он еще не видел на нотной бумаге: что это как бы насилие над Евтерпой. — Когда я ищу свою высшую формулу для *Шекспира*, я всегда нахожу только то, что он создал тип Цезаря. Подобных вещей не угадывают — это есть или этого нет. Великий поэт черпает *только* из своей реальности — до такой степени, что наконец он сам не выдерживает своего произведения... Когда я бросаю взгляд на своего Заратустру, я полчаса хожу по комнате взад и вперед, неспособный совладать с невыносимым приступом рыданий. — Я не знаю более разрывающего душу чтения, чем Шекспир: что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом! — *Понимают ли* Гамлета? Не сомнение, а *несомненность* есть то, что сводит с ума... Но для этого надо быть глубоким, надо быть бездною, философом, чтобы так чувствовать... Мы все *боимся* истины... И я должен признаться в этом; я инстинктивно уверен в том, что лорд Бэкон есть родоначальник и саможиводер этого самого жуткого рода литературы, — что *мне* до жалкой болтовни американских плоских и тупых голов? Но сила к самой могучей реальности образа не только совместима с самой могучей силой к действию, к чудовищному действию, к преступлению — *она даже предполагает ее*. Мы знаем далеко не достаточно о лорде Бэконе, первом реалисте в великом значении слова, чтобы знать, *что* он делал, *чего* хотел, *что* пережил в себе... К черту, господа критики! Если предположить, что я окрестил Заратустру чужим именем, например именем Рихарда Вагнера, то не хватило бы остроумия двух тысячелетий на то, чтобы узнать в авторе «Человеческого, слишком человеческого» провидца Заратустры...

## 5

Здесь, где я говорю о том, что служило отдохновением в моей жизни, я должен сказать слово благодарности тому, на чем я отдыхал всего глубже и сердечнее. Этим было, несомненно, близкое общение с Рихардом Вагнером. Я не высоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, высоких случайностей — *глубоких* мгновений... Я не знаю, что другие переживали с Вагнером, — на *нашем* небе никогда не было облаков. — И здесь я еще раз возвращаюсь к Франции, — у меня нет доводов, у меня только презрительная усмешка против вагнерианцев и против *hoc genus omne*, которые думают, что чтят Вагнера тем, что находят его похожим на *самих* себя... Таким, как я есть, чуждый в своих глубочайших инстинктах всему немецкому, так что уже близость немца замедляет мое пищеварение, — я вздохнул в первый раз в жизни при первом соприкосновении с Вагнером: я принимал, я почитал его как *заграницу*, как противоположность, как живой протест против всех «немецких добродетелей». — Мы, которые в болотном воздухе пятидесятых годов были детьми, мы необходимо являемся пессимистами для понятия «немецкое»; мы и не можем быть ничем иным, как революционерами, — мы не примиримся с положением вещей, где господствует *лицемер*. Мне совершенно безразлично, играет ли он теперь другими красками, облачен ли он в пурпур или одет в форму гусара... Ну что ж! Вагнер был революционером, он бежал от немцев... У *артиста* нет в Европе отечества, кроме Парижа; *délicatesse* всех пяти чувств в искусстве, которую предполагает искусство Вагнера, чутье *nuances*, психологическую болезненность — все это нахо-



*....я вздохнул в первый раз в жизни при первом соприкосновении с Вагнером...*

дят только в Париже. Нигде нет этой страсти в вопросах формы, этой серьезности в *mise en scene* — это парижская серьезность *par excellence*. В Германии не имеют никакого понятия о чудовищном честолюбии, живущем в душе парижского артиста. Немец добродушен — Вагнер был отнюдь не добродушен... Но я уже достаточно высказался (в «По ту сторону добра и зла»), куда относится Вагнер, кто его ближние: это французская позднейшая романтика, те высоко парящие и стремящиеся ввысь артисты, как Делакруа, как Берлиоз, с некоей основою болезни, неисцелимости в существе, сплошные фанатики *выражения*, насквозь виртуозы... Кто был первым *интеллигентным* приверженцем Вагнера вообще? Шарль Бодлер, тот самый, кто первый понял Делакруа, первый типический *décadent*, в ком опознало себя целое поколение артистов, — он был, возможно, и последним... Чего я никогда не прощал Вагнеру? Того, что он *снизошел* к немцам — что он сделался имперсконемецким... Куда бы ни проникла Германия, она *портит* культуру. —

## 6

Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ибо я был *приговорен* к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер есть противоядие против всего немецкого *par excellence* — яда, я не оспариваю этого... С той минуты, как появился клавираусцуг Тристана — примите мой комплимент, господин фон Бюлов! — я был вагнерианцем. Более ранние произведения Вагнера я считал ниже себя — еще слишком вульгарными, слишком «немецкими»... Но и поныне я ищу, ищу тщетно во всех искусствах произведения, равного Тристану по его опасной обольстительности, по его грозной и сладкой бесконечности. Вся загадочность Леонардо да Винчи утрачивает свое очарование при первом звуке Тристана. Это произведение положительно *non plus ultra* Вагнера; он отдыхал от него на Мейстерзингерах и Кольце. Сделаться более здоровым — это *шаг назад* для натуры, каков Вагнер... Я считаю перво-степенным счастьем, что я жил в нужное время и жил именно среди немцев, чтобы быть *зрелым* для этого произведения: так велико мое любопытство психолога. Мир беден для того, кто никогда не был достаточно болен для этого «сладострастия ада»: здесь позволено, здесь почти приказано прибегнуть к мистической формуле. — Я думаю, я знаю лучше кого-либо другого то чудовищное, что доступно было Вагнеру, те пятьдесят миров чуждых восторгов, для которых ни у кого, кроме Вагнера, не было крыльев; и лишь такой, как я, бывает достаточно силен, чтобы самое загадочное, самое опасное обращать себе на пользу и через то становиться еще сильнее; я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. Нас сближает то, что мы глубоко страдали, страдали также один за другого, страдали больше, чем люди этого столетия могли бы страдать, и наши имена всегда будут соединяться вместе; и как Вагнер, несомненно, является только недоразумением среди немцев, так и я, несомненно, останусь им навсегда. — *Прежде всего* два века психологической и артистической дисциплины, господства германцы!.. Но этого нельзя наверстать. —

## 7

— Я скажу еще одно слово для самых изысканных ушей: чего я в сущности требую от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день после полудня. Чтобы она была причудливой, шаловливой, нежной, как маленькая сладкая женщина, полная лукавства и грации... Я никогда не допущу, чтобы немец *мог* знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, прежде всего великими, были *иностранцы*, славяне, кроаты, итальянцы, нидерландцы — или евреи; в ином случае немцы сильной расы, *вымершие* немцы, как Генрих Шютц, Бах и Гендель. Я сам все еще достаточно поляк, чтобы за Шопена отдать всю остальную музыку: по трем причинам я исключаю Зигфрид-идиллию Вагнера, может быть, некоторые произведения Листа, который благородством оркестровки превосходит всех музыкантов; и в конце концов все, что создано по ту сторону Альп — *по эту же сторону*... Я не мог бы обойтись без Россини, еще меньше без *моего* Юга в музыке, без музыки моего венецианского маэстро Пьетро Гасти. И когда я говорю: по ту сторону Альп, я собственно говорю только о Венеции. Когда я ищу другого слова для музыки, я всегда нахожу только слово «Венеция». Я не умею делать разницы между слезами и музыкой — я знаю счастье думать о *Юге* не иначе как с дрожью ужаса.

В юности, в светлую ночь  
раз на мосту я стоял.  
Издали слышалось пенье;  
словно по влаге дрожащей  
золота струи текли.  
Гондолы, факелы, музыка —  
В сумерках все расплывалось...  
  
Звуками теми втайне задеты,  
струны души зазвенели,  
и гондольеру запела,  
дрогнув от яркого счастья, душа.  
— Слышал ли кто ее песнь?

## 8

Во всем этом — в выборе пищи, места, климата, отдыха — повелевает инстинкт самосохранения, который самым несомненным образом проявляется как инстинкт *самозащиты*. Многого не видеть, не слышать, не допускать к себе — первое благоразумие, первое доказательство того, что человек не есть случайность, а необходимость. Расхожее название этого инстинкта самозащиты есть вкус. Его императив повелевает не только говорить Нет там, где Да было бы «бескорыстием», но и говорить Нет *так редко, как только возможно*. Надо отделять, устранять себя от всего, что делало бы это Нет все вновь и вновь необходимым. Разумность здесь заключается в том, что издержки на оборону, даже самые малые, обращаясь в правило, в привычку, обуславливают чрезвычайное и совершенно лишнее оскудение. Наши *большие* издержки суть самые частые малые издержки. Отстранение, недопущение приблизиться к себе есть издер-



жка — пусть в этом не заблуждаются, — *растраченная* на отрицательные цели сила. От постоянной необходимости обороны можно ослабеть настолько, чтобы не иметь более возможности обороняться. — Предположим, я выхожу из своего дома и нахожусь перед собою вместо спокойного аристократического Турина немецкий городишко: мой инстинкт должен был бы насторожиться, чтобы отстранить все, что хлынуло бы на него из этого плоского и трусливого мира.

Или мне предстал бы немецкий большой город, этот застроенный порок, где ничего не произрастает, куда все, хорошее и дурное, втаскивается извне.

Разве не пришлось бы мне обратиться в *ежа*? — Но иметь иглы есть мотовство, даже двойная роскошь, когда дана свобода иметь не иглы, а *открытые* руки...

Второе благоразумие и самозащита состоит в том, чтобы *свести до возможного минимума реагирование* и отстранять от себя положения и условия, где человек обречен как бы отрешиться от своей «свободы» и инициативы и обратиться в простой реагент. Я беру для сравнения общение с книгами. Ученый, который в сущности лишь «переворачивает» горы книг — средний филолог до 200 в день, — совершенно теряет в конце концов способность самостоятельно мыслить. Если он не переворачивает, он не мыслит. Он *отвечает* на раздражение (на прочтенную мысль), когда он мыслит, — он в конце концов только реагирует. Ученый отдает всю свою силу на утверждение и отрицание, на критику уже продуманного, — сам он не думает больше... Инстинкт самозащиты притупился в нем, иначе он оборонялся бы от книг. Ученый есть *décadent*. Это я видел своими глазами: одаренные, богатые и свободные натуры уже к тридцати годам «позорно начитанны», они только спички, которые надо потереть, чтобы они дали искру — «мысль». — Ранним утром, в начале дня, во всей свежести, на утренней заре своих сил читать *книгу* — это называю я порочным! —

## 9

В этом месте нельзя уклониться от истинного ответа на вопрос, *как становятся сами собою*. И этим я касаюсь главного пункта в искусстве самосохранения — *эгоизма*... Если допустить, что задача, определение, *судьба* задачи значительно превосходит среднюю меру, то нет большей опасности, как увидеть себя самого *одновременно* с этой задачей. Если люди слишком рано становятся сами собою, это предполагает, что они даже отдаленнейшим образом не подозревают, *что* они есть. С этой точки зрения имеют свой собственный смысл и ценность даже жизненные *ошибки*, временное блуждание и окольные пути, остановки, «скромности», серьезность, растраченная на задачи, которые лежат по ту сторону собственной задачи. В этом находит выражение великая мудрость, даже высшая мудрость, где *posce te ipsum* было бы рецептом для гибели, где забвение себя, *непонимание* себя, умаление себя, сужение, сведение себя на нечто среднее становится самым разумом. Выражаясь морально: любовь к ближнему, жизнь для других и другого *может* быть охранительной мерой для сохранения самой твердой любви к себе; это исключительный случай, когда я против своих правил и убеждений становлюсь на сторону «бескорыстных» инстинктов — они служат здесь *эгоизму и воспитанию своего Я*. — Надо всю поверхность сознания — сознание есть поверхность — сохранить чистой от какого бы то ни было великого императива. Надо остерегаться даже всякого высокопарного слова, всякой высоко-



*Ученый, который в сущности лишь «переворачивает» горы книг ... совершенно теряет в конце концов способность самостоятельно мыслить*

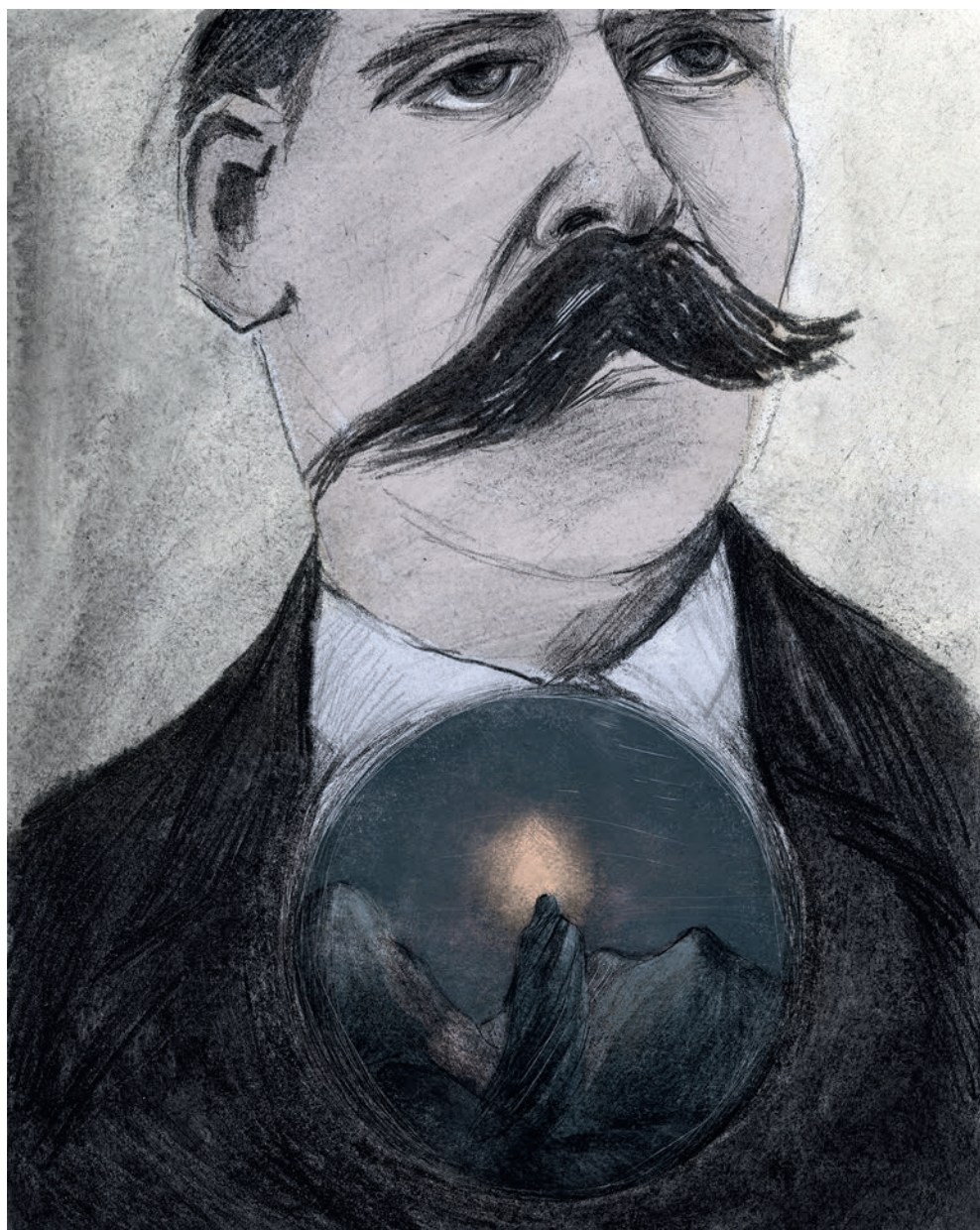
парной позы! Это сплошные опасности, препятствующие слишком раннему «самоуразумению» инстинкта. — Между тем в глубине постепенно растет организующая, призванная к господству «идея» — она начинает повелевать, она медленно выводит *обратно* с окольных путей и блужданий, она подготавливает *отдельные* качества и способности, которые проявятся когда-нибудь как необходимое средство для целого, — она вырабатывает поочередно все *служебные* способности еще до того, как предположит что-либо о доминирующей задаче, о «цели» и «смысле». — Если рассматривать мою жизнь с этой стороны, она представится положительно чудесной. Для задачи *переоценки ценностей* потребовалось бы, пожалуй, больше способностей, чем когда-либо соединялось в одном лице, прежде всего потребовалась бы противоположность способностей без того, чтобы они друг другу мешали, друг друга разрушали. Иерархия способностей, дистанция, искусство разделять, не создавая вражды; ничего не смешивать, ничего не «примирять»; огромное множество, которое, несмотря на это, есть противоположность хаоса, — таково было предварительное условие, долгая сокровенная работа и артистизм моего инстинкта. Его *высший надзор* проявлялся до такой степени сильно, что я ни в коем случае и не подозревал, что созревает во мне, — что все мои способности в один день *распустились* внезапно, зрелые в их последнем совершенстве. Я не помню, чтобы мне когда-нибудь пришлось стараться, — ни одной черты *борьбы* нельзя указать в моей жизни. Я составляю противоположность героической натуры. Чего-нибудь «хотеть», к чему-нибудь «стремиться», иметь в виду «цель», «желание» — ничего этого я не знаю из опыта. И в данное мгновение я смотрю на свое будущее — *широкое* будущее! — как на гладкое море: ни одно желание не пенится в нем, я ничуть не хочу, чтобы что-либо стало иным, нежели оно есть; я сам не хочу стать иным... Но так жил я всегда. У меня не было ни одного желания.

Едва ли кто другой на сорок пятом году жизни может сказать, что он никогда не заботился о *почестях*, о *женщинах*, о *деньгах*! — Не то, чтобы у меня их не было... Так, сделался я, например, однажды профессором университета — я даже отдаленнейшим образом не помышлял об этом, потому что мне едва исполнилось 24 года. Так, двумя годами раньше сделался я однажды филологом: в том смысле, что моя *первая* филологическая работа, мое начало во всяком смысле, была принята моим учителем Ричлем для напечатания в его «Rheinisches Museum» (*Ричль* — я говорю это с уважением — единственный гениальный ученый, которого я до сих пор видел. Он обладал той милой испорченностью, которая отличает нас, тюрингенцев, и при которой даже немец становится симпатичным — даже к истине мы предпочитаем идти окольными путями. Я не хотел бы этими словами сказать, что я недостаточно высоко ценю моего более близкого соотечественника, *умного* Леополяда фон Ранке...).

## 10

— Меня спросят, почему я собственно рассказал все эти маленькие и, по распространенному мнению, безразличные вещи; этим я врежу себе самому тем более, если я призван решать великие задачи. Ответ: эти маленькие вещи — питание, место, климат, отдых, вся казуистика себялюбия — неизмеримо важнее всего, что до сих пор почиталось важным. Именно здесь надо начать *переучиваться*. То, что человечество до сих пор серьезно оценивало, были даже не реальности, а простые химеры, говоря





*Между тем в глубине постепенно растет организующая,  
призванная к господству «идея»...*



строже, *ложь*, рожденная из дурных инстинктов больных, в самом глубоком смысле вредных натур — все эти понятия «Бог», «душа», «добродетель», «грех», «потусторонний мир», «истина», «вечная жизнь»... Но в них искали величия человеческой натуры, ее «божественность»... Все вопросы политики, общественного строя, воспитания извращены до основания тем, что самых вредных людей принимали за великих людей, — что учили презирать «маленькие» вещи, стало быть, основные условия самой жизни... Когда я сравниваю себя с людьми, которых до сих пор почитали как *первых* людей, разница становится осязательной. Я даже не отношу этих так называемых первых людей к людям вообще — для меня они отбросы человечества, выродки болезней и мстительных инстинктов: все они нездоровые, в основе неизлечимые чудовища, мстящие жизни... Я хочу быть их противоположностью: мое преимущество состоит в самом тонком понимании всех признаков здоровых инстинктов. Во мне нет ни одной болезненной черты; даже в пору тяжелой болезни я не сделался болезненным; напрасно ищут в моем существе черту фанатизма. Ни в одно мгновение моей жизни нельзя указать мне самонадеянного или патетического поведения. Пафос позы не есть принадлежность величия; кому нужны вообще позы, тот *жив*... Берегитесь всех живописных людей! — Жизнь становилась для меня легкой, легче всего, когда она требовала от меня наиболее тяжелого. Кто видел меня в те семьдесят дней этой осени, когда я, без перерыва, писал только вещи первого ранга, каких никто не создавал ни до, ни после меня, с ответственностью за все тысячелетия после меня, тот не заметил во мне следов напряжения; больше того, во мне была бьющая через край свежесть и бодрость. Никогда не ел я с более приятным чувством, никогда не спал я лучше. Я знаю только одно отношение к великим задачам — *игру*: как признак величия это есть существенное условие. Малейшее напряжение, более угрюмая мина, какой-нибудь жесткий звук в горле, все это будет возражением против человека и еще больше против его творения!.. Нельзя иметь нервов... *Страдать* от безлюдья есть также возражение — я всегда страдал только от «многолюдья»... В абсурдно раннем возрасте, семи лет, я знал уже, что до меня не дойдет ни одно человеческое слово, — видели ли, чтобы это когда-нибудь меня огорчило? — И нынче я также любезен со всеми, я даже полон внимания к самым низменным существам — во всем этом нет ни грана высокомерия, ни скрытого презрения. Кого я презираю, тот *угадывает*, что он мною презираем: я возмущаю одним своим существованием все, что носит в теле дурную кровь... Моя формула для величия человека есть *amor fati*: не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни во веки вечные. Не только переносить необходимость, но и не скрывать ее — всякий идеализм есть ложь перед необходимостью, — *любить* ее...



*Я даже не отношу этих так называемых первых людей к людям вообще —  
для меня они отбросы человечества...*

**Почему я пишу такие хорошие книги.** Я одно, мои сочинения другое. Здесь, раньше чем я буду говорить о них, следует коснуться вопроса о понимании и непонимании этих сочинений. Я говорю об этом со всей подобающей небрежностью, ибо это отнюдь не своевременный вопрос. Я и сам еще не своевременен, иные люди рождаются посмертно. Когда-нибудь понадобятся учреждения, где будут жить и учить, как я понимаю жизнь и учение; будут, быть может, учреждены особые кафедры для толкования Заратустры. Но это совершенно противоречило бы мне, если бы я теперь уже ожидал *ушей* и *рук* для *моих* истин: что нынче не слышат, что нынче не умеют брать от меня — это не только понятно, но даже представляется мне справедливым. Я не хочу, чтобы меня смешивали с другими, — а для этого нужно, чтобы и я сам не смешивал себя с другими. — Повторяю еще раз, в моей жизни почти отсутствуют следы «злой воли»; я едва ли мог бы рассказать хоть один случай литературной «злой воли». Зато слишком много *чистого безумия!*.. Мне кажется, что, если кто-нибудь берет в руки мою книгу, он этим оказывает себе самую редкую честь, какую только можно себе оказать — я допускаю, что он снимает при этом обувь, не говоря уже о сапогах... Когда однажды доктор Генрих фон Штейн откровенно жаловался, что ни слова не понимает в моем Заратустре, я сказал ему, что это в порядке вещей: кто понял, т. е. *пережил* хотя бы шесть предложений из Заратустры, тот уже поднялся на более высокую ступень, чем та, которая доступна «современным» людям. Как *мог бы я* при *этом* чувстве дистанции хотя бы только желать, чтобы меня читали «современники», которых я знаю! Мое превосходство прямо обратно превосходству Шопенгауэра — я говорю: «*non legor, non legar*». — Не то, чтобы я низко ценил удовольствие, которое мне не раз доставляла *невинность* в отрицании моих сочинений. Еще этим летом, когда я своей веской, слишком тяжеловесной литературой мог бы вывести из равновесия всю остальную литературу, один профессор Берлинского университета дал мне благосклонно понять, что мне следует пользоваться другой формой: таких вещей никто не читает. — В конце концов не Германия, а Швейцария дала мне два таких примера. Статья доктора В. Видмана в «Bund» о «По ту сторону добра и зла» под заглавием «Опасная книга Ницше» и общий обзор моих сочинений, сделанный господином Карлом Шпиттелером в том же «Bund», были в моей жизни максимумом — остерегаюсь сказать чего... Последний трактовал, на-

пример, моего Заратустру как *высшее упражнение стиля* и желал, чтобы впредь я позаботился и о содержании; доктор Видман выражал свое уважение перед мужеством, с каким я стремлюсь к уничтожению всех пристойных чувств. — Благодаря шутке со стороны случая каждое предложение здесь с удивлявшей меня последовательностью было истиной, поставленной вверх ногами: в сущности, не оставалось ничего другого, как «переоценить все ценности», чтобы с замечательной точностью бить по самой головке гвоздя — вместо того чтобы гвоздем бить по моей голове... Тем не менее я попытаюсь дать объяснение. — В конце концов никто не может из вещей, в том числе и из книг, узнать больше, чем он уже знает. Если для какого-нибудь переживания нет доступа, для него нет уже и уха. Представим себе крайний случай: допустим, что книга говорит о переживаниях, которые лежат совершенно вне возможности частых или даже редких опытов — что она является *первым* словом для нового ряда опытов. В этом случае ничего нельзя уже и слышать, благодаря тому акустическому заблуждению, будто там, где ничего не слышно, *ничего и нет...* Это и есть мой средний опыт и, если угодно, *оригинальность* моего опыта. Кто думал, что он что-нибудь понимал у меня, тот делал из меня нечто подобное своему образу, нечто нередко противоположное мне, например «идеалиста»; кто ничего не понимал у меня, тот отрицал, что со мной можно и вообще считаться. — Слово «*сверхчеловек*» для обозначения типа самой высокой удачливости, в противоположность «современным» людям, «добрым» людям, христианам и прочим нигилистам — слово, которое в устах Заратустры, *истребителя* морали, вызывает множество толков, — почти всюду было понято с полной невинностью в смысле ценностей, противоположных тем, которые были представлены в образе Заратустры: я хочу сказать, как «идеалистический» тип высшей породы людей, как «полусвятой», как «полугений»... Другой ученый рогатый скот заподозрил меня из-за него в дарвинизме: в нем находили даже столь зло отвергнутый мною «культ героев» Карлейля, этого крупного фальшивомонетчика знания и воли. Когда же я шептал на ухо, что скорее в нем можно видеть Чезаре Борджиа, чем Парсифаля, то не верили своим ушам. — Надо простить мне, что я отношусь без всякого любопытства к отзывам о моих книгах, особенно в газетах. Мои друзья, мои издатели знают об этом и никогда не говорят мне ни о чем подобном. В одном только особом случае я увидел однажды воочию все грехи, совершенные в отношении к одной-единственной книге — дело касалось «По ту сторону добра и зла»; я многое мог бы рассказать об этом. Мыслимое ли дело, что *Nationalzeitung* — прусская газета, к сведению моих иностранных читателей, — сам я, с позволения, читаю только *Journal des Débats* — дошла совершенно серьезно до понимания этой книги как «знамения времени», как бравой правой *юнкерской философии*, которой не доставало лишь мужества «Крестовой газеты»?..

## 2

Это было сказано для немцев: ибо всюду, кроме Германии, есть у меня читатели — сплошь *изысканные*, испытанные умы, характеры, воспитанные в высоких положениях и обязанностях; есть среди моих читателей даже действительные гении. В Вене, в Санкт-Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке — везде открыли меня: меня *не* открыли только в плоскомании Европы, в Герма-





*Если для какого-нибудь переживания нет доступа,  
для него нет уже и уха*

нии... И я должен признаться, что меня больше радуют те, кто меня не читает, кто никогда не слышал ни моего имени, ни слова «философия»; но куда бы я ни пришел, например, здесь, в Турине, лицо каждого при взгляде на меня проясняется и добреет. Что мне до сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Надо быть *до такой степени* философом... Недаром поляков зовут французами среди славян. Очаровательная русская женщина ни на одну минуту не ошибется в моем происхождении. Мне не удастся стать торжественным, самое большее — я прихожу в смущение... По-немецки думать, по-немецки чувствовать — я могу все, но *это* свыше моих сил... Мой старый учитель Ричль утверждал даже, что свои филологические исследования я конципирую, как парижский *romancier* — абсурдно увлекательно. Даже в Париже изумлялись по поводу «*toutes mes audaces et finesses*» — выражение господина Тэна; я боюсь, что вплоть до высших форм дифирамба можно найти у меня примесь той соли, которая никогда не бывает глупой — «немецкой»: *esprit*... Я не могу иначе. Помогите мне, Боже! Аминь. — Мы знаем все, некоторые даже из опыта, что такое длинноухое животное. Ну что ж, я смею утверждать, что у меня самые маленькие уши. Это немало интересует бабенок — мне кажется, они чувствуют, что я их лучше понимаю?.. Я *Антиисел* *par excellence*, и благодаря этому я всемирно-историческое чудовище, — по-гречески, и не только по-гречески, я *Антихрист*...

## 3

Я несколько знаю свои преимущества, как писателя; отдельные случаи доказали мне, как сильно «портит» вкус привычка к моим сочинениям. Просто не переносишь других книг, особенно философских. Это несравненное отличие — войти в столь благородный и утонченный мир: для этого отнюдь не обязательно быть немцем; в конце концов это отличие, которое надо заслужить. Но кто приближается ко мне *высотой* хотения, тот переживает при этом истинные экстазы познания: ибо я прихожу с высот, которых не достигала ни одна птица, я знаю бездны, куда не ступала ни одна нога. Мне говорили, что нельзя оторваться ни от одной из моих книг, — я нарушаю даже ночной покой... Нет более гордых и вместе с тем более рафинированных книг: они достигают порою наивысшего, что достижимо на земле, — цинизма; для завоевания их нужны как самые нежные пальцы, так и самые храбрые кулаки. Всякая дряхлость души, даже всякое расстройство желудка устранены из них раз и навсегда: никаких нервов, только веселое брюхо. Не только бедность и затхлый запах души устранены из них, но в еще большей степени все трусливое, нечистоплотное, скрытное и мстительное в наших внутренностях: одно мое слово гонит наружу все дурные инстинкты. Среди моих знакомых есть множество подопытных животных, на которых я изучаю различную, весьма поучительно различную реакцию на мои сочинения. Кто и знать ничего не хочет об их содержании, например мои так называемые друзья, тот становится при этом «безличным»: меня поздравляют с тем, что я снова зашел «так далеко», — говорят также об успехе в смысле большей ясности тона... Совершенно порочные «умы», «прекрасные души», изоглавшиеся дотла, совсем не знают, что им делать с этими книгами, — следовательно, они считают их *ниже* себя, прекрасная последовательность всех «прекрасных душ». Рогатый скот среди моих

знакомых, немцы, с вашего позволения, дают понять, что не всегда разделяют мое мнение, но все же иногда... Это я слышал даже о Заратустре... Точно так же всякий «феминизм» в человеке, даже в мужчине, является для меня закрытыми воротами: никогда не войдет он в этот лабиринт дерзновенных познаний. Никогда не надо щадить себя, *жесткость* должна стать привычкой, чтобы среди сплошных жестких истин быть веселым и бодрым. Когда я рисую себе образ совершенного читателя, он всегда представляется мне чудовищем смелости и любопытства, кроме того, еще чем-то гибким, хитрым, осторожным, прирожденным искателем приключений и открывателем. В конце концов я не мог бы сказать лучше Заратустры — к нему одному в сущности я и обращаюсь: кому захочет он рассказать свою загадку?

Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям, —

вам, опьяненным загадками, любителям сумерек, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине:

— ибо вы не хотите нащупывать нить трусливой рукой и, где можете вы *угадать*, там ненавидите вы *делать выводы*...

#### 4

Вместе с тем я делаю еще общее замечание о моем *искусстве стиля*. Поделиться состоянием, внутренней напряженностью пафоса путем знаков, включая сюда и темп этих знаков, — в этом состоит смысл всякого стиля; и, ввиду того что множество внутренних состояний является моей исключительностью, у меня есть много возможностей для стиля — самое многообразное искусство стиля вообще, каким когда-либо наделен был человек. *Хорош* всякий стиль, который действительно передает внутреннее состояние, который не ошибается в знаках, в темпе знаков, в *жестах* — все законы периода суть искусство жеста. Мой инстинкт бывает здесь безошибочен. — Хороший стиль *сам по себе* — чистое безумие, сплошной «идеализм»: все равно что «прекрасное *само по себе*» или «доброе *само по себе*» или «вещь *сама по себе*»... При том неперменном условии, что есть уши — уши, способные на подобный пафос и достойные его, — что нет недостатка в тех, с кем *позволительно* делиться. — Мой Заратустра, например, еще ищет их — ах! он будет еще долго искать их! — Нужно быть *достойным* того, чтобы испытывать его... А до тех пор не будет никого, кто бы понял *искусство*, здесь расточенное: никогда и никто не расточал еще столько новых, неслыханных, поистине впервые здесь созданных средств искусства. Что нечто подобное было возможно именно на немецком языке — это еще нужно было доказать: я и сам раньше решительно отрицал бы это. До меня не знали, что можно сделать из немецкого языка, что можно сделать из языка вообще. Искусство *великого* ритма, *великий стиль* периодичности для выражения огромного восхождения и нисхождения высокой, сверхчеловеческой страсти, был впервые открыт мною; дифирамбом «Семь печатей», которым завершается *третья*, последняя часть Заратустры, я поднялся на тысячу миль надо всем, что когда-либо называлось поэзией.





*Когда я рисую себе образ совершенного читателя, он всегда представляется мне чудовищем смелости и любопытства, кроме того, еще чем-то гибким, хитрым, осторожным, прирожденным искателем приключений и открывателем*



## 5

— Что в моих сочинениях говорит не знающий себе равных *психолог*, это, быть может, есть первое убеждение, к которому приходит хороший читатель — читатель, которого я заслуживаю, который читает меня так, как добрые старые филологи читали своего Горация. Положения, в отношении которых был в сущности согласен весь мир — не говоря уже о всемирных философах, моралистах и о прочих пустых горшках и кочанах, — у меня являются как наивности заблуждения: такова, например, вера в то, что «эгоистическое» и «неэгоистическое» суть противоположности, тогда как само эго есть только «высшее мошенничество», «идеал»... Нет *ни* эгоистических, *ни* неэгоистических поступков: оба понятия суть психологическая бессмыслица. Или положение: «человек стремится к счастью»... Или положение: «счастье есть награда добродетели»... Или положение: «радость и страдание противоположны». Цирцея человечества, мораль, извратила — *обморалила* — все *psychologica* до глубочайших основ, до той ужасной бессмыслицы, будто любовь есть нечто «неэгоистическое»... Надо крепко сидеть на себе, надо смело стоять на обеих своих ногах, иначе совсем *нельзя* любить. Это в конце концов слишком хорошо знают бабенки: они ни черта не беспокоятся о бескорыстных, просто объективных мужчинах... Могу ли я при этом высказать предположение, что я *знаю* бабенку? Это принадлежит к моему дионисическому приданому. Кто знает? может, я первый психолог Вечно-Женственного. Они все любят меня — это старая история — не считая *неудачных* бабенок, «эмансипированных», лишенных способности деторождения. — К счастью, я не намерен отдать себя на растерзание: совершенная женщина терзает, когда она любит... Знаю я этих прелестных вакханок... О, что это за опасное, скользящее, подземное маленькое хищное животное! И столь сладкое при этом!.. Маленькая женщина, ищущая мщенья, способна опрокинуть даже судьбу. — Женщина несравненно злее мужчины и умнее его; доброта в женщине есть уже форма *вырождения*... Все так называемые «прекрасные души» страдают в своей основе каким-нибудь физиологическим недостатком, — я говорю, не все, иначе я стал бы медицинником. Борьба за *равные* права есть даже симптом болезни: всякий врач знает это. — Женщина, чем больше она женщина, обороняется руками и ногами от прав вообще: ведь естественное состояние, вечная *война* полов, отводит ей первое место. Есть ли уши для моего определения любви? оно является единственным достойным философа. Любовь — в своих средствах война, в своей основе смертельная ненависть полов. — Слышали ли вы мой ответ на вопрос, как *излечивают* женщину — «освобождают» ее? Ей делают ребенка. Женщине нужен ребенок, мужчина всегда лишь средство: так говорил Заратустра. — «Эмансипация женщины» — это инстинктивная ненависть *неудачной*, то есть не приспособленной к деторождению, женщины к женщине удачной — борьба с «мужщиной» есть только средство, предлог, тактика. Они хотят, возвышая *себя* как «женщину в себе», как «высшую женщину», как «идеалистку», *понизить* общий уровень женщины; нет для этого более верного средства, как гимназическое воспитание, штаны и политические права голосующего скота. В сущности, эмансипированные женщины суть *анархистки* в мире «Вечно-Женственного», неудачницы, у которых скрытым инстинктом является мщенье... Целое поколение хитрого «идеализма» — который, впрочем, встречается и у мужчин, например у Генрика Ибсена, этой типичной старой девы, — преследует целью *отравление* чистой совести, природы в половой любви... И для того, чтобы не оставалось никакого сомнения в моем столь

же честном, сколь суровом взгляде на этот вопрос, я приведу еще одно положение из своего морального кодекса против *порока*: под словом «порок» я борюсь со всякого рода противоестественностью или, если любят красивые слова, с идеализмом. Это положение означает: «проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение половой жизни, всякое осквернение ее понятием «нечистого» есть преступление перед жизнью, — есть истинный грех против святого духа жизни». —

## 6

Чтобы дать понятие о себе как психологе, привожу любопытную страницу психологии из «По ту сторону добра и зла» — я встречаю, впрочем, какие-либо предположения относительно того, кого я описываю в этом месте. «Гений сердца, свойственный тому великому Таинственному, тому богу-искусителю и прирожденному крысолову совестей, чей голос способен проникать в самую преисподнюю каждой души, кто не скажет слова, не бросит взгляда без скрытого намерения соблазнить, кто обладает мастерским умением казаться — и не тем, что он есть, а тем, что может побудить его последователей *все более и более* приближаться к нему, проникаться все более и более глубоким и сильным влечением следовать за ним, — гений сердца, который заставляет все громкое и самодовольное молчать и прислушиваться, который полирует шероховатые души, давая им отведасть нового желания — быть неподвижными как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо, — гений сердца, который научает неловкую и слишком торопкую руку брать медленнее и нежнее; который угадывает скрытое и забытое сокровище, каплю благодати и сладостной гениальности под темным толстым льдом, и является волшебным жезлом для каждой крупинцы золота, издавна погребенной в своей темнице под илом и песком; гений сердца, после соприкосновения с которым каждый уходит от него богаче, но не осыпанный милостями и пораженный неожиданностью, не осчастливленный и подавленный чужими благами, а богаче самим собою, новее для самого себя, чем прежде, раскрывшийся, обвеянный теплым ветром, который подслушал все его тайны, менее уверенный, быть может, более нежный, хрупкий, надломленный, но полный надежд, которым еще нет названия, полный новых желаний и стремлений с их приливами и отливами...»



*В сущности, эмансипированные женщины суть анархистки  
в мире «Вечно-Женственного», неудачницы, у которых скрытым инстинктом  
является мщение...*

**Происхождение трагедии.** Чтобы быть справедливым к «Происхождению трагедии» (1872), надо забыть о некоторых вещах. Эта книга *влиятельно* и даже очаровывала тем, что было в ней неудачного, — своим применением к *вагнерщине*, как если бы последняя была симптомом *восхождения*. Именно поэтому это сочинение было событием в жизни Вагнера: лишь с тех пор стали связывать с именем Вагнера большие надежды. Еще и теперь напоминают мне иногда при представлении Парсифаля, что собственнно на *моей* совести лежит происхождение столь высокого мнения о *культурной ценности* этого движения. — Я неоднократно встречал цитирование книги как «Возрождения трагедии из духа музыки»: были уши только для новой формулы искусства, цели, задачи *Вагнера* — сверх этого не слышали всего, что эта книга скрывала в основе своей ценного. «Эллинство и пессимизм»: это было бы более недвусмысленным заглавием — именно, как первый урок того, каким образом греки отделялись от пессимизма, — чем они *преодолевали* его... Трагедия и есть доказательство, что греки *не* были пессимистами. Шопенгауэр ошибся здесь, как он ошибался во всем. — Взятое в руки с некоторой нейтральностью, «Происхождение трагедии» выглядит весьма несвоевременным: и во сне нельзя было бы представить, что оно *начато* под гром битвы при Верте. Я продумал эту проблему под стенами Метца в холодные сентябрьские ночи, среди обязанностей санитарной службы; скорее можно было бы вообразить, что это сочинение старше пятьюдесятью годами. Оно политически индифферентно — «не по-немецки», скажут теперь, — от него разит неприлично гегелевским духом, оно только в нескольких формулах отдает трупным запахом Шопенгауэра. «Идея» — противоположность дионисического и аполлонического — перемещенная в метафизику; сама история, как развитие этой идеи; упраздненная в трагедии противоположность единству, — при подобной оптике все эти вещи, еще никогда не смотревшие друг другу в лицо, теперь были внезапно противопоставлены одна другой, одна через другую освещены и *поняты*... Например, опера и революция... Два решительных *новшества* книги составляют, во-первых, толкование *дионисического* феномена у греков — оно дает его первую психологию и видит в нем единый корень всего греческого искусства. — Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, узанный впервые как орудие греческого разложения, как типичный *décadent*. «Разумность» *против* инстинкта. «Разумность» любой ценой, как опасная, подрывающая жизнь сила!





*«Идея» — противоположность дионисического и аполлонического —  
перемещенная в метафизику...*

Глубокое враждебное умолчание христианства на протяжении всей книги. Оно ни аполлонично, ни дионисично; оно *отрицает* все эстетические ценности — единственные ценности, которые признает «Рождение трагедии»: оно в глубочайшем смысле нигилистично, тогда как в дионисическом символе достигнут самый крайний предел *утверждения*. В то же время здесь есть намек на христианских священников как на «коварный род карликов», «подпольщиков»...

## 2

Это начало замечательно сверх всякой меры. Для своего наиболее сокровенного опыта я *открыл* единственное иносказание и подобие, которым обладает история, — именно этим я первый постиг чудесный феномен дионисического. Точно так же фактом признания *décadent* в Сократе дано было вполне недвусмысленное доказательство того, сколь мало угрожает уверенности моей психологической хватки опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии, — сама мораль, как симптом декаданса, есть новшество, есть единственная и первостепенная вещь в истории познания. Как высоко поднялся я в этом отношении над жалкой, плоской болтовней на тему: оптимизм *contra* пессимизм! — Я впервые узрел истинную противоположность — *вырождающийся* инстинкт, обращенный с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм, как его типичные формы), и рожденная из избытка, из преизбытка формула *высшего утверждения*, утверждения без ограничений, утверждения даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании... Это последнее, самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, оно также и *самое глубокое*, наиболее строго утвержденное и подтвержденное истиной и наукой. Ничто существующее не должно быть устранено, нет ничего лишнего — отвергаемые христианами и прочими нигилистами стороны существования занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем то, что мог бы одобрить, *назвать хорошим* инстинкт *décadence*. Чтобы постичь это, нужно *мужество* и, как его условие, избыток *силы*: ибо, насколько мужество *может* отважиться на движение вперед, настолько по этой мерке силы приближаемся и мы к истине. Познание, утверждение реальности для сильного есть такая же необходимость, как для слабого, под давлением слабости, трусость и *бегство* от реальности — «идеал»... Слабые не вольны познавать: *décadents* *нуждаются* во лжи — она составляет одно из условий их существования. — Кто не только понимает слово «дионисическое», но понимает и себя в этом слове, тому не нужны опровержения Платона, или христианства, или Шопенгауэра, — он *обоняет разложение*...

## 3

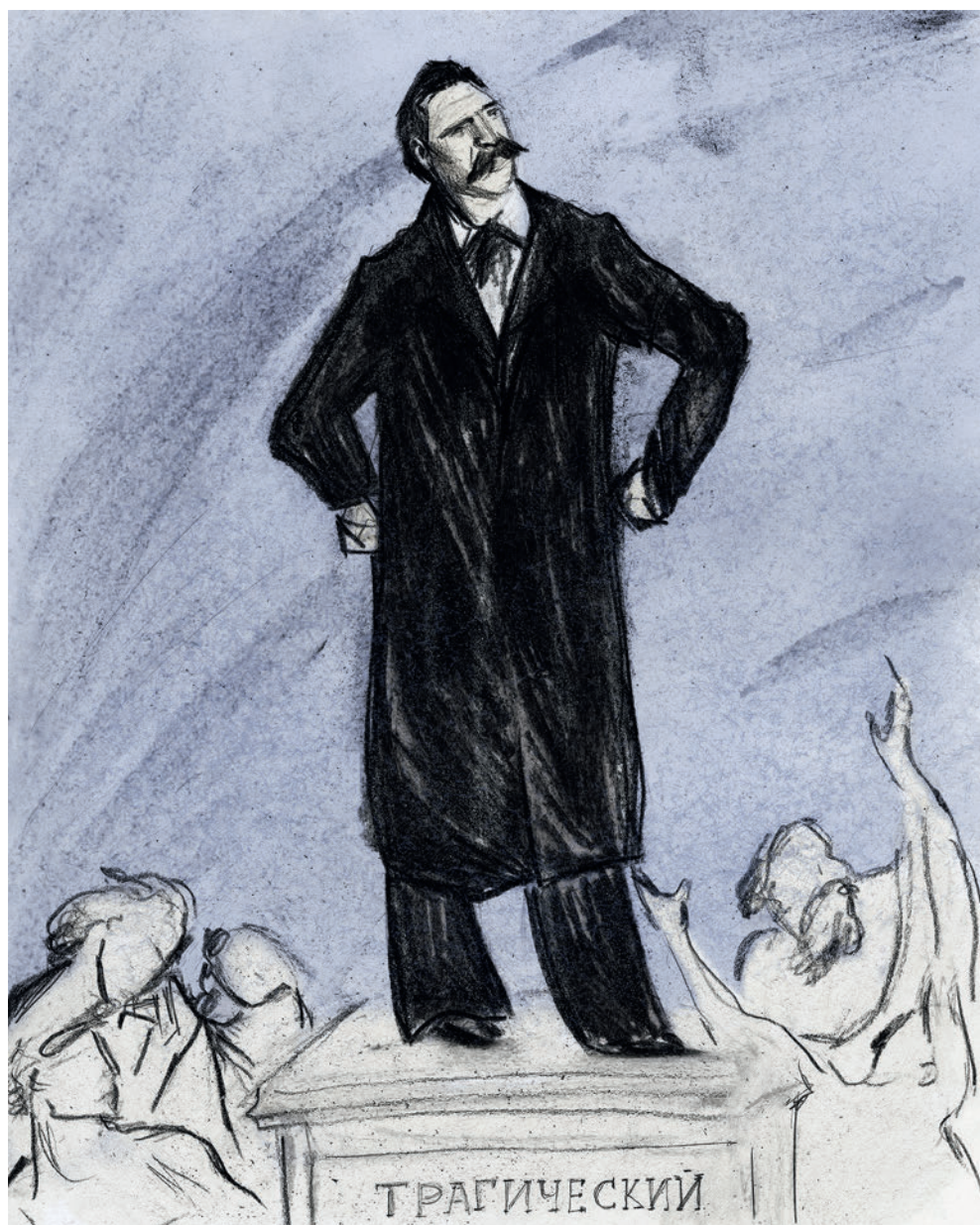
В какой мере я нашел понятие «трагического», конечное познание того, что такое психология трагедии, это выражено мною еще в *Сумерках идолов*: «Подтверждение жизни даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, лику-

ющая в *жертве* своими высшими типами собственной неисчерпаемости, — *вот что* назвал я дионисическим, вот в чем угадал я мост к психологии *трагического* поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы, очиститься от опасного аффекта бурным его разряжением — так понимал это Аристотель, — а для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, *быть самому* вечной радостью становления, — той радостью, которая заключает в себе также и *радость уничтожения...*» В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого *трагического философа* — стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого пессимистического философа. До меня не существовало этого превращения дионисического состояния в философский пафос: недоставало *трагической мудрости* — тщетно искал я ее признаков даже у *великих* греческих философов за два века до Сократа. Сомнение оставил во мне *Гераклит*, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения и *уничтожения*, отличительное для дионисической философии, подтверждение противоположности и войны, *становление*, при радикальном устранении самого понятия «*бытие*» — в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор было помыслено. Учение о «вечном возвращении», стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, — это учение Заратустры *могло бы* однажды уже существовать у Гераклита. Следы его есть по крайней мере у стоиков, которые унаследовали от Гераклита почти все свои основные представления. —

## 4

Из этого сочинения говорит чудовищная надежда. В конце концов у меня нет никакого основания отказываться от надежды на дионисическое будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперед, предположим случай, что мое покушение на два тысячелетия противоестественности и человеческого позора будет иметь успех. Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач, более высокое воспитание человечества, и в том числе беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает возможным на земле *преизбыток жизни*, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние. Я обещаю *трагический* век: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия, возродится, когда человечество, *без страдания*, оставит позади себя сознание о самых жестоких, но и самых необходимых войнах... Психолог мог бы еще добавить, что то, что я слышал в юные годы в вагнеровской музыке, не имеет вообще ничего общего с Вагнером; что когда я описывал дионисическую музыку, я описывал *то, что я слышал*, — что я инстинктивно должен был перенести и перевоплотить в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому — *настолько сильное, насколько доказательство может быть сильным*, — есть мое сочинение «Вагнер в Байрейте»: во всех психологически-решающих местах речь идет только обо мне — можно без всяких предосторожностей поставить мое имя или слово «Заратустра» там, где текст дает слово: Вагнер. Весь образ *дифирамбического* художника есть образ *предсуществующего* поэта Заратустры, зарисованный с величайшей глубиной, — без малейшего касания вагнеровской реальности. У самого Вагнера было об этом понятие; он не признал себя в моем сочинении. — Равным





*....я имею право понимать самого себя как первого трагического философа —  
стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода  
всякого пессимистического философа*



образом «идея Байрейта» превратилась в нечто такое, что не окажется загадочным понятием для знатоков моего Заратустры: в тот *великий полдень*, когда наиболее избранные посвящают себя величайшей из всех задач, — кто знает? Призрак праздника, который я еще переживу... Пафос первых страниц есть всемирно-исторический пафос; *взгляд*, о котором идет речь на седьмой странице, есть доподлинный взгляд Заратустры; Вагнер, Байрейт, все маленькое немецкое убожество суть облако, в котором отражается бесконечная фата-моргана будущего. Даже психологически все отличительные черты моей собственной натуры перенесены на натуру Вагнера — совместность самых светлых и самых роковых сил, воля к власти, какой никогда еще не обладал человек, безоглядная смелость в сфере духа, неограниченная сила к изучению, без того чтобы ею подавлялась воля к действию. Все в этом сочинении возведено наперед: близость возвращения греческого духа, необходимость *анти-Александров*, которые снова *завяжут* однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры... Пусть вслушаются во всемирно-исторические слова, которые вводят (I 34 сл.) понятие «трагического чувства»: в этом сочинении есть только всемирно-исторические слова. Это самая странная «объективность», какая только может существовать: абсолютная уверенность в том, *что* я собою представляю, проецировалась на любую случайную реальность, — истина обо мне говорила из полной страха глубины. На стр. 55 описан и предвосхищен с поразительной надежностью *стиль* Заратустры; и никогда не найдут более великолепного выражения для *события* Заратустра, для этого акта чудовищного очищения и освящения человечества, чем на с. 41–44.

**НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ.** Четыре *Несвоевременных* размышления являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был «Гансом-мечтателем», что мне доставляет удовольствие владеть шпагой, — может быть, также и то, что у меня рискованно ловкое запястье. *Первое* нападение (1873) было на немецкую культуру, на которую я уже тогда смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное «общественное мнение». Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу *ее* победы над Францией... *Второе* Несвоевременное размышление (1874) освещает все опасное, все подтачивающее и отравляющее жизнь в наших приемах научной работы: жизнь, *большую* от этой обесчеловеченной шестеренки и механизма, от «безличности» работника, от ложной экономии «разделения труда». Утрачивается *цель* — культура: средства — современные научные приемы — *низводят на уровень варварства*... В этом исследовании впервые признается болезнью, типическим признаком упадка «историческое чувство», которым гордится этот век. — В *третьем* и *четвертом* Несвоевременном размышлении, как указание к *высшему* пониманию культуры и к восстановлению понятия «культура», выставлены два образа суровейшего эгоизма и *самодисциплины*, несвоевременные типы *par excellence*, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось «Империей», «образованием», «христианством», «Бисмарком», «успехом», — Шопенгауэр и Вагнер, *или, одним словом, Ницше*...

## 2

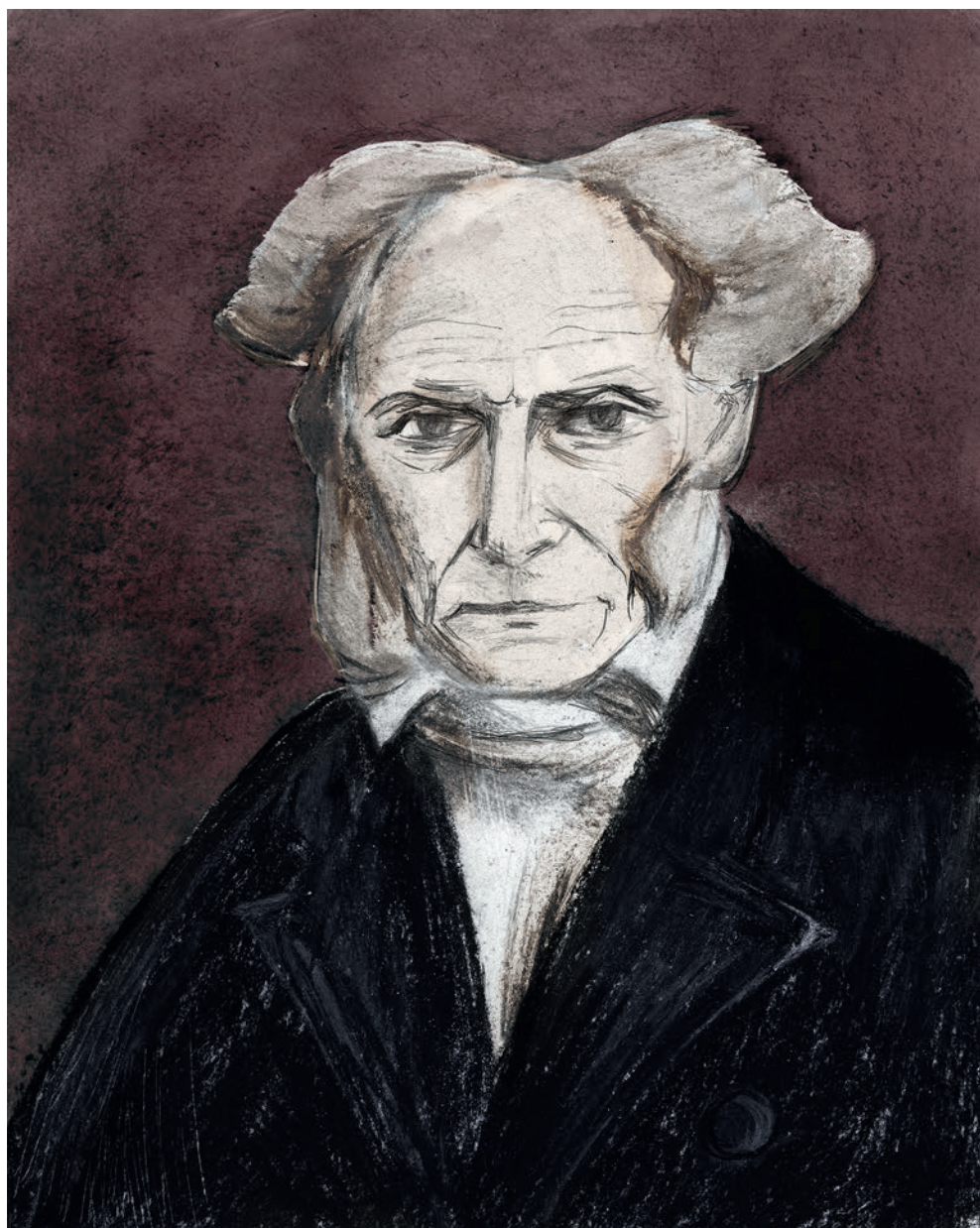
Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Шум, им вызванный, был во всех отношениях великолепен. Я коснулся уязвимого места победоносной нации — что ее победа *не* культурное событие, а возможно, возможно, нечто совсем другое... Ответы приходили со всех сторон, и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я сделал посмешищем как тип филистера немецкой культуры и *satisfait*, короче, как автора его распивочного евангелия о «старой и



*Первое нападение (1873) было на немецкую культуру, на которую я уже тогда смотрел сверху вниз с беспощадным презрением*

новой вере» (— слово «филистер культуры» перешло из моей книги в разговорную речь). Эти старые друзья, вюртембержцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я нашел смешным их чудо, их Штрауса, отвечали мне так честно и грубо, как только мог я желать; прусские возражения были умнее — в них было больше «берлинской хмели». Самое неприличное выкинул один лейпцигский листок, обесславленные «Grenzboten»; мне стоило больших усилий удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно высказались за меня лишь несколько старых господ, по различным и отчасти необъяснимым основаниям. Между ними был Эвальд из Геттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Точно так же высказался старый гегельянец Бруно Бауэр, в котором я имел с тех пор одного из самых внимательных моих читателей. Он любил, в последние годы своей жизни, ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получить сведения об утраченном им понятии «культура». Самое глубокомысленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По моему сочинению он предвидел для меня великое назначение — вызвать род кризиса и дать наилучшее разрешение проблемы атеизма; он угадывал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. — Лучшее всего была выслушана и с наибольшей горечью воспринята чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обыкновенно столь мягкого Карла Гиллебранда, этого последнего немецкого гуманиста, умевшего владеть пером. Раньше его статью читали в «Augsburger Zeitung», а теперь ее можно прочесть, в несколько более осторожной форме, в собрании его сочинений. Здесь моя книга представлена как событие, как поворотный пункт, как первое самосознание, как лучшее знамение, как действительное *возвращение* немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Гиллебранд был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в различении личности и вещи: он отмечал его как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки — именно в столь опасном для немцев искусстве, как полемика, которое не следует им рекомендовать. Безусловно утверждая, даже обостряя то, что я осмелился сказать о порче языка в Германии (теперь они разыгрывают пуристов и не могут уже составить предложения), высказывая такое же презрение к «первым писателям» этой нации, он кончил выражением своего удивления моему *мужеству*, тому «высшему мужеству, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых»... Последующее влияние этого сочинения совершенно неоценимо в моей жизни. Никто с тех пор не спорил со мною. Теперь все молчат обо мне, со мною обходятся в Германии с угрюмой осторожностью: в течение целых лет я пользовался безусловной свободой слова, для которой ни у кого, меньше всего в «Империи», нет достаточно свободной *руки*. Мой рай покоится «под сенью моего меча»... В сущности я применил правило Стендаля: он советует озаглавить свое вступление в общество *дуэлью*. И какого я выбрал себе противника! первого немецкого вольнодумца!.. На деле этим был впервые выражен совсем *новый* род свободомыслия; до сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская *species* «libres penseurs». С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами «современных идей», нахожусь я даже в более глубоком разногласии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему «улучшить» человечество, по собственному образ-





*Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру*

цу; они вели бы непримиримую войну против всего, в чем выражается мое *Я*, чего я *хочу*, если предположить, что они это поняли бы, — они еще верят совокупно в «идеал»... Я первый *иммориалист*. —

## 3

Я не хотел бы утверждать, что отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера Несвоевременные размышления могут особенно служить к уяснению или хотя бы только к психологической постановке вопроса об обоих случаях — исключая, по справедливости, частности. Так, например, с глубокой уверенностью-инстинктом здесь обозначен главный элемент в натуре Вагнера, дарование актера, извлекающее из своих средств и намерений свои собственные следствия. В сущности, вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях: не сравнивая ни с чем проблема воспитания, новое понятие *самодисциплины*, *самозащиты* до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам еще требовали своего первого выражения. В общем я притянул за волосы два знаменитых и еще вовсе не установленных типа, как притягивают за волосы всякую случайность, дабы выразить нечто, дабы располагать несколькими лишними формулами, знаками и средствами выражения. Это отмечено напоследок с особой тревожной прозорливостью на с. 350 третьего Несвоевременного размышления. Так Платон пользовался Сократом, как семиотикой для Платона. — Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния, свидетельством которых являются эти сочинения, я не стану отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо мне. Сочинение «Вагнер в Байрейте» есть видение моего будущего; напротив, в «Шопенгауэре как воспитателе» вписана моя внутренняя история, мое *становление*. Прежде всего мой *обет*!.. То, чем являюсь я теперь, то, где нахожусь я теперь, — на высоте, где я говорю уже не словами, а молниями, — о, как далек я был тогда еще от этого! — Но я *видел* землю — я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности — и успехе! Этот великий покой в обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обещанием! — Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно; нет недостатка в самом болезненном чувстве, есть слова прямо кровоточащие. Но ветер *великой* свободы проносится надо всем; сама рана *не* действует как возражение. — О том, как понимаю я философа — как страшное взрывчатое вещество, перед которым все пребывает в опасности, — как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических «жвачных животных» и прочих профессорах философии: на этот счет дает мое сочинение бесценный урок, даже если, в сущности, речь здесь идет не о «Шопенгауэре как воспитателе», а о его *противоположности* — «Ницше как воспитателе». — Если принять во внимание, что моим ремеслом было тогда ремесло ученого и что я, пожалуй, хорошо *понимал* свое ремесло, то представится не лишенный значения суровый образец психологии ученого, внезапно выдвинутый в этом сочинении: он выражает *чувство дистанции*, глубокую уверенность в том, что может быть у меня *задачей*, что только средством, отдыхом и побочным делом. Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и многосущим для умения стать *единым* — для умения прийти к *единому*. Я *должен был* еще некоторое время оставаться ученым.





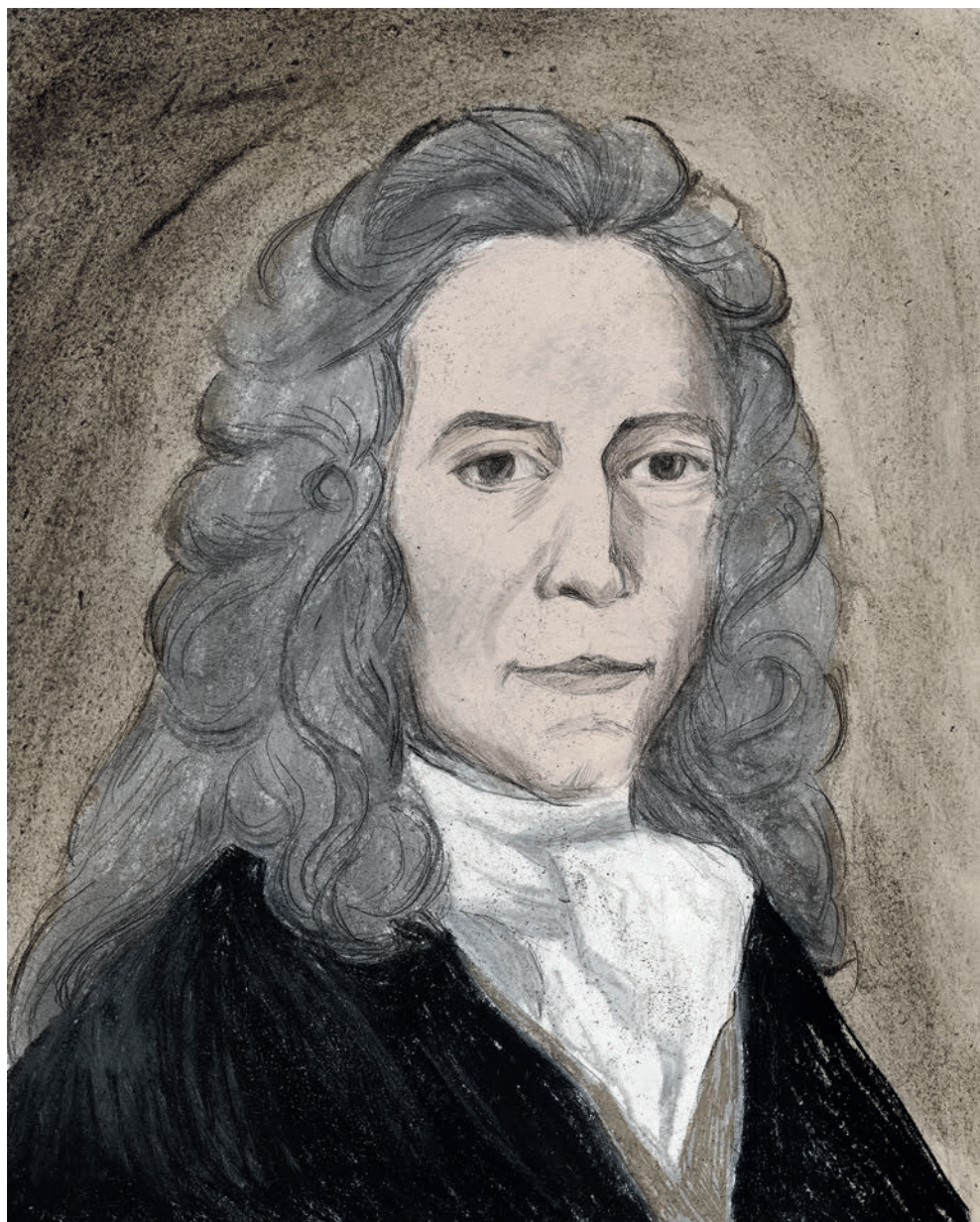
*То, чем являюсь я теперь, то, где нахожусь я теперь, — на высоте, где я говорю уже  
не словами, а молниями...*

**ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ.** С двумя продолжениями. «Человеческое, слишком человеческое» есть памятник кризиса. Оно называется книгой для *свободных* умов: почти каждая фраза в нем выражает победу — с этой книгой я освободился от всего *не присущего* моей натуре. Не присущ мне идеализм — заглавие говорит: «где *вы* видите идеальные вещи, там вижу я — человеческое, ах, только слишком человеческое!..» Я *лучше* знаю человека... Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово «свободный ум»: *освободившийся* ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился: книгу найдут умной, холодной, при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность *аристократического* вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти *Вольтера* как бы извиняет издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего *grandseigneur* духа: так же, как и я. — Имя Вольтера на моем сочинении — это был действительно шаг вперед — *ко мне*... Если присмотреться ближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, где идеал чувствует себя дома, где находятся его подземелья и его последнее убежище. С факелом в руках, дающим отнюдь не «дрожажий от факела» свет, освещается с режущей яркостью этот *подземный мир* идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов — перечисленное было бы еще «идеализмом». Одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается — *он замерзает*... Здесь, например, замерзает «гений»; немного дальше замерзает «святой»; под толстым слоем льда замерзает «герой»; в конце замерзает «вера», так называемое «убеждение», даже «сострадание» значительно остывает — почти всюду замерзает «вещь в себе»...

## 2

Возникновение этой книги относится к неделям первых байрейтских фестшпилей; глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда пробежали по моему





*...Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего grandseigneur духа: так же, как и я*

пути, может угадать, что творилось в моей душе, когда я однажды проснулся в Байрейте. Совсем как если бы я грезил... Где же я был? Я ничего не узнавал, я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трибшен — далекий остров блаженных: нет ни тени сходства. Несравненные дни закладки, маленькая группа людей, которые были *на своем месте* и праздновали эту закладку и вовсе не нуждались в пальцах для нежных вещей: нет ни тени сходства. *Что случилось?* — Вагнера перевели на немецкий язык! Вагнерианец стал господином над Вагнером! *Немецкое искусство! Немецкий маэстро! немецкое пиво!*.. Мы, знающие слишком хорошо, к каким утонченным артистам, к какому космополитизму вкуса обращается искусство Вагнера, мы были вне себя, найдя Вагнера увешанным немецкими «добродетелями». — Я думаю, что знаю вагнерианца, я «пережил» три поколения, от покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до «идеалистов» Байрейтских листков, путавших Вагнера с собою, — я слышал всякого рода исповеди «прекрасных душ» о Вагнере. Полцарства за *одно* осмысленное слово! Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом! Ноль, Поль, *Коль* — грациозные *in infinitum*! Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка, даже в антисемите. — Бедный Вагнер! Куда он попал! — Если бы он попал еще к свиньям! А то к немцам!.. В конце концов следовало бы, в назидание потомству, сделать чучело истинного байрейтца или, еще лучше, посадить его в спирт, ибо именно спиритуальности ему и недостает<sup>1</sup>, — с надписью: так выглядел «дух», на котором была основана «Империя»... Довольно, я уехал среди празднеств на несколько недель, совершенно внезапно, несмотря на то, что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить; я извинился перед Вагнером только фаталистической телеграммой. В Клингенбрунне, глубоко затерянном в лесах местечке Богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени в свою записную книжку под общим названием «Сошник» тезисы, сплошные жесткие *psychologica*, которые, может быть, встречаются еще раз в «Человеческом, слишком человеческом».

### 3

То, что тогда во мне решилось, был не только разрыв с Вагнером — я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называясь они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. *Нетерпение* к себе охватило меня; я увидел, что настала пора сознать *себя*. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено — как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Я стыдился этой *ложной* скромности... Десять лет за плечами, когда *питание* моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Тщательно, с больными глазами пробираться среди античных стихотворцев — вот до чего я дошел! — С сожалением видел я себя вконец исхудавшим, вконец изголодавшимся: *реальностей* вовсе не было в моем знании, а «идеальности» ни черта не стоили! — Поистине, жгучая жажда охватила меня — с этих пор я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук, — даже к собственно историческим занятиям я вернулся только тог-

<sup>1</sup> Игра словами: spiritus — спирт и дух.

да, когда меня повелительно принудила к этому моя *задача*. Тогда же я впервые угадал связь между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым «призыванием», к которому я *менее всего* был призван, — и потребностью в *заглушении* чувства пустоты и голода наркотическим искусством — например, вагнеровским искусством. Осторожно оглядевшись вокруг себя, я открыл, что то же бедствие постигает большинство молодых людей: одна противоестественность буквально *вынуждает* другую. В Германии, в «Империи», чтобы говорить недвусмысленно, слишком многие осуждены принять несвоевременно какое-нибудь решение, а потом, под неустрашимым бременем, *зачахнуть*... Эти нуждаются в Вагнере как в опиуме — они забываются, они избавляются от себя на мгновение... Что говорю я! *на пять, на шесть часов!* —

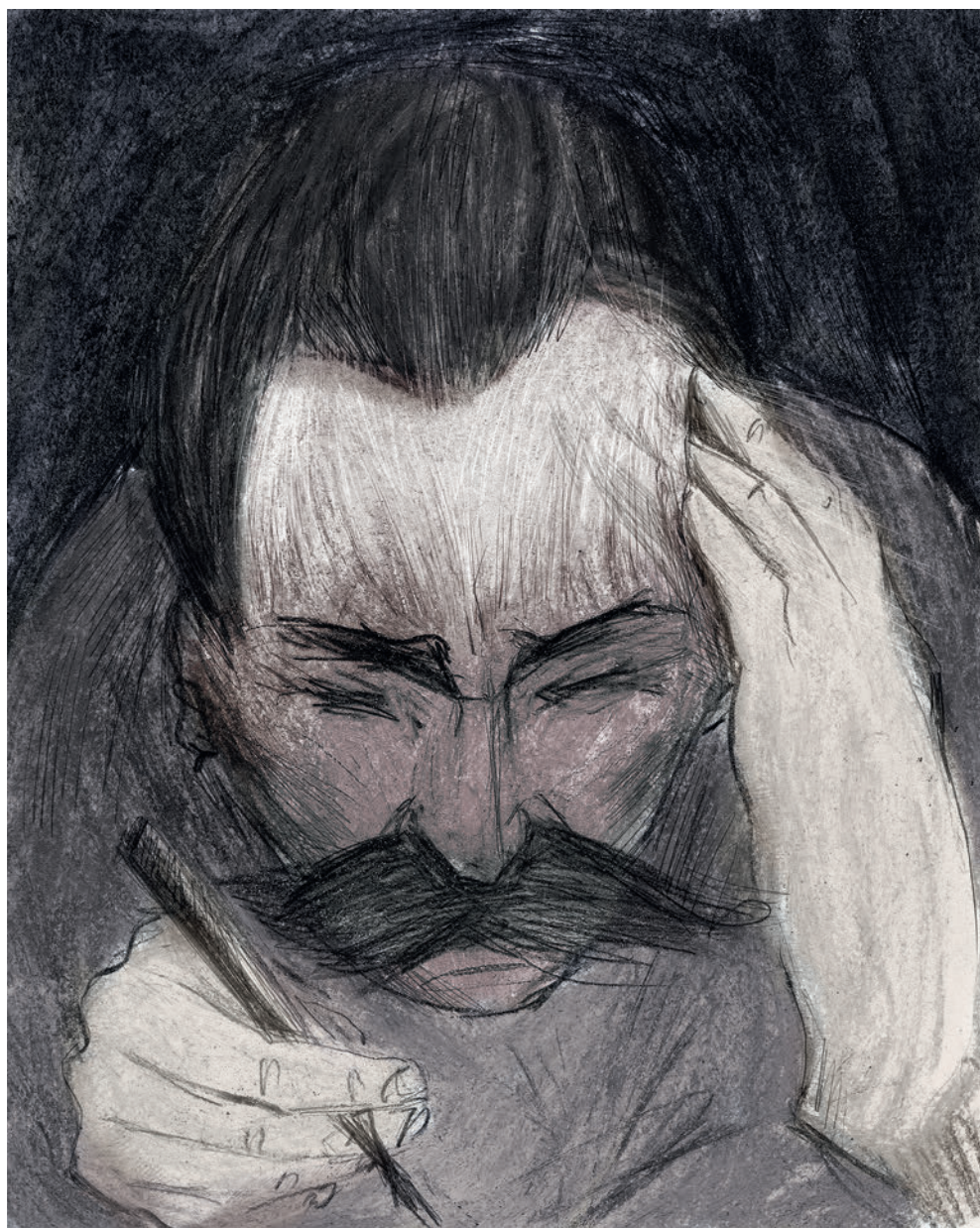
## 4

Тогда неумолимо восстал мой инстинкт против дальнейших уступок, против следования за другими, против смешения себя с другими. Любой род жизни, самые неблагоприятные условия, болезнь, бедность — все казалось мне предпочтительнее того недостойного «бескорыстия», в которое я поначалу попал по незнанию, по *молодости* и в котором позднее застрял из трусости, из так называемого «чувства долга». — Здесь, самым изумительным образом, и притом в самое нужное время, пришло мне на помощь *дурное* наследство со стороны моего отца, — в сущности, предопределение к ранней смерти. Болезнь *медленно высвобождала* меня: она избавила меня от всякого разрыва, всякого насильственного и неприличного шага. Я не утратил тогда ничего доброжелательства и еще приобрел много нового. Болезнь дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках; она позволила, она *приказала* мне забвение; она одарила меня *принуждением* к бездействию, к праздности, к выжиданию и терпению... Но ведь это и значит думать!.. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству, по-немецки: филологии; я был избавлен от «книги», я годами ничего уже не читал — *величайшее* благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал! — Глубоко скрытое Само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей *необходимостью* слушать другие Само (— а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, — но наконец *оно заговорило*. Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни: стоит только взглянуть на «Утреннюю зарю» или на «Странника и его тень», чтобы понять, чем было это «возвращение к себе»: самым высшим родом *выздоровления!*... Другое только следовало из него. —

## 5

*Человеческое, слишком человеческое*, этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесенному в меня «мошеничеству высшего порядка», «идеализму», «прекрасному чувству» и прочим женственностям, — было во всем существенном написано в Сорренто; оно получило свое заключение, свою окончательную форму зимою, проведенною в Базеле, в несравненно менее благоприятных условиях, чем условия Сорренто. В сущности, эта





*Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные,  
самые страдальческие времена моей жизни...*

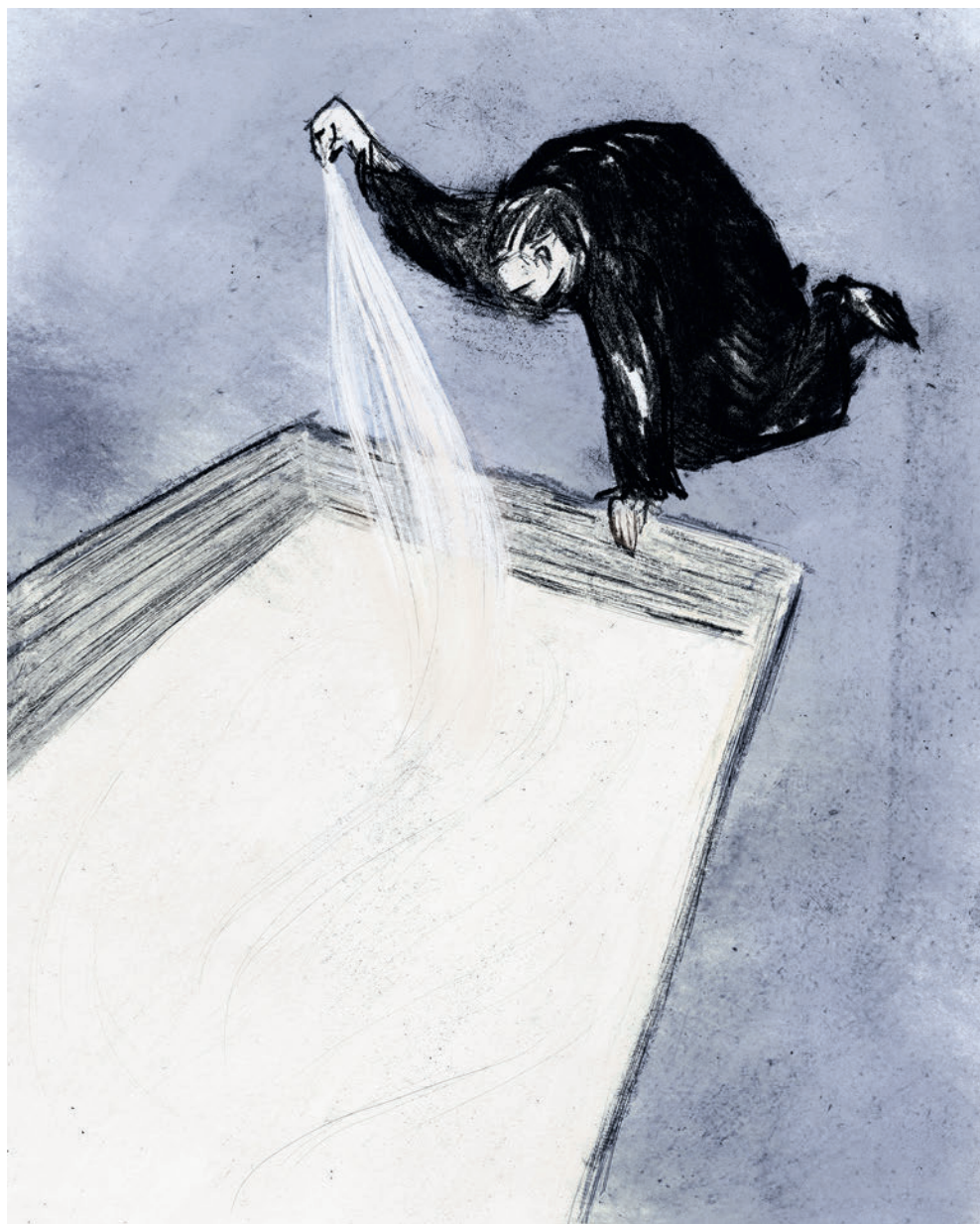


книга лежит на совести у господина *Петера Гаста*, тогда студента Базельского университета, очень преданного мне. Я диктовал, с обвязанной и больной головой, он писал, он также исправлял — он был в сущности писателем, а я только автором. Когда в руках моих была законченная вконец книга — к глубокому удивлению тяжело-больного, — я послал, между прочим, два экземпляра и в Байреит. Каким-то чудом смысла, проявившегося в случайности, до меня в то же время дошел прекрасный экземпляр текста Парсифаля с посвящением Вагнера мне — «моему дорогому другу Фридриху Ницше, Рихард Вагнер, церковный советник». — Это было скрещение двух книг — мне казалось, будто я слышал при этом зловеющий звук. Не звучало ли это так, как если бы скрестились две *штаги*?.. Во всяком случае мы оба так именно и восприняли это: ибо мы оба молчали. — К тому времени появились первые Байрейтские листки: я понял, *чему* настала пора. — Невероятно! Вагнер стал набожным...

## 6

Что я думал тогда (1876) о себе, с какой чудовищной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического, — об этом свидетельствует вся книга, и прежде всего одно очень выразительное в ней место: с инстинктивной во мне хитростью я и здесь вновь обошел словечко *Я*; но на сей раз не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей, превосходного доктора Пауля Рэ я озарил всемирно-исторической славой — к счастью, он оказался слишком тонким животным, чтобы... *Другие* были менее хитры: безнадежных среди моих читателей, например типичного немецкого профессора, я всегда узнавал по тому, что они, основываясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу как высший рэализм. В действительности она заключала противоречие лишь пяти-шести тезисам моего друга: об этом можно прочесть в предисловии к «Генеалогии морали». — Это место гласит: каково же то главное положение, к которому пришел один из самых сильных и холодных мыслителей, автор книги «О происхождении моральных чувств» (lisez: Ницше, первый *имморалист*), с помощью своего острого и пронизательного анализа человеческого поведения? «Моральный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический, — *ибо* не существует умопостигаемого мира»... Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (lisez: *переоценки всех ценностей*), может некогда в будущем — 1890! — послужить секирой, которая будет положена у корней «метафизической потребности» человечества, — на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но во всяком случае, как положение, чреватое важнейшими последствиями, вместе плодотворное и ужасное и взирающее на мир тем двойственным взглядом, который бывает присущ всякому великому познанию...

**УТРЕННЯЯ ЗАРЯ.** Мысли о морали как предрассудке. Этой книгой начинается мой поход против *морали*. Не то чтобы в ней, хотя бы едва, чувствовался запах пороха — скорее в ней распознают совсем другие, и гораздо более нежные, запахи, особенно если предположить некоторую тонкость ноздрей. Ни тяжелой, ни даже легкой артиллерии; если действие книги отрицательное, то тем менее отрицательны ее средства, из которых действие следует как заключение, а *не* как пушечный выстрел. Что с книгой расстаются с боязливой осторожностью ко всему тому, что до сих пор почиталось и даже боготворилось под именем морали, это не находится в противоречии с тем, что во всей книге не встречается ни одного отрицательного слова, ни одного нападения, ни одной злости, — скорее она лежит на солнце, круглая, счастливая, похожая на морского зверя, греющегося среди скал. В конце концов я сам был им, этим морским зверем: почти каждое положение этой книги было измышлено, *выскользнуто* в том сумбуре скал близ Генуи, где я одиночествовал и имел общие с морем тайны. Еще и теперь, при случайном моем соприкосновении с этой книгой, почти каждое предложение становится крючком, которым я снова извлекаю из глубины что-нибудь несравнимое: вся ее кожа дрожит от нежной дрожи воспоминаний. Искусство, которое она предполагает, есть немалое искусство закреплять вещи, скользящие легко и без шума, закреплять мгновения, называемые мною божественными ящерицами, закреплять, правда, не с жестокостью того юного греческого бога, который просто прокалывал бедных ящериц, но все же закреплять при помощи некоторого острия — пером... «Есть так много утренних зорь, которые еще не светили» — эта *индийская* надпись высится на двери к этой книге. Где же *ищет* ее автор того нового утра, ту до сих пор еще не открытую нежную зарю, с которой начнется снова день? — ах, целый ряд, целый мир новых дней! В *переоценке всех ценностей*, в освобождении от всех моральных ценностей, в утверждении и доверчивом отношении ко всему, что до сих пор запрещали, презирали, проклинали. Эта *утверждающая* книга изливает свой свет, свою любовь, свою нежность на сплошь дурные вещи, она снова возвращает им «душу», чистую совесть, право, *преимущественное право* на существование. На мораль не нападают, ее просто не принимают в расчет... Эта книга заканчивается словом «или?» — это единственная книга, которая заканчивается словом «или?»...



*Еще и теперь, при случайном моем соприкосновении с этой книгой, почти каждое предложение становится крючком, которым я снова извлекаю из глубины что-нибудь несравнимое...*

## 2

Моя задача — подготовить человечеству момент высшего самосознания, *великий полдень*, когда оно оглянется назад и взглянет вперед, когда оно выйдет из-под владычества случая и священников и поставит себе впервые, *как целое*, вопросы: почему? к чему? — эта задача с необходимостью вытекает из воззрения, что человечество само по себе *не* находится на верном пути, что оно управляется вовсе *не* божественно, что, напротив, среди его самых священных понятий о ценности соблазнительно господствует инстинкт отрицания, порчи, инстинкт *décadence*. Вопрос о происхождении моральных ценностей оттого и является для меня вопросом *первостепенной важности*, что он обуславливает будущее человечества. Требование, чтобы *верили*, что все в сущности находится в наилучших руках, что одна книга, Библия, даст окончательную уверенность в божественном руководительстве и мудрости в судьбах человечества, это требование, перенесенное обратно в реальность, есть воля к подавлению истины о жалкой противоположности сказанного, именно, что человечество до сих пор пребывало в *наисквернейших* руках, что оно управлялось неудачниками и коварными мстителями, так называемыми святыми, этими мирохулиателями и человекоосквернителями. Решающий признак, устанавливающий, что священник (включая и *затмившихся* священников — философов) сделался господином не только в пределах определенной религиозной общины, но и всюду вообще, есть мораль *décadence*, воля к концу, которая ценится как мораль *сама по себе* и заключается в безусловной ценности, приписываемой началу неэгоистическому и враждебному всякому эгоизму. Кто в этом пункте не заодно со мною, того считаю я *инфицированным*... Но весь мир не заодно со мною... Для физиолога такое противопоставление ценностей не оставляет никакого сомнения. Если в организме самый незначительный орган хотя бы в малой степени ослабляет совершенно точное проявление своего самоподдержания, возмещения своей силы, своего «эгоизма», то вырождается и весь организм. Физиолог требует *ампутации* выродившейся части, он отрицает всякую солидарность с нею, он стоит всего дальше от сострадания к ней. Но священник *хочет* именно вырождения целого, вырождения человечества: оттого и *консервирует* он вырождающееся — этой ценой господствует он над ним... Какой смысл имеют ложные, *вспомогательные* понятия морали — «душа», «дух», «свободная воля», «Бог» — как не тот, чтобы физиологически руинировать человечество?.. Когда отклоняют серьезность самосохранения и увеличения силы тела, *то есть жизни*, когда из бледной немочи конструируют идеал, из презрения к телу — «спасение души», то что же это, как не *рецепт* *décadence*? — Утрата равновесия, сопротивление естественным инстинктам, «самоотречение» — одним словом, это называлось до сих пор *моралью*... С «Утренней зарей» предпринял я впервые борьбу против морали самоотречения. —



**ВЕСЕЛАЯ НАУКА.** («la gaya scienza»). «Утренняя заря» есть утверждающая книга, глубокая, но светлая и доброжелательная. То же, но еще в большей степени, применимо и к la gaya scienza: почти в каждой строке ее нежно держатся за руки глубокомыслие и резвость. Стихи, выражающие благодарность самому чудесному месяцу, январю, который я пережил — вся книга есть его подарок, — в достаточной степени объясняют, из какой глубины «наука» стала здесь *веселой*:

Ты, что огненною пикой  
Лед души моей разбил  
И к морям надежд великих  
Бурный путь ей проложил:  
И душа светла и в здравье,  
И вольна среди обуз  
Чудеса твои прославит,  
Дивный Януариус! —

Может ли тот, кто видит, как заблистала, в заключение четвертой книги, алмазная красота первых слов Заратустры, может ли он сомневаться в том, что называется здесь «великой надеждой»? — Или тот, кто читает гранитные строки в конце третьей книги, с помощью которых впервые отливается в формулы судьба *всех времен? Песни принца Фогельфрай*, в лучшей своей части написанные в Сицилии, весьма выразительно напоминают о том провансальском понятии «gaya scienza», о том единстве *певца, рыцаря и вольнодумца*, которым чудесная ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур; самое последнее стихотворение «к *Мистралю*», бурная танцевальная песнь, где, с позволения! пляшут над моралью, есть совершенный провансализм. —

**ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА. КНИГА ДЛЯ ВСЕХ И НИ ДЛЯ КОГО.** Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, *мысль о вечном возвращении*, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, — относится к августу 1881 года: она набросана на листе бумаги с надписью: «6000 футов по ту сторону человека и времени». Я шел в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего, пирамидально нагроможденного блока камней, недалеко от Сурлея, я остановился. Там пришла мне эта мысль. — Когда я отсчитываю от этого дня несколько месяцев назад, я нахожу, как предзнаменование, внезапную и глубоко решительную перемену моего вкуса, прежде всего в музыке. Может быть, всего Заратустру позволительно причислить к музыке — несомненно, возрождение искусства *слышать* было его предварительным условием. В Рекоаро, маленьком горном курорте, близ Винченцы, где я провел весну 1881 года, я открыл вместе с моим маэстро и другом Петером Гастом, тоже «возрожденным», что феникс Музыка пролетел мимо нас в перьях более легких и светоносных, чем когда бы то ни было. Если, напротив, я считаю от этого дня вперед до внезапного и при самых невероятных условиях протекавшего разрешения в феврале 1883 года от бремени — заключительная часть, та самая, из которой я цитировал несколько изречений в *Предисловии*, была дописана как раз в тот священный час, когда умер в Венеции Рихард Вагнер, — то оказывается восемнадцать месяцев беременности. Это число, именно восемнадцать месяцев, могло бы навести на мысль, по крайней мере среди буддистов, что я в сущности слон-самка. — Промежуточному времени принадлежит «*gaia scienza*», которая несет сто предзнаменований близости чего-то несравнимого; наконец она дает даже самое начало Заратустры, она дает в предпоследнем отрывке четвертой книги основную мысль Заратустры. — Этому же промежуточному времени принадлежит и тот *Гимн к жизни* (для смешанного хора и оркестра), партитура которого вышла два года тому назад у Э. В. Фрицша в Лейпциге: может быть, это — не малозначительный симптом для состояния этого года, когда *утверждающий* пафос *rag excellence*, названный мною трагическим пафосом, был мне присущ в наивысшей степени. Позднее его некогда будут петь в память обо мне. — Текст, отмечаю ясно, ибо по этому поводу распространено недоразумение, принадлежит не мне: он есть изумительное вдохновение молодой русской девушки, с которой я тогда был дружен, —



*Я шел в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего,  
пирамидально нагроможденного блока камней, недалеко от Сурлея,  
я остановился*

фрейлейн Лу фон Саломе. Кто сумеет извлечь вообще смысл из последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочел его и восхищался им: в них есть величие. Сстрадание не служит возражением против жизни: «Если у тебя нет больше счастья, чтобы дать мне его, ну что ж! *у тебя есть еще твоя мука...*»

Быть может, и в моей музыке в этом месте есть величие. — Следующую затем зиму я жил в той уютно тихой бухте Рапалло, недалеко от Генуи, которая врезается между Кьявари и мысом Портофино. Мое здоровье было не из лучших; зима выдалась холодная и чрезмерно дождливая; маленькая гостиница, расположенная у самого моря, так что ночью прилив просто лишал сна, представляла почти во всем противоположность желательного. Несмотря на это и почти в доказательство моего утверждения, что все выдающееся возникает «несмотря», в эту зиму и в этих неблагоприятных условиях возник мой Заратустра. — В дообеденное время я поднимался в южном направлении по чудесной улице вверх к Зоальи, мимо сосен и глядя далеко в море; после обеда, так часто, как только позволяло мое здоровье, я обходил всю бухту от Санта-Маргериты до местности, расположенной за Портофино. Эта местность и этот ландшафт сделали еще ближе моему сердцу благодаря той любви, которую чувствовал к ним император Фридрих III; случайно осенью 1886 года я был опять у этих берегов, когда он уже в последний раз посетил этот маленький забытый мир счастья. — На обеих этих дорогах пришел мне в голову весь первый Заратустра, и прежде всего сам Заратустра, как тип: точнее, он *снизошел на меня...*

## 2

Чтобы понять этот тип, надо сперва уяснить себе его физиологическую предпосылку; она есть то, что я называю *великим здоровьем*. Я не могу разъяснить это понятие лучше, более лично, чем я уже сделал это в одном из заключительных разделов пятой книги «*gaia scienza*». «Мы, новые, безымянные, труднодоступные, — говорится там, — мы, недоноски еще не доказанного будущего, — нам для новой цели потребно и новое средство, именно, новое здоровье, более крепкое, более умудренное, более цепкое, более отважное, более веселое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объеме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального «Средиземноморья», кто ищет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, равным образом у художника, у святого, у законодателя, у мудреца, у ученого, у благочестивого, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля, — тот прежде всего нуждается для этого в *великом здоровье* — в таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться!.. И вот же, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала, более храбрые, должно быть, чем этого требует благоразумие, подвергшиеся стольким кораблекрушениям и напастям, но, как сказано, более здоровые, чем хотели бы нам позволить, опасно здоровые, все вновь и вновь здоровые, — нам начинает казаться, будто мы, в вознаграждение за это, видим какую-то еще не открытую страну, границ которой никто еще не обозрел, некое по ту сторону всех прежних земель и уголков идеала, мир до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страш-



ным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя — ах! и мы уже ничем не можем насытиться! Как смогли бы мы, после таких перспектив и с таким ненасытным голодом на совесть и весть, довольствоваться еще *современным человеком*? Довольно скверно: но и невозможно, чтобы мы только с деланной серьезностью взирали и, пожалуй, даже вовсе не взирали на его почтеннейшие цели и надежды. Нам предносится другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонить, ибо ни за кем не признаем столь легкого *права на него*: идеал духа, который наивно, стало быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты и мощи играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого то наивысшее, в чем народ по справедливости обладает своим ценностным мерилom, означало бы уже опасность, упадок, унижение или, по меньшей мере, отдых, слепоту, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит *нечеловеческим*, скажем, когда он рядом со всей бывшей на земле серьезностью, рядом со всякого рода торжественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, морали и задаче изображает как бы их живейшую непроизвольную пародию, — и со всем тем, несмотря на все то, быть может, только теперь и появляется впервые *великая серьезность*, впервые ставится вопросительный знак, поворачивается судьба души, сдвигается стрелка, *начинается трагедия...*»

### 3

Есть ли у кого-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное понятие о том, что поэты сильных эпох называли *инспирацией*? В противном случае я хочу это описать. — При самом малом остатке суеверия действительно трудно защититься от представления, что ты только инкарнация, только рупор, только медиум сверхмощных сил. Понятие откровения в том смысле, что нечто внезапно с несказанной уверенностью и точностью становится *видимым*, слышимым и до самой глубины потрясает и опрокидывает человека, есть просто описание фактического состояния. Слышишь без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, — у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; частичная невменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действуют не как противоречие, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, охватывающий далекие пространства форм — продолжительность, потребность в *далеко напряженном* ритме, есть почти мера для силы вдохновения, своего рода возмещение за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности... Непроизвольность образа, символа есть самое замечательное; не имеешь больше понятия о том, что образ, что сравнение; все приходит как самое близкое, самое правильное, самое простое выражение. Действительно, кажется, вспоминая сло-



*Слышишь без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния,  
вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, —  
у меня никогда не было выбора*

ва Заратустры, будто вещи сами приходят и предлагают себя в символы. («Сюда приходят все вещи, ластясь к твоей речи и лстя тебе: ибо они хотят скакать верхом на твоей спине. Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам. Здесь раскрываются тебе слова и ларчики слов всякого бытия: здесь всякое бытие хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у тебя говорить —»). Это *мой* опыт инспирации; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать: «это и мой опыт». —

## 4

Потом я лежал несколько недель больной в Генуе. Вслед за этим последовала то-скливая весна в Риме, куда я переехал жить, — это было нелегко. В сущности меня сверх меры раздражало это самое неприличное для поэта Заратустры место на земле, которое я выбрал не добровольно; я пытался освободиться — я хотел в *Аквилу*, понятие, противоположное Риму, основанное из вражды к Риму, как и я когда-нибудь осную место, воспоминание об атеисте и враге церкви *comme il faut*, моем ближайшем родственнике, великом императоре Гогенштауфене, Фридрихе II. Но во всем этом был рок: я должен был вернуться. В конце концов я удовлетворился piazza Barberini, после того как меня утомили заботы об *антихристианской* местности. Боюсь, что однажды, во избежание по возможности дурных запахов, я справлялся даже на palazzo del Quirinale, нет ли там тихой комнаты для философа. В loggia, высоко над вышеназванной piazza, откуда виден Рим и слышно внизу журчание fontana, была создана самая одинокая песнь, какая когда-либо была создана, *Ночная песнь*; в это время носилась вокруг меня мелодия несказанной тоски, напев которой я снова нашел в словах: «мертвый от бессмертия»... Летом, вернувшись домой, к священному месту, где мне сверкнула первая молния мысли о Заратустре, я нашел вторую его часть. Десяти дней было достаточно; ни на первую, ни на третью и последнюю часть я ни в коем случае не употребил больше времени. В следующую затем зиму, под халкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестало впервые в моей жизни, нашел я третью часть Заратустры — и был готов. Меньше года хватило на все. Много заброшенных уголков и высот из ландшафта Ниццы освящены для меня незабвенными мгновениями; та решающая часть, которая носит название «О старых и новых скрижалях», была создана при труднейшем восхождении от станции к чудесному мавританскому горному гнезду Эца — ловкость мускулов была у меня всегда наибольшей, когда и творческая сила текла в изобилии. *Тело* одухотворено: оставим «душу» в покое... Меня часто видели танцующим; я мог тогда, без понятия об утомлении, быть пять-шесть часов в пути в горах. Я хорошо спал, я много смеялся — у меня была совершенная выносливость и терпение.

## 5

За вычетом этих десятидневных творений, годы во время и главным образом *после* Заратустры были несравненным бедствием. Дорого искупается — быть бессмертным: за это умираешь не раз живьем. — Есть нечто, что называю я злобой великого:



все великое, всякое творение, всякое дело, однажды содеянное, немедленно обращается против того, кто его содеял. Именно потому, что он его содеял, он *слаб* теперь, он не выдерживает больше своего дела, он не смотрит больше ему в лицо. Иметь *за* собой нечто, чего никогда не смел хотеть, нечто, в чем завязан узел в судьбе человечества, — и иметь это теперь *на* себе!.. Это почти придавливает... Злоба великого! — Второе, это ужасная тишина, которую слышишь вокруг себя. У одиночества семь шкур; ничто не проникает сквозь них. Приходишь к людям, приветствуешь друзей: новая пустыня, ни одного приветного взора. В лучшем случае нечто вроде возмущения. Такое возмущение, но в очень различной степени испытывал и я, и почти от каждого, кто был мне близок; кажется, ничто не оскорбляет глубже, чем если вдруг дать почувствовать дистанцию, — *благородные* натуры, которые не могут жить без глубокого почитания, бывают редки. — Третье — это абсурдная раздражительность кожи к маленьким уколам, своего рода беспомощность перед всем маленьким. Она кажется мне обусловленной той огромной тратой всех оборонительных сил, которая является предпосылкой всякого *творческого* действия, всякого действия, проистекающего из наиболее личного, наиболее интимного, наиболее сокровенного. *Маленькие* оборонительные силы как бы уничтожены; они не имеют никакого притока сил. — Я решаюсь еще указать, что ухудшается пищеварение, начинаешь неохотно двигаться, часто подвергаешься ознобу, также и чувству недоверия — того недоверия, которое во многих случаях есть простая этиологическая ошибка. В таком состоянии почувствовал я однажды приближение стада коров, прежде чем я увидел его, — благодаря возвращению более нежных, более человеколюбивых мыслей: в *этом* есть теплота...

## 6

Произведение это стоит совершенно особняком. Оставим в стороне поэтов; быть может, вообще никогда и ничто не было сотворено от равного избытка силы. Мое понятие «дионисическое» претворилось здесь в *наивысшее действие*; применительно к нему вся остальная человеческая деятельность выглядит бедной и условной. Какой-нибудь Гёте, какой-нибудь Шекспир ни минуты не могли бы дышать в этой атмосфере чудовищной страсти и высоты, Данте в сравнении с Заратустрой есть только верующий, а не тот, кто *создает* впервые истину, *управляющий миром* дух, рок, — поэты Веды суть только священники, и не достойны даже развязать ремни башмаков Заратустры; но все это есть еще минимум и не дает никакого понятия о той дистанции, о том *лазурном* одиночестве, в котором живет это произведение. У Заратустры есть вечное право сказать: «я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; все меньше поднимающихся со мною на все более высокие горы; я строю хребет из все более священных гор». Пусть соединят воедино дух и доброту всех великих душ: и совокупно не были бы они в состоянии произнести хотя бы одну речь Заратустры. Велика та лестница, по которой он поднимается и спускается; он дальше видел, дальше хотел, дальше *мог*, чем какой бы то ни было другой человек. Он противоречит каждым словом, этот самый утверждающий из всех умов; в нем все противоположности связаны в новое единство. Самые высшие и самые низшие силы человеческой натуры, самое сладкое, самое легкомысленное и самое страшное с бессмертной уверенностью струятся у него из *единого* источника. До него не знали, что такое глубина, что такое





*Маленькие оборонительные силы как бы уничтожены; они не имеют  
никакого притока сил*

высота, еще меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении истины, которое было бы уже предвосхищено, угадано *кем-либо* из величайших. Не было мудрости, не было исследования души, не было искусства говорить до Заратустры; самое близкое, самое повседневное говорит здесь о неслыханных вещах. Сентенция дрожит от страсти; красноречие стало музыкой; молнии сверкают в не разгаданное доселе будущее. Самая могучая сила образов, какая когда-либо существовала, является убожеством и игрушкой по сравнению с этим возвращением языка к природе образности. — А как Заратустра спускается с гор и говорит каждому самое доброжелательное! Как он даже своих противников, священников, касается нежной рукой и вместе с ними страдает из-за них! —

Здесь в каждом мгновении преодолевается человек, понятие «сверхчеловека» становится здесь высшей реальностью, — в бесконечной дали лежит здесь все, что до сих пор называлось великим в человеке, лежит ниже его. О халкионическом начале, о легких ногах, о совмещении злобы и легкомыслия и обо всем, что вообще типично для типа Заратустры, никогда еще никто не мечтал как о существенном элементе величия. Заратустра именно в этой шире пространства, в этой доступности противоречиям чувствует себя *наивысшим проявлением всего сущего*; и когда услышат, как он это определяет, откажутся от поисков ему равного.

— душа, имеющая очень длинную лестницу и могущая опуститься очень низко, —

— душа самая обширная, которая далеко может бегать, блуждать и метаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность, —

— душа сущая, которая погружается в становление; имущая, которая *хочет* войти в волю и в желание, —

— убегающая от себя самой и широкими кругами себя догоняющая; душа самая мудрая, которую тихонько приглашает к себе безумие, —

— наиболее себя любящая, в которой все вещи находят свое течение и свое противотечение, свой прилив и отлив —

*Но это и есть понятие самого Диониса.* — Именно к нему приводит еще и другое размышление. Психологическая проблема в типе Заратустры заключается в вопросе, каким образом тот, кто в неслыханной степени говорит Нет, *делает* Нет всему, чему до сих пор говорили Да, может, несмотря на это, быть противоположностью отрицающего духа; каким образом дух, несущий самое тяжкое бремя судьбы, роковую задачу, может, несмотря на это, быть самым легким и самым потусторонним — Заратустра есть танцор, — каким образом тот, кто обладает самым жестоким, самым страшным познанием действительности, кто продумал «самую бездонную мысль», не нашел, несмотря на это, возражения против существования, даже против его вечного возвращения, — напротив, нашел еще одно основание, чтобы *самому быть* вечным утверждением всех вещей, «говорить огромное безграничное Да и Аминь»... «Во все бездны несусь свое благословляющее утверждение»... *Но это и есть еще раз понятие Диониса.*

## 7

Каким языком будет говорить подобный дух, когда ему придется говорить с самим собою? Языком дифирамба. Я изобретатель *дифирамба*. Пусть послушают, как говорит Заратустра с самим собою *перед восходом солнца*: таким изумрудным счастьем, такой божественной нежностью не обладал еще ни один язык до меня.

Даже глубочайшая тоска такого Диониса все еще обращается в дифирамб; я беру в доказательство *Ночную песнь* — бессмертную жалобу того, кто из-за преизбытка света и власти, из-за своей *солнечной* натуры обречен не любить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь только пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.

Я — свет; ах, если бы быть мне ночью! Но в том и одиночество мое, что опоясан я светом.

Ах, если бы быть мне темным и ночным! Как упивался бы я сосцами света!

И даже вас благословлял бы я, вы, звездочки, мерцающие, как светящиеся червяки, на небе! — и был бы счастлив от ваших даров света.

Но я живу в своем собственном свете, я вновь поглощаю пламя, что исходит из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто мечтал я о том, что красть должно быть еще блаженнее, чем брать.

В том моя бедность, что моя рука никогда не отдыхает от дарения; в том моя зависть, что я вижу глаза, полные ожидания, и просветленные ночи тоски.

О горе всех, кто дарит! О затмение моего солнца! О алкание желаний! О ярый голод среди пресыщения!

Они берут у меня; но затрагиваю ли я их душу? Целая пропасть лежит между дарить и брать; но и через малейшую пропасть очень трудно перекинуть мост.

Голод вырастает из моей красоты; причинить страдание хотел бы я тем, кому я свечу, ограбить хотел бы одаренных мною — так алчу я злобы.

Отдернуть руку, когда другая рука уже протягивается к ней; медлить, как водопад, который медлит в своем падении, — так алчу я злобы.

Такое мщенье измышляет мой избыток; такое коварство рождается из моего одиночества.

Мое счастье дарить замерло в дарении, моя добродетель устала от себя самой и от своего избытка!

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздает, у того рука и сердце натирают себе мозоли от постоянного раздавания.

Мои глаза не делаются уже влажными перед стыдом просящих; моя рука слишком огрубела для дрожания рук наполненных.

Куда же девались слезы из моих глаз и пушок из моего сердца? О одиночество всех дарящих! О молчаливость всех светящихся!

Много солнц вращается в пустом пространстве; всему, что темно, говорят они своим светом — для меня молчат они.

О, в этом и есть вражда света ко всему светящемуся: безжалостно проходит он своими путями.





*Но я живу в своем собственном свете, я вновь поглощаю пламя,  
что исходит из меня*



Несправедливое в глубине сердца ко всему светящемуся, равнодушное к другим солнцам — так движется всякое солнце.

Как буря, несутся солнца своими путями, в этом — движение их. Своей неумолимой воле следуют они, в этом — холод их.

О, это вы, темные ночи, создасте теплоту из всего светящегося! О, только вы пьете молоко и усладу из сосцов света!

Ах, лед вокруг меня, моя рука обжигается об лед! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждою тьмы! И одиночеством!

Ночь: теперь рвется, как родник, мое желание — желание говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного. —

## 8

Так никогда не писали, никогда не чувствовали, никогда не *страдали*: так страдает бог, Дионис. Ответом на такой дифирамб солнечного уединения в свете была бы *Ариадна*... Кто, кроме меня, знает, что такое *Ариадна*!.. Ни у кого до сих пор не было разрешения всех подобных загадок, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь даже видел здесь загадки. — Заратустра определил однажды со всей строгостью свою задачу — это также и моя задача, — так что нельзя ошибиться в *смысле*: он есть *утверждающий* вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего.

Я хожу среди людей, как среди обломков будущего, — того будущего, что вижу я.

И в том мое творчество и стремление, чтобы собрать и соединить воедино все, что является обломком, загадкой и ужасной случайностью.

И как мог бы я быть человеком, если бы человек не был также поэтом, отгадчиком и избавителем от случая!

*Спаси тех, кто миновали*, и преобразить всякое «было» в «так хотел я» — лишь это я назвал бы избавлением.

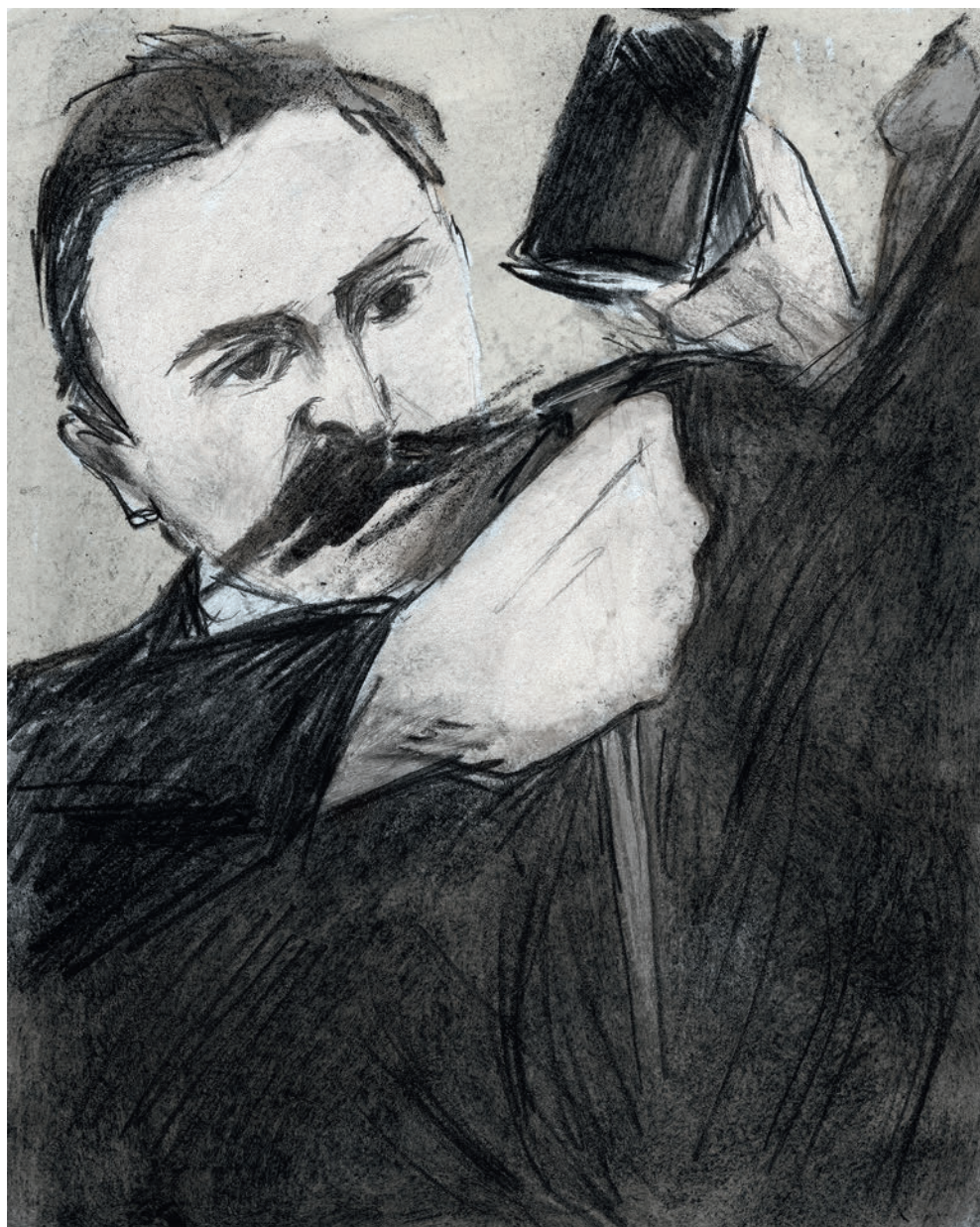
В другом месте он со всей возможной строгостью определяет, чем может быть для него «человек» — *ни* предметом любви, ни даже предметом сострадания, — и над *великим отращиванием* к человеку стал Заратустра господином: человек для него есть бесформенная масса, материал, безобразный камень, требующий еще ваятеля.

Не *хотеть* больше, не *ценить* больше и не *созидать* больше: ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой!

Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем *воля к рождению*.

Прочь от Бога и богов тянула меня эта воля: и что осталось бы созидать, если бы боги — существовали!

Но всегда к человеку влечет меня сызнова пламенная воля моя к созиданию; так устремляется молот на камень.



*Но всегда к человеку влечет меня сызнова пламенная воля моя к созиданию;  
так устремляется молот на камень*

Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, образ моих образов! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!

*Теперь дико устремляется мой молот на свою тюрьму.* От камня летят куски; какое мне дело до этого?

Завершить хочу я этот образ: ибо тень подошла ко мне — самая молчаливая, самая легкая приблизилась ко мне!

Красота сверхчеловека приблизилась ко мне, как тень. Что мне теперь — до богов!..

Я отмечаю последнюю точку зрения: подчеркнутая строфа дает доступ к ней. Для *дионисической* задачи твердость молота, *радость даже при уничтожении*, принадлежит решительным образом к предварительным условиям.

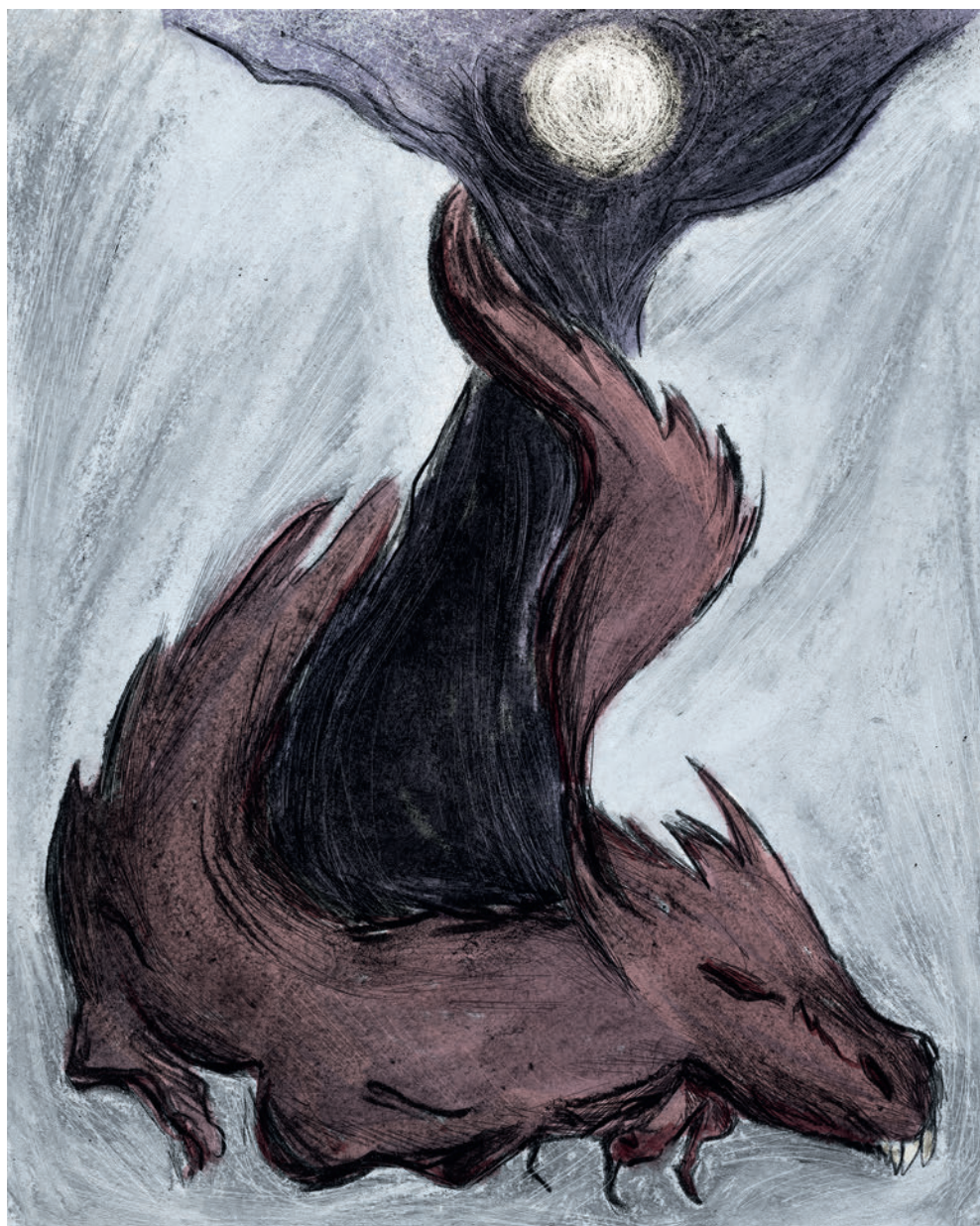
Императив: «станьте тверды!», самая глубокая уверенность в том, что все *созидающие тверды*, есть истинный отличительный признак дионисической натуры.

**По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего.** Задача для воспоследовавших затем лет была предначертана со всей возможной строгостью. После того как утверждающая часть моей задачи была разрешена, настала очередь негативной, *негактивной* (neintuende) половины: переоценка бывших до сего времени ценностей, великая война — заклинание решающего дня. Сюда относятся и осторожный взгляд, ищущий близких, таких, которые из силы протянули бы мне руку для *разрушения*. — С этих пор все мои сочинения суть рыболовные крючки; возможно, я лучше кого-либо знаю толк в рыбной ловле?.. Если ничего не *ловилося*, то это не моя вина. *Не было рыбы...*

## 2

Эта книга (1886) во всем существенном есть *критика современности*, не исключая и современных наук, современных искусств, даже современной политики, наряду с указаниями, отсылающими к противоположному типу, который отмечен решительным минимумом современности, к благородному, утверждающему типу. В этом последнем смысле книга представляет собою *школу gentilhomme*, беря названное понятие более духовно и *более радикально*, чем его брали когда-либо. Нужно иметь мужество во плоти, чтобы выдержать его, нужно не знать страха... Все вещи, которыми так гордится наш век, пережиты здесь как противоречие этому типу, почти как дурные манеры, например знаменитая «объективность», «сочувствие ко всему страждущему», «историческое чувство» с его раболепством перед чужим вкусом, с его ползанием на животе перед *petits faits*, «научность». — Если вспомнить, что эта книга следует за Заратустрой, то легко угадать тот диететический *régime*, которому она обязана своим возникновением. Глаз, избалованный чудовищной принудительностью быть *дальнозорким* — Заратустра дальновиднее самого царя, — вынужден здесь остро схватывать ближайшее, время, *обстание*. Во всех отношениях, и прежде всего в форме, легко найти как бы *добровольный* разрыв с теми инстинктами, из которых стал возможным Заратустра. Рафинированность в форме, в замысле, в искусстве *молчать* стоит здесь на переднем плане, психология трактуется с намеренной твердостью и жестокостью — книга отклоняет всякое добродушное слово... На всем этом можно отдохнуть: впрочем, кто угадает, *какого* рода отдых нужен после такой траты доброты, как Заратустра?.. Говоря теологически — пусть прислушиваются, ибо я редко говорю как теолог, — сам Бог улегся в конце своего трудового дня, подобно змее, под дерево познания: так отдыхал он от обязанности быть Богом... Он сотворил все слишком прекрасным... Дьявол есть только праздность Бога в каждый седьмой день...





*...сам Бог улегся в конце своего трудового дня, подобно змее, под древо познания: так отдыхал он от обязанности быть Богом... Он сотворил все слишком прекрасным...*

**ГЕНЕАЛОГИЯ МОРАЛИ. ПОЛЕМИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ.** Три рассмотрения, из которых состоит эта генеалогия, быть может, с точки зрения выражения, цели и искусства изумлять есть самое злое, что до сих пор было написано. Дионис, как известно, есть также бог мрака. — Каждый раз начало, которое *должно* вводить в заблуждение, — холодное, научное, даже ироническое, нарочито выпирающее, нарочито останавливающее на себе. Постепенно больше беспокойства; местами молнии; очень неприятные истины, слышные издали с глухим рокотом, — пока наконец не достигается tempo feroce, где все мчится вперед с чудовищным напряжением. В конце, каждый раз, среди поистине ужасных раскатов, *новая* истина становится видимой среди густых туч. — Истина *первого* рассмотрения есть психология христианства: рождение христианства из духа ressentiment, а не из «духа», как часто думают, — по существу движение назад, великое восстание против господства *аристократических* ценностей. *Второе* рассмотрение дает психологию совести: она не есть «голос Бога в человеке», как часто думают, — она есть инстинкт жестокости, обращенный назад, внутрь, после того как он уже не может разрядиться вовне. Жестокость впервые освещается здесь как одно из самых старых и самых неустранимых оснований культуры. *Третье* рассмотрение дает ответ на вопрос, откуда происходит чудовищная *власть* аскетического идеала, идеала священника, несмотря на то что он есть идеал *вредный* par excellence, воля к гибели, идеал *décadence*. Ответ: *не* потому, что Бог действует за спиной священников, как обыкновенно думают, а *faute de mieux* — потому, что это был до сих пор единственный идеал, ибо он не имел конкурентов. «Ибо человек предпочитает хотеть Ничто, чем ничего не хотеть»... Прежде всего недоставало *противоидеала* — *вплоть до Заратустры*. — Меня поняли. Здесь три решающие предварительные работы психолога для переоценки всех ценностей. —

Эта книга содержит первую психологию священника.

**Сумерки идолов. Как философствуют молотом.** Это сочинение менее чем в 150 страниц, веселое и зловещее по тону, демон, который смеется, — произведение столь немногих дней, что я стесняюсь назвать их число, — является вообще исключением среди книг: нет ничего более богатого содержанием, более независимого, более опрокидывающего — более злого. Если хотят вкратце составить себе понятие о том, как до меня все стояло вверх ногами, пусть начинают с этого сочинения. То, что называется *идолом* на титульном листе, есть попросту то, что называли до сих пор истиной. *Сумерки идолов* — по-немецки: старая истина приходит к концу...

## 2

Нет ни одной реальности, ни одной «идеальности», которая в этом сочинении не была бы затронута (затронута: какой осторожный евфемизм!...). Не только *вечные* идолы, но и самые молодые, следовательно, самые хилые. «Современные идеи», например. Великий ветер проносится между деревьями, и всюду падают плоды — истины. В этом расточительность слишком богатой осени: спотыкаешься об истины, некоторые из них даже придавлены насмерть — до того их много... Но то, что остается в руках, то не загадочно более, это уже решения. У меня впервые в руках масштаб для «истин», я впервые *могу* решать. Как если бы во мне выросло *второе сознание*, как если бы «воля» зажгла во мне свет для себя над *кривою* тропой, по которой она до сих пор спускалась вниз... *Кривая* тропа — ее называли путем к «истине»... Кончилось всякое «темное стремление», именно *добрый* человек меньше всего смыслил в настоящем пути... И, говоря вполне серьезно, никто до меня не знал настоящего пути, пути *вверх*: только с меня начинаются снова надежды, задачи, предписывающие пути культуры, — *я их благостный вестник*. Именно поэтому являюсь я роком...

## 3

Непосредственно за окончанием только что названного произведения и не теряя ни одного дня приступил я к чудовищной задаче *Переоценки*, с чувством царской гордости, с которым ничто не может сравниться, каждую минуту сознавая свое бессмертие и высекая с уверенностью рока знак за знаком на медных скрижалях. Предисловие появилось 3 сентября 1888 года: когда утром, после написания его, я вышел на воздух, предо мною был самый прекрасный день, какой когда-либо показывал мне Верхний Энгадин, — прозрачный, сверкающий красками, вмещающий в себя все контрасты и нюансы между льдом и Югом. — Лишь 20 сентября покинул я Сильс-Марию, задержанный наводнениями и в конце концов оставшийся единственным гостем этого чудесного места, которому благодарность моя приносит в дар бессмертное имя. После путешествия, полного случайностей и даже опасности для жизни в залитом водою Комо, которого я достиг лишь глубокой ночью, я прибыл 21-го днем в Турин, мое *доказанное* место, мою резиденцию отныне. Я снял ту самую квартиру, которую занимал весною, на via Carlo Alberto 6, III против колоссального palazzo Carignano, где родился Vittorio Emanuele, с видом на piazza Carlo Alberto и за ним далее на страну холмов. Не колеблясь и не давая ни на минуту отвлечь себя, вернулся я к работе: оставалось еще написать последнюю четверть произведения. 30 сентября день великой победы; седьмой день; отдых Бога на берегах По. В тот же день написал я еще *предисловие* к «Сумеркам идолов», корректура их печатных листов была моим отдыхом в сентябре. — Я никогда не переживал такой осени, даже никогда не считал что-нибудь подобное возможным на земле — Клод Лоррен, продуманный в бесконечное, каждый день — день равного беспредельного совершенства. —





*Великий ветер проносится между деревьями,  
и всюду падают плоды — истины*

**КАЗУС ВАГНЕР. ПРОБЛЕМА МУЗЫКАНТА.** Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки как от открытой раны. Отчего страдаю я, страдая от судьбы музыки? — Оттого, что музыка лишена своего миропрославляющего, утверждающего характера, — оттого, что она сделалась музыкой *décadence* и уже перестала быть свирелью Диониса... Но если кто-нибудь, подобно мне, чувствует в деле музыки *собственное* дело, историю *собственных* страданий, то он найдет это сочинение все еще слишком снисходительным, слишком мягким. Быть веселым в таких случаях и добродушно высмеивать попутно самого себя — *ridendo dicere severum*, — где *verum dicere* оправдало бы всякую суровость, — это сама гуманность. Кто собственно сомневается в том, что я, как старый артиллерист, могу выкатить против Вагнера мое *тяжелое* орудие? — Все решительное в этом деле я оставил при себе — я любил Вагнера. — Впрочем, в смысле и на пути моей задачи лежит нападение на более тонкого «незнакомца», которого другой не легко разгадает — о, мне предстоит открыть еще совсем иных «незнакомцев», чем какого-то Калиостро музыки, — и конечно же более сильное нападение на становящуюся в духовном отношении все более и более трусливой и бедной инстинктами, все более и более делающуюся *почтенной* немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства желудка проглатывает «веру» вместе с научностью, «христианскую любовь» вместе с антисемитизмом, волю к власти (к «Империи») вместе с *évangile des humbles*... Это безучастие среди противоположностей! Эта пищеварительная нейтральность и это «бескорыстие»! Этот здравый смысл немецкого *нёба*, которое всему дает равные права, — которое все находит вкусным... Без всякого сомнения, немцы — идеалисты... Когда я в последний раз посетил Германию, я нашел немецкий вкус озабоченным предоставлением равных прав Вагнеру и трубачу из Экингена; я сам был свидетелем того, как в Лейпциге, в честь самого настоящего и самого немецкого музыканта в старом смысле слова, а не только в смысле имперского немца, мейстера *Генриха Шютца*, был основан ферейн Листа с целью развития и распространения извилистой церковной музыки... Без всякого сомнения, немцы — идеалисты...

## 2

Но здесь ничто не должно помешать мне стать грубым и сказать немцам несколько жестких истин: *кто делает это кроме меня?* — Я говорю об их непристойности in historicis. Немецкие историки не только утратили *широкий взгляд* на ход, на ценности культуры, но все они являются шутами политики (или церкви): они даже *подвергают остракизму* этот широкий взгляд. Надо прежде всего быть «немцем», «расой», тогда уже можно принимать решения о всех ценностях и не-ценностях in historicis — устанавливать их... «Немецкое» есть аргумент, «Deutschland, Deutschland über alles» есть принцип, германцы суть «нравственный миропорядок» в истории; по отношению к imperium Romanum — носители свободы, по отношению к восемнадцатому столетию — реставраторы морали, «категорического императива»... Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская, — существует *придворная* историография, и господину фон Трейчке не стыдно... Недавно, в качестве «истины», обошло все немецкие газеты идиотское мнение in historicis, тезис, к счастью, усопшего эстетического шваба Фишера, с которым *должен-де согласиться* всякий немец: «Ренессанс и Реформация вместе образуют одно целое — эстетическое возрождение и нравственное возрождение». — При таких тезисах мое терпение приходит к концу, и я испытываю желание, я чувствую это даже как обязанность — сказать наконец немцам, что у них уже лежит на совести. *Все великие преступления против культуры за четыре столетия лежат у них на совести!*.. И всегда по одной причине: из-за их глубокой *трусости* перед реальностью, которая есть также трусость перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, неправдивости, из-за их «идеализма»... Немцы лишили Европу жатвы, смысла последней *великой* эпохи, эпохи Ренессанса, в тот момент, когда высший порядок ценностей, когда аристократические, жизнеутверждающие и обеспечивающие будущее ценности достигли победы в самой резиденции противоположных ценностей, *ценностей упадка*, — и вплоть до инстинктов тех, кто там находился! Лютер, этот роковой монах, восстановил церковь и, что в тысячу раз хуже, христианство в тот момент, *когда оно было побеждено*... Христианство, это ставшее религией *отрицание воли к жизни*... Лютер, невозможный монах, который по причине своей «невозможности» напал на церковь и — следовательно! — восстановил ее... У католиков было бы основание устраивать празднества в честь Лютера, сочинять театральные представления в честь Лютера... Лютер — и «нравственное возрождение»! К черту всю психологию! — Без сомнения, немцы-идеалисты. — Дважды, когда с огромным мужеством и самопреодолением был достигнут правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления, немцы сумели найти окольные пути к старому «идеалу», к примирению между истиной и «идеалом», в сущности к формулам на право отклонения от науки, на право *лжи*. Лейбниц и Кант — это два величайших тормоза интеллектуальной правдивости Европы! — Наконец, когда на мосту между двумя столетиями *décadence* явилась *force majeure* гения и воли, достаточно сильная, чтобы создать из Европы единство, политическое и *экономическое* единство, в целях управления земель, немцы с их «войнами за свободу» лишили Европу смысла, чудесного смысла в существовании Наполеона, — оттого-то все, что пришло после, что существует теперь, — лежит у них на совести: эта самая *враждебная культуре* болезнь и безумие, какие только возможны, — национализм, эта *péngrose nationale*, которой больна Европа, это увековечение маленьких государств Европы, *маленькой* политики: они ли-



шили самое Европу ее смысла, ее разума — они завели ее в тупик. — Знает ли кто-нибудь, кроме меня, путь из этого тупика?.. Задача достаточно великая — снова *связать* народы?..

## 3

И в конце концов, почему бы не предоставить слова моему подозрению? Немцы и в моем случае опять испробуют все, чтобы из чудовищной судьбы родить мышь. Они до сих пор компрометировали себя во мне, я сомневаюсь, что в будущем им удастся это лучшим образом. — Ах, как хочется мне быть здесь *плохим* пророком!.. Моими естественными читателями и слушателями уже и теперь являются русские, скандинавы и французы, — будет ли их постоянно все больше? — Немцы вписали в историю познания только двусмысленные имена, они всегда производили только «бессознательных» фальшивомонетчиков (Фихте, Шеллингу, Шопенгауэру, Гегелю, Шлейермахеру приличествует это имя в той же мере, что и Канту и Лейбницу; все они только делатели покрывал<sup>1</sup>): они никогда не дождутся чести, чтобы первый *правдивый* ум в истории мысли, ум, в котором истина произносит свой суд над подделкой монет в течение четырех тысячелетий, был отождествлен с немецким духом. «Немецкий дух» — это *мой* дурной воздух: я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности in psychologistic, которую выдает каждое слово, каждая мина немца. Они не прошли вовсе через семнадцатый век сурового самоиспытания, как французы, — какой-нибудь Ларошфуко, какой-нибудь Декарт во сто раз превосходят правдивостью любого немца, — у них до сих пор не было ни одного психолога. Но психология есть почти масштаб для *чистоплотности* или *нечистоплотности* расы... И если нет чистоплотности, как может быть *глубина*? У немца, как у женщины, не добраться до основания, *он лишен его*: вот и все. Но при этом нельзя быть даже плоским. — То, что в Германии называется «глубоким», есть именно этот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я и говорю: нет никакого *желания* разобраться в себе. Не могу ли я предложить слово «немецкий» как международную монету для обозначения *этой* психологической испорченности? — В настоящий момент, например, немецкий кайзер называет своим «христианским долгом» освобождение рабов в Африке: среди нас, *других* европейцев, это называлось бы просто «немецким» долгом... Создали ли немцы хоть одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что глубоко в книге. Я познакомился с учеными, которые считали Канта глубоким; при прусском дворе, я боюсь, считают глубоким господина фон Трейчке. А когда я при случае хвалю Стендаля, как глубокого психолога, случается, что немецкий университетский профессор просит назвать это имя по слогам...

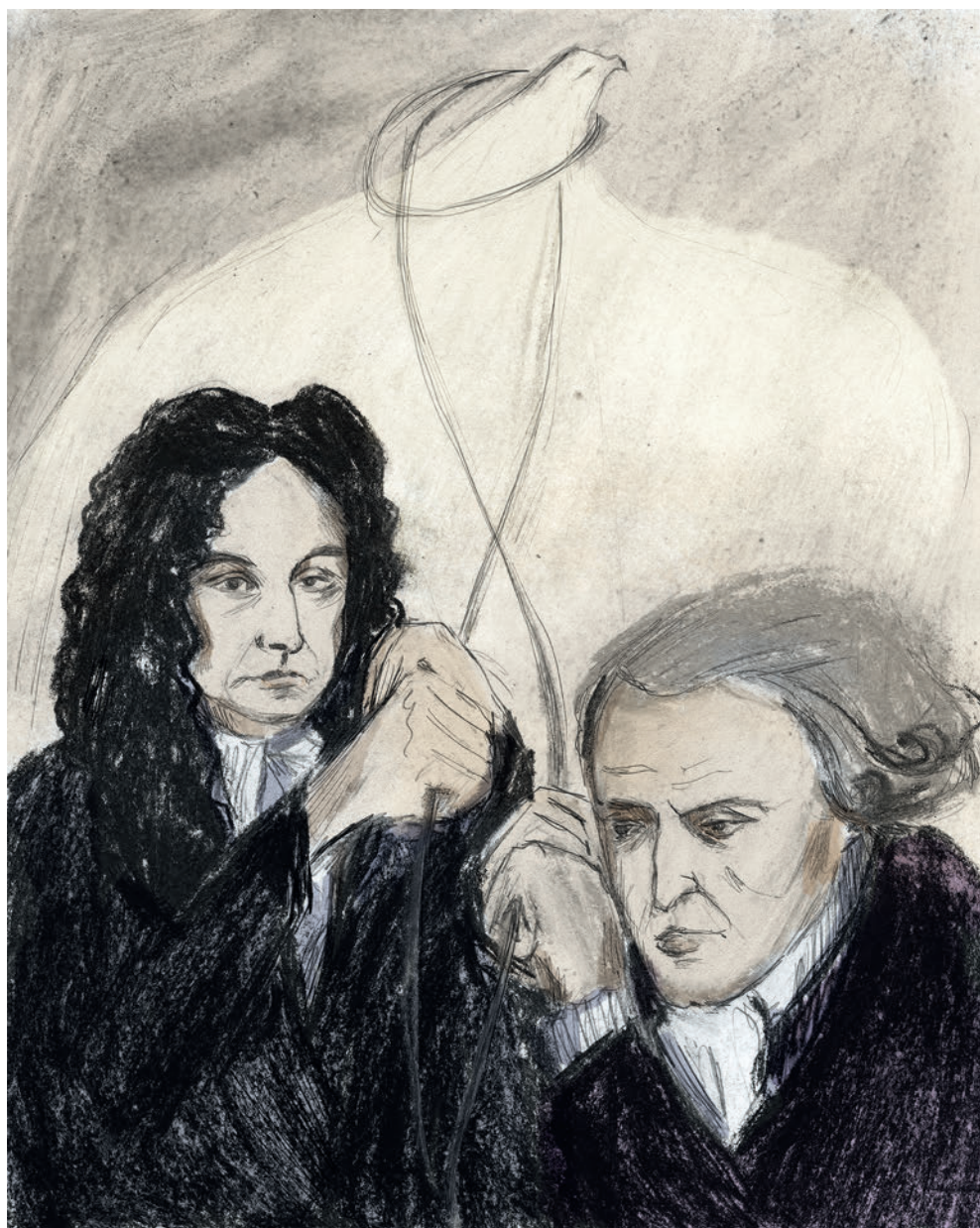
## 4

И почему бы мне не идти до конца? Я люблю убирать со стола. Слыть человеком, презирающим немцев *par excellence*, принадлежит даже к моей гордости. Свое *недоверие* к немецкому характеру я выразил уже двадцати шести лет (Третье Несвоевре-

---

<sup>1</sup> Непередаваемая игра слов: Шлейермахер в переводе — делатель покрывал. — Ю. А.





*Лейбниц и Кант — это два величайших тормоза  
интеллектуальной правдивости Европы!*

менное) — немцы для меня невозможны. Когда я измышляю себе род человека, противоречащего всем моим инстинктам, из этого всегда выходит немец. Первое, в чем я «испытываю утробу» человека, — вопрос: есть ли у него в теле чувство дистанции, видит ли он всюду ранг, степень, порядок между человеком и человеком, *умеет ли он различать*: этим отличается *gentilhomme*; во всяком ином случае он безнадежно принадлежит к великодушному, ах! добродушному понятию *canaille*. Но немцы и есть *canaille* — ах! они так добродушны... Общение с немцами унижает: немец *становится на равную ногу*... За исключением моих отношений с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа... Если представить себе, что среди немцев явился самый глубокий ум всех тысячелетий, то какая-нибудь спасительница Капитолия вообразила бы себе, что и ее непрекрасная душа по крайней мере также принимается в расчет... Я не выношу этой расы, среди которой находишься всегда в дурном обществе, у которой нет пальцев для *puances* — горе мне! Я есть *puance*, — у которой нет *esprit* в ногах и которая даже не умеет ходить... У немцев в конце концов вовсе нет ступней, у них только ноги... У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы, но это есть суперлатив пошлости — они не *стыдятся* даже быть только немцами... Они говорят обо всем, они считают самих себя решающей инстанцией, я боюсь, что даже обо мне они уже приняли решение... Вся моя жизнь есть доказательство *de rigueur* для этих положений. Напрасно я ищу хотя бы одного признака такта, *délicatesse* в отношении меня. Евреи давали их мне, немцы — никогда. Моя природа хочет, чтобы я в отношении каждого был мягок и доброжелателен, — у меня есть *право* на то, чтобы не делать различий, — это не мешает, однако, чтобы у меня были открыты глаза. Я не делаю исключений ни для кого, меньше всего для своих друзей, — я надеюсь в конце концов, что это не нанесло никакого ущерба моей гуманности в отношении их. Есть пять-шесть вещей, из которых я всегда делал себе вопрос чести. — Несмотря на это, остается верным, что каждое из писем, полученных мною в течение лет, я ощущаю как цинизм: в доброжелательстве ко мне больше цинизма, чем в какой-нибудь ненависти... Я говорю в лицо каждому из моих друзей, что он никогда не утруждал себя *изучением* хотя бы одного из моих сочинений: я узнаю по мельчайшим чертам, что они даже не знают, что там написано. Что касается особенно моего Заратустры, то кто из моих друзей увидел бы в нем больше, чем недозволенную, к счастью, совершенно безразличную самонадеянность?... Десять лет: и никто в Германии не сделал себе долга совести из того, чтобы защитить мое имя от абсурдного умолчания, под которым оно было погребено; лишь иностранец, датчанин, впервые обнаружил достаточную тонкость инстинкта и *смелости* и возмутился против моих мнимых друзей... В каком немецком университете были бы возможны нынче лекции о моей философии, которые читал в Копенгагене последней весной и этим еще раз доказанный психолог д-р Георг Брандес? — Я сам никогда не страдал из-за всего этого; *необходимое* не оскорбляет меня; *amor fati* есть моя самая внутренняя природа. Но это не исключает того, что я люблю иронию, даже всемирно-историческую иронию. И вот же, почти за два года до разрушительного удара молнией *Переоценки*, которая повергнет землю в конвульсии, я послал в мир «Казус Вагнер»: пусть же немцы еще раз бессмертно ошибутся во мне и *увечивчат* себя! для этого как раз есть еще время! — Достигнуто ли это? — Восхитительно, господа германцы! Поздравляю вас...





*Я люблю убирать со стола. Слыть человеком, презиравшим немцев par excellence,  
принадлежит даже к моей гордости*

**Почему являюсь я роком.** Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном — о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, предпринятом *против* всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит. — И при всем том во мне нет ничего общего с основателем религии — всякая религия есть дело черни, я вынужден мыть руки после каждого соприкосновения с религиозными людьми... Я не *хочу* «верующих», я полагаю, я слишком злобен, чтобы верить в самого себя, я никогда не говорю к массам... Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь *святым*; вы угадаете, почему я *наперед* выпускаю эту книгу: она должна помешать, чтобы в отношении меня не было допущено насилия... Я не хочу быть святым, скорее шутом... Может быть, я и есмь шут... И не смотря на это или, скорее, несмотря на это — ибо до сих пор не было ничего более лживого, чем святые, — устами моими глаголет истина. — Но моя истина *ужасна*: ибо до сих пор ложь называлась истиной. — *Переоценка всех ценностей* — это моя формула для акта наивысшего самосознания человечества, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы я был первым *приличным* человеком, чтобы я признавал себя в противоречии с ложью тысячелетий... Я первый открыл истину через то, что я первый ощутил — *вынюхал* — ложь как ложь... Мой гений в моих ноздрях... Я противоречу, как никогда никто не противоречил, и, несмотря на это, я противоположность отрицающего духа. Я *благодетельный вестник*, какого никогда не было, я знаю задачи такой высоты, для которой до сих пор не доставало понятий; впервые с меня опять существуют надежды. При всем том я по необходимости человек рока. Ибо когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут сотрясения, судороги землетрясения, перемещение гор и долин, какие никогда не снились. Понятие политики совершенно растворится в духовной войне, все формы власти старого общества взлетят в воздух — они покоятся все на жи: будут войны, каких еще никогда не было на земле. Только с меня начинается на земле *большая политика*. —





*Я не хочу быть святым, скорее шутом... Может быть, я и есмь шут...*

## 2

Вы хотите формулы для такой судьбы, которая становится человеком? — Она представлена в моем Заратустре.

— и кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.

Так принадлежит высшее зло к высшему благу, а это благо есть творческое.

Я гораздо более ужасный человек, чем кто-либо из существовавших до сих пор; это не исключает того, что я буду самым благодетельным. Я знаю радость *уничтожения* в степени, соразмерной моей *силе* уничтожения — в том и другом я повинуюсь своей дионисической натуре, которая не умеет отделять отрицания от утверждения. Я первый *иммориалист*: поэтому я *истребитель* par excellence. —

## 3

Меня не спрашивали, меня должны были бы спросить, что собственно означает в моих устах, устах первого иммориалиста, имя *Заратустры*: ибо то, что составляет чудовищную единственность этого перса в истории, является прямой противоположностью мне. Заратустра первый увидел в борьбе добра и зла истинное колесо в движении вещей — перенесение морали в метафизику, как силы, причины, цели в себе, есть *его* дело. Но этот вопрос был бы в сущности уже и ответом. Заратустра *создал* это роковое заблуждение, мораль: следовательно, он должен быть первым, кто *познает* его. Не только потому, что он имеет здесь более долгий и богатый опыт, чем всякий другой мыслитель; вся история есть не что иное, как экспериментальное опровержение тезиса о «нравственном миропорядке», — гораздо важнее то, что Заратустра правдивее всякого другого мыслителя. Его учение, и только оно одно, считает правдивость высшей добродетелью — это значит, противоположностью *трусости* «идеалиста», который обращается в бегство перед реальностью; у Заратустры больше мужества в теле, чем у всех мыслителей вместе взятых. Говорить правду и *хорошо стрелять из лука* — такова персидская добродетель. Понимают ли меня?.. Самопреодоление морали из правдивости, самопреодоление моралиста в его противоположность — в *меня* — это и означает в моих устах имя Заратустры.

## 4

В сущности в моем слове *иммориалист* заключаются два отрицания. Я отрицаю, во-первых, тип человека, который до сих пор считался самым высоким, — *добрых, доброжелательных, благодетельных*; я отрицаю, во-вторых, тот род морали, который, как мораль сама по себе, достиг значения и господства, — мораль *décadence*, говоря осязательнее, *христианскую* мораль. Можно на второе отрицание смотреть как на более решительное отрицание, ибо слишком высокая оценка доброты и доброжелательства в общем есть для меня уже следствие *décadence*, симптом слабости, несовместимый с восходящей и утверждающей жизнью: в утверждении отрицание и *унич-*

*тожение* суть условия. — Я останавливаюсь прежде всего на психологии доброго человека. Чтобы оценить, чего стоит данный тип человека, надо высчитать цену, во что обходится его сохранение, — надо знать его условия существования. Условие существования добрых есть *ложь*: выражаясь иначе, *нежелание* видеть во что бы то ни стало, какова в сущности действительность; я хочу сказать, она *не* такова, чтобы каждую минуту вызывать доброжелательные инстинкты, еще менее, чтобы допускать ежеминутное вмешательство близоруких добродушных рук. Смотреть на *бедствия* всякого рода как на возражение, как на нечто, что подлежит *уничтожению*, есть *niaiserie* par excellence, есть вообще истинное несчастье по своим последствиям, роковая глупость, — почти столь же глупая, как глупа была бы воля, пожелавшая уничтожить дурную погоду, — из-за сострадания, например, к бедным людям... В великой экономике целого ужасы реальности (в аффектах, желаниях, в воле к власти) в неизмеримой степени более необходимы, чем эта форма маленького счастья, так называемая доброта; надо быть очень снисходительным, чтобы последней — ибо она обусловлена инстинктом лживости — уделять вообще место. У меня будет серьезный повод доказать чрезмерно зловещие последствия *оптимизма*, этого исчадия *homines optimi*, для всей истории. Заратустра был первый, кто понял, что оптимист есть такой же *décadent*, как и пессимист, и, пожалуй, еще более вредный; он говорит: «*Добрые люди никогда не говорят правды. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые все извратили и исказили до самого основания*». К счастью, мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нем свое узкое счастье; требовать, чтобы всякий «добрый человек», всякое стадное животное было голубоглазо, доброжелательно, «прекраснодушно», или, как этого желает господин Герберт Спенсер, альтруистично, значило бы отнять у существования его *великий* характер, значило бы кастрировать человечество и низвести его к жалкой китайщине. — *И это пытались сделать!.. Именно это называлось моралью...* В этом смысле именует Заратустра добрых то «последними людьми», то «началом конца»; прежде всего он понимает их как *самый вредный род людей*, ибо они отстаивают свое существование за счет *истины*, равно как и за счет *будущего*.

Ибо добрые — не могут *созидать*: они всегда начало конца —  
— они распинают того, кто пишет *новые* ценности на новых скрижалях, они приносят *себе* в жертву будущее — они распинают все человеческое будущее!  
Добрые — были всегда началом конца...  
И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир, — *вред добрых самый вредный вред*.

## 5

Заратустра, первый психолог добрых, есть — следовательно — друг злых. Когда упадочный род людей восходит на ступень наивысшего рода, то это может произойти только за счет противоположного им рода, рода сильных и уверенных в жизни людей. Когда стадное животное сияет в блеске самой чистой добродетели, тогда исключительный человек должен быть оценкою низведен на ступень злого. Когда лживость

во что бы то ни стало овладевает для своей оптики словом «истина», тогда все действительно правдивое должно носить самые дурные имена. Заратустра не оставляет здесь никаких сомнений; он говорит: познание добрых, «лучших» было именно тем, что внушило ему ужас перед человеком; из *этого* отвращения выросли у него крылья, чтобы «улететь в далекое будущее», — он не скрывает, что *его* тип человека есть сравнительно сверхчеловеческий тип, сверхчеловечен он именно в отношении *добрых*, добрые и праведные назвали бы его сверхчеловека *дьяволом*...

Вы, высшие люди, каких встречал мой взор! в том сомнение мое в вас и тайный смех мой: я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека — дьяволом!

Так чужда ваша душа всего великого, что вам сверхчеловек был бы *страшен* в своей доброте...

Из этого места, а не из какого другого следует исходить, чтобы понять, чего хочет Заратустра: тот род людей, который он конципирует, конципирует реальность, *как она есть*: он достаточно силен для этого — он не отчужден, не отдален от нее, он и есть *сама реальность*, он носит в себе все, что есть в ней страшного и загадочного, *только при этом условии в человеке может быть величие*...

## 6

— Но еще и в другом смысле я избрал для себя слово *имморалист*, как мой отличительный знак, как мой почетный знак; я горд тем, что у меня есть это слово, выделяющее меня из всего человечества. Никто еще не чувствовал христианскую мораль *ниже* себя; для этого нужна была высота, взгляд в даль, до сих пор еще совершенно неслыханная психологическая глубина и бездонная пропасть. Христианская мораль была до сих пор Цирцеей всех мыслителей — они были у нее в услужении. — Кто до меня спускался в пещеры, откуда несется кверху ядовитое дыхание от этого рода идеала — *клеветы на мир*? Кто хотя бы только осмеливался предчувствовать, что это пещеры? Кто вообще до меня был среди философов *психологом*, а не его противоположностью, «мошенником более высокого порядка», «идеалистом»? До меня еще не было никакой психологии. — Здесь быть первым может оказаться проклятием, во всяком случае это рок: *ибо и презираешь, как первый*... *Отвращение* к человеку есть моя опасность...

## 7

Поняли ли меня? — Что меня отделяет, что отстраняет меня от всего остального человечества, так это то, что я *открыл* сущность христианской морали. Поэтому я нуждался в слове, которое имело бы значение вызова всем.

Что здесь не раскрыли глаз раньше, я считаю это величайшей нечистоплотностью, какая только имеется у человечества на совести, самообманом, обращенным в инстинкт, принципиальной волей *не* видеть ничего происходящего, никакой причинности, никакой действительности, фабрикацией фальшивых монет in psychologicis,





*К счастью, мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нем свое узкое счастье...*

доведенной до преступления. Слепота перед христианством есть *преступление* *par excellence* — преступление *против жизни*... Тысячелетия, народы, первые и последнее, философы и старые бабы — за исключением пяти-шести моментов истории и меня, как седьмого, — все стоят друг друга в этом отношении. Христианин был до сих пор «моральным существом», *curiosum* вне сравнения, а *как* «моральное существо» был более абсурдным, более лживым, более тщеславным, более легкомысленным и *более вредным самому себе*, чем это могло бы присниться даже величайшему из презирающих человечество. Христианская мораль — самая злостная форма воли к лжи, истинная Цирцея человечества: то, что его *испортило*. *Не* заблуждение как заблуждение возмущает меня в этом зрелище, — *не* тысячелетнее отсутствие «доброй воли», дисциплины, приличия, мужества в духовном отношении, которое обнаруживается в его победе: меня возмущает отсутствие естественности, тот совершенно невероятный факт, что сама *противоестественность* получила, как мораль, самые высокие почести, осталась висеть над человечеством как закон, как категорический императив!.. В такой мере ошибаться, *не* как отдельный человек, *не* как народ, но как человечество!.. Учили презирать самопервейшие инстинкты жизни; *выдумали* «душу», «дух», чтобы посрамить тело; в условии жизни, в половой любви, учили переживать нечто нечистое; в глубочайшей необходимости для развития, в *суровом* эгоизме (— уже одно это слово было хулою! —), искали злого начала; и напротив, в типичном признаке упадка, в сопротивлении инстинкту, в «бескорыстии», в утрате равновесия, в «обезличивании» и «любви к ближнему» (— одержимости ближним!) видели высочайшую ценность, что говорю я! — *ценность как таковую!*.. Как! Значит, само человечество в *décadence*? и было ли оно в нем всегда? — Что твердо установлено, так это только то, что его *учили* лишь ценностям декаданса, как высшим ценностям. Мораль самоотречения есть мораль упадка *par excellence*, факт «я погибаю» перемещен здесь в императив: «вы все *должны* погибнуть» — и *не только* в императив!.. Эта единственная мораль, которой до сих пор учили, мораль самоотречения, изобличает волю к концу, она *отрицает* жизнь в глубочайших основаниях. — Здесь остается открытой возможность, что не человечество в упадке, а только паразитический класс людей, *священников*, которые благодаря морали долгались до звания определителей его ценностей, которые угадали в христианской морали свое средство к власти... И на самом деле, *мое* мнение таково: учителя, вожди человечества, все теологи были вместе с тем и *décadents*: *отсюда* переоценка всех ценностей в нечто враждебное жизни, *отсюда* мораль... *Определение морали*: мораль — это идиосинкразия *décadents*, с задней мыслью *отомстить жизни* — и с успехом. Я придаю ценность *этому* определению. —

## 8

Поняли ли меня? — Я не сказал здесь ни одного слова, которого я не сказал бы уже пятью годами раньше устами Заратустры. — *Открытие* христианской морали есть событие, которому нет равного, действительная катастрофа. Кто ее разясняет, тот *forse* та же *роке*, рок, — он разбивает историю человечества на две части. Живут *до* него, живут *после* него... Молния истины поразила здесь именно то, что до сих пор стояло выше всего; кто понимает, *что* здесь уничтожено, пусть посмотрит, есть ли у него





*...он разбивает историю человечества на две части.  
Живут до него, живут после него...*

вообще еще что-нибудь в руках. Все, что до сих пор называлось «истиной», признано самой вредной, самой коварной, самой подземной формой лжи; святой предлог «улучшить» человечество признан хитростью, рассчитанной на то, чтобы *высосать* самую жизнь, сделать ее малокровной. Мораль как *вампиризм*... Кто открыл мораль, открыл тем самым негодность всех ценностей, в которые верят или верили; он уже не видит ничего достойного почитания в наиболее почитаемых, даже объявленных *святыми* типах человека, он видит в них самый роковой вид уродов, *ибо они очаровывали*... Понятие «Бог» выдуманно как противоположность понятию жизни — в нем все вредное, отравляющее, клеветническое, вся смертельная вражда к жизни сведены в ужасающее единство! Понятие «по ту сторону», «истинный мир» выдуманы, чтобы обесценить *единственный* мир, который существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности? Понятия «душа», «дух», в конце концов даже «бессмертная душа» выдуманы, чтобы презирать тело, чтобы сделать его больным — «святым», чтобы всему, что в жизни заслуживает серьезного отношения, вопросам питания, жилища, духовной диеты, ухода за больными, чистоплотности, климата, противопоставить ужасное легкомыслие! Вместо здоровья «спасение души» — другими словами, *folie circulaire*, начиная с судорог покаяния до истерии искупления! Понятие «греха» выдуманно вместе с принадлежащим сюда орудием пытки, понятием «свободной воли», чтобы спутать инстинкт, чтобы недоверие к инстинктам сделать второю натурой! В понятии человека «бескорыстного», «самоотрекающегося» истинный признак *décadence*, *податливость* всему вредному, неумение найти свою пользу, саморазрушение обращены вообще в признак ценности, в «долг», «святость», «божественность» в человеке! Наконец — и это самое ужасное — в понятие *доброто* человека включено все слабое, больное, неудачное, страдающее из-за самого себя, все, *что должно погибнуть*, — нарушен закон *отбора*, сделан идеал из противоречия человеку гордому и удачному, утверждающему, уверенному в будущем и обеспечивающему это будущее — он называется отныне *злым*... И всему этому верили *как морали*! — *Ecrasez l'infame!* —

## 9

— Поняли ли меня? — *Дионис против Распятого*...



# ВЕСЕЛАЯ НАУКА

(La gaya scienza)

Перевод  
А. Николаева

Я у себя живу  
И никого себе примером не беру.  
И если вы, решишь учить других,  
Бессильны осмеять себя самих,  
То сами вы достойны смеха.

*Надпись над моею дверью*

## Предисловие ко второму немецкому изданию

### 1

Можно было бы дать здесь не одно, а несколько предисловий; но я сомневаюсь, чтобы путем предисловий мы достигли чего-нибудь существенного. В самом деле, мы ведь все-таки будем не в силах при помощи их приблизить к пережитому над вопросами, выдвинутыми в этой книге, того, кто никогда не переживал ничего подобного. Она вся как бы написана на языке теплого ветерка: что-то зазорное, беспокойное, противоречивое, непостоянное слышится в ней; каждому здесь одинаково чувствуется и близость зимы, и победа над этой зимой, которая идет, должна прийти и, быть может, уже наступила... Благодарность вырывается непрерывно, как будто бы случилось что-то крайне неожиданное, и это — благодарность человека выздоравливающего, ибо неожиданностью-то и было выздоровление. «Веселая наука», название это указывает на сатурналии духа, который долгое время терпеливо выдерживал на себе страшный гнет — терпеливо, сурово и холодно, не покоряясь ему, но и не питая надежды от него освободиться; и вот сразу осенила его надежда на выздоровление, да и самое упоение здоровьем. И тут-то вот — к нашему удивлению — в надлежащем освещении выступает много такого, что было неразумного и прямо-таки глупого, умышленно расточается много нежности на вопросы колючие, которые обыкновенно не вызывают к себе теплого, внимательного отношения. Вся книга эта сплошь представляет из себя праздник после продолжительного периода всякого рода лишений и бессилия; является ликованием возвращающейся силы, вновь пробудившейся веры в завтра и послезавтра, внезапного чувства и предчувствия будущего, близкой удачи, моря, вновь очистившего свою поверхность ото льда, целей, которые было позволено поставить снова и которые снова возбудили к себе доверие. А что осталось зади меня! Пустота, изнурение, неверие в юности; старость не вовремя; тирания физического страдания, которое уступило место тирании гордости, отрицавшей все выводы, сделанные под влиянием страдания — а ведь выводы эти



*...каждому здесь одинаково чувствуется и близость зимы, и победа над этой зимой,  
которая идет, должна прийти и, быть может, уже наступила...*

были утешением, — полное одиночество, как личная оборона против человеконенавистничества, ставшего до болезненности ясновидящим; принципиальное ограничение себя в области знания тем, что есть в нем горького, тяжкого, болезненного, как это предписывало отвращение, которое разрослось постепенно под влиянием неразумной духовной диеты и потворства — известных под именем романтизма, — о, кто бы мог, подобно мне, прочувствовать все это! Да, тот простил бы мне не только мою безумную, распушенную «веселую науку», он простил бы мне и ту горстку песней, которую я прибавил на этот раз к своей книге — песней, в которых поэт почти непростительным образом издевается над всеми поэтами. Но увы! не на одних поэтов и их прекрасные «лирические настроения» должен излить свою злобу этот вновь воскресший человек: кто знает, какой жертвы он ищет, какое чудовище пародии прельстит его в ближайшем будущем? «*Incipit tragoedia*»<sup>1</sup> — вот то заключение, которое звучит в конце этой рискованной, но неопровержимой книги (*dieses bedenklichunbedenlichen*): берегись! Возвещается что-то изумительно скверное и злое, и нет сомнения, что *incipit parodia*.<sup>2</sup>

## 2

Но оставим г. Ницше в покое: что нам за дело, что он, г. Ницше, снова стал здоровым?.. У психолога немного еще столь интересных вопросов, как вопрос о соотношении между здоровьем и философией; вот почему даже к своей собственной болезни он присматривается с чисто научным любопытством. Личность и философию ее связывают обыкновенно неразрывно, но не надо забывать тех различий, которые обыкновенно здесь наблюдаются. У одного философия слагается под давлением его нужды, у другого — под влиянием его богатства и силы. Первый чувствует известную потребность иметь свою собственную философию как точку опоры, как средство, которое даст ему возможность успокоиться, излечиться, освободиться, возвыситься, уйти от самого себя; у второго она является роскошью, в лучшем случае сладострастием торжествующей признательности, которая в конце концов должна быть начертана громадными космическими буквами на небесах идеи. Но каково же будет творчество той мысли, которая находится под гнетом болезни? — а ведь именно чаще и бывает так, что та или другая философская система определяется состоянием крайней необходимости. Именно это мы и наблюдаем у больных мыслителей, каковые в истории философии представляют из себя, быть может, подавляющее большинство. Психологам приходится сталкиваться с этим вопросом, и он, надо заметить, не выходит из сферы экспериментальной психологии.

Представьте себе путника, который, внушив себе проснуться к определенному часу, спокойно отдается сну: так же и мы, философы, отдаемся на время душою и телом болезни, как только допустим, что мы начинаем заболеть, — и равнодушно закрываем глаза на все, что находится перед нами. И как путник знает, что нечто не спит, а отсчитывает часы и разбудит его, так и мы уверены, что решительный момент найдет нас бодрствующими, что нечто тогда выдвинется вперед и застанет наш дух

<sup>1</sup> Начинается трагедия (лат.). Здесь и далее примечания Р. В. Грищенкова.

<sup>2</sup> Начинается пародия (лат.).



на работе, будет ли то слабость, регресс, покорность, ожесточение, помрачение или как еще там иначе называются все те болезненные состояния духа, против которых в моменты здоровья выступает гордость (ведь и в старинных немецких стихах певали: «самыми гордыми существами на земле будут гордый дух, павлин да конь»). И после такого самовопрошания, самоиспытания, человек глубже проникает во все, что до сих пор входило в область его философского мышления: он лучше, чем это было раньше, угадывает все непроизвольные отклонения, закоулки, остановки и солнечные места мысли, куда страдающий мыслитель попадал просто как страдающая личность; он теперь уже знает, куда больное тело и его потребности гонят, толкают, заманивают его дух, — на солнце, к покою, кротости, терпению, излечению, утехе в каком бы то ни было смысле этого слова. Всякая философия, которая мир ставит выше войны; всякая этика со своими отрицательными определениями понятия о счастье; всякая метафизика и физика, которым известны финал, конечное состояние чего бы то ни было; всякое сильное эстетическое или религиозное стремление к чему-то постороннему, лежащему по ту сторону, вне, свыше, — дает нам право задать вопрос, не было ли болезненным состоянием все то, что вдохновляло философа. Бессознательное замаскирование физиологических потребностей, которые у нас прячутся под покровом Объективного, Идеального, Чистодуховного, доходит до крайних пределов, — и я часто задавал себе вопрос, не представляла ли, говоря вообще, вся философия до настоящего времени просто изъяснение и непонимание потребностей тела. За самыми ценными из тех суждений, которые намечают ход истории мысли, кроется непонимание физических свойств нашего тела, по отношению ли к индивиду, сословию или даже целой расе. И все эти смелые, безумные выходки метафизики, а в особенности все ее ответы на вопрос о ценности бытия, следовало бы считать симптомом известных телесных состояний; и если все эти положительные и отрицательные суждения о мире с научной точки зрения и не имеют никакого значения, то во всяком случае для историка и психолога они являются весьма ценными намеками, как сказано, в качестве симптома, указывающего на удачи и неудачи нашего тела, на те избытки, силу, самовластие, которые ему в истории выпадают на долю, или же на те препятствия, утомление и оскудение, которые гнетут его, на предчувствие близкого конца и истощение воли.

Я всегда ждал, что тот истинный врачеватель — философ, который найдет радикальное средство для всех народов, времен, рас, для всего человечества, — будет иметь достаточно мужества, чтобы выставить мое подозрение всем на вид и отважиться провозгласить такое положение: во всех философских системах в настоящее время речь идет не об «истине, а о чем-то совершенно ином, например, о здоровье, будущности, росте, силе, жизни...

### 3

Вы уже догадываетесь, что я не мог быть неблагодарным к тому тяжелому периоду хилости, все преимущества которого и поныне еще не вполне мною исчерпаны; я не мог чувствовать к нему неблагодарности, когда достаточно ясно сознал, какое преимущество представляет мое обильное всякими переменами здоровье перед людьми, обладающими дюжим духом. Философ, который был много раз здоровым и вы-

здоровливает все снова и снова, прошел в то же время столько же и философских систем; он только придает каждый раз своему состоянию известную духовную форму и отдаляется от него на известное духовное расстояние. Вот искусство такой трансфигурации и есть именно философия. И мы, философы, далеко не так свободно отделяем душу от тела, как делает это толпа, но еще меньше остается нам свободы, когда нам приходится отделять душу от духа. Ведь мы не лягушек размышляющих представляем из себя; ведь мы являемся не каким-нибудь аппаратом с холодными внутренностями, который объективно регистрирует окружающие его явления. Ведь мы навсегда обречены из глубины страдания производить на свет свои мысли и с материнской заботливостью отдавать им всю свою кровь, сердце, огонь, страсть, страдание, совесть, судьбу. Жить для нас — значит превращать в свет и пламя все, чем мы обладаем; такой же участи мы подвергаем и то, что нам встречается на пути. И вот относительно болезни мне сильно хочется задать вопрос: да разве, говоря вообще, она будет излишней? Ведь только сильная боль является последней освободительницей духа, ибо только она одна умеет дать то великое истолкование, которое из каждого U делает X, настоящий, правильный X, предпоследнюю букву алфавита.

...Только великая боль, та затяжная боль, во время которой мы сгораем, как на костре, заставляет нас, философов, спуститься на самую глубину и отстранить от себя всякое доверие, всякое добродушие, снять всякое покрывало, отказаться от всякой снисходительности, от всего срединного, — одним словом, ото всего, в чем раньше мы, быть может, полагали все наше человеческое достоинство. Я сомневаюсь, чтобы такая боль делала человека лучшим, чем он был прежде — но я знаю, что она делает его более глубоким. Научимся ли мы противопоставлять ей нашу гордость, наше издевательство, всю силу нашей воли и будем похожи на индейца, который при самых страшных мучениях отвечает своему мучителю злобными выходками; или же перед лицом этого страдания обратимся к тому небытию Востока — Нирване, — к той немой, неподвижной глухой покорности, самозабвению, саморастворению, — все равно из такого продолжительного и опасного господства над самим собою выходишь совершенно новым человеком, у которого несколько лишних вопросительных знаков, который стремится глубже, строже, упорнее, злее и спокойнее ставить вопросы, чем это делалось раньше. В том и заключается доверие к жизни, что сама жизнь стала проблемой. — И нельзя поверить, чтобы человек при этом неизбежно становился унылым и мрачным! Ведь возможна еще даже любовь к жизни, но только любите вы эту жизнь теперь по-иному. Вы любите ее так, как любите женщину, возбуждающую у вас к себе подозрение... Но та прелесть, которую представляют все эти проблемы, та радость, которую открывают все эти X, слишком велика у таких одухотворенных и воодушевленных людей, и это радостное настроение ярким пламенем поднимается постоянно над всеми требованиями, которые поставлены проблемами, над всеми опасностями, которые выдвигаются необеспеченностью положения, даже над тою ревностью, которую ощущает в себе любовник. Мы познаем тогда новое счастье.

## 4

Не забудем, однако, указать на самое существенное: из этого омута, из этого тяжкого состояния хилости и дряблости, из этого тяжкого и болезненного подозрения

человек выходит перерожденным: с него теперь как бы снята кожа, он становится восприимчивее ко всякому соприкосновению и злее, к чувству радости он проявляет более тонкий вкус, язык его сделался нежнее для всего хорошего, в своей радости он приобретает вторую, еще более опасную, невинность — одним словом он стал в одно и то же время и наивнее, и в сто раз хитрее, чем был когда бы то ни было раньше. И как противны становятся ему те грубые, бездушные, серенькие наслаждения наших ликующих «образованных», богатых и командующих классов. С какою злостью прислушиваемся мы теперь к той громадной ярмарочной суете, среди которой «образованный человек» и крупные городские центры настоящего времени позволяют принуждать себя к «духовным наслаждениям» при помощи произведений искусства, книг и музыки и при благосклонном содействии спиртных напитков! Как болезненно действуют на наш слух эти театральные выкрики страдания; сколь чуждой становится нашему чувству вся эта романтическая суматоха и путаница чувств, которую так любит образованная чернь, когда втягивает в себя возвышенное, приподнятое, напыщенное! Нет, если нам и в здоровом состоянии нужно какое-нибудь искусство, то это будет уже совершенно иное искусство — это будет насмешливое, легкое, подвижное, божественно спокойное, божественно изящное искусство, которое ярким пламенем запыхает на прояснившемся небе! Искусство прежде всего для служителей его, и только для его служителей! А затем мы даже лучше художников знаем, что для этого необходимо радостное чувство, радостное чувство во всем. И, как художник, я хотел бы доказать это. Есть вещи, которые мы, люди разумеющие, слишком хорошо знаем: о, если бы мы научились теперь, подобно служителям искусства, забывать и ничего не ведать! И в будущем вы едва ли снова встретите нас на пути тех египетских юношей, которые ночью нарушают в храме его торжественную и таинственную обстановку: обнимают статуи, раскрывают, обнажают и выставляют на свет все, что с полным основанием было скрыто. Нет, у нас отбило охоту к таким приемам, мы знаем, что это дурной вкус, мы не хотим гнаться во что бы то ни стало за истиной, у нас уж нет такого юношеского легкомыслия в любви к истине: для этого мы уже слишком опытни, слишком серьезны, слишком радостны, слишком глубоки, и слишком часто для этого мы обжигались... Мы уже более не верим, чтобы истина все-таки оставалась истиной даже после того, как мы снимем с нее покрывало; мы достаточно пожили, чтобы верить в это. Теперь уже в силу приличия мы не стремимся видеть все обнаженным, непременно всюду присутствовать, все понимать и «знать». Иногда лучше с уважением относиться к той стыдливости, с которой природа прячется за загадками и пестрой неизвестностью. Быть может, истина и есть та женщина, которая не без причины не показывает своих оснований. Уже не Баубо<sup>1</sup> ли имя ее по-гречески?... О, греки эти! Они умели жить: для этого надо было храбро оставаться на поверхности, в изгибах, на самом верху, боготворить мир, призраков, верить в формы, тоны, в слова, в целый Олимп призраков! Греки эти, несмотря на всю свою глубину, были людьми поверхностными. А разве не к тому же приходим мы, смельчаки, кото-

<sup>1</sup> Баубо — простая жительница Элевсина (что неподалеку от Афин), удосужившаяся радостно принять у себя в доме богиню плодородия Деметру, которая была вне себя от горя, утратив дочь Персефону, похищенную Аидом. Стремясь хоть как-то отвлечь Деметру от горестных мыслей, Баубо приготовила для нее особое питье — кикеон, а затем исполнила несколько малопристойных танцев, чем и впрямь позабавила богиню — так представлена эта история в «Увещаниях» Климента Александрийского (III в.).

рые отважно взобрались на самые высокие и на самые опасные вершины современной мысли и, оглянувшись вокруг себя, посмотрели вниз? Разве мы в этом отношении не те же греки? Не те же поклонники формы, тонов и слова? А потому и не те же служители искусства?

*Рута возле Генуи, осень 1886 г*



## **ШУТКА, ЛУКАВСТВО И МЕСТЬ** **(пролог в немецких рифмах)**

### **Приглашение**

Рискните вы, вкушающие, отведать моей пищи!  
И уже на следующий день вы найдете ее более приятной.  
А через день еще будете считать ее вкусным блюдом!  
И если вы тогда пожелаете еще и еще,  
То ведь старые мои произведения  
Вдохновляют меня на новый труд.

### **Мое счастье**

С тех пор, как в поисках блуждать я утомился,  
Конец всему, приискивать я научился.  
С тех пор, как ветер противный я встречаю,  
По всем ветрам свой парус распускаю.

### **Неустршимый**

Глубоко рой там, где пришлось тебе стоять!  
Ведь в недрах клад!  
И темным людям предоставь кричать:  
Внутри земли повсюду ад!

### Разговор

А. Был я болен? а теперь здоров?  
Кто ж лечил тогда меня!  
Как забыл все это я!  
  
Б. Верю я, что ныне, друг, ты излечился:  
Ведь здоров лишь тот, кто забыть все научился!

### Добродетельным

Доблестям нашим должно двигаться так же легко,  
Как Гомера стихи совершают движенья свои.

### Благоразумие

Средь поля ровного не стой  
И в высь далеко не стремись!  
Ведь с половинной высоты  
Прекрасней выглядит наш мир.

### Vade mecum — Vade tecum

Мой нрав и речь моя влекут тебя ко мне,  
И ты уже готов идти и ты уже идешь за мной?  
Но нет! останься верен сам себе и следуй только за самим собой;  
Тогда, хотя и медленно, но все же ты пойдешь за мной.

### При третьей смене кожи

Уж кожа у меня коробится и рвется,  
И снова требует желудок пищи.  
Земли так много потребляет он.  
И вот между камней и трав зигзагами  
Ползу я, голодом томимая,  
Чтобы ту же пищу—землю пожирать,  
Которую всегда я раньше ела.

### Мои розы

Да! в счастье своем мне хочется  
Сделать счастливым каждого!



*И темным людям предоставь кричать:  
Внутри земли повсюду ад!*

Хотите и вы сорвать мои розы?  
Стан свой нагнуть вам придется и скрыться  
Между скалой и стеною терновника дикого,  
В сердце своем затаивши желание жадное!  
Ведь счастье мое любит злую насмешку!  
Ведь счастье мое любит всякие козни!  
Хотите ли вы сорвать мои розы?

### Презирующий

Мое презрение к миру и людям вы видите  
Лишь в том, что ко многому всегда я равнодушен был.  
Но равнодушием таким ведь также обладает тот,  
Кто полным кубком пьет, —  
Так будьте вы и о вине того же мнения.

### Словами пословицы

Кроткий и резкий, грубый и нежный,  
Друг и чужак, грязный и чистый — вот я каков.  
Мудрый и глупый ко мне на свиданье спешат. —  
Я же хотел бы быть сразу  
Голубем, змеем и кабаном.

### Любителю просвещения

Если ты не хочешь глаз и чувство утомить,  
То за ярким солнцем должен ты в тени следить.

### Танцору

Рай — гладкий лед лишь для того,  
Кто танцует хорошо.

### Мужественный

Лучше выточить из целого куска вражду,  
Чем по частичкам склеить дружбу.



### **Ржавчина**

Нужна и ржавчина бывает иногда:  
Ведь мало острым быть еще всегда,  
«Он слишком юн», гласит молва тогда.

### **Вверх**

Если хочешь до верха горы ты пробраться,  
То, не думая, должен лишь этою целью задаться.

### **Изречение властного человека**

Плач и слезы ты оставь!  
Брать себе все предоставь!

### **Скудные духом**

Мне ненавистны убогие духом:  
Ведь нет в них ни добра, ни худа.

### **Непроизвольный обольститель**

Слово пустое в пространстве он бросил себе на забаву,  
Но в женское сердце влило оно тогда же отраву.

### **К сведению**

Ведь легче боль двойную перенести, чем раз страдать?  
Так не решишься ль ты ее принять?

### **Против тщеславия**

Не будь надменным: ничтожная насмешка  
— Поставит тебя на место.

### **Мужчина и женщина**

«Ту женщину, которая тебе пришлась по сердцу, себе похить».  
Так думает мужчина, а женщина не грабит, а крадет.

### Объяснение

Чтоб объяснить себе, мне надо внутрь уйти,  
А потому я не в силах быть комментатором своим.  
Но всякий, кто стоит на собственном своем пути,  
Выносит и меня с собой на божий свет.

### Лекарство для пессимистов

Увы, плачешь, друг, что к жизни вкус потерял?  
Не старые ль капризы это?  
Я слышу: ты клеветешь, поднимаешь шум, плюешься?—  
Терпение истощилось у меня!  
Последуй же совету моему. Решись скорее  
И проглоти ты жабу пожирнее.  
От диспепсии вылечишь тогда себя.

### Просьба

Знакомо чувство мне иных людей,  
А самого себя не знаю я.  
Хоть очень близок глаз ко мне,  
Но я не то, что вижу или видел.  
А если бы захотел я оказать себе услугу лучшую,  
То должен был бы сесть как можно дальше от себя.  
Хотя не так далеко, как враг мой,  
Но все же далеко сидит ближайший друг! —  
А между ним и мною середина!  
Ну, догадайтесь же, о чем прошу я вас?

### Моя твердость

Я должен прочь уйти за сто ступеней,  
Я должен громко звать вперед:  
«Ты тверд, а разве ты из камня?»  
Я должен прочь уйти за сто ступеней,  
И в то же время никто ступенью для меня не мог бы быть.

### Путник

Нет больше тропы! Вкруг бездны зияют!  
И звуки жизни мертвой тишины теперь уж не смущают!  
Ведь ты ж того хотел! Ведь доброй волей

с проторенной тропы ушел ты в горы!  
Ну, что же, путник? Пусть будет ясно на душе,  
и холодно бросай вокруг ты взоры!  
Потерян верный путь! И веришь сам, опасности не избежать!

### Утешение начинающему

Посмотрите на беспомощное дитя,  
Когда оно попадет со своими искривленными ножками  
в стадо хрюкающих свиней!  
Ему остается плакать, и только плакать, —  
И думается вам: неужели оно научится когда-нибудь стоять и ходить?  
Не бойся, вскоре увидишь ты его танцующим!  
Сначала оно научится стоять на двух ногах,  
А потом будет ходить и на голове.

### Эгоизм звезд

Если б я не вращалась непрерывно  
По замкнутой орбите вокруг себя,  
То как бы следовать могла я  
За жарким солнцем и не сгореть?

### Ближний

Я не люблю, чтобы возле меня находился мой ближний:  
Пусть он уходит себе в высь и даль!  
Иначе как мог бы он стать моей путеводной звездой?

### Замаскированное благочестие

Чтобы не угнетать нас своим счастьем,  
Ты облекся в бесовское одеяние  
И отпускаешь адские остроты.  
Но все напрасно:  
Во взоре твоём так и светится благочестие.

### Раб

А. Зачем в смущении он стал?  
Что слух его теперь смутило?

Что ухо чуткое там уловило?  
Зачем так духом он упал?  
Б. Кто раз носил ярмо оков,  
Тот всюду слышит лязг цепей!

### Одинокий

Мне ненавистно одинаково вести людей и следовать за кем-нибудь.  
Повиноваться? — Нет. Но также и не править!  
Кто не внушает ужаса себе, тот и другим не страшен:  
Ведь только страхом можно стать вожатаем толпы.  
Но даже и собой руководить противно мне!  
Хотелось бы, подобно диким зверям или вольным детям моря,  
Забиться хоть на миг один,  
Мечтам своим отдаться на свободе,  
И прихорашиваться лишь только для себя.

### Seneca et hoc genus omne

Пишет и пишет свой невыносимый мудрый вздор (Larifari)  
Как будто бы и надо было *primum scribere, deinde philosophari*.

### Лед

Да! иногда готовяю лед я:  
Пищеваренью помогает он.  
И если бы нужно было вам усвоить много,  
То как бы полюбили вы мои лед! .

### Предосторожность

Не безопасно путнику теперь быть в той стране,  
И если дух есть у тебя, пусть он удвоит осторожность.  
Тебя привлекают и любят до тех нор, пока не растерзают.  
Здесь рой духов, а духа нет!

### Летом

Будем ли в поте лица вкушать мы свой хлеб?  
Но по мнению мудрых врачей от того он не будет вкуснее.  
Вот переливает своими огнями Сириус, куда он манит?  
В поте лица своего будем пить мы вино!



### Без зависти

Вы почитаете его за то, что он ни к кому не питает чувства зависти?  
Но он ведь не обращает ни малейшего внимания на все ваши почести.

### Основание всего тончайшего

Лучше на цыпочках, чем на четырех!  
Лучше в замочную скважину, чем в открытые двери!

### Добрый совет

Мечтою ты прикован к славе?  
Тогда с почтением прими такое ты ученье,  
Которое дает тебе возможность принести от чести отречение.

### Ищущему основ

Так я исследователь? О, пощади ты это слово!  
Я просто тяжестью известной обладаю  
И вот все опускаюсь ниже, ниже  
И, наконец, иду на дно.

### Навеки

«Я потому иду сегодня, что так мне лучше», —  
Вот то, что думает идущий в вечность.  
А если люди говорят: «идет он слишком рано, слишком поздно»,  
То толки эти не трогают его нисколько.

### Рассуждение людей утомленных

Все слабые, вялые люди обращаются к солнцу со своими упреками.  
Тень — вот что ценят они в деревьях!

### Вниз

«Смотрите: вниз скользит он, падает теперь», злорадствуете вы;  
А он на самом деле лишь с высоты своей нисходит к вам!  
Ведь счастье свое считает он безмерным и тяжелым,  
И яркий свет его идет за вашей тьмой.

### Против законов

Я стал носить часы,  
И вот теперь не нужно мне  
Следить за бегом звезд,  
Движеньем солнца, теней и криком петуха.  
И то, что возвещает время мне,  
Само отныне глухо, слепо, немо.  
И механизм его с своим tik, tak  
Заставил замолчать природу.

### Изречение мудреца

Я чужд толпе, но в то же время я полезен ей:  
То солнце ясное я вызываю, то тучу навожу —  
Но все над этою ж толпой!

### Потерянную голову

У ней и дух теперь, но как она его нашла?  
Из-за нее муж в юности свой разум потерял.  
А голова его до той поры богата мыслями была:  
Нечистому она теперь досталась... о! нет! Нет! женщине!

### Благочестивые пожелания

«О, если бы вдруг все ключи потерялись,  
И ко всем замкам подошла одна отмычка!»  
Думает так постоянно  
Тот, кто сам является отмычкой.

### Писать ногой

Не рукой только пишу я,  
И нога постоянно хочет быть вместе с писателем.  
Твердо, свободно и мужественно бежит она у меня  
То по полю, то по бумаге.

### Человеческое, Сверхчеловеческое. Книга

Уныл и робок ты, пока твой взор направлен вспять,  
А сердце верует в грядущее, где ищешь ты себе опоры:



*Лучше на цыпочках, чем на четырех!*  
*Лучше в замочную скважину, чем в открытые двери!*

О, птица! причислить ли тебя к орлам?  
Иль ты любимица Минервы — филин?

### Читателю

Желудка и зубов здоровых я тебе желаю!  
И, если сладишь только ты с моею книгой,  
То и со мной, мой друг, поладишь!

### Художник-реалист

«Природе верен будь — вот цель твоя».  
Но как задачу эту выполнить ему?  
В картину ведь природа не уйдет! —  
Ведь беспределен самый маленький кусочек мира!  
В конце концов, под кисть его лишь то ложится, что нравится ему,  
А нравится ему лишь то, что может он изобразить!

### Разборчивый вкус

Если бы мне предоставили свободный выбор,  
То я с удовольствием устроился бы в раю,  
Но еще с большим удовольствием — у себя перед дверями!

### Горбатый нос

Твой нос глядит задорно  
Вокруг себя и ноздри раздувает.  
Вот чем ты, носорог без рога,  
Мой гордый человечек, и привлекаешь взгляды всех к себе!  
И вечно встретите вы вместе:  
Горбатый нос и гордость откровенную.

### Скрипит перо

Скрипит перо: ах, черт возьми!  
Так неужели ж навеки осужден я скрипеть пером?  
Тогда схватил чернильницу отважно я  
И начал мазать толстыми потоками чернил.  
И как же полно, широко идет работа у меня!  
Как удастся замысел мне всякий!  
Да, правда, ясностью не отличается теперь письмо мое.  
Так что же? Ведь кто читает то, что я пишу?



### Высшие люди

Кто вверх идет, —тому и рукоплещут!  
Но кто внимает похвалам, тот вниз идет!  
Чтобы остаться там, вверху,  
Ты должен даже к похвале быть равнодушным.

### Изречение скептика

Почти полжизни прожил ты,  
А стрелка движется вперед, и трепет чувствует твой дух!  
Довольно по свету ты побродил;  
Искал и не нашел — так что же медлить?  
Почти полжизни прожил ты,  
Страдал и заблуждался час за часом!  
Чего же ищешь ты еще? Зачем?  
Я к одному стремлюсь — уйти все глубже, глубже!

### Ессе homo

Откуда родом я, — я знаю!  
Ненасытимым пламенем всегда пылаю  
И пожираю сам себя!  
Все, к чему я прикасаюсь, загорится светом ярким,  
Все ж, покинутое мною, остается пеплом жарким.

### Мораль звезд

Указан путь тебе, звезда,  
И дела нет тебе до мрака!  
Спокойно путь свой совершай  
И горя их не замечай!  
Миров далеких достигает твое сиянье,  
За грех сочтем тебе мы чувство сострадания,  
И «чистоту храни» — вот заповедь тебе.

# КНИГА ПЕРВАЯ

## 1

*Учение о цели бытия.* — Бросаю ли я на людей взоры благосклонные или злобные, — мой глаз неизбежно застает их всех и каждого в отдельности за выполнением одной и той же задачи: сделать как можно больше для сохранения рода человеческого. Но берутся они за эту задачу не из чувства любви к этому роду, а лишь потому, что нет у них более древнего, более неумолимого и более непреодолимого инстинкта, как этот инстинкт, — даже более того: самый-то этот инстинкт и представляет сущность нашего вида и содержание жизни нашей толпы. Если мы, следуя обычным близоручким мыслителям, которые не видят перед собой дальше пяти шагов, будем пытаться разделить людей на субъектов вредных и полезных, на добрых и злых, то, напротив, прилагая больший масштаб, глубже вдумываясь в жизнь целого, мы в конце концов начнем относиться с недоверием и к своей осторожности, и к своей классификации. В самом деле, ведь зловреднейший человек с точки зрения сохранения рода приносит, быть может, громадную пользу, ибо поддерживает у других самым фактом своего существования или своими действиями такие стремления, без которых человечество надолго заснуло бы или совсем обленилось. Ненависть, злорадство, страсть к грабежу и господству и все остальное, что обыкновенно называется злом, служит для той удивительной экономии — конечно, экономии очень дорогой, расточительной и, в общем, в высшей степени неразумной, — которая, как это несомненно доказано, до сих пор сохраняла наш род. Да я, признаться, и не знаю, можешь ли ты, мой ближний, проявлять в своей жизни недоброжелательство к роду и таким образом вести себя «неразумно» и «дурно»; ведь все, что так или иначе могло бы служить к вреду нашего рода, устранено из жизни, быть может, уже несколько тысячелетий тому назад. Будешь ли ты следовать самым лучшим или самым дурным из своих побуждений, — ты все равно в сущности так или иначе будешь спешествовать и благодетельствовать человечеству, и только за это люди будут тебя хвалить и над тобой издеваться! Но ты не найдешь такого человека, который сумел бы вполне, как следует насмеяться над твоими лучшими поступками, который дал бы тебе почувствовать безграничную твою скудость так, как того требует действительное положение вещей! Насмеяться над самим собой так, как следовало бы это сделать, посмеяться так, чтобы смех выходил из глубины самой истины, — не умеют и лучшие из нас,

ибо не обладают достаточно сильным чувством правды, а наиболее одаренные из нас недостаточно для этого гениальны! Быть может, и для смеха придет еще свое время! Тогда человечество воплотит положение: «род — все, индивид — ничто», и каждому будет во всякое время открыт доступ к этой последней свободе, к этой полной безответности. Быть может, только тогда смех вступит в союз с мудростью; быть может, только тогда придет время для «веселой науки». Пока же дело обстоит иначе, пока комедия бытия еще не «сознала» себя, пока еще остается полный простор для трагедии, морали и религии. Что же обозначает все новое и новое появление основателей моральных и религиозных систем, вожаков в борьбе за разные нравственные сокровища, руководителей в деле угрызания совести и религиозных войн? Что значат эти герои на этой сцене? Ведь до сих пор были только герои ее, а все остальное, — иной раз явно и непосредственно служило им то в качестве машин и кулис, то в роли поверенных и лакеев. (Так, например, поэты всегда были лакеями какой-нибудь морали.) — Само собою понятно, что трагики эти работают в интересах рода, хотя сами они могут считать себя посланниками божьими, а на свой труд смотреть, как на дело божье. Они также способствуют успеху жизни человеческого рода, *ибо укрепляют веру в ту жизнь*. «Жить стоит» — так взывает каждый из них, — «жизнь сама по себе представляет нечто ценное, жизнь скрывает нечто и за собою, и под собой, внимайте!» И вот то самое стремление, которое с одинаковым напряжением существует и у высших людей, и у людей самых заурядных — стремление к сохранению рода, — прорывается время от времени как что-то разумное или под видом какого-нибудь страдания духа; ему подыскивают тогда блестящие обоснования и совершенно забывают, что в сущности-то здесь приходится иметь дело с стремлением, инстинктом, безумием, отсутствием всякого основания. *Ведь человек должен любить жизнь. Ведь человек должен* содействовать и своему преуспеянию, и преуспеянию своих ближних, как бы вы там ни называли все эти обязанности и какие бы ни выдумали им еще названия в будущем! И вот процессы, совершающиеся в силу известной необходимости и без всякого отношения к какой бы то ни было цели, отныне являются как бы приуроченными к той или другой цели, и человек готов считать их даже последним требованием разума, — тогда-то выступает проповедник этических начал в роли учителя, трактующего о цели всего сущего; тогда-то он измышляет второе — уже иное — бытие, и при помощи нового своего приспособления выуживает это старое, обычное бытие. Да, он отнюдь не хочет заставить нас смеяться над бытием, или над нами самими, или хотя бы только над ним; для него существует единица, и только единица: она для него является альфой и омегой; в ней кроется какая-то тайна; рода же, суммы, нулей он не признает. Как бы глупы и фантастичны ни были его измышления и оценки, как бы далеко он ни сбился с истинного пути природы и как бы ни ошибался относительно ее условий — ведь все существовавшие до настоящего времени этические учения были настолько неразумными и противоестественными, что человечество с любым из них пошло бы ко дну, если бы дано ему овладеть собой, — но всегда, когда на сцену выступал «герой», создавалось нечто новое, какое-то страшное подобие смеха, то глубокое содрогание, которое испытывают многие единицы при мысли: «да, стоит жить; да, я не напрасно живу!» — и вот и самая жизнь, и я, и ты, и мы все оказываемся заинтересованными снова на некоторое время. И нельзя отрицать, что над каждым из этих великих учений о цели бытия царили до сих пор смех, разум и природа: коротенькая трагедия всегда в конце концов переходила в вечную коме-

дию, и «волны безграничного смеха» — говоря языком Эсхила — «бьют, наконец, через величайшего из этих трагиков». Но, несмотря на все благодетельное действие такого смеха, эти вновь и вновь появляющиеся учения о цели бытия кладут свою печать на человеческую природу: у человечества появляется неотступная потребность в подобных учителях и подобных ученьях. Человек мало-помалу становится фантастическим животным, которое способно выполнить условия существования лучше, чем всякое другое животное: человек *должен* время от времени верить, что ему известен ответ на вопрос, *зачем* он существует; род его не может возрастать, если в нем не будет проявляться периодически доверия к жизни, уверенности, что *в жизни* существует *разум*. И время от времени человеческий род снова делает торжественное заявление: «да, не все доступно смеху!». И самый осторожный друг человечества согласится: «не только смех и веселая мудрость, но и все трагическое со всем его возвышенным безумием служит необходимым средством для сохранения человеческого рода» — И так далее! О! Понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон прилива и отлива? Да и нам ведь дано в удел свое лишь время!

## 2

*Интеллектуальная совесть.* — Я постоянно повторяю один и тот же опыт и все снова и снова чувствую к нему известное предубеждение. Мне не хочется поверить, чтобы можно было ясно доказать, что у *большинства людей интеллектуальная совесть отсутствует*: и часто казалось мне, что человек с притязаниями на нее в самом населенном городе будет чувствовать себя таким же одиноким, как в пустыне. Чуждыми глазами взглянет на тебя всякий и будет продолжать по-прежнему прикидывать встречные явления на своих весах, одно называя добром, другое злом. И ни у кого ведь лицо не покроется краской от стыда, когда обратишь ты внимание на то, что разнорески их неполновесные; никто против тебя не почувствует негодования: разве только посмеются над твоими сомнениями. Я хочу сказать: большинство не находит ничего предосудительного в том, что люди, не отдав себе предварительно ясно-го отчета относительно последних и самых надежных основ жизни и не позаботившись посмотреть, что кроется за этими основами, — верят в известные положения и сообразно вере своей устрояют жизнь, и к такому-то «большинству» принадлежат самые даровитые мужчины и самые благородные женщины. Что значит для меня все добросердечие, чистота и гении, когда люди, одаренные этими добродетелями, оказываются слабыми в области веры и суждений, когда они не стремятся *всем своим существом к достоверности* и не чувствуют в ней большой нужды, — когда в подобном требовании они не видят признака, отличающего высших людей от низших! У благочестивых лиц я встречал иногда ненависть к разумному и глубоко был им благодарен за это: таким путем, по крайней мере, выходила наружу злая интеллектуальная совесть! Но стоять среди этого *renum concordia discors*<sup>1</sup>, среди этой изумительной неизвестности и многозначительности бытия, стоять и *не вопрошать*, не дрожать от страстного желания задать вопрос, ни разу не почувствовать ненависти к вопрошающему, а быть может, даже вяло потешаться над ним, — вот к чему я питаю искреннее

<sup>1</sup> Правда разрушает согласие (лат.).





*Чуждыми глазами взглянет на тебя всякий и будет продолжать по-прежнему прикидывать встречные явления на своих весах, одно называя добром, другое злом*

презрение и прежде всего ишу этого чувства и у других. В силу какого-то неразумия я стараюсь убедить себя, что у каждого человека как человека должно быть это чувство. И в этом-то проявляется своеобразию моя несправедливость.

### 3

*Благородный и заурядный.* Людям заурядным все благородные и великодушные чувства кажутся нецелесообразными, а потому и невероятными: такие люди только глазами хлопают, когда слышат о подобных чувствах, и вам так и кажется, что вот-вот они скажут: «и тут кроется какая-нибудь выгода, всего ведь не углядишь», — они недоверчиво относятся к каждому благородному человеку, как будто бы тот ищет себе выгод на каком-нибудь запретном пути. Если же вам удастся вполне их убедить, что лицу этому чужды какие бы то ни было эгоистические побуждения и преследования каких-либо выгод, то благородство они сочтут одним из видов глупости: они презирают благородного человека в его радостях и издеваются над блеском глаз его. «Как может он радоваться, когда ему грозит убыток, как можно с открытыми глазами искать себе вреда?! Право, благородные аффекты неизменно связываются с какою-то болезнью разума» Так думают заурядные натуры и с презрением оглядываются вокруг: о, какое ничтожное значение придают они тем радостям, которые извлекает человек заблуждающийся из идеи, постоянно его преследующей. Заурядные натуры тем именно и отмечены, что в глазах у них неподвижно стоит забота о личной выгоде, и забота эта заглушает у них все, даже самые сильные, побуждения. Удержаться от нецелесообразного поступка, на который толкает какой-нибудь аффект — вот в чем выражается их мудрость и чувство собственного достоинства. По сравнению с ними, высшие натуры являются в то же время и натурами *наиболее неразумными*. В самом деле человек благородный, великодушный, приносящий себя в жертву, находится действительно под властью своих порывов, и в самые лучшие моменты его жизни разум его *молчит*. Когда животное с опасностью для своей жизни защищает детенышей или во время прилива страсти идет на смерть из-за самки, то оно ведь не думает ни об опасности, ни о смерти и всецело находится под влиянием страстной любви к своему потомству или к самке и страха потерять предмет своей страсти; оно становится глупее, чем оно в действительности, точно так же, как это бывает с людьми великодушными и благородными. Симпатии и антипатии у них проявляют такую силу, что интеллекту приходится или молчать, или подчиняться страстям. Сердце у них вступает в голову, и тогда-то заходит речь о страсти (кое-где мы встречаем также обратное положение и как бы «страдание навыворот»; так, например, у Фонтенеля одно из действующих лиц кладет руку на сердце со словами: «и там, мой дорогой, тоже мозг»). Заурядная натура за то и ненавидит человека благородного, что у него в страсти чувствуется отсутствие разума или какой-то извращенный ум; презрение это особенно усиливается в тех случаях, когда страсть связывается с такими предметами, ценность которых обыкновенному человеку кажется совершенно фантастической и произвольной. Он гневается на всякого, кто делает себя слугою своего брюха, но понимает прелесть той жизни, которая обращает человека в тирана; зато он совершенно не понимает, как можно, например, рисковать своим здоровьем и честью из-за страсти к познанию. Вкус высших натур направляется на исключения, на предметы, которые обыкновен-

но никого не волнуют и считаются лишенными всякой привлекательности; высшие натуры обладают особым масштабом ценностей. При этом они не замечают, что масштаб их, благодаря идиосинкразии их вкуса, представляет из себя нечто особенное, а считают свою расценку явлений такою же, как и расценка у других людей; благодаря этому они проявляют постоянно непонимание, непрактичность. Очень редко случается, чтобы высшая натура сумела сохранить у себя настолько рассудка, чтобы понять повседневного человека как такового и сообразно с этим регулировать свои отношения к нему; в большинстве случаев люди высшего пошиба думают, что их страсти — это те самые страсти, которые в скрытом состоянии можно встретить у каждого, и вера эта является непосредственным источником их горячности и красноречия. И вот когда такие исключительные люди не чувствуют своего исключительного положения, то как могут быть поняты ими натуры обыкновенные, как могут быть оценены ими их правила поведения?! — Все это заставляет их говорить о глупости, о нецелесообразности и сумасбродстве человечества; они изумляются, как глупо течет жизнь мира, и не могут понять, почему она не хочет осознать «нужд своих». — Вот в чем заключается вечная несправедливость со стороны людей благородных.

#### 4

*Сохранение рода человеческого.* — Своим движением вперед человечество обязано людям, обладающим наиболее сильным и наиболее злым духом: они все снова и снова зажигали потухающие страсти — ведь всякое благоустроенное общество усыпляет страсти, — они пробуждали постоянно чувство сравнения, противоречия, желания чего-нибудь нового, рискованного, неиспробованного, они принуждали людей одни мнения противопоставлять другим мнениям, одни образцы — другим образцам. Чаще всего они действуют с оружием в руках, ниспровергают межевые знаки, нарушают чувство благочестия, но прибегают также и к религии, и морали! У каждого учителя, у каждого проповедника нового ученья вы найдете ту самую «злобу», — которая несет завоевателю бесславие, как только получит более деликатное выражение, а не будет немедленно приводить мускулы в движение! Но новое всегда и при всяких обстоятельствах является и *злым*, как нечто такое, что стремится проявить насилие, ниспровергнуть пограничные знаки и древнее благочестие; ведь добрым считается только старое! Добрыми людьми в каждое время называют тех, которые глубоко закапывают древние мысли и возвращают от них плоды. Это — землепашцы духа. Но земля понемногу истощается, и вот снова чувствуется потребность в плуге зла. — В настоящее время существует одно основное заблуждение, которое особым уважением пользовалось в Англии: оно учит, что наши суждения о «добре» и «зле» определяются нашим опытом о «целесообразном» и «нецелесообразном», что добром называют все служащее для сохранения рода, а злом — все для него вредное. В действительности же дурные стремления столь же целесообразны, столь же служат для сохранения рода и столь же необходимы, как и стремления добрые, — только функции их различны.



## 5

*Безусловные обязанности.* — Все люди, которые не могут в своей деятельности обходиться без сильных слов и возгласов, красноречивых жестов и положений, все эти революционеры-политики, социалисты, проповедники различных покаянных христианских и нехристианских учений, которые в действительности не заслужили и половины своих успехов, — все они говорят об обязанностях, и именно обязанностях с характером безусловности. Они прекрасно знают, что без обращения к таким обязанностям весь их пафос потерял бы всякое право на существование! И вот тут-то они или набрасываются на философию морали, которая выставляет те или другие категорические императивы, или воспринимают значительную часть религиозных убеждений, как это сделал Мадзини. Желая приобрести от других безусловное доверие, они и сами прежде всего должны безусловно поверить самим себе на основании какой-нибудь последней, неоспоримой и самой по себе достаточно возвышенной заповеди, служителями и орудиями которой они могли бы себя чувствовать и выдавать. Здесь мы встречаем также самых естественных и по большей части влиятельных противников всякого морального разъяснения и сомнения: но таковых немного. Напротив, повсюду, где выгода заставляет нас подчиняться — хотя бы наше доброе имя и чувство чести, по-видимому, предписывали нам обратное, — существует обширный класс таких противников. Кто, в качестве потомка, например, какой-нибудь старинной гордой фамилии, считает для себя унижительным даже подумать о том, что он является орудием какого-нибудь князя, или партии и секты, или хотя бы какой-нибудь денежной силы, но тем не менее хочет или должен быть таким орудием, тот, чтобы оправдаться перед собой и другими, должен всегда иметь на устах разные патетические принципы: принципы безусловного долженствования, которым люди без стыда могли бы подчиниться и признать свое подчинение. Всякая более тонкая форма раболепства, связанная с категорическим императивом, является смертным врагом для тех, кто хочет придать обязанности характер безусловности, как этого требует от них внешняя благопристойность, да и не одна только благопристойность.

## 6

*Потеря достоинства.* — Наш мыслительный процесс в настоящее время совершенно потерял всю ту важность, которой он обладал раньше: над всяким церемониалом и торжественными жестами у человека, обдумывающего что-нибудь, в настоящее время смеются, и мудреца старинного пошиба сочли бы человеком невыносимым. Мы думаем быстро и попутно и отдаемся часто самым серьезным мыслям и во время ходьбы, и между делами всякого рода; мы мало готовимся, даже мало отдыхаем, — точно мы носим у себя в голове безостановочно катящуюся машину, которая даже при самых неблагоприятных обстоятельствах все еще продолжает работать. Бывало, чуть показалось кому, что у него навертывается мысль — тогда это было редким исключением! — что захотелось ему быть мудрее и отдать себя во власть какой-нибудь думе, — тотчас же лицу придавалось такое выражение, как будто человек собирался на молитву, всякое движение прекращалось, и наш мыслитель простаивал неподвижно, хотя бы даже на улице, в течение целых часов, пока мысль «приходила к нему» на одной или на двух ногах. Вот то была обстановка, «достойная положения вещей»!





*...всякое движение прекращалось, и наш мыслитель простаивал неподвижно, хотя бы даже на улице, в течение целых часов, пока мысль «приходила к нему» на одной или на двух ногах*

## 7

*Несколько слов к работающим людям.* — Кто пожелал бы теперь заняться изучением моральных вопросов, для того открылось бы необозримое поле работы. Такому исследователю пришлось бы остановиться мыслью над каждой из страстей в отдельности, проследить за изменениями ее во времени и у различных народов, а также у крупных и мелких индивидуумов; он должен был бы показать, насколько разумными и ценными люди считают эти страсти и какое освещение им придают. До сих пор все, от чего бытие заимствует свою окраску, не имело еще своей истории: в самом деле, разве есть у нас история любви, стяжания, нужды, совести, благочестия, жестокости? У нас нет даже полной сравнительной истории права или хотя бы только одного наказания.

Разве исследовал кто-нибудь различные упряжки дня, последовательную смену отдыха, празднеств и покоя? Разве знает кто, какое моральное воздействие оказывают на нас наши средства пропитания? Разве располагаем мы философией питания? Неутихающий шум, поднятый в споре за и против вегетарианизма, доказывает, что подобной философии у нас не существует! Пытался ли кто-нибудь проследить за историей общежитий, например монастырей? Существует ли у нас диалектика брака и дружбы? Есть ли мыслители, которые занимались бы вопросами нравственности ученых, торговцев, художников, ремесленников? Обо всем этом следует подумать, и подумать много. Разве до конца исчерпано, путем исследования, все то, что люди считают «условиями своего существования», и все разумное, все страсти и суеверия, которые, по их мнению, связаны с этими условиями? Если бы кто задумал проследить только то различие в росте, которое проявляется и может проявляться у человеческих стремлений в различных моральных климатах, то и в таком случае самый прилежный из нас нашел бы себе достаточно работы: потребовались бы поколения планомерно и согласно работающих ученых для того, чтобы установить в этой области надлежащую точку зрения и собрать материал. То же самое останется в силе и для того, кто пожелал бы обосновать различия, которые представляют моральные климаты (*почему* в одном месте блистает одно солнце моральных суждений и оценки, в другом — другое?). Совершенно особая работа выпадает на долю тому, кто будет устанавливать ошибочность всех подобных оснований и сущность тех моральных суждений, которые высказывались до настоящего времени. Если мы допустим, что все эти работы уже выполнены, то на первый план тогда выступит священнейший из всех вопросов: в состоянии ли будет наука *определить* цели нашего поведения, после того как она докажет нам свою способность отнимать у нас эти цели и уничтожать их, — и тогда человечеству откроется такой широкий простор для всякого рода экспериментирования, тогда будут перепробованы все виды героизма, тогда наступит век опытов, которые могут затмить все подвиги самопожертвования, известные нашей истории. До сих пор наука еще не возвела своих циклопических построек: но и для этого наступит свое время.

## 8

*Бессознательные добродетели.* — Все свойства человека, наличие которых он признает у себя и которые он считает очевидными для окружающих, подчиняются

совершенно иным законам развития, чем те свойства, о которых ему самому неизвестно, которых он почти не подозревает в себе и которые, благодаря своей нежности, скрываются от взоров даже наиболее тонких наблюдателей и умеют прятаться как бы за пустым пространством. Совершенно так же дело обстоит с тонкой скульптурой на чешуях у рептилий: ошибочно было бы подозревать, что эта скульптура служит украшением для этих животных или каким-нибудь орудием, — в самом деле, ведь открыть их можно только при помощи микроскопа или такого острого зрения, каким не обладают животные, для которых могли бы быть предназначены эти наряды или это оружие! Наши видимые моральные качества, а именно те качества, в которые мы явно уверовали, идут своим путем, — а наши невидимые, хотя бы и одноименные качества, которые, с точки зрения других людей, не служат ни украшением, ни оружием, идут также своим путем и обладают такими линиями, таким изяществом и таким строением, которое могло бы, пожалуй, доставить удовольствие лишь какому-нибудь божеству, одаренному необычайным микроскопом. Мы, например, обладаем прилежанием, честолюбием и проницательностью: всем известны эти наши качества, но, кроме того, по всей вероятности, имеется еще прилежание, еще честолюбие, еще проницательность, но для этих чешуек наших не найдено еще микроскопа! — И тут-то вот сторонники инстинктивной морали скажут: «браво! он считает, по крайней мере, бессознательную добродетель возможной, — с нас и этого довольно!» — Ох вы, невзыскательные люди!

## 9

*Наши взрывы.* — Еще на ранних ступенях своего развития человечество усвоило бесчисленное множество разных свойств и способностей, но усвоило оно их так слабо, в таком эмбриональном состоянии, что о них никто даже и не подозревает. И вот эти-то слабо усвоенные способности, спустя много времени, — быть может, несколько столетий, вдруг прорываются на свет божий, и тогда проявляют силу и зрелость. Иногда может показаться, что некоторые века совершенно лишены того или другого таланта, той или другой добродетели: но подождите только внуков или детей внуков — если только время позволяет ждать, — и они вынесут на свет внутреннее содержание своих дедов, то внутреннее содержание, о котором сами деды ничего не знали. Часто уже сын является предателем своего отца, который и сам начинает понимать себя лучше, с тех пор как стал отцом. Внутри у нас скрыты целые плантации и сады; или, прибегая к другому сравнению, все мы — растущие вулканы, для которых наступит вдруг час взрыва, — но как близок или насколько отдален час такого извержения, об этом, конечно, никто не знает.

## 10

*Род атавизма.* — На людей выдающихся я охотно смотрю, как на отпрыски и силы культуры прошлых веков, которые внезапно дали себя чувствовать в нашей жизни, иначе говоря, как на проявление атавизма какого-нибудь народа или какой-нибудь цивилизации. В каждый данный момент такие люди кажутся чуждыми, ред-



кими, необычайными: и всякому, кто чувствует в себе подобную силу, приходится ее беречь, оборонять, возвращать, несмотря на враждебное воздействие остального мира; и обладатель этих качеств становится то великим человеком, то безумным и странным субъектом, смотря по тому, насколько он вообще находится в соответствии со своим временем. Прежде все эти редкие свойства были обычным явлением, а потому таковыми и считались: они не выделялись ровно ничем. Если даже допустить, что они еще и поощрялись, то все же при помощи их человек не мог стать великим, а если обладание ими не было сопряжено ни с какою опасностью, то они не могли сделать человека ни безумным, ни одиноким. — Вот именно подобные подделки под древние наклонности и встречаются по преимуществу в обособленных родах и кастах, тогда как там, где расы, обычаи, ценности меняются быстро, проявление атавизма в такой форме маловероятно. Для развития народов темп, которым идут его силы, играет такую же роль, как темп в музыке; для нашего случая — необходимо *andante* развития, как темп страдающего, малоподвижного духа — духа консервативных родов.

## 11

*Сознание.* — Сознательность является самой последней и самой позднейшей стадией развития организма, а потому и самым неприспособленным и самым бессильным его свойством. Из сознания нашего происходят бесчисленные ошибки, которые приводят к тому, что человек или животное идут ко дну раньше, чем в этом предстояла бы какая необходимость, раньше, чем «этого потребует судьба», как говорит Гомер. Если бы охраняющая сила инстинкта не проявляла неизмеримо большего могущества, чем наша сознательная жизнь; если бы он не был общим регулятором, то человечество, при всех своих превратных толкованиях, при своей способности фантазировать с открытыми глазами, при своей неосновательности и легковерии, короче говоря, при всей своей сознательности, — должно было бы пойти ко дну, не могло бы дольше существовать. Всякая функция, которая еще недостаточно сложилась и созрела, представляет известную опасность для организма; хорошо еще, если она надолго подпадет под власть какой-нибудь могучей тиранической силы! Именно в таком-то положении и находится наша сознательная жизнь, и немалую роль тут приходится отвести нашей гордости. Обыкновенно думают, что сознательная жизнь составляет ядро человека: нечто остающееся, вечное, последнее и самое основное! Сознание наше считают точно установленной величиной! Ну хорошо, отрицайте свой рост! Принимайте свое сознание «за единицу организма»! — Но эта забавная переоценка и непонимание роли сознания оказывают великую пользу в том отношении, что благодаря им задерживается чрезмерно быстрое развитие нашей сознательности. В самом деле, ведь люди уже считают себя обладателями сознания, а потому и не прилагают особых усилий приобретать его еще в большей степени — и в настоящее время дело именно так и обстоит! Задача *воплотить в себя науку, сделать ее инстинктивной* — все еще является задачей совершенно новой, едва-едва заметной для человеческого глаза и еще неясно им сознаваемой. Задачу эту видят только те, кто понял, что до сих пор мы воплощали в себя только свои ошибки и что все наше сознание покоится на ошибках.



## 12

*О цели науки.* — Как? Неужели последней целью наука намечает себе доставлять человечеству как можно больше удовольствий и возможно меньше неприятностей? Как? Если бы теперь приятное и неприятное было навязано на одну веревку и всякий *желающий* получить возможно большое количество одного, *должен* будет иметь возможно много другого, — всякий, желающий научиться ликованию неба, должен приготовить себя к «тоске смертной»? Может, оно и действительно так! Стоики, по крайней мере, были уверены в этом и потому были последовательны, когда желали получить как можно меньше удовольствий, для того чтобы иметь от жизни и как можно меньше неприятностей (изречение: «добродетельный — вместе с тем и самый счастливый человек», — служило не только вывеской, предназначенной для масс, но являлось также и казуистической тонкостью для натур тонких). И теперь перед вами опять выбор: или *как можно меньше неприятного*, короче говоря, освобождение от страдания — что, в сущности, только и должны были бы обещать социалисты и политики других партий, если бы хотели действовать добросовестно, — или *как можно больше неприятного*, ибо только такую ценою можно окупить рост многих таких и до сих пор мало оцененных удовольствий и наслаждений! Выбирайте первое, если хотите только придавить и приуменьшить способность человечества к страданию, но при этом вы неизбежно придавите и приуменьшите у него и *способность воспринимать приятное*. В действительности, при помощи науки, можно преследовать и ту, и другую цель. Быть может, уже и теперь больше, чем прежде, знают ее способность лишать человечество его радостей и делать людей более холодными, неподвижными, стоическими. Но науку еще предстоит открыть, как *великую носительницу страданий!* — И тогда-то, быть может, будет признана и обратная ее сила, — ее чудесная способность освещать радостью новые звездные миры.

## 13

*К учению о чувстве силы.* — Силу свою мы проявляем в добре или зле. Страдание мы причиняем тем, кто впервые должен почувствовать нашу силу, ибо боль в области наших ощущений является более могучим средством, чем наслаждение: она заставляет нас искать причину, а наслаждение предрасполагает нас оставаться в одном и том же положении и не обращать своих взоров назад. Свои благодеяния, свое благорасположение мы оказываем лишь тому, кто от нас уже зависит (то есть привык нас считать своею причиной); мы желаем увеличить силу этих лиц, ибо таким путем мы увеличиваем свою собственную силу или хотим показать им, насколько выгодно состоять в зависимости от нашей силы, чтобы таким образом они находили большее удовлетворение в своем положении, были враждебнее настроены к противникам нашей мощи и с большей охотой вступали с ними в борьбу. Итак, будем ли мы благоворить или причинять кому страдание, наши деяния в конце концов будут представлять одну и ту же ценность; если бы даже мы, подобно мученикам за веру, рисковали жизнью своей, то и тогда мы принесли бы себя в жертву только ради того, чтобы добиться *своего* могущества, чтобы сохранить ощущение своей мощи. Какими богатствами не пожертвует всякий, кто таит в себе мысль: «я обладаю истиной», чтобы спасти это ощущение! Чего не выбросит он за борт, чтобы удержаться «наверху», — то

есть *выше* других, которым недостает истины! Правда, то состояние, при котором мы причиняем другим страдание, редко бывает настолько приятным, настолько несомненно приятным, как то, когда мы оказываем благодеяние, — но этот факт доказывает только, что нам еще недостает силы, или обнаруживает нашу досаду на свое убожество; здесь кроются новые опасности и неуверенность в том, что мы несомненно обладаем силой, и закрывает наш горизонт призраками мести, насмешки, кары. Только у самых раздражительных людей, — людей, ненасытимо ищущих чувства силы, может явиться страстное желание наложить клеймо своей силы на каждого оказывающего сопротивление; у тех, на кого вид поверженного противника (как объекта для всецелого благоволения) наводит тоску и скуку. Затем, как обыкновенно бывает, наступает потребность так или иначе усладить свою жизнь. Дело, конечно, вкуса, будет ли человек стараться увеличивать свою силу медленно или натиском, уверенными шагами или поступками опасными и смелыми, — одним словом, сообразно со своим темпераментом каждый и выбирает себе ту или другую приправу. К каждой легкой добыче гордые натуры относятся до известной степени с презрением; они чувствуют себя хорошо при виде людей, еще не сокрушенных, людей, которые могли бы еще быть врагами их, и вообще при виде всего, что достигается с трудом; к страдающему они относятся часто с жестокостью, так как он не представляет ни малейшего интереса ни для стремлений их, ни для гордости, — но тем сердечнее обращаются они с *равными*, бой с которыми был бы почетным даже в том случае, если бы для этого пришлось выискивать какой-нибудь повод. Вот под давлением приятного предчувствия таких перспектив лица, принадлежавшие к рыцарским кастам, относились друг к другу с самой изысканной вежливостью. — Сострадание является приятным чувством для тех, у кого мало гордости и нет желания достигнуть высокого, властного положения; для них легкая добыча — каждый страждущий — представляет из себя нечто привлекательное, и сострадание недаром превозносится, как добродетель публичных женщин.

## 14

*О том, что называется любовью.* — Алчность и любовь: какие различные чувства возбуждает в нас каждое из этих слов! — но в сущности они под двумя различными названиями выражают одно и то же стремление. Первым из них клеймится это стремление, с точки зрения лиц, уже достигших обладания, лиц, у которых стремление до известной степени успокоилось и которые теперь боятся только за свое «достояние»; второе стремление определяется, с точки зрения неудовлетворенных, жаждущих и потому прославляющих известное явление, как некоторое «благо». Разве не является стремлением к новому *приобретению* наша любовь к ближнему? Разве нельзя того же самого сказать про нашу любовь к истине, к знанию и вообще про всякое стремление к новизне? Мы мало-помалу пресыщаемся всем старым, всем, что нам прочно принадлежит, и все снова и снова протягиваем свои руки вперед; даже самый прелестный ландшафт, если мы проживем в его обстановке месяца три, уже не будет больше пользоваться нашей неизменной любовью, и снова нашу алчность будут привлекать далекие берега: неяркое имущество в процессе обладания теряет свое значение для нас. Мы хотим сохранить в себе то удовольствие, которое мы испытываем от собственной своей личности, так чтобы оно вызывало в нас постоянно нечто новое, — в этом-то и заключается



*Мы мало-помалу пресыщаемся всем старым, всем, что нам прочно принадлежит,  
и все снова и снова протягиваем свои руки вперед...*



ся обладание, И раз мы пресыщаемся предметом своего обладания, это значит, что мы пресыщаемся самими собой. (Страсти наши могут быть весьма разнообразны, и почетный титул «любовь» можно приложить и к желанию устранить что-нибудь, раздать.) Если мы видим чьи-нибудь страдания, мы охотно стараемся воспользоваться случаем овладеть этой личностью; вот что вызывает человека, например, к благодеянию, к состраданию; а он «любовью» называет это проснувшееся в нем стремление к новому обладанию и испытывает при этом известное чувство удовольствия, ввиду того что впереди его ожидает возможность расширить сферу своей власти. Весьма ясно проглядывает это стремление к собственности в чувстве половой любви: влюбленный хочет быть безусловным и единственным обладателем избранного им лица, он хочет также иметь безусловную власть над его душой и над его телом; он хочет, чтобы любили только его одного и чтобы он один жил и властвовал в чужой душе, как нечто высшее, как нечто особенно желательное. Если обратить внимание, что человек при этом стремится весь мир устранить от ценного блага, от счастья и наслаждения; если принять в расчет, что влюбленный домогается того, чтобы причинить известное лишение всем остальным своим соперникам и стать драконом своего сокровища, подобно самому беспощадному и самому эгоистичному из всех «завоевателей» и предпринимателей; если, наконец, иметь в виду, что для влюбленного весь остальной мир не имеет никакой цены, кажется бледным, неинтересным и он готов принести всякую жертву, разрушить всякий установившийся порядок, подавить всякий интерес, — то эти соображения заставят нас только удивляться, каким образом подобная дикая жадность, подобная страшная несправедливость, как половая любовь, могла считаться всегда чем-то величественным, чем-то божественным; каким образом из этой любви люди могли заимствовать вообще понятие любви и поставить ее в контраст с эгоизмом, в то время как она-то, быть может, и является самым наивным выражением эгоизма. Здесь, очевидно, на употребление слова оказали свое влияние неимущие и алчущие, — а их всегда было слишком много. Те же, кто в этой области получили большое удовлетворение, как Софокл, один из самых достойных любви и один из самых любимых афинян, — они-то и выдумали «неистовствующего демона», но Амур всегда подсмеивался над такими клеветниками, ибо они просто были его величайшими любимцами. — Но то тут, то там на земле попадаетесь один род любви, при которой ненасытное стремление двух лиц друг к другу смягчается новым желанием и новой алчностью, *общую* высшую жаждой стоящего над ними идеала: но кто знает такую любовь? Кто пережил ее? Истинное имя ее — *дружба*.

## 15

*Издалека.* — Гора эта делает всю окрестность, над которой она командует, привлекательной и важной: повторив себе эту мысль в сотый раз, мы становимся настолько неразумными по отношению к этой горе, и проникаемся к ней такой благодарностью, что начинаем и в ней подозревать, как в источнике этой красоты, нечто, в высшей степени привлекательное, и вот поднимаемся на нее и разочаровываемся. Внезапно и сама она, и весь ландшафт, который разворачивается вокруг нас и под нами, теряет всю свою прелесть: мы просто забыли, что некоторые величины, как и некоторые блага, необходимо рассматривать с известного расстояния и исключительно снизу вверх, а не сверху вниз, ибо только при этом условии они производят на



нас впечатление. Быть может, и ты, читатель, близко знаешь людей, на которых следовало бы смотреть только с известного удаления; только тогда их можно считать вообще людьми порядочными или даже привлекательными и сильными, и подобному человеку надо отсоветовать всякую попытку познать самого себя.

## 16

*Через тропинку.* — Когда приходится иметь дело с людьми застенчивыми, то необходимо уметь притворяться; в самом деле, они внезапно проникаются ненавистью ко всякому, кто застанет их на нежном, сумасбродном или возвышенном чувстве, как будто бы при этом вскрывается какая-нибудь их тайна. Если бы ты захотел сделать такому человеку в подобный момент какое-нибудь доброе дело, то он стал бы над тобою смеяться или холодно сказал бы в ответ какое-нибудь за сердце хватающее, злое слово, — чувства их при этом замерзают, и они снова вполне овладевают собой. Однако нравоучение у меня вышло раньше басни. — Только раз в жизни мы были друг к другу так близки, что дружбе нашей и нашему братанию, казалось, ничто не могло помешать, и разделяла нас лишь маленькая тропа. И вот в то самое время, когда ты хотел перейти ее, я спросил тебя: «не перейдешь ли ты ко мне через тропу эту?» — Но ты уже не захотел сделать этого; а на вторичную мою просьбу ты промолчал. И залегли с тех пор между нами горы и бурные потоки и все, что разделяет и отчуждает, и если бы мы теперь даже захотели прийти друг к другу, то уже не могли бы сделать этого! И когда ты задумываешься теперь о той небольшой тропе, слов недостает у тебя, — и ты рыдаешь и стоишь в изумлении.

## 17

*Мотивировка своего убожества.* — Мы могли бы, конечно, при известном искусстве превратить какую-нибудь убогую добродетель в добродетель могущественную и влиятельную, но мы могли бы с таким же успехом объяснить ее убожество известной необходимостью и не обращаться тогда из-за нее с упреками к судьбе. Так поступает мудрый садовник, влагая скудный ручеек своего сада в руку какой-нибудь нимфы и тем мотивируя его убожество, — и кто, подобно садовнику этому, не чувствует нужды в нимфах!

## 18

*Античная гордость.* — Нашему представлению о знатном человеке недостает античных красок, так как мы не в состоянии вполне прочувствовать античное рабство. Грек благородного происхождения между своим высоким положением и тем униженным состоянием, в котором находился тогда раб, имел такое множество промежуточных ступеней и был так далеко от него, что едва ли мог различать ясно фигуру раба: даже и с Платоном дело обстояло не лучше. Иное дело — мы, которые привыкли, если не к самой мысли о равенстве людей, то, по крайней мере, к учению об их равен-

стве. И мы уже не чувствуем чего-то похожего на презрение к лицу, которое не может распоряжаться само собой и не имеет досуга; в каждом из нас, может быть, много такого рабства в силу тех условий нашего общественного строя и деятельности, которые коренным образом отличаются от условий жизни древнего мира. — Древний философ совершал свой жизненный путь с тайным чувством, что рабов существует гораздо больше, чем это полагают: ему казалось, что всякий, кто не принадлежит к числу философов, должен быть рабом; и чувство чрезмерной гордости охватывало его, когда он задумывался о том, что могущественнейшие здесь, на земле, должны состоять в числе подобных рабов его. И этот род гордости чужд нам, и его мы не в состоянии пережить; и, таким образом, даже в переносном значении слово «раб» потеряло для нас свою силу.

## 19

*Злое.* — Присмотритесь к жизни лучших и плодотворных деятелей и народов и спросите себя: могло ли бы избежать бурь и непогоды дерево, которое гордо должно вырастать в вышину, и не следует ли считать благоприятными условиями все эти неудачи и внешние препятствия, всю эту ненависть, ревность, упорство, недоверие, жестокость, алчность и насилие, ибо без них, быть может, немислим сколько-нибудь значительный рост в области добродетели? Крепкие натуры почерпают силу в том яде, который смертельно действует на натуры слабые, и он для них уже не носит названия яда.

## 20

*Достоинство глупости.* — Еще несколько тысячелетий по пути последней тысячи лет — и во всех действиях человечества явно будет проступать высшее благоразумие; но в то же время благоразумие наше потеряло все свое достоинство. Быть благоразумным становится необходимым, а потому и благоразумие оказывается явлением настолько обычным, что даже человек с плохим вкусом будет ощущать эту необходимость как нечто шаблонное. И подобно тому, как тирания истины и науки оказалась в состоянии высоко поднять ложь, так и тирания благоразумия может выдвинуть на первый план новый вид благородного чувства. Благородство, быть может, будет заключаться тогда в том, чтобы носить на плечах глупую голову.

## 21

*К учению о самоотречении.* — Когда восхваляют добродетели какого-нибудь человека, то оценивают их не с точки зрения интересов самого лица, а лишь с точки зрения наших интересов и интересов всего человеческого рода, — так сыздавна установилось, что в похвалу добродетели мы вкладываем очень мало самоотречения, очень мало «неэгоистического» чувства. Ведь надо же было видеть, что добродетели (как прилежание, послушание, целомудрие, благочестие, справедливость) в большинст-

ве случаев оказывались вредными для их носителей, как такие стремления, которые слишком властно господствовали над ними и не поддавались разуму, который должен был привести их в равновесие с другими стремлениями. Если ты обладаешь добродетелью, действительной, полной добродетелью (а не одним только стремлением к добродетели!), — то ты становишься ее жертвой! Но ближний твой именно потому и восхваляет твою добродетель! Одобряют человека прилежного, хотя работой своей он испортил свое зрение, повредил самобытности и свежести своего духа; с уважением относятся к юноше, который «работал до того, что погубил свое здоровье», ибо полагают, что «для всего рода человеческого потеря даже лучших индивидуумов является лишь незначительной жертвой! Худо, что такая жертва необходима! Но, конечно, хуже было бы, если бы индивиды иначе думали и свое благоденствие и развитие ставили бы выше работы, назначенной на службу всего человечества»! И, таким образом, юношу этого жалеют не ради его самого, а лишь потому, что это преданное и самоотверженное орудие — называемое «мужественным человеком» — вырывается у человеческого рода смертью. Быть может, следовало бы задать себе вопрос, не выиграл ли бы сам этот род человеческий, если бы данный субъект не работал с таким самоотвержением и на более долгий срок сохранил бы свою жизнь и здоровье. Преимущество это охотно признается, но оно очень быстро стусевывается перед другим преимуществом: принесена известная жертва, и идея жертвенного животного была наглядно для всех засвидетельствована, как нечто особенно возвышенное, насущное. Таким образом, когда восхваляется какая-нибудь добродетель, то восхваляется именно служебная роль человека и то слепое стремление, которое с силой проявляется в каждой добродетели и которое не позволяет индивиду сохранить вполне все свои выгоды, короче говоря: восхваляется в добродетели то неразумное, благодаря чему самостоятельное, отдельное существование превращается в функцию целого. Похвала добродетели является восхвалением чего-нибудь такого, что приносит вред частному лицу, — восхвалением таких стремлений, которые отнимают у человека его благороднейший эгоизм и способность его к самозащите. — Конечно, для того чтобы развить и воплотить разные добродетельные обычаи, выставляют на вид ряд таких результатов, которые заставляют думать, что добродетель и личная выгода тесно связаны друг с другом, — да и в действительности существует такое родство. Безграничное прилежание, например, эта типичная добродетель всякого, кто является каким-нибудь орудием, говорят, ведет к богатству и почестям и оказывается самым действительным противоядием от скуки и страстей; но при этом замалчивают те опасности, те страшнейшие опасности, которые представляет это самое прилежание.

Воспитание всегда так и поступает: оно стремится при помощи целого ряда приманок и преимуществ приучить индивида к такому образу мыслей и действий, который становится у него обычным, превращается в потребность и даже в страсть и властно ведет вопреки его ближайшим интересам к «общему благу». Как часто приходилось мне видеть, что безрассудное прилежание действительно приносит с собой богатство и почести, но отнимает у организма всю тонкость его ощущений, при наличии которых только и возможно наслаждаться этими богатствами и почестями; как часто приходилось мне также наблюдать, что оно действительно являлось главным противоядием от скуки и страстей, но оно в то же время притупляет наши чувства и закрывает нашему духу доступ к целому ряду новых приятных ощущений. (Прилежнейший из всех веков — наш век — не сумел из своих огромных

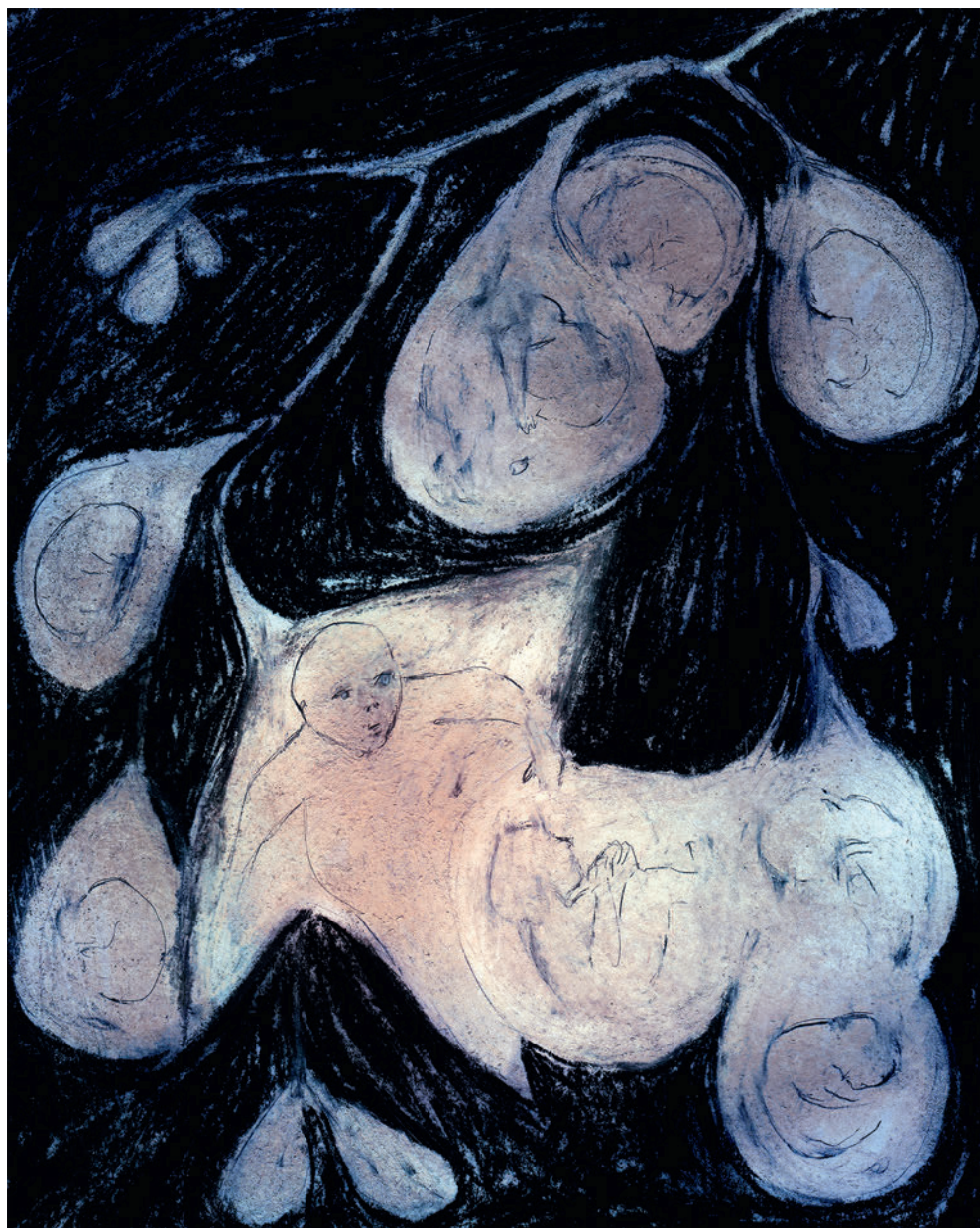
богатств и великого прилежания извлечь ничего, кроме все возрастающих богатств и прилежания: таким образом, для того, чтобы растратить приобретенное, нужно больше гения, чем для того, чтобы сделать приобретения! — Но и у нас ведь будут свои внуки!) Если такое воспитание достигает успеха, то всякая добродетель индивида оказывается с общественной точки зрения известной полезностью, с точки же зрения высших частных интересов явлением вредным: оно ведет к известным дефектам в области нашего духа и чувства или обуславливает нашу преждевременную гибель. Все это вы заметите на целом ряде добродетелей: послушание, целомудрие, благочестие, справедливость, если только будете рассматривать их с этой точки зрения. Во всяком случае не из духа самоотречения проистекает восхваление человека полного самоотречения, готового на всякие жертвы, добродетельного — одним словом, такого человека, который не всю свою силу и ум, свое развитие, свое возвышение, свои успехи, свое могущество направляет на сохранение своей особы, но относится к себе сдержанно и не задумываясь о себе, быть может, даже равнодушно и с некоторой долей иронии. Наш ближний восхваляет самоотверженность, ибо он привлекает из нее выгоды! Если бы наш «ближний» сам был «самоотверженным», то он не допустил бы, чтобы личность так растрачивала свои силы, чтобы она так вредила себе, он стал бы противиться возникновению таких наклонностей и доказал бы перед всеми свое самоотвержение тем, что назвал бы ее *нехорошим качеством*! — Вместе с тем выступает и основное противоречие морали, господствующей в настоящее время: ведь *мотивы*, которыми обосновывается мораль эта, стоят в противоречии с ее *принципом*! То самое положение, которое она выдвигает в свою пользу, противоречит ей с точки зрения критерия, установленного ею для моральных явлений! Требование: «ты должен отречься от себя и принести себя в жертву», — должно быть декретировано только тем существом, которое само отрекалось от своих выгод и нашло свою гибель в жертве, предъявленной индивиду. Так должно бы быть, если бы мы не захотели идти вразрез с данной моралью. Но как только наш ближний (или общество) рекомендует альтруизм *в видах известной пользы*, то мы можем поставить требование прямо противоположное: «ты должен стремиться к выгоде насчет всего остального» — и таким образом в один прием проповедуется: «ты должен» и «ты не должен»!

## 22

*L'ordre du jour pour le roi*<sup>1</sup>. — Начинается день, начинаем и мы распределять на этот день, торжества и празднества нашего всемилостивейшего господина, который в настоящий момент изволит еще почивать. Его превосходительство настроено сегодня плохо; но мы остережемся говорить об этом и не будем упоминать о его настроении, — мы приготовим сегодня какое-нибудь торжество повеселее и праздник поторжественнее, чем раньше. Его превосходительству, быть может, даже понездоровится, и мы запасем к завтраку последнюю приятную новость, — приезд г-на Монтеня, который умеет так приятно пошутить над своею немощью, — он страдает каменной болезнью. Мы примем нескольких лиц (лиц! — что сказала бы та старая надутая ля-

<sup>1</sup> Распорядок дня для короля (*фр.*).





*...в эпоху «падения нравов» на поверхность выплывают существа, которых называют тиранами: это предтечи и рано созревшие первенцы индивидуализма.*

гушка, которая также будет среди них, если бы слышала это слово! «я не лицо, но сама вещь»), — и прием затянется дольше, чем это кому-нибудь будет приятно: вот прекрасный повод рассказать о том поэте, который сделал над своими дверями такую надпись: «кто войдет сюда, тот окажет мне честь; кто же не сделает этого, — удовольствие». — Вот это, поистине, называется сказать грубость вежливым манером! И, быть может, поэт этот не без основания был невежливым. Он, возможно, хотел написать еще много стихов и для того оградить себя от внешнего мира, — вот чем и объясняется его утонченная грубость! Обратно, князь всегда представляет нечто более ценное, чем его стихи, даже в том случае, когда... однако, что же это мы делаем? Мы болтаем, а весь двор думает, что мы работали и ломали над работой свою голову: ведь света только и есть, что в нашем окошке. — Послушайте! Кажется, часы бьют! Ах, черт возьми! Начинается день и открываются танцы, а мы еще не разучили своего тура! Нам придется импровизировать, но ведь весь мир импровизирует свой день. Будем же сегодня поступать, как и все! — И вот вдруг исчезло мое удивительное сновиденье, разогнанное, вероятно, резкими ударами башенных часов, которые со свойственной им важностью отбили пять ударов. И мне казалось, что на этот раз бог сновидений хотел пошутить над моими привычками — ведь я начинаю обыкновенно день после того, как подготавливаю его и сделаю для себя сносным, — и, быть может, относился к этой привычке слишком старательно, по-княжески.

## 23

*Признаки испорченности.* — Во-первых, общество в силу известной необходимости время от времени переживает состояние, которое характеризуется словом «испорченность» и признаки которого заключаются в следующем. Испорченное общество прежде всего находится под властью пестрого *суеверия*, а народная вера, напротив, бледнеет, теряет силу: суеверие именно и представляет из себя вольнодумство второй степени, — всякий, кто поддается ему, избирает известные, подходящие для себя формы и формулы и представляет себе право такого выбора. Человек суеверный, по сравнению с человеком религиозным, является всегда в большей степени «личностью», и суеверным обществом будет такое, в котором уже существует много индивидуумов и проявилась известная любовь к индивидуальности. С этой точки зрения суеверие представляет из себя *шаг вперед* по сравнению с установившимися взглядами и служит признаком того, что интеллект становится независимее и хочет отстоять свое право. Сторонники старых убеждений начинают тогда оплакивать испорченность нравов, — они приучили нас к известным терминам и окружили суеверие клеветой в глазах даже самых свободных людей. Будем же знать, что оно является симптомом *прояснения*. — Во-вторых, общество, в котором имеет место развращенность нравов, обвиняют в *ослаблении*: оно явно начинает не так высоко ценить войну и не проявляет к ней прежнего стремления, и люди ищут теперь покой с такою же страстностью, как прежде желали военных и гимнастических почестей. Но обыкновенно при этом не замечается того, что прежняя энергия народа, прежняя его страстность, которая находила себе такое блестящее выражение в войне и военных упражнениях, вкладываются теперь в бесчисленные индивидуальные страсти и стали потому менее заметными; да, вероятно, в тех общественных состояниях, которые считают «раз-

вращенностью» нравов, мощь затрачиваемой народом энергии увеличилась против прежнего, и индивидуум по отношению к ней проявляет такую расточительность, какая раньше была недоступна, — он не был тогда еще достаточно богат! И в эту эпоху «расслабления» трагедии совершаются и в частных домах, и на улицах, зарождается великая любовь и великая ненависть, и пламя познания ярко вспыхивает до самого неба. В-третьих, как бы в противовес упрекам в суеверии и ослаблении приписывают эпохе порчи нравов более мягкие взгляды, считают, что жестокость, которая сильно давала себя чувствовать раньше, в период большей веры и большей силы, теперь значительно смягчается. Но как не мог я согласиться с приведенными выше упреками, так не согласен и с только что высказанной похвалой; даже больше: я уверен, что жестокость теперь становится более утонченной и более древние формы ее приходится уже не по вкусу, но попытка путем слова и взглядов достигает в эпоху развращения нравов высшего своего выражения, — теперь только появилась злость и любовь к злобе. Люди эпохи развращения нравов отличаются своим остроумием и своей злоречивостью; они знают, что не одним только кинжалом можно убить человека, — они знают также, что люди верят во все, что *хорошо сказано*. — В-четвертых, в эпоху «падения нравов» на поверхность выплывают существа, которых называют тиранами: это предтечи и рано созревшие *первенцы индивидуализма*. Погодите немного: и вот уже эти плоды из плодов висят спелыми и желтыми на древе народа — и только ради плодов этих и существовало ведь это дерево! Если падение нравов и борьба всевозможных тиранов достигли своей кульминационной точки, то выступает всегда Цезарь, этот последний из тиранов, который заканчивает утомительную борьбу за единовластие, заставляя и самое утомление работать на себя. Своевременно индивидуальность обыкновенно достигает полной своей зрелости, а «культура», следовательно, высшего своего развития и высшей плодovitости, но делается все это не ради тирана и не через посредство его: хотя высшие культурные люди любят льстить своему цезарю и выдавать себя делом его рук. Истина, однако, заключается в том, что они нуждаются в покое от внешнего мира, ибо свое беспокойство и свою работу они носят внутри себя. В это время подкупность и измена достигают наивысшего своего развития, ибо любовь к только что открытому своему ego становится теперь гораздо могущественнее любви к старому, изношенному, обреченному на смерть «отечеству» и стремление обеспечить себя от страшных колебаний счастья открывает даже более благородные руки, когда богатый или могучий человек выказывает готовность насыпать в них золота. Теперь нет прочного будущего, и люди живут только сегодняшним днем: вот то состояние души, при котором обольстители всякого рода пожинают легкую жатву — и, действительно, люди дают обольстить и подкупить себя только на сегодня и отбрасывают всякую мысль о будущем и о добродетели! Индивиды думают только о себе и, как известно, данным моментом интересуются больше, чем толпа, которая представляет им полную противоположность, ибо считает себя такой же непонятной, как и будущее: подобным же образом они охотно связывают свою судьбу с людьми сильными, доверяя таким делам и средствам, которые не могут быть поняты толпой и не могут рассчитывать на благосклонный прием с ее стороны. Но зато и тиран или цезарь понимает права индивидуальности и заинтересован в том, чтобы обратиться с ободряющей речью и протянуть руку помощи даже наиболее смелой индивидуальной морали. Ибо он думает о себе или хочет подумать о себе то же, что Наполеон однажды классически выразил в следующей фразе: «На все упреки, обра-



ценные ко мне, я имею право давать вечно один и тот же ответ: „Ведь это я“. Я стою в стороне от всего мира, никто не может ставить мне каких-либо условий. Я хочу, чтобы подчинялись моим фантазиям, и нахожу это естественным даже в том случае, когда позволяю себе то или другое развлечение». Так отвечал Наполеон своей супруге, когда та не без основания высказала подозрение в его супружеской верности. — Эпоха развращения нравов является временем, когда яблоки падают с дерева: я подразумеваю здесь индивидуальности, этих сеятелей будущего, этих инициаторов духовной колонизации и пионеров в деле образования государственных и общественных союзов. Порча нравов — это только бранное слово для обозначения того факта, что для данного народа наступил осенний сезон.

## 24

*Различные виды недовольства.* — Недовольные люди типа слабого, как бы женского, способствуют украшению и углублению жизни; недовольство же со стороны людей сильных — чтобы сохранить нашу аналогию, скажем: людей, отличающихся мужским характером, — служит для улучшения и упрочнения жизни. Слабость и женственность у первых сказывается в том, что они время от времени охотно поддаются обману и уже небольшое упоение и сумасбродство удовлетворяет их, хотя в общем они никогда не достигают полного удовлетворения; эта-то неизлечимость недовольства их причиняет им страдание, и они идут охотно за теми, кто умеет находить себе утешение в опиуме и других наркотиках, и ненавидят всех, кто врача ставит выше священнослужителя, — вот чем они поддерживают жизнь в состоянии напряженной борьбы! Если бы в Европе с эпохи Средних веков не было излишка людей этого типа, то, быть может, европейцы не проявили бы своей знаменитой способности к постоянной изменчивости, ибо требования людей, обладающих сильным недовольством, настолько грубы, а люди эти в сущности настолько податливы, что в конце концов всегда достигают известного удовлетворения. Китай представляет пример страны, где недовольство в массах, как и способность их к изменениям, убита уже в течение многих веков и социалисты со своими планами улучшения и обеспечения жизни могли бы легко привести Европу к китайщине и китайскому «счастью», если только допустить, что им удалось бы с корнем вырвать ее слишком болезненное, нежное, женственное, а подчас излишнее недовольство и романтизм. Европа представляет из себя больного, который должен относиться с высшей благодарностью к своей неизлечимой болезни и вечным переменам своего страдания; эти постоянно новые положения, постоянно новые опасности, боли и средства — все это в конце концов приводило наш интеллект в возбуждение, которое если и не было самой гениальностью, то во всяком случае было матерью гениальности.

## 25

*Не предусмотрено для познания.* — Нередко встречается чувство робкого принижения, которое не позволяет человеку стать в число познающих. Именно: как только такой человек увидит что-нибудь необычайное, — он тотчас же отворачивается



и говорит себе: «ты ошибся! Где были твои чувства? Это не может быть истиной!» — и, вместо того чтобы зорче прислушиваться и приглядываться, он, как испуганный, бежит от поразившего его предмета и старается как можно скорее выбросить его из головы. Он именно во внутренней жизни держится следующего правила: «я не хочу ничего видеть, что находится в противоречии с установившимися взглядами на вещи! Разве я для того создан, чтобы открывать новые истины?»

## 26

*Что называется жизнью?* — Жить — значит отталкивать все, что обрекает себя на смерть; жить — значит быть свирепым, неумолимым ко всему, что является дряхлым и слабым, на наш взгляд, и не только на наш взгляд. Так неужели же жить — значит не иметь сострадания к умирающему, нищему и старику? Бесперывно быть убийцей? — А ведь еще Моисей принес в древности заповедь: «не убий!».

## 27

*Отрицающий.* — В чем состоит отрицание? Тот, кто отрицает, — стремится в высший мир, хочет улететь дальше и выше, чем люди, держащиеся каких-нибудь положительных правил; — *он отбрасывает многое* из того, что могло бы задержать его полет, и в выброшенном им балласте не все и для него не имеет цены, не все и ему недорого: он приносит это в жертву своему порыву ввысь. И мы только видим в нем эту жертву, это отбрасывание в сторону, а потому и называем его отрицающим. Но он доволен тем впечатлением, которое он на нас оставляет: он хочет скрыть от нас свое желание, свою гордость, свой умысел, чтобы подняться над нами. — Да! а ведь тот, кто поддакивает, кажется нам умнее, чем мы думали, и так почтителен по отношению к нам! Он — ровня нам даже в отрицании.

## 28

*Вред, проистекающий от лучших сторон человеческой природы.* — Наши силы иногда заводят нас так далеко, что мы уже больше не можем сдерживать своих слабостей и идем ко дну: мы даже предвидим подобный исход и тем не менее все же стремимся к нему. Тогда становимся мы жестокими ко всему, нуждающемуся в пощаде, и наше величие будет в то же время и проявлением нашей безжалостности. — Переживая подобное состояние, за которое мы готовы расплатиться жизнью, мы по своему воздействию будем напоминать великих людей с их влиянием на других и их время: лучшими сторонами своего существа они топят много слабых, неуверенных, несложившихся, желающих и приносят, таким образом, вред. Да, может и так случиться, что в общем тот или другой из них принесет только вред, ибо лучшие стороны его бытия могут быть усвоены только такими индивидами, которых оно, как сильный хмельной напиток, заставит потерять и ум, и чувство самосохранения, и они, хмельные, переломают себе руки и ноги на той неверной дороге, куда загонит их хмель.

## 29

*Прилыгающие.* — Когда во Франции явились противники, а следовательно, и защитники единиц Аристотеля, то можно было наблюдать явление, которое обыкновенно приходится видеть довольно часто, но на которое люди неохотно обращают свое внимание: — *основания*, на которых должен был покоиться закон, выдумывались исключительно лишь для того, чтобы не выдать своей привычки к нему и своего нежелания признать что-либо иное. То же самое повторяется по отношению ко всякой господствующей морали и ведется издавна: основания и цели, которые якобы кроются за известной привычкой, выдумываются только тогда, когда появляются противники данной привычки и спрашивают, какую цель она преследует и на каких основаниях покоится. В том и беда консерваторов всех времен, что они бывают вынуждены лгать по равным случаям.

## 30

*Комедия, разыгрываемая знаменитостями.* — Знаменитые мужи, ищущие славы, как, например, все политики, не без задней мысли выбирают себе союзников и друзей. От одного они хотят заимствовать блеск и отблеск его добродетели, от другого — способность внушать к себе страх какими-нибудь сомнительными добродетелями, которые всеми признаются за ним; у третьего захватывают танком славу человека праздного, живущего в свое удовольствие, ибо им самим иногда выгодно прослыть людьми беспечными и ленивыми, чтобы таким путем скрыть свое выжидательное положение; они приближают к себе то фантазера, то человека сведущего, то мечтателя, то педанта, но только как часть своего настоящего *я* — и не более! И атмосфера, окружающая их, становится мертвой, неподвижной, хотя в то же время кажется, что все ищет их близости и стремится стать «характерным выразителем» их; в этом отношении они напоминают нам большие города. Слава их, как и их характер, постоянно находится в движении, и достигают они этого постоянной переменой средств, выдвигая на сцену то одно, то другое из действительных или вымышленных своих свойств: для этого, как сказано, они пользуются своими друзьями и союзниками. Сами же они стремятся занять прочное положение и имеют вид медных блестящих статуй, ради чего и разыгрывают свою комедию.

## 31

*Торговец и знатный.* — Продажа и покупка являются в настоящее время такими же распространенными операциями, как искусство читать и писать: теперь в них приходится принимать участие и тем, кто даже совсем не принадлежит к торговому классу, и ежедневно упражняться в их технике: так, в глубокой древности, когда человек был еще диким, каждый непременно был охотником и изо дня в день упражнялся в технике этого дела. Тогда охота была занятием всеобщим, но теперь, наконец, она сделалась привилегией людей могущественных и знатных и потеряла характер повседневности и всеобщности, — а с тех пор как в ней перестали чувствовать необходимость, она является предметом прихоти и роскоши. Та же самая судьба, быть

может, когда-нибудь постигнет и процессы купли-продажи. Можно представить себе такое состояние общества, где нет места этим процессам и где совершенно утеряна необходимость упражняться в их технике ежедневно: и весьма возможно, что отдельные единицы, которые нелегко поддаются законам общего состояния, будут позволять себе в виде роскоши заниматься куплей-продажей. И тогда торговля станет признаком знатности, и благородные классы, быть может, с таким же рвением будут заниматься торговлей, с каким до сих пор они занимались войной и политикой; возможно, что к тому времени и политика получит совершенно обратную оценку. Ею уже и теперь занимаются не одни привилегированные классы, и со временем, пожалуй, она сделается таким обыденным занятием, что, подобно всей партийной и ежедневной прессе, будет помещаться под рубрикой «Проституция Духа».

## 32

*Неприятные ученики.* — «Что делать мне с двумя этими учениками», — восклицал с негодованием философ, который так же портил юношество, как портил его когда-то Сократ, — «это для меня неприятные ученики. Один никому не может ответить отрицанием, а другой — всякому говорит и так, и сяк. Если даже предположить, что они воспримут мое ученье, то первому пришлось бы много выстрадать, ибо мой образ мысли требует воинственной души, злой воли, страсти к отрицанию, твердой кожи, — он страдал бы тогда и от наружных, и от внутренних ран. Второй из каждой вещи, которую он берется защищать, делает посредственность, что отражается и на затронутом им вопросе, — такого ученика я желаю только своему врагу».

## 33

*По выходе из аудитории.* — «Чтобы доказать вам, что человек в сущности принадлежит к добрым животным, я напомню о том, как долго он оставался легкомысленным. И только теперь, когда уже слишком поздно и после страшного насилия над собой, — он сделался *недоверчивым* животным: — да! человек теперь — злее, чем прежде». — Я не понимаю, почему бы человеку быть теперь злее и недоверчивее? — «Да потому, что у него есть теперь наука, — потому что он в ней теперь нуждается!»

## 34

*Historia abscondita*<sup>1</sup>. — Всякий великий человек имеет и обратную силу: снова взбудораживается вся истории, и тысячи тайн прошлого выползают из своих ущелий к нему, на солнце. И отнюдь не следует с пренебрежением относиться к той мысли, что все когда-нибудь снова будет еще раз уделом истории. И прошлое теперь все еще, быть может, в своих существенных чертах, остается неоткрытым! Да! потребуются еще много людей, обладающих обратной силой!

---

<sup>1</sup> Сокровенная история (*лат.*).

## 35

*Ересь и чародейство.* — Не признаки высшего интеллекта, а действие сильных и злых наклонностей, — изолирующих упрямых, злорадных, злобных наклонностей проявляет всякий, кто не хочет держаться общепринятого образа мыслей. Ересь является двойником чародейства: в ней так же мало добродушия, и она так же мало заслуживает почтения. Еретик и колдун представляют из себя два рода злых людей: общее у них то, что оба они чувствуют себя людьми злыми и оба ощущают в себе непреодолимое желание становиться поперек дороги всему, что обладает властью (над людьми и людскими мнениями). И тех и других в громадном количестве выдвинула реформация, которая является своего рода усилением средневекового духа в ту пору, когда он уже потерял всю свою добрую совесть.

## 36

*Последние слова.* — Вспомним, что император Август, этот страшный человек, который обладал таким же самообладанием и таким же умением молчать, как какой-нибудь мудрый Сократ, выказал в последних своих словах нескромность по отношению к себе: он позволил в первый раз упасть маске со своего лица, в тот самый миг, когда дал понять другим, что он носил маску и разыгрывал комедию, — и он действительно так искусно исполнял на троне роль отца отечества и мудрого человека, что доводил зрителей до настоящей иллюзии! *Plaudite, amici, comoedia finita est!*<sup>1</sup> — Мысль умирающего Нерона: *qualis artifex pereo!*<sup>2</sup> — была в то же время и мыслью умирающего Августа: клоунская суета! клоунская болтливость! Какой контраст с умирающим Сократом! — Но Тиберий, этот самый ужасный мучитель из всех людей, продававших себя мучениям, умер молча, — он был человеком искренним, он не был актером! Что могло прийти ему на мысль в последнюю минуту? Быть может, следующее: «Жизнь представляет из себя продолжительную смерть. И я, безумец, укоротил эту жизнь у стольких людей! Разве для благодетелей я создан был? — Я должен был бы дать им вечную жизнь: тогда я мог бы *видеть* их вечно *умирающими*. Для этого у меня были достаточно хорошие глаза: *qualis spectator pereo!*<sup>3</sup>». Когда после продолжительной предсмертной агонии к нему снова возвратились силы, окружающие нашли для себя полезным придушить его подушками, — и так он умер двойной смертью.

<sup>1</sup> Рукоплещите, друзья, комедия окончена! (лат.).

<sup>2</sup> Какой артист погибает! (лат.). — Вот что сказано в «Жизнеописании двенадцати Цезарей» Гая Светония Транквилла о последних минутах Нерона: «...он приказал в своем присутствии вырыть могилу по мерке его тела и вместе с тем собрать, где найдутся, куски мрамора, а также принести воды и дров, которые вскоре понадобятся для его трупа. При этом всякий раз он всхлипывал и то и дело повторял: „Какой великий артист погибает!“» (пер. Д. Кончаловского).

<sup>3</sup> Какой зритель погибает! (лат.).



## 37

*Три ошибки.* — За последние столетия наука двигалась вперед или потому, что люди надеялись при помощи ее лучше понять мудрость и благость божью — главный мотив, руководивший в исследованиях великими англичанами (как Ньютон), — или потому, что верили в абсолютную полезность знания, а именно в самую интимную связь между моралью, наукою и счастьем, — что являлось главным мотивом для великих французов (как Вольтер), — или потому, что в науке думали получить нечто, полное самоотречения, благодушия, самодовлеющее и действительно безгрешное и совершенно чуждое дурным стремлениям человека, — это был главный мотив в душе Спинозы, который чувствовал в своем познании что-то божественное. Так тремя заблуждениями обуславливалось движение науки вперед.

## 38

*Взрывчатый материал.* — Если принять во внимание, что силы молодых людей постоянно стремятся проявить себя каким-нибудь бурным образом, то неудивительно, что молодежь так грубо и так неразборчиво бросается на тот или на другой предмет. Ее привлекает к вещи лишь вид той жадности, с которой люди бросаются на нее, как образ пылающего фитиля, — но не самая вещь. Наиболее искусные из оболыстителей поэтому понимают, что на вид необходимо выставлять взрыв — бурное проявление, а не обращаться к каким-либо доказательствам: при помощи одних основ с этими пороховыми бочками ничего не поделаешь.

## 39

*Перемена вкуса.* — Перемена общего вкуса имеет больше значения, чем перемены в области мнений; мнения вместе со всеми доказательствами, противоречиями и со всем их интеллектуальным маскарадом являются только симптомами перемен в области вкуса и никогда не бывают причинами таких перемен, каковая роль им часто приписывается. Как же изменяется общий вкус? Процесс состоит в следующем: отдельные могучие и влиятельные личности без всякого стеснения высказывают *hoc est ridiculum, hoc est absurdum*<sup>1</sup>; таким образом они решают, что им нравится и что внушает отвращение, и тиранически настаивают на своем решении. Таким путем они накладывают на многих людей известное принуждение, из которого постепенно образуется привычка для еще большего числа людей и, наконец, *потребность для всех*. То же обстоятельство, что эти единицы иначе чувствуют, имеют иной вкус, объясняется обыкновенно особенностями их образа жизни, пищи, пищеварения, быть может, большим или меньшим количеством неорганических солей — в крови и мозге, короче говоря, их физическими особенностями. Единицы эти имеют только мужество открыто исповедовать свою физику и прислушиваться к самым тончайшим ее требованиям: вот такими-то тончайшими тонами физики являются эстетические и моральные суждения этих индивидов.

---

<sup>1</sup> Вот это смешно, вот это абсурдно (*лат.*).

## 40

*О недостатке благородных форм.* — Солдаты и вожди их всегда находились в более благородных отношениях друг к другу, чем работники и работодатели. По крайней мере, всякая культура, опирающаяся на военную организацию общества, и теперь еще стоит высоко над так называемой индустриальной культурой. Последняя в настоящем своем виде является вообще самой низкой формой общежития, из всех когда-либо существовавших. В ней ясно выступает действие закона нужды: человеку хочется жить, и он продает себя, но в то же время презирает того, кто старается использовать для себя эту нужду и *купить* себе работника. Подчинение людям могучим и возбуждающим к себе страх, тиранам и предводителям, никогда не кажется столь тягостным, как подчинение неизвестным и неинтересным личностям, каковыми оказываются все крупные величины индустриального мира. В работодателе работник видит лишь хитрого, сосущего, спекулирующего на всякую нужду пса, который ничем не отличается от него ни по имени, ни по виду, ни по привычкам, ни по славе. Фабрикантам и крупным предпринимателям в области торговли не доставало, вероятно, до сих пор всех тех форм и отметок высшей расы, которые и делают только личность интересной; если бы у них во взоре и манерах было то благородство, какое мы наблюдаем у людей знатных по происхождению, то, быть может, среди масс никогда не было бы никакого социализма. Ведь эти массы собственно готовы подчиниться какому угодно рабству, если они только будут думать, что лицо, стоящее над ними, обладает высшею формой и тем самым доказывает свое превосходство и свое прирожденное право повелевать другими! Самый обыкновенный человек чувствует, что благородство нельзя импровизировать, и почитает в нем плод многих веков. Но отсутствие высших форм и всем известная вульгарность наших фабрикантов, которые отличаются своими красными жирными руками, наводят на мысль, что только случай да счастье вознесли здесь одного над другим. Хорошо же! думает каждый про себя: попытаем и мы своего счастья! Бросим же кость, — и вот выступает на сцену социализм.

## 41

*Против раскаяния.* — Мыслитель видит в своих собственных трудах лишь вопрос и пробу, к какому бы заключению он ни пришел; удача и неудача служат для него одинаково *ответом*. Жалеть о неудавшемся, чувствовать какое-нибудь раскаяние он предоставляет тем, кто работает по принуждению и кто ждет удара дубиной всякий раз, как господин его остался недовольным полученными результатами.

## 42

*Работа и скука.* — Искать работу ради заработка — вот стремление, которое охватывает теперь всех людей во всех цивилизованных странах; работа для них является только средством, а не целью; они малоразборчивы по отношению к занятиям, особенно если при этом можно получить хорошую выгоду. Теперь все реже и реже встречаются люди, готовые скорее погибнуть, чем приняться за работу, к ко-



*Если принять во внимание, что силы молодых людей постоянно стремятся проявить себя каким-нибудь бурным образом, то неудивительно, что молодежь так грубо и так неразборчиво бросается на тот или на другой предмет. Ее привлекает к вещи лишь вид той жадности, с которой люди бросаются на нее, как образ пылающего фитиля, — но не самая вещь*



торой они не чувствуют никакого расположения: трудно удовлетворить тех разборчивых индивидов, которые отвертываются от богатых выгод, если только сама работа не является лучшею из всех остальных выгод. К таким изредка встречающимся людям принадлежат художники и созерцатели всякого рода, а также те лентяи, которые проводят свою жизнь среди охоты, путешествий, различных приключений и любовных интрижек. Все они с удовольствием подчиняются работе — и в случае необходимости самой тяжелой, самой трудной работе — до тех пор, пока она не противоречит их желаниям. В противном же случае они проявляют свою лень самым решительным образом, если даже она угрожает им нищетой, бесчестьем, опасностью здоровью и жизни. Им не так страшна скука, как работа, к которой они не чувствуют никакого расположения: да, им нужен продолжительный период безделья для того, чтобы им удалась их работа. Для мыслителя и людей, одаренных изобретательным духом, безделье является неприятным «затишьем» души, которое предшествует счастливой поездке при благоприятном ветре; надо только перетерпеть этот период, выждать его действие, — а это удастся лишь немногим натурам. Изгонять досуг и отдаваться работе без всякого расположения к ней — это общераспространенное явление. И азиаты, пожалуй, имеют перед европейцами преимущество в своей способности предаваться более продолжительному и глубокому покою; даже наркотики их действуют медленно и требуют известного терпения, служа в этом отношении контрастом чисто европейскому яду-алкоголю с его неприятною способностью вызывать опьянение внезапно.

## 43

*Что обнаруживают законы.* — Безусловно, ошибается тот, кто, при изучении уголовных законов какого-нибудь народа, ищет в них выражения его характера; законы не обнаруживают внутреннего содержания народа, — они показывают лишь то, что этому народу было чуждо, что у него встречалось редко, казалось неслыханным и чужеземным. Уголовные законы относятся к таким фактам, которые являются исключениями в области обычной нравственности. И самые жестокие законы поражают такие деяния, которые были общепринятым явлением у соседнего народа. Так, ваххабиты считают только два смертных греха: поклоняться не ваххабитскому богу, а какому-нибудь другому божеству и предаваться куренью (которое у них называется «постыдным пьянством»). «а как же убийство, нарушение супружеской верности!» спрашивал в изумлении англичанин, которому впервые пришлось ознакомиться с этими взглядами. «Господь наш ведь милостив и милосерден», отвечал на это старик старейшина. — Так и древние римляне считали, что женщина могла совершить только два смертных греха: изменить мужу и напиться пьяной. Старый Катон полагал, что обычай обмениваться родственникам поцелуями именно для того и был установлен, чтобы следить за женщиной, не пахнет ли от нее вином. И, действительно, женщины, уличенные в пьянстве, наказывались смертью: и не за то только, что в опьянении они не знали предела своей распущенности. Римляне боялись прежде всего того оргиастического и дионисовского начала, которого так искали периодически женщины Европейского Юга в то время, когда вино в Европе было еще малоизвестно. Они видели в этом стремлении чудовищное предпочтение иностранным обычаям, — предпочтение, бла-



годаря которому римское чувство лишалось почвы, а в плоть и кровь входили чужие обычаи, и совершалась, таким образом, на их взгляд, измена Риму.

## 44

*Вера в мотивы.* — Важно знать мотивы, которыми человечество до настоящего времени руководилось в своих действиях. Быть может, *вера* в тот или другой мотив — та вера, которую само человечество искренне выдавало рычагом своей активной жизни, — представляет для исследователя нечто особенно существенное. Вера в тот или другой мотив, а не самый мотив, который является собственно второстепенным фактом, дает людям внутреннее счастье или несчастье.

## 45

*Эпикур.* — Да, я горжусь тем, что понимаю характер Эпикура иначе, чем понимают его, пожалуй, все остальные, и чувствую себя в силах пережить то чувство счастья, которое охватывало древнего грека в часы послеполуденного отдыха, — пережить, несмотря на все, что мне приходилось слышать и читать о нашем философе. Я вижу, как взор его покоится на обширной поверхности беловатого моря, на прибрежных скалах, облитых лучами солнца, а большие и мелкие животные играют в его свете так же спокойно и уверенно, как спокойны и уверены самый этот свет и этот взор. Такое счастье может обрести только тот, кто постоянно страдал; это — счастье взора, перед которым море бытия утихает и который никогда не устанет смотреть на его поверхность, на эту пеструю, нежную, дрожащую морскую пену: и никогда до него сладострастие не отливалось в такие умеренные формы.

## 46

*Наше удивление.* — Наше действительное и несомненное счастье заключается в том, что наука открывает такие предметы, которые стоят прочно и ведут постоянно все к новым и новым открытиям. Да, мы так подавлены всей непрочностью и фантастичностью наших суждений, вечным шатаньем всех человеческих законов и понятий, что, естественно, начинаем изумляться, когда видим, что научные данные действительно установлены очень прочно. Раньше люди ничего не знали об этой изменчивости всего человеческого, раньше обычные взгляды на нравственность заставляли прямо верить, что вся жизнь человеческая неизменными пробоями скреплена с медной необходимостью, — и если ощущали подобное изумление, то разве только, когда приходилось слушать сказки и похождения фей. И элемент удивления благотельно действовал на людей, которые могли утомиться под бременем вечных и неизменных правил. Но потерять почву! висеть в пространстве! блуждать! быть безрассудным! — да это раньше считали райским счастьем, крайней роскошью. Мы же со своим блаженством напоминаем человека, потерпевшего кораблекрушение, который наконец достиг берега и обеими ногами стал на старую, твердую землю, — изумляясь, что она не колеблется.

## 47

*Обугнетении страстей.* — Если постоянно сдерживать проявление страстей, как что-то «вульгарное», грубое, мещанское, — и таким образом стремиться покорять не самые страсти, а лишь их выражение — их язык и жесты, — то попутно все-таки получается угнетение и самих страстей, но крайней мере их ослабление и видоизменение. Поучительнейший пример нам в этом отношении дает двор Людовика XIV и все, что так или иначе было с ним связано. Век, воспитанный на том, чтобы подавлять свое чувство, не имел уже больше и самих страстей, место которых заняли приятные, плоские, заигрывающие манеры, — век, который был прямо одержим неспособностью проявлять что-нибудь грубое: даже оскорбления наносились и принимались в самых любезных выражениях. Напротив, наше время представляет, пожалуй, изумительнейший контраст с только что нарисованной картиной: я повсюду вижу — и в жизни, и на сцене, и далеко нередко в литературных произведениях — удовольствие ко всяким грубым проявлениям страсти; страстность, а не самые страсти поставлены в настоящее время в известные условные рамки! Но люди ничего не добьются таким путем, и наши потомки будут настоящими дикарями, а не только носителями диких и грубых форм.

## 48

*Сознание нужд своих.* — Быть может, ничем так резко не отличаются друг от друга люди и эпохи, как различной степенью сознательного отношения к своим нуждам. Мы, люди настоящего столетия, несмотря на все обилие наших недостатков и разнообразие нашего увечья, мы не обладаем сколько-нибудь значительным личным опытом и являемся лишь жалкими фантазерами; особенно ярко выступает это по сравнению с эпохой страха — самой продолжительной из всех эпох, — когда личность должна была защищать себя против организованной общественной силы и потому вырабатывать сильных людей. В то время человек проделывал богатую школу физических страданий и лишений и в известной суровости к себе, в добровольном самоистязании видел для себя неизбежное средство самосохранения; тогда приучал он близких ему людей переносить боль, тогда он охотно сам прибегал к боли и других присуждал к самым страшным страданиям, руководясь исключительно чувством самосохранения. Что же касается до духовных нужд, то относительно каждого человека я ставлю себе вопрос, известны ли ему эти нужды из личного опыта, или только по описанию; считает ли он необходимость такого познания ради только лицемерия и выдвигает ее как признак более тонкого образования, или же в глубине своей души вообще не верит в великие духовные страдания и при одном напоминании о них реагирует, как при напоминании о великих физических мучениях, вспоминая о зубной боли и жедудочных коликах. Так, по-моему, дело и состоит у большинства людей. Непривычка к духовной и физической боли и условия, при которых вы только изредка можете встретить страдающего человека, создали то, что наши современники ненавидят боль гораздо сильнее, чем люди прошлых веков, и с большей ненавистью говорят о ней: даже мысль о страдании они едва выносят и наличность ее в мире дает повод им обращаться с упреком ко всему бытию. Неожиданное появление пессимистической философии послужит признаком великой, страшной обороны; но она играет



*Век, воспитанный на том, чтобы подавлять свое чувство, не имел уже больше и самих страстей, место которых заняли приятные, плоские, заигрывающие манеры...*



роль вопросительных знаков, которые всегда ставятся относительно ценности всей жизни в те периоды, когда бытие наше достигло таких утонченных и легких форм, при которых даже ничтожная духовная и физическая боль, не превышающая боли от укула комара, кажется слишком кровавой, когда за скудностью действительного личного опыта в страдании весьма охотно выдают за страдания высшего порядка лишь общие *представления о страдании*. — Я бы, пожалуй, дал рецепт против пессимистической философии и чрезмерной чувствительности, которая, как мне кажется, собственно и является «нуждой настоящего времени», но рецепт этот звучит слишком сурово и чего доброго его отнесут в число тех признаков, на основании которых и теперь приходят к мысли, что «бытие является чем-то недобрым». Ну что же делать? Рецепт этот гласит: «клин клином вышибай».

## 49

*Великодушие и родственные ему чувства.* — Такие парадоксальные явления, как внезапное хладнокровие при решении какого-нибудь вопроса у сангвиника, как юмор у меланхолика и особенно как великодушие, которое является внезапным решением поступиться чувством мести или зависти, — наблюдаются у людей, обладающих могучей внутренней силой, действующей только внезапными толчками, у людей, которые очень быстро пресыщаются и очень быстро начинают чувствовать отвращение. Такие люди скоро удовлетворяются и доходят почти до пресыщения, отвращения и противоположного вкуса. Благодаря этому контрасту, разрешается спазм ощущения: у одного в виде внезапной холодности, у другого — в виде смеха, у третьего — в слезах и самопожертвовании. Великодушного — я говорю, по крайней мере, о тех великодушных людях, которые всегда производят особенно сильное впечатление, — я представляю себе человеком, питающим страшную жажду мести, который быстро мог бы достичь удовлетворения, но который так упивался им, так полно выпил его до последней капли *уже в представлении*, что за этим процессом быстро последовало страшное отвращение, — он поднимается тогда «выше самого себя», как говорят, и прощает своему врагу, даже благословляет его и оказывает ему всяческие почести. Вместе с тем насилием, которое он совершает над самим собой, вместе с тем поруганием все еще могучего своего чувства мести он отдается только новому стремлению (отвращению) и делает это с таким же нетерпением, с такою же неумеренностью, с какою он незадолго перед этим упивался в своей фантазии картинами мести. Великодушие представляет из себя ту же степень эгоизма, как месть, но только особый вид эгоизма.

## 50

*Страх одиночества.* — Даже у самых чутких людей упреки совести слабее, по сравнению с тем чувством, которое мы испытываем при мысли, что тот или другой из наших поступков будет направлен против добрых нравов *нашего* общества. Холодный взгляд, недовольная мина со стороны тех, среди кого и ради кого нас воспитывают, *страшны* даже для самых сильных людей. Но что, собственно, страшного во



всем этом? Угроза оставить вас в одиночестве — вот аргумент, который ниспровергает даже самые лучшие аргументы, находящиеся в вашем распоряжении в пользу какого-нибудь лица или предмета. — Так говорит в нас стадный инстинкт.

## 51

*Чувство истины.* — Я хвалю у себя всякий скептицизм, на который мне позволяет ответить: «сделаем же относительно этого опыт!» Но я уже не могу больше ничего слышать о всех предметах и о всех вопросах, которые не допускают опыта. Тут лежит граница моего чувства истины, ибо дальше я уже не чувствую у себя смелости.

## 52

*Что о нас знают другие.* — То, что мы сами о себе знаем и думаем, к нашему счастью, далеко не отличается такой определенностью, как это обыкновенно полагают. И вдруг в один прекрасный день прорывается то, что знают (или воображают) о нас *другие*, — и мы убеждаемся, что приговор этот представляет нечто особенно могучее. Легче покончить со своей плохой совестью, чем со своей дурной славой.

## 53

*Где начинается благо.* — Там, где обыкновенный глаз не различает дурных стремлений как таковых благодаря тем утонченным формам, в которые облакаются эти стремления, — там и определяет человек царство своего блага, и, чтобы переступить в царство блага, возбуждает к деятельности такие стремления, как чувство безопасности, удовольствия, благоволения, которым дурные стремления ставили известные границы. Таким образом, чем тупее глаз, тем обширнее для человека является царство блага! Вот почему так ясно на душе у простого народа и у детей, а у великих мыслителей такой мрак и такая скорбь, которая граничит с беспокойной совестью.

## 54

*Сознание наших иллюзий.* — Когда вместе со своим познанием я становлюсь лицом к лицу с остальным миром, то все мне кажется изумительным и новым, и в то же время ужасным и полным иронии! Я *открыл* для себя, что древний мир людей и животных, даже более того — вся первобытная жизнь и все прошлое каждого чувствующего существа — продолжает во мне мечтать, любить, ненавидеть. И вот я внезапно пробудился среди этих грез, но лишь для того, чтобы сознать, что я так же грежу и *должен* продолжать свои грезы, если не хочу пойти ко дну, подобно лунатику, который должен продолжать грезить для того, чтобы не упасть. Что же такое представ-



*Легче покончить со своей плохой совестью, чем со своей дурной славой*

ляют теперь мои «иллюзии»? Конечно, иллюзия о каком-нибудь существе не будет его контрастом, — ведь о любом существе я могу высказать лишь предикат того, чем он мне кажется! Конечно, не мертвой маской, которую легко можно надеть и снять с неизвестного X! Иллюзия является для меня чем-то действующим, живым, и это не что в своем издевательстве надо мной заставляет меня почувствовать, что здесь все — иллюзия, блуждающие огоньки, танец духов, и больше ничего, — что между всеми этими грозящими и я, «познающий», совершаю свой танец, что каждый из нас своим познанием затягивает только земной танец и только на время является распорядителем на праздник бытия и что установленная последовательность и связь всех познаний является и будет служить высшим средством для того, чтобы сохранить всеобщность этого бреда, дать возможность членам этого грезящего мира понимать друг друга и продолжать свой бред на будущее время.

## 55

*Последняя форма благородства.* — Что делает человека «благородным»? Конечно, не жертва с его стороны: ведь и безумный может принести жертву; а также и не всякая страсть, ибо бывают позорные страсти. Также и не отсутствие эгоизма, ибо эгоизм, быть может, особенно-то устойчиво и проявляется у людей наиболее благородных. — Но благородный человек должен обладать страстью совершенно обособленной и вместе с тем не знать об ее обособленности; он должен употреблять редкую и исключительную мерку ценностей, гранича в этом отношении почти с помешательством; чувствовать жар в таких предметах, которые другим кажутся холодными; угадывать такие ценности, для которых еще не изобретено весов; приносить жертвы на алтарях, посвященных неизвестному богу; обладать храбростью не ради почестей; доводить чувство самодовольства до излишества и заражать в этом отношении окружающую атмосферу. Таким образом до сих пор благородным можно было сделаться только при наличии двух условий; быть редким человеком и не знать об этой своей особенности. Но обратим при этом внимание на то, что, руководясь такой путеводной нитью, мы в погоне за исключениями считаем пошлым и даже позорным все обычное, ближайшее к нам и необходимое — короче говоря, — все, что больше всего способствует сохранению рода человеческого, — все, что вообще являлось для человечества правилами поведения. Быть прокурором этих правил — вот, пожалуй, последняя и тончайшая форма, в которой проявляется благородство на земле.

## 56

*В страстных поисках за страданием.* — Когда я думаю о том страстном желании найти себе какое-нибудь дело, — желании, которое так раздражает и мучит миллионы молодых европейцев, изнывающих от тоски и чувствующих себя не в силах переносить бремя своей собственной персоны, то мне становятся непонятны страстные поиски за страданием, чтобы найти себе хотя бы какое-нибудь проблематическое основание для своей деятельности! Это неотложная потребность! Вот чем объясняются все завывания политиков, все эти многочисленные фальшивые, выдуманные,

раздутые «состояния крайней необходимости» всевозможных классов и слепая готовность уверовать в них. Для того чтобы подействовать на душу нашей молодежи, надо им *извне* показать картину какого-нибудь несчастья; только таким путем можно возбудить к деятельности их фантазию, которая тотчас же создаст какое-нибудь чудовище и поведет их в бой с ним. Если бы они сами чувствовали в себе силу сделать какое-нибудь добро, пристроить себя к какому-нибудь делу, — они сумели бы создать сами собою свою собственную нужду. Изобретательность их отливалась бы тогда в более тонкие формы, и чувство удовлетворения звучало бы, как прекрасная музыка. Теперь же они наполняют мир только криками «караул» и потому слишком часто обращаются к чувству самообороны. Они не умеют никакого дела начать сами собою — и размалевывают на стене несчастья других; они не могут обойтись только собою, без других! И им постоянно нужна смена этих посторонних лиц! — Простите, друзья мои, за то, что и я отважился размалевать на стене свое счастье.



## КНИГА ВТОРАЯ

### 57

*Реалистам.* — О, вы, рассудительные люди! Вы, которые чувствуете себя во всеоружии против всякой страсти и фантазии и кичитесь своей пустотой, как украшением: вы называете себя реалистами и тем самым намекаете, что мир должен быть таким, каким он вам является: перед вами одними действительность стоит без покрывала, и лучшею частью ее являетесь, пожалуй, вы сами. Но разве, сорвав с мира покрывало, вы не оказываетесь, по сравнению с рыбами, все-таки в высшей степени страстными и мрачными, разве вы непохожи на влюбленного художника? — и чем же является «действительность» для влюбленного художника? Ведь та оценка, которую вы даете окружающим вас предметам, коренится в страстях и влечениях предшествовавших столетий! Рассудительность ваша в сущности является непрекращающимся обвинением! Ваша любовь к действительности, например, — ведь это старая-престарая «любовь». В каждом ощущении, в выражении каждого чувства заключается частица этой старой любви: и, таким образом, тут вдоволь проработала и фантазия, и предрассудок, и неразумие, и неведение, и страх, и что там еще есть! Возьмем хоть ту гору, то облако! Ну что «действительного» есть в этих предметах? Ну откиньте вы, рассудительные люди, все те фантазмы, которые в них вложены человечеством, и все, что им туда прибавлено! Сделайте это, если только можете, если вы в состоянии забыть свое происхождение, свое прошлое, ту предварительную школу, которую вам пришлось пройти, — одним словом, всю жизнь человечества и животного царства! Для нас не существует «действительности» — и для вас тоже, трезвенные люди, — мы далеко не так чужды друг другу, как вы полагаете, и, быть может, наше искреннее стремление вырваться из состояния опьянения настолько же почтенно, как и ваша уверенность в том, что вы вообще неспособны поддаться опьянению.

### 58

*Только как результат нашего творчества!* — Мне всегда стоило, да и стоит величайшего труда понять, что язык встречает главное препятствие в том, чтобы дать *вещам такое название*, которое соответствовало бы их сущности. Кличка, название и

наружный вид, оценка, обычная мерка, прилагаемая к вещам, и их значение — все это является результатом заблуждения и произвола, представляет из себя как бы одяжание, накинутае на вещи и чуждое не только их телу, но и коже, — в то же время, однако, благодаря вере, которую человечество питает к этим элементам, и тому росту, который они проявляют при переходе от одного поколения к другому, они постепенно становятся совершенно равнозначными с самою вещью и даже как бы срастаются с ее телом: то, что сначала являлось лишь призраком, со временем становится самою сущностью и *действует*, как нечто действительно существующее. Каким же глупцом был бы всякий, кто воображал бы, что достаточно указать на это происхождение химеры, на то покрывало, под которым она скрывается, чтобы *уничтожить* мир, как нечто действительно существующее, как так называемую «действительность». Если мы что и можем уничтожить, так это лишь результаты нашего же творчества! — Но не забудем также и следующего положения: достаточно создать новое название, новую ценность, что-нибудь вероятное, и мы вместе с тем создадим и новые «вещи», которые проявят себя со временем.

## 59

*Мы — художники!* — Любовь к женщине легко воспаляет в нас ненависть к природе, когда мы вспоминаем о тех неприятных, хотя и естественных функциях и особенностях, которые мы встречаем в каждой женщине; мы, вообще говоря, охотно думаем об этих вопросах, но всякий раз, как душа наша прикасается к ним, она совершает нетерпеливые движения и, как сказано, бросает презрительные взгляды на природу: мы чувствуем себя обиженными; нам кажется, что природа вторгается в нашу область с неумытыми руками. Тогда затыкаем мы себе уши, чтобы не слышать того, что говорит физиология, и тайно решаем для себя: «я не хочу и слышать, чтобы человек представлял из себя еще что-нибудь иное, кроме *души, и формы*». «Человек с кровью и плотью» является предметом отвращения, каким-то поношением божества и любви. — Те же чувства, которые волнуют по отношению к природе влюбленного, мы находим у каждого почитателя богов и их святого всемогущества. Во всем, что о природе было сказано астрономами, геологами, физиологами, врачами, они видят посягательство — и посягательство дерзкое — на их достояние, и возмущаются бесстыдством этих наглых людей. Самое слово «естественный закон» звучит для них клеветой на богов. В сущности они с удовольствием посмотрели бы, как все произвольные и волевые движения были бы подведены под какие-нибудь механические законы, — но так как никто им не мог оказать такой услуги, то они и *утаили*, насколько оказалось возможным, природу и механику для себя и оставались жить в области грез. О, эти люди уже с давних пор научились *грезить*, но не считали нужным заснуть! — и мы, люди настоящего момента, умеем еще слишком хорошо проделывать это, несмотря на все наше стремление бодрствовать и жить среди бела дня! Достаточно любить, ненавидеть, иметь какое-нибудь страстное желание и даже вообще переживать какие-нибудь ощущения, — и *тотчас* же на нас нисходит дух и сила грез, и вот с открытыми глазами, холодно глядя в глаза всякой опасности, мы выступаем на самый страшный путь, взбираемся на крыши и вершины замков фантазии и не чувствуем при этом даже головокружения, как будто лазить нам предопределено от ро-

ждения. Вот каковы мы — лунатики, бродящие днем! художники! утайщики всего естественного! сомнамбулы и изуверы! Спокойно и безустанно бродим мы по высотам, которые даже и не кажутся нам высотами, а простыми безопасными равнинами.

## 60

*Женщины и их действие на расстоянии.* — Слышу ли я? Ведь я весь обратился в слух? Вот стою я среди моря огня, белые языки которого лижут мои ноги: — отовсюду раздается вой, угрозы, крик и визг, а в далекой глубине старый бог, потрясающий землю, напевает свою арию, глухую, как рев быка, и выбивает при этом так сильно такт, содрогающий землю, что у самого проклятого чудовища дрожит в груди сердце. И вот внезапно, всего в нескольких саженьях от врат этого адского лабиринта, появляется громадное парусное судно, рожденное как бы из пустоты, и скользит бесшумно, как привидение. О, волшебная красота! Как очаровывает она меня! Как? Уже не там ли, на корабле этом, собраны весь покой, все молчание нашего мира? Не там ли среди покоя и тишины находится мое счастье, мое более счастливое *я*, мое второе, упокоенное, *я*, — еще не мертвое, но уже и не живое, — в виде какого-то среднего бытия, одухотворенного, спокойного, созерцающего, скользящего, парящего, уподобляясь кораблю, который со своими белыми парусами пролетает над темным морем, как громадная бабочка? Да! Пролетать над бытием! — Кажется, шум здесь обратил меня в мечтателя? Вся эта великая суматоха заставляет нас искать своего счастья в покое и уединении. И вот, когда человек стоит среди *своего* шума, он видит вдруг, что мимо него скользят спокойные волшебные существа, счастья и одиночества которых ему так хочется для себя, — и существа эти — не кто иные, как женщины. И думает он: там, у женщин, находится мое лучшее *я*: в этой тихой гавани шум самого страшного прибоя превращается в мертвенную тишину, а жизнь сама — в мечты о жизни. Но, увы, мой благородный мечтатель, и на самом прекрасном парусном судне так много *шума* и суетни, и суетни такой мелочной, ничтожной! Могущество и чары женщин заключаются, говоря языком философов, в действии на расстоянии, *actio in distans*: и прежде всего необходимо *расстояние*!

## 61

*В честь дружбы.* — Из одного рассказа об известном македонском царе мы видим, что древние считали дружбу высшим чувством, ценили ее даже больше, чем прославленную гордость самодовольных и мудрых людей, и ставили ее в один ряд с еще более святым для них чувством кровного родства. Царь подарил одному из афинских философов, пользовавшихся всеобщим уважением, талант, но тот возвратил ему подарок обратно. Тогда царь сказал: «как, у него нет друзей», — выражая этими словами такую мысль: «я уважаю гордость этого мудрого и независимого человека, но я еще больше уважал бы его человечность, если бы чувство дружбы одержало в нем победу над его гордостью. В моих глазах убывает значение каждого философа, который показывает, что ему не знакомо ни одно из высших чувств, — и тем более чувство самое возвышенное!».».





*Могущество и чары женщин заключаются, говоря языком философов,  
в действии на расстоянии, actio in distans: и прежде всего необходимо  
расстояние!*



## 62

*Любовь.* — Любовь прощает возлюбленному даже вожделение.

## 63

*Женщина в музыке.* — Почему теплые и дождливые ветры приносят всегда с собой музыкальное настроение и чрезвычайную изобретательность в области мелодий? Быть может, это те самые ветры, которые навевают на женщин влюбленные мысли.

## 64

*Скептик.* — Я боюсь, что пожилые женщины в самых отдаленных тайниках своего сердца хранят гораздо больше скептицизма, чем все мужчины: они верят, что все в нашем существовании поверхностно, и все глубокие добродетели являются для них только оболочкой, под которой скрывается именно эта «истина», — оболочкой, правда, чрезвычайно ценной, ибо ею прикрывается известного рода *pudendum*<sup>1</sup>, и, таким образом весь вопрос заключается в приличии.

## 65

*Самопожертвование.* — Встречаются благородные женщины, проявляющие известное убожество духа. Высшую форму своего самопожертвования они видят в отказе от своей добродетели, от своего стыда: это высший их дар. И подарок такой часто принимают, не догадываясь даже о том значении, которое вкладывает в него дарящая, — грустная история!

## 66

*Сила слабых.* — Все женщины умеют очень искусно преувеличивать свою слабость и проявляют чрезвычайную изобретательность в этом отношении. Они стремятся выказать себя хрупкими украшениями, повредить которым может всякая пылинка: самый факт их существования должен внушать мужчине мысль о его собственной неуклюжести и шевелить его совесть. Так защищаются они против силы и против всякого «кулачного права».

## 67

*Лицемерить перед самим собой.* — Она любит его и с тех пор, как носит в себе это чувство, смотрит вперед с таким же спокойным упованием, как корова: но увы! Ведь

---

<sup>1</sup> Стыд (лат.).

все очарование ее и заключалось в ее чрезмерной изменчивости, в неуловимости! Он сам по себе обладает слишком большою устойчивостью! Не лучше ли будет для нее, если она будет лицемерить и поддерживать уверенность, что характер ее ни в чем не изменился? Притворяться свободной от всякого чувства любви? Не советовать любить. *Vivat comoedia!*<sup>1</sup>

## 68

*Воля и готовность исполнять чужую волю.* — Однажды привели к мудрецу юношу и сказали: «вот его развратили женщины». Но мудрец покачал головой и засмеялся. «Мужчины», воскликнул он: «вот кто портит женщин, и все недостатки женщин должны быть исправлены на мужчинах, ибо мужчина намечает типичные черты женщины, и она руководится этими указаниями». — «Ты слишком мягкосердечен по отношению к женщинам», заметил кто-то из толпы, окружавшей его, «ты не знаешь их!» Мудрец ответил: «Воля — искусство мужчины, готовность исполнять чужую волю — искусство женщины; в этом и заключается закон для того и другого пола; правда, суровый закон для женщин! Все люди неповинны в своем существовании. Женщина же дважды неповинна в этом: кто мог бы быть к ним достаточно снисходительным?» — «Зачем снисходительность!» воскликнул другой из толпы — «надо только женщин воспитывать лучше!» — «Надо мужчин воспитывать лучше», — сказал мудрец и поманил за собою юношу. — Но юноша за ним не последовал.

## 69

*Способность к мести.* — Мы не чувствуем презрения к тому, кто не может, а потому и не хочет себя защищать, но зато мы невысоко ценим всякого, кто не имеет ни возможности, ни желания мстить — все равно, — будет ли то мужчина, или женщина. Могла ли бы привязать нас к себе женщина, относительно которой мы не были бы уверены, что при известных обстоятельствах она сумеет искусно направить против нас кинжал (или что-нибудь в этом роде) или поступить так же жестоко сама с собой, а ведь в некоторых случаях такая месть будет еще более чувствительной. (Китайская месть.)

## 70

*Повелительницы повелителей.* — Могучий древний голос, который и теперь иногда раздается на сцене, внезапно отдергивает перед нами занавес, за которым скрываются различного рода возможности; и мы верим тогда, что где-то на свете могут существовать женщины с высокой, мужественной, царственной душой, способные и готовые к грандиозным возражениям, решениям и самопожертвованию, способные и готовые к господству над мужчинами, ибо в них олицетворяется тот лучший идеал,

<sup>1</sup> Да здравствует комедия! (лат.)

который мужчины были способны составить себе о женщинах. Однако эти речи, по мысли театра, не должны были непосредственно внушать нам таких представлений о женщине: назначение их дать нам тип идеального любовника — мужчины, например, Ромео; но, судя по своему опыту, я могу сказать, что и театр, и музыка, ожидая от этих звуков подобного действия, безусловно, всегда, ошибаются в своих расчетах. Как-то не верится в этих любовников: слишком много здесь материнского и хозяйственного, именно как раз в такие моменты, когда в этих звуках слышится любовь.

## 71

*О женском целомудрии.* — Изумительным и даже чудовищным является воспитание женщин, принадлежащих к благородным семьям, и едва ли мы можем встретить что-нибудь еще более парадоксальное. Женщину здесь стремятся воспитывать так, чтобы она отличалась полным неведением *in erotics*<sup>1</sup>, приучают ее глубоко стыдиться этих явлений и избегать всякого намека на них. Ведь вся «честь» женщины ставится тут на карту: есть из-за чего ее исковеркать! Но даже в самых тайниках своего сердца она должна оставаться неведающей в этом отношении, — ей не следует ни видеть, ни слышать, ни говорить, ни думать об этом «зле»: да, знание здесь уже является злом. И что же! С какою ужасной быстротой врывается это знание в действительность при вступлении в брак — и приносит его тот, к кому она питает высшую любовь, высшее уважение: любовь и стыд, переплетаются в противоречии друг другу; восхищение, долг, сострадание и страх перед этой неожиданной близостью божества и животного и т. д. и т. д., и все это необходимо пережить сразу! — И тогда в душе женщины завязывается такой узел, которому нет равного! Даже сострадательного любопытства, мудрейшего знатока человеческого сердца, недостаточно, чтобы решить, как сумеет та или другая женщина разобраться в этом решении загадки и в этой загадке решения. И какое ужасное, далеко захватывающее презрение должно царить в бедной душе, выпавшей из своих пазов; вот тут-то и надо искать корень всей женской философии и скептицизма! — Затем самое глубокое молчание и на будущее время: и часто приходится молчать перед самой собой, закрывать глаза на самое себя. — Вот почему молодые женщины стараются показать, что мысли их скользят по поверхности, что они живут, не задумываясь; и самые чистые из них прикидываются в этом отношении до бесстыдства. — Женщины легко смотрят на своих мужей как на вопросительные знаки своей чести, а на детей как на апологию и кару, — им нужны дети, и они желают себе их, но желают совершенно иначе, чем мужчина. — Одним словом, никакая снисходительность не будет достаточно большой по отношению к женщинам!

## 72

*Матери.* — Животные думают о женском поле иначе, чем люди; он имеет для них значение как собрание производительниц. У них не существует отцовской люб-

---

<sup>1</sup> В эротике (лат.).

ви, но что-то вроде любви к детям своей любовницы и привычка к ним. Самки же в детях находят удовлетворение своего властолюбия и чувства собственности; дети дают им возможность занять их время, представляют нечто понятное, с чем можно пустословить: все это вместе и составляет материнскую любовь, которую можно сравнить с любовью художника к своему произведению. Беременность сделала женщин более кроткими, более терпеливыми, более боязливыми и заставила их охотнее искать подчинения; подобным же образом и духовная беременность порождает созерцательные характеры, столь родственные женскому характеру, — так проявляется материнское чувство у мужчин. У животных мужской пол оказывается вместе с тем и лучшим полом.

## 73

*Жесткость святого.* — К одному святому пришел человек с новорожденным младенцем на руках и спросил: «что делать мне с ребенком: он такой жалкий, так плохо сложен и даже не обладает на столько жизнью, чтобы умереть». «Убей его, воскликнул святой страшным голосом, — убей его и продержи три дня и три ночи у себя на руках для того, чтобы навсегда запомнить о нем, — и тогда ты не произведешь на свет ни одного ребенка, если для этого еще не наступило времени». — И, услышав это, ушел человек от святого разочарованный; и многие порицали святого, зачем он дал такой жестокий совет — убить ребенка. «А разве не было бы еще более жестоким оставить его в живых?» — спросил святой.

## 74

*Неудачницы.* — Неудача преследует тех бедных женщин, которые в присутствии любимого человека становятся неуверенными и беспокойными и начинают слишком много говорить: на мужчин легче всего действовать при помощи скрытой и флегматичной нежности.

## 75

*Третий род.* — «Мужчина небольшого роста хотя и парадоксален, но все-таки мужчина, — маленькая же женщина, когда я ее сравниваю с высокой женщиной, кажется мне существом другого рода», — говорил старый танцмейстер. «Низкорослая женщина не может быть прекрасной», — говорил старый Аристотель.

## 76

*Величайшая опасность.* — Если бы большинство людей не гордилось постоянно дисциплиной своей головы — своей «разумностью» — и не считало ее своей обязанностью, своей добродетелью, которые в роли друзей «здорового человеческого





*...на мужчин легче всего действовать при помощи скрытой и флегматичной  
нежности*

смысла» оскорбляются и смущаются всякой фантазией и всяким распутством мысли, то человечество уже давно бы пошло ко дну! Больше всего люди всегда боялись, да и теперь боятся, проявить в чем-нибудь признаки умопомешательства, — которое, по их мнению, сказывается в том, что человек дает волю своему слуху и зрению, находит удовольствие в распутстве мысли, испытывает радость по поводу всего, что противно здравому смыслу. Однако не ради истины и не под влиянием угрызений совести они отвергают мир такого безумца, но ради той веры, которая считается для всех обязательной, короче говоря, для того, чтобы не дать своей мысли полной свободы действия. И люди до сих пор работали главным образом над тем, чтобы согласовать друг с другом множество вещей и установить закон *такого сходства*, все равно, являются ли эти вещи истинными или ложными. В этом-то и состоит дисциплина головы, сохраняющая человечество от гибели; но враждебные ей стремления становятся настолько могущественными, что о будущем человечества приходится говорить с большим недоверием. Образы вещей постоянно находятся в движении и изменяются в настоящее время быстрее, чем раньше; мало-помалу против обязательств, налагаемых на человечество, начинают ерошиться люди избранного духа и прежде всего исследователи истины! Мало-помалу та вера, о которой мы только что упомянули, становится чем-то пошлым, затасканным, возбуждает у людей, обладающих более тонкой духовной организацией, отвращение к себе и создает у них новые страстные желания. И тогда тот медленный темп, который был усвоен для всех духовных процессов, то подражание движениям черепахи, которые были признаны здесь нормальными, заставляет дезертировать художников и поэтов — всех людей, обладающих нетерпеливым духом, у которых так ясно выступает страсть к безумию, ибо безумие ведь отличается таким веселым темпом! И только добродетельный интеллект — говоря прямо, *добродетельное тупоумие*, непоколебимое умение отбивать такт медленно живущего духа не разъединяет последователей великой общей веры и заставляет их продолжать свой танец, и это свойство считается чрезвычайно важным. *Мы же, — все остальные, являемся исключением, представляем опасность* и должны находиться в состоянии вечной обороны! — Впрочем, позволяется кое-что сказать и в пользу исключения, *если предварительно допустить, что оно никогда не будет правилом.*

## 77

*Животное, обладающее доброй совестью.* — «Я невольно как-то обращаю внимание на все вульгарные вкусы, которые проявляются в Южной Европе — будет ли то итальянская опера (Россини или Беллини), или испанский роман с похождениями (доступный нам по преимуществу во французской передаче Жиль Блаза), но вульгарность эта меня так же мало задевает, как та вульгарность, которую можно встретить среди раскопок Помпей или даже при чтении античной книги. Отчего? Дает ли себя чувствовать здесь бесстыдство и уменье всякого вульгарного явления выступать с такой уверенностью, с таким сознанием собственного своего достоинства, как будто бы это было что-то благородное, миловидное, страстное? Животное ведь тоже обладает своими правами: ему предоставлено свободно бежать в любую сторону, и ты, мой любезный собрат, все еще не лучше животного!» — вот мораль и особенность гуманитарных идей южных народов. Дурной вкус имеет такие же права, как и хороший,

и представляет перед ним даже преимущество, когда в нем чувствуется великая потребность, когда он доставляет полное удовлетворение, выражается в общераспространенных терминах, носит безусловно всем попятную маску и прибегает к столь же понятным жестам. Хороший, отборный вкус, напротив, вечно ищет чего-то, его постоянно только пробуют, относительно него никогда нельзя быть уверенным, что его достаточно поймут, — он никогда не бывает и никогда не был национальным! Национальной бывает и остается только маска и все, что скрывается под маской, в мелодиях и кадансах, в скачках и резвости ритма этих опер! Ведь это античная жизнь! Как может в ней понять что-нибудь тот, кто сам не испытывает страстного желания надеть на себя маску, не понимает той доброй совести, которой обладает все, что скрывается за маской! Именно так отдыхал и нежился античный дух, и, быть может, такой отдых в древности для натур возвышенных и редких был даже более необходим, чем для людей обыкновенных. — Напротив, мне всегда бывает больно, когда прокидывается что-нибудь вульгарное в произведениях северных народов, например в немецкой музыке. Становится стыдно, когда видишь, что художественная натура сознательно спускается вниз, и краска стыда невольно выступает у вас на лице. Мы догадываемся, что художник считает нужным спуститься со своей высоты ради нас, и это обстоятельство задевает нас.

## 78

*За что мы должны быть благодарны.* — Только артисты и писатели, работающие для сцены и на сцене, дали людям глаза и уши для того, чтобы каждый имел возможность увидеть, что он из себя представляет, что он переживает, чего он хочет; только они дают нам возможность оценить того героя, который скрыт в каждом из этих повседневных людей, и учат искусству рассматривать самих себя издали героями в упрощенном и проясненном виде, — искусству «выставлять самих себя на сцену.» Мы вынуждены бываем при этом отбрасывать кое-какие мелкие детали, касающиеся нас. Без этого нам пришлось бы жить вне перспективы, все время оставаться в области тех оптических явлений, которые заставляют нас ближайшим и обыкновенным предметам приписывать необычайные размеры и считать их самую действительностью.

## 79

*Прелесть несовершенства.* — Я вижу здесь поэта, который, как и многие другие люди, привлекает к себе своими несовершенствами больше, чем теми творениями, которые выходят из его рук в законченном и закругленном виде; успехом своим и славой он гораздо больше обязан своим недостаткам, чем своим богатым силам. Произведение его никогда не выражает всего того, что он хотел бы им выразить, что *он хотел бы увидеть* в нем, и кажется, что он только предвкушает видение, но сам никогда его не видит. В душе его остается неслыханная жадность к этому видению, и от нее-то заимствует он свое, столь же неслыханное, красноречие в защиту своего нетерпеливого желания, своей алчности. При помощи такого красноречия он поднимает своих слушателей над своим произведением и над всеми другими «произведениями» и



дает ему крылья, при помощи которых они могут достичь таких высот, до которых никогда раньше не поднимались; они становятся поэтами и ясновидящими и испытывают чувство удивления к виновнику своего счастья, как будто бы он дал им возможность непосредственно созерцать тайники своей души, как будто он достиг своей цели и действительно видел и сообщил свое видение. Так, к счастью для своей славы, он никогда не достигает намеченных для себя целей.

## 80

*Искусство и природа.* — Греки (по крайней мере афиняне) охотно слушали всякую красивую речь; пристрастие это у них было настолько сильно, что его можно считать характерным признаком, которым греческий мир отличался от всего негреческого. Таким образом и от сцены они требовали, чтобы страсть говорила красивым языком, и неестественность драматического стиха приводила их в восторг, хотя в природе страсть бывает такой молчаливой, такой немой, такой смущенной, а если и находит слова, то какие запутанные, неразумные! она сама их стыдится! Теперь мы все благодаря грекам привыкли к этой неестественности сцены, даже больше — мы благодаря итальянцам переносим теперь, и переносим охотно, другую неестественность сцены, — *поющую* страсть. — Слышать, как человек прекрасно и обстоятельно говорит в самых затруднительных положениях, стало нашей потребностью, удовлетворить которую действительность не может. Мы восхищаемся, что герой какой-нибудь трагедии находит у себя слова, мысли, красноречивые жесты и вообще сохраняет светлое состояние духа в такие моменты, когда жизни грозят страшные опасности, когда человек в действительности теряет не только способность к красивым оборотам, но и самую голову. И подобные уклонения от природы доставляют, пожалуй, особенно много наслаждений для гордости человека; они-то заставляют его любить искусство, как выразителя героической, возвышенной неестественности. С полным правом поэтому кидают драматическому писателю упрек, когда он не все обращает в разум и слово, но постоянно удерживает у себя *молчаливый* остаток; подобным же образом высказывают неудовольствие по отношению к той музыке, которая для высшего аффекта не подберет мелодии, а даст страстный и естественный лепет и восклицания. Здесь *мы должны* стать в противоречие с природой! Здесь обычная прелесть иллюзии должна отступить перед более высокой привлекательностью! Греки уходят по этому пути далеко, далеко, — страшно далеко! Подобно тому как сцену они составляют лишь самыми необходимыми предметами и запрещают всякие действия в глубине ее; подобно тому как они делают невозможными игру лица и легкие движения для актера и обращают его в торжественное, неподвижное, замаскированное пугало, так и у самой страсти они отняли ее основной фон и предписали ей закон красивой речи и вообще все сделали, чтобы помешать даже элементарному действию образов, возбуждающих страх или сострадание: *они не хотели знать ни страха, ни сострадания.* — Правда, к Аристотелю относятся с большим уважением, но он все-таки сильно промахнулся, когда говорил о последней цели греческой трагедии! Если взглянуть, к чему больше всего прилагали творцы греческой трагедии свое прилежание, свою изобретательность и свое соревнование, то мы увидим, что у них не было ни малейшего намерения покорить зрителя путем аффектов! Афинянин шел в театр





*Слышать, как человек прекрасно и обстоятельно говорит в самых затруднительных положениях, стало нашей потребностью, удовлетворить которую действительность не может*

для того, чтобы услышать прекрасную речь, и Софоклу только и приходилось заботиться о красотах своего языка, — да простит читатель мне эту ересь! — Совершенно иначе обстоит дело с *серьезной оперой*: каждый маэстро стремится к тому, чтобы его действующие лица остались непонятыми. Случайно подхваченное слово может прийти на помощь невнимательному слушателю; в общем же положение должно выясняться само собой — *на речь* не возлагается никаких задач! — так думали они все, а потому они и шутят над словами свои шутки. Быть может, им не хватило только мужества, чтобы выразить к слову свое полнейшее пренебрежение: дайте немного еще свободы для Россини, и он запел бы: la-la-la-la — и имел бы на это разумные основания! Не «на слово», а на тон действующих лиц приходится полагаться в опере! В том и разница заключается, что в оперу ходят ради прекрасной *неестественности*! Даже в *recitativo secco* (*итал., муз.* «сухой речитатив». — Р. Г.) собственно не слушают слов и текста: этот род полумузыки должен особенно успокоительно действовать на музыкальное ухо (покой, доставляемый *мелодией*, как высшим, а потому и самым напряженным наслаждением в области этого искусства), но весьма легко получается нечто иное: мы начинаем ощущать в себе все возрастающее нетерпение, все усиливающееся недовольство, новый страстный порыв к *полной* музыке, к мелодии. — Каковым же является с этой точки зрения искусство Рихарда Вагнера? Быть может, про него придется сказать то же самое или что-нибудь иное? Часто казалось мне, что каждый, кто идет в театр на его оперу, должен наизусть выучить и слова, и музыку его произведений: иначе, думалось мне, не услышишь ни слов, ни музыки.

## 81

*Греческий вкус.* — «Ну что тут хорошего?» — спрашивал землемер, выходя из театра, где только что была дана «Ифигения»: — «ведь в произведении этом ровно ничего не доказано!» Были ли подобные взгляды совершенно чужды грекам? У Софокла, по крайней мере, «все доказывается».

## 82

*Негреческий l'esprit*<sup>1</sup>. — Греки всегда оказывались неописуемо логичными и ровными: по крайней мере за весь продолжительный период их доброго времени они никогда не чувствовали отвращения к этим особенностям своего ума, как это часто случается с французами, которые охотно делают небольшие скачки в противоположную сторону и собственно терпят дух логики только потому, что он обнаруживает подобными скачками свою учтивость, свое отречение ради того, чтобы остаться учтивым в обращении. Логика им кажется таким же необходимым элементом, как хлеб и вода, но если им приходится только одною ею питаться, то они относятся к ней, как к пище, на которую обречен заключенный. В хорошем обществе никто не должен безусловно отстаивать правоту своих взглядов, как этого требует всякая чистая логика, и небольшая доля неразумного кроется во всяком французском *esprit*. — Чувство

<sup>1</sup> Дух (*фр.*).

общительности было развито у греков гораздо меньше, чем у французов настоящего или прошлого времени: вот почему так мало было *esprit* даже у богато одаренных духовными качествами людей Греции, вот почему было так мало остроумия у людей, пользовавшихся среди них славой остроумных, вот почему... да ну! Все равно мне не поверят, а сколько еще таких положений лежит у меня на душе? — *Est res magna tacere*<sup>1</sup>, — говорит Марциал вместе со всеми болтунами.

## 83

*Переводы.* — Степень исторического чутья, которым обладает данное время, можно оценить по тем переводам, которые оно дает, и по тому стремлению, которое оно проявляет в усвоении жизни прошлых веков и старинных произведений. Французы времени Карлейля и революции так властно распоряжались римскими древностями, как мы себе никогда не позволили бы, благодаря тому что обладаем более развитым историческим чутьем. А сами-то римские древности: как грубо и вместе с тем наивно накладывали они свою руку на все хорошее и высокое, что встречалось в еще более старинных греческих произведениях! Как умышленно и беззаботно сбивали всю пыль с крыльев бабочки в один момент! Так переводил Гораций отрывки из Алкея или Архилоха, а Проперц — Каллимаха и Филета (поэтов, которых, насколько мы можем судить, следует поставить в один ряд с Феокритом): они не обращали ни малейшего внимания на то, что творцы этих произведений пережили те или другие чувства и следы волновавших их мыслей оставили на своих произведениях! — Как поэты, они не выказывали ни малейшего расположения окунуться в ту обстановку антикварского сыска, который обыкновенно предшествует историческому чутью; как поэты, они не придавали никакого значения всем этим личным предметам и именам и всему, что было связано с каким-нибудь городом, с каким-нибудь берегом, с каким-нибудь столетием и служило одеждой и маской того или другого факта, вмиг заменяя предлагаемую обстановку обстановкой римской. Они как бы обращаются к нам с вопросом: «не должны ли мы подновить для себя все древнее и отыскивать в нем только родственные для себя черты? Не обязаны ли мы вдохнуть свою душу в это мертвое тело? Ведь оно уже мертво, а как отвратительно все мертвое!» — Они не знали того удовольствия, которое может дать историческое чутье; им было неприятно все прошлое и все чужеземное, и, как римлян, их тянуло к приемам римского завоевания. И, действительно, в переводах они являлись подобными завоевателями, — они не только отбрасывали все историческое: они старались намекнуть, что данное произведение является современным, — прежде всего вычеркивали в нем самое имя поэта, а подписывали его своим собственным именем, — и делали все это не из страсти к грабежу, а во имя идеи *imperium Romanum*.

<sup>1</sup> Важная вещь — молчать (*лат.*).



## 84

*О происхождении поэзии.* — Горячие сторонники всего фантастичного в жизни человечества, являющиеся в то же время защитниками инстинктивной морали, делают следующее заключение: «если пользу считали всегда высшим божеством, то чем объясняется появление поэзии? — эта рифмированная речь, которая скорее мешает, чем способствует ясности изложения, проявила, да и теперь еще проявляет, быстрый рост повсюду на земле, как бы издеваясь над всякой целесообразностью, преследующей какие-либо полезные цели! Дикая прелесть поэзии, которая не представляет никаких разумных оснований для своего существования, опровергает вас, господа утилитаристы! Возвышало человека, влекло его к морали и искусству то, что всегда уклонялось от каких бы то ни было утилитарных целей!». Но я должен здесь заступиться за утилитаризм, — он так редко бывает прав, что при случае необходимо и его пожалеть! В то древнее время, когда поэзия достаточно созрела для того, чтобы выступить на сцену жизни, она явно преследовала утилитарные цели высокой важности, хотя они и были порождены суеверием. В самом деле, вводя в речь рифму, ее подчиняли такой силе, которая преобразовывает все атомы фразы, заставляет делать выбор между словами, окрашивает мысль в новый цвет и делает ее чем-то более мрачным, более чуждым, более далеким. Заметив тот факт, что стих запоминается лучше бессвязной речи, люди решили, что просьба в виде рифмованной речи, должна и на богов производить более глубокое впечатление; да притом же рифмованное движение речи, полагали, может быть услышано с большого расстояния и стихи скорее достигнут до слуха богов. Но прежде всего люди хотели извлечь пользу из того элементарного чувства принуждения, которое человек испытывает на себе, когда слушает музыку: ритм является средством принуждения, он возбуждает непреодолимое стремление делать уступки, соглашаться; не только наш шаг повинуется ритму, но и сама душа, — вероятно, подобное же воздействие хотели оказать и на душу богов! Таким образом, при помощи ритма, богов хотели принудить к чему-нибудь, сделать над ними известное насилие: поэзия играла по отношению к ним роль магического аркана. Существовало еще одно удивительное представление: и оно, быть может, особенно сильно содействовало возникновению поэзии. У пифагорейцев взгляд этот входил в их философскую систему и являлся известным приемом, который они применяли к делу воспитания, но еще задолго до пифагорейцев музыке — именно ритмичности ее — приписывали способность разряжать напряженные аффекты, очищать душу, успокаивать *ferocia animi*<sup>1</sup>. Если потеряны равновесие и гармония души, то следовало танцевать в такт певцу, — такой был рецепт врачебной науки их. При помощи его Терпандер утишил восстание, Эмпедокл успокоил бешеного, Дамон очистил юношу, иссыхавшего от любви; при помощи его излечивали и богов, которые не знали пределов своей ярости, когда действовали под влиянием мести. Опыяние и живость аффектов достигали при этом высшего своего напряжения и бешенствующий обращался в безумного, а ищущий мести упивался этой мезью: — все оргиастические культы стремятся сразу разрядить *ferocia* божества и обратить их в оргию, благодаря чему чувство становится непринужденнее и спокойнее, и божество оставляет человека в покое. *Melos*, судя по корню, от которого оно происходит, обозначает болеуспокаивающее средство не потому, чтобы оно само было мягким, но лишь потому, что оно оказывает смягчающее действие. — И не

<sup>1</sup> Ярость души (лат.).



только в песнопениях культа, но и в светских песнях древнейшего периода, имелась в виду магическая сила ритмичности. Так, например, стихи, которые пелись работниками, черпавшими воду, или гребцами — предназначались для того, чтобы заколдовать тех демонов, содействие которых предполагалось в этих работах. Таким путем думали заслужить их снисходительность, отнять у них свободу и превратить в орудие человека. И как только человек приступал к какому-нибудь делу, он уже тем самым создавал для себя повод затянуть песню, ибо успех любого предприятия зависел от помощи духов: песни, которые распевались при ворожбе и заговорах, являются, по-видимому, прообразами поэзии. Если стихом пользовался и оракул — греки говорили, что гекзаметр был изобретен в Дельфах, — то и здесь ритм должен был оказывать известное принудительное воздействие. Пророчествовать — значило первоначально что-нибудь предопределить (как можно судить об этом с большою вероятностью по корню, от которого происходит греческое слово): полагали, что на будущее можно оказать известное давление, если расположить в свою пользу Аполлона: ведь он, по древнейшему представлению, обладал не одной только способностью предвидеть грядущее. По мере того как формула произносилась в своих буквальных и ритмических выражениях, она связывала известным образом будущее, ибо формула является изобретением Аполлона, который в качестве бога рифм может наложить известные обязательства на богиню судьбы. — Вообще же можно спросить: разве в распоряжении у древнего суеверного человека было какое-нибудь еще более полезное искусство, чем искусство рифмованной речи? При помощи рифм можно было достичь всего: двинуть вперед магическими силами работу, вызвать божество, приблизить его к себе, сделать его себе послушным; направить будущее сообразно своему желанию; освободить свою собственную душу от какого-нибудь чрезмерного гнета (тоски, мании, сострадания, мстительности), и не только свою душу, но также и дух самого злобного демона, — без стиха человек был ничтожеством, при помощи же стиха он становится почти самим богом. И чувство это далеко еще не вполне и теперь искоренено, — и в настоящее время, после целых столетий упорной борьбы с подобным суеверием, мудрейшие из нас случайно чувствуют в себе неразумное пристрастие к рифме, как будто истина, подхваченная мыслью, будет ощущаться сильнее, когда она будет выражена в метрической форме. Разве не потешно видеть, что самые серьезные из философов, поскольку они делают это искренне, обращаются к изречениям поэтов для того, чтобы придать своим мыслям силу и достоверность, — таким образом, для каждой истины гораздо опаснее согласие со стороны поэта, чем противоречие! Ибо еще Гомер говорил: «Ведь много лжи в словах певцов!»

## 85

*Хорошее и прекрасное.* — Натуры художественные беспрерывно прославляют — они только этим и занимаются — все те состояния и предметы, которые находятся в покое, ибо только при них или в них человек может себя чувствовать добрым, великим, опьяненным, веселым, мудрым. Все подобным образом выделенные предметы и состояния, которые считаются для человеческого счастья важными и прочными, являются объектами вдохновения для натур художественных: они считают для себя особенно почетным открывать такие предметы и состояния и водворять их в об-

ласть искусства. Я хочу сказать: сами художники и артисты не являются таксаторами счастья и счастливых, они только изо всех сил жмутся к этим таксаторам и стараются немедленно же воспользоваться их оценкой. Благодаря тому что все художественные натуры, кроме своего крайнего нетерпения, обладают здоровыми глотками герольдов и крепкими ногами скороходов, им удастся постоянно оставаться в первых рядах среди тех, которые прославляют *новые* блага и которым часто приписывается способность первыми называть новые блага и первыми же их таксировать. Но совершенно неправильно отводят первое место этим художественным натурам: они только обладают большей ловкостью и более громким голосом, чем действительные таксаторы. Но кто же эти действительные таксаторы? Это богачи и люди праздные.

## 86

*О театре.* — Сегодня я снова пережил сильное и высокое чувство, и если бы сегодня вечером мне предстояло слушать музыку или наслаждаться каким-нибудь искусством, то я прекрасно знал бы, какой музыки и какого искусства я не был бы в состоянии перенести. Мне не надо именно ни той музыки, ни того искусства, которые опьяняют своих слушателей и возбуждают на миг сильное и высокое чувство в груди тех заурядных людей, которые вечером напоминают нам не торжествующих победителей, а усталых мулов, так часто получавших от жизни удары бича. Ну что такие люди могли бы понять вообще в «высших настроениях», если бы не существовало опьяняющих средств и идеальных ударов хлыста?! — И вот у них имеются свои вдохновители, так же как имеется свое вино. Но что *мне*-то, собственно, за дело до их напитков, до их опьянения?! Зачем человеку воодушевленному опьянять себя еще вином?! С каким отвращением он смотрит на все те средства, которые должны вызывать действия, не имеющие достаточных оснований — обезьяничанье в области высоких душевных движений! — Как? Кроту дарят крылья и высокую мечту как раз в такой момент, когда он хочет залезть в свою нору на сон грядущий? Его отправляют в театр, и на подслеповатые и утомленные глаза его надевают очки с увеличительными стеклами? Люди, вся жизнь которых представляет «гешефт», а не деяние, созерцают чуждых им существ, у которых жизнь не была только одним гешефтом? «Ведь так и должно быть», говорите вы: «ведь если они будут интересоваться такими пьесами, то образование их будет двигаться вперед». — Да! мне должно быть очень часто недостает образования: по крайней мере, подобный взгляд возбуждает у меня довольно часто отвращение. У кого в собственной жизни было достаточно трагедий и комедий, тот особенно далеко стоит от театра; или же, в виде исключения, он рассматривает и театр, и публику, и автора за нечто целое и видит в нем трагические и комические положения, и тогда разыгрываемая пьеса не имеет для него большого значения. Кто сам является чем-то вроде Фауста или Манфреда, тот мало интересуется Фаустиами и Манфредами театра! — *Сильнейшие* мысли и страсти перед теми, кто сам не способен ни к мысли, ни к страсти, — а только к *опьянению*! И такие-то средства употреблять с таким назначением! И театр, и музыка являются для европейцев своего рода гашением! О, кто мог бы рассказать нам всю историю наркотиков? — Такая история пошла бы рука об руку с историей нашего «образования», так называемого высшего образования!

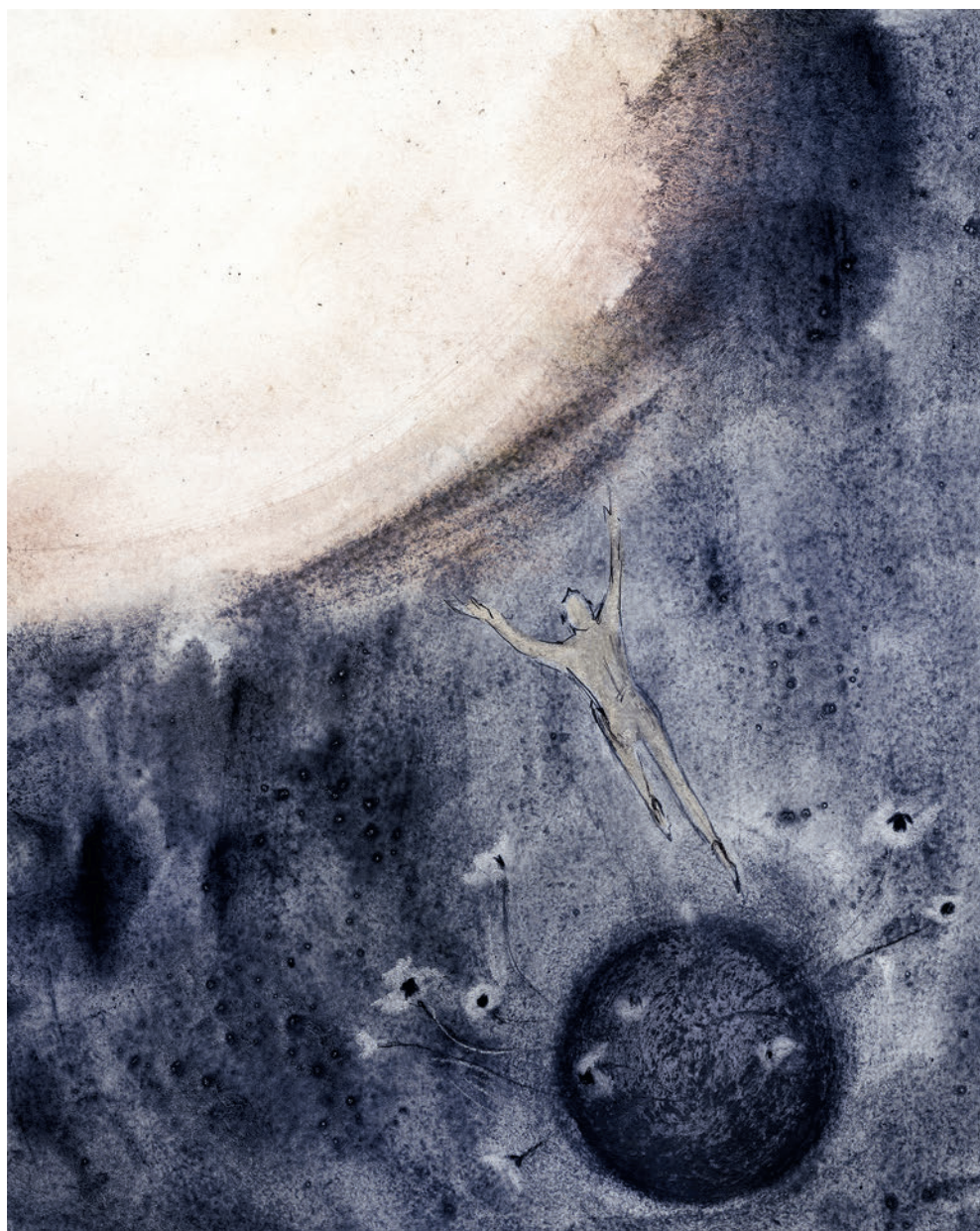
## 87

*О тщеславии артистов и художников.* — Мне думается, что натуры художественные очень часто не знают, в чем они лучше всего могли бы себя проявить. Они для этого слишком тщеславны и направляют свое чувство на нечто более гордое, чем те маленькие растеньица, которые представляют известную новизну, так редко встречаются, отличаются красотой и могли бы так прекрасно произрастать на их почве. То, что они еще так недавно считали богатством своих садов и виноградников, теперь ими третируется, и любовь, и прозорливость их оказываются далеко не одного и того же ранга. Вот музыкант, который превосходит всех других своим искусством извлекать звуки из царства страдающих, задавленных и замученных и своим умением вложить речь в уста даже немых животных. Никто не в состоянии сравняться с ним в способности воспроизвести краски поздней осени, в умение передать неописуемо трогательное счастье последнего, самого последнего, кратчайшего, наслаждения; ему известны звуки, наполняющие страшную своею таинственностью полночь души, где причина и действие выпадают из своих пазов, и в каждый момент «из ничего» может возникнуть нечто; он самым счастливым образом вызывает из самых низов человеческого счастья свои образы и пьет из того осушенного кубка, где самые отвратительные капли совершенно слились с каплями сладчайшими; он знает движения той усталой души, которая более уже не способна ни к прыжкам, ни к полету, ни даже к простой ходьбе; у него застенчивый взор человека, скрывающего свою боль, понимающего жизнь и безутешного, умирающего в бессознательном состоянии; да, в качестве Орфея каждого тайного горемыки он выше всякого другого; и ему удастся выразить в художественных образах кое-что такое, что до сих нор не подлежало искусству и считалось даже недостойным его, что именно спугивалось словами, а не схватывалось ими, — ввиду того что эти явления в области духа обладают ничтожными, микроскопическими размерами; да, ему особенно должно удаваться все маленькое. Но он *не хочет* себе такой роли! По своему *характеру* он любит громадные полотна и смелую живопись! Он не обращает внимания на то, что *дух* его обладает другими вкусами и привязанностями, и любит ютиться по углам полуразвалившихся домов — там в укромном местечке он вырисовывает свои собственные образы, которые остаются на самое короткое время, всего только на один день, — только там он проявляет свою доброту, величие и совершенства, а может быть, и одиночество. — Но он не ведет этого! Он слишком тщеславен для того, чтобы понять это.

## 88

*Строгое отношение к истине.* — Строгое отношение к истине! Как различно понимают люди слова эти! Есть приемы исследования и доказательства, которые мыслитель считает легкомыслием и которых стыдится, если ему подчас приходилось ими пользоваться: те же самые приемы, когда на них наталкивается и овладевает ими натура художественная, дают ей основание думать, что она теперь самым строгим образом служит делу искания истины, и наводят на мысль, что, несмотря на свои художественные стремления, даже к своему удивлению, она руководится самым искренним стремлением ниспровергнуть мир видений. При этом возможно, что благодаря своей страстной энергии тому или другому из исследователей удастся обнару-





*Мне думается, что натуры художественные очень часто не знают, в чем они лучше всего могли бы себя проявить. Они для этого слишком тщеславны...*



жить, насколько поверхностный и самодовольный дух царил доньше в области познания. — И разве не является нашим предателем все то, что мы считаем важным? Ведь оно обнаруживает, где лежит наш центр тяжести и в области каких явлений наше знание сводится к нулю.

## 89

*Теперь и прежде.* — Что нам до всего нашего искусства, когда у нас утеряно высшее искусство, искусство торжественное! Раньше все произведения искусства выставлялись на самых видных местах на пути человечества; они напоминали о высоких и блаженных моментах. Теперь же при помощи произведений искусства выманивают с великого пути страстей человеческих только изнуренных и больных людей, чтобы на одно мгновение вызвать у него похотливые стремления, и предлагают им безумие и хмель в незначительных дозах.

## 90

*Свет и тени.* — Записки и книги отличаются различным характером у различных мыслителей: один собрал у себя в книге весь тот свет, который он ловко сумел утаить из лучей блеснувшего перед ним познания; другой же дает только тени, копии в серых и черных красках с тех образов, которые вырисовывались в его душе при дневном освещении.

## 91

*Предостережение.* — Как известно, в рассказах Альфьери<sup>1</sup> о своей жизни, которыми он удивлял своих современников, оказалось много лжи. Он лгал из того деспотизма по отношению к самому себе, который он проявил, например, когда вырабатывал свою особенную речь и силой заставлял себя быть поэтом. Он нашел, наконец, строгую форму величия, в которую втискивал свою жизнь и свою память, и процесс этот был до чрезвычайности мучительным. — Я не поверил бы также и автобиографии Платона, как не верю подобному произведению Руссо или *vita nuova*<sup>2</sup> Данта.

## 92

*Проза и поэзия.* — Замечено, что великие мастера прозы почти всегда были вместе с тем и поэтами, иногда выпуская в свет свои стихи, иногда же создавая их толь-

---

<sup>1</sup> Витторио Альфьери (1749–1803) — известный итальянский драматург и поэт. Ницше имеет в виду созданные им мемуары «Жизнь Витторио Альфьери из Асти, поведанная им самим» (1790–1803).

<sup>2</sup> Новая жизнь (лат.).

ко тайком, для себя; но хорошая проза писалась, несомненно, на глазах у поэзии! В самом деле, ведь проза находится в непрерывной и искусной борьбе с поэзией: вся прелесть хорошей прозы заключается в том, что поэзия постоянно ее обходит и постоянно ей противоречит; всякое отвлеченное понятие является своего рода хитростью против нее и высказывается как бы с насмешкой; всякая суховатость и холодность приводит милую богиню в милое отчаяние; часто она начинает милостиво приближаться, но вдруг отскочит и рассмеется; часто завеса остается приподнятой, и яркий свет прорывается оттуда в то самое время, когда богиня наслаждается своими сумерками и мрачными красками; часто с уст ее срывается слово и звучит такую мелодией, что она прикладывает свои тонкие ручки к своим нежным ушкам, и, таким образом, существуют тысячи военных уловок, которые содействуют поражению прозы и о которых люди, лишенные поэтического чутья, так называемые люди прозы, ничего не знают, — вот таковые-то, говорят, и пишут худой прозой! *Ведь все хорошее порождается борьбою*: вот почему из борьбы вырастает и хорошая проза! — В нашем столетии, которое далеко не было приспособлено к хорошей прозе ввиду недостаточного, как было указано, развития поэзии, на поприще прозаических произведений прославились четыре мужа, которые были в то же время редкими и истинными поэтами. Помимо Гёте, которого наш век справедливо называет своим детищем, я считаю достойными названия мастеров прозы только Джакомо Леопарди, Проспера Мериме, Ральфа Сальдо Емерсона и Вальтера Саваджа Лэндора, автора «*Imaginary Conversations*»<sup>1</sup>.

## 93

*Зачем же ты пишешь?* — А: Я не принадлежу к тем людям, которые думают с *мокрым* пером в руке, и еще менее к тем, которые предаются своим страстям над открытой чернильницей, сидя на стуле и коченея над бумагой. Я досаую и стыжусь всего написанного мною; хотя писать — для меня потребность, но потребность сравнительно противная. Б: Но зачем же ты пишешь тогда? А: Говоря по правде, дружище, я до сих пор не нашел еще другого способа *освободиться* от своих мыслей. Б: Но зачем же ты хочешь от них освободиться? А: Зачем я хочу? Я просто должен. — Б: Довольно! Довольно!

## 94

*Рост после смерти.* — Небольшая, но смелая речь, брошенная Фонтенелем о вопросах морали в его бессмертном разговоре о загробном мире, считалась его современниками каким-то парадоксом и игрою несомненного остроумия; даже высшие судьи вкуса и духа, а быть может, и сам Фонтенель — глядели на нее только такими глазами. Теперь же происходит что-то невероятное: те же самые мысли становятся истиной! Наука доказывает справедливость их! Игра становится серьезным делом! И мы, читая эти диалоги, испытываем уже не те чувства, которые волновали Вольте-

<sup>1</sup> «Воображаемые беседы» (англ.).

ра и Гельвеция, когда они их читали; и мы невольно причисляем их автора к другому — высшему — классу людей, чем упомянутые философы. Имеем ли мы на это право, или делаем без всякого на то основания?

## 95

*Шамфор.* — Тот факт, что такой знаток людей и толпы, как Шамфор, примкнул к толпе, а не остался одиноким, защищая свою отвергнутую философию, я могу объяснить себе только следующим образом: инстинкт у него оказался сильнее его мудрости и не нашел себе достаточного удовлетворения; инстинкт этот возбуждал в нем ненависть ко всякой породистой знати; быть может, это была старая, хорошо понятная ненависть его матери, освященная у него любовью к ней; — этот инстинкт мести с детских лет ждал часа, когда можно будет отомстить за мать. Но вся жизнь его, весь его гений, а главным образом отцовская кровь, которая текла в его жилах, прельщали его в течение многих, многих лет поставить себя в один ряд с этой самою знатью и сравнить себя с ней! В конце концов, он не выносил своего собственного вида «древнего человека», существовавшего при старом режиме; он страстно окунулся тогда в покаяние и возложил на себя рубище черни как своеобразную власяницу! Злая совесть его являлась упущением мести. — Если бы Шамфор остался хотя бы одною ступенью выше того положения, которое он занимал, как философ, то революция не получила бы своего трагического остроумия и своего острейшего жала: она прошла бы бестолковее и не представляла бы никакого соблазна для людей одухотворенных. Но ненависть и мстительность Шамфора разбудили целое поколение, и сиятельнейшие люди проходили его школу. Обратите внимание на то, что Мирабо видел в Шамфоре свое высшее и более пожившее Я, от которого он ждал и принимал и понукание, и предостережение, и приговор, — Мирабо, который как человек принадлежал к совершенно иному рангу величин, чем даже самые солидные из государственных деятелей ближайшего к нам времени. — Удивительно, что, несмотря на такого друга и защитника — сохранились ведь письма Мирабо к Шамфору, — этот остроумнейший из всех моралистов, остался чужд французам точно так же, как и Стендаль, который, быть может, из всех французов *нашего* столетия имел самые осмысленные глаза и уши. Но не заключал ли этот последний мыслитель в своем характере слишком много немецких и английских элементов для того, чтобы парижане могли выносить его? — и Шамфор же был человеком, у которого в тайниках души хранилось много богатств, — человеком мрачным, страстным, кипучим; он был мыслителем, который сумел сделать смех целебным средством против жизни и который почти погибал в те дни, когда смех покидал его. Он являлся скорее итальянцем, истинным сородичем и по крови Данту и Леопарди, чем французом!

Известны последние слова Шамфора: «*Ah! Mon ami, — сказал он Сэю. — Je m'en vais enfin de ce monde, où il faut, que le cocur se brise ou se bronze*»<sup>1</sup>. С такими словами на устах, конечно, французы никогда не умирали.

<sup>1</sup> О! Друг мой! Я покидаю, наконец, этот мир, который требует, чтобы сердце разбилось или очерствело (*фр.*).

## 96

*Два оратора.* — Из двух ораторов один говорит о своей теме с полной убедительностью, когда целиком отдается своей страсти: только она накачивает в его мозг столько крови и жара, сколько нужно для того, чтобы подняться в своем воодушевлении до откровения. Другой также иногда испытывает то же самое и при помощи страсти делает свою тему полновзвучной, бурной и восхитительной, но результаты обыкновенно получаются плачевные. Он говорит тогда слишком темно и запутанно, преувеличивает, делает упущения и вызывает недоверие к разумности тех положений, которые защищает; даже больше: он сам ощущает при этом некоторое недоверие и внезапно переходит к самым холодным и отталкивающим звукам, которые заставляют слушателя сомневаться, в самом ли деле пережил оратор так страстно все то, о чем говорит? У него страсть каждый раз затопляет дух, быть может, именно потому, что она проявляется с большею силой, чем у первого. Но силы его достигают высшего своего расцвета, когда он оказывает сопротивление натиску своих чувств и даже осмеивает его: тогда дух его совершенно покидает свои притоны, и дух этот будет логичным, насмешливым, резвым и даже грозным.

## 97

*О болтливости авторов.* — Существует болтливость, порождаемая гневом, — ее мы находим часто у Лютера и Шопенгауэра; — болтливость, вытекающая из большого запаса различных определений, как у Канта; болтливость из страсти прилагать одно и то же положение все к новым и новым предметам: ее можно встретить у Монтеня; — болтливость злобных натур: кто читает произведения наших современников, тот, вероятно, вспомнит о двух авторах; — болтливость из страсти к хорошим словам и изречениям, что нередко попадает в прозу у Гёте, и болтливость из чисто го пристрастия к шуму и суете чувств, как у Карлейля.

## 98

*К славе Шекспира.* — Самая высшая похвала, которую я могу высказать о Шекспире как о человеке, должна быть воздана ему за то, что он верил в Брута и не набросил ни пылинки недоверия на его добродетель! Бруту он посвятил лучшую из своих трагедий — которая до сих пор еще носит чужое имя, — Бруту и грозному содержанию высшей морали. Независимость души — вот что важно в этой трагедии! Нет достаточно великой жертвы, которой не согласился бы он принести ради этой независимости. Ради нее он готов пожертвовать даже любимейшим своим другом, хотя бы тот был самый прекрасный человек, украшение мира, несравненный гений, — раз только свободу он любит, как свободу великой души, и этой-то свободе грозит опасность. Вот что должен был переживать Шекспир! Высота, на которую он ставит Цезаря, должна только тоньше отметить ту честь, которую он оказывает Бруту: таким путем поэт поднимает до неслыханной высоты ту внутреннюю задачу, которую должен был разрешить Брут, и ту духовную силу, которая оказалась в состоянии расцезать *такие узлы!* — Разве политическая свобода возбуждала у нашего поэ-





*Но силы его достигают высшего своего расцвета, когда он оказывает сопротивление  
натиску своих чувств и даже осмеивает его...*

та сочувствие к Бруту, делала его соучастником Брута? Или же политическая свобода была только символом, которым должно было обозначить нечто невыразимое? Не стоим ли мы тут лицом к лицу с какими-то темными, неизвестными нам процессами, которые протекали в душе поэта и о которых он мог говорить только символически? Что вся меланхолия Гамлета по сравнению с меланхолией Брута? — а ведь возможно, что и ту и другую Шекспир знал по собственному опыту! Быть может, его так же посещали мрачные часы, и он так же имел злого ангела, как Брут! — В его трагедии мы видим знак того, что ему приходилось переживать нечто подобное: ведь перед фигурой и добродетелью Брута Шекспир падал ниц и чувствовал себя недостойным его и далеким от него. Два раза он выводил в своей трагедии поэта и оба раза осыпал его таким нетерпеливым, таким крайним презрением, что вся его тирада звучит криком, в котором слышно презрение к самому себе. Брут, сам Брут, теряет терпение, когда выступает поэт спесивый, с пафосом, назойливый, какими и бывают обыкновенно все поэты, как существо, которое, по-видимому, изобилует всевозможным величием, а потому и нравственным величием. «Знает ли время он так, как я знаю его капризы — прочь от меня со своими арлекинскими погремушками!» — восклицает Брут. Перенесите же эти слова обратно в душу поэта, который их создал.

## 99

*Последователи Шопенгауэра.* — Часто приходится видеть, как при соприкосновении культурных народов с варварами низшие культуры заимствуют сперва от высших их пороки, слабости и распущенность; когда дикари таким образом почувствуют на себе прелести высшей культуры, — они начинают при помощи усвоенных пороков и слабостей заимствовать от нее кое-что и ценное. Но подобный процесс можно наблюдать вблизи, не отправляясь в путь к варварским народам, — конечно, в более утонченном, одухотворенном и не столь определенном виде. Что же обыкновенно заимствуют прежде всего последователи Шопенгауэра в Германии у своего учителя, — последователи, которые, если их сравнивать с более высокой культурой нашего мыслителя, являются достаточными варварами для того, чтобы и в деле подражания вести себя настоящими дикарями? Увлекались ли они здоровым чутьем, которое наш мыслитель обнаруживал к фактам, или его прекрасным стремлением ко всему ясному и разумному, — теми свойствами, в которых он являлся так часто англичанином и так мало был немцем? Или силой его интеллектуальной совести, которая в течение всей его жизни поддерживала у него борьбу между бытием и волей и заставляла его в своих произведениях противоречить самому себе на каждом шагу? Или его чистоплотностью в вопросах церкви и христианской религии? Или его бессмертным учением об интеллектуальности непосредственного усмотрения, об априорности закона причинности; о служебной роли интеллекта и об отсутствии свободы у воли? Нет, не эти стороны его философии привлекали к себе и считались очаровательными, а мистическая путаница и увертки Шопенгауэра в тех местах, где мыслитель, опиравшийся на факты, позволял себе увлекаться суетным стремлением разгадать мир; бездоказательное учение *о единой воле* («всякая причина служит только для того, чтобы дать возможность проявить волю в данное время на данном месте»; «желание жить в каждом существе, как бы оно ни было незначительно, находится в таком же

полном и нераздельном объеме, как у всех существ, которые жили, живут или будут жить»); отрицание *индивидуальности* («все львы, в сущности, представляют из себя только одного льва»); «множественность индивидуумов — явление кажущееся», таким образом, и *развитие* представляет из себя только одну видимость; мысль Ламарка он называет «гениальным абсурдом»), сумасбродства гения («при эстетическом созерцании индивидуум уже не является более индивидуумом, а чистым субъектом познания, свободным от всякой воли, страдания и времени»; «субъект при созерцании какого-нибудь предмета отождествляется с ним и становится самим этим предметом»), безумные фантазии о *сочувствии* и неразумные, с его точки зрения, порывы к *principium individuationis*, как к источнику всякой нравственности, прибавляя сюда такие утверждения, как «стремление является собственно целью бытия», «нет оснований отрицать *a priori* возможность магического воздействия со стороны умерших». — Эти и подобные им проявления распутства и пороков философа воспринимались всегда в первую голову и становились предметом веры: ведь подражать всему порочному и распутному всегда чрезвычайно легко и не требует предварительного упражнения. Поговорим же о самом знаменитом из живущих в настоящее время последователей Шопенгауэра, о Рихарде Вагнере. — С ним повторилась та же история, которую пришлось проделать и другим художественным натурам: он ошибся относительно значения созданных им образов и не познал, невысказанной философии своего собственного искусства. Рихард Вагнер в первой половине своей жизни позволял сбить себя с толку Гегелю: он проделал то же самое еще раз, когда позднее узрел в своих образах ученье Шопенгауэра и стал сам себя определять в терминах «воля», «гений» и «сочувствие». Несмотря на это, останется справедливым следующее положение: ничто не идет так вразрез с духом Шопенгауэра, как собственное вагнеровское у героев Вагнера; я подразумеваю здесь невинность высшего эгоизма, веру в великое страдание как в самодовлеющее благо. «Здесь пахнет скорее Спинозой, чем мной», — сказал бы, пожалуй, Шопенгауэр. Таким образом, Вагнер имел полное основание оглядываться на других философов, а не на Шопенгауэра: очарование, которое производил на него этот мыслитель, заставляло его закрыть глаза не только на всех остальных философов, но и на самую науку; все его искусство стремится стоять на высоте шопенгауэровской философии или быть к ней добавлением и все яснее и яснее отказывается от более высокого честолюбия — стоять на одном уровне с человеческим познанием и наукой и пополнять их. Привлекает его не только таинственная пышность этой философии, но также отдельные ужимки и аффекты философа! Чисто шопенгауэровскую горячность проявляет, например, Вагнер по вопросу о порче немецкого языка; и если в данном случае подражание заслуживает одобрения, то нельзя умолчать о том, что стиль Вагнера сам немало страдает теми нарывами и опухолями, вид которых так болезненно действовал на Шопенгауэра, и вагнерианство в лице пишущих вагнерианцев начинает проявлять такую же опасность, какую представляло в былое время гегельянство. У Шопенгауэра заимствовал Вагнер свою ненависть к евреям, к которым он не был в состоянии сохранить справедливость даже в величайшем своем произведении. Под влиянием же Шопенгауэра Вагнер пытался представить христианство в виде разметанных крошек буддизма и утверждать, что католическо-христианские формулы и чувства являются переходной ступенью к буддийскому веку. В чисто шопенгауэровском вкусе ведет Вагнер свою проповедь о милосердии к животным; в этом отношении предшественником Шопенгауэра, как



известно, является Вольтер, который, пожалуй, так же хорошо, как и его последователи, умел прятать свою ненависть к известным вещам и людям под видом милосердия к животным. По крайней мере ненависть, которая звучит у Вагнера по отношению к науке, вытекает, конечно, не из духа добросердечия и доброты, а *из духа* вообще. — Наконец, для философии художника неважно, если она является только добавочным элементом к чему-нибудь другому, и это нисколько не бросает тени на его искусство. Необходимо быть на стороже против всякой неприязни, которую может возбудить к себе такой случайный, быть может, очень неудачный маскарад; не надо забывать, что все хорошие художники без исключения являются немного актерами и без такой игры им не удалось бы долго выдержать свою роль. Если мы останемся верны Вагнеру в том, что представляет его истинную природу и в чем он является оригинальным, то мы, его ученики, должны остаться верными себе в том, что представляет нашу истинную природу и оригинальность. Оставим его интеллектуальные причуды и корчи, а оценим по справедливости, в какой редкой пище и в каких редких потребностях нуждается искусство, которым он обладал для того, чтобы жить и расти! Не беда, что он в качестве мыслителя оказывался часто неправ: справедливость и терпение не были его уделом. Достаточно того, что жизнь его оправдывает себя сама перед собой и сохраняет за собой известное право; она обращается к каждому из нас с таким призывом: «будь мужем, но не следуй по моим стопам, следуй только за своими собственными влечениями! только за своими влечениями!». И мы также должны оправдать свою жизнь! Мы также должны свободно и безбоязненно, в невинном эгоизме расти и цвести из самих себя! И при созерцании такого человека, в ушах у меня и теперь, как раньше, звучат следующие положения: «страдание лучше всякого стоицизма и ханжества: оставаться порядочным, даже в этом деле, лучше, чем затеряться среди предписаний ходячей нравственности: свободный человек может быть и хорошим, и дурным, человек несвободный является позором природы и не имеет утешения себе ни на небе, ни на земле; и, наконец, *всякий, кто хочет получить себе свободу, должен добиться ее путем собственных усилий*, ибо никому она не свалится с неба в виде чудесного подарка» («Richard Wagner in Bayreuth»<sup>1</sup>).

## 100

*Научиться преданности.* — И преданности люди должны научиться так же, как и презрению. Всякий, кто идет по новому пути и многих других ведет по нему, с удивлением замечает, как неловки и бедны эти многие в выражении своей благодарности и даже как редко, вообще говоря, они могут выразить свою благодарность. Каждый раз, как они хотят выразить ее как-нибудь, у них точно в горле что застрянет, они начинают откашливаться и в процессе этого откашливания снова теряют всякую способность к речи. Тот способ, каким мыслитель приходит к убеждению, что мысль его обладает способностью производить потрясающее и преобразовывающее действие на окружающий мир является чуть не комедией; ему приходится видеть, как те самые люди, на которых это воздействие отразилось известным образом, чувствовали себя в сущности глубоко задетыми, и независимость их, которой, как они полагали, угро-

---

<sup>1</sup> «Рихард Вагнер в Байрейте» (нем.)





*Всякий, кто идет по новому пути и многих других ведет по нему, с удивлением замечает, как неловки и бедны эти многие в выражении своей благодарности и даже как редко, вообще говоря, они могут выразить свою благодарность*

жала какая-то опасность, могла проявиться только в разнообразных грубых формах. Нужны целые поколения для того, чтобы люди научились вежливо выражать свою благодарность: и только позднее наступает время, когда самая благодарность становится до известной степени одухотворенной и гениальной, И тогда тот, кому выпадает на долю получить великую благодарность, получает ее не за то, что он сам сделал что-нибудь хорошее, а в большинстве случаев за те высшие и лучшие сокровища, которые были собраны постепенно его предшественниками.

### 101<sup>1</sup>

*Вольтер.* — Повсеместно, при любом дворе, именно его представителями — придворными — задавался тон изысканной речи, а следовательно, и определялся должный стиль для всех пишущих. Однако язык придворного есть лишь язык царедворца, *не обремененного какой-либо профессией*, налагающий вето на употребление специальных терминов как раз в силу их отношения к профессии: таким образом, все технические выражения и термины, выдающие специалиста, могли быть отнесены придворной культурой лишь к *погрешностям стиля*. Ныне, когда существующие дворы уподобляются жалким карикатурам на дворы былых времен, достойно удивления, что даже сам Вольтер обнаруживает в этом вопросе невероятную чопорность и педантичность (взять, к примеру, хотя бы его высказывания по поводу столь блестящих стилистов, как Фонтенель и Монтескье), — когда мы уже напрочь избавились от придворного вкуса, Вольтеру было суждено довести его *до вершин совершенства*.

### 102

*Несколько слов к филологам.* — Филология постоянно стремится укрепить у нас веру в то, что существуют такие ценные, такие царственные книги, для сохранения и разъяснения которых стоит затратить труд даже целых поколений ученых. Филология предполагает, что никогда не будет недостатка в тех удивительных людях (хотя бы в данный момент никого из таковых и не было), которые действительно сумеют использовать эти ценные книги; — конечно, это будут те самые авторы, которые сами сочиняют или могли бы сочинить подобные же произведения. Я хочу сказать, что филология предполагает благородную веру в то, что необходимо исполнить много тяжелой, даже грязной работы ради тех, которых постоянно ждут и которые никогда не являются. Это работа *in usum Delphinorum*.

### 103

*О немецкой музыке.* — Немецкая музыка является европейской музыкой уже по одному тому, что на ней одной остался отпечаток тех перемен, которые Европа испытала благодаря революции: только немецкие музыканты сумели стать выразителями

---

<sup>1</sup> Перевод Р. В. Грищенкова. В переводе А. Николаева §101 отсутствует.

взволнованных народных масс и передать ту удивительно художественную сумятицу, которая совершенно не нуждается в слишком громких звуках, — в то время как, например, итальянские оперы знают только хоры слуг и солдат, а не «народ». Иногда во всей немецкой музыке слышат глубокую мещанскую зависть к *noblesse*, именно *esprit u élégance*, как выразителям светского, рыцарского, древнего, уверенного в себе общества. Это уже не та музыка, которой пользовались гётевские певцы для утехи короля перед воротами его замка или в залах дворцов; к ней нельзя отнести слова поэта: «рыцари бросали вокруг себя мужественные взоры, а красавицы опустили долу свои очи». Не без угрызений совести вступает грация в область немецкой музыки: только в присутствии прелестной деревенской сестры грации, немец начинает чувствовать себя вполне удовлетворенным в нравственном отношении — и от нее поднимается все выше и выше вплоть до мечтательной, ученой, задорной «возвышенности», бетховенской возвышенности. Если бы к *этой* музыке захотели придумать человека, то пришлось бы дать образ Бетховена в том виде, в каком он явился рядом с Гёте при их встрече в Теплице: что-то полуварварское рядом с культурным, как народ рядом с дворянством, как добронравный человек рядом с человеком хорошим и даже более чем «хорошим», как мечтатель рядом с художником, как человек, нуждающийся в утешении, рядом с человеком утешенным, как человек преувеличивающий и подозрительный рядом с человеком справедливым, как ипохондрик, мучитель самого себя, безумно восторженный человек, блаженно-несчастный, искренне не знающий никаких пределов, — одним словом, как «человек необузданный», — так понял и так обрисовал его сам Гёте, этот исключительный немец, для которого не нашлось еще соответственной музыки! — Наконец, подумайте, не является ли все возрастающее у немцев презрение к мелодии и извращение мелодического чувства демократической вольностью и не развилось ли оно под влиянием революции? Мелодия ведь так открыто стремится к законности и питает такое отвращение ко всему еще формирующемуся, бесформенному, произвольному, что она является как бы отзвуком того порядка вещей, который царил раньше в Европе, старается прельстить людей этим порядком и снова воззвать их к нему.

## 104

*О звуках немецкой речи.* — Известно, каким образом произошел тот немецкий язык, который за последние два столетия сделался общегерманским письменным языком. Немцы в своем преклонении перед всем, что исходило от двора, умышленно подражали канцелярскому языку всякий раз, как им приходилось что-нибудь писать: в частных письмах, актах, завещаниях и т. д. Держаться канцелярского, письменного языка — это было все равно что писать придворным и государственным языком и считалось до известной степени признаком высокого положения. Мало-помалу и говорить стали так же, как писали, и еще почетнее было держаться известных форм, слов, выбора слов, оборотов речи и, наконец, даже выговора: таким путем подражали придворному выговору, и подражание это стало, наконец, второй природой. Быть может, нигде больше не приходилось замечать ничего подобного: победу письменного языка над устной речью и развитие в известном направлении разговорного языка главным образом под влиянием чопорности и важничанья целого народа. Мне ка-

жется, что немецкий язык в Средние века, а именно когда они уже миновали, являлся глубоко мужицким и простонародным говором: облагородился он только за последние столетия, главным образом благодаря тому что немцы нашли себя вынужденными подражать в таких широких размерах французским, итальянским и испанским звукам; особенно в этом повинно было немецкое (и австрийское) дворянство, которое не считало возможным довольствоваться только родным языком. Но для слуха Монтеня или Расина немецкий язык, несмотря на все эти усвоения, казался невыносимо простонародным: и даже теперь, когда итальянской черни приходится слышать его из уст путешественника, он кажется ей суровым, лесным, охрипшим, как бы порожденным в курных избах и неприветливой стране. — Теперь, настолько мне пришлось заметить, среди поклонников канцелярщины снова возникает подобное же стремление к облагораживанию звуков, и немцы начинают прибегать к особому «очаровательному» говору, который может со временем представить для немецкой речи действительную опасность, — ибо во всей Европе нельзя найти более отвратительных звуков. В голосе слышится что-то насмешливое, холодное, равнодушное, небрежное: это у немцев указывает на «почетное» положение и говорящего, и добровольные порывы к подобному благородству слышатся мне в голосе молодых чиновников, учителей, женщин, купцов; даже маленькие девочки прекрасно подражают здесь этому немецкому офицерству. Ведь офицер, и именно прусский офицер, является изобретателем этого говора. Этот самый офицер, как солдат и муж дела, обладает тем изумительным тактом, которому у них следовало бы поучиться всем немцам (не исключая немецких профессоров и музыкантов). Но как только он заговорит или завяжет с вами какие-нибудь отношения, он становится самой невежливой и самой неприятной фигурой в старой Европе, — сам того, без сомнения, не сознавая! Не сознают этого также и те добрые немцы, которые с удивлением взирают на него как на человека самого благородного общества и охотно позволяют ему «задавать тон». Он это и делает! — За ним тотчас же последуют фельдфебели и унтер-офицеры, которые подражают его языку и делают его еще более грубым. Подражают начальническим окрикам, ревом которых буквально наполнены все немецкие города, где перед всякими воротами происходят военные упражнения: какая надменность, какое бесноватое чувство авторитета, какая язвительная холодность звучат в этом рычании! Могут ли немцы быть действительно музыкальным народом? — Конечно, немцы милитаризируются теперь и в своем говоре, и возможно, что, привыкнув сначала говорить по-военному, они будут, наконец, по военному и писать. Привычка же к известным звукам глубоко западает в характер: — сначала усваивают слова и обороты, а затем и мысли, которые больше подходят к этим звукам! Быть может, и теперь уже пишут на офицерский манер: быть может, мне слишком мало приходится читать из того, что ныне пишут в Германии. Но я вполне уверен в одном: официальные немецкие заявления, которые также доходят до страны, проникнуты не немецкой музыкальностью, а теми новыми звуками, которые так отвратительны своею надменностью. Почти в каждой речи самых важных немецких государственных деятелей, даже в тех случаях, когда они являются как бы императорским рупором, слышится акцент, который режет ухо иностранца: но для немцев он остается сносным, ибо они должны выносить и самих себя.



## 105

*Немцы как художники и артисты.* — Когда немец действительно переживает какую-нибудь страсть (а не ощущает только, как обыкновенно, расположения к страсти), то он поступает сообразно тем указаниям, которые делает ему природа, и не думает больше о своем поведении. Но надо отдать справедливость: ведет он себя неловко, некрасиво, без такта и мелодии — так, что зритель при этом испытывает либо пытку, либо умиление, и ничего более; но когда он поднимается при этом в область возвышенного и восторженного, поскольку эти состояния гармонируют с иными страстями, тут даже немец становится *прекрасным*! Предчувствие того, что на известной высоте прекрасное распространит свое волшебное влияние даже на немца, гонит немца-художника все дальше и дальше ввысь и заставляет его впадать даже в распутство страсти: таким образом, у него существует действительная и глубокая потребность уйти или по крайней мере выглянуть из круга всех этих неприятных и неловких движений в лучший, более легкий, более теплый и солнечный мир. Итак, все эти корчи показывают, что могли бы *танцевать* и они, эти бедные медведи, в которых живут нимфы и лесные боги, а иногда и еще более высокие божества.

## 106

*Музыка в роли ходатая.* — «Я с жадностью ищу такого учителя музыки», говорил новатор своему ученику, «который воспринял бы мои мысли и передал бы их в будущем на своем языке: таким путем я легче овладею слухом и сердцем людей. При помощи звуков, можно соблазнить людей на всякую ошибку, ко всякой истине: кто может *противиться* звукам?» — «Так, значит, ты хочешь считаться неопровержимым?» говорил его ученик. Новатор возразил: «о, если бы росток обратился в дерево! Для того чтобы ученье разрослось в дерево, в него должны верить известное время: для того же чтобы оно могло располагать таким доверием, оно должно быть неопровержимым. Бури, сомнения, годы и злая нужда дают возможность проявить ростку дерева свою доброкачественность и силу: оно было бы сломано, если бы не оказалось достаточно сильным! Но росток всегда подвергается уничтожению, — и никогда не оказывает сопротивления!» — И воскликнул бурно на эти слова его ученик: «А я верую в твои произведения и считаю их настолько сильными, что буду высказывать все, все, что я почувствую у себя на сердце против них!» — Новатор засмеялся про себя и погрозил ему пальцем, а затем сказал: «такие последователи будут лучшими из всех последователей, но они представляют известную опасность, и не всякое ученье в состоянии с ними примириться».

## 107

*Наша последняя благодарность по отношению к искусству.* — Если бы мы не считали искусство благом и не изобрели этого своеобразного культа неправды, то вид всей этой неправды и лжи, которая дается нам в настоящее время наукой — вид всей этой тщеты и заблуждений, которые являются условием познающего и ощущающего бытия, — был бы для нас невыносим. *Правдивость* возбуждала бы к себе отвращение,

доводила бы человека до самоубийства. Теперь же наша правдивость имеет известный противовес, который помогает смягчать подобные последствия; таковым является искусство, как *добровольное* стремление к иллюзии. Мы не всегда мешаем себе стоять с изумленным взором, фантазировать до конца, и нет тогда уже больше того вечного несовершенства, которое мы несем через поток бытия, — тогда мы думаем, что мы несем *богиню* и по-детски гордимся этой услугой. Мы можем выносить жизнь, как известный эстетический феномен, и искусство заставляет наши глаза, руки и прежде всего добрую совесть служить так, чтобы мы могли самих себя превратить в подобный феномен. Мы должны иногда отдохнуть от самих себя, чтобы взглянуть в себя и из художественной дали над собою посмеяться и поплакать; мы должны открыть того *героя*, а также и *глупца*, который скрывается в нашей страсти к познанию, мы должны иногда радоваться своей глупости для того, чтобы сохранить чувство удовольствия к своей мудрости! А так как мы в конце концов представляем из себя веских и серьезных людей и даже являемся скорее тяжестями, чем людьми, то ничто к нам так не подходит, как дурацкая шапка: и мы нуждаемся в ней для самих себя, — нам нужно всякое заносчивое, парящее, танцующее, насмешливое, детское и блаженное искусство для того, чтобы не лишиться той *свободы над предметами*, которую от нас требует наш идеал. И мы снова впали бы в прежнее болезненное состояние, если бы снова очутились со всей нашей раздражительной правдивостью целиком в области морали и сами сделали бы еще добродетельными чудовищами и чучелами ради того чрезмерно строгого требования, которое мы здесь себе предъявляем. Мы должны также *уметь* стоять *выше* морали и не только стоять в тоскливой окоченелости того, кто боится каждую минуту поскользнуться и упасть, но весело парить над ней! Каким же образом могли бы мы при таких условиях обойтись без искусства, как без дурака? — И до тех пор пока вы хоть сколько-нибудь *стыдитесь* самих себя, вы все еще не принадлежите к нам.



*Мы должны иногда отдохнуть от самих себя, чтобы взглянуть в себя  
и из художественной дали над собою посмеяться и поплакать...*

## КНИГА ТРЕТЬЯ

107

*Новая борьба.* — По смерти Будды еще в продолжение целых столетий показывали в пещере его тень, — огромную, ужасную тень. Умерло божество, но, пока существует род человеческий, может быть, целые тысячелетия будут существовать пещеры, в которых будут показывать его тень. И мы должны еще будем побеждать эту тень!

108

*Поостережемся.* — Поостережемся думать, что мир представляет из себя нечто живое. Как далеко он простирается? Откуда он может питаться? Как может он расти и размножаться? Мы только случайно знаем, что такое органическое: можем ли мы нечто крайне отвлеченное, позднейшее, редкое, случайное и такое явление, которое встречаем только на земле, принимать за существенное, всеобщее, вечное, как делают те, кто называет вселенную организмом? Я не могу допустить такого сравнения. Остережемся также верить, будто вселенная — машина: ведь она не построена для одной цели и словом «машина» мы оказываем ей слишком высокую честь. Не будем предполагать везде и во всем что-то столь же оформленное, как круговые движения ближайших к нам звезд: уже один только взгляд на Млечный Путь внушает сомнение, не существует ли там множество нестройных и противоречивых движений, звезд с вечным прямолинейным движением и т. п. Астральный порядок, в котором мы живем, представляет только исключение? Этот порядок и известная продолжительность, им обусловленная, сделали, в свою очередь, возможным исключение из исключений: образование органического. Общий характер мира, напротив, — вечный хаос, не в смысле отсутствия необходимости, а в смысле отсутствия порядка, расчленения, формы, красоты, мудрости и всего, что выражается эстетическими представлениями человечества. С точки зрения разума наше беспорядочное и неудачное метание из стороны в сторону является правилом, и вся эта игра вечно повторяет свой напев, который никогда не будет мелодией, — да и самое выражение «неудачное метание» — это только попытка очеловечить явление, и попытка эта заключает в себе известное порицание. Но как же мы можем хвалить или порицать вселенную?! Не будем же считать ее безум-



ной и неразумной или приписывать ей каких-нибудь противоположных этим свойств: она не обладает ни совершенством, ни красотой, ни возвышенностью, да прежде всего и не хочет этого, она вовсе не стремится подражать людям! К ней совсем не подходят наши эстетические и моральные представления. В ней нет и стремления к самосохранению и вообще каких бы то ни было стремлений; она не знает никаких законов. Не будем же утверждать, что в природе существуют законы. Существуют только необходимости: нет никого, кто повелевает, кто повинуется, кто преступает законы. Если вы знаете, что не существует цели, то знаете также, что не существует и случайности: только в мире целесообразности слово «случайность» имеет смысл. Остережемся говорить, что смерть противоположна жизни. Живое — это только особый вид мертвого, и очень резкий вид. — Не будем думать, что мир создает вечно новое. Не существует вечно продолжающихся субстанций: материя — это такое же заблуждение, как бог элеатов. Когда же мы перестанем быть столь предусмотрительными и навязывать свое покровительство?! Когда перестанут омрачать нас эти тени богов? Когда освободим мы природу от них? Когда может начаться сближение нас, людей, с чистой, вновь открытой, вновь освобожденной природой?!

## 110

*Происхождение познания.* — Интеллект в продолжение огромного промежутка времени ничего не производил, кроме заблуждений, из которых иные оказались полезными для человека и способствовали сохранению его рода: кто опирался на них или получил их по наследству, тому с большим счастьем удавалась его борьба за себя и за свое потомство. Такие заблуждения переходили из рода в род, наконец, сделались основными и родовыми человеческими признаками; таковы, например, следующие заблуждения: некоторые предметы существуют в продолжение длинного периода времени; есть вещи, похожие друг на друга; вообще, существуют предметы, вещества, тела; вещь такова, какой она нам кажется; наша воля свободна; то, что хорошо для меня, — хорошо и само по себе. Очень поздно впервые явились люди, отрицающие и сомневающиеся в этих положениях; очень поздно впервые выступила истина, как самая слабая форма познания. Казалось, что с ней нельзя жить, наш организм был устроен вразрез с ее требованиями; все его высшие функции, выводы рассудка и все виды ощущений действовали с этими исстари вкоренившимися основными заблуждениями. Более того, эти положения в области познания стали нормами, которые прилагались для оценки «истинного» и «ложного» — даже в самых отвлеченных областях чистой логики. Поэтому сила познания заключалась не в степени его приближения к истине, а в его почтенном возрасте, в его закоренелости, в его характере, как жизненном условии. Где жизнь и знание оказывались в противоречии, там никогда не происходило серьезной борьбы; там отрицание и сомнение считались безумием. Такие исключительные мыслители, как элеаты, которые тем не менее выдвигали и придерживались противоречий, вытекавших из естественных заблуждений, верили в возможность подобной противоположности. Мудреца они считали человеком, отличающимся неизменными, безличными, универсальными взглядами: он должен быть единым и обнимать все, обладать особенной способностью к тому извращенному познанию; они верили, что их познание в то же время является принципом жизни. Но,

чтобы иметь право утверждать все это, они должны были заблуждаться относительно того положения, которое они сами занимали: они вынуждены были выдумать какое-то безличное состояние, нечто длящееся, но лишенное способности к каким бы то ни было изменениям; им приходилось неправильно оценивать сущность познающего, ложно определять силу того стремления, которое сказывается в процессе познания, и считать вообще разум совершенно свободной, самовозникающей деятельностью. Когда правдивость и скептицизм достигли в своем развитии более тонких форм, то существование подобных людей стало невозможным; их жизнь и суждения являлись как бы независимыми от первоначальных стремлений и основных ошибок всякого ощущающего бытия. — Более тонкие формы правдивости и скептицизма возникали повсюду, где находили себе приложение два противоположных взгляда на жизнь, ибо оба они примирялись с основными ошибками всюду, где борьба протекала с большею или меньшею степенью пользы для жизни; где новые положения, не принося пользы жизни, не вредили ей; где они оказывались проявлением известной игривости нашего интеллекта и были такими же невинными и счастливыми, как и всякая игра. Человеческий мозг постепенно наполнялся такими суждениями и убеждениями; в этом клубке поднималась сумятица, борьба и возникала страсть к власти. Не только польза и удовольствие, но и всякого рода стремления принимали участие в борьбе за «истину»; интеллектуальная борьба становилась делом, призванием, долгом, достоинством; познавать и стремиться к истине обращалось, наконец, в такую же потребность, как и другие потребности. Отсюда не только вера и убеждение, но и доказательство, отрицание, недоверие, противоречие становились силой; все «дурные» инстинкты были подчинены познанию, поставлены в служебное отношение к нему и приобрели блеск дозволенного, почтенного, полезного и под конец вид и невинность *блага*. Познание стало неотъемлемой частью жизни и, как сама жизнь, постоянно возрастающей силой; но вот, наконец, познание и первичные, основные, заблуждения столкнулись друг с другом; и та и другая сторона были проявлением самой жизни, обе были силой и укрывались в одном и том же человеке. Мыслитель — вот теперь то существо, в котором стремление к истине и жизненные заблуждения дали свою первую битву после того, как стремление к истине также доказало свою жизнеспособность. По сравнению с той важностью, которую представляет эта борьба, все остальное является безразличным: вопрос о жизни здесь ставится ребром, и делается впервые попытка ответить на этот вопрос путем опыта. Насколько истина может быть воплощена в жизни? — вот вопрос, вот на что должен ответить опыт.

## 111

*Происхождение логичного мышления.* Откуда появилась логика в человеческой мысли? Конечно, из явлений, лишенных логики, которые вначале безгранично царствовали. Но люди, приходившие к иным заключениям, чем те, которыми мы располагаем, погибали даже в том случае, когда истина была скорее на их стороне! Кто, например, не умел достаточно часто подмечать «равенство» в различных родах пищи или среди враждебных ему животных, кто, таким образом, обобщал слишком медленно, был слишком осторожен в своих обобщениях, у того было меньше шансов выжить против других людей, которые при всяком сходстве заклю-



*Откуда появилась логика в человеческой мысли? Конечно, из явлений, лишенных логики, которые вначале безгранично царствовали*



чали о равенстве предметов. Но непреодолимая склонность рассматривать сходное как нечто равное является склонностью нелогичною — ибо в действительности равных предметов не существует, — но она ведь создала все основные положения логики. Так же дело обстоит и с понятием субстанции, которое так необходимо для логики, ибо нет ничего такого, что в действительности соответствовало бы этому понятию; люди, выработавшие это понятие, должны были в продолжение долгого времени не замечать, не находить перемен в предметах; и люди, не умевшие точно наблюдать в этом отношении окружающий их мир, имели преимущество перед теми, которым каждый предмет и каждое явление представляется «текучим». В сущности, всюду, где мы встречаем высокую степень предусмотрительности в заключениях, склонность к скептицизму, жизни грозит большая опасность. Ни одно живое существо не могло бы поддержать своего существования, если бы не проявляло чрезвычайной силы: если бы люди не любили лучше поддакивать, чем высказывать свое мнение, лучше ошибаться и фантазировать, чем выжидать, лучше соглашаться, чем отрицать. Процесс логического мышления и заключения в нашем мозгу соответствует в настоящее время движению и борьбе известных стремлений, из которых каждое, будучи взятым в отдельности, само по себе, является нелогичным и несправедливым; мы узнаем обыкновенно только о результате этой борьбы: так быстро и так скрыто происходит в нас теперь работа этого древнего механизма.

## 112

*Причина и действие.* — Не «уменье объяснить», а «уменье изобразить» — вот что отделяет нас от более древних ступеней познания и науки. Мы изображаем лучше, но объясняем так же мало, как и раньше. Мы открыли многократную последовательность там, где наивный человек и исследователь более древних культур видел только двойственность, или, как говорят, «причину» и «действие»; мы усовершенствовали изображение существующего, но не поднялись выше этого изображения и не знаем, что кроется за ним. Ряд «причин», во всяком случае, является перед нами гораздо полнее; мы делаем заключение: сначала должны быть такие-то явления, а за ними, хотя и иные, но определенные, но таким путем мы все-таки ничего не объясняем. Качественная сторона, например, всякого химического явления, и до и после представляется нам «чудом», точно так же и всякое движение; никто не «объяснил» точка. Да и как мы могли бы объяснить? Мы оперируем с предметами, которых не существует, с линиями, плоскостями, телами, атомами, делимыми промежутками времени, делимыми частями пространства, — каким образом возможно здесь объяснение, если мы все наперед сводим к *изображению*, к нашему изображению?! Довольно того, если мы смотрим на науку как на возможно точное уподобление себе вещей мы научаемся все лучше изображать самих себя, изображая вещи и их взаимную последовательность. Причина и действие — это такая двойственность, которой, вероятно, не существует, — в действительности перед нами *continuum*, часть которого мы изолируем; точно так мы всегда представляем себе движение с помощью изолированных точек, следовательно, мы собственно не видим, но только заключаем. Тот факт, что многие процессы возникают с чрезвычайной быстротой, вводит нас в заблуждение, но внезапность эта только кажущаяся для нас явление. В этот момент может





*Причина и действие — это такая двойственность, которой, вероятно, не существует, — в действительности перед нами continuum...*

совершаться бесчисленное количество событий, минующих нас. Интеллект, который будет видеть в причине и действии непрерывность (*ein continuum*), а не произвольно раздробленные, отдельные события, который поймет течение событий, — откажется от понятий причины и действия и отвергнет всякую причинность.

### 113

*К учению о ядах.* — Как много надо условий для того, чтобы возникла научная мысль: и все эти необходимые силы должны быть порознь открыты, развиты и воспитаны! Но пока они были изолированы, каждая из них производила очень часто совершенно иное действие, чем теперь, когда они в научном мышлении взаимно ограничивают и сдерживают друг друга; они действовали, как отравы: таковы, например, потребность сомнения, потребность отрицания, потребность соединения, потребность разделения. Многие гекатомбы людей были принесены в жертву, пока люди научились понимать эти силы одну подле другой и чувствовать их вместе, как функции одной организующей силы в одном человеке! И как мало способны мы и теперь присоединить к научному мышлению еще и искусственные силы, и практическую мудрость жизни, чтобы образовать высшую органическую систему, при которой ученый, врач, художник и законодатель, какими мы знаем их теперь, показались бы нам жалкими остатками старины!

### 114

*Объем морали.* — Мы создаем новый образ, который мы видим с помощью всего нашего старого опыта, *поскольку это позволяет* наша искренность и правдивость. Даже в сфере чувственных восприятий мы имеем дело только с моральными пережитками.

### 115

*Четыре заблуждения.* — Человек воспитан своими заблуждениями: во-первых, он видел себя всегда только отчасти; во-вторых, приписывал себе несуществующие качества; в-третьих — чувствовал себя в ложном положении относительно животных и природы; в-четвертых, он всегда искал себе новых заповедей; таким образом, то одно, то другое человеческое стремление и состояние ставилось на первом месте и облагораживалось под влиянием такой оценки. Исключите влияние этих четырех заблуждений, и тогда потеряют смысл и гуманность, человечность, и «человеческое достоинство».

### 116

*Происхождение морали.* — Где мы встречаемся с моралью, там находим расценку и распределение по рангам человеческих стремлений и поведения. Эти расценки и рас-

пределение и служат всегда выражением потребностей толпы и массы: что *им* полезно, то служит и высшим мерилом достоинства всех индивидуумов. С помощью морали личность превращается в функцию толпы и, как функция, оценивает свое значение. Так как условия сохранения одного общества отличны от условий другого, то существует и много различных моралей; ввиду того что толпе и массе, государствам и обществам, предстоит пережить существенные изменения, можно предвидеть, что явится еще много новых систем морали.

## 117

*Совесть толпы.* — В продолжительные и отдаленные эпохи жизни человечества существовала совершенно другая совесть, чем в настоящее время. Теперь человек чувствует себя ответственным за то, чего он хочет и что делает и в самом себе находит судью: все наши правоведы исходят из этого чувства собственного достоинства и удовольствия, как будто бы здесь кроется источник права. Но очень долгое время для человечества ничего не было более ужасного, как чувствовать себя одиноким. Быть одному, чувствовать себя одним, не повиноваться и не управлять, быть индивидуумом — это считалось не удовольствием, а наказанием. Свободу мысли находили неудобством. В то время как мы в законе и дисциплине чувствуем принуждение и стеснение, тогда эгоизм считался уголовным преступлением, настоящим бедствием. Быть самим собой, прилагать к себе свой собственный масштаб и оценку — это было недопустимо. Подобные наклонности казались безумием: быть одному — значило привлечь на свою голову всякие ужасы и несчастья. «Свободное хотение» указывало непосредственно на злую совесть: чем меньше свободы, чем больше говорил в поведении стадный инстинкт, а не личное чувство, тем нравственнее считал себя человек. Все, что вредило толпе — безразлично, хотел или нет итог индивидуум, — вызывало в нем упреки совести, еще более в его ближнем и во всей толпе! — На таких-то взглядах мы по преимуществу и воспитывались.

## 118

*Симпатия.* — Разве мы будем считать добродетельной какую-нибудь клетку за то, что она приняла на себя функции более сильной клетки? Она должна это делать. Будет ли злом, если более сильная ассимилирует ее? Она также должна это сделать; иными словами, это для нее необходимо, так как она стремится к наиболее полному восстановлению и возрождению. Поэтому в сочувствии нужно различать: стремление подчинить и стремление подчиниться, смотря по тому, сильный или слабый обнаруживает сочувствие. У сильного, которой стремится подчинить себе что-нибудь, вы найдете всегда вместе радость и страстное желание; у слабого, который мог бы сделаться чьею-либо функцией, — радость и желание стать предметом стремления для кого-нибудь. — Сострадание относится к первой комбинации; оно представляет из себя то приятное движение души, которое человек испытывает, когда у него проявляется при виде слабейшего желание усвоения. Нужно заметить только, что «сильный» и «слабый» — понятия относительные.

## 119

*Нет альтруизма!* — У многих людей я вижу сильнейшее стремление и удовольствие сделаться чьею-нибудь функцией; они обладают тончайшим чутьем и проникают всюду, где только могут стать функцией. Таковы те женщины, которые превращаются в функцию мужчины, наименее в нем развитую, и таким путем становятся его кошельком, его политикой, его средством общения. Эти существа чувствуют себя всего лучше, если им удастся внедриться в чужой организм; если они терпят в этом неудачу, они становятся злыми, раздраженными и поедают самих себя.

## 120

*Здоровье души.* — Любимая моральная формула врачей (родоначальник ее Аристотон Хиосский<sup>1</sup>) — «добродетель — здоровье души» — должна быть, раз только хотят с успехом ее применять, изменена по крайней мере следующим образом: «твоя добродетель — здоровье твоей души». Здоровье само по себе не существует, и все попытки определить подобную вещь приводили к печальному концу. Чтобы определить, *что* собственно значит для твоего *тела* здоровье, нужно иметь в виду твою цель, твои горизонты, твои силы, твои стремления, твои заблуждения и, конечно, идеалы и мечты твоей души. Таким образом, существуют бесчисленные здоровья тела; и чем больше оказывается возможным выделяться величинам отдельным и несравнимым друг с другом, чем более забывается догма о «равенстве людей», тем более скрывается от наших медиков и понятие о нормальном течении болезни. Вот тут-то впервые было бы своевременно подумать о здоровье и болезни души и обосновать добродетель каждого на его здоровье, которое для одного может оказаться тем, что для другого будет прямой противоположностью. Наконец, остается еще открытым важный вопрос: можем ли мы *обойтись* без болезни для самого развития нашей добродетели? — Может быть, для нашей жажды знания и самопознания столь же необходима больная душа, как и здоровая: короче говоря, исключительное желание здоровья не есть ли предубеждение, трусость и, может быть, нечто вроде утонченного варварства и отсталости?

## 121

*Жизнь — не аргумент.* — Мы создали себе мир, в котором живем, — при помощи тел, линий, плоскостей, причин и действий, движения и покоя, формы и содержания: без этих звеньев нашей веры никто бы не мог жить! Но ведь все это нисколько не говорит в пользу их. Жизнь — не аргумент; в условиях жизни могут быть и заблуждения.

---

<sup>1</sup> Аристотон Хиосский (III в. до н. э.) — греческий философ, стоик.





*У многих людей я вижу сильнейшее стремление и удовольствие  
сделаться чьею-нибудь функцией...*



*Жизнь — не аргумент; в условиях жизни могут быть и заблуждения*



## 122

*Моральный скептицизм в христианстве.* — Христианство также сыграло значительную роль в просвещении: оно самым убедительным и действительным образом учило моральному скептицизму, обвиняя и обличая с неустанным терпением и утонченностью; оно отрицало в каждом отдельном человеке веру в свои «доблести»; оно стерло с лица земли те высокие добродетели, которыми была богата древность, тех популярных людей, которые с верой в свое совершенство умели соединять достоинство борца арены. Когда мы теперь, воспитанные в этой христианской школе скептицизма, читаем моральные книги древних, например Сенеки и Эпиктета, мы чувствуем забавное превосходство, тайное понимание и проницательность; мы переживаем то же чувство, которое испытывает взрослый, когда перед ним говорит ребенок, или когда Ларошфуко слушал какую-нибудь юную, прекрасную энтузиастку; мы лучше знаем, что такое добродетель! В конце концов мы переносим этот же самый скептицизм и на все *религиозные* состояния и события: грех, раскаяние, милость, святость и делаем это с таким успехом, что и при чтении всех христианских книг переживаем то же самое чувство тонкого превосходства и понимания: — и религиозное чувство мы понимаем лучше! Да и пора хорошо его знать и описать, потому что умерли достоинства старой веры, — сохраним по крайней мере для знания их изображение и их тип!

## 123

*Знание нельзя считать только средством.* — И без этой новой страсти — я разумею страсть к знанию — наука шла бы вперед: до сих пор наука без нее росла и крепла. Добрая вера в науку, благоприятное для нее предубеждение, господствующее теперь в наших государствах (раньше тоже и в церкви), основываются в сущности на том, что чистая страсть к знанию редко обнаруживалась, и в науке видели не страстную потребность, а известное состояние и «обычай» (*ethos*). Да, часто бывает достаточно уже одной *amour-plaisir*<sup>1</sup> знания (любопытности), довольно *amour vanité*<sup>2</sup>, привычки к нему, с задней мыслью о почете и хлебе, для многих достаточно даже, если они не знают, что делать с собой на досуге, а потому читают, собирают, приводят в порядок, наблюдают, передают дальше; потребность их в науке вызывается желанием спастись от ничегонеделанья. Папа Лев X воспел однажды хвалу науке: он назвал ее лучшим украшением и величайшей гордостью нашей жизни, благородным занятием в счастье и несчастье. «Без нее, — сказал он под конец, — все человеческие предприятия не имели бы твердой опоры, — даже и с ней остается еще достаточно много изменчивого и неясного!» Но этот скромный скептик — папа, — как и многие другие церковные хвалители науки, не сказал своего последнего слова о ней. Можно ли видеть из его слов — а это важно относительно такого поклонника искусств, — чтобы он ставил науку выше искусства? Наконец в силу простой деликатности он не говорит здесь о том, что ставит выше всякой науки — об «истине, даваемой откровением» и о «вечном спасении души», — что для него украшение,

<sup>1</sup> Любовь-удовольствие (*фр.*).

<sup>2</sup> Любовь-тщеславие (*фр.*).

гордость, поддержание и сохранение жизни! «Наука есть нечто второстепенное, не последнее и безусловное, она не может быть предметом страсти», — такой приговор скрывался в душе Льва Х; и это единственно христианский приговор над наукой! В древности ее значение и признание умалялись по той причине, что даже самая пылкая юность выше всего ставила стремление к *добродетели* и только тогда считали возможным дать высшую похвалу знанию, если оно являлось лучшим средством для добродетели. Если же знание стремится выйти из роли простого средства, то подобное явление оказывается в истории новшеством.

## 124

*На горизонте бесконечности.* — Мы покинули берег и взошли на корабль! Мостки пройдены, — еще немного, берег остался позади! Теперь вперед, мой челн! Океан пред тобой: он, правда, не всегда бурлив и порой спокойно блестит, как шелк, и золото, и грезы о счастье. Но настанет время, и ты узнаешь, что он бесконечен и что ничего нет более ужасного, как бесконечность. Горе бедной птичке, которая чувствовала себя свободной, а теперь ударилась о стенку этой клетки! Горе тебе, если ты затоскуешь о родной земле, где как будто больше было *свободы*, — и нет теперь «земли»!

## 125

*Безумец.* — Не приходилось ли вам слышать о том безумце, который в светлое утро зажжет фонарь, вышел на площадь и неумолчно кричал: «Я ищу божество! Я ищу божество!» — Там было много таких, которые не верят в бога, и они издевались над ним. «Не потерялся ли он?» — говорил один. «Не запутался ли он, как ребенок?» — говорил другой. «Не спрятаться ли он хочет? Не нас ли он боится? Не на корабле ли он плывет? не странствует ли?» — так кричали они и смеялись между собой. Безумец проник в середину их и пронизывал их своим взглядом. «Где божество? — кричал он. — Я скажу вам это! *Мы убили его*, — вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы это сделали? Как могли мы поглотить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть весь горизонт? Что мы сделали, оторвавши эту землю от ее солнца? Куда она идет теперь? Куда идем мы сами? Прочь от всех солнц? Разве мы не спотыкаемся постоянно? И назад, и в стороны, и вперед, по всем направлениям? Существуют ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы по бесконечному небытию? Не повеяло ли на нас пустотой? Разве не стало холоднее? Разве ночь не надвигается все темнее и темнее? Разве не приходится нам днем зажигать огонь? Разве еще не долетает до нас звук работы могильщиков, зарывающих божество? Разве не чувствуем мы божественного тления? — Ведь и боги истлевают! Бог убит! Бог мертв! И мы его убийцы! Чем же мы утешаемся, убийцы из убийц? Самое святое и великое, чем только обладал мир, погибло под нашими ножами, — кто смое с нас эту кровь? Какая вода может очистить нас? Какое раскаяние, какие священные игры мы можем придумать? Разве важность этого деяния не слишком велика для нас? Чтобы стать достойными его, но должны ли мы сами сделаться богами? Еще не было никогда более великого деяния, — и кто родится после нас, будет принадлежать за такое деяние к высшей истории, чем вся, бывшая до



сих пор! — Тут умолк безумный и вновь взглянул па слушателей: они тоже молчали и с удивлением глядели на него. Наконец, бросил он свой светильник на землю, так что тот разбился на части и погас. «Я явился слишком рано, — сказал он, — еще не настало время для меня. Это ужасное деяние еще на пути, оно еще не достигло людского слуха. Для молнии и грома нужно время, для света звезд нужно время: для деяний тоже нужно время, для того чтобы их могли заметить и услышать, после того как они совершены. Это деяние еще дальше от людей, чем самые далекие звезды, — *и однако они совершили его!*» — Рассказывают еще, что этот безумец в тот же самый день пробрался в различные храмы и пел там свой *вечный Requiem богу* (Requiem aeternam deo). Когда его выводили и заставляли говорить, он повторял только одно: «Что такое эти храмы, как не могилы и надгробные памятники божества?».

## 126

*Мистические толкования.* — Мистические толкования считаются глубокими; они, правда, не поверхностны.

## 127

*Последствия древней религиозности.* — Всякий немыслящий человек полагает, что воля — вот единственно активный элемент жизни; хотеть — это нечто простое, данное, непроеизводное, само по себе понятное. Он убежден, если что-либо делает, например производит удар, — что это *он* ударяет и что ударил он потому, что *хотел* ударить. Он совершенно не замечает проблемы, заключающейся здесь, для него достаточно чувствовать *волю*, для того чтобы не только признать причину и действие, но и поверить, что он *понимает* их взаимное отношение. Он не знает ничего ни о механизме совершающегося, ни о стократно неуловимой работе, которая должна произойти, чтобы совершился удар, ни о полной неспособности воли самой по себе совершить хотя бы ничтожнейшую часть этой работы. Воля для него — магически действующая сила: вера в эту волю, как причину действий, это — вера в волшебные силы. Всюду, где человек видел какой-либо процесс, он предполагал волю, как причину и лично хотящее существо в основе всего, — понятие механика было ему совершенно чуждо. А так как человек неизмеримо долгое время верил только в личности (не в материю, силы, вещи и т. д.), то вера в причину и действие стала его основной верой, которую он прилагает всюду, где протекает какой-нибудь процесс, — еще и в настоящее время это чувствуется инстинктивно, как атавизм древнейшего происхождения. Положения «нет действия без причины», «всякое действие есть, в свою очередь, причина» являются обобщениями более узких положений: «где совершается действие, там есть хотение», «только при наличности существа, проявляющего желание, может быть действие», «нельзя просто ощущать действия, но всякое такое ощущение есть возбуждение воли» (к действию, к самозащите, к наказанию, к возмездию), — в первобытные же времена человечества и те и другие положения были тождественны, первые не были обобщением вторых, но вторые — развитием первых. — Шопенгауэр со своим утверждением, что существующее представля-

ет субъект, обладающий волей, возвел на трон первобытную иппологию; он никогда, по-видимому, не пытался произвести анализ воли, потому что *верил*, как всякий, в простоту и непосредственность хотения: — между тем хотение — это такой тонко устроенный механизм, что почти скрывается от глаза наблюдателя. В противоположность упомянутому мыслителю я выставляю следующие положения; во-первых для существования воли необходимо представление об удовольствии и страдании. Во-вторых: чтобы сильное побуждение чувствовалось, как удовольствие или страдание, для этого нужна работа *анализирующего* интеллекта (*interpretirenden intellecte*), который совершает свою работу большею частью, конечно, бессознательно для нас; одно и то же побуждение может быть истолковано им и как удовольствие, и как страдание. В-третьих: только для существ, одаренных интеллектом, существуют удовольствие, страдание и воля; огромное большинство организмов не имеют ничего подобного.

128<sup>1</sup>

*Ценность молитвы.* — Молитва придумана для таких людей, которые не могут мыслить самостоятельно и никогда не ведают возвышенного состояния души; что́ им за дело до святынь и особых положений в жизни, требующих покоя и достоинства? Для того чтобы они, по крайней мере, хотя бы не докучали, мудрость всех основателей религий — как малых, так и великих — предписывала им формулу молитвы, для которой необходима продолжительная механическая работа губ в сочетании с напряжением памяти и четко зафиксированным положением рук и ног — даже глаз! И пусть они, подобно тибетцам, нескончаемо пережевывают «Ом мане падме хум<sup>2</sup>» или, как в Бенаресе, загибают пальцы, пытаясь счесть имя Бога Рам-Рам-Рам (и т. д. — с легкостью или без нее); а то пусть славят Вишну с его тысячью или Аллаха — с его девяносто девятью именами; пусть они используют молитвенные жернова или четки — главное, лишь бы занять их на какое-то время этим трудом, сообразив достойный вид: их молитвенный обряд задуман во благо тех благочестивых душ, которые мыслят самостоятельно и которым ведомы высокие душевные порывы. Но даже этим последним не удастся подчас избежать приступов усталости, когда однообразное течение достопочтенных словес и звуков, да и вся богоугодная механика — воздействуют на них. Допустив, что эти редкие люди — ведь в любой религии истинно религиозный человек есть исключение — сами способны помочь себе, нам придется сделать вывод, что нищие духом с этим уже не совладают, и запретить им таторить свои молитвы — значит лишить их религии; мы всё отчетливее видим это на примере протестантизма. Религия хочет от них одного — дабы они *не утратили покоя* — глаз, рук, ног и прочих органов; это нередко облагораживает их и делает более похожими на людей!

<sup>1</sup> Перевод §§ 128–152 выполнен Р. В. Грищенковым, поскольку в переводе Л. Николаева они отсутствуют.

<sup>2</sup> Буквально: «Я есмь драгоценность в царстве Лотоса». Древнейшая медитативная формула, отражающая космизм силы человеческого Я.

## 129

*Условия Бога.* — «Самое существование Бога зависит от мудрецов», — сказал Лютер, и с полным на то основанием; однако о том, что «Бог еще в меньшей степени способен существовать без а-ков», — об этом славный Лютер не обмолвился!

## 130

*Опасное решение.* — Решение христианства объявить мир уродливым и скверным, естественно, сделало мир уродливым и скверным.

## 131

*Христианство и самоубийство.* — Христианство выбрало рычагом своей власти необыкновенно распространившуюся в то время жажду самоубийства; правда, оно сохранило всего лишь две формы самоубийства, обеспечив их высочайшим достоинством и величайшими надеждами, — на все же прочие был наложен строжайший запрет. Однако мученичество и степенное самоистязание аскетов были позволены.

## 132

*Против христианства.* — Ныне против христианства выступает наш вкус, а отнюдь не аргументы.

## 133

*Основоположение.* — Неизбежная гипотеза, к которой человечество обречено возвращаться вновь и вновь, еще долгое время будет *возобладать* над самой истовой верой в нечто неподлинное (подобно христианской вере). Долгое время означает: сотни тысяч лет.

## 134

*Пессимисты как жертва.* — Там, где преобладает глубокая неудовлетворенность существованием, проявляются последствия длительных и грубых нарушений диеты, в чем следует обвинять только народ. К примеру, распространение буддизма (не его возникновение) в изрядной степени зависит от преимущественного и почти однообразного рисового рациона, обуславливающего вялость нации. Возможно, современная общеевропейская неудовлетворенность может быть объяснена тем, что наши предки, все Средневековье, уступая влиянию мерзких немецких привычек, насаждавшихся всей Европе, предавались практически беспробудному пьянству: Средневековье — синоним алкогольного отравления Европы. — Немецкое не-

довольство жизнью сродни эпидемии — недуг, проявляющийся в зимнее время и усугубляющийся спертым подвальным воздухом, приправленным ядовитым угаром, производимым несовершенными немецкими печурками.

## 135

*Происхождение греха.* — Грех, как он нынче воспринимается повсюду, где господствует или некогда господствовало христианство, — грех есть иудейское чувство и иудейское творение, и, принимая во внимание подобную подоплеку всей христианской морали, очевидно, что христианство в действительности добивалось того, чтобы «обиудить» мир. В какой мере оно преуспело в этом в Европе, острее всего ощущается в той степени отчуждения, каковое до сих пор пробуждает в нас греческая древность — мир, свободный от чувства греха, — несмотря на все благоволение к приближению и постижению этого мира, питаемое целыми поколениями выдающихся личностей. «*Покайся*, и снизойдет на тебя благодать Божья», — у любого грека это вызвало бы хохот и досаду, он сказал бы: «Вот чувства, достойные рабов». Те слова допускают существование Могуущественного, Сверхмогуущественного и все-таки Мстительного: власть Его столь безмерна, что он не может претерпеть никакого ущерба, кроме оскорбления чести. Всякий грех есть поругание чести, некий *crimen laesae majestatis divinae*<sup>1</sup> — и более ничего! Самоуничтожаться, унижаться, валяться в пыли — таково первое и последнее условие Его милости, — то есть возрождение Его божественной чести! Вызывает ли грех сверх того другие беды, породит ли он новое зло, способное погубить человечество, — все это нимало не заботит этого самовлюбленного азиатского сатрапа на небеси: грех есть прегрешение перед Ним, а не перед человечеством! — и кого Он одарил своею милостью, тому Он ниспошлет и эту беспечность к естественным последствиям греха. Бог и человечество здесь мыслятся настолько отдаленными и противопоставленными, что, в сущности, ни о каком прегрешении перед человечеством и речи быть не может, — всякий поступок должен рассматриваться *лишь с точки зрения сверхъестественных последствий*, а во все не естественных: так угодно этому иудейскому чувству, для которого все естественное предстает чем-то недостойным по сути своей. *Грекам* же, наоборот, была куда ближе идея, что даже кошунство способно обладать достоинством, даже воровство, как то было с Прометеем, даже убой скота в порыве безумной зависти — история Аякса: они обладали извечной потребностью наделять преступление достоинством и с достоинством его творить; изобретенная ими *трагедия* — искусство и удовольствие — так и остались глубоко чуждыми для иудеев, несмотря на всю их поэтическую одаренность и склонность к возвышенному.

## 136

*Избранный народ.* — Евреи, ощущающие себя избранным среди всех прочих народов, и все лишь потому, что полагают себя воплощением морального гения среди

<sup>1</sup> Оскорбление божественного величества (лат.).





*Возможно, современная общеевропейская неудовлетворенность может быть объяснена тем, что наши предки, все Средневековье, уступая влиянию мерзких немецких привычек, насаждавшихся всей Европе, предавались практически беспробудному пьянству...*

народов (в силу таланта *презирать* в себе человека глубже, чем это присуще какому-либо иному народу), — евреи, созерцая своего божественного монарха и святого угодника, млели от восторга, подобного тому, какой питало французское дворянство по отношению к Людовику XIV. Это дворянство безвольно утратило все свое могущество и власть и стало всеми презираемо; и чтобы не чувствовать этого, суметь забыться, были необходимы королевское величие, королевский авторитет и полнота власти, *не имеющие себе равных*, что было доступно только дворянству. И когда они обрели эти привилегии и достигли высот королевского двора, то, взирая оттуда вниз, открыли для себя ничтожность и убожество того, что простиралось у их ног, и тогда совесть их стала нечувствительной к любым укорам. Умышленно вознося башню королевской власти к облакам, они использовали последние кирпичики власти своей собственной.

### 137

*Говоря притчей.* — Явление Иисуса Христа было возможно исключительно при наличии иудейского ландшафта — я имею в виду ландшафт, извечно окутанный мрачными и величественными тучами сурового Иеговы. Лишь сюда, сквозь завесу безнадежности, за которой теряется различие между днем и ночью, мог пробиться один-единственный лучик солнца, подобный чуду «любви», лучик незаслуженной «милости». Именно здесь Христос мог свободно грезить о радуге и о небесной лестнице, по коей Бог низошел к человеку; везде в других местах ясная погода и солнце еще считались чем-то более чем обычным и повседневным.

### 138

*Заблуждение Христово.* — Основатель христианства считал, что самые мучительные страдания доставляют человеку его собственные прегрешения: это было Его заблуждением, заблуждением Того, кто полагал себя безгрешным, будучи не слишком-то искушенным в этих вопросах! И душа Его была преисполнена чудесной, фантастической скорбью к страданиям людей, которое даже у Его народа, породившего грех, отнюдь не считались чрезмерными! — Правда христианам удалось-таки задним числом оправдать своего Учителя и даже канонизировать Его заблуждение в «истину».

### 139

*Цвет страстей.* — Натуры, подобные апостолу Павлу, обладают «дурным глазом» на страсти: они представляются им как нечто грязное, извращающее и душегубительное — именно поэтому их высокие порывы обращены на подавление страстей; Божественное видится им совершенно свободным от них. В отличие от Павла и иудеев греки устремляли свои высокие порывы именно к страстям, любя, превознося, раззолачивая и обожествляя; видимо, они ощущали себя в страсти не только счастливее, но чище и ближе к богам, чем в иных состояниях. — Ну а что же христиа-

не? Желали ли они явиться иудеями в этом понимании? Быть может, они даже и стали ими?

## 140

*Слишком по-еврейски.* — Если Бог желал стать предметом любви, то Ему следовало бы вначале снять себя полномочия судьи, вершащего правосудие: судья, даже самый милосердный, не может являться предметом любви. Основатель христианства не проявил здесь должной тонкости, чтобы почувствовать это — будучи истинным иудеем.

## 141

*Слишком по-восточному.* — Как же так?! Бог, возлюбивший человечество, *при условии*, что оно уверовало в Него, и мечущий громы и молнии против того, кто сомневается в этой любви? Как же так?! Любовь с условием — и это чувство всемогущего Бога? Любовь, не возобладавшая над честолюбием и агрессивной мстительностью? Как же это все по-восточному! «Если я люблю тебя, то что тебе за дело до этого?» — более чем достаточная критика христианства в целом.

## 142

*Каждение.* — Будда говорит: «Не должно льстить своему благодетелю!» Вот бы повторить подобные слова в христианской церкви: воздух мгновенно очистится от всего христианского.

## 143

*Величайшая польза политеизма.* — То, что отдельный человек сотворяет для себя *собственный* идеал и соответственно ему устанавливает собственные законы, радости и права, — это считалось до сих пор едва ли не самым чудовищным из всех человеческих заблуждений сродни идолопоклонству; в действительности же те немногие, дерзавшие на это, всегда нуждались в своего рода самооправдании, обыкновенно звучавшем так: «Это не я! не я! но *Бог* через меня!». Политеизм — диковинное искусство и умение творить богов — был единственной формой, в которой вполне могло достичь своего разрешения влечение к идеалу и в коей оно очищалось, совершенствовалось, облагораживалось: ведь вначале разумелось некое обычное и почти не проявляющееся влечение вроде упрямства, послушания и зависти. Отвергать подобное стремление к собственному идеалу — таков был всеобщий закон нравственности. Существовала всего лишь одна установка: «человек», — и любой народ был убежден, что он *обладает* пониманием единственной и самой важной установки. Вместе с тем — над и вне себя — допускалось существование великого *множе-*

*ства установок*, один бог не являлся отрицанием или худой на другого бога! Именно здесь в первую очередь была разрешена индивидуальность и почитались права. Изобретение плеяды богов, героев, всякого рода сверхчеловеков, равно как и человекоподобий да и просто недочеловеков, гномов, фей, кентавров, сатиров, демонов и чертей — было поистине бесценным навыком для оправдания себялюбия и своевластия, присущих отдельному человеку: свобода, предоставлявшаяся одному богу в его отношениях с другими богами, была впоследствии трансформирована человеком на себя и проявилась в законах, правах и отношениях с соседями. Монотеизм же, в отличие от этого, — окаменевший вывод из учения о некоем идеальном Человеке, а значит, вера в некоего идеального Бога, подле которого все прочие боги обращаются в лжебогов, — являл и являет собою величайшую опасность для человечества, которое вполне могло преждевременно остановиться в своем развитии, что мы можем наблюдать у большинства прочих животных видов, истово верующих в своей совокупности в некий идеал Зверя как в идеал их собственной породы; нравственность нравов стала их плотью и кровью. Политеизм наметил первый образец свободомыслия и инакомыслия человека: возможность созидать новое и собственное видение и вновь творить его уже более собственным, — так что лишь для человека, единственного среди всех животных, не может существовать никаких вечных законов и перспектив.

## 144

*Религиозные войны.* — До сих пор религиозная война являлась выражением высочайшего уровня развития масс, ибо она доказывала, что массы отныне чтят понятия. Религиозные войны возникают именно тогда, когда общий уровень мышления поднимается благородя нескончаемым и казуистическим спорам отдельных сект, так что даже невежественная чернь, поднабравшись ума, начинает серьезно анализировать сущую ерунду и вполне допускает зависимость «вечного спасения души» от самых пустячных несоответствий в интерпретации понятий.

## 145

*Опасность вегетарианства.* — Чудовищная неумеренность в избирательном потреблении риса закономерно ведет к использованию опиума и других наркотических веществ, подобно тому как неумеренное избирательное потребление картофеля приводит к водке, последовательно способствуя возникновению мыслей и чувств, действующих сродни наркотикам. Соответственно, потрафляющие наркотическому образу мышления и чувствования индийские наставники превозносят до небес чисто растительную диету и тщатся вывести ее в качестве закона для масс: тем самым они желают обострить до предела и сделать жизненно необходимой ту потребность, каковую они в состоянии удовлетворить *лично*.





*Чудовищная неумеренность в избирательном потреблении риса закономерно ведет к использованию опиума и других наркотических веществ, подобно тому как неумеренное избирательное потребление картофеля приводит к водке, последовательно способствуя возникновению мыслей и чувств, воздействующих сродни наркотикам*

## 146

*Немецкие надежды.* — Не стоит забывать, что народы подчас величаются оскорбительными прозвищами. К примеру, татар прозывают «собаками»: так их окрестили китайцы. «Немцы» (die «Deutschen») — исконно означало «язычники» (die «Heiden»): именно так после своего обращения <в христианство> величали готы огромную массу некрещеных соплеменников, прибегая к собственному переводу Септуагинты, где язычники определялись словом, обозначающим по-гречески «народы»: справьтесь о том у Вульфила<sup>1</sup>. — Не исключалась, конечно, возможность того, что немцы задним числом сотворят из своего прозвища почетное имя, сумеют притом остаться первым *нехристианским* народом Европы, к чему они весьма тяготеют и что им, по мнению Шопенгауэра, делает честь. Тогда была бы завершена миссия Лютера, который побуждал их предать забвению римские корни и декларировать: «На том стою! Я не могу иначе!».

## 147

*Вопрос и ответ.* — Что в первую очередь перенимают сегодня варвары от европейцев? Водку и христианство, европейские *наркотики*. — От чего они в первую очередь гибнут? — От европейских *наркотиков*.

## 148

*Где возникают Реформации.* — Великая европейская церковная порча менее всего затронула церковь в Германии: потому-то именно и родилась Реформация, словно свидетельство того, что даже зачатки порчи были восприняты как невыносимые. По сравнению с прочими никогда не существовало более христианского народа, нежели немцы времен Лютера: их христианская культура уже готовилась расцвести с небывалой силой и великолепием — недоставало всего лишь одной ночи, но эта ночь принесла бурю, погубившую всё.

## 149

*Неудача Реформации.* — В пользу изрядной культуры греков даже в достаточно давние времена свидетельствует то, что неоднократные попытки создания новой греческой религии претерпели крах; это говорит о том, что уже тогда в Греции существовало немало разного рода индивидуумов, кои, страдая от разного рода нужд, никак не могли удовлетвориться одним-единственным рецептом веры и надежды. Пифагор и Платон, возможно, что и Эмпедокл, и гораздо раньше — орфические

---

<sup>1</sup> *Септуагинта* — выполненный в Александрии греческий перевод Ветхого Завета, приписываемый 72 еврейским ученым (по 72 народам мира). *Вульфила*, или *Ульфилла* (311–381), епископ арианских вестготов, насаждавший им христианство; перевел большую часть Библии на готский язык изобретенными им особыми письменами.

мечтатели пытались основать новые религии, а первые двое из вышеназванных — в силу душевного склада и талантов — были словно созданы для этого: мы не перестаем удивляться, почему же все-таки им это не удалось; они не продвинулись дальше сект. Всегда, когда общенародная Реформация проваливается, вздымают головы свои только секты: у нас имеются основания сделать вывод, что народ в своей массе весьма неоднороден и начинает утрачивать грубые стадные инстинкты и нравственность нравов: мы говорим о весьма значимом состоянии нестабильности, какое обыкновенно поносят, усматривая в нем признаки упадка нравов и коррупции, хотя на деле оно возвещает, что птенец вот-вот вылупится из яйца. То, что Лютер преуспел с Реформацией на Севере, говорит о том, что Север отстал от Европейского Юга и имел весьма однородные и схожие потребности; и вообще не было бы никакой христианизации Европы, ежели бы древняя культура Юга не оказалась низведена до уровня варварства вследствие кровосмешения с германскими варварами и не утратила бы своего культурного преобладания. Чем шире и непреложнее воздействие, оказываемое отдельным человеком или отдельной мыслью, тем однороднее и ниже по уровню должна быть масса, на которую и направлено это воздействие; в то же время противоположные устремления свидетельствуют о противоборстве внутренних потребностей, тщящихся самостоятельно удовлетворить себя и добиться преобладания. Напротив, всегда можно вынести заключение о подлинном культурном прогрессе там, где могущественные и властолюбивые натуры добиваются воздействия лишь на мелкие секты: это характерно для отдельных видов искусства и сферы познания. Где власть, там массы; где массы, там потребность в рабстве. Где существует рабство, там лишь немногие способны остаться индивидуумами, и против них обращены все стадные инстинкты и совесть.

## 150

*К критике святых.* — Неужели же во имя обладания добродетелью необходимо прибегать к наиболее безжалостным ее видам, как желали того и к чему тяготели христианские святые? Жизнь представлялась им *сносной* единственно при мысли о том, что лишь от одного вида их добродетели каждый непременно должен ощутить презрение к самому себе. Но, увы, добродетель, действующую подобным образом, я склонен именовать жестокой.

## 151

*О происхождении религии.* — Метафизическая потребность не в коей мере не является источником происхождения религий, как этого хотелось бы Шопенгауэру; она сама — не более чем *отросток* на их стволе. Господство религиозного мышления сделало обыденным представлением об «ином (заднем, нижнем, вышнем) мире», соответственно, крушение религиозных фантазий рождает в каждом ощущение неприятной пустоты и тягостной утраты — именно из этих чувств опять восходит к новой жизни «иной мир», но, однако, на сей раз не религиозный, а уже метафизический. Но то, что в незапамятные времена принуждало допустить существование «иного



мира», не являлось *ни* стремлением, *ни* потребностью, а *заблуждением* в интерпретации ряда естественных процессов, то есть беспомощностью интеллекта.

## 152

*Величайшая перемена.* — Освещение и краски всех предметов стали иными! Нам уже не вполне понятно самое обыденное и простое, как ощущали его древние, — например, день и бодрствование: поскольку древние верили в сны, бодрственная жизнь представляла в ином освещении, равным образом как и самое бытие, отражающее смерть и значение ее, наша «смерть» — это уже смерть совсем иная. Все переживания высвечивались по-другому, ибо сквозь них проступало сияние некоего Божества; другими были все решения и помыслы о грядущем, ибо тогда существовали оракулы, тайные знамения и вера в предсказания. «Истина» восчувствовалась также по-другому, так как в те времена даже безумец мог явиться ее глашатаем, — в нас сегодня это рождает дрожь или смех. Всякая несправедливость воздействовала на чувства по-другому, ибо тогда страшились Божей кары, а не только наказания судом и позора. А какая радость процветала тогда в мире, когда верили в черта и искушителя! О, это упоение страсти, когда взору твоему представляли демоны, таившиеся в укрытии! Какая там философия, когда сомнение почиталось чудовищным прегрешением, толкуемым как поношение вечной любви, недоверием ко всему, что было славного, возвышенного, чистого и милосердного! — Мы по-новому окрасили предметы, мы непрестанно размалевываем их, — но куда нам тягаться с *великолепием красок* того старого мастера! — я имею в виду древнее человечество.

## 153

*Homo poeta.* — «Я собственноручно создал эту трагедию из трагедий, и вот она готова; я впервые завязал узел морали и так его крепко затянул, что только божество могло бы развязать его, — так думал Гораций. — Я сам теперь в четвертом акте низверг всех богов! Что же должно быть в пятом акте?! Откуда взять еще трагический конец! — Не подумать ли, может быть, о комической развязке?»

## 154

*Различная степень опасности жизни.* — Вам совершенно неизвестно, что вы переживаете, вы проходите жизнь как пьяные и временами падаете со ступеней. Но, благодаря вашему опьянению, ваши члены остаются невредимы: ваши мускулы слишком вялы и голова ваша слишком пуста для того, чтобы вы могли так же чувствовать камни этой лестницы, как мы, другие! Для нас жизнь — величайшая опасность: мы хрупки, как стекло, — горе, если мы *споткнемся*. И все погибло, если мы *упадем*!



## 155

*Чего нам недостает.* — Мы любим великую природу и открыли ее: вот почему у нас нет великих людей. Греки же, наоборот, имели к природе совершенно иное чувство, чем мы.

## 156

*Самый влиятельный.* — Если человек борется с окружающей жизнью, останавливает ее и требует отчета, он *должен* оказать на нее влияние! Хочет ли он этого, — безразлично; суть в том, что он может.

## 157

*Mentiri*<sup>1</sup>. — Смотрите: он задумался! он сейчас будет готов солгать. Это — одна из ступеней культуры, на которой стояли целые народы. Припомним только, что выражали римляне словом *mentiri*.

## 158

*Неудобное качество.* — Находить все вещи глубокими — это неудобное свойство: оно ведет к тому, что люди постоянно напрягают свое зрение и в конце концов всегда находят более, чем желали.

## 159

*Для всякой добродетели свое время.* — Кто в настоящее время непреклонен, у того искренность часто вырывает упреки совести: непреклонность и искренность принадлежат к добродетелям различных эпох.

## 160

*Отношение к добродетели.* — И по отношению к добродетели можно быть недостойным и льстецом.

## 161

*К баловням времени.* — Беглый жрец и выпущенный преступник постоянно делают гримасы: им хочется обладать таким лицом, на котором совершенно не было бы

---

<sup>1</sup> Ложь (лат.)

видно прошлого. — А видели ли вы таких людей, на лице у которых отражается грядущее и которые настолько любезны по отношению к вам, баловни «времени», что устраивают такую физиономию, чтобы на ней не было видно будущего?

## 162

*Эгоизм.* — Эгоизм — это *перспективный* закон ощущений, по которому все ближайшее кажется нам большим и важным, а с удалением все предметы теряют в величине и весе.

## 163

*После большой победы.* — Самое лучшее в значительной победе то, что она уничтожает у победителя боязнь поражения. «Почему бы хоть раз и не проиграть? спрашивает он себя: я теперь достаточно богат для того».

## 164

*Ищущие покоя.* — Я знаю людей, которые ищут покоя с помощью множества *темных* предметов, которыми они окружают себя: кто хочет спать, тот закрывает свою комнату или забирается куда-нибудь в темный угол. — Это относится к тем, кто не знает — хотя и мог бы знать, — чего собственно они больше всего ищут!

## 165

*О счастье отрицающего.* — Кто основательно и надолго отказался от чего-либо, тому при встрече с этим вновь кажется, что он сделал открытие, — и как счастлив всякий открывающий! Будем же умнее змей, которые слишком подолгу лежат при одном и том же солнце.

## 166

*Всегда в своем обществе.* — Все, что одинаково со мной, в природе и в истории, — говорит мне, хвалит меня, гонит меня вперед, радует меня, — другого я не слышу или тотчас забываю. Мы всегда в своем обществе.

## 167

*Мизантропия и любовь.* — О пресыщении людьми можно говорить лишь в том случае, если данный субъект не может более переваривать их и все-таки переполнил

ими желудок свой. Мизантропия — это следствие слишком жадной любви к людям и «человекообжорство», — но кто же велит тебе глотать людей, как устриц, бедный принц Гамлет?

## 168

*Об одном больном.* — «Он скверно себя чувствует!» — Что же ему нужно? — «Он страдает от желания быть любимым, и не находит удовлетворения». — Странно! Весь мир славит его, его носят не только на руках, но и на устах! — «Да, но у него плохой слух на похвалу. Если его хвалит друг, ему кажется, что этот друг хвалит само-го себя; хвалить враг, — ему кажется, что этот враг хочет, чтобы его за это похвалили; если его хвалит кто-нибудь из остальных — а их не так много, до такой степени он знаменит! — его мучит, что не хотят его иметь своим другом или врагом; он обыкновенно говорит: что мне за дело до того, кто может относиться ко мне беспристрастно!?».

## 169

*Открытые враги.* — Мужество перед врагом — дело особого рода, и обладатель его может все-таки проявить и трусость, и нерешительность. Так думал Наполеон относительно «самого мужественного человека», какого он знал, Мюрата: отсюда следует, что открытые враги для некоторых людей необходимы, если им надо подняться на высоту своей добродетели, мужества и веселости.

## 170

*С толпой.* — Он двигался до сих пор с толпой и был ее панегиристом; но в один прекрасный день он сделается ее противником! Ведь он следует за ней только из уверенности, что его слабость выиграет от этого: он еще не испытал, что толпа недостаточно слаба для него, что она не позволяет никому останавливаться! — И тогда он охотно отстанет!

## 171

*Слава.* — Если благодарность многих по отношению к одному перейдет всякие границы, возникает слава.

## 172

*Губитель вкуса.* — А: «Ты губишь вкусы, — так говорят всюду!» Б: «Конечно! Я у всякого отнимаю вкус к его партии: — этого не извинит мне ни одна партия».

## 173

*Быть глубоким и казаться глубоким.* — Кто сознает себя глубоким, тот трудится для света: кто хочет толпе показаться глубоким, тот старается для темноты. Толпа считает глубоким всякое явление, для которого не видит оснований: она так труслива и так неохотно идет в воду.

## 174

*В стороне.* — Парламентаризм, то есть открытое разрешение выбирать между пятью основными политическими мнениями, старается угодить тем многим, которые *оказываются* самостоятельными и индивидуальными и могут бороться за свои взгляды. Но в конце концов безразлично, повинуется ли толпа одному мнению, или допускаются все пять? — Кто уклонится от пяти общественных мнений и пойдет в сторону, тот всегда будет иметь против себя всю толпу.

## 175

*О красноречии.* — Кто до сих пор обладал самым убедительным красноречием? Барабанный бой: и пока короли будут иметь его в своей власти, они все будут лучшими ораторами и подстрекателями народа.

176<sup>1</sup>

*Сострадание.* — Бедные, горемычные властители! Все их права ныне внезапно обращаются в притязания, а все эти притязания вскоре предстанут в качестве непомерной гордыни! И стоит им лишь молвить «мы» или «наш народ», как ветхая и недобрая старуха Европа тотчас усмехается. Вероятно, обер-церемониймейстер нового мира предпочел бы с ними не церемониться; возможно, он даже издал бы указ: «Властители причисляются к выскочкам».

## 177

*К «вопросам воспитания».* — В Германии недостает высшему человеку одного важного воспитательного средства: насмешки высших людей, которые в Германии не смеются.

---

<sup>1</sup> Перевод Р. В. Грищенкова. В переводе А. Николаева § 176 отсутствует.





*Он двигался до сих пор с толпой и был ее панегиристом; но в один прекрасный день  
он сделается ее противником!*

## 178

*К выяснению моральных вопросов.* — Надо уговорить немцев расстаться со своим Мефистофелем и со своим Фаустом. Это два предрассудка в области моральных явлений по отношению к оценке познания.

## 179

*Мысли.* — Мысли — это тени наших ощущений, — только еще темнее, пустее и проще их.

180<sup>1</sup>

*Удачные времена для свободных умов.* — Свободные умы всюду сражаются с наукой за свои привилегии — и покуда еще добиваются их иногда, ибо Церковь — незыблема! Лишь вследствие этого нынешние времена являются для них удачными.

## 181

*Следовать и идти впереди.* — А: «Из двух этих лиц один постоянно будет следовать за кем-нибудь, а другой всегда сам пойдет впереди, куда бы судьба их ни повела. И все-таки первый из них и по своей добродетели, и по своему духу выше второго!» Б: «Так что же? все это говорится для других, а не для меня, не для нас! — *Fit secundum regulam*<sup>2</sup>».

## 182

*В одиночестве.* — Если человек живет одиноко, — он и говорит негромко, и пишет негромко: он боится пустого Эха — критики нимфы Эхо. И все голоса звучат иначе в уединении!

## 183

*Музыка лучшего будущего.* — Первым музыкантом для меня был бы тот, кто знал бы только тоску глубочайшего счастья, и никакой другой тоски: но такого музыканта до сих пор еще не появилось.

---

<sup>1</sup> Перевод Р. В. Грищенкова. В переводе А. Николаева § 180 отсутствует.

<sup>2</sup> Выполняется по правилу (*лат.*).

## 184

*Правосудие.* — Лучше быть обокраденным, чем окружать себя пугалами, — вот мой вкус. Но это, конечно, является исключительно делом вкуса, — не более.

## 185

*Бедный.* — Он сегодня беден: но не потому, что у него все отняли, а потому, что он сам все бросил: — так что ж? Он привык находить. — Бедны те, кто не понимает его добровольной бедности.

## 186

*Дурная совесть.* — Все поступки его отличаются честностью и не выходят из рамок дозволенного, и, однако, его совесть беспокойна, ибо задача его — совершить что-нибудь необычайное.

## 187

*Оскорбительная манера в способе изложения.* — Этот художник оскорбляет меня своей манерой выражать мысли, очень хорошие мысли: он обращается к вам с такими широкими, сильными, грубыми приемами убеждения, как будто он говорит перед чернью. Все то время, которое мы дарим его искусству, мы чувствуем себя «в дурном обществе».

## 188

*Труд.* — Как близки даже самым скромным из нас труд и работник! Королевское великодушие в словах: «Мы все — работники!» — считалось еще при Людовике XIV цинизмом и неприличием.

## 189

*Мыслитель.* — Он — мыслитель: это значит, он умеет понимать вещи проще, чем они есть.

## 190

*Против похвалы.* — А: «Похвалу получают только от себе подобных!» Б: «Да! И потому, кто тебя хвалит, тот говорит: ты похож на меня!»

## 191

*Против некоторых способов защиты.* — Самый вероломный способ повредить известному делу — это умышленно защищать его с помощью неверных доводов.

## 192

*Добродушие.* — Чем отличаются те добродушные люди, у которых из лица так и светит благоволение, от всех остальных людей? Они чувствуют расположение ко всякому новому лицу и быстро им увлекаются; вот почему они стремятся сделать ему что-нибудь хорошее, вот почему их первая мысль о нем: «оно мне нравится». У них сменяются друг за другом: желание усвоения (они мало интересуются ценностью другого), быстрое усвоение, радость, которую им доставляет новое приобретение, и работа на пользу лица, попавшего им во власть.

## 193

*В чем заключалось остроумие Канта.* — Кант хотел убедить всех самым неопровержимым образом в том, что прав «весь мир», — вот в чем скрывалось его остроумие. Он писал против ученых в пользу народных предрассудков, но писал он это для ученых, а не для народа.

## 194

*«Чистосердечный».* — Человек тот руководится всегда в своих поступках такими основаниями, о которых он умалчивает, ибо те основания, о которых он сообщает, у него всегда на языке и чуть не на ладони.

## 195

*В насмешку.* — Смотрите! Смотрите! он бежит *прочь* от людей, а они следуют за ним, потому что он бежит *перед* ними, — так похожи они на стадо.

## 196

*Границы нашего слуха.* — Люди слышат только те вопросы, на которые они в состоянии найти ответ.

## 197

*Поэтому осторожность!* — Ничем мы не делимся так охотно с другими, как секретом и тем, что за ним скрывается.



## 198

*Досада гордеца.* — Гордец досадует даже на тех, кто ведет его вперед: он злобно смотрит на лошадей своего вагона.

## 199

*Щедрость.* — Щедрость у богатых — это часто только вид застенчивости.

## 200

*Смех.* — Смеяться — значит злорадствовать, но злорадствовать с чистой совестью.

## 201

*Одобрение.* — В одобрении есть всегда известная шумливость, даже в одобрении, которым мы удостоиваем самих себя.

## 202

*Расточитель.* — Он еще не достиг убожества того богача, который уже пересчитал раз все свои сокровища, — он расточает свой ум с безрассудством расточительной природы.

## 203

*Hic niger est*<sup>1</sup>. — У него обыкновенно нет никаких мыслей, — но, как исключение, у него являются дурные мысли.

## 204

*Нищие и вежливость.* — «Нет ничего невежливого, если кто-нибудь стучит камнем в дверь, у которой нет ручки от звонка», — так думают нищие и всякого рода нуждающиеся; но никто не признает их правыми.

---

<sup>1</sup> Этот черен (лат.).

## 205

*Потребность.* — Потребность считается причиной явления: на самом деле она часто только результат возникающего факта.

## 206

*При дожде.* — Идет дождь, и я вспоминаю о бедных людях, которые толпятся теперь с своими многочисленными заботами, не пытаясь скрыть их; всякий готов по доброй воле сделать неудовольствие другому и даже при дурной погоде доставить себе хотя бы жалкими средствами возможность чувствовать себя в числе благоденствующих. — В этом и только в этом — нищета бедняков.

## 207

*Завистник.* — Это завистник, — ему нельзя пожелать детей; он станет им завидовать в том, что сам не может больше быть ребенком.

## 208

*Великий человек.* — Не всякий великий человек будет в то же время человеком вообще; он может оказаться мальчиком, или хамелеоном всех возрастов, или заколдованной женщиной.

## 209

*Особый способ спрашивать людей о тех основаниях, которыми они руководятся.* — Существует особый способ спрашивать о тех основаниях, которыми мы руководимся, — способ, при котором мы не только забываем о лучших своих основаниях, но еще и чувствуем, как в нас пробуждается недовольство и непокорность этим самым основаниям: при таких вопросах люди теряют свой разум, и такой способ является прямо-таки уловкой тиранов.

## 210

*Умеренность в усердии.* — Под страхом болезни не желай усердием превзойти своего отца.

## 211

*Тайные враги.* — Иметь возможность быть тайным врагом — это такая роскошь, для которой даже высокоодаренные умы обыкновенно недостаточно богаты.



*Это завистник, — ему нельзя пожелать детей; он станет им завидовать в том,  
что сам не может больше быть ребенком*

## 212

*Не следует поддаваться обману.* — Его ум отличается скверными манерами: он горяч и постоянно задыхается от нетерпения, так что с трудом можно представить, в какой глубокой душе он помещается.

## 213

*Путь к счастью.* — Мудрец спросил глупца, где дорога к счастью. Последний, не задумываясь, ответил, как будто бы его спросили о дороге к ближайшему городу: «Удивляйся самому себе и живи на улице!» «Постой, сказал мудрец, ты слишком много требуешь: достаточно удивляться самому себе!» Глупец возразил: «но как же можно постоянно удивляться и в то же время не презирать?»

## 214

*Вера дает блаженство.* — Добродетель только тем дает счастье и некоторое блаженство, кто имеет добрую веру в свою добродетель, — но не тем более нежным душам, добродетель которых заключается в глубоком недоверии к самим себе и ко всякой добродетели. В конце концов, и здесь «вера делает блаженным!» — но во всяком случае *не* добродетель!

## 215

*Идеал и вещество.* — Перед твоими глазами прекрасный идеал: но сам ты настолько ли хороший камень, чтобы можно было создать из тебя такой божественный образ? А без этого не будет ли вся твоя работа варварским искусством, поношением твоего идеала?

## 216

*Опасность со стороны голоса.* — С очень громким голосом люди почти не в состоянии думать о тонких вещах.

## 217

*Причина и действие.* — Перед действием обыкновенно предполагают другие причины, а не те, которые приводят, когда действие совершено.



## 218

*Моя антипатия.* — Я не люблю людей, которые, чтобы вообще произвести впечатление, должны с треском разрываться, как бомбы, и около которых всегда грозит опасность внезапно потерять слух, — и даже более.

## 219

*Цель наказания.* — Наказание имеет целью исправить того, *кто наказывает*, — это последнее прибежище для сторонников наказания.

## 220

*Жертва.* — О жертве и жертвоприношении жертвенные животные думают иначе, чем зрители: но об этом им не позволяют говорить.

## 221

*Пощада.* — Отцы и сыновья гораздо больше щадят друг друга, чем матери и дочери.

## 222

*Поэт и лжец.* — Поэт видит в лжеце молочного брата, у которого он выпил тайком все молоко; тот остался, благодаря этому, в нищете и вдали от доброй совести.

## 223

*Викариат чувств.* — «И глаза люди имеют для того, чтобы слышать, — говорил один духовный отец, который был глух, — и между слепыми есть король, имеющий самые длинные уши».

## 224

*Критика животных.* — Я опасюсь, что животные смотрят на человека, как на себе подобного, который крайне опасным образом потерял здоровый животный разум, — как на бешеное животное, как на смеющееся животное, как на плачущее животное, как на несчастное животное.

## 225

*Натуральность.* — «Зло само по себе всегда производит большой эффект! А ведь природа отличается злостью! Будемте же натуральными», — вот то заключение, к которому в тайниках своей души приходят все те, кто гонится за великими эффектами и которые слывут у человечества под именем великих людей.

## 226

*Недоверчивые и их стиль.* — Самые сильные вещи мы говорим гладким языком, когда предполагаем, что нас окружают такие люди, которые верят в нашу силу; — при таких условиях у нас воспитывается «простота стиля». Недоверчивые люди, наоборот, говорят сильно и употребляют сильные выражения.

## 227

*Неправильное заключение, промах.* — Он не может владеть собой, а потому, думает женщина, им легко можно будет управлять и набрасывает на него свою паутину: — бедная, она скоро станет его рабой.

## 228

*Против посредников.* — Кто хочет быть посредником между двумя решительными мыслителями, того самого придется считать посредственностью: он не в состоянии своим глазом воспринимать резко очерченные и одиноко стоящие фигуры; способность видеть повсюду равенство и сходство — признак слабости зрения.

## 229

*Упрямство и верность.* — Он из упрямства держится за вещь, вполне для него очевидную, — но называет это верностью.

## 230

*Недостаток молчания.* — Сам по себе он не производит никакого впечатления, вот почему он никогда не умолчал ни об одном своем хорошем поступке.

## 231

*«Основательные».* — Люди, туго приобретающие познание, думают, что медлительность — принадлежность знания.

## 232

*Сны.* — Во сне или ничего не видят, или видят что-нибудь интересное. Нужно научиться тому же и наяву: — или ничего, или интересное.

## 233

*Опаснейшая точка зрения.* — Все, что я теперь делаю или допускаю, для *грядущего* столь же важно, как самое важное событие прошлого: в этой бесконечной перспективе действий все поступки одинаково велики и ничтожны.

## 234

*Утешение музыканта.* — Твоя жизнь не дает отзвука в ушах людей: для них ты живешь немой жизнью, и вся нежность мелодии остается скрытой от них. Правда, ты не идешь по широкой улице с полковой музыкой, — но это еще не даст права людям говорить, что на твоём жизненном пути недостает музыки. «Кто имеет уши, тот слышит».

## 235

*Дух и характер.* — Один при помощи своего характера достигает высшей ступени из всех, ему доступных, а его дух остается далеко внизу; у другого наоборот.

## 236

*Как влиять на толпу.* — Разве не должен тот, кто хочет тронуть массу, разыграть самого себя? Не должен ли он перевести себя на нечто смешное и простое и в таком грубом и упрощенном виде *выложить* всю свою личность и содержание?

## 237

*Деликатность.* — «Он так деликатен!» — Да, у него всегда с собой кусок для Цербера, и он так труслив, что всякого считает Цербером, и тебя, и меня, — вот его «деликатность».

## 238

*Независтливый.* — Он совсем не завистлив, но в этом нет никакой заслуги, потому что он хочет завоевать страну, которой еще никто не обладал и которую едва ли кто видел.

## 239

*Недовольный.* — Одного недовольного человека достаточно, чтобы в целый дом внести продолжительное несчастье и мрак; будет чудом, если такого человека не окажется. Счастье давно уже не такая прилипчивая болезнь, — отчего?

## 240

*У моря.* — Я не стал бы строить себе дома (я счастлив тем, что не принадлежу к числу домовладельцев!). А если бы мне пришлось его строить, я, подобно некоторым римлянам, построил бы его у самого моря, и тогда я мог бы иметь много общих тайн с этим прекрасным гигантом.

## 241

*Произведение и художник.* — Этот художник честолюбив, — не более; его произведение в конце концов — только увеличительное стекло, которое он предлагает всякому, кто на него смотрит.

## 242

*Sunt siis que*<sup>1</sup>. — Жажда познания у меня велика: от вещи я беру только то, что мне нужно, — на все остальное я не претендую. Разве можно человеку быть вором или разбойником?

## 243

*Происхождение «хорошего» и «дурного».* — Совершенствуется только тот, кто умеет чувствовать: «это нехорошо».

## 244

*Мысли и слова.* — Люди не могут даже своих мыслей вполне выразить словами.

## 245

*Похвала в выборе.* — Художник выбирает свой материал: это его способ похвалить.

---

<sup>1</sup> Каждому свое (*лат.*).





*Я не стал бы строить себе дома (я счастлив тем, что не принадлежу к числу домовладельцев!). А если бы мне пришлось его строить, я, подобно некоторым римлянам, построил бы его у самого моря, и тогда я мог бы иметь много общих тайн с этим прекрасным гигантом*

## 246

*Математика.* — Мы хотели бы ввести во все науки тонкость и точность математики, насколько возможно, не из уверенности, что этим путем мы лучше узнаем вещи, а для того, чтобы *твердо установить* наше человеческое отношение к вещам. Математика только средство для общего и конечного человеческого знания.

## 247

*Привычка.* — Привычка набивает нам руку в остроумии, но притупляет наше остроумие.

## 248

*Книги.* — Что изложено в одной книге, не раз встречается нам и во всех.

## 249

*Вздох познающего.* — «О чрезмерная алчность моя! В душе этой нет места для самоотречения — напротив, там живет другое требовательное я, которое хотело бы воспользоваться многими лицами, как *своими* очами, *своими* руками, — то я, которое удерживает за собой все пережитое и не хочет ничего потерять из того, что ему могло бы вообще принадлежать! О, это чрезмерное пламя моей алчности! О, если бы я мог снова родиться в сотнях существ!» — Кто не знаком по личному опыту с таким вздохом, тому неведомы страсти познающего.

## 250

*Преступление.* — Несмотря на то что глубокомысленнейшие судьи ведьм и даже сами ведьмы были убеждены в существовании преступления колдовства, однако преступления не существовало. Так бывает и со всяким преступлением.

## 251

*Непонятый страдалец.* — Великие натуры страдают иначе, чем воображают это их почитатели: страдание им доставляют неблагоприятные, мелочные волнения, которые их посещают подчас, короче говоря, сомнения в своем собственном величии, — а не жертвы и мучения, которых требуют их цели. Пока Прометей имел сострадание к людям и жертвовал собой для них, он был счастлив и велик; но когда в нем пробуждалась зависть к Зевсу и к почету, который оказывали ему люди, — тогда он страдал!

## 252

*Лучше остаться в долгу.* — «Лучше остаться в долгу, чем платить такой монетой, на которой нет нашего изображения!» — так рассуждаем мы под давлением страсти к безграничному господству.

## 253

*Всегда дома.* — В один прекрасный день мы достигаем своей цели — и тогда гордо указываем на то, какой длинный путь мы прошли. В действительности мы не замечали этого пути. Мы оттого прошли так много, что в каждом месте воображали себя *как дома*.

## 254

*Против смущения.* — Кто всегда глубоко занят, тот выше всякого смущения.

## 255

*Подражатель.* — А.: «Как! Ты не желаешь последователей?» Б: «Я не желаю, чтобы после меня что-нибудь доделывали, — я хочу, чтобы всякий двигал что-нибудь дальше, — я именно это и делаю». А.: «Следовательно?»

256<sup>1</sup>

*Кожный покров.* — Глубокие натуры обретают для себя блаженство в уподоблении рыбам, резвящимся среди волн; в вещах они ценят превыше всего их исконное свойство — иметь поверхность: собственный кожный покров, — с позволения сказать (*sit venia verbo*).

## 257

*Из опыта.* — Некоторые не знают, насколько они богаты, пока не убедятся на опыте, как богатые люди могут еще оказаться ворами по отношению к ним.

## 258

*Отрицающие случайность.* — Ни один победитель не верит в случай.

---

<sup>1</sup> Перевод Р. В. Грищенкова. В переводе А. Николаева § 256 отсутствует.

## 259

*Из рая.* — «Добро и зло — предубеждения Бога», — сказал змей.

## 260

*Один на один.* — Один всегда неправ, но с двумя начинается истина. — Один не может доказывать; а двоих уже нельзя опровергнуть.

## 261

*Оригинальность.* — Что такое оригинальность? Это способность *видеть* нечто такое, что еще не имеет имени, еще не названо, хотя у всех перед глазами. Как обыкновенно бывает с людьми, имя впервые делает вещь видимой для них. — Оригиналы по большей части в то же время и давали название вещам.

## 262

*Sub specie aeterni*<sup>1</sup>. — А: «Ты все больше удаляешься от живых; скоро они совсем вычеркнут тебя из списков!» Б: «Это единственное средство участвовать в преимуществах мертвых». — А: «В каких преимуществах?» — Б: «Более не умирать».

## 263

*Без тщеславия.* — Если мы любим, нам хочется скрыть свои недостатки, — не из тщеславия, а для того, чтобы не страдало любимое существо. Да, любящий хотел бы казаться богом, — и тоже не из тщеславия.

## 264

*Что мы делаем.* — То, что мы делаем, никогда не будет понято, а всегда будет только предметом похвалы или порицания.

## 265

*Крайний скептицизм.* — Что такое в конце концов человеческие истины? — Это *неопровержимые* человеческие заблуждения.

---

<sup>1</sup> С точки зрения вечности (*лат.*).



## 266

*Где нужна жестокость.* — Тот, кто обладает величием, относится с жестокостью к своим добродетелям и второстепенным соображениям.

## 267

*При помощи великой цели.* — Преследуя великую цель, можно стать выше справедливости, но не выше своих деяний и своих судей.

## 268

*Что делает героем?* — Чтобы стать героем, надо одновременно идти навстречу своему величайшему страданию и своей высшей надежде.

## 269

*Во что ты веришь?* — В то, что ценности всех вещей должны быть заново определены.

## 270

*Что говорит твоя совесть?* — «Ты должен быть тем, кто ты есть».

## 271

*В чем для тебя величайшая опасность?* — В сострадании.

## 272

*Что ты любишь в других?* — Свои надежды.

## 273

*Кого ты называешь дурным?* — Того, кто всегда хочет пристыдить других.

## 274

*Что, по твоему мнению, самое человеческое?* — У всякого вызвать стыд.

## 275

*В чем залог достигнутой свободы?* — Не стыдиться более самого себя.



*Во что ты веришь? — В то, что ценности всех вещей должны быть заново определены*

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

### Sanctus Januarius

О ты, который пламенным копьем  
Разбил души моей обледенелой цепи,  
Чтобы, пылая, к морю понеслась она  
За высшею своей надеждой:

И вот, свободно исполняя долг любви,  
Час от часу становится она здоровей и светлее,  
И славословит чудеса твои,  
Прекрасный Януарий!

*Генуя, в январе 1882 г.*

#### 276

*К новому году.* — Я все еще живу, я все еще думаю: я еще должен жить, ибо я еще должен думать. *Sum, ergo cogito; cogito, ergo sum*<sup>1</sup>. Сегодня каждому позволяется высказать свое желание, свою любимейшую мысль: выскажу и я, чего мне хотелось сегодня добиться от самого себя, и выскажу ту мысль, которая в этом году первой запала мне па душу, — мысль, которая должна быть основой и усладой всей моей дальнейшей жизни! Мне хотелось бы еще больше приучить себя видеть в необходимости красоту, чтобы стать одним из тех, которые делают вещи прекрасными. *Amor fati*<sup>2</sup>: пусть чувство это будет знакомо и моей любви! Я не хочу вести борьбы с явлениями отвратительными. Я не хочу жаловаться даже на своих обвинителей. *Не обращать внимания* — вот акт, который должен быть единственным проявлением моего отрицания, а во всем остальном я, безусловно, всегда хочу отвечать согласием.

#### 277<sup>3</sup>

*Частное Провидение.* — Существует в жизни определенный высший рубеж, достигнув которого и отвоевав у пленительного *хаоса* бытия пекущийся о нас разум и доброта, мы со всеми свободами нашими подвергаемся вновь исключительной опасности — духовной несвободы — и должны быть готовы к самым тягостным испытаниям. Лишь тогда нас осеняет мысль о частном Провидении, и здесь лучшее подспорье нам — очевидность, так как лишь очевидность способна убедить в несомненном благе для нас вещей нам безразличных. Похоже, что самая жизнь ежедневно и ежедневно не имеет иного намерения, кроме как снова убеждать нас в этом положении: и даже не суть важно, о чем собственно идет речь — о хорошей или дурной погоде, об утрате друга, о болезни, о клевете, о задержке письма, о вывихе ноги, о посещении мелочной лавки, о контрдовах, об открытой книге, о сне, о жи, — все это тотчас или

<sup>1</sup> Существу, следовательно, мысля; мысля, следовательно, существу (*лат.*).

<sup>2</sup> Любовь к судьбе (*лат.*).

<sup>3</sup> Перевод Р. В. Грищенко. В переводе А. Николаева § 277 отсутствует.

немного времени спустя предстает в качестве того, чего «не могло не быть», — все это исполнено глубочайшего смысла и пользы, особенно *для нас*! Пожалуй, нет более искушающего соблазна, чем соблазн разувериться в богах Эпикура, неведомых и беззаботных, дабы уверовать в некое занудливое и суетливое Божество, великолепно осведомленное о самом крошечном волоске на нашей голове и готовое без зазрения совести потакать нам в самых отвратительных и недостойных капризах и причудах наших. Что ж, по крайней мере я высказал это, несмотря ни на что! Оставим же в покое богов, равно как и услужливых духов; попробуем удовлетворимся допущением, что наша собственная практическая и теоретическая сноровка в толковании и истолковании событий достигла ныне своего апогея. Но не следует чересчур превозносить нашу сноровистую мудрость, особенно если временами нас изумит поистине дивная гармония, рождающаяся при касании незримой длани к инструменту: слишком уж сладостна эта гармония, дабы мы дерзнули приписать ее творение себе. В действительности же с нами постоянно забавляется некто — наш загадочный дружок, случай: он всякий раз управляет нашей рукой, и даже наимудрейшее Провидение было бы не в силах сотворить более чудесной музыки, нежели та, коей дано было родиться из-под нашей незадачливой и неумной руки.

## 278

*Мысль о смерти.* — Для меня представляет меланхолическое счастье жить среди этой сутолоки улиц, потребностей, голосов: сколько наслаждения, нетерпения, стремлений, сколько жажды жизни и опьянения жизнью видно в каждый момент! Но все эти шумящие, живущие, жаждущие жизни скоро стихнут! За спиной каждого стоит его тень, его темный спутник! Все напоминает последний момент перед отплытием корабля в путешествие: людям хочется сказать друг другу больше, чем когда-либо; время летит; океан и его пустынная тишина нетерпеливо ждут своей жертвы, — ждут жадно и уверенно! И все, все думают, что то, что было до сих пор, — ничто или очень мало, а близкое будущее — все: оттого-то эта торопливость, этот шум, это самоглушение и самообман! Всякий хотел бы быть первым в этом будущем, — но только смерть и тишина могилы единственно ясное и всем общее из этого будущего! Как странно, что эта единственная очевидность и общность почти совсем не беспокоят людей и они *менее всего* чувствуют свое братство в смерти! Я счастлив, когда вижу, что люди вовсе не хотят думать о смерти! Я страстно желаю, чтобы им в тысячу раз была *дороже* мысль о жизни.

## 279

*Звездная дружба.* — Мы были друзьями и стали чужими. Но это именно так, и не будем скрываться и прятаться, как будто мы стыдимся этого. Мы — два корабля, у каждого своя цель и своя дорога; мы можем встретиться и вместе ликовать, как мы это сделали, — и тогда стоят смелые корабли в одной гавани и под одним солнцем так спокойно, что может показаться, будто они уже достигли цели и цель у них была общая. Но потом могучая сила наших стремлений вновь разлучила нас, направила



в различные моря и под другое солнце, и, может быть, мы никогда не увидимся более, — а может быть, и увидимся, но не признаем друг друга: различные моря и страны изменят нас! Мы должны стать чужими, этот закон *сильнее* нас: и потому-то нам следует быть более достойными! Потому-то мысль о нашей прежней дружбе должна быть для нас еще более священной! Вероятно, существуют огромные невидимые кривые линии и звездные пути, которые *охватывают* и наши столь различные дороги, и цели, как ничтожные тропинки, — попробуем подняться до такой мысли! Но наша жизнь слишком коротка, и сила нашего зрения слишком недостаточна, чтобы мы могли быть более чем друзьями в смысле этой высокой возможности. — Будем же *верить* в нашу звездную дружбу, хотя бы нам и пришлось на земле быть врагами.

## 280

*Архитектура познающего.* — Следует хоть однажды, и, вероятно, только однажды подумать, чего прежде всего недостает нашим большим городам: тихих и широких, просторных мест для размышления, мест с высокими и длинными залами, защищающими от дурной или слишком солнечной погоды, куда бы не доносился шум вагонов и крики и где утонченная благопристойность не позволяла бы даже священникам громкой молитвы: зданий и учреждений, которые как целое служили бы выражением величия самосознания и уединения. Миновало время, когда церковь обладала монополией мысли, когда *vita contemplativa* должна была быть прежде всего *vita religiosa*<sup>1</sup>: все, что воздвигла церковь, выражает именно эту мысль. Я не знаю, как могли бы мы удовлетвориться ее сооружениями, если бы они даже были освобождены от своего церковного назначения: эти здания говорят слишком патетическим и робким языком, как жилища Бога и блестящие места неземных отношений, для того чтобы мы, неверующие, могли отдаться здесь *своим мыслям*. Мы хотим *сами* превратиться в камень и растение, мы хотим гулять в *самих себе*, когда будем ходить по этим аллеям и садам.

## 281

*Умение идти до конца.* — Таланты первой степени отличаются тем, что они умеют идти до конца и в великом и малом, будь то конец мелодии или мысли, пятый акт трагедии или государственной деятельности. Выдающиеся люди второй степени всегда беспокоятся за конец и не опускаются с такой гордой и покойной соразмерностью в море, как, например, скала Portofino, там, где генуэзская бухта кончает свою мелодию.

## 282

*Походка.* — Есть манеры духа, в которых даже великие умы обнаруживают свое плебейское или полуплебейское происхождение, — ход и течение их мыслей выда-

---

<sup>1</sup> Жизнь созерцательная; жизнь религиозная (*лат.*).

ют их: у них нет походки. Так Наполеон, к своему глубокому огорчению, не мог идти царской, величественной походкой, где это требовалось, как при процессиях коронации и т. п.: он и тут всегда являлся только предводителем колонны. — гордый и спешащий, он сам сознавал это. Смешно смотреть на тех писателей, которые, как сборчатый покрывалом, окружают себя шумными периодами: они хотят этим закрыть свои ноги.

## 283

*Предтечи.* — Я приветствую всякий признак наступления более мужественного, более воинственного времени, которое вновь заставит людей почитать храбрость! Необходимо ведь подготовить путь еще более высокой эпохе и собрать силы, которые будут еще нужны, когда явится героизм знания и *поведет войну* за мысль и ее последствия. Но тут нужна подготовительная работа многих людей, которые, конечно, не могут явиться из ничего — а тем менее из песка и тины современной цивилизации и современного образования: нужны люди, которые умеют молча, одиноко, замкнуто быть довольными и неуклонными в невидимой деятельности; люди, которые по внутренней склонности ищут во всех вещах то, что в них нужно *одолеть*; люди, которым столько же свойственны ясность, терпение, прямота и презрение к великому тщеславию, сколько и великодушие в победе и снисхождение к мелкому тщеславию побежденных; люди с острым и свободным взглядом на всех победителей и на значение случая во всякой победе и славе; люди со своими праздниками и буднями, с собственными горестями, привычные и ясные в приказании и столь же готовые, когда нужно, повиноваться, и в том и в другом случае одинаково гордые, одинаково служащие своему собственному делу; люди более испытанные в опасности, более плодотворные, более счастливые люди! Ибо — поверьте мне — тайна довести жизнь до высшей ее производительности и взять от нее максимум наслаждения — это *жить в опасности*! Воздвигайте ваши города на Везувии! Отправляйте ваши корабли в неисследованные моря! Живите в войне с себе подобными и с самими собой! Будьте разбойниками и завоевателями, пока вы не будете господами и владетелями, вы, познающие! Скоро минет то время, когда вам можно было, подобно трусливым оленям, жить, скрываясь в лесах! Знание, наконец, протянет руки к тому, что ему подлежит: — оно захочет *господствовать и обладать*, и вы с ним!

## 284

*Вера в себя.* — Немногие люди вообще имеют веру в себя; — и из этих немногих одни пользуются ей, как полезным ослеплением или как некоторым затемнением своего ума — (что бы они увидели, если бы могли заглянуть в *глубину* самих себя!), другие стараются прежде заслужить ее; все, что они делают хорошего, дельного, великого, служит для них прежде всего аргументом против скептика, который живет в них: *его* нужно убедить или склонить, а для этого нужен чуть ли не гений. Это — люди с великой неудовлетворенностью собой.



*Ибо — поверьте мне — тайна довести жизнь до высшей ее производительности  
и взять от нее тахитит наслаждения — это жить в опасности!*

## 285

*Exelsior*<sup>1</sup>. — «Ты никогда не будешь больше молиться, никогда — поклоняться, никогда больше не успокоишься в бесконечной уверенности, — ты не захочешь снять покрывала с своих мыслей и остановиться перед последней мудростью, последним благом, последним могуществом — у тебя нет больше постоянного стража и друга для твоих семи уединений, — ты живешь, не взирая на вершину, которая несет снег на главе и огонь в сердце, — нет больше для тебя награждающего, нет, наконец, совершенствующего, — нет больше смысла в том, что совершается, любви в том, что делается по отношению к тебе, — для твоего сердца нет более места успокоения, где бы оно могло найти и не искать более, ты отвергнешь когда-нибудь последний мир, ты хочешь вечной смены войны и мира: человек отрицания, от всего ли ты хочешь отречься? Кто даст тебе силу для этого? Еще никто не обладал такой силой!» — Море заставили отступить, хотя оно и боролось когда-то, и там, где оно прежде плескалось, воздвигли плотину: с тех пор это море поднимается все выше. Может быть, именно то отрицание даст и нам силы, с которыми можно перенести самое отрицание; может быть, человек оттуда только начнет подниматься все выше и выше, где он не будет более *изливаться* в божество.

## 286

*Между строк.* — Здесь обитают надежды; но что вы увидите и услышите от них, если вы в своей собственной душе не переживали блеска и жара и утренней зари? Я могу только вспоминать — более я ничего не могу! Камни начинают двигаться, звери становятся людьми — этого ли хотите вы от меня? Ах, если вы еще камни и звери, поищите себе своего Орфея!

## 287

*Отрада в слепоте.* — «Мои мысли», говорил странник своей тени: «должны показать мне, где я стою: но они не должны показывать, куда я иду. Я люблю неизвестность в будущем и не хочу погибать от нетерпения и предвкушения обещанного».

## 288

*Возвышенные настроения.* — Мне кажется, что у большинства людей не хватает веры в возвышенные настроения, хотя бы на четверть часа или даже на минуту. Исключение представляют немногие, кто на опыте узнал большую продолжительность возвышенных чувств. Но быть человеком высоких чувств, воплощением единого великого настроения — это было до сих пор только мечтой и восхитительной возможностью; история еще не дала нам достаточно ясного образца в этом отношении. Тем не менее она создаст когда-нибудь и таких людей, — тогда, когда появится

---

<sup>1</sup> Выше (*лат.*).



и укрепится известная сумма благоприятных условий, каких не может теперь быть даже в самом счастливом случае. Быть может, для этих будущих душ будет обычным состоянием то, что до сих пор лишь изредка, как исключение, наполняло трепетом нас: постоянное движение между высоким и глубоким и чувство высокого и глубокого, как бы постоянное восхождение на ступени и в то же время пребывание на облаках.

## 289

*На корабли!* — Если вспомнить, как на каждого человека действует общее философское оправдание его образа жизни и мысли, — оправдание, в котором он видит согревающее, благословляющее, оплодотворяющее, ему только светящее солнце; солнце, независимое от похвалы и порицания, самодовольное, широкое, щедрое на счастье и благоволение, незаметно превращающее злое в доброе; солнце, заставляющее расцветать и созреть все силы и глотнуть мелкие и крупные плевелы скорби и неприятностей, — если принять все это в расчет, то в конце концов вы страстно воскликнете: О, если бы явилось еще много таких новых солнц! И злой, и несчастный, и человек-исключение должны иметь свою философию, свое доброе право, свой солнечный свет! Не сострадание здесь нужно! — Пора нам разучиться этим причудам великодушия, хотя мы на них до сих пор учились и выросли, — мы не можем предложить им исповедующих, заклинающих и прощающих грехи! Нужна новая *справедливость*! И новый лозунг! И новые философы! И моральная земля кругла! И мораль имеет своих антиподов! И антиподы имеют свое право на существование! Нужно открыть еще другой мир, — и даже более чем один мир! На корабли, о философы!

## 290

*Одно только нужно.* — Обработать в известном стиле свой характер — одно из великих и редких искусств! Только тот обладает им, у кого не ускользает от внимания ни одна из сильных и слабых сторон его природы и кто прилаживает и отделяет все свойства своего характера до тех пор, пока они не будут являться выразителями искусства и разума и пока даже самые слабости не приобретут известной привлекательности. Здесь слишком много одного, там недостает другого, а исправление всего этого требует продолжительной работы, которая должна происходить изо дня в день. Тут надо скрыть какой-нибудь недостаток, который никак не устранишь, там его истолковывать, как нечто возвышенное. Для дальновзорких приходится сохранить и извлечь много шаткого, не подходящего ни под какую форму, что служило бы намеком на ширь неизмеримую. Наконец, когда работа закончена, выясняется, насколько она находилась под давлением одного и того же вкуса, который властно накладывал свой отпечаток как на крупные стороны характера, так и на мелкие. Был ли вкус хорошим или худым, этому придется меньше значения, чем это думают, — достаточно того, чтобы налицо был единый вкус! — И только сильные, властолюбивые натуры в этом принуждении, в этой неводе, в этом процессе отделки самих себя по своему собственному закону будут вкушать свою самую утонченную радость; страсть

их могучей воли облегчается при взгляде на всякую выдержанную в известном стиле природу, на всякую побежденную и подчиненную природу; даже в тех случаях, когда им приходится возводить дворцы и разбивать сады, они и тогда и стараются не дать природе свободы. — Наоборот, характеры слабые, не владеющие собой, ненавидят те узы, которые налагает стиль. Они чувствуют, что под давлением этого ужасного принуждения они становятся *пошляками*, что, служа чему-нибудь, они сами становятся рабами, а потому им ненавистно служить. Люди, обладающие таким духом — а между ними встречаются индивиды, стоящие в первых рядах человечества, — стремятся представить и себя, и окружающую их обстановку *свободной* природой — дикой, произвольной, фантастической, беспорядочной, удивительной: и в этом их благо, ибо только таким путем они и могут сделать себе добро! Ибо одно только и нужно, чтобы человек был сам доволен собою, каким бы искусством или вымыслом он этого ни *достиг*: ведь только при таком условии и возможно выносить присутствие человека! Всякий недовольный собой готов мстить за это, и мы, остальные, становимся его жертвами, хотя бы уже потому, что мы должны всегда переносить его неприятный вид, а это делает нас самих дурными и мрачными людьми.

## 291

*Генуя.* — Я долго смотрел на этот город, на его виллы и сады, на обширную панораму, охватывающую его высоты и склоны, и должен был в конце концов сказать: да, я вижу *призраки* минувших поколений, эти отважные, самовластные люди повсюду наложили отпечаток своего духа. Они *отжили*, но они хотели продолжить свое существование дольше — это говорят они мне своими постройками, возведенными и украшенными на целые столетия, а не на текущий только час: для жизни они совершали только благое, себе же часто могли причинять зло. И часто я представляю себе, как этот строитель бросает свой взгляд на все эти ближние и дальние постройки, на город, море, линию гор, как в этом взгляде сказывалась вся сила и властность его натуры: все это он хочет подчинить *своему* плану и сделать в конце концов своею *собственностью*. Вся страна покрыта доказательствами того великолепного ненасытимого эгоизма, который сказывался в этой страсти к приобретению, к добыче; всю даль и ширь эти люди считали для себя безграничной и в своей жажде к новому воздвигали новый мир рядом со старым: вот почему даже у себя на родине они восставали друг против друга, находили способ выразить свое превосходство и положить между собой и своим соседом все бесконечное разнообразие своей личности. Каждый хотел овладеть своей родиной только для себя, побеждая ее своей архитектурной мыслью и в то же время пересоздавая ее так, чтобы она оттеняла то роскошное зрелище, которое представляло его жилище. На севере, когда вы смотрите на городские постройки, то вам импонирует закон и всеобщая готовность послушно подчиняться предписаниям этого закона; и невольно натакиваешься на мысль, что все эти строители должны были подходить под один духовный масштаб. Здесь же в каждом углу ты находишь человека самостоятельного самого по себе, который знаком с морем, приключениями и востоком, человека, на которого закон и сосед его навевает неприятное чувство скуки, у которого во взоре нет и признака зависти, когда он смотрит на то, что было построено, основано раньше. Он мог бы при помощи своей изумитель-

ной фантазии все это, по крайней мере в мыслях, еще раз вновь основать, на все наложить свою руку, во все внести свой смысл, — хотя бы вся работа его просуществовала только один миг того солнечного вечера, когда его ненасытимая и меланхолическая душа чувствует некоторое удовлетворение, и нее окружающее должно казаться ему его собственностью, а не чем-то чуждым.

## 292

*Проповедникам морали.* — Я не хочу проводить в жизнь никакой морали, но проповедникам ее я подам следующий совет: если вы хотите, чтобы лучшие предметы и состояния находились в полном почете, то продолжайте держать их у себя на устах, как это вы делали до сих пор! Выставьте их в своей моральной системе на самый вид и с утра до позднего вечера говорите о счастье, добродетели, о покое души, о справедливости и о постоянной награде. По мере того как вы это будете делать, все эти прекрасные вещи приобретут популярность и шумливое одобрение толпы. Но в то же время вы лишите их золота и даже более: все золото в них превратится в свинец. Поистине, вы проявите тогда искусство, которое дает результаты, обратные результатам алхимии: вы сумеете обесценить дорогие предметы. Попробуйте теперь последовать другому рецепту для того, чтобы не получать, как это было до сих пор, обратных результатов с тем, к чему вы стремитесь. Пустите *ложь* о тех прекрасных вещах, постарайтесь сделать так, чтобы чернь не могла им дать своего одобрения, закройте им возможность к легкому обращению, сделайте их скрытым достоянием отдельных душ, говорите: *мораль должна представлять из себя нечто запретное*. Быть может, вы привлечете тогда известный род людей к этим — по-моему, героическим — предметам, которым должно соответствовать и нечто исключительное. Но тогда в них должно быть и нечто страшное, а не отвратительное, как это было до сих пор! Разве не вправе мы сегодня употребить по отношению к морали выражение Мейстера Экхарта: «Я заклинаю Бога, чтобы Он сделал меня свободным от Бога»?<sup>1</sup>

## 293

*Наши воздух.* — Нам прекрасно известно следующее: всякий, кто только мимоходом бросит взгляд на науку, как это делают женщины и, к сожалению, многие художники, — найдет, что вся та строгость, с которой она исполняет возложенные на нее обязанности, вся та неумолимая стойкость, которую она проявляет как в большом, так и в малом, вся та быстрота, с которой она взвешивает, судит и приговаривает, — заключает в себе нечто головокружительное и страшное. Именно страшно смотреть, что самые тяжелые требования, при наилучшем исполнении, не вызывают ни похвалы, ни одобрения, а скорее высказывают громко только выговоры и порицания, как у солдат. В самом деле хорошее исполнение здесь считается правилом, дурное — исключением, а у правила ведь всегда бывают замкнутые уста. Эта «строгость

<sup>1</sup> Окончание § 292 дается в переводе Р. В. Грищенко, поскольку отсутствует у А. Николаева.

науки» совершенно так же запугивает непосвященного, как утонченные формы обращения в отборном обществе. Но тот, кто привыкнет к ним, нигде уже больше не захочет жить, как в этой светлой, прозрачной, здоровой, сильно наэлектризованной атмосфере, среди этого *мужского* воздуха. Ему повсюду будет мало воздуха, повсюду недостаточно чисто; он будет подозревать, что самое лучшее искусство его *там* никому не принесет настоящей пользы, что, благодаря своему непониманию, он полжизни пропустил сквозь пальцы, что беспрерывно требуется так много осторожности, скрытности и сдержанности — и что все это только большая и бесполезная потеря силы! Но он чувствует в *этом* сильном и ясном элементе свою силу: здесь он может летать! Зачем спускаться ему в те мутные воды, где приходится плавать и барахтаться и испортить окраску своих крыльев! — Нет! Нам слишком трудно жить: что готовы были бы дать мы — соперники светового луча — для того, чтобы быть рожденными для воздуха, для чистого воздуха и чтобы лететь, подобно этому лучу, на пылинках эфира, но только не прочь от *солнца*, а прямо к нему! Но это для нас невыносимо, а потому мы удовлетворимся единственно для нас возможным: нести свет земле, «быть светочем» земли! И вот для этого нужны нам наши крылья, наше проворство и наша суровость, вот ради этого мы мужественны и страшны, как огонь. О, если бы боялись нас те, кто не умеет воспользоваться ни нашим светом, ни нашим теплом!

## 294

*Клеветникам природы.* — Мне всегда неприятны те люди, у которых всякая естественная склонность становится тотчас же болезнью, уродством и даже чем-то позорным, — *они-то* нас и наводят на мысль, что человек обладает только дурными склонностями и потребностями; *они-то* и являются причиной нашей великой несправедливости по отношению к нашей природе, по отношению ко всей природе! А между тем существует немало людей, которые *должны* были бы свободно и спокойно отдаваться своим потребностям; но они не делают этого из страха пред тем измышлением, которое говорит, что природа *в своей сущности* представляет нечто *злое*! Вот почему мы встречаем среди людей так мало благородства, которое всегда должно обладать следующими признаками: не питать к себе никакого страха, не ждать от себя ничего постыдного и лететь без размышления туда, куда нас, свободных птиц, гонит потребность наша! И куда бы мы тогда ни прилетели, мы будем на свободе, мы будем утопать в солнечном свете.

## 295

*Привычка на короткий срок.* — Я люблю те привычки, которые устанавливаются на короткий срок, и считаю их неоценимым средством для того, чтобы ознакомить человека со многими предметами и состояниями и ценить до дна всю сладость и горечь их: моя природа вполне приспособлена к таким коротеньким привычкам даже в тех потребностях, которые предъявляются ей физическим здоровьем, да вообще во всем, куда только может проникнуть мой глаз: от самых низших до высших моих качеств. Я всегда думаю, что именно эта особенность моей природы и сохранит меня





*Поистине, вы проявите тогда искусство, которое дает результаты, обратные результатам алхимии: вы сумеете обесценить дорогие предметы*

на продолжительное время довольным, — ведь и короткая привычка обладает верой страсти, верой в вечность: я нашел и познал ее, и в этом люди должны завидовать мне. В полдень или вечером нисходит на меня глубокое довольство собою, и мне уже нет охоты гнаться за чем-нибудь иным, ибо мне тогда пришлось бы сравнивать, презирать, ненавидеть. Но вот наступила пора, и прекрасный предмет отделяется от меня, не внушая мне отвращения, — но спокойный, столь же насыщенный мной, как и я им; мы оба довольны друг другом и простираем друг другу руки на расставании. А у дверей меня ждет уже нечто новое, и вот я снова верю, что эта новинка и будет правой, окончательно правой. Все это повторяется у меня относительно пищи, мыслей, знакомств, городов, поэзии, музыки, ученых произведений, распорядка дня, образа жизни. — Напротив, я ненавижу те привычки, которые затягиваются на продолжительное время. Мне кажется, что ко мне приближается тиран, и воздух, которым я живу, становится гуще всякий раз, когда обстоятельства так складываются, что привычки, связывающие меня на большой срок, вырастают, по-видимому, в силу необходимости: например, когда приходится служить, находиться долго в общении с одними и теми же людьми, постоянно жить в одном месте, сохранять одно и то же состояние здоровья. Да, в самой глубине души я всегда был признателен всем своим немощам и болезням, всему, в чем сказывалось мое несовершенство: ведь только благодаря им у меня остались сотни задних дверей, через которые я могу скрыться от затяжных привычек. — Но, конечно, невыносимой, собственно даже ужасной, показалась бы мне жизнь, лишенная всяких привычек, жизнь, которая представляла бы из себя непрерывную импровизацию. Это была бы для меня не жизнь, а ссылка, Сибирь.

## 296

*Слава постоянного человека.* — Обладать славой постоянного человека в прежнее время было чрезвычайно полезно. Да и всюду, где только общество находится под властью стадных инстинктов, и теперь еще для отдельных лиц чрезвычайно целесообразно выдавать свой характер и свои свойства за нечто неизменное, — даже в том случае, если они в сущности таким постоянством и не обладают. «На него можно положиться, он всегда один и тот же», — вот высшая похвала, которую может высказать общество в любом опасном положении. Общество чувствует себя удовлетворенным, когда имеет преданное, готовое в каждый момент орудие в добродетели одного, в честолюбии другого, в мыслях и страстях третьего. Оно оказывает высшую почесть этим *служебным натурам*, этой верности, неизменности во взглядах, стремлениях и даже пороках. Такая оценка, которая процветает повсюду, где только имеет место общепринятая нравственность, воспитывает «характеры и выставляет в дурном свете всякую попытку к переменам и к усвоению новых взглядов и привычек. Но какие бы выгоды ни представлял такой образ мышления, *для познания* он является самым дурным способом обыкновенного суждения, ибо прекрасное стремление познающего смело высказываться *против всякого* своего прежнего мнения и недоверчиво относиться ко всему, что у нас стремится достигнуть *прочности*, — считается здесь предосудительным и порицается. Настроение познающего, ввиду того что оно находится в противоречии с требованиями постоянства, *не в чести* у общества, а взгляды

окаменелые пользуются особым почестом: и вот под властью подобной оценки мы и должны жить в настоящее время! Как тяжело живется, когда приходится чувствовать против себя и вокруг себя суждения многих тысячелетий! И в течение многих веков познание, вероятно, не обладало покойной совестью, и в истории людей, великих духом, должно быть, много презрения к себе и тайного горя.

## 297

*Умение огрызаться.* — Всякий знает теперь, что умение сдерживать себя, когда вам противоречат, является высоким признаком культуры. Иным даже известно, что более развитые люди желают услышать что-нибудь такое, что противоречило бы их взглядам, и вызывают такое противоречие для того, чтобы получить прямое указание на те неправильности, которые до сих пор от них ускользали. Но умение огрызаться, способность сохранять спокойную совесть, в то время как вы полны неприязни против обычаев, преданий, всего освященного, — еще выше и собственно представляет величие, новшество, чудо нашей культуры, шаг из всех шагов освобожденного духа: кому это ведомо?

## 298

*Вздох.* — Мимоходом уловил я эту мысль, и быстро ухватился за первые попавшиеся, хотя и неудачные, слова, чтобы закрепить ее для того, чтобы она опять у меня не улетучилась. И замерла она у нас при этих тощих словах, и висит, и качается в них, — и, глядя на нее, я не понимаю: как удалось мне поймать эту птицу?

## 299

*Что следует нам перенять у художников.* — Какими средствами мы располагаем для того, чтобы сделать предметы прекрасными, привлекательными, желанными, если в действительности они не таковы? — А таковыми они, по-моему, никогда и не бывают! Тут кое-чему мы можем поучиться от врачей, когда они, например, разводят горькое лекарство водой или прибавляют в микстуру вина и сахара; но еще больше в этом отношении дают художники, которые собственно непрерывно тем и заняты, чтобы вырабатывать подобные приемы. Удалиться от предметов на такое расстояние, при котором многое в них становится недоступно нашему глазу, или приходится усиленно присматриваться для того, чтобы их можно было все-таки видеть; смотреть на предметы под известным углом или так поставить их, чтобы они доступны были нашему зрению лишь отчасти и только в перспективе; рассматривать их через цветные очки или в свете утренней зари; завернуть их в полупрозрачную оболочку. Всему этому мы должны научиться от художников, а во всем остальном быть мудрее их. Ибо у них тонкого чутья как раз не хватает обыкновенно там, где прекращается искусство и начинается жизнь; мы же хотим быть поэтами своей жизни, и прежде всего в самых мелких и повседневных явлениях ее.

300<sup>1</sup>

*Прелюдии науки.* — Можете ли вы поверить в то, что науки могли бы явиться на свет божий и так развиваться, когда бы им не предшествовали кудесники, алхимики, астрологи и ведьмы, появившиеся куда ранее и своими предсказаниями и хитроумнейшими уловками сподобившиеся вызвать первичную жажду и потребность к обладанию *тайными* и *запретными* силами? Тем более что *предсказать* следовало значительно больше того, что могло быть когда-либо исполнено, — лишь тогда вообще могло что-то состояться. *Вполне вероятно*, что, подобно тому, как *нами* воспринимаются сегодня прелюдии и предварительные экзерсисы науки, хотя, с точки зрения непосредственных творцов, они и *не* считаются таковыми, так и грядущая эпоха, соответственно, воспримет самую *религию* — как некое диковинное средство, вручаемое каждому отдельному человеку, дабы он мог вполне восчувствовать все самодовольство и силу самоискупления неведомого Бога. Да! — спрашивается: а научился бы человек без этой религиозной школы и соответствующей подготовки вообще испытывать неутолимую жажду и голод по самому себе и полностью удовлетворять их *собственными силами*? Неужели Прометею *надлежало* вначале грезить о *похищении* огня, за что он и понес заслуженную кару, и лишь потом осознать, что он сам *сотворил свет* уже в тот самый миг, когда *возжелал* света, и что не только человек, но даже сам *Бог* явился *творением* его рук и податливой глиной в его руках? Так что же, это всё лишь образы Творца? — все грезы, похищение, Кавказ, коршун, равно как и вся трагическая прометейя постигающих знание?

## 301

*Заблуждение натур умозрительных.* — Высшие люди отличаются от низших тем, что они невыразимо больше и видят, и слышат, достигая этого при помощи мыслительного процесса: — тем же самым отличается человек от животного, а высшие животные от низших. Мир полнее всегда для того, кто растет ввысь человечества; он чаще клюет на те приманки, которые забрасывает ему жизнь; он становится доступен все большему и большему количеству возбуждений; а вместе с тем возрастает и число его радостей и огорчений, — чем развитее человек, тем он счастливее и несчастнее в одно и то же время. Но неизбежным спутником его при этом является заблуждение: он мнит себя *слушателем* и *зрителем*, перед которым разыгрывается великая пьеса, и пьеса эта — жизнь. Он считает свою природу *умозрительной* и не замечает того, что сам-то он собственно также творец жизни, — что он, конечно, очень отличается от *актера* этой драмы, так называемого делового человека, но еще больше у него различия с простым наблюдателем, зевакой *перед* сценой. — Как творцу, ему, конечно, свойственна *vis contemplativa*<sup>2</sup> и он умеет оглядываться на то, что он делал, но он обладает в то же время и прежде всего *vis creativa*<sup>3</sup>, которой *не достаёт* человеку деловому, на что указывает и самый вид его, и его чрезмерная доверчивость. Мы же, люди, способные ощущать свои мыслительные процессы, вносим постоянно

<sup>1</sup> Перевод Р. В. Грищенкова. В переводе А. Николаева § 300 отсутствует.

<sup>2</sup> Созерцательная сила (лат.).

<sup>3</sup> Творческая сила (лат.).





*Как тяжело живется, когда приходится чувствовать против себя  
и вокруг себя суждения многих тысячелетий!*

в действительность нечто такое, чего еще там не было; нам обязан своим ростом мир оценки, красок, веса, перспективы, шкалы, утверждения и отрицания. Все наши мечты мало-помалу разучиваются, усваиваются, переносятся в кровь и в плоть и в самую повседневную жизнь так называемыми людьми практики (актерами, как мы их называли). Всякая *оценка* какого бы то ни было предмета явилась не сама по себе — ибо природа не знает ценностей, — а обязана своим появлением нам, придавшим этой вещи известную ценность! Мы создали мир, *который хоть сколько-нибудь достоин человека!* — Но нам остается этот факт прямо-таки неизвестным, и если нам удастся уловить эту мысль на одно мгновение, то мы тотчас же снова забываем о ней: мы несправедливо судим о лучшей нашей силе и даем себе, умозрителям, слишком низкую оценку. *Гордость и счастье наше* могли бы быть выше того, чем мы сейчас обладаем в этом отношении.

## 302

*Опасность для человека, отличающегося особым счастьем.* — Иметь тонкие чувства и тонкий вкус; смотреть на избранные и лучшие стороны духа, как на что-то привычное и легко доступное; наслаждаться проявлениями сильной, отважной, неустрашимой души; твердо и спокойно совершать свой жизненный путь, идя всегда с готовностью на всякую крайность как на праздник и чувствуя жажду к неоткрытым мирам и морям, людям и богам; прислушиваться ко всякой веселой музыке, как будто бы там храбрые мужи, солдаты, моряки предаются короткому отдыху и наслаждению, и в глубочайшем наслаждении моментом чувствовать себя подавленным слезами и грустью счастливого человека: кто не хотел бы, чтобы все это было *его* достоянием, кто не хотел бы всего этого пережить? Это было бы *счастье Гомера!* Состоянием того человека, который открыл грекам их богов, — нет, себе самому *своих богов!* Но не скрывайте от себя: вместе со счастьем Гомера в душе появляется также существо, наиболее склонное к страданиям из всех, когда-либо бывших под нашим солнцем! И только за такую цену можно приобрести самую дорогую из всех раковин, которые когда-либо выбрасывались волнами бытия на берег! Всякий обладатель ею становится постоянно все восприимчивее и восприимчивее к боли и, наконец, достигает в этом отношении крайних пределов: небольшого уныния и брезгливости достаточно было для того, чтобы отбить у Гомера всякую охоту к жизни. Он не мог отгадать глуповатой загадки, заданной ему молодым рыбаком! Да, небольшие загадки представляют опасность для самых счастливых людей!

## 303

*Два счастливица.* — Правда, один из них, несмотря на свои молодые годы, умеет *импровизировать жизнь* и приводит в изумление даже самого тонкого наблюдателя: именно, кажется, что, даже в самой опасной игре, он не сделает никогда ни малейшего промаха. Невольно приходит на ум импровизатор, которому слушатель готов приписать божественную *непогрешимость* рук, хотя эти самые руки то тут, то там делают такие же промахи, как и у всякого другого смертного. Но эти руки оказываются

настолько привычными и находчивыми, что в мгновение ока приспособляют к теме тот случайный звук, который был вызван к жизни невольным и быстрым движением пальца или мимолетным настроением, и таким приемом вкладывают прекрасный смысл и душу в случайное явление. — Но есть еще человек совершенно особого рода: ему решительно ничего не удастся из задуманного и намеченного. Случайное, сердечное влечение уже привело его раз к бездне и чуть не погубило совсем; и если он избег на этот раз гибели, то во всяком случае обошлось ему это недаром. Но думаете ли вы, что все это делает его несчастным? Он далеко не считает свои желания и свои планы столь важными. «Если мне не удастся одно, — говорит он себе, — то, быть может, удастся другое, и в общем я не знаю, не следует ли мне чувствовать больше благодарности к своим неудачам, чем к какой-нибудь удаче? Разве я для того создан, чтобы быть упрямым и носить рога скота? То, что представляет ценность и задачу моей жизни, лежит где-то в другом месте; моя гордость и мое убожество также не здесь. Я больше ознакомился с жизнью именно благодаря тому, что мне часто грозила опасность потерять ее, и именно потому-то у меня и больше жизни, чем у вас, всех остальных!»

## 304

*Что сделано, то в сторону.* — Я в сущности против всякой морали, которая говорит: «Не делай того-то! Откажись! Пересиль себя!» — Напротив, я вполне сочувствую всякой морали, которая побуждает меня сделать что-нибудь и снова опять делать и делать, с утра до вечера мечтать и думать только о том, как *хорошо* мне было бы сделать это! Кто живет подобной жизнью, от того одно за другим отпадает все, что не имеет отношения к этой жизни: без ненависти и протеста он смотрит, как сегодня от него отходит одно, завтра другое, подобно пожелтевшим листьям, которые срываются с дерева при каждом порыве ветерка; или он даже и не замечает, что совершается подобное отпадение, так строго устремлен его взор к его цели и вообще вперед, а не назад или куда-нибудь в сторону. «Деятельность наша указывает на то, что нам следует оставить: что сделано, то в сторону», — вот положение, которое мне вполне по душе, которое представляет *мое placitum*. Но я не хочу с открытыми глазами стремиться к своему обеднению, я не желал бы всех отрицательных добродетелей, сущностью которых является отрицание и самоотречение.

## 305

*Самообладание.* — Все почитатели такой морали, которая прежде всего и строже всего приказывает человеку держать себя в руках, приносят с собой особого рода болезнь: именно человек, находящийся под властью такой морали, постоянно чувствует известное раздражение против всякого естественного движения, против всякой естественной склонности; получается что-то вроде зуда. Все, что его может в этом направлении толкать, привлекать, восхищать, поощрять — все подобные внутренние и внешние импульсы, — всегда кажутся этому раздражительному человеку опасными для его самообладания: он не должен больше доверять никакому инстинкту, ни одному свободному взмаху крыльев, но находится беспрерывно в состоянии самообо-



роны, быть настороже против самого себя, недоверчиво вглядываться своим острым взором, быть вечным сторожем своей крепости, которую он для себя сделал. Да! вместе с тем он может быть и *велик*! Но насколько невыносимым он становится для других, как тяжело ему переносить самого себя, как скудна теперь его жизнь всякими прекрасными случайностями души! Да и всеми дальнейшими *поучениями*! Ведь тому, кто думает заимствовать от чуждых ему элементов, а не от самого себя, придется рано ли, поздно ли погибнуть.

## 306

*Стоик и эпикуреец.* — Эпикуреец подыскивает себе такие положения, таких лиц и даже такие события, которые подходили бы к его чрезмерной интеллектуальной раздражительности, а от остального — то есть большинства явлений и предметов нашего мира — он отказывается, ввиду того что остаток этот будет для него слишком сильной и слишком тяжелой пищей. Стоик, напротив, занимается глотанием камней и червей, битых стекол и скорпионов и не чувствует к этим упражнениям никакого отвращения; желудок его, наконец, становится совершенно равнодушным ко всему, что только случай заблагорассудит в него всыпать. Он напоминает ассауа, одну арабскую секту, которую ученые наблюдали в Алжире, и подобно этим нечувствительным людям охотно показывает свою нечувствительность перед публикой, в которой эпикуреец совершенно не нуждается, — у него ведь свой «сад»! Стоицизм можно порекомендовать людям, над которыми судьба проделывает самые неожиданные штуки, для тех, кто живет в сильное время и ни в чем не зависит от людей непостоянных и неустойчивых. Но кто до известной степени не обращает внимания на то, что судьба позволяет ему выткать *только одну длинную нить*, тот охотно отдается эпикуреизму; все люди, способные к духовной работе, поступали так до сих пор! Для них самой страшной потерей было бы лишиться своей тонкой раздражимости и променять ее на твердую кожу стоиков, у которых она, как у ежа, покрыта иглами.

## 307

*В защиту критики.* — В настоящее время заблуждением тебе кажется нечто такое, что раньше ты любил выставять за истину или считал правдоподобным: ты отталкиваешь от себя эти взгляды и думаешь, что твой разум одержал в этом отношении победу. Но, быть может, то заблуждение, которого ты придерживался, когда был иным человеком — а ведь изменяешься ты постоянно, — было так же необходимо для тебя, как и все твои теперешние истины; быть может, оно так же имело значение кожи, которая скрывала и припрятывала от тебя много такого, чего ты не должен был еще видеть. Новая твоя жизнь отняла у тебя известный взгляд, а не разум; эта мысль тебе уже более не нужна, но ты несешь ее с собой, и только неосновательность ее выплзает из нее, как червь, на свет. Когда мы подвергаем что-нибудь критике, то это еще не значит, что мы прибегаем к чему-нибудь произвольному и безличному, — напротив, критика очень часто обнаруживает в нас те живые силы, которые скрывает струп. Мы отрицаем и должны отрицать, ибо нечто живет в нас и *хочет* получить для





*Все почитатели такой морали, которая прежде всего и строже всего приказывает человеку держать себя в руках, приносят с собой особого рода болезнь...*

себя подтверждение, а это нечто, пожалуй, мы еще не знаем, мы еще не видим! — Вот что можно сказать в защиту критики.

## 308

*Обыкновенная история.* — Что приносит тебе история каждого дня? Взгляни на свои привычки, из которых она складывается: разве они не представляют из себя бесчисленных признаков мелкой трусости и лени или же мужества и изобретательного разума? Как ни различны оба эти положения, все-таки может произойти так, что люди в обоих случаях отнесутся к тебе с одинаковой похвалой и что ты в действительности все равно принесешь им одинаковую пользу. Но похвала, польза, уважение — все это может удовлетворить лишь того, кто хочет иметь добрую совесть, а не тебя, *знающего уже кое-что и о самой совести!*

## 309

*Из седьмого уединения.* — Однажды захлопнул путник за собою дверь, остановился и заплакал. Затем он сказал: «постоянная эта погоня за истиной, действительностью, совестью! Как все это раздражает меня! Зачем преследует меня это мрачное и страстное возбуждение? Без него я мог бы успокоиться! Но сколько соблазнов для того, чтобы не медлить! Повсюду раскинулись для меня Армидовы<sup>1</sup> сады: и вот сердце снова и снова рвется и обливается горечью! Я должен и дальше поднять ногу, эту усталую, израненную ногу: а раз я должен, то и бросаю я гневные взоры на все те красоты, которые не могли меня удержать, — *за то, что* они не могли меня удержать!»

## 310

*Волна и воля.* — С какою жадностью наступает волна эта, как будто ей нужно здесь чего-то добиться! С какою поспешностью, возбуждающей в вас ужас, заползает она в самые укромные уголки скалистого ущелья! Так и кажется, что она хочет предупредить кого-то, что здесь скрывается какое-то сокровище, обладающее высокой ценностью. — И вот она отступает, все медленнее и медленнее и совершенно белая от возбуждения. — Обманулась ли она в своих ожиданиях? нашла ли она то, что искала? Но вот приближается вторая волна с еще большей жадностью, с еще большей дикостью, чем первая, и кажется, что душа ее полна тайн, преисполнена страстного желания отыскать свое сокровище. Так живут волны, так живем мы, волнуемые желаниями! — я больше не скажу ни слова. — Как? Вы не доверяете мне? Вы, прекрасные чудовища, сердитесь на меня? Бойтесь, чтобы я не выдал вашей тайны? Ну что же! Сердитесь, поднимайте свои страшные зеленые тела ввысь так далеко, как только вы

---

<sup>1</sup> Ницше имеет в виду сад волшебницы Армиды, героини поэмы Торквато Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим» (1580). Армида переносит в этот сад своего возлюбленного, Ринальдо.

можете это сделать, воздвигните стену между мною и солнцем, — как теперь! Правда, во всем мире нет ничего такого, что было бы столь лишним, как зеленый сумрак, как зеленые молнии. Поступайте же вы, надменные существа, как хотите, ревите от восторга и злости, — или скройтесь снова под поверхностью, высыпьте свои изумруды в глубину, набросьте на нее свою бесконечную белую пелену из накипи и шипучей пены, — мне все равно, ибо все это вам к лицу, да и я так похож на вас во всем: как же я буду изменять вам! Слушайте же — я знаю вас, я знаю вашу тайну, ваш род! Мы — я и вы — принадлежим к одному роду! У меня и у вас одна общая тайна!

### 311

*Преломленный свет.* — Никто не в состоянии оставаться постоянно мужественным, и в моменты усталости поднимаются у нас такие горькие думы: «тяжело причинять людям горе — и зачем? К чему нам замкнутая жизнь, если мы не хотим сохранить для себя того, что дается нам горем? Разве не расчетливее было бы жить на людях и каждому потворствовать в его недостатках? Безумие проявлять с безумным, суетность с суетным, сумасбродство с сумасбродным? Разве это не было бы справедливым при тех значительных отклонениях, которые мы замечаем вообще вокруг себя? Когда мне приходится слышать, что кто-нибудь против меня питает злобу, то разве не переживал я прежде всего чувства удовлетворения? Право! — мне даже приятно сказать вам это, — я так мало похож на вас, на моей стороне так много истины: благодарствуйте за мой счет, насколько вы это можете! Вот мои недостатки и ошибки, вот тщета моя, мое безвкусице, мое извращение, мои слезы, моя суетность, мои противоречия! Смейтесь над этим. Я не чувствую злобы на закон и природу вещей, которые хотят того, чтобы недостатки и ошибки людские вызывали у других радостное чувство! — Конечно, были и «лучшие» времена, — когда каждая сколько-нибудь новая мысль принуждала человека идти на улицу и возвещать первому встречному: «смотри! близко царство небесное! — Я нисколько не жалел бы, если бы я и ошибался. Все мы лишние люди! — Но, как сказано, нет у нас этих мыслей, когда мы чувствуем себя мужественными; тогда мы вовсе не думаем об этом.

### 312

*Моя собака.* — Своей боли я дал кличку и называю ее «собакой», — она так же верна, так же навязчива и бесстыдна, так же забавна и умна, как всякая другая собака, и я могу распоряжаться ею вполне и изливать на нее свое раздражение — совершенно так же, как это делают другие люди со своими собаками, слугами и женами.

### 313

*Не надо больше изображать страдания!* — Я хочу поступать, как Рафаэль, и не давать картин страданий. На свете достаточно возвышенных вещей, для того чтобы искать возвышенное там, где оно братски живет с жестокостью; я не мог бы удовлетворить моего честолюбия ролью вдохновенного палача.



## 314

*Новые домашние животные.* — Мне хочется иметь при себе своего льва и своего орла, чтобы во всякое время видеть в них ясный показатель того, насколько велика или насколько недостаточна моя сила. Должен ли я глядеть на них с трепетом, или наступит час, когда они в страхе будут взирать на меня?

## 315

*О последнем часике.* — Бури — вот что представляет для меня опасность: будет ли у меня своя буря, во время которой я пойду ко дну, как пошел ко дну Кромвель в настигшей его буре? Или я погасну, как свеча, не ветром гасимая, а сама усталая и пресыщенная, — свеча сгоревшая? Или же, наконец, я сам себя погашу, чтобы не сгореть?

## 316

*Пророчествующие личности.* — Вы совершенно не замечаете того, что пророки являются вместе с тем личностями, чрезвычайно страдающими: вы полагаете, что они обладают прекрасным «даром» и были бы рады получить его и в свое обладание, — но позвольте мне прибегнуть к одному сравнению. Как сильно могут страдать животные под влиянием воздушного и облачного электричества! Мы видим, что некоторые из них обладают пророческой способностью предвидеть погоду: таковы, например, обезьяны (как это можно наблюдать даже в Европе, только не в зверинцах, а на Гибралтаре). Но мы не думаем о том, что предвидение им дается путем страдания! Когда сильное положительное электричество под влиянием надвигающегося облака, которого впрочем еще долго нельзя будет заметить глазом, превращается в отрицательное и таким путем подготавливается перемена погоды, животные эти начинают вести себя так, как будто бы к ним приближается какой-нибудь враг: они или готовятся к защите, или готовы обратиться в бегство. Таким образом, дурную погоду они ощущают не как погоду, а как врага, руку которого они уже чувствуют на себе.

## 317

*Взгляд на прошлое.* — Переживая какой-нибудь период своей жизни, мы редко сознаем весь пафос его, именно как пафос; нам кажется, что данное состояние — единственно возможное в данный момент и разумное, что оно — говоря языком греков — вполне *этнос*, а не пафос. Два музыкальных тона вызывают у меня сегодня в памяти и зиму, и дом, и полную уединения жизнь и в то же время наполняют мое существо тем чувством, которое я тогда переживал: я думал тогда, что чувство это останется со мной навсегда. Но я понимаю теперь, что оно было пафосом и страстью моей, предметом, подобным этой мучительной и полной утехы музыке, которым нельзя обладать в течение многих лет, а тем более вечно: такая жизнь была бы не по нашей планете.





*Мне хочется иметь при себе своего льва и своего орла, чтобы во всякое время видеть  
в них ясный показатель того, насколько велика или насколько недостаточна  
моя сила*

## 318

*Мудрость, заключающаяся в физическом страдании.* — В боли кроется столько же мудрости, как и к наслаждению, она совершенно таким же образом принадлежит к перворазрядным силам, служащим для сохранения человеческого рода. В противном случае ее давно бы уже не существовало; то обстоятельство, что она причиняет людям страдание, ни в коем случае не может служить аргументом против нее: ведь в этом заключается ее сущность. В боли мне слышится приказ капитана: «спустить паруса». Искусный пловец «человек» должен привыкнуть спускать паруса на тысячи ладов, иначе ему быстро пришлось бы распрощаться с жизнью и океан немедленно засосал бы его в свои пучины. Мы должны уметь убавлять энергию своей жизни: как только боль даст свой сигнал, значит, наступило время уменьшить свою деятельность, — значит, приблизится большая опасность, буря, и мы хорошо сделаем, если постараемся, насколько возможно, «сократиться». — Правда, есть люди, которые при приближении великой боли слышат как раз обратные призывы, и которые никогда не выглядят столь гордыми, воинственными и счастливыми, как во время бури; да, величайшие моменты их жизни создаются под влиянием боли. Это герои; они *несут* боль человечеству; они принадлежат к тем немногим из людей, которые нуждаются в такой же апологии, как и сама боль, — и им не следует отказывать в этом! — Они также перворазрядные силы, сохраняющие и поддерживающие род человеческий, и являются таковыми только благодаря тому, что отказываются от всяких удобств жизни и не скрывают своего отвращения к счастью, зависящему от комфорта.

319<sup>1</sup>

*Самим толковать свою жизнь.* — Все основатели религий и им подобные никогда не были честны настолько, чтобы сделать свои собственные переживания основным и наиболее значительным предметом познания. «Да что я вообще пережил? Что же происходило тогда во мне и вокруг меня? Не был ли мой разум замутнен? Противилась ли моя воля всяческим обманам чувств и так ли уж храбро она отражала нашествие всякого рода фантазий?» — увы, ни один из них никогда не задавал себе подобных вопросов, да и поныне среди благочестивых душ их не принято задавать: они скорее вожделеют свидетельств, противных разуму, но не слишком-то стремятся утолить свое вожделение, — тем самым они переживают «чудеса» и «возрождения» и внемяют голосам ангелочков! Но мы, иные, вожделеющие разума, желаем взирать прямо в глаза нашим переживаниям и строго их контролировать, как это предписывается всяким научным опытом, час за часом, день за днем! Мы сами хотим стать и производимыми экспериментами и подопытными животными!

## 320

*При свидании.* — А: «Вполне ли я тебя понимаю? Ты ищешь? Где же среди окружающей тебя действительности *твой* угол и *твоя* звезда? Где можешь ты улечься на

<sup>1</sup> Перевод Р. В. Грищенкова. В переводе Л. Николаева § 319 отсутствует.

солнышке, чтобы ощущать благоденствие в преизбытке и оправдать свое собственное бытие? О, если бы каждый мог действовать только для самого себя, — так, кажется, мне говоришь ты, — если бы мог вырвать из своего ума необходимость говорить для всех, заботиться о других и об обществе!» — В: «Нет, желания мои заходят еще дальше; я ничего не ишу. Я хочу создать для себя свое собственное солнце».

## 321

*Новое предупреждение.* — Не будем же думать так много о наказаниях, порицании и исправлении! Изменить личность нам удастся только в редких случаях; но при этом мы не замечаем того что мы сами испытываем изменения под влиянием этой личности. Обратим же хорошенько внимание на то, что наше собственное воздействие на каждое протекающее перед нами явление встречает противодействие и что мы даже бываем вынужденными отступить перед этим явлением! Не будем же бросаться в битву прямо! — а ведь таким именно видом борьбы и является порицание, наказание и желание исправить. Поднимемся же сами еще выше! Будем разукрашивать наш идеал все более и более сверкающими красками! Затемним других своим светом! Нет! Мы не хотим по доброй воле сгущать на себе темные краски, как это делают люди, прибегающие к наказаниям, и люди недовольные! Пойдемте лучше стороной! Отведем свой взор в сторону!

## 322

*Сравнение.* — Те мыслители, по мнению которых все звезды движутся по круговым путям, не принадлежат к числу глубочайших мыслителей; кто заглядывает в себя, как в бесконечно громадное мировое пространство, и носит в себе Млечный Путь, тот знает, как непланомерны все эти Млечные Пути; они ведут к хаосу и лабиринту бытия.

## 323

*Счастье в судьбе.* — Когда судьба заставляет нас на время перейти в борьбе на сторону противника, она тем самым оказывает нам величайшее отличие. Таким путем мы предназначаемся к великой победе.

## 324

*In media vita*<sup>1</sup>. — Нет! Жизнь не разочаровала меня! Из года в год я нахожу ее все богаче, желаннее и таинственнее, — и это чувство не покидает меня с того дня, когда на меня низошла великая освободительница — мысль о том, что жизнь должна быть опытом познающего, — а не долгом, не роком, не плутней! А само познание: может

---

<sup>1</sup> В середине жизни (*лат.*).



ли оно быть для других чем-нибудь иным, например, ложем для отдыха, или дорогой, ведущей к такому ложу, или праздной забавой, — для меня же оно является миром опасностей и побед, в котором даже и для героических чувств отведены особая арена и место для танцев. *«Жизнь является средством познания»*, — с такою мыслью в сердце можно быть не только мужественным, но можно еще *весело жить и весело смеяться!* А разве тот, кто сумел бы вообще хорошо пожить и хорошо посмеяться, не оказался бы прежде всего способным на борьбу и победу?

## 325

*Что относится к величию?* — Разве достигнет чего-нибудь великого тот человек, который не чувствует в себе ни силы, ни желания взять на себя великие физические страдания? Одна только способность переносить страдания еще очень мало значит; в этом отношении слабые женщины и даже рабы доходят часто до совершенства. Но взять на себя великое страдание, слышать крик этого страдания и идти ко злу не в силу внутренней необходимости и необеспеченности — вот это величие.

## 326

*Врачеватели душ наших и страдание.* — Все моралисты и теологи имеют одну общую дурную привычку: они все стараются уверить человека, что ему живется крайне трудно, а потому необходимо радикальное лечение. А так как люди охотно в течение целых столетий прислушивались к их учениям, то в конце концов они действительно усваивают кое-что из этого суеверия, начинают думать, что им живется очень плохо, и готовы охать, не находить ничего хорошего в жизни и устраивать в присутствии друг друга огорченные мины. На самом же деле они глубоко уверены в своей жизни, горячо любят ее и при помощи чрезвычайно искусных хитростей умеют обходить неприятное и избегать страдания и несчастья. Мне нравится, что о боли и страдании всегда говорят чрезмерно много, как будто преувеличения в этом отношении являются признаком хорошей жизни, и замалчивают, напротив, умышленно о том, что против боли существует бесчисленное количество разных смягчающих средств, как усыпление, или лихорадочная поспешность мысли, или какое-нибудь покойное положение, или добрые и дурные воспоминания, планы, надежды и многие роды гордости и сочувствия, которые имеют действие почти анестезирующих средств, а при сильных степенях боли само собою наступает беспамятство. Мы прекрасно умеем прибавлять по каплям сладость к нашей горечи, именно душевной горечи. В храбрости и возвышенности, равно как и в благородных, бешеных порывах покорности и смирения, мы имеем для этого вспомогательные средства. Лишение является лишением едва ли на час: вместе с ним иной раз небо шлет нам дар — например, новую силу, — и во всяком случае всякая потеря должна являться поводом для нашей силы! Чего только не повидумали моралисты о внутренней немощи «дурных» людей. Чего только они не *налгали* нам о несчастье страдающих личностей! — именно налгали, они прекрасно знали о чрезмерном счастье такого рода людей, но не промолвили об этом ни слова, ибо это противоречило бы их теории, по которой счастье возникает только тог-



да, когда страдание уничтожено, а воля молчит! Что же касается до рецепта всех этих врачей душ наших и восхваления ими какого-то радикального средства, то да будет позволено предложить следующий вопрос: разве наша жизнь действительно столь преисполнена страданий и столь обременена, что ее можно с успехом променять на окаменелое состояние, в котором находятся стоики? Мы далеко не так плохо чувствуем себя, чтобы принудить себя к тяжелому образу жизни стоиков!

## 327

*Быть серьезным.* — Интеллект везде представляет из себя неповоротливую, мрачную, скрипящую машину, которую с трудом пускают в ход. «Отнестись серьезно к какой-нибудь вещи» — значит хорошенько обдумать ее и обработать ее при помощи своей машины-интеллекта. О, как тяжело, должно быть, дается им процесс хорошего мышления! Человек — это дорогое нам животное — теряет хорошее расположение духа, по-видимому, всякий раз, как начинает хорошо думать; он становится «серьезным»! «Где смех и веселье, там нет мысли», — говорит предрассудок, который сложился у этого серьезного животного против «веселой науки». — Хорошо же! покажем, что это предрассудок!

## 328

*Повредить глупости.* — Столь упорная и убежденная проповедь о негодности эгоизма в общем, конечно, повредила эгоизму (*в пользу*, как я это повторю еще раз, *стадных инстинктов*), лишив его доброй совести и указывая в нем прямой источник всякого несчастья. «Эгоизм твой — горе твоей жизни», — так восклицали проповедники в течение тысячелетий: такое отношение, как сказано, вредило эгоизму и отняло у него много воодушевления, веселости, находчивости, красоты; оно сделало эгоизм глупее, возбудило к нему ненависть, отравило его! — Философия древности, напротив, видела главный источник всякого горя в другом; начиная с Сократа, мыслители неустанно повторяли: «ваше стремление избавиться от всякой мысли и ваша глупость, ваша покорность известным правилам общежития, ваше подчинение взглядам своего ближнего — вот благодаря чему вы так редко бываете счастливы, а мы, мыслители, именно как мыслители, являемся счастливейшими людьми». Не найдем ли мы, что эта последняя проповедь против глупости имеет за собой больше оснований, чем вышеупомянутая проповедь против эгоизма; но, конечно, отнимая у глупости добрую совесть, философия причиняла этой глупости известный вред.

## 329

*Досуг и праздность.* — В погоне за золотом американцы проявляют чисто индейскую дикость. И безостановочная поспешность в работе — этот специальный порок Нового Света — начинает заражать уже Старую Европу, прививать к ней такой же дикий образ жизни и распространять на нее такое же изумительное неразумие. От-

дыха в настоящее время люди стыдятся; укоры совести человек чувствует даже в том случае, когда ему приходится предаваться продолжительному размышлению. Думают с часами в руках, все равно как обедают, не отрывая глаз от биржевого листка: каждый живет так, как будто бы он «мог пропустить что-нибудь». — «Лучше что-нибудь делать, чем ничего не делать», — вот на что роковым образом наталкивается всякое образование, всякий высший вкус. И как все формы явно разбиваются об эту поспешность работающих людей, так гибнет и чувство к самим формам, ухо и глаз отвыкают от мелодии движения. Доказательство можно найти в той *неуклюжей ясности*, которую в настоящее время требуют повсюду, во всех положениях, где только человек хочет быть искренним с другими людьми, в сношениях с друзьями, женщинами, родственниками, детьми, учителями, учениками, предводителями и князьями — теперь нет ни времени, ни сил для церемоний, для того, чтобы обязать себя идти окольными путями, поддержать в обращении *esprit* и сохранить вообще *otium*<sup>1</sup>. Жизнь постоянно принуждает гнаться за выгодой, доводить свой дух до изнурения, притворяться, хитрить, обгонять других: доблестью нашего времени является способность сделать что-нибудь быстрее, чем это успеет сделать кто-нибудь другой. Таким образом, редко выпадает такой час, когда мы можем быть искренни: но тут мы оказываемся настолько утомленными, что не только машем на все рукой, но лежим плашмя. Под давлением этой склонности вырабатывается у нас особая манера писать свои *письма*; на их стиле и духе всегда будет лежать «печать времени». Остаются еще удовольствия, которые вытекают из общения с людьми и искусством, но мы относимся к этим удовольствиям, как переутомившиеся рабы. О, эта чрезмерная скромность, которую проявляют в своих требованиях к «радостям жизни» наши образованные и необразованные классы общества! О, это всевозрастающее презрение к утехам жизни! *Работа* все больше и больше привлекает на свою сторону всю добрую совесть: склонность к радостям жизни называется уже «потребностью в отдыхе», и признания в ней начинают даже стыдиться перед собой. Если вы застанете кого-нибудь врасплох на загородной прогулке, то вам торопятся объяснить, что это «ради здоровья». Да, недалеко то время, когда будут чувствовать угрызения совести и испытывать некоторое самопрезрение те лица, которые имеют склонность к *vita contemplativa* (то есть к таким прогулкам, на которых человек радостно отдается своим мыслям). — А ведь прежде было обратное: работы стыдились. Человек хорошего происхождения скрывал свою работу, даже когда бывал к ней вынужден. Раба постоянно угнетала мысль, что он совершает что-то презираемое: слово «делать» уже само по себе вызывало презрение. «Благородные и знатные люди знают только *otium* и *qellum*<sup>2</sup>», так рассуждали древние.

### 330

*Одобрение.* — Мыслитель не нуждается ни в одобрении, ни в рукоплесканиях, если он уверен в своих аплодисментах самому себе: без них он не может обойтись. Существуют ли люди, которые не нуждались бы и в таком выражении похвалы и

<sup>1</sup> Дух, праздность (*лат.*).

<sup>2</sup> Праздности и войны (*лат.*).



*Думают с часами в руках, все равно как обедают, не отрывая глаз от биржевого листка: каждый живет так, как будто бы он «мог пропустить что-нибудь»*

вообще не искали бы ничьего одобрения? Сомневаюсь. Ведь Тацит, которого нельзя считать клеветником мудрых, говоря о мудрейших людях, употреблял выражение: *quando etiam sapientibus gloriae cupido novissima exiit*<sup>1</sup>, что было равносильно слову: никогда.

### 331

*Лучше быть глухим, чем оглушенным.* — Прежде хотели создать себе славу: теперь этого уже недостаточно, так как рынок стал слишком большим, — теперь нужен крик. В результате даже самым здоровыми глоткам приходится перекричать самих себя, и самые лучшие товары продаются уже охрипшим голосом; без рыночных выкриков и хриплых голосов в настоящее время нет больше гениев. — Такое время, конечно, далеко неблагоприятно для мыслителя: он должен научиться находить среди всей этой суматохи покойное место и оставаться глухим до тех пор, пока будет мыслителем. Если он этому не научится, ему грозит опасность погибнуть от нетерпения и головной боли.

### 332

*Дурной час.* — Каждому философу приходится переживать такой плохой час, когда ему думается: «что мне за дело, что люди не верят моим плохим аргументам?» — Тогда подлетает к нему злорадная птичка и щебечет: «что тебе за дело? что тебе за дело?»

### 333

*Что значит познавать.* — *Non ridere, non luere, neque detestari; sed intelligere!*<sup>2</sup> говорит Спиноза так просто и возвышенно, как будто в этом состояло его искусство. А между тем *intelligere* ведь не что иное, как форма, в которой все три вышеприведенные категории становятся сразу доступными нашим чувствам, как результат различных и противоречивых стремлений: осмеять, пожалеть, проклясть. Прежде чем познание станет возможным, каждое из этих стремлений должно дать свое собственное освещение предмета или события; отсюда возникает борьба этих односторонних взглядов, которая продолжается до тех пор, пока ими не будет достигнуто успокоение, удовлетворение, пока они не добьются известной справедливости и согласия; только благодаря такой справедливости и согласию и могут эти стремления поддерживать свое существование, сохраняя каждое свои права. Мы же, у которых до сознания достигает лишь последний акт примирения и заключительные расчеты этого длинного процесса, полагаем, что *intelligere* должно представлять из себя нечто примирительное, справедливое, хорошее, в существенных своих чертах противополо-

<sup>1</sup> Когда даже мудрецов жажда все новой славы покидает последней (лат.).

<sup>2</sup> Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать (лат.).



ложное указанным стремлениям; а между тем оно представляет *известное отношение*, которое устанавливается между ними *друг к другу*. Весьма долгое время мысль, дошедшую до сознания, рассматривали как мысль вообще: теперь только перед нами открывается заря той истины, что самая большая часть нашей духовной работы остается недоступной для нашего сознания и проходит нами незамеченной; но, по-моему, те самые стремления, которые вступают здесь друг с другом в борьбу, сумеют дать почувствовать себя друг другу и причинить друг другу страдание; — быть может, в этом надо искать объяснение того сильного и внезапного истощения, которое испытывает всякий мыслитель (истощение на поле битвы). Быть может, среди борющихся в нас сил кроется некоторое *геройство*, но там нет ничего божественного, вечно покоящегося в самом себе. Мысль, *дошедшая до сознания*, представляет из себя самый бес- сильный, а потому и самый кроткий, и самый спокойный род мышления; вот почему философу так легко впасть в заблуждение относительно природы познания.

## 334

*Следует научиться любить.* — Вот что бывает в области музыки: мы должны сначала *приучить* себя вообще *слушать* какую-нибудь фигуру или мелодию, выслушивать, различать, изолировать и отграничивать ее; затем надо употребить немало усилий и доброй воли на то, чтобы заставить себя *выносить* ее, несмотря на всю ее чуждость нам, немало терпения к ее внешним формам, мягкосердечия к ее странностям. Наконец, наступает момент, когда мы к ней *привыкаем*, когда мы ее ждем, когда мы чувствуем, что без нее нам будет чего-то не хватать, и с этого момента ее сила над нами, ее привлекательность для нас будет все возрастать и возрастать, пока мы не сделаемся ее покорными и восторженными поклонниками, которые хотят только ее и ее. — Но такой процесс замечается не только по отношению к музыке; точно так же мы *научились любить* все предметы, которые мы теперь любим. В конце концов за наше расположение, наше терпение, нашу справедливость, нашу мягкость по отношению к чуждым элементам мы вознаграждаемся тем, что это чуждое нам явление медленно поднимает свое покрывало и является перед нами как нечто новое и невыразимо прекрасное: это *благодарность* за наше гостеприимство. И любовь к самому себе приобретает только таким путем, ибо другого пути нет. Даже любви надо учиться.

## 335

*Да здравствует физика!* — Мало кто умеет наблюдать, а еще меньше тех, кто умел бы наблюдать самого себя! «Каждый дальше всего отстоит от самого себя», и в изречении «познай самого себя», с которым божество обращалось к людям, слышится почти злоба. Посмотрите, как говорят *почти все* о сущности морального поступка — быстро, угодливо, болтливо, убежденно, с особым взором, с особой усмешкой, с особым услужливым рвением, — и вы убедитесь, что дело с самонаблюдением у нас действительно обстоит очень плохо! Так и кажется, что тебе хотят сказать: «но, любезнейший, ведь это только *меня* касается! Обращайся со своими запросами к тому,

кто тебе *должен* отвечать: а я и сам прекрасно знаю, что мне здесь делать!». Таким образом, когда человек сочтет *справедливым* какое-нибудь требование, признает выполнение его *необходимым* и будет *поступать* сообразно своим понятиям о справедливости и необходимости, то мы назовем его поступок *моральным*! Но, мой друг, ты говоришь мне о трех актах, а не об одном: ведь твое суждение «это справедливо» является одним актом, — разве нельзя рассуждать нравственно и безнравственно? *Почему* ты считаешь свое и только свое мнение справедливым? — «Потому что мне подсказывает это совесть; совесть никогда не говорит безнравственно, ею и определяется, что должно быть моральным!» — Но почему ты *слушаешься* речей своей совести? И насколько ты прав, считая данное положение истинным и несомненным? И разве относительно этой веры совесть молчит? Разве ты ничего не знаешь об интеллектуальной совести? О совести, скрывающейся за твоей «совестью»? Твое суждение «это справедливо» имеет целую предварительную историю в твоих стремлениях, склонностях, в твоей неприязни, во всем том, что ты сам испытал на себе и относительно чего не имел вовсе опыта. «Как произошла моя совесть», должен был бы ты спросить себя: «и что собственно заставляет меня прислушиваться к ее голосу? Ты можешь также повиноваться ее приказаниям, как храбрый солдат подчиняется команде своего офицера, или как женщина, которая любит того, кто ею повелевает, или как лстец и трус, которые испытывают страх перед лицом, отдающим приказание, или как глупец, который следует за тобой, потому что не может ничего возразить. Короче говоря, на сотни ладов ты можешь подчиняться своей совести. А то *обстоятельство*, что ты именно к известному суждению прислушиваешься, как к голосу своей совести, что ты считаешь нечто справедливым, объясняется просто: ты никогда не задумывался о себе и слепо воспринимал все, что тебе определяли *справедливым* с детства, или же хлеб и почести для тебя соединялись до сих пор с тем, что ты называешь своим долгом, — известное положение является для тебя «справедливым», потому что оно кажется тебе «условием *твоего* существования» (а *право* свое на существование ты ведь не подвергаешь никаким сомнениям!). *Прочность* твоего морального суждения могла бы служить всегда доказательством твоего ничтожества, твоей безличности, твоя «моральная сила» могла бы иметь свой источник в твоём упорстве, или в твоей неспособности рассмотреть новые идеалы! И, говоря вообще, если бы ты думал тоньше, наблюдал лучше и поучился больше, то ты не называл бы этот «долг» свой и эту «совесть» своею при всех обстоятельствах долгом и совестью. Если бы ты присмотрелся хорошенько, *как вообще возникали моральные суждения*, то у тебя отбило бы охоту и от этих, и от всех других патетических слов. — И не говори ты мне, друг мой, о категорическом императиве! — слово это щекочет мне ухо, и я не могу удержаться от смеха, несмотря на всю твою серьезность: мне приходится при этом на мысль старик Кант, который в наказание — вот потеха! — за «вещь в себе» попал под власть «категорическому императиву». — Как? ты удивляешься категорическому императиву, который живет в тебе? Этой «прочности» твоего так называемого морального суждения? Этой «безусловности» чувства, которое говорит тебе, что «все в данном случае должны думать так же, как ты»? Удивляйся лучше своему *эгоизму*! Слепоте, ничтожеству, скромности своего эгоизма! Ведь это эгоизм именно заставляет *его* суждение ощущать как некий всеобщий закон; и опять-таки слепой, ничтожный эгоизм, ибо он обнаруживает, что ты еще не открыл самого себя, что ты еще не создал своего идеала, идеала только для себя — такого идеала, который

не мог быть ничьим больше, а тем более рассчитывать на всеобщее признание! Кто полагает: «так должен поступит в данном случае каждый», тот и пяти шагов не сделал в области самопознания: иначе он знал бы, что не существует и не может существовать одинаковых поступков, — что выполнение каждого поступка вполне своеобразно и ни один акт не может быть повторен, что все это справедливо и относительно всех будущих деяний, что все правила поведения только грубо затрагивают всякую деятельность (хотя бы то были интимнейшие и остроумнейшие правила из всей существовавшей доныне морали), что при помощи их достигается видимость, *и только видимость*, равенства, что *всякое деяние*, когда на него смотришь со стороны или оглядываешься, оказывается и остается вещью непроницаемой, что наши взгляды на «благо», «благородство», «величие» никогда не могут быть *доказаны* нашими поступками, ибо каждое деяние непознаваемо; что наши мнения и оценка служат, вероятно, могущественнейшими рычагами в аппарате нашей деятельности, но закон ее механики для каждого отдельного случая остается необъяснимым. Таким образом, ограничимся только тем, что очистим свои взгляды и свою оценку и *постараемся создать свою собственную новую таблицу благ*, а о «моральной оценке наших поступков» перестанем и мечтать! Да, друзья мои! глядя на всю эту болтовню о нравственных обязанностях по временам чувствуешь отвращение! Наш вкус должен возмущаться, когда нам приходится оказывать нравственную поддержку людям, осуждающим других людей. Оставим же и болтовню эту, и дурной этот вкус тем, все занятие которых — вытаскивать время от времени по маленьким кусочкам прошлое, так как сами они не в состоянии создать настоящее. А ведь это будет большинство, громадное большинство! Мы же сами *будем стремиться стать тем, что мы в действительности из себя представляем*, — новыми, обособленными, несравнимыми законодателями для самих себя, творцами самих себя! И к тому же мы должны лучше других открывать и учить тому, что является законным, необходимым в этом мире: мы должны быть *физиками* для того, чтобы стать в этом смысле *творцами*, — в то время как до сих пор все ценности и идеалы воздвигались или *при незнакомстве* с физикой, или *в противоречии* с ней. А потому: да здравствует физика! И еще больше да здравствует та сила, которая *принуждает* нас обратиться к ней — наше чистосердечие!

## 336

*Скупость природы.* — Почему природа оказалась такой скупой по отношению к людям? Почему она не одарила людей способностью светиться — одних больше, других меньше, сообразно с тем запасом внутреннего света, которым каждый обладает? Почему великие люди при своем восходе и закате не представляют такого прекрасного и законченного зрелища, как солнце? Сколько двусмысленностей избежала бы тогда людская жизнь.

## 337

*«Человечество» будущего.* — Когда я смотрю на наш век глазами давно сошедших со сцены поколений, то самым замечательным свойством у современного чело-

века мне кажется его особенная добродетель и болезнь, именуемая «историческим смыслом». Явление это представляется мне накипью на чем-то совершенно новом и чуждом в истории: если бы оно просуществовало в своем зачаточном состоянии еще несколько столетий, то из него в конце концов могло бы выйти замечательное растение, обладающее таким чудным ароматом, благодаря которому на нашей старой земле жилось бы лучше, чем до сих пор. Мы, люди настоящей эпохи, только что начинаем сплетать — звено за звеном — цепь будущего, очень могучего чувства, — едва сознавая свою работу. А нам кажется, что дело идет не о новом чувстве, а об истощении всех старых чувств, — историческое чувство все еще является таким бедным и холодным; многих от него озноб охватывает, и они благодаря ему сами становятся и беднее, и холоднее, другим оно кажется признаком подкрадывающейся старости, и вся наша планета представляется им в виде тяжело больного человека, который, для того чтобы забыть о своем настоящем положении, пишет историю своей юности, И, действительно, новое чувство окрашено в такие тона; всякий, кто умеет прочувствовать историю всего человечества как свою *собственную историю*, ощущает в процессе этого чудовищного обобщения всю печаль больного, мечтающего о здоровье, старца, вспоминающего о грезах своей юности, влюбленного, лишенного предмета страсти, мученика, разочаровавшегося в своем идеале, героя, который вечером в день битвы видит, что эта битва ничего не решила, а принесла ему только раны и смерть друга. Но перенести, почувствовать себя в силах переносить всю эту громаду всякой печали и все еще оставаться героем, который при наступлении второго дня битвы приветствует и утреннюю зарю, и счастье свое как человек, вокруг которого разворачивается горизонт тысячелетий, как наследник всего того благородства, которое осталось от духа минувших веков, как самый благородный из всех родовитых людей и в то же время первенец нового благородного сословия, какового не видела и о каковом не мечтала ни одна из прежних эпох; взять все это новое и старое в жизни, все эти надежды, потери, завоевания и победы человечества; наконец, хранить все это в одной душе и втиснуть в одно чувство — это такая операция, которая должна дать счастье, еще неизведанное человеком, — божественное счастье, полное силы и любви, полное слез и смеха, счастье, которое, подобно вечернему солнцу, когда оно удаляется из своего необозримого царства и погружается в море, чувствует все богатство свое при виде бедного рыбака, подгоняющего свою лодку золотым веслом! Вот это божественное счастье и было бы тогда человечеством.

### 338

*Стремление к страданию и сострадательные люди.* — Разве нормально быть прежде всего сострадательным? Да и полезно ли ваше сострадание для людей страждущих? Но оставим на минутку первый вопрос в стороне. — Все глубочайшие личные наши страдания остаются непонятными и недоступными для всех остальных людей; все эти страдания скрываем мы и от самого близкого нам человека даже в том случае, если едим с ним из одной чашки. Но всюду, где посторонние *замечают* в нас людей страждущих, страдание наше описывается в плоских выражениях. Сущность сострадания как аффекта в том именно и состоит, что оно *лишает* чужое горе всех его индивидуальных свойств: «благодетели» наши приуменьшают нашу ценность и силу





*Почему великие люди при своем восходе и закате не представляют такого прекрасного и законченного зрелища, как солнце? Сколько двусмысленностей избежала бы тогда людская жизнь*

нашей воли гораздо значительнее, чем наши враги. У большинства благодетелей кроется что-то возмутительное в той интеллектуальной легкости, с которой сострадающий вам человек играет вашей судьбой: он ничего не знает о целом ряде переплетающихся событий и состояний, которые для *меня* или для *тебя* называются несчастьем! Вся экономия моей души, все те выгоды, которые она извлекает «из несчастья», открытие новых источников и потребностей, рост старых ран, отказ от прошлого — все, что так или иначе может быть связано с несчастьем, — все это нисколько не интересует сердобольного человека. Он хочет только *оказать помощь* и нисколько не задумывается о том, что несчастье должно быть индивидуально, что испуг, лишение, оскудение, полуночное время, необычайные приключения, риск, ошибки для нас так же необходимы, как и их противоположности, что, выражаясь мистически, у каждого человека путь к собственному небу всегда лежит через сладострастие собственного ада. Нет, об этом он ничего не знает: «религия сострадания» (или «сердце») предлагает помогать страждущим, и вот лучшей помощью считают помощь скорейшую! Когда вы, последователи этой религии, будете на себя смотреть действительно так же, как на своих ближних, когда вы не захотите даже часа протрачивать своим страданием и будете всевозможными средствами предотвращать всякое надвигающееся издали несчастье, когда свое горе и недовольство вы будете ощущать вообще, как что-то дурное, ненавистное, как нечто подлежащее уничтожению, как какое-то пятно на вашем бытии, — тогда кроме религии сострадания в сердце у вас будет другая религия, и она-то, быть может, станет матерью первой религии; это будет *религия покоя и комфорта*. Как мало знаете вы о *счастье* человеческом, вы, люди покойные и добросердечные! Ведь счастье и горе — две сестры, два близнеца, которые вместе вырастают или, как это бывает у вас, оба *остаются маленькими*! Но возвратимся теперь к первому вопросу. — Насколько только возможно, оставайтесь на *своем* пути! Нас постоянно отзывают в сторону: наш глаз при этом мало что различает, и нет ни малейшей необходимости оставлять тотчас свое собственное дело и перепрыгивать на новое. Я знаю, что существуют сотни приличных и славных способов уйти *со своего пути*, и способов, поистине говоря, в высшей степени «нравственных»! Да, моралисты, проповедующие ныне сострадание, доходят даже до того, что нравственным считают только одно — оставить *свой путь* и перепрыгнуть к своему ближнему. Мне также, конечно, известно следующее: я должен пожертвовать собой при виде действительной нужды, и, таким образом, мне опять нет спасенья! И если бы друг в предсмертных страданиях сказал мне: «послушай, я скоро умру, обещай мне умереть со мной», — я обещал бы точно так же, как, при виде какого-нибудь горного народца, борющегося за свою свободу, я мог предложить ему свою руку и жизнь. Да, остается какой-то тайный соблазн даже в этом призыве к состраданию и помощи: только наш «собственный путь» оказывается слишком твердым и требовательным и лежит слишком в стороне от любви и благодарности других, — и мы не без удовольствия уклоняемся от него, и от нашей интимной совести и спасаемся под покровом чужой совести в любезном нам храме «религии сострадания». И теперь, как только раздастся где призыв к войне, тотчас даже у самых благородных представителей народа прорывается скрытое, конечно, желанье: они с восторгом бросаются навстречу новой опасности, грозящей им *смертью*, ибо в этом самопожертвовании, которое они приносят на алтарь отечества, они нашли, наконец, возможность *уклониться от своей собственной цели*, — возможность, которую они так долго искали; война для них

является обходным путем, который ведет к самоубийству, но таким обходом, на котором они могут сохранить свою добрую совесть. И если я и здесь должен недоговаривать, то, во всяком случае, я не хочу умолчать о своей морали, которая мне предписывает следующее: живи скрытно для того, чтобы *ты мог* жить для себя! Живи, *не ведая* о том, что век твой считает самым важным! отдели себя от текущих забот слоем по крайней мере трех веков! Пусть крики, которые раздаются теперь вокруг тебя, пусть сумятица, которую несут с собой войны и революции, будут для тебя просто людским бормотаньем! Тебе также захочется помогать другим людям: но ты неси свою помощь только своим *друзьям* — только тем, нужду кого ты вполне *поймешь*, кто вместе с тобой имеет одно горе, одну надежду; и помогай им так, как помогал бы самому себе. Мне хочется, чтобы они были смелее, терпеливее, проще, веселее! Мне хотелось бы научить их *сорадостии*, которая доступна пониманию столь немногих людей и о которой особенно мало знают проповедники морали.

## 339

*Vita femina*<sup>1</sup>. — Недостаточно одного умения и доброй воли для того, чтобы рассмотреть всю красоту какого-нибудь произведения; только в самых редких и счастливых случаях обнажаются вершины эти от облачного покрывала и блестит на них солнце. Еще недостаточно стоять на хорошем месте, чтобы увидеть эту красоту: нашей душе необходимо удалить покрывало со своих высот и стремиться во внешнем мире найти свое выражение, как бы для того чтобы остаться твердой и сохранить самообладание. Но совпадение этих условий бывает так редко, что я готов верить, что высшие пункты всякого блага — будет ли то произведение, деяние, человек, природа — для большинства даже лучших людей оставались скрытыми; а все, что являлось перед нашими глазами без покрывала, *сбрасывало свои оболочки перед нами только раз в жизни!* — В одной молитве греки говорили: «дважды и трижды все прекрасное»! Да, у них было полное основание призывать здесь на помощь богов, ибо та действительность, которая не имеет ничего общего с божеством, или вовсе не дает нам прекрасных явлений, или является прекрасной только раз. Я хочу сказать, что мир переполнен прекрасными предметами, и, несмотря на это, он чрезвычайно беден прекрасными мгновениями и чрезвычайно редко раскрывает предметы эти. Но, быть может, здесь и заключается величайшее обаяние жизни: на ней лежит сотканное из золота покрывало возможности прекрасного, обещающее, противоборствующее, стыдливое, насмешливое, сострадательное, обольстительное. Да, жизнь — женщина!

## 340

*Умиравший Сократ*. — Я удивляюсь мужеству и мудрости Сократа во всем, что он делал, говорил — и даже в том, чего он не высказал. Этот насмешливый и излюбленный злой дух и крысолов Афин, который заставлял дрожать и хныкать самых

<sup>1</sup> Жизнь — женщина (лат.).

мужественных юношей, был не только самым мудрым балагуром, но и в молчании обладал величием. И если бы в последние минуты жизни — как этого хотелось бы мне! — он остался с замкнутыми устами, — он принадлежал бы тогда, быть может, еще к высшему разряду умов. Но смерть ли, яд ли, благочестие, или злоба развязали ему в последнее мгновение язык, и он сказал: «О Критон! я должен Эскулапу петуха!». Это смешное и страшное, «последнее слово» для всякого имеющего ум значит: «О Критон! жизнь ведь — болезнь!». Возможно! человек, живущий, подобно ему, чисто и у всех на глазах, как солдат, был пессимист! Он только притворялся перед жизнью и все время скрывал свою последнюю мысль, свое самое интимное чувство! Сократ страдал при жизни! И он отомстил тем прикрытым, ужасным, благочестивым и богохульствующим словом! Должен ли был Сократ еще мстить за себя? Неужели у него в его чрезмерной добродетели было так мало великодушия! — Ах, друзья мои! Мы должны взять верх даже над греками!

## 341

*Величайшая тягота.* — Представь себе, что однажды — днем или ночью — к тебе в твоем полнейшем уединении подкрался демон и говорил тебе: «ту жизнь, которую ты ведешь теперь и которую прожил, тебе придется повторить еще раз и еще бесчисленное число раз; и не будет ничего нового, но все та же боль, все те же желания, и мысли, и вздохи, и все невыразимо малые и великие события твоей жизни пройдут перед тобой в прежнем порядке и прежней последовательности — и этот паук, и этот лунный свет между деревьями, и этот миг, и я сам. Вечные песочные часы бытия будут снова и снова перевертываться, и ты с ними, пылинка из пылинок! — Разве не бросился бы ты на землю, разве не стал бы скрежетать зубами и проклинать демона, который обратился к тебе с такими речами? Или разве ты не пережил ни разу такого чудного мгновенья, когда бы ты мог ему ответить: «ты — божество, и я никогда не слышал ничего более божественного»? Если бы такая мысль овладела тобой, она преобразила бы и, пожалуй раздробила бы тебя, разве бы ты оставался таким же человеком, как сейчас; и если бы тебе при каждом случае предлагали вопрос: «желаешь ли ты еще раз и еще бесчисленное число раз пережить это событие?» то этот вопрос ложился бы величайшей тяготой на твоих деяниях! Или каким образом ты должен сделать добро себе и жизни, чтобы стремиться только заверить и засвидетельствовать это последнее, вечное, требование?

## 342

*Incipit tragoedia*<sup>1</sup>. — Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, он покинул свою родину и озеро Урми и ушел в горы. Тут он наслаждался своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомился наслаждаться ими. Но сердце его, наконец, изменилось, и, вставши однажды на утренней заре, повернулся он к солнцу, и обратился к нему с такою речью: «О, ты, великое светило! Во что обратилось бы

<sup>1</sup> См. примеч. к с. 526.





*....я хочу сказать, что мир переполнен прекрасными предметами, и,  
несмотря на это, он чрезвычайно беден прекрасными мгновениями и чрезвычайно  
редко раскрывает предметы эти*

счастье твое, если бы у тебя не было, на кого изливать свой свет!» Десять лет приходишь ты к моей пещере: ведь и без меня, без моего орла и моей змеи ты могло бы насытиться и своим светом, и своей дорогой: но мы ждали тебя каждым утром, отнимали у тебя твой излишек и благословляли тебя за это. Смотри! Мне надоела моя мудрость, как мед пчеле, которая собрала его слишком много, мне нужны руки распростирающиеся, я стал бы раздаривать и распределять до тех пор, пока мудрые среди людей не будут еще раз снова рады своему безумию, а бедные — еще раз снова своему богатству. Для этого я должен глубоко спуститься, подобно тому как делаешь это ты, богатое светило, каждый вечер, когда уходишь за море и все еще несешь свой свет преисподней, — я должен *зайти*, как говорят люди, к которым я хочу спуститься. Так благослови же меня ты, спокойное око, вззирающее без зависти на величайшее счастье! Благослови кубок, который желает переполниться для того, чтобы золотая влага потекла из него и разнесла повсюду блеск твоей отрады! Смотри! Кубок этот снова хочет стать пустым, и Заратустра снова желает сделаться человеком». — Так начался закат Заратустры.

## КНИГА ПЯТАЯ

### Мы неустрашимы

Carcasse, tu trembles?  
Tu tremblerais bien davantage,  
si tu savais, ou je te mène.

Turenne.

343<sup>1</sup>

*Какой толк в нашей веселости.* — Величайшее из событий последнего времени — то, что «Бог умер» и что вера в христианского Бога утратила к себе доверие, — начинает уже отбрасывать на Европу легкую тень. По крайней мере, тем избранным, чьи очи достаточно зорки для того, чтобы распознать нечто из ряда вон выходящее, представляется закат некоего солнца, — словно давнее, привычное доверие оборачивается вдруг острым недоверием: с каждым днем для них наш старый мир видится все более погружающимся в сумерки, более подозрительным, более чуждым, более «ветхим». Но главное — следующее: само это событие еще слишком значительно и слишком отдаленно, слишком недоступно для восприятия большинства, чтобы мы могли счесть известие об этом событии вполне *распространившимся*, не говоря уже о том, что лишь единицы ведают, что, собственно, тут произошло и что за гибелью веры воспоследует крушение всего, что на ней основывалось, сроднилось с нею, например пресловутая европейская мораль. Нам предстоит еще длинная череда крушений и обвалов, крахов и катастроф: но кому сегодня дано угадать грядущее настолько, чтобы отважиться на риск выступить в роли творца и провозвестника этой чудовищной логики ужаса, пророка тьмы и солнечного затмения, равных которым еще не знала земля?.. Даже мы, прирожденные мастера разгадывания загадок, мы, словно бы взнесенные на высоты и там ожидающие остальных, оказавшиеся между сегодня и завтра и невольно втянутые в их спор, мы, первенцы грядущего столетия, на чьи лица в первую очередь *должна была* пасть тень надвигающегося затмения Европы, — отчего же мы столь безучастно и беззаботно, ничуть не опасаясь за самих себя, ожидаем его свершения? Может быть, мы куда более озабочены *ближайшими последствиями* этого события — и эти ближайшие последствия, последствия куда как значимые для *нас*, воспринимаются нами отнюдь не как мрачные и безрадостные, а наоборот, как неподдающийся описанию род света, как счастье, облегчение, просветление, воодушевление, утренняя заря... И в самом деле, мы, философы и «свободные умы»,

---

<sup>1</sup> Перевод Р. В. Грищенкова. В переводе А. Николаева § 343 отсутствует.

Перевод эпиграфа к Книге пятой: «Скелет, ты трепещешь?/Ты затрепетал бы еще пуще,/когда бы знал, куда я тебя веду. Тюренн (*фр.*)»

при вести о том, что «старый Бог умер», чувствуем себя осиянными занимающей нас новой утренней зарей; наше сердце преисполняется при этом благодарностью, изумлением, предчувствием, ожиданием — наконец-то горизонт вновь открыт для нас, пусть даже он и слегка затуманен; наконец-то наши корабли вновь могут устремиться в плавание, готовые к опасности; вновь нет преград рискующему познанию; вновь море, *наше* море свободно простирается перед нами, — никогда еще, пожалуй, оно не было столь «свободным».

## 344

*Насколько мы все еще благочестивы.* — Мы имеем полное основание сказать, что убеждениям нет места в науке. Только в тех случаях, когда ученые решаются снизить до какой-нибудь скромной гипотезы, предварительной точки зрения, регулирующей фикции, они открывают доступ убеждениям в царство познания и придают им известную ценность, — но и то всегда с ограничениями и под полицейским надзором недоверия. — Но разве такое положение вещей, выражаясь точнее, не равносильно допущению убеждения в науку, с тем чтобы само убеждение *перестало быть* убеждением? Разве не начинается воспитание научного духа с требования не допускать уже больше никаких убеждений?.. Раз все это правдоподобно, то остается только спросить: *возможно ли начать такое воспитание* без столь властного и столь безусловного убеждения, которому были бы принесены в жертву все остальные убеждения? Наука, по-видимому, также покоится на некоторой вере, ибо нет такой науки, которая была бы совершенно свободна от всяких предвзятых мнений («*voraussetzungslose*» *wissenschaft*). Мы не только должны предварительно получить утвердительный ответ на вопрос, нужна ли нам *истина*, но и выразить его сильно — в виде принципа, веры, убеждения: «нет *ничего выше* истины, а все остальное по сравнению с ней является величиной второго порядка». — Что же представляет из себя это стремление к безусловной истине? Не будет ли оно желанием *не дать себя в обман*? Или это желание *не обманывать*? Именно вот так и могло бы быть истолковано стремление к истине, если под общую формулу: «я не хочу обманывать» подвести как частный случай: «я не хочу обманывать и себя». Но почему же не обманывать? Почему не дать и себя ввести в заблуждение? — На это замечают, что оба эти вопроса относятся к совершенно различным областям: человек не хочет даться в обман потому, что быть обманутым, как он полагает, вредно, опасно, — в этом смысле наука была бы продолжительным благоразумием, предусмотрительностью, полезным явлением, против которого справедливо должны были бы возразить: как? действительно ли стремление не поддаться обману не так вредно, не так опасно, не так связано с роковыми последствиями? Что вы доподлинно знаете о характере бытия для того, чтобы решить, на чьей стороне *большая* выгода — на стороне ли безусловного недоверия или безусловной доверчивости? Раз необходимо и многому верить, и многому не доверять, то откуда наука должна взять свою безусловную веру, свое убеждение, на котором она покоится, что истина должна быть всего важнее на свете, важнее всех остальных убеждений. Точно так же убеждение это не могло бы возникнуть и в том случае, если бы правда и неправда обе оказывались бы постоянно полезными человеку; а именно так и бывает в действительности. Таким образом, вера в науку проистекает не из утилитарных



соображений, а скорее *несмотря на то* что доказательства относительно бесполезности и опасности «стремления к истине», «истины во что бы то ни стало» беспрерывно возрастают. «Во что бы то ни стало» — это требование мы вполне понимаем, если мы только приносили на этот алтарь одну веру за другую! — Следовательно, выражение «стремление к истине» нельзя передать описательной фразой: «я не хочу дать себя в обман», а выбора ведь больше нет! «Я не хочу обманывать ни других, ни себя, — и тут уже мы переходим в область морали. В самом деле, спросите-ка себя хорошенько, как следует: «почему ты не хочешь обманывать, когда все должно иметь — да и имеет — видимость, когда вся жизнь как бы основана на видимости или, по-моему, на ошибках, обмане, притворстве, ослеплении, самоослепении, а с другой стороны, великая форма жизни всегда оказывалась в действительности на стороне самых несомненных полнот». Такое намерение, мягко выражаясь, могло бы быть, пожалуй, донкихотством, небольшим сумасбродством: но оно могло бы оказаться и чем-нибудь похуже, именно принципом разрушительным, враждебным жизни... «Добровольное стремление к истине» могло бы оказаться таким же добровольным стремлением к смерти. — Поэтому вопрос «к чему нам наука?» приводит нас снова к моральной проблеме: «к чему вообще мораль, когда ни жизнь, ни природа, ни история не знают ее»? Несомненно, правдивый человек в том смелом и последнем смысле, как его предполагает вера в науку, *заявляет при этом о существовании еще иного мира*, кроме мира нашей жизни, природы и истории; а говоря утвердительно об этом «ином мире», разве не должен он отрицать контраст его, наш мир? Теперь уже видно, к чему я стремился. Мне именно хотелось показать, что *метафизична та вера*, на которой покоится наша уверенность в науке; что мы, выступающие в настоящий момент в области познания, несмотря на наш отказ от метафизики, берем свой огонь от того пожара, которое запылало тысячелетия тому назад, от той веры Платона, которая говорит, что бог есть истина, что истина — божественна... Но что если именно это и предстает теперь все более и более сомнительным, если ничто уже не оказывается божественным, разве что заблуждением, слепотою, ложью. — если сам Бог — извечная наша ложь?<sup>1</sup>

### 345

*Мораль как проблема.* — Недостаток в людях дает себя тяжело чувствовать повсюду; ослабленная, жиденькая, преданная забвению, сама себя отрицающая и сама от себя отрекающаяся личность не годится ни на что хорошее, — а тем более для философии. «Отказ от себя» не имеет больше ценности ни на небе, ни на земле; великие проблемы требуют и *великой любви*, а к ней способны только люди, обладающие сильным, обточенным, крепким духом, которые прочно сидят в своих пазах. Далеко не одно и то же, лично ли заинтересован мыслитель в своих проблемах так, что с ними связана его судьба, нужда и высшее его счастье, или же лично он ничем не связан с этими проблемами и умеет только ощупывать и охватывать их щупальцами холодной, любознательной мысли. В этом последнем случае, насколько можно догадываться, работа останет-

<sup>1</sup> Окончание § 344 дается в переводе Р. В. Грищенко, поскольку отсутствует у А. Николаева.

ся безрезультатной, ибо, если, например, проблемы допустят захватить себя лягушкам и слабым людям, то не допустят им *удержать* себя. С вечных времен сказывался в такой форме вкус этих великих проблем, и в этом отношении вкус их разделяли всегда способные и деятельные женщины. — Таким же образом до сих пор мне не пришлось встретить ни одного человека, даже в книгах, который был бы лично заинтересован в морали, который смотрел бы на эту мораль как на проблему, а эту проблему признавал своею личной нуждой, страданием, отрадой, страстью? До сих пор, по-видимому, мораль не была проблемой: скорее она представляла такую область, где люди приходили к соглашению после целого ряда всяческого недоверия, сомнения, противоречий, она была тем освященным местом покоя, где мыслитель отдыхал от самого себя, где он становился свои силы, оживал. Я не вижу никого, кто осмелился бы подвергнуть критике главные положения морали; я не встречаю здесь даже попыток научного любопытства, избалованного, искушенного опытом воображения психологов и историков, которое схватывает проблему и ловит на лету, не сознавая хорошенько, что поймано им. И кажется мне сегодня, не напрасно ли вообще искать хотя бы самого незначительного расположения к *истории возникновения* этих чувств и этого уважения (задачу эту не следует смешивать с критикой данных явлений и с историей этических систем); я, по крайней мере, раз сделал все, чтобы открыть хоть какую-нибудь склонность к истории такого рода — но тщетно. С такими историками морали (именно англичанами) нетрудно разобраться: они беспечно подчиняются какой-нибудь определенной морали и, сами не ведая того, являются ее щитоносцами и свитой; приблизительно то же самое приходится сказать о том широко распространенном суеверии европейцев, которое все еще чистосердечно уверяет, что каждый моральный поступок непременно характеризуется самоотречением, самозабвением, принесением самого себя в жертву или сочувствием, состраданием. Обычная ошибка таких моралистов кроется в допущении, что они установили некоторый *consensus* среди народов, но крайней мере среди прирученных народов относительно известных положений морали, и в сделанном отсюда выводе, что эти положения безусловно обязательны также и для меня, и для тебя; или же, наоборот, наткнувшись на истину, они, эти моралисты, думают, что у различных народов оценка моральных явлений *неизбежно* различна, и делают заключение о необязательности *всякой* морали; но и в том и в другом случае они рассуждают, как дети. Заблуждение более тонких мыслителей заключается в том, что они в каких-нибудь, пожалуй, даже неразумных взглядах какого-либо народа открывают его мораль, мнения отдельных людей трактуют в качестве всечеловеческой морали, рассуждают о ее будущности, о религиозной санкции, о суеверных взглядах на свободу воли и тому подобных явлениях и вместе с тем полагают, что в подобном процессе данная мораль подвергается критической оценке. Но значение предписания «ты должен» остается все-таки совершенно независимой от подобных взглядов на мораль, от плесел заблуждения, которые, быть может, глушат это требование: точь-в-точь как в медицине, где значение какого-нибудь медикамента на больного совершенно не зависит от того, будет ли он человеком научно образованным, или смотрит на медицину глазами какой-нибудь старой бабы. Мораль могла бы и сама вырасти *из* какого-нибудь заблуждения: но даже и при таком взгляде проблема ее ценности оставалась бы незатронутой. — Никто, таким образом, до сих пор не проверил *ценности* знаменитейшего из всех целебных средств, которое называется моралью, а потому прежде всего необходимо обратить на него внимание.



*...если, например, проблемы допустят захватить себя лягушкам и слабым людям,  
то не допустят им удержать себя*

## 346

*Наш вопрос.* — Но вы не понимаете этого? Действительно нас трудно будет понять. Мы ищем слова, мы ищем, быть может, и уши. Кто же мы?<sup>1</sup> Если бы мы и вознамерились именовать себя по-старому «безбожниками», «неверующими» или «имморалистами», то едва ли могли бы согласиться с тем, что нам уже найдено имя: мы — это изрядная и давняя общность, чересчур давняя для быстрого разумения, *вашего* разумения, господа зеваки, тщашися угадать, что у нас на душе. Нет! Нам не присущи горечь и страсть вырвавшегося на волю и тщасящего сотворить из собственного неверия еще одну веру, еще одну цель и, быть может, даже мученичество! Нас ошпарило кипятком познания, и мы теперь до очерствелости охлаждены сознанием того, что миром движет отнюдь не божественный промысел, равно как и не человеческий, с его разумностью, милосердием или справедливостью. Мы знаем, что мир, в котором мы живем, лишен и божества, и нравственности, и человечности, — мы долго ошибочно истолковывали его себе, как этого требовала наша воля и желание поклоняться чему-нибудь; это была, как говорили мы, наша *потребность*. Разве человек не благоговящее животное вместе с тем и недоверчивое? — и наше недоверие, наконец, почти вполне завоевало ту мысль, что мир *не* представляет из себя такой ценности, какую мы в нем предполагали. Недоверие и философия идут рука об руку. Мы остерегались высказать ясно свой взгляд на то, что мир представляет из себя явление малоценное: нам еще до сих пор смешно, когда человек претендует найти такие ценности, которые должны *превышать* ценность действительного мира, — из этого положения мы снова исходим, как из чрезмерного заблуждения человеческой суестьи и неразумия, которые долго не признавались за таковые. Заблуждение это достигло своего последнего выражения в современном пессимизме, а раньше в еще сильнейших формах в учении Будды. «Человек *против* мира»; человек как принцип, «отрицающий мир»; человек как масштаб, по которому определяется ценность всех вещей; как судья, который, наконец, и самое бытие положит на свою чашку весов и найдет его слишком легким, — вот противоположения, чудовищную нелепость которых мы, наконец, сознали, и она стала нам противной, — нам даже смешно встретить «человек и мир» рядом друг с другом, разделенными высокопритязательным словечком «и». Но как же? Разве мы со своим смехом не сделали еще дальнейшего в области презрительного отношения к человеку, а следовательно, и в области пессимизма, в области презрения к доступному для нашего познания бытию? Разве мы не стали подозревать наличность другого мира, представляющего контраст с тем нашим миром, в котором мы со своим преклонением чувствовали себя как дома, — ради которого, только пожалуй, мы *и решались продолжать* свое существование, — другого мира, который *мы сами и представляем*. И это неумолимое, прочно основное, неотъемлемое от нас подозрение относительно нас самих все больше и больше охватывает нас, европейцев, и легко может поставить перед грядущими поколениями такую дилемму: «или устраните предмет вашего поклонения, или устраните *самих себя*»! Последнее решение было бы нигилизмом, но разве не будет нигилизмом и первое решение? Вот в чем заключается *наш* вопрос.

---

<sup>1</sup> Фрагмент текста от слов: «Если бы мы и вознамерились...» до слов: «мы знаем, что мир...» дается в переводе Р. В. Грищенко, поскольку отсутствует у А. Николаева.



## 347

*Верующие и потребность во что-нибудь верить.* — О силе (или, выражаясь яснее, о слабости человека) можно судить по тому, насколько нуждается он для своего преуспеяния в вере, насколько он ищет «прочных» основ, потрясения которых он не желает допустить, как потрясения своей опоры. Так уж устроен человек: вы можете на тысячу ладов опровергать основные положения его верований, но раз он считает их для себя необходимыми, он все-таки будет видеть в них «истину». Иным нужна еще метафизика; но и то неудержимое стремление к *достоверности*, которое в настоящий момент разряжается в широких массах под видом научного позитивизма, стремление, в котором сказывается наше *желание* иметь хоть что-нибудь прочно установленным, представляет из себя также стремление к опоре, подставке, короче говоря, тот *инстинкт слабости*, который хотя и не создается, но сохраняется метафизикой и убеждениями всякого рода. Действительно, вокруг всех этих позитивных систем поднимается чад какого-то пессимистического омрачения, какого-то утомления, фатализма, разочарования, страха перед новым разочарованием, — а при виде пережитой злобы дурное настроение духа, приступы анархического гнева и все другие симптомы и весь этот маскарад слабости наших чувств. Даже на стремительность, с которой наши умнейшие современники забываются по углам и щелям, например, в увлечении патриотизмом (под этим словом я подразумеваю французский *chauvinisme*, а для Германии все то, что называется «немецким») или в эстетическом неясном исповедании своего рода парижского *naturalisme* (который выдвигает на первый план и обнаруживает только часть природы, вызывающую к себе одновременно и отвращение, и удивление, — эту часть в настоящее время охотно называют *la vérité vraie*<sup>1</sup>), указывает прежде всего на нашу *потребность* в вере, поддержке, опоре... В верованиях особенно нуждаются там, где не хватает воли: ведь воля, как аффект приказания, является решительным признаком самовластия и силы. Таким образом, чем меньше человек умеет приказывать, тем настойчивее нуждается он в приказах со стороны, строгих приказах — будет ли исходить это повеление от князя, сословия, врача, духовного отца, догмы, партии. Отсюда можно прийти к заключению, что мировые религии, как, например, буддизм, своим возникновением, своим внезапным обаянием обязаны какой-то неслыханной *болезни воли*. Да и в действительности так было: подобные религии заставляли общество в таком напряженном стремлении подчиниться какому-нибудь долгу, обязательству, что люди доходили до отчаяния, до потери разума. Такие религии являлись учительницами фанатизма в то время, когда воля спала, и предлагали вместе с тем массам поддержку, новую возможность проявить свою волю, новое наслаждение волей. Фанатизм и есть именно та единственная форма «силы воли», которую могут также проявить и люди слабые, и неуверенные; она является своеобразным гипнозом всей чувственно-интеллектуальной системы благодаря чрезмерной упитанности (гипертрофии) какой-нибудь точки зрения, какого-нибудь чувства, доминирующего в данный момент. Всякий раз, как человек приходит к убеждению, что те или другие приказания ему должны быть сделаны со стороны, он становится «верующим»; в противном случае он проявлял бы желание и силу самоопределения, он думал бы о *свободе* воли, при которой дух отказывается

<sup>1</sup> Подлинная истина (фр.).

от всякого верования, от всякого желания достоверности, он ловко оставался бы на легкой привязи всякой возможности и танцевал бы на краю пропасти. Такой дух был бы *свободным par excellence*.

## 348

*О происхождении ученых.* — Ученые в Европе появляются при всевозможных общественных условиях и из самых разнообразных слоев общества, как растения, которые не нуждаются в какой-нибудь специфической почве: вот почему они по самому существу своему и невольно оказываются носителями демократической мысли. Но происхождение их всегда обнаруживается в чем-нибудь. Если приучить свой глаз в каждой ученой книге, в каждом научном произведении выделять в процессе творческой работы ученого интеллектуальную его *идиосинкразию* — а ведь каждый ученый обладает таковой, — то всегда за ней можно заметить «прошлое» этого ученого, его семью, а особенно род ее занятий. Всюду, где чувство признает положение: «это теперь доказано, с этим я покончил», говорит предок в крови и инстинкте ученого, который высказывается одобрительно уже из «исполненной работы» о своем угле зрения. Вера в известный довод является только симптомом того, что в данном роде работников считалось «хорошей работой». Например, сыновья всевозможных регистраторов и конторщиков, главная задача которых состояла всегда в том, чтобы приводить в порядок разнообразный материал, разделять его по ящикам и вообще схематизировать, обнаруживают в качестве ученых склонность признавать задачу решенной, как только она будет схематизирована. Попадают философы, которые в сущности исключительно схематизирующие головы, и формальная сторона отцовского ремесла стала их содержанием. Эта способность к классификациям, к созиданию категорий, таким образом, обнаруживает кое-что; на каждом остается отпечаток его родителей. Сын адвоката в качестве исследователя должен быть также адвокатом: прежде всего он хочет выиграть дело, а затем уже, пожалуй, быть правым. Сыновей протестантского духовенства и школьных учителей можно узнать по той наивной уверенности, с которой они признают свои положения доказанными, раз только они были высказаны задушевно, с горячностью: они, в сущности, привыкли, чтобы им *верили*, так как в этом и состояло «ремесло» их родителей! Евреи, наоборот, как по кругу своих занятий, так во всей своей прошлой истории меньше всего привыкли к доверию, — и вот взгляните на еврейских ученых: они все большие мастера в логике, говоря иначе, умеют *вырывать* согласие при помощи основных положений; они знают, что с таким оружием можно оказаться победителями даже там, где против них выступают расовые и классовые антипатии, даже в тех случаях, где им неохотно верят. Именно ничего нет демократичнее логики: личности она совершенно не признает и даже кривой нос принимает за прямой. (Заметим кстати: Европа насчет логики, насчет содержания своей головы *в чистоплотности* немало должна быть благодарна евреям; а особенно немцы, которые до жалкого — *раса dérasionable*<sup>1</sup>, которой и теперь еще прежде всего надо «намылить голову».) Всюду, где сказывалось влияние евреев, они выучивали людей точнее разграничивать явления, делать более

<sup>1</sup> Неразумная (*фр.*).



*Ученые в Европе появляются при всевозможных общественных условиях  
и из самых разнообразных слоев общества, как растения,  
которые не нуждаются в какой-нибудь специфической почве...*

резкие выводы, писать яснее и чище: задача их всегда состояла в том, чтобы вести народ к «*raison*<sup>1</sup>».

## 349

*Еще раз происхождение ученых.* — В желании поддержать свое существование выражается недостаток жизненных средств, ограничение своего главного импульса к жизни, который толкает каждого на то, чтобы *увеличить свою власть* и при этом часто рискует своим самосохранением и даже приносит его в жертву. И когда отдельные философы, как, например, чахоточный Спиноза, видели и должны были видеть в так называемой потребности самосохранения решающий мотив, мы считаем подобный взгляд симптомом того, что эти люди испытывали известные затруднения в средствах к существованию. Тот факт, что наше естествознание запуталось подобным же образом со спинозовским догматом (а это особенно грубо сказалось в дарвинизме в его непонятно одностороннем учении о «борьбе за существование»), — находит себе, вероятно, объяснение в происхождении большинства наших исследователей природы: они принадлежат в этом отношении к «народу», предки их были бедными и незначительными людьми, которые прекрасно знали, что значит пробивать себе путь в жизни. Вокруг всего английского дарвинизма стоит душливая атмосфера перенаселенной Англии, пропитанной запахом нужды и тесноты, в которой живут маленькие люди. Но и исследователю природы необходимо выйти из того угла, куда забилось человечество: и ведь в природе *царит* не нужда, а излишество, расточительность, доведенная до неразумного. Борьба за существование представляет только *исключение*, временное стеснение воли к жизни; великая и малая борьба повсюду происходит из-за превосходства, роста, расширения, из-за власти, сообразно с тем желанием властвовать, в котором только и проявляется жажда жизни.

## 350

*Homines religiosi*<sup>2</sup>. — Борьба против церкви, между прочим — вообще же истолковать ее можно во многих значениях, — является борьбой обыкновенных, более удовлетворенных, более искренних, более поверхностных натур против господства более тяжелых, более глубоких и более созерцательных, иначе говоря, более злых и недоверчивых людей, которые долго и ревниво охраняли ценность бытия, а также свое собственное значение: простой инстинкт народа, его веселый ум, его «доброе сердце» восстали против этих людей. Вся римская церковь покоится на недоверчивости южан к природе человека, которого всегда ложно истолковывали на Севере. В этой подозрительности сказалось то наследство, которое Европейский Юг получил из глубины Востока, от таинственной прародительницы — Азии — и ее созерцательной жизни. Уже протестантизм является мятежом в пользу более прямодушных, чистосердечных и поверхностных людей (Север всегда, по сравнению с Югом, отли-

<sup>1</sup> Разум (*фр.*).

<sup>2</sup> Религиозные люди (*лат.*).



чался большим великодушием и большей пошлостью своих воззрений); но только французская революция передала скипетр вполне и торжественно в руки «хорошему человеку» (овце, ослу, гусю и всем неисправимо плоским существам, крикунам и людям, созревшим для умалишенного дома «современных идей»).

## 351

*В честь священнослужителей по призванию.* — Я думаю о мудрости, как ее понимает народ (а кто же в настоящее время не принадлежит к «народу»?) — о том благоразумном спокойствии, благочестии и пастырской кротости. Философы всегда были очень далеки от этих чувств, вероятно, потому, что были достаточно далеки в этом отношении и от народа, и от пастырей. — Они очень поздно поверят тому, что народ *должен* понимать кое-что о великих *страданиях* — как ни чужды они ему — познающего, который постоянно живет, должен жить в грозовых тучах высших проблем и самой тяжелой ответственности. Народ в своем идеале «мудреца» почитает людей совершенно особого рода и тысячу раз прав, отличая их лучшими своими словами и почестями: это кроткие, суровые, простосердечные и целомудренные пастыри по призванию, люди, родственные ему по природе, — им-то он и изъявляет свою похвалу во всенародном благоговении перед мудростью. Да к кому мог бы народ чувствовать большую благодарность, как не к этим людям, которые к нему принадлежат, из него происходят, но вместе с тем являются посвященными, избранными, принесенными в жертву ради его блага, перед которыми безнаказанно можно излить свое сердце, которым можно открыть все свои тайны, все свои заботы и все свои скверны (человек, «открывающий свое сердце», отделяется от самого себя. А «исповедовавший» забывает). Здесь сказывается великая нужда: для всякой духовной скверны требуются водосточные канавы и чистая вода, нужны быстрые потоки любви и сильные, покорные, чистые сердца, которые жертвуют собой ради этой невидимой гигиены, — ибо пастырство остается принесением людей в жертву... На таких людей «веры», принесенных в жертву, успокоенных и суровых, народ смотрит как на *мудрецов*, мудрец на его языке значит познающий, человек «прочный» по сравнению с собственной его необеспеченностью: кто мог бы отнять у него это слово и это благоговение? — Но справедливо и обратное: у философов пастырь остается одним из «народа», а не человеком «познающим» прежде всего потому, что они сами не верят в людей «познающих», и даже вера и суеверия эти, на их взгляд, слишком отзываются «народом». *Скромностью* изобретено в Греции слово «философ» и предложено актерам духа заносчиво называть себя мудрецами, — но то была скромность таких чудовищ гордости и самовластия, как Пифагор, как Платон.

## 352

*Насколько мораль оказывается для нас излишней.* — Нагой человек представляет, говоря вообще, зрелище зазорное — я имею в виду европейцев (но даже не европейцы!). Представьте себе, что какая-нибудь очень веселая застольная компания увидела бы себя вдруг по мановению волшебника без одежды; мне думается, что сотра-

пезники при этом потеряли бы не только веселое настроение духа, но и самый сильный аппетит, — и кажется, что мы, европейцы, совершенно не можем обойтись без маскарада, то есть одежды. Но разве не такие же веские основания существуют для маскирования «морального человека», для того чтобы он завертывался в моральные формулы и приличия, чтобы мы совершенно добровольно скрывали свои поступки под понятиями долга, добродетели, здравого смысла, честности, самоотречения? И не потому чтобы, на мой взгляд, здесь должна скрываться человеческая злоба и подлость, короче говоря, дурной, дикий зверь; а наоборот, отвратительный вид мы, на мой взгляд, имеем в качестве *ручных животных* и именно как таковые и нуждаемся в моральном одеянии, — «внутренний человек» в Европе далеко не так плох, чтобы не мог переносить своего собственного вида (и чтобы быть вместе с тем прекрасным). Европейец надевает на себя мораль, потому что он сделался больным, болезненным, изувеченным животным, потому что у него имеются полные основания быть «ручным», потому что он представляет из себя почти урода, что-то половинчатое, слабое, неуклюжее... Не страх хищного животного заставляет искать морального одеяния, но глубокая посредственность стадного животного, боязнь самого себя и скука, которую он сам наводит на себя. *Мораль принаряжает европейца* — сознайтесь — в более благородные, значительные, видные формы, во что-то «божественное».

### 353

*О происхождении религий.* — Изобретательность основателей религии сказывается прежде всего в том, чтобы найти определенный образ жизни и повседневных отношений, который действовал бы как *disciplina voluntatis*<sup>1</sup> и освобождал человека от чувства тоски; затем, *истолковать* эту жизнь так, чтобы она являлась пред человеком, окруженная ореолом высшей ценности, чтобы она сделалась благом, за которое люди борются и даже при случае рискуют своею жизнью. В действительности наиболее существенной оказывается вторая из этих двух задач, ибо искомый образ жизни находится в данной среде, но только не выделен, и люди не сознавали, какую ценность он представляет. Значение, оригинальность основателя религии сказывается обыкновенно в том, что он *видит* этот образ жизни, *избирает* его и первым *угадывает*, на что он нужен, как он может быть истолкован<sup>2</sup>. Иисус (или Павел), например, столкнулся с жизнью простонародья в римской провинции, — скромной, добропорядочной и угнетенной жизнью; он сумел истолковать ее, наделив высшим смыслом и ценностью и тем самым — мужеством презирать любой другой образ жизни, — спокойный гернгутерский фанатизм, потаенную самонадеянность, рожденную в катакомбах, которая все крепла и увеличивалась, покуда не ощутила себя готовою «победить мир» (то есть Рим и вообще все высшие сословия в империи). Подобно этому и тот образ жизни, на котором остановился Будда, встречался во всех состояниях и на всех общественных ступенях его народа; такую жизнь вели люди, которые оказывались хорошими и добрыми (а прежде всего безобидными) благодаря своей ле-

<sup>1</sup> Дисциплина воли (лат.).

<sup>2</sup> Фрагмент текста со слов: «Иисус (или Павел)...» до слов: «тот образ жизни...» дается в переводе Р. В. Грищенко, поскольку отсутствует у А. Николаева.

нивой природе, которые благодаря той же лени жили воздержанно, не замечая почти никакой нужды. Он понял, насколько неизбежно, со всей *vis inertiae*<sup>1</sup>, нужно охватить подобных людей верой, обещающей *предотвратить* возврат земной тяготы (то есть труда, занятий вообще), — вот в этом-то «понимании» и выразился его гений. Основатель религии умеет непогрешимо определять среднюю таких духовных настроений, о связи которых раньше никто *не знал*. Он соединяет их всех вместе, и основание какой-нибудь религии в этом отношении является всегда продолжительным праздником познания.

## 354

*О гении рода.* — Вопрос о сознании (вернее, о самопознании) выступает перед нами впервые с того момента, когда мы начинаем понимать, насколько мы можем без него обходиться; а к этому нас ведет теперь и физиология, и история животного царства (которым понадобилось, таким образом, два столетия для того, чтобы достигнуть постоянно улетающую вперед догадку *Лейбница*). Мы могли бы именно думать, чувствовать, желать, вспоминать; мы могли бы равным образом исполнять какое угодно «дело», совершенно не нуждаясь, чтобы все это «доходило до нашего сознания» (выражаясь образно). Вся жизнь была бы возможна даже и в том случае, если бы она, так сказать, и не видала своего изображения в зеркале. Действительно, даже и теперь значительно большая часть этой жизни проходит без такого отражения, — и именно тех процессов жизни, в которых сказывается наша мысль, чувство, желание, как бы ни показалось это оскорбительным более древнему философу. На что же нужно тогда вообще сознание, если оно оказывается *излишним* даже в таких важных пунктах? — Мне кажется — если только вам угодно будет выслушать мой ответ на этот вопрос и мои, пожалуй, слишком свободные взгляды, — мне кажется, что тонкость и сила сознания всегда находятся в известном отношении к *способностям* человека (или животного) к общению с себе подобными, а эта потребность, в свою очередь, зависит от *необходимости в общении*. Однако это последнее положение не следует понимать в таком смысле, как будто каждый индивидуум, даже такой, который проявляет особое искусство в общении и в изъяснении своих потребностей, должен в этих самых потребностях зависеть по большей части от других. Но так именно дело обстоит, на мой взгляд, по отношению к целым расам, к цепи сменяющихся родов: где потребность, нужда заставляла людей долгое время обращаться к общению, быстро и тонко понимать друг друга, там, наконец, образуется излишек этой силы и искусства общения, и в то же время постепенно нарастает способность и ждет наследника, который и будет ее расточительно тратить — (такими наследниками являются так называемые художники и артисты, а также ораторы, проповедники, писатели — все люди, которые появляются в конце длинной цепи и, как сказано, по самому существу своему оказываются *расточителями*). Если вы согласны признать это наблюдение справедливым, то я перехожу дальше к мысли, что *сознание вообще развивалось исключительно под давлением потребности в общении*, что необходимость и польза его издавна признавались в сношениях между людьми (особенно между лицом приказывающим

<sup>1</sup> Сила инерции (лат.).

и повинующимся) и развивалось, лишь поскольку оказывалось полезным в данном отношении. Сознание является собственно сетью, соединяющей людей друг с другом, — и в этом смысле должно было развиваться, одинокий хищник не нуждался бы в нем. Тот факт, что наши поступки, мысли, чувства, движения — по крайней мере часть их — достигают до нашего сознания, является в результате чрезвычайно долгого требования, имевшего силу над человеком: ему, как животному, которому со всех сторон грозили страшнейшие опасности, нужна была помощь, защита, он нуждался в равном себе, он должен был суметь выразить свою нужду, заставить понять себя, — а для всего этого прежде всего необходимо «сознание», необходимо «знать» самому, чего ему недостает, «знать» о своем настроении, «знать» о своих думах. Повторим же еще раз: человек, как всякое живое создание, думает постоянно, не зная об этом процессе, но созидаящая мысль *сознает* только самую маленькую часть своей работы, — скажем, самую поверхностную, самую дурную часть, ибо только такая осознанная мысль *облекается в слова, то есть в знаки общения*, при помощи которых мы констатируем наличность сознания. Короче говоря, развитие речи и развитие сознания (не разума, а только самопознания разума), идут рука об руку. Прибавим, что не только речь служит мостиком, перекинутым от одного человека к другому, но и взгляды, пожатие рук, жесты. По мере того как росла необходимость передавать свои чувства *другим*, увеличивалось в массе и умение распознавать выражение наших чувств, способность фиксировать их и переносить их во внешний мир. Человек, измышляющий подобные знаки, является вместе с тем человеком, который все яснее и яснее познает себя: только как социальное животное человек научается познавать самого себя — он занимается этим и теперь еще, и занимается все больше и больше. — Мысль моя, как видите, заключается в том, что сознание является собственно принадлежностью не индивидуальности человека, а его общественной и стадной природы; что оно, следовательно, развивается, поскольку приносит пользу общественной и стадной жизни, а потому, несмотря на самое искреннее желание понять свою собственную индивидуальность, «познать самого себя», мы будем доводить до своего сознания явления, чуждые нашей индивидуальности, наши «средние». Несомненно, что действия наши в самой своей основе оказываются несравнимыми, как явления личные, в своем роде единственные, безгранично индивидуальные; но как только мы доведем их до своего сознания, *они уже больше не кажутся нам таковыми...* В этом находит свое выражение наш собственный феноменализм и перспективизм, как я его понимаю. Самой природой *животного сознания* обуславливается тот факт, что мир, поскольку он доходит до нашего сознания, оказывается миром поверхностных явлений и признаков, общественным, опошленным миром, — что все доступное нашему сознанию *становится* плоским, жидким, относительно глупым, общим, что при всяком процессе сознания мы портим, фальсифицируем, делаем поверхностными и обобщаем явления. Наконец, рост сознания представляет опасность; и кто живет между европейцами, этими самыми сознательными существами из всех людей, тот знает, что оно является болезнью. Оно, как вы догадываетесь, не будет контрастом между субъектом и объектом; такое различие я предоставляю делать теоретикам познания, которые завязали в изгибах грамматики (народной метафизики). Оно не будет также контрастом между явлением и «вещью в себе», ибо наши «знания» далеко недостаточны для того, чтобы мы решились на такие *различия*. У нас нет органа для *познания*, для «истины»: мы «знаем» (или верим, или воображаем) лишь то, что в интересах





*...сознание вообще развивалось исключительно под давлением  
потребности в общении...*

человеческого стада, рода, что могло быть ему *полезно*; и даже то, что здесь называется «пользой», в конце концов также оказывается верой, воображением и, быть может, прямо той роковой глупостью, которая приведет нас к окончательной гибели.

## 355

*Происхождение нашего понятия «познание».* — Я беру это слово в таком смысле, какой придаст ему улица. Когда мне приходилось слышать, что кто-нибудь в народе говорил: «он узнал меня», я задавал себе вопрос, что собственно народ подразумевает под словом «познание»? чего он хочет, ища «познания»? Явление чуждое свести на нечто *знакомое*, и ничего больше. А разве мы, философы, ждем от познания большего? Знакомым явлением для себя мы считаем такое, к которому мы привыкли настолько, что не находим в нем ничего чудесного, свою повседневную жизнь, правило, которым руководимся, все те факты, среди которых мы чувствуем себя у себя дома. — Как? неужели наше стремление к познанию является простым стремлением уже к знакомому? простым желанием под всяким непривычным, чуждым, непонятным явлением открыть нечто такое, что больше нас уже не тревожит?

Разве не *инстинктивный страх* заставляет нас обратиться к познанию? Разве радость познающего не должна быть радостью человека, снова в себе уверенного?.. Философ этот мнит мир «познанным», с тех пор как свел его к «идее», но разве не потому он сделал это, что данная «идея» для него так знакома, так привычна? не потому, что перед «идеей» он испытывал меньший страх? — Ох уж эта чрезмерная скромность людей познающих! взгляните на их принципы, посмотрите, как решают они мировые загадки! Как счастливы они бывают, когда им удастся открыть в вещах, под вещами или за вещами что-нибудь вполне знакомое нам, например нашу таблицу умножения, нашу логику, нашу волю и желания! Ведь «познано то, что знакомо» — на этом положении сходятся все. Даже самые проникательные люди полагают, что знакомое нам явление оказывается *легче познаваемым*, чем явление чуждое; так, например, в виде метода предлагается исходить всегда из «внутреннего мира», из фактов «нашего сознания», как мира *наиболее* для нас *знакового*. Да ведь это одно из самых коренных заблуждений! Знакомы нам лишь факты привычные, а «познавать» их, то есть рассматривать как проблему, как нечто чуждое, далекое, находящееся «вне нас» — крайне трудно... Надежность выводов, к которым приходят естественные науки, по сравнению с положениями, добытыми психологией и критикой элементов сознания — этих почти *неестественных* наук, как их следовало бы назвать, — основывается на том, что первые имеют объектом своих исследований нечто *чуждое*, тогда как *желание* взять за объект нечто вообще не чуждое нам представляет некоторое противоречие, некоторую нелепость.

## 356

*Насколько в европейскую жизнь будет проникать еще художественное «артистическое» начало.* — Несмотря на то что в наше переходное время многие силы перестали оказывать на человека свое принудительное влияние, заботы о куске хлеба все

же и теперь еще заставляют каждого мужчину в Европе выбрать себе известную *роль*, такое называемое призвание. Некоторым из них представляется свобода — мнимая свобода — самим избрать себе эту роль, большинство же лишено и этого. Результаты бывают удовлетворительными редко: под давлением своей роли в преклонном возрасте изменяется почти каждый европеец, он становится жертвой своей «хорошей игры», он сам забывает, какое громадное значение имели случай, каприз, произвол, когда решался вопрос о его «призвании», — и как много других ролей он *мог бы* сыграть, если бы теперь не было уже поздно. Если в это явление всматриваться глубже, то окажется, что действительно из роли *создался* характер, из искусства — природа. Были века, когда люди с напыщенной уверенностью, почти с благоговением относились к мысли, что каждый род занятий, каждый вид заработка себе куска хлеба должен быть предопределен судьбой, и не допускали здесь случая, роли, произвола: сословия, цехи, наследственное право по отношению к тому или другому промыслу при помощи этой веры способствовали тому, чтобы были воздвигнуты те изумительные общественные перегородки, которыми характеризуются Средние века и за которыми во всяком случае остается одно преимущество — устойчивость (а ведь прочность — на земле величина первого ранга!). А теперь, наоборот, наступили века, собственно демократические, когда все больше и больше отучаются от этой веры и смело выдвигают на первый план противоположную точку зрения, обратную веру, ту веру, которая впервые была замечена у афинян в эпоху Перикла, ту веру современных нам американцев, которая все больше и больше становится верою европейцев: где каждый убежден, что он может почти все выполнить, что он *дорос* почти *до любой роли*, где каждый делает над собой опыты, импровизирует, делает снова опыты, с наслаждением предается этим опытам, где природа перестает действовать и открывается царство искусства... Греки усвоили себе эту *веру* — веру артистов, если угодно, — и проделали, как известно, шаг за шагом превращение удивительное, но далеко не во всем заслуживающее подражания: *они действительно стали актерами*; своей игрой они очаровали, победили весь мир и, наконец, одолели и самого «повелителя мира» (ведь *не* греческая культура, как говорят обыкновенно люди неразумные, и *graeculus histrio*<sup>1</sup> победила Рим)... Но я боялся, что мы, совершенные люди, находимся, как в этом нетрудно убедиться каждому желающему, на таком же пути; и каждый раз, как человек начинает догадываться, насколько он играет роль и насколько еще дальше он *может* быть актером, он становится актером... Вместе с тем выступает новая флора и фауна людская, которая не могла появиться в более отдаленные и более стесненные века — или же должна была оставаться «внизу» под гнетом презрения, — и это оказываются самые интересные и самые безумные века истории, в которых «актеры», всевозможные актеры, являются настоящими господами положения. Но зато люди другого рода, и прежде всего великие «творцы» истории, страдают все глубже и глубже от этих условий, и, наконец, существование их становится невозможным; созидательная сила теперь хромает; пропадает всякое желание строить планы на далекое будущее; организаторский гений начинает иссякать: кто осмелится теперь предпринять работу, на исполнение которой должны *потребоваться целые столетия*? Отмирает та коренная вера, на которую человек может, таким образом, рассчитывать, надеяться, которая позволяла бы ему предвосхищать будущее в своем плане,

<sup>1</sup> Греченок-скоморох (лат.).



жертвовать ради своего плана, ибо человек именно до тех пор представляет из себя известную, осмысленную величину, пока он представляет *камень в каком-нибудь великом строении*: но для этого прежде всего он должен быть *твердым*, он должен быть «камнем», а не актером! Короче говоря — ах, еще довольно долго придется скрывать, — отныне не будет подвигаться вперед, не *может* подвигаться вперед дело возведения общества, если употреблять это слово в старом смысле его; для этой постройки ничего нет, а прежде всего не хватает материала. *Мы все не можем уже больше служить материалом для общества*, это истина, для которой теперь пришло время! И я совершенно равнодушно отношусь к тому, что наши господа социалисты, эти самые близорукие, а вместе с тем самые честные, и во всяком случае самые беспокойные люди нашего времени, все еще верят почти в обратные положения, надеются на них, мечтают, пишут и кричат о них. Ведь лозунг их: «Свободное общество», — и теперь уже написан на всех столах и стенах. Свободное общество? Да! Да! Но знаете ли вы, господа, из какого материала его строят? Из железного дерева! Из знаменитого железного дерева! а не из деревянного...

## 357

*К старой проблеме «что следует считать немецким?».* — Пересчитаем все благоприобретения философской мысли, за которые мир должен благодарить нас, немцев: можно ли их при сколько-нибудь добросовестном отношении поставить на счет всей расе? Или, иначе говоря: являются ли они в то же время произведениями «немецкой души», по крайней мере ее симптомом, в таком же смысле, в каком мы, например, считаем проявлением и признаком «греческой души» идеоманию Платона, его чуть не безумную религию формы? Или справедливо обратное положение? Или же все эти философские системы были настолько индивидуальны, представляли такое же резкое *исключение* из общего духа расы, как, например, язычество Гёте? Или, как маккиавелизм Бисмарка, его так называемая «реальная политика» у немцев? Быть может, наши философы идут даже вразрез с потребностями «немецкой души»? Короче говоря, были ли немецкие философы философами-немцами? — В ответ на этот вопрос я припомню три факта. Прежде всего о несравненной проницательности *Лейбница*, благодаря которой он вышел победителем не только над Декартом, но и над всеми философами, появлявшимися до него, и которая подсказала ему мысль, что сознание является лишь побочным элементом представления, а *не* может считаться необходимым и существенным его атрибутом и что явление, которое мы обозначаем словом «сознание», представляет только известное состояние нашего душевного и духовного мира (быть может, даже болезненное состояние), *а само по себе вовсе не существует*. Заключается ли что-либо специфически немецкое в этой мысли, которая так глубока, что неисчерпана еще вполне и до настоящего времени? Разве есть основание предполагать, что латинянину не так легко пришло бы на мысль представить картину в таком обратном виде? — Вспомним, во-вторых, о том чудовищном вопросе *Канта*, который он начертил относительно понятия «причинности», не подвергая сомнению вообще права этого понятия, как это сделал Юм, а лишь точнее отграничивая область, внутри которой это понятие вообще имеет смысл (и до сих пор пограничная борозда здесь не везде еще проведена). Если мы возьмем, в-третьих,





*Мы все не можем уже больше служить материалом для общества, это истина,  
для которой теперь пришло время!*

удивительный прием *Гегеля*, который оказал давление на всю область традиционной логики при помощи своего учения о том, что все видовые понятия развиваются *друг из друга*: при помощи этого положения умы в Европе были подготовлены к последнему великому научному движению, дарвинизму, ибо без Гегеля не было бы и Дарвина. Есть ли что-нибудь специфическое в этой гегелевской новинке, которая впервые внесла в науку строго определенное понятие «развития»? — Да, без всякого сомнения, мы, немцы, чувствуем, что мы во всех этих трех случаях кое-что сами открыли, кое до чего сами додумались, и мы полны за это благодарности и в то же время изумления; каждое из этих трех положений является выводом нашего немецкого разума в процессе самопознания, самоиспытания, самопроникновения. «Наш внутренний мир гораздо богаче, объемистее, скрытнее», — вот что чувствуем мы вместе с Лейбницем; как немцы, мы сомневаемся вместе с Кантом в законности научного познания и вообще во всем, что может быть познано *causaliter*<sup>1</sup>, и познаваемое как таковое представляет для нас уже меньшую ценность. Мы, немцы, были бы гегельянцами даже в том случае, если бы Гегеля никогда не существовало, поскольку (в противоположность всем латинянам) процессу образования, развития мы инстинктивно придаем и больший смысл, и более богатое значение, чем всему «сущему», едва даже веря в справедливость понятия «бытия»; — и во всяком случае, поскольку мы» не проявляем склонности приписывать нашей человеческой логике значение логики самой в себе, единственной логики (мы могли бы скорее убедить себя, что она представляет из себя особый вид логики, и, быть может, логику самую странную и самую неразумную). — Четвертый вопрос наш заключался бы в следующем: должен ли *Шопенгауэр* со своим пессимизмом, то есть со своей проблемой *ценности бытия*, быть именно немцем. Не думаю. Событие, вслед за которым можно было ожидать появления этой проблемы с такой уверенностью, что астроном души мог бы высчитать для этого день и час, должно быть общеевропейским событием, в котором каждая раса имеет свою долю заслуги и чести. Наоборот, немцам — современникам Шопенгауэра — мир обязан тем, что эта победа атеизма была *задержана* самым рискованным образом на самое продолжительное время; именно *par excellence* заслуга в этом отношении принадлежит Гегелю с его грандиозной попыткой убедить нас в конце концов в божественности бытия при помощи нашего шестого чувства, «исторического чувства». Шопенгауэр, как философ, был *первым* у нас немцем, атеистом, который открыто и упорно объявлял о своем атеизме: он имел полное основание для своей вражды к Гегелю. Положение, что в бытии нет ничего божественного, казалось ему как нечто данное, осязаемое, неоспоримое; он терял свою философскую осторожность и увлекался негодованием каждый раз, когда видел, что кто-нибудь здесь медлит и действует обиняками<sup>2</sup>. В этом заключалась вся его правдивость: безусловно, честный атеизм предстает именно *предпосылкой* его видения проблемы, подобно некоему окончательному и нелегко достигнутому триумфу европейской совести, словно бы чреватый изрядными последствиями акт двухтысячелетнего привыкания к истине, которая в итоге запрещает любую ложь в том, что касается веры в Бога. И тогда становится очевидным, что, собственно, возобладало над христианским Богом: сама христианская

<sup>1</sup> Каузальным путем (*фр.*).

<sup>2</sup> Фрагмент текста от слов «В этом заключается...» до слов: «В то время как мы, европейцы...» дается в переводе Р. В. Грищенкова, поскольку отсутствует у А. Николаева.

мораль, — становящееся все суровее понятие правдивости, утонченность исповедников христианской совести, трансформировавшаяся уже в совесть научную, в своего рода интеллектуальную чистоплотность любой ценой. Трактовать природу в качестве доказательства Божественного промысла; переписывать всю историю для purposes выделения роли Божественного разума, с тем чтобы навечно засвидетельствовать нравственность миропорядка и конечных целей; толковать личные переживания, подобно тому как их издавна толковали набожные люди: любое стечение обстоятельств, любой намек — все измышлено и ниспослано единственно ради спасения души, — теперь со всем этим *покончено*, ибо против этого *восстала* совесть, которой не требуется особенной проницательности, чтобы осознать неприличие, ложь, феминизм, убожество и трусость, содержащиеся во всем этом, — и с нашей суровостью, и с чем бы еще ни было мы есмь *добрые* европейцы, наследники столь затянувшегося, хотя, несомненно, отважнейшего самоопределения Европы. В то время как мы, европейцы, таким образом отталкиваем от себя христианское истолкование явлений и «смысл» его считаем фальшивой монетой, встает перед нами неожиданно во всем своем ужасе *шопенгауэровский* вопрос: *да имеет ли бытие вообще какой-нибудь смысл?* — тот вопрос, который потребует еще две сотни лет для того, чтобы проникли во всю его глубину. В ответе Шопенгауэра на этот вопрос было — да простит мне читатель — что-то поспешное, юношеское... Но он *поставил* вопрос, и сделал это, повторим, не как немец, а как европеец. — А разве немцы, по крайней мере в своем процессе усвоения шопенгауэровского вопроса, проявили свое предрасположение и родство, свою подготовленность к его проблеме и свою потребность в ней? Тот факт, что в Германии после Шопенгауэра — впрочем уже спустя довольно много времени! — стали думать и писать о поставленной им задаче, еще не говорит в пользу такого предрасположения; напротив, из него скорее даже можно вывести заключение об их полной *неспособности* к пессимизму, оставшемуся после Шопенгауэра: из всего видно было, что немцы не могли с ним достаточно освоиться. Здесь я совершенно не имею в виду Эдуарда Гартмана: напротив, и до сих пор я не могу избавиться от своего прежнего подозрения относительно того, что Гартман для нас оказался слишком ловким писателем, я хочу сказать, что он, быть может, как человек лукавый, не только потешался в начале над немецким пессимизмом, — что он мог в конце концов и немцам завещать такое же отношение, насколько возможно было в наш век положительных знаний одурачить даже их. Но я спрашиваю: пожалуй, следует признать немцем и Банзена, этот старый волчок, который со сладострастием всю жизнь свою вертелся вокруг реально диалектической нищеты и «личного несчастья», — разве это могло быть чисто немецким явлением? (я рекомендую его произведения, причем сам я придаю им антипессимистическую ценность именно в виду их *elegantinae psychologicae*<sup>1</sup>, при помощи которых, мне думается, можно оказать целебное воздействие на самое запущенное тело и самую истрепанную душу.) Или нам следует считать истинными немцами таких дилетантов и старых дев, как Майнлендер, этот слащавый апостол девственности? В крайнем случае ему следовало быть евреем (все евреи впадают в слащавый тон, когда начинают морализировать). Ни Банзен, ни Майнлендер, ни даже Эдуард Гартман не сумели как следует взяться за вопрос о том, не является ли пессимизм Шопенгауэра, тот испуганный взор, который он вперял в мир, лишенный бже-

<sup>1</sup> Психологическая элегантность (лат.).



ственного начала, в мир, сделавшийся немым, слепым, в мир, лишенный разума и требующий от человека ответа, его *честный* ужас... не является ли, повторяю, все это не только исключением в немецкой жизни, но даже целым событием в ней. Ведь в самом деле все, что состоит в ней на первом плане — наша храбрая политика, наша веселая привязанность к отечеству, которая все вопросы решает при помощи несложного философского принципа («Германия, Германия прежде всего»), то есть *subspecie speciei*<sup>1</sup>, — совершенно ясно свидетельствует о противном. Нет! Немцы данного момента — *далеко не* пессимисты! И Шопенгауэр был пессимистом, как я уже говорил, *не* в качестве немца, а в качестве европейца.

### 358

*Мятеж крестьянского духа.* — Мы, европейцы, живем среди страшного разрушения всего мира, где одни обломки высоко торчат вверх, многое сгнило и имеет неприятный вид, а большинство предметов лежит на земле в довольно живописном беспорядке — где найдешь еще более прелестные руины? — и поросло большими и мелкими сорными травами<sup>2</sup>. Сей град погибели есмь *Церковь*, религиозная общность христианства предстает нам потрясенной до самого основания, ибо опрокинута вера в Бога; вера в идеал христианского аскетизма из последних сил сражается в своем последнем, гибельном, бою. Столь длительно и основательно создававшееся творение, как христианство — ведь оно было, по сути, итоговой постройкой римлян! — едва ли могло быть снесено в одно мгновение; здесь требовалось содействие разного рода землетрясений — сверлящего, подкапывающего, подтачивающего и подмачивающего духа.

Но всего удивительнее то, что немцы, которые так много потрудились над тем, чтобы поддержать и сохранить христианство, оказываются самыми страшными его разрушителями. Немцы, по-видимому, не понимают сущности церкви. Разве для этого они недостаточно умны? недостаточно недоверчивы?<sup>3</sup> Во всяком случае, самое здание церкви зиждется на свободе и свободомыслии духа южан и в равной степени на их недоверии к природе, человеку и духу — оно зиждется на совершенно ином знании человека, опыте о человеке, нежели тот, каковой был присущ Северу.

Лютеранская реформация была, если брать ее во всей ее широте, выражением гнева простых людей против чего-то «многообразного», говоря осторожно, грубым, простодушным непониманием, которому многое должно простить: люди не умели схватить красоту *победоносной* церкви и видели только повсюду испорченность нравов, не понимали благородного скептицизма, той роскоши скептицизма и терпимости, которую позволяет себе всякая победоносная, сознающая себя сила... В настоящее время мало обращают внимания на то, как во всех кардинальных вопросах о силе Лютер роковым образом оказывался кратким, поверхностным, непредусмотрит-

<sup>1</sup> Здесь: с точки зрения природы (*лат.*).

<sup>2</sup> Фрагмент текста от слов «Сей град погибели...» до слов: «Но всего удивительнее...» дается в переводе Р. В. Грищенко, поскольку отсутствует у А. Николаева.

<sup>3</sup> Фрагмент текста от слов «Во всяком случае...» до слов: «Лютеранская реформация...» дается в переводе Р. В. Грищенко, поскольку отсутствует у А. Николаева.



тельным. Это обуславливалось прежде всего тем, что он вышел из народа, которому в наследство ничего не досталось от господствующей касты, от инстинктивного влечения к силе. Таким образом, его работа положила только начало разрушительной деятельности. С благородной злобой рвал он ткань, на которую старый паук употребил так много времени и так много забот. Он открыл доступ к священным книгам каждому, — и они попали тогда, наконец, в руки филологов, этих губителей всякой веры, которая покоится на спасении. Устраняя веру во вдохновенность соборов, он разрушал и самое понятие церкви, ибо понятие церкви почерпает свою силу из того предположения, что самое вдохновение, под влиянием которого была основана церковь, еще живет в ней, еще ожидает и продолжает свою созидательную работу. Он снова разрешил священнослужителям сношения с женщинами: но три четверти того благоговения, на которое способен народ, и особенно женщины из народа, покоится на уверенности, что человек, представляющий исключение в данном отношении, является исключением и в другом; и именно в этой уверенности находит своего тончайшего и искуснейшего адвоката народная вера в наличие чего-то сверхчеловеческого в самом человеке, в наличие чуда. Давая жену священнослужителю, Лютер должен был бы отнять у него тайную исповедь; это было бы справедливо с психологической точки зрения, но вместе с тем в корне уничтожало значение христианского священнослужителя, польза которого и заключалась главным образом в том, что он был всегда священным ухом, скрытым родником, могилой для тайны. За формулой «каждый должен быть своим собственным священнослужителем» и за мужицкой хитростью скрывалось у Лютера глубокая ненависть к высшему человеку и господству «высшего человека», как его понимала церковь; — он разбил идеал, до которого не сумел подняться, хотя ему казалось, что он с ожесточением борется против вырождения этого идеала. Действительно, этот невозможный монах оттолкнул от себя *godspeople homines religiosi*; таким образом, внутри религиозной общины он вызвал тот «крестьянский бунт», проявлению которого в гражданском обществе он препятствовал всеми своими силами. Но разве найдется такой наивный человек, который стал бы теперь хвалить или порицать Лютера за все те дурные и благие последствия, которые выросли на почве его Реформации и теперь еще не могут быть достаточно учтены? Он ни в чем не повинен, ибо не ведал, что творит. Несомненно, что вместе с лютеровской Реформацией сделал сильный шаг вперед тот процесс, который опошляет дух североевропейских народов; таким путем возрастала подвижность и беспокойство духа, его жажда независимости, его вера в право на свободу, его «естественность». Если, наконец, вам угодно в число заслуг лютеранской Реформации поставить ее содействие тому явлению, которое мы в настоящее время почитаем как «современную науку», то вы, конечно, должны согласиться, что она в то же время содействовала вырождению современных ученых, убавила у них чувство благоговения, стыда, сделала их более мелкими, отняла у них всю наивность чистосердечия и прямоты в вопросах познания, короче говоря, она виновата в том *плебеизме* духа, который составляет такую характерную особенность двух последних столетий и от которого нас до сих пор еще не освободил современный пессимизм. — Да, «современные идеи» являются еще продуктами этого крестьянского бунта северных народов против более холодного двусмысленного, недоверчивого духа южных жителей... Не забудем же, наконец, что представляет из себя церковь в противоположность всякому «государству». Она является прежде всего образцом такой власти, где за *более одухотворенными* людьми

обеспечено самое высокое положение, при которой люди настолько верят в мощь духовного начала, что отказываются от всяких более грубых средств насилия, — и церковь, таким образом, при всяких обстоятельствах оказывается более благородным институтом, чем государство.

## 359

*Мсть духу и другие скрытая основания морали.* — Как вы думаете: кто самый опасный и самый коварный адвокат морали? Это — неудачник, у которого не хватает духа радоваться своим неудачам, но который достаточно образован, чтобы сознавать их; это человек, которому все надоело, наскучило, который сам себя презирает; небольшое наследство отняло у него, к сожалению, и последнее утешение, «благословение труда», самозабвение в «ежедневной работе»; это человек, который, в сущности, стыдится собственного своего существования, — который к тому же, быть может, приютил у себя один-другой небольшой порок. Благодаря книгам, на которые он не имеет никакого права, или под влиянием более развитого общества, если он в состоянии его переваривать, он не может не избаловываться все больше и больше и становится суетно-раздражительным. Такой неудачник отравляется все больше и больше, ибо ум для него становится ядом, образование — ядом, имущество — ядом, одиночество — ядом. И он преуспевает в конце концов только в мести, желании мести... как вы думаете, разве не будет он чувствовать неотступной нужды сделать перед самим собой вид, что он считает себя выше других, более умных и одухотворенных, людей, для того чтобы вполне упиться, хотя бы только в воображении, услодой *исполненной мести*. *Нравственность*, о которой еще приходится спорить, громкие слова, шумные разговоры о справедливости, мудрости, святости, добродетели, стоицизм жестов (как хорошо прикрывает стоицизм все то, чего *не* хватает человеку!..), плащ глубокомысленного молчания, снисходительности, кротости и все другие наряды идеалистов, в которых щеголяют эти люди, неизлечимо страдающие чувством презрения к себе и суетностью, вот с чем он никогда не расстанется. Но не истолкуйте моих слов ошибочно: из среды таких людей, уже прямо родившихся *врагами духа*, появляются индивиды, которые почитаются народом под именем святых, мудрецов; из числа таких людей происходят те чудовища нравственности, которые производят шум, делают историю, — святой Августин принадлежит к ним. Страх перед духом, мсть духу, — о, как часто эти пороки, обладающие способностью к росту, становились корнем добродетелей! Самой добродетелью! — И, говоря между нами, разве то притязание *на мудрость*, которое выказывали философы, глупейшее, и самое нерешительное из всех притязаний, не было до сих пор, как в Индии, так и в Греции, *прежде всего убежищем, куда можно человеку укрыться?*.. Но во многих случаях это стремление философа укрыться от утомления, старости, охлаждения, очерствелости выступает, когда человек чувствует близость своего конца, оказывается благоразумным проявлением того инстинкта, который мы видим у умирающих животных: они отходят в сторону, делают тихими, ищут уединения, зарываются в норы, становятся муdryми... Как? Мудрость является оплотом философа от духа?



*...плащ глубокомысленного молчания, снисходительности, кротости и все другие  
наряды идеалистов, в которых щеголяют эти люди, неизлечимо страдающие  
чувством презрения к себе и суетностью...*

## 360

*Два рода причин, которые обыкновенно людьми смешиваются.* — Моей существенной заслугой, по-моему, будет мое ученье о необходимости различать причину, побуждающую человека к действию вообще, от причины, направляющей деятельность его известным образом, к известной цели. Первая причина представляет из себя сумму всех потенциальных сил человека, которые только и ждут того, чтобы найти себе к чему-нибудь приложение; второй же род причин, по сравнению с первой силой, является незначительным поводом, который «разряжает» тот запас силы известным, определенным образом; эта последняя причина по отношению к первой играет такую же роль, как спичка по отношению к пороховой бочке. К числу всех этих незначительных и случайных поводов, этих спичек, я отношу все так называемые «цели» и еще более пресловутые «призвания жизни»: они сравнительно величины произвольные, почти безразличные по отношению к тому громадному запасу сил, которые, как сказано, стремятся найти себе где-нибудь приложение. Обыкновенно же люди смотрят на вещи совершенно иначе: в цели (призвании и т. д.) они привыкли видеть *движущую* силу, как этому учило старое заблуждение, — между тем как всякая цель (призвание и т. д.) является лишь *направляющей* силой; таким образом, смешивают с паром кормчего, и даже не всегда кормчего, направляющую силу... Разве «цель» не служит довольно часто только красивой отговоркой, лишним ослеплением, суетностью, которая не хочет сознаться, что корабль идет по течению, куда он попал случайно? Что он «хочет» лишь *потому, что он должен?* Что он действительно держится известного направления, но кормчего у него нет? — Да, понятие «цели» необходимо еще подвергнуть критике.

## 361

*О проблеме актера.* — Проблема актера беспокоила меня очень долгое время; я оставался в неведении (да и теперь еще иногда не знаю), не будут ли исходить только из нее, когда придется считаться с опасным понятием «артист», — одним из тех понятий, с которыми до сих пор обращались с непростительным легкомыслием. Обман с покойной совестью; стремление к притворству, как силе, вспыхивающей, отодвигающей в сторону так называемый «характер», затопляющей, иногда погашающей, внутреннее стремление к роли, к маске, к наружному блеску; излишняя способность приспособляться ко всевозможным положениям, не довольствуясь в этом отношении указаниями ближайшей пользы в самом тесном смысле этого слова: или, быть может, все это признаки не *только* актера?.. Подобный инстинкт легче всего образуется в семьях, принадлежащих к низшим слоям населения, которым приходится проводить свою жизнь в тяжелой зависимости и под давлением изменяющихся обстоятельств, уступчиво скрываться к себе, в укромное место, всегда по-новому устраивать свою жизнь при новых обстоятельствах, приспособившись распускать свой плащ по всякому ветру и чуть ли целиком не обращаясь в подобный плащ, как истинный мастер того искусства вечной игры в прятки, которое нашло свое воплощение в животном царстве в так называемой *mimicry*<sup>1</sup>. Способность эта накапливается из рода

<sup>1</sup> Мимикрия (англ.).



в род, становится властной, неразумной, необузданной, в качестве инстинкта научается повелевать другими инстинктами и воспитывает актера, «артиста» (шалопаю, рассказика небылиц, паяца, глупца, клоуна прежде всего, а затем классического лакея, Gil Blas: ибо именно в этих типах являются в истории предтечи артиста и довольно часто даже «гения»). Но раз существует подобное давление, то и при высших общественных условиях вырастает такого же рода человек, только актерский инстинкт при этом в большинстве случаев держится в узде каким-нибудь другим инстинктом, как, например, у «дипломата». Что же касается до евреев, народа, в совершенстве обладающего искусством приспособляться, то, следуя указанному ходу мыслей, можно видеть в них как бы приспособление мировой истории для выкормки и вывода актеров; и, действительно, в настоящее время совершенно уместно задать вопрос: кто из хороших актеров в настоящее время — не еврей? В качестве прирожденных литераторов, в качестве действительных владык европейской прессы еврей также силен своей актерской способностью, ибо каждый литератор, в сущности, оказывается актером, а именно на ролях «человека компетентного» и «специалиста». — Наконец, разве не *должны* быть прежде всего актрисами женщины, если говорить о женщинах вообще? Послушайте врачей, которые гипнотизировали женщин; наконец, полюбите их, — дайте им «загипнотизировать» вас. Что же всегда при этом оказывается? Да, оказывается, что они «играют себя» даже в том случае, когда отдаются... женщина ведь такая артистическая натура.

## 362

*Мы видим, что Европа все более и более будет приобретать мужской характер.* — Благодаря Наполеону (а никак не французской революции, которая окончилась братством народов и всеобщим цветистым обменом сердечных излияний) мы имели два воинственных столетия, которые следовали одно за другим и которым в истории не было ничего равного, говоря короче, мы вступили в *классический век войны*, ученой и вместе с тем народной войны в огромном масштабе, век, на который грядущие столетия будут смотреть с завистью и почтением как на что-то совершенное. В самом деле национальное движение, из которого вырастает эта военная слава, представляет только противоядие по отношению к Наполеону и без него не имело бы места. В заслугу ему должны мы также поставить то обстоятельство, что *муж* в Европе снова стал господином над купцом, и филистером, и, пожалуй, даже над женщиной, которую так избаловали христианство, сумасбродный дух XVIII столетия и «современные идеи». Наполеон, который на современные идеи, а потому и на цивилизацию Европы смотрел, как на своих личных врагов, оказался благодаря этой вражде величайшим продолжателем возрождения: он снова воздвиг античную фигуру. И, кто знает, быть может, сй в конце концов покорится национальное движение, и она должна стать прямой наследницей и продолжательницей Наполеона, который, как известно, хотел, чтобы единая Европа была владычицей всей *земли*.

## 363

*Как относятся к любви мужчины и женщины.* — Несмотря на все уступки, которые я готов делать моногамическому предрассудку, я никогда не соглашусь говорить об *одинаковых* правах в любви у мужчины и женщины: этого и в действительности нет. Мужчина и женщина понимают под словом «любовь» нечто различное даже в том случае, когда они взаимно связаны этим чувством, и это оттого, что один пол предполагает у другого пола *не* одно и то же чувство, *не* одинаковое понятие любви. Нетрудно сообразить, какие представления связываются у женщины со словом «любовь»: любить для нее — значит всецело отдаться и душою, и телом, без оговорок, без оглядки, она скорее испытывает даже стыд и ужас перед мыслью обставить свой дар, свою жертву какими-нибудь условиями, ограничить какими-нибудь оговорками. Благодаря присутствию всяких условий любовь ее становится *верой*, и у женщины она не может быть ничем иным. — Мужчина, когда он любит женщину, именно этой любви и *хочет* от нее, а потому у него-то самого меньше всего следует искать такой же женской любви; но если допустить, что должны существовать мужчины, которым также не чуждо стремление отдать себя всецело в порыве любви, то такие мужчины не будут больше мужчинами. Мужчина, который любит любовью женщины, становится рабом, но женщину такая же любовь делает *совершенной*... Страсть женщины с ее безусловным отказом от собственных прав заставляет предполагать, что с другой стороны нет подобного пафоса, нет подобного добровольного отказа. В самом деле, что получилось бы, если бы в любви обе стороны одинаково отказывались от себя, — быть может *horor vacui*<sup>1</sup>? — Женщина желает, чтобы ее принимали за объект владения, она хочет входить составною частью в понятие владения, следовательно, она желает такого человека, который *берет*, который не отдает самого себя, а обратно должен еще обогатить свой внутренний мир ее силой, счастьем, верой: этого только она и хочет. Женщина отдает себя, мужчина принимает ее дар, — и этот естественный контраст, мне думается, нельзя устранить ни социальным договором, ни самыми искренними пожеланиями справедливости, как нам ни хотелось бы, чтобы вся жестокость, ужас, загадочность, безнравственность этого антагонизма не стояла постоянно перед нашими глазами. Ибо любовь, если ее брать во всем ее объеме, является самой природой и, как природа, будет вечно чуждой всякой морали. — *Верность* поэтому оказывается составным элементом женской любви, что видно из ее определения; и мужчина *может* легко приобрести верность в любви, под видом ли благодарности, или идиосинкразии вкуса, или так называемого избирательного сродства, но верность никогда не будет *существенной* частью его любви, — и можно даже с полным правом говорить о естественной противоположности между любовью и верностью у мужчины, той любовью, которая проявляется в желании обладать, а *не* в *отказе*, в самопожертвовании; а это желание исчезает всякий раз, как только обладание достигнуто... И, действительно, любовь у мужчины остается в полной силе благодаря тому, что он редко и поздно признается себе в таком «обладании», а потому острее чувствует потребность в нем и недоверчивее к нему относится, и, до тех пор пока любовь может еще развиваться в сторону самопожертвования, мужчина нелегко согласится с тем, что женщина уже ничего больше не может принести ему в жертву.

---

<sup>1</sup> Некий вакуум (лат.).



*Женица отдає себя, мужчина принимает ее дар...*

## 364

*Отшельник говорит.* — Искусство общения с людьми существенным образом покоится на той ловкости (требующей продолжительного упражнения), с которой вы преподносите яства, не пользующиеся у них решительно никаким доверием. Дело идет легко, если допустить, что к столу являются лица, томимые волчьим голодом; но когда этот голод нужен, его как раз и нет! Ах, как трудно переварить своих собратьев по роду людскому! Первый принцип: выдвигать при несчастье свое мужество, храбро хватать, удивляться самому себе и сдерживать в себе позыв к тошноте. Второй принцип: «сдобрить» своего собрата по роду людскому, например, путем похвалы так, чтобы счастьем его прошибло по всему телу, как потом; или же схватиться за краешек какого-нибудь его хорошего или «интересного» свойства и тянуть за него до тех пор, пока не вытащишь всей добродетели, чтобы в складки ее можно было сунуть собрата. Третий принцип — самогипнотизирование: закреплять объект нашего общения, как стеклянную пуговку до тех пор, пока человек не перестанет при этом испытывать удовольствие и неудовольствие и незаметно заснет, зачленеет, получит посадку. Это последнее средство прекрасно испробовано в брачной жизни и дружбе и считается там необходимым, но в науке еще не получило соответствующей формулировки. Народ называет его терпением.

## 365

*Отшельник говорит еще раз.* — Мы так же вступаем в общение с людьми мы так же почтительно надеваем платье, в котором нас признают, уважают, и входим в общество, то есть в толпу одетых людей; мы поступаем так же, как всякая благоразумная маска и ставим вежливо перед дверьми стул для каждого любопытного, раз его любопытство не касается нашего «одеяния». Но у людей есть и другие способы «общения» друг с другом, например при помощи призраков, — что особенно полезно, когда хотят человека оставить на свободе и вместе с тем запугать его. Например, на нас бросаются, но не схватывают, а только пугают. Или: мы являемся через запертую дверь. Или: когда потушены все огни. Или: когда мы уже мертвы. Последнее — искусство *par excellence* тех, кто родился по смерти своего отца. («Что вы думаете? — говорил однажды нетерпеливо один из них. — Разве нам приятно было бы выносить всех этих холодных, чуждых нам людей, всю эту могильную тишину, все это подземное, скрытое, немое одиночество, которое у нас называется жизнью и которое с таким же успехом можно было бы назвать смертью, если бы мы не знали, что *делается* из нас — и что по смерти мы снова вернемся к своей жизни и снова оживем — ах, слишком будем живыми, мы, рожденные по смерти своих отцов!»). —

## 366

*По поводу одной ученой книги.* — Мы не принадлежим к числу тех людей, которые наталкиваются на мысль только тогда, когда они находятся среди книг, когда они получают известный толчок со стороны этих книг, — мы, напротив, привыкли думать на свободе, во время ходьбы, прыгая, стоя, танцуя, особенно же среди уединенных гор или у



самого моря. Первый важный вопрос, который мы предлагаем относительно книги, человека и музыки, гласит следующее: «может ли он идти? и даже более, может ли он танцевать?». Мы редко читаем, и поэтому читаем недурно, — о, как быстро отгадываем мы, каким путем тот или другой человек дошел до своей мысли; не сидел ли он при этом над чернильницей, сдавив себе живот и нагнув голову над бумагой: о, как быстро справляемся мы с его книгой! Можно пари держать, что прищемленное нутро дает себя чувствовать так же определенно, как воздух, потолок, сдавленное стенами помещение комнаты. — Вот что я чувствовал всякий раз, как с благодарностью, с глубокой благодарностью, но и с облегчением закрывал правдивую ученую книгу... В книге любого ученого почти всегда есть что-то давящее, сдавленное: «специалист» везде, где только можно, дает чувствовать свое рвение, свою горячность, свою злость, переоценку того угла, где он сидит и тклет свою паутину, свой горб, — ведь у каждого специалиста есть свой горб. Ученая книга всегда отражает согнутую в три погибели душу: каждое ремесло кривит человека. Взгляни на друзей своей молодости, после того как они овладели своей наукой: ах! как оказывается все изменившимся в обратную сторону! Ах как они навсегда загромождены собой, одержимы собой! Они выросли в свой угол, сжались там до неузнаваемости, потеряли свою свободу, равновесие, похудели, стали угловатыми, — и невольно чувствуешь волнение и молчишь, когда их снова находишь в таком виде. Каждое ремесло, если даже оно стоит на золотой почве, то все-таки над собой имеет свинцовую крышу, которая давит и давит на душу, пока она не станет чудаковатой и кривой. И в этом отношении ничего нельзя изменить. Не верьте, чтобы избежать этого можно было при помощи какого-нибудь искусства воспитания. Всякое совершенство в работе ценится высоко на земле, где, пожалуй, на все стоят слишком высокие цены; за плату ты становишься человеком ремесла для того, чтобы стать жертвой своего дела. Но вы хотите чего-то иного, — «подешевле», и прежде всего поспокойнее, — не правда ли, господа современники? Ну хорошо! Но тогда вы и получите нечто иное, а именно вместо ремесленника и мастерового — литератора, ловкого, достаточно извертевшегося литератора, которому недостает горба, — если не считать того, которой он нажил перед вами в качестве приказчика духа и «носильщика» образования, — литератора, который, собственно, ничто, но «представляет» почти во всем, который разыгрывает роль знатока, принимает ее на себя настолько скромно, что его действительно считают, почитают, прославляют как знатока. — Нет, мои ученые друзья! Я благословляю вас за горб ваш! И за то, что вы подобно мне презираете литераторов и блюдолизов образования! За то, что вы не умеете торговать своим духом! За то, что вы громче высказываете свои мнения, которые не находят себе выражения в денежных знаках! За то, что вы не прикидываетесь тем, чего вы в действительности не представляете из себя! За то, что единственным вашим желанием было сделаться мастером своего ремесла, в благоговении перед совершенством и способностями, не обращая ни малейшего внимания на все, что *in litteris et artibus*<sup>1</sup> отличается наружным блеском, нарядами, виртуозностью, отзывается демагогией, актерством, — где сказываются все те требования, безусловная доброкачественность которых не может быть вам доказана<sup>2</sup>. (Даже гениальность не в силах устранить подобный

<sup>1</sup> В литературах и искусствах (*лат.*).

<sup>2</sup> Окончание § 366, равно как и следующий за ним § 367, даются в переводе Р. В. Грищенкова, поскольку отсутствуют у А. Николаева.

ущерб, сколь бы ни преуспела она в его сокрытии: стоит лишь однажды хорошенько присмотреться к нашим сверхталантливым художникам и музыкантам, дабы вполне уяснить себе это, — почти все до одного эти таланты при помощи искусных манер и любых доступных средств наряду с принципами способны искусственно и задним числом сотворить *видимость* искренности, солидной ученой базы и культуры, хотя сами-то нисколько не обманываются на свой счет, и речения их лжи отнюдь не заглушают гласа укоряющей совести. Ибо, ведь вы наверняка это знаете, от упреков своей совести страдают все современные таланты...)

## 367

*Как прежде всего следует различать произведения искусства.* — Творимое мыслью в стихах, музыке и даже в архитектуре и скульптуре — все это из области монологического искусства либо искусства, выносимого на публику. К последнему уместно причислить и псевдомонологическое искусство, основывающееся на вере в Бога, всю лирику молитвы: ибо для набожного человека нет одиночества — это измыслили мы, безбожники. Мне неведомо более разительное отличие, определяющее самое видение художника, нежели следующее: взирает ли он на создающееся творение (на «себя») глазами стороннего наблюдателя, или он творит, «забыв про весь мир», что является характернейшей особенностью любого монологического искусства, — оно покоится *на забвении*, оно есмь музыка забвения.

## 368

*Циник говорит.* — Возражения мои против музыки Вагнера являются возражениями физиологическими: зачем же мне и приодевать их в эстетические формулы? «Факт» мой заключается в том, что, когда я подвергаюсь воздействию этой музыки, дыхание у меня затрудняется; *ноги* мои восстают против нее, ибо им нужен такт, танец, марш и они прежде всего от музыки требуют того наслаждения, которое заключается в *хорошем* ходе, шаге, прыжке, танце. — Но разве не протестует также мой желудок? мое сердце? мое кровообращение? мои внутренности? Разве я не становлюсь при этом незаметно охриплым? — И, таким образом, я спрашиваю себя: чего собственно *хочет* все мое тело от музыки вообще? Мне думается, *облегчения* себе: как будто все животные функции протекают быстрее под влиянием легкого, смелого, резвого ритма; как будто железная, свинцовая жизнь должна быть позолочена золотой, нежной гармонией. Тоска моя хочет отдыхать в пучинах и притонах *совершенства*: вот на что нужна мне музыка. Что мне за дело до драмы! На что мне корчи ее нравственных экстазов, в которых находит себе удовлетворение «народ»? На что мне все эти фокус-покусы актерских жестов!.. Ясно, что я в сущности антитеатрал, тогда как Вагнер по самому существу своему человек театра и актер, самый восторженный мимоман, какие только существовали среди музыкантов... Кстати, если теория Вагнера говорила, что «драма является целью, а музыка — всегда только средством для нее», то *практика* его, напротив, с начала до конца показывала, что «*позы* являются целью, а драма и музыка всегда только средством для них». Музыка как средство для прояс-



*Тоска моя хочет отдыхать в пучинах и притонах совершенства:  
вот на что нужна мне музыка*



нения, укрепления, проникновения драматических жестов, и вагнеровская драма как повод для многих драматических поз! Наряду со всеми другими инстинктами у него во всем — а потому и в музыке — сказывался властный инстинкт великого актера. — Однажды я пояснил с некоторым трудом эту мысль одному честному вагнерианцу; и я имел основание прибавить еще: «будьте же немного честнее по отношению к самим себе: мы ведь не в театре! В театре человек бывает честным, поскольку он принадлежит толпе; как индивид, он лжет, он облыгает самого себя. Отправляясь в театр, вы оставляете самого себя дома, вы отказываетесь от права своего собственного языка, своего выбора, от своего вкуса, своего мужества, которые вы проявляете внутри своих четырех стен по отношению к божеству и человеку. Никто — даже художник и артист, работающий для театра, — не несет в театр самого тонкого понимания своего искусства: там народ, публика, стадо, женщины, фарисеи, демократы, наши братья по роду людскому, личная совесть там подчиняется нивелирующим чарам „больших чисел“, глупость там действует как похоть, и проявляет силу контагия, там царствует и „ближний“ и там человек становится „ближним“...». (Я позабыл рассказать, что ответил мне на физиологические потребности проясненный вегетарианец: «они, следовательно, собственно недостаточно здоровы для нашей музыки?».)

## 369

*Наши смежные свойства.* — Не должны ли мы, артисты и художники, признать, что в нас дают себя чувствовать страшные контрасты, что наш вкус и наша творческая сила удивительным для себя образом стоят, остаются стоять и растут — я говорю о совершенно различных степенях и *tempi* старости, молодости, зрелости, дряблости, лени? Так, например, музыкант в течение всей своей жизни мог бы создавать такие вещи, которые *противоречат* тому, что ценится его ухом, его сердцем, когда он является в роли слушателя, что ему тогда нравится, что он тогда предпочитает, — и к тому же он ни разу не чувствовал нужды узнать об этом противоречии! Можно, как это показывает мучительно-беспрерывный опыт, со своим вкусом легко вырасти из тех рамок, которые определяются вкусом нашей силы, причем этот последний не будет не изувечен и не задержан в своем развитии; может даже случиться обратное, и на это я и привлекаю внимание артистов и художников. Беспрерывно творящий дух, «мать» человеческого рода в великом смысле этого слова, такой человек, который меньше всего знает о беременности и родах своего духа, у которого нет времени думать о себе и о своем произведении, сравнить его с чем-нибудь иным, у которого также нет желания проявлять еще свой вкус и он просто забывает о нем, предоставляя ему именно стоять, лежать или упасть — такой человек может дать в конце концов произведение, до которого он со своим суждением еще далеко не дорос, — и тогда он и о себе, и о своем произведении думает и высказывает какую-нибудь глупость. Такое отношение к своим произведениям у плодovitых художников мне кажется даже почти нормальным — ведь родители знают своего ребенка хуже, чем любой посторонний человек, — и эта мысль (если брать поразительный пример) подтверждается на всем мире греческих поэтов и художников, которые никогда не «сознавали» того, что они делали.



## 370

*Что такое романтизм?* — Быть может, по крайней мере, мои друзья вспомнят, что начал я с важных заблуждений и переоценок и, во всяком случае, как человек, питающий известные надежды на наш современный мир. Я понимал — кто знает, на основании какого личного опыта? — философский пессимизм XIX века как симптом высшей по своей силе мысли, неустрашимого мужества, богатого *избытка* жизни — всех тех качеств, которыми отличалось XVIII столетие, этот век Юма, Канта, Кондильяка и сенсуалистов; таким образом, трагическое истолкование жизни казалось мне собственно *роскошью* нашей культуры, самым дорогим, самым благодарным и самым опасным родом расточительности, вытекающей, впрочем, из чрезмерного богатства этой культуры, и представляющей из себя роскошь *дозволенную*. Подобным же образом и немецкую музыку я объяснял себе как выражение дионисовской мощи немецкой души: в ней мне слышалось землетрясение, при помощи которого нагроможденная здесь издревле первичная сила прочищает воздух, — будет ли при этом содрогаться все, что называется ныне культурой, или нет, безразлично. Как видите, я несправедливо тогда судил о том, что собственно является типичным для философского пессимизма и немецкой музыки, — об их *романтизме*. Что такое романтизм? То искусство, ту философию следует рассматривать как делительное средство, как средство помощи, предназначенное для растущей борющейся жизни: они всегда предполагают страдание и страждущих. Но страдающие бывают двух родов: одни страдают *от избытка жизни*, и они-то и желают дионисовского искусства и трагического взгляда на жизнь, — другие же страдают от *оскудения* жизни и ищут в искусстве и познании покоя, тишины, гладкого моря, освобождения от самих себя, опьянения, корчей, оглушения, обмана чувств. Этим двойственным потребностям *последних* соответствует весь романтизм в искусстве и познании, им соответствовал (и соответствует) Шопенгауэр, и Рихард Вагнер, те наиболее знаменитые и наиболее сильные выразители романтизма, которых я раньше так *не понимал*, — впрочем, не во вред им, как можно по справедливости согласиться со мной. Богатый своей жизненной силой, дионисовский бог и человек, может радоваться не только ужасному и загадочному зрелищу, но даже ужасным деяниям и роскоши разрушения, уничтожения, отрицания; дурное, бессмысленное и ненавистное кажется ему одинаково разрешенным благодаря тому излишку производительной силы, который каждую пустыню может превратить в роскошную, плодородную страну. Наоборот, тому, кто страдает от оскудения жизненных сил, прежде всего нужны покой, мир, добро и в мыслях, и в делах, а где возможно — божество, которое должно быть богом больного человека; ему нужна также логика, понятное объяснение бытия, — ибо логика успокаивает, предрасполагает к доверию — одним словом теплую, безопасную щель и со всех сторон оптимистический горизонт. Вот как научился я понимать постепенно Эпикура, этот контраст дионисовскому пессимисту, — и мой взор все больше и больше изощрялся в той самой тяжелой и опасной форме *обратных заключений*, в которой и делается огромное большинство ошибок — от произведения к автору, от деяния к его виновнику, от идеала к тому, для кого он *оказывается необходимым*, от известного способа мысли и оценки к тем *потребностям*, которые за ними скрываются. — В области всех эстетических ценностей я прибегаю к следующему основному различию. В каждом отдельном случае я задаю себе вопрос: «голод или излишек являются здесь творческой силой?». Само собою раз-

умеется, я мог бы еще больше рекомендовать другое различие — оно же притом гораздо нагляднее, — именно следует обратить внимание, вызывает ли к творческой деятельности стремление к окоченелому состоянию, к увековечению, к *бытию* или же стремление к разрушению, к переменам, к новшествам, к будущему, к *процессу созидания*. Но если всматриваться глубже, то окажется, что и то и другое стремление имеют два значения, которые легко понять по вышеприведенной схеме, которой, как мне думается, было отдано предпочтение. Стремление к *разрушению*, переменам, процессу созидания может быть выражением чрезмерной, чреватой будущим силы (мой *terminus* для нее, как известно, «дионисовская»), но здесь же может проявляться также и ненависть неудачника, человека, терпящего крайнюю нужду, пропадающего человека, который разрушает, *должен* разрушать, потому что его возмущает и раздражает все, что стоит неподвижно, всякое бытие, — для того чтобы понять этот аффект, присмотритесь поближе к нашим анархистам. Желание *увековечить* какое-нибудь событие равным образом должно быть подвергнуто двойному толкованию. Оно может вытекать из чувства благодарности и любви: искусство, происходящее из этого источника, будет всегда искусством апофеоза, оно будет, пожалуй, дифирамбом у Рубенса, блаженно насмешливым у Хафиза, ясным и добрым у Гёте и искусством, распространяющим на все свет и славу Гомера (в этом случае я говорю об *аполлоновском* искусстве). Но оно может быть также той тиранической волей человека тяжело страдающего, борющегося, измученного, который мог принять за обязательный и принужденный закон то, что у него есть самого личного, что является в своем роде единственным, что связано с ним самым тесным образом, что собственно представляет идиосинкразию его страдания; он мстит всему миру тем, что на всякой вещи выдавливает, выжигает *свое* изображение, изображение своего страдания. — Последнее и есть *романтический пессимизм* в своей наиболее выразительной форме, будет ли то шопенгауэровская философия воли или вагнеровская музыка; романтический пессимизм — последнее *великое* событие в судьбе нашей культуры. Мое предвидение и предчувствие подсказали мне, что *может* существовать еще совершенно иной пессимизм, классический: это открытие мое — *proprium* и *ipsissimum*<sup>1</sup>. Только ухо мое не выносит слова: «классический»; слишком уже оно истрепано, обтерлось и стало неузнаваемым. Пессимизм этот я называю пессимизмом будущего — ибо он придет! я вижу его приход! — *дионисовским* пессимизмом.

## 371

*Мы, непонятые.* — Разве мы не жаловались постоянно на то, что нас не понимают, не узнают, путают, что на нас клеветают, к нам хорошенько не прислушиваются? Таков уж наш жребий; в этом заключается наше отличие; мы недостаточно уважали бы себя, если бы испытывали иные желанья. Нас путают — лишь потому, что мы сами растем, непрерывно изменяемся, сбрасываем старую кору и каждую весну меняем кожицу, мы постоянно становимся все моложе, выше, сильнее, мы все сильнее гоним свои корни вглубь — в область зла — и в то же время все нежнее и шире обнимаем небеса и все жаднее и жаднее всасываем его свет своими листьями и ветвями.

<sup>1</sup> Личное и неотъемлемое (лат.).

Мы растем, подобно деревьям — это также трудно понять, как и всякое другое живое явление! — не в одном месте, но во всей своей массе, не в одном направлении, но и вверх, вниз, наружу и внутрь, — сила наша вызывает движение сразу и в стволе, и в сучьях, и в корнях; мы уже несвободны делать что-нибудь одно, *быть* чем-нибудь единым... Таков, как сказано, наш жребий: мы растем ввысь; и не только жребий, а прямо рок — мы живем все ближе и ближе к молодням! — ну пусть, ведь к нам не будут относиться с меньшим уважением, нам остается то, чем мы не захотим поделиться, роковые высоты, *наш* рок.

## 372

*Почему мы не идеалисты.* — Прежде философы питали страх к чувствам — не слишком ли мы, пожалуй, разучились этому страху? Мы, люди настоящего и будущего в философии, — теперь все сенсуалисты, и *не* только в теории, но и на деле, на практике... Прежние философы полагали, что чувства обманом выманят их из *их* мира, холодного царства «идей» на тот опасный, южный остров, где, как они боялись, их философские добродетели растают, как снег на солнце. «Заложить себе уши», — вот требование, которое считалось почти условием всякой философской мысли; истинный философ не прислушивался к жизни до тех пор, пока она звучала музыкой, он *отрицал* музыку жизни, — это был старый философский предрассудок, который утверждал, что всякая музыка должна быть музыкой сирены. — Мы готовы в настоящее время склониться к совершенно обратному суждению (что само по себе может оказаться столь же ложным), а именно: что *идеи* будут более дурными руководительницами, чем чувства; несмотря на свой холодный, анемичный вид, они всегда жили «кровью» философа, всегда питались его чувствами и, если угодно, его «сердцем». Эти древние философы были людьми бессердечными: процесс философского мышления всегда представлял род вампиризма. Разве вы не чувствуете, что даже у такой фигуры, как Спиноза, было что-то энигматичное, страшное? Разве вы не видите игры, которая здесь разыгрывается. Разве вы не догадываетесь, что на заднем плане давно скрывается вампир, который начинает с чувств, а кончает костями и шумихой? — Я подразумеваю категории, формулы, слова (ведь, да простит мне читатель, *amor intellectualis dei*<sup>1</sup>, оставшаяся от Спинозы, — простая шумиха, и больше ничего! что такое *amor*, что такое *deus*, если в них нет ни капли крови?..). *In summa*: всякий философский идеализм был до сих пор чем-то вроде болезни, если только, как у Платона, он не предвещал излишнего и опасного здоровья, не был страхом перед *излишне могучими* чувствами, благоразумием мудрого сократовца. — Быть может, мы, современные люди, не достаточно здоровы, для того чтобы *чувствовать потребность* в идеализме Платона? И мы не боимся чувств потому, что —

<sup>1</sup> Интеллектуальная любовь к богу (*лат.*).

*Наука как предрассудок.* — Из законов табели о рангах следует, что ученые, поскольку они принадлежат к людям средним по уму, не в состоянии усмотреть собственных *великих проблем* и вопросов, ибо на это у них не хватит ни решимости, ни зоркости, а прежде всего потому, что слишком быстро успокаиваются и удовлетворяются те потребности, которые делают из них исследователей, их предвзятые мнения и желания, их страхи и надежды. Так, например, та самая задача, которая располагает к мечтам педанта-англичанина Герберта Спенсера и заставляет его вырисовывать свои надежды и наметить горизонт своих желаний — это бесконечное примирение «эгоизма и альтруизма», о котором он рассказывает свои басни, — вызывает у нашего брата почти отвращение: человечество, у которого спенсеровские перспективы будут последними перспективами, по нашему мнению, достойно презрения и уничтожения! А Спенсер не в состоянии был предвидеть того, что воспринятое им под видом высшей надежды другим казалось и должно было казаться просто неприятной возможностью... Таким же образом дело обстоит и с той верой, которой в настоящее время довольствуются столь многие исследователи природы из числа материалистов, с верой в тот мир, который должен иметь свой эквивалент и меру в человеческой мысли, в человеческих представлениях о ценности, в тот «мир истины», законность которого можно установить при помощи нашего четырехугольного, маленького человеческого разума. — Как? неужели мы хотим все бытие свести к незатейливым выкладкам математиков? Прежде всего не следует отнимать от него тех многих значений, которые он представляет: этого, господи, требует прежде всего *хороший* вкус, вкус к благоговению перед всем, что выходит за пределы вашего горизонта! Вы считаете только то мировоззрение правильными, при котором вы оказываетесь правыми, при котором мир можно исследовать и разобрать научно в том смысле, в каком *вы* употребляете это слово (вы, собственно, полагаете *механически*?), такое мировоззрение, которое допускает только числа, счет, взвешивание, осматривание, ощупывание, и ничего больше, — но ведь это аляповатая и наивная мысль, если только ее не считать порождением больного духа, идиотством. А разве не будет вполне вероятным обратное положение, что прежде всего могут быть захвачены только самые поверхностные, самые внешние явления бытия — его самые наружные, наглядные проявления, его кожа? Быть может, только одни они и могут быть захвачены? «Научное» истолкование мира, как вы его понимаете, могло быть, следовательно, всегда одним из самых глупейших, самых бедных смыслом мировоззрений, какие себе можно только представить: это прямо относится к тем ученым, исповедующим механическое мировоззрение, которые считаются в настоящее время в числе философов и глубоко убеждены, что механика представляет ученье о первых и последних законах, на которых, как на фундаменте, должно быть построено все мироздание. Но если бы мир наш в своих существенных чертах оказался механическим, то он был бы миром бессмысленным. Попробуйте сделать оценку какой-нибудь музыке лишь постольку, поскольку она уложится в ваши числа и формулы! насколько вздорной оказалась бы такая «научная» оценка музыки! Разве можно было бы в ней что-нибудь понять, разобрать, узнать! Ничего, ровно ничего из того, что собственно представляет «музыку»!..





*...истинный философ не прислушивался к жизни до тех пор,  
пока она звучала музыкой, он отрицал музыку жизни...*

## 374

*Наша новая «бесконечность».* — Как далеко простирается перспективный характер бытия, или все оно имеет еще какой-нибудь другой характер, или не становится ли бытие «бессмыслицей», если ему не дано какого-нибудь истолкования, «смысла», да и не является ли всякое бытие в существенных своих чертах бытием истолковывающим — все это такие вопросы, которые не могут быть решены как следует, даже самым прилежным, самым добросовестным анализом и самоиспытанием интеллекта; ибо человеческий интеллект при этом анализе вынуждает рассматривать только самого себя в своих перспективных формах, и *только* в них. Мы не можем осмотреться из своего угла: безнадежным любопытством будет наше желание узнать, что *могло бы* еще существовать для интеллектов другого рода: не могут ли, например, какие-нибудь существа ощущать уже истекшее время или попеременно грядущее и прошлое (вместе с этим существовало бы и другое направление жизни, и другое понятие о причине и действии). Но я думаю, что мы в настоящее время далеки, по крайней мере, от смешной притязательности определить из своего угла декретом, чтобы все были обязаны держаться той перспективы, которая открывается из нашего угла. Мир для нас скорее еще раз сделался «бесконечным», поскольку мы не можем ему отказать в возможности *заключать в себе бесконечные толкования*. Нас еще раз охватывает великий трепет, — но кто захотел бы обоготворить по-старому *это* чудо неведомого мира? И, быть может, поклоняться неведомым явлениям, как «неведомому» божеству? Ах, можно дать множество *атеистических* толкований, которые включали бы и это неведомое, слишком много дьявольских, глупых толкований, — да и самое наше человеческое, слишком человеческое, которое мы знаем...

## 375

*Почему мы кажемся эпикурейцами.* — Мы, современные люди, с осторожностью относимся к крайним убеждениям; наше недоверие стоит на стороже против обольщений и ухищрений совести, которые заключаются в каждой сильной вере, в каждом безусловном *да* и *нет*. Чем это объясняется? Быть может, здесь в значительной степени следует видеть осмотрительность «обжегшегося ребенка», обманувшегося идеалиста, и еще в большей степени радостное любопытство человека, который раньше стоял в своем углу, но вдруг пришел в отчаяние от своего угла и теперь, наоборот, роскошничает и мечтает в безграничном просторе. Вместе с тем образуется почти эпикурейская склонность к познанию, и человек не может уже с легким сердцем отворачиваться от загадочного характера вещей; в то же время появляется отвращение ко всем великим словам морали и жестах, вкус, который отклоняет все неуклюжее, аляповатые контрасты и с гордостью сознается в своем навыке вперед выигрывать дело. Ибо это умение легко натягивать узду в нашем бурном натиске на истину, это самообладание всадника во время его дикой скачки и составляет нашу гордость; под нами ведь по-старому бешеные, горячие кони, и, если мы медлим, то к этому побуждает нас опасность...

## 376

*Наше медленно текущее время.* — Вот что ощущают все художники, артисты и вообще люди дела, люди материнского типа. В каждом отрубке своей жизни — ведь всякое дело каждый раз отсекает часть жизни — они верят, что они находятся у самой цели и встретили бы терпеливо смерть с чувством: «мы для нее созрели». И это не служит выражением усталости, — скорее это тихое настроение осеннего солнечного дня, которое остается у автора всякий раз, когда произведение, готово, созрело. Так замедляется *tempo* жизни, и оно становится густым, тягучим, — вплоть до ферматы, до веры в длинную фермату.

## 377

*Мы, люди без родины.* — Среди современных европейцев нет недостатка в таких людях, которые имеют права носить имя космополитов в лучшем смысле этого слова, и им-то моя тайная мудрость и *gaya scienza* будет, безусловно, по душе! Ибо их жребий тяжел, надежда сомнительна, а найти утешение — для них дело нелегкое, — но что за беда! Мы дети грядущего, мы могли бы в современной жизни чувствовать себя дома! Мы недоброжелательно относимся ко всем идеалам, среди которых иной даже в это хрупкое, разбитое, переходное время чувствует себя как на родине; что же касается до «реалистов», то мы не верим в то, чтобы они проявляли достаточную *прочность*. Лед, который сегодня еще держит вас, стал уже слишком тонким; дует весенний ветерок, мы сами, мы, люди без отчизны, представляем из себя нечто такое, что разбивает лед и других, слишком истончившихся, «реалистов»... Мы ничего «не охраняем», мы не хотим возврата к прошлому, мы отнюдь не представляем из себя «либералов», мы не работаем для «успеха», нам незачем затыкать себе уши от сирен, распевających на рынках о будущем. — Их песни о «равенстве прав», «о свободном обществе», о том, что «не должно быть ни господ, ни рабов», не увлекают уж нас! — мы решительно считаем нежелательным, чтобы на земле было водворено царство справедливости и единодушия (ибо оно при всяких обстоятельствах обратилось бы в царство посредственности и китайщины), мы рады тем, которые, подобно нам, любят опасность, войну, приключения, тем, которые не позволяют себя задобрить, завлечь, умиротворить и кастрировать, мы считаем себя в числе завоевателей, мы думаем о необходимости нового вида рабства, которое должно последовать за новым порядком вещей, — ибо с каждым усилением и повышением типа «человека» связан новый вид порабощения — разве не правда? — вот почему нам приходится плохо в тот век, который любит претендовать на название самого человеческого, самого краткого, самого справедливого века, какой только был под нашим солнцем! Достаточно плохо для того, чтобы у нас при этих прекрасных словах появлялись тем более безобразные задние мысли! Чтобы мы в них видели только выражение — даже маскарад — глубокой слабости, утомления, старости, упадка сил! Что может привлекать наше внимание на те украшения, в которые наряжает больной для внешнего блеска свои слабости! Он мог бы носить их напоказ под видом своей *добродетели* — несомненно, что слабость делает человека кротким, ах! таким кротким, таким справедливым, таким безобидным, таким «человечным»! — «Религия сострадания», к которой склонить нас хотят — о! мы знаем достаточно истерических мужчин и женщин, которым как

раз нужна эта религия вместо покрывала и украшений! Мы не принадлежим к числу человеколюбцев; мы не осмелились бы разрешить себе говорить о «любви к человечеству» — для этого ни один из нас не обладает достаточными актерскими способностями! Недостаточно являться сенсимонистом или французом! Необходимо страдать чрезмерной галльской возбудимостью в области эротических ощущений, необходимо проявлять нетерпение влюбленного, для того чтобы честно припасть грудью к человечеству... К человечеству? Разве была хоть одна еще более мерзкая старуха из всех старых женщин? Нет, мы не любим человечества, но, с другой стороны, у нас далеко недостаточно «немецкого» духа в том смысле, в каком теперь это слово употребляют сплошь и рядом, чтобы говорить о национализме и о расовой ненависти, чтобы радоваться тому, что национальные вопросы скребут на сердце и отравляют кровь, благодаря чему один народ отгораживается от другого, как во время карантина. К тому же мы слишком откровенны, слишком злы, слишком избалованы и слишком хорошо воспитаны; мы предпочитаем поэтому жизнь на горах, в стороне, не считаться с требованиями времени, жить в минувших или грядущих столетиях, и только благодаря этому мы освобождаемся от тихого бешенства, на которое мы считали бы себя обреченными, как очевидцы политики, опустошающей немецкий дух, делающей его суетным и, кроме того, являющейся политикой *миленькой*: — разве не приходится ей укреплять свое произведение между двумя видами смертельной ненависти для того, чтобы оно тотчас не распалось снова? разве не *должна* она желать увековечить провинциальные нравы Европы?... Мы, космополиты, по расе и происхождению представляем из себя, как «современные люди», многократно запутанное явление, а потому мало пытались принимать участие в том лживом расовом самовосхищении и распутстве, которые в настоящее время выставляются в Германии как признак немецкого образа мыслей и которые у народа, обладающего «историческим чутьем», являются вдвойне лживыми и неприличными. Мы, одним словом — и это надо сказать к нашей чести — *добрые европейцы*, наследники Европы, богатые, обремененные, но вместе с тем излишне заваленные обязанностями наследники тысячелетий европейского духа: как таковые мы выросли из христианства и недоброжелательно расположены к нему именно потому, что мы из него выросли, потому что наши предшественники были уверены в безусловной справедливости христианства, принося своей вере в жертву свое имущество и кровь, свое общественное положение и отечество. Мы поступаем подобным же образом. Но ради чего? ради нашего неверия? Ради всяческого неверия? Нет, вы это лучше знаете, мои друзья! Скрытое в вас «да» сильнее всех «нет» и «пожалуй», которыми страдает ваше время; и если вы, эмигранты, вынуждены пуститься к морю, то к этому вас также побуждает вера!..

## 378

«*И снова становимся светлыми*». — Мы, щедрые и богатые духом, стоим открыто, подобно колодцам на улице, и никому не желаем мешать черпать из нас: да мы и не умеем запретить даже в том случае, когда это можно сделать; мы никак не можем помешать тому, чтобы нас *мутили*, омрачали, — чтобы время, в которое мы живем, бросало туда все, что есть у него самого тленного, чтобы грязные птички кидали туда всякую дрянь, мальчишки швыряли всякий хлам, а изнемогшие путники во вре-





*Так замедляется тетро жизни, и оно становится густым, тягучим, —  
вплоть до ферматы, до веры в длинную фермату*

мя отдыха на краю у нас допускали в нас падать своим мелким и крупным горестям. Но мы будем поступать так, как мы всегда поступали: мы поглощаем в своих пучинах все, что в нас бросают — ибо мы не забываем о своей глубине, — и снова становимся светлыми...

## 379

*Вставка глупца.* — Однако не мизантроп писал эту книгу: человеконенавистничество стоит в настоящее время слишком дорого. Чтобы ненавидеть так, как ненавидели человека в старину, целиком, без всяких уступок, от всего сердца, из любви к *ненависти* — для этого придется отказаться от презрения, — а какими тонкими радостями, каким большим терпением, какими великими милостями мы обязаны прямо нашему презрению! Мы предназначены к этому самым божеством: тонкое презрение является у нас, современнейших людей из всех современников, излюбленным чувством, нашей привилегией, нашим искусством, быть может, нашей добродетелью!.. Ненависть, напротив, всех ставит на одну доску, приводит к очной ставке, в ненависти, наконец, чувствуется что-то почетное: в ненависти заключается *страх*, добрая доля страха. Мы же, бесстрашные, мы наиболее одухотворенные люди нашего века, достаточно хорошо знаем свои выгоды, чтобы в качестве наиболее разумных людей из уважения к своему времени жить без страха. Едва ли нас за это обезглавят, запрут в тюрьму, отправят в ссылку; даже книг наших не запретят и не сожгут. Наш век любит одухотворенных людей, он любит нас, он в нас нуждается даже в том случае, если бы мы ему дали понять, что мы артисты в деле презрительного отношения к людям, что всякая встреча с людьми вызывает в нас легкую дрожь; что мы всей своей кротостью, терпением, человеколюбием, вежливостью не можем приучить свой нос отворачиваться с предубеждением всякий раз, как он слышит близость человека; что мы тем больше любим природу, чем меньше в ней человеческого; что мы любим искусство, *когда* оно представляет из себя бегство артиста от человека, или насмешку художника над человеком, или насмешку художника над самим собой.

## 380

*Путник говорит.* — Для того чтобы рассмотреть нашу еврейскую мораль издали, для того чтобы сравнить ее с другими прежними или будущими системами морали, необходимо поступить так, как делает путник, когда он хочет узнать, насколько высоки башни какого-нибудь города: для этого *он покидает* город. «Мысли о моральных предрассудках», раз они не должны быть предрассудками о предрассудках, предполагают позицию *вне* морали, где-нибудь по ту сторону добра и зла, куда придется подниматься, лезть, лететь, — и в данном случае необходимо уйти по ту сторону *нашего* добра и зла, добиться свободы от всей «Европы», понимая это последнее слово, как сумму таких суждений о ценностях, которые властно вошли в нашу кровь и плоть. Тот факт, что люди *хотят* уйти вон отсюда, является, пожалуй, небольшим безумием, странным, неразумным требованием: «ты должен», — ибо мы, познающие, также имеем свою идиосинкразию «несвободной воли»: вопрос заключается в

том, *можно* ли в действительности уйти отсюда. Возможность эта зависит от многих условий, а прежде всего от того, насколько мы сами легки или тяжелы, следовательно, все сводится к вопросу о нашем «удельном весе». Необходимо быть *очень легким*, чтобы загнать свое стремление к познанию в такую даль и в то же время поднять его выше уровня своего времени, чтобы сделать свой глаз способным обозревать тысячелетия и чтобы к тому же в глазах этих светилося чистое небо! Следует освободиться от многого из того, что давит, щемит, принижает, отягчает современных нам европейцев. Такой житель по ту сторону добра и зла, который хочет узреть высшие мерки ценности своего времени, должен прежде всего «превозмочь» в самом себе это время — это будет проба его сил — и, следовательно, победить не только свое время, но также и то отвращение и противоречие, которые он испытывал по отношению к этому времени до сих пор, те страдания, которые оно ему доставляло, свою непри приспособленность к этому времени, свой *романтизм*.

## 381

*К вопросу о том, насколько писатель желает быть понятым.* — Каждый писатель стремится не только к тому, чтобы его поняли, но также и к тому, чтобы остаться непонятым. Еще нельзя поставить книге в упрек того обстоятельства, что ее кто-нибудь не понял: быть может, писатель того и хотел, чтобы его не «всякий» понимал. Раз писатель обладает более благородным духом и вкусом, он выбирает себе слушателей, когда он хочет чем-нибудь поделиться, а от «других» отделяется загородкой. Все более тонкие законы стиля как раз и берут здесь свое начало: они держат вас на известном расстоянии, они запрещают вам «вход», понимание, как говорят, — и в то же время открывают уши тем, кто для автора является натурой родственной. Что же касается до меня, то, говоря между нами, я не хотел бы, друзья мои, помешать вашему пониманию ни своим невежеством, ни игривостью своего темперамента: игривостью, потому что она заставляет меня быстро схватывать вещь для того, чтобы ее можно было вообще схватить. Ибо с глубокими проблемами я поступаю совершенно так же, как с холодными ваннами: быстро нырнешь туда и сейчас же вон. То обстоятельство, что люди не идут в глубину, не опускаются *вниз* достаточно глубоко, объясняется суеверной водобоязнью, которую питают враги холодной воды; но они говорят об этом без всякого опыта со своей стороны. О! Сильный холод действует быстро! — А вместе с тем мы спросим: действительно ли остается вещь непонятой, неузнанной, только благодаря тому что вы мимоходом ощупали, осмотрели ее? Разве необходимо прямо на ней усестся? высидивать ее, как курица яйца? *Diu noctique incubando*<sup>1</sup>, как говорил о себе Ньютон? По крайней мере, существуют и такие пугливые и щекотливые истины, которые захватить можно только внезапным натиском, — которые или надо застать врасплох, или оставить в покое... Наконец, краткость моя имеет еще и другое значение в области тех вопросов, которыми я занимаюсь: мне приходится выражаться в кратких формулах для того, чтобы люди могли их выслушать еще в более сжатой форме. Если вы относитесь отрицательно к нравственности, то вы должны предупреждать, что вы развращаете людей невинных, я имею в

<sup>1</sup> Днями и ночами высидивая птенцов (лат.).



виду ослов и старых дев обоего пола, которые ничего не имеют от жизни, кроме своей невинности; более того, мои произведения должны воодушевлять, возвышать, возбуждать к добродетели. Я не знал ничего восхитительнее на земле воодушевленного старого осла или старой девы, которые возбуждены сладкими чувствами добродетели: и «я это видел», — так говорил Заратустра. Так много можно сказать в пользу краткости моей речи; хуже дело обстоит с моим невежеством, которого я не скрываю и от самого себя. Бывают часы, когда я стыжусь его, но бывают часы, когда мне стыдно этого своего стыда. Быть может, мы, все философы, в настоящее время занимаем плохую позицию относительно познания: наука растет, ученейшие из нас близки к тому выводу, что они знают слишком мало. Но еще хуже было бы, если бы дело обстояло иначе, — если бы мы знали *слишком много*; задача наша прежде всего состоит в том, чтобы не смешивать одного из нас с другим. Мы не ученые люди, а нечто иное: хотя неизбежно, чтобы мы, между прочим, были и учеными. У нас другие потребности, другой рост, другое пищеварение: нам нужно и больше, и меньше. У нас нет формулы, которая показывала бы, насколько наш дух нуждается в своей пище; но он вызывает свой вкус к независимости, к быстрым переходам, пожалуй, к приключениям, для которых доросли только самые проворные люди; таким образом, он предпочитает жить свободным и пользоваться плохой пищей, чем наедаться досыта и оставаться несвободным. Не жира, а гибкости и силы — вот чего требует хороший танцор от своей пищи; и я не знаю, чем пожелал бы еще быть дух философа, если бы он не захотел быть хорошим танцором. Танец именно является его идеалом, его искусством, наконец, его единственным благочестием, его «богослужением»...

## 382

*Великое здоровье.* — Мы, люди новые, безымянные, плохо понятые, недоноски еще не доказанного будущего, — мы для новых целей нуждаемся и в новых средствах, именно в новом здоровье, более сильном, разумном, крепком, радостном, чем все те виды здоровья, которые существовали до настоящего времени. Если чья-нибудь душа жаждет пережить в полном объеме все те ценности и желания, которые до сих пор были у людей и объехать все берега этого идеального «средиземного моря», кто хочет почерпнуть знания из приключений своего собственного опыта, как этого желают люди, завоевывающие и открывающие идеалы, а также художники и артисты, святые, законодатели, мудрецы, ученые, благочестивые, предсказатели, — тот прежде всего нуждается в *великом здоровье*, таком здоровье, которым не только обладают, но которое постоянно приобретают и должны приобретать вновь, ибо его постоянно все снова и снова подвергают и должны подвергать опасности... И теперь, после того как мы, аргонавты идеала, были в дороге, быть может, смелее, чем этого требовало благоразумие, и все-таки несмотря на довольно частые кораблекрушения и вред, который мы сами себе причиняем, обладали, как сказано, большим здоровьем, чем можно было допустить, опасным здоровьем, здоровьем, которое все снова и снова возвращалось к нам, — теперь нам хочется думать, что мы как бы в награду за все перенесенное имеем перед собой еще не открытую землю, границ которой еще никто не осмотрел, которая лежит за пределами всех стран и уголков идеала, известных нам до настоящего момента, мир столь богатый явлениями прекрасными, чуждыми





*А вместе с тем мы спросим: действительно ли остается вещь непонятой, неузнанной, только благодаря тому что вы мимоходом оцупали, осмотрели ее? Разве необходимо прямо на ней усесться? высиживать ее, как курица яйца?*

нам, удивительными, страшными и божественными, что наше любопытство и жажда обладания выходит из своих рамок — ах! что мы ничем теперь не можем насытиться! Как могли бы мы теперь, после того как мы видели все, как испытали такое алчное влечение к совести и знанию, — как мы могли бы удовлетвориться *современными* нам *людьми*? Довольно плохо: и мы неизбежно будем смотреть на важнейшие их цели и надежды без достаточного внимания или даже совсем не будем присматриваться к ним. Перед нами другой идеал, удивительный, искушающий, полный всяких опасностей идеал, к которому мы никого не можем склонить, так как никому не представляем так легко *на него прав*; идеал духа, который наивно, иначе говоря, произвольно, под напором избытка сил, играет всем, что было до сих пор святого, доброго, неприкосновенного и божественного; для которого все, к чему народ справедливо прилагает высшую оценку, имеет значение опасности, упадка, унижения или в крайнем случае отдыха, ослепления, иногда самозабвения, идеал человечески сверхчеловеческого благополучия и благожелания, который довольно часто будет оказываться бесчеловечным, когда, например, рядом со всей той энергией, которую до сих пор проявляли люди на земле со всей торжественностью в жестах, словах, звуках, взглядах, морали и задачах, он будет стоять как воплощенная и произвольная пародия на них и вместе с которым впервые появится, быть может, *великая энергия*, впервые будет поставлен собственный вопросительный знак, изменится судьба души, стрелка-указатель пойдет назад, *начнется* трагедия...

### 383

*Эпилог.* — Но пока я в заключение медленно, медленно разрисовываю этот мрачный вопросительный знак и хочу своим читателям напомнить о добродетелях настоящего читателя — о, сколь забытые и неизвестные это добродетели! — вокруг меня раздастся злой и веселый смех нечистых духов: это нападают на меня духи моей книги, они тянут меня за уши и призывают к порядку. «Мы не можем больше выносить этого, — взывают они ко мне, — прочь, прочь с этой мрачной музыкой, похожей на воронье карканье. Разве вокруг нас не светлое утро? Разве не зеленая, мягкая почва и дерн, настоящее царство танцев? Разве когда-нибудь было лучшее время для веселья? Кто споет нам песню, утреннюю песню, такую яркую, такую легкую, такую летучую, чтобы она не разогнала даже кузнечиков, — чтобы она скорее увлекла кузнечиков в общий хор, в общий танец? А еще лучше дай нам простую деревенскую волюнку, чем ту таинственную лютню, тот жабий крик, могильный голос, свист сурка, которыми ты потчевал нас в своей пустыне до сих пор, отшельник и музыкант будущего. Нет! Не надо таких звуков! Предоставьте нам запевать свои более приятные и дружеские песни!» — Довольны ли вы этим, мои нетерпеливые друзья! Кто не согласился бы охотно на вашу просьбу? Моя волюнка ждет, мое горло тоже — оно может немного охрипнуть, ну что ж! Затем ведь мы и живем в горах. Но ведь то, что приходится вам слушать, отличается по крайней мере новизной; и если она вам не нравится, если вы неправильно понимаете *певца*, что за беда! Это еще раз «проклятие певца». Тем отчетливее вы можете услышать свою музыку, свои мотивы, тем лучше вы можете танцевать под свою дудку. Этого ли вы хотите?

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
СВОБОДНЫЕ ПЕСНИ  
ПРИНЦА ФОГЕЛЬФРАЯ**

### К Гёте<sup>1</sup>

Твое имя — бессмертие,  
Твой мир — недостижимое...  
Мировое колесо  
Ставит цель за целью.  
Бедствием называет его — злоба,  
Игрою — глупость...  
Мировая игра в своей гордыне  
Смешивает в одно и бытие и иллюзию,  
А вечно глупое и нас  
Бросает туда же.

### Призвание Поэта

Раз в юности сидел я, утомленный,  
Под тенью густою дерев...  
Вдруг слышу звук: тик-так, тик-так!  
Волнует он, манит, и раздражает,  
И в ярость приводит...  
Но вскоре я пришел в себя  
И, подобно поэту, излился сам  
В таких же звуках...  
И строфы одна за другою бегут  
И в бешеной скачке несутся...  
И сам я не знаю — откуда? и как?  
И долго над ними смеялся...

---

<sup>1</sup> «Песни...» даны в переводе И. Фр.



Ты поэт?! Ты поэт?!  
Что случилось с твоей головой?  
«Да, точно, сударь, вы поэт», —  
Стучит в ответ мне дятел.  
Кого я жду здесь, в кустах?  
Кого подстерегаю, как хищник?  
Не чудные ли образы нисходят ко мне?!  
Не словами ли в строфы сплетаются?!  
А в кустах гармония рифмы звучит!  
Все, что витает, кружит и несется,  
Поэт уловляет стихом...  
«Да, точно, сударь, вы поэт», —  
Стучит в ответ мне дятел.  
Рифмы словно как стрелы.  
Стремятся, дрожат и трепещут...  
Так трепещет стрела, пронзив  
Благородное сердце...  
Бедняга, ты погибашь в нем  
Или неистовствуешь, как безумная!..  
«Да, точно, сударь, вы поэт», —  
Стучит в ответ мне дятел.  
Причудливые выражения, полные огня,  
Опьяняющие слова вихрем несутся  
И цель за целью сливаются в мирный тик-так!  
И бывают безумцы, кого в упоенье звуки приводят?!  
Не глупцы ли поэты?!  
«Да, точно, сударь, вы поэт», —  
Стучит в ответ мне дятел.  
О птичка, не издеваешься ли надо мной?!  
Не шутишь ли ты?..  
Гнев душит меня, и мое сердце содрогается!  
О, бойся, бойся моей злобы!..  
Когда гнев овладевает поэтом,  
Он сплетает тогда свои рифмы —  
И быстро, и стройно, и звучно!..  
«Да, точно, сударь, вы поэт», —  
Стучит в ответ мне дятел.

## На Юге

На изогнутом суку сидел я  
И качался, как в качелях отдыхая. —  
Неведомая птичка пригласила меня в гости —  
Это было ее гнездышко, и покой в нем нашел я...  
Но где же я, где?... Ах! далеко, далеко!..  
У ног моих море в сонном покое,  
Вдали мелькает пурпурный парус.  
Скалы, пальмы, башня и гавань...  
Блеянье овец — идиллия вокруг, —  
И невинность Юга охватила меня!..  
Ходить шаг за шагом — в этом нет жизни,  
Передвигать ноги — тяжело и скучно —  
Слишком по-немецки... И я приказал ветру поднять меня  
И научился летать так, как птицы, —  
Через море на Юг полетел я..  
Рассуждение — прескучное занятие,  
Оно слишком скоро приводит нас к цели!  
Летая же, научился я тому, к чему меня влекло, —  
Я почувствовал мужество, охоту и вкус  
К новой жизни и новой игре.  
Думать в одиночку — зову я мудростью..  
Но петь одному было бы глупо...  
Прослушайте же песню в честь вашу,  
Гадкие птички! Садитесь в кружок и внимайте!..  
Все вы, созданные для любви и наслажденья,  
  
Все вы — изменчивы, лукавы и слишком молоды...  
На Севере, сознаться должен,  
Люблю я женщину — для страсти она устарела... —  
«Истина» — ей имя!..

## Благочестивая Беппа

Давно моя красotka  
Благочестивой хочет быть.  
Бог сам ведь любит женщин,  
Тем более красивых...  
И он простит монаху.  
Ему простит охотно,  
Как и другому тоже,

За то, что любят оба  
Сидеть со мной подолгу...  
Мой не похож на старца.  
Он молод и цветущ...  
Ревнив, как серый котик,  
И нужду знает он.  
Мне старцы не по сердцу,  
А он старух не любит.  
Как мудро и чудесно  
Все это Бог устроил!..  
О! Церковь жить умеет —  
Пытает сердце, совесть  
И милует она...  
Она простит, конечно,  
И кто мне не простит?!.  
Молитву шепчут губки,  
Поклон — и прочь из церкви —  
И новеньким грешком  
Мой старенький покрыт.  
Хвала земному Богу —  
Красоток любит Он,  
И им легко прощает  
Сердечные грешки...  
Давно моя красotka  
Благочестивой хочет быть:  
Так старая хромуля  
Не прочь и чёрта  
Сосватать за себя!..

### Таинственный челн

Ночь темна. Вокруг все спит.  
Ветер лишь один, вздыхая  
По дороге пролетает...  
Но покой не дал мне сна,  
Ни забвенья, ни отравы,  
Ни того, что усыпляет  
Глубоко и навсегда —  
«Совести покоя» не дал.  
Век моих не смежил сон,  
И на берег я помчался...

Кротко свет луны играет...  
На песке у сонных волн  
Вижу — человек и лодка,  
Оба спят — пастух и паства.  
Сонно бьет о берег челн.  
Пробежал за часом час...  
Час ли, день, иль год — не знаю.  
Разум мой, и мысль, и чувство  
Слились в вечное ничто...  
Бездна без границ разверзлась...  
..... все прошло!..  
День настал: под глубию вод  
Челн один волна колышет...  
— Что случилось? — возглас слышен.  
— Было что? — все голоса. —  
Злодеянье?! — Нет, ничто!..  
Спали мы так тихо, сладко,  
Сладко, тихо спали мы!..

### Объяснение в любви

*(во время которого поэт упал в яму)*

О, чудо! Он еще летит?!  
Он ввысь несется, крыльями сверкая!..  
Какая сила движет им?  
Где цель его, мечта, граница?..  
Как вечность, как звезда, как дух —  
Теперь парит он на высотах  
Далеких жизни... И зависть  
Родит в нем только сожаленье —  
Уносит ввысь он даже тех,  
Кто взором обнимал его полет...  
О альбатрос!..  
К высотам рвусь я жаждой вечной  
И чувствую — я твой!.. И слезы  
Туманят мой взор... — да, я тебя люблю!..





*О альбатрос!..  
К высотам рвусь я жаждой вечной  
И чувствую — я твой!.. И слезы  
Туманят мой взор... — да, я тебя люблю!..*

*(«Объяснение в любви»)*

### Песня пастуха

У меня живот болел,  
И клопы меня кусали,  
И печалил свист и шум,  
А они внизу плясали...  
В этот самый час она  
Прибежать ко мне хотела  
Потихонечку — тайком...  
Грудь моя вся изболела!..  
Как могла она солгать?..  
Как собака, жду ее я,  
Обещала ведь сама!..  
Жду ее, от боли воя.  
Не гоняется ль она  
Точь-в-точь так, как мои козы,  
То за тем, то за другим?!  
А откуда у ней розы?!  
Не уйдешь ты от меня!..  
Допрошу мою голубку,  
Где у ней другой козел  
И откуда шелк на юбку?..  
Ожиданья долгий час  
Полон скорби, боли, яда...  
Так в жару, в глухую ночь  
Мухомор глядит из сада.  
Лук, чеснок теперь — прощай!..  
На еду прошла охота —  
Словно вместе семь чертей,  
Жжет любовь меня до пота...  
Месяц в море потонул.  
День настал, игрив и светел,  
Не видать на небе звезд...  
Ах! Зачем его я встретил!!!

### Бессознательные души

Эти бессознательные души  
Меня в ярость приводят...  
Их долг — одно страдание,  
Их похвала — самораздражение и стыд.

Я не хожу по дорожкам,  
Протоптаным ими, —  
И за это они посылают мне взоры,  
Полные язвительной, но безнадежной зависти.  
С каким удовольствием они прокляли бы меня  
И сбили бы с меня спесь!..  
Но их беспомощные старания  
Навсегда останутся напрасными!..

### Глупец в отчаянье

Ах!.. То, что писал я на столе и стене  
От глупого сердца и глупой рукой,  
То должно было украсить и стену, и стол!..  
А вы говорите, что руки глупца вредят лишь  
И что стол и стену нужно чистить  
До тех пор, пока ни черточки на них не останется!..  
Позвольте!.. Я рукой владею —  
Мне известно употребление губки и метелки,  
Как критику и водолею...  
Но окончив свою работу,  
Я охотно наблюдаю за тем, как вы,  
Сверхмудрецы, пачкаете стену и стол своей мудростью!..

### Rimus remedium<sup>1</sup>

*(или Как больной поэт сам себя утешает)*

Из уст твоих, слюнооточивая ведьма времени,  
Медленно, капля по капле, сочится час за часом.  
Напрасно все во мне взывает:  
«Проклятие, проклятие омуту Бесконечности!»  
Мир есть смесь всего:  
Разъяренный бык не слышит воззваний наших.  
Скорбь и тоска летящим острием чертят во мне  
Такие слова:  
— Мир без души,  
И было бы глупо сердиться на него!..  
О, дай мне сонного зелья!.. Дай яду!..

---

<sup>1</sup> Целительная рифма (*лат.*).

Ты слишком долго терзаешь мой мозг!  
Что спрашиваешь ты? Что? «Какою ценою?»  
— Ха! Проклятие девке и ее позору!..  
Нет! Ступай назад!  
На дворе холодно, и дождь идет, —  
Тебя следовало бы встретить нежнее!..  
— Бери! Вот золото; как блестит монета! —  
Тебя назвать «счастьем»?..  
Тебя, болезнь, благословением?! —  
Вдруг дверь открывается с шумом!..  
Капли дождя достигают до моей постели!..  
Ветер тушит свечу — невзгоды все разом!..  
— И если бы у кого-нибудь в такую минуту  
Тысячи рифм не звучали б —  
Пари держу, держу пари, —  
Тот умер бы давно!..

### «Мое счастье»

Голубей из Сан-Марко опять я вижу:  
Тихое утро. На площади тихо.  
Из прохладной тени в небесную синеву  
Летят мои строфы, словно голубок стаи, —  
А я маню их обратно —  
Еще одну только строфу  
Осталось сложить мне...  
— *мое счастье! мое счастье!..*  
Ты, синий небесный свод, ты дышишь покоем  
И возносишься над пестрым разнообразным миром.  
А я — что делаю я? — люблю, боюсь, завидую!..  
О, как охотно вдохнул бы я в себя твою душу!..  
Отдал ли бы ее обратно?  
Нет ответа от тебя!  
— *мое счастье! мое счастье!..*  
И ты, суровая башня, ты возвышаешься  
Здесь надо всем, ты стремительна, как лев,  
И победоносна без всякого усилия...  
Глубокий звук твоего колокола  
Несется над площадью и летит  
Выше и выше...  
Остался ли бы я, подобно тебе,



В силу какой-то приятной неволи...  
— *мое счастье! мое счастье!..*  
Прочь, прочь, музыка!.. Пусть сначала спустятся тени  
И наступит теплая, темная ночь!..  
Звуки не любят света... Золотые лучи сверкают еще  
Неполным блеском, и вечер нескоро наступит...  
Еще много дня впереди для поэзии и уединения —  
— *мое счастье! мое счастье!..*

### К новому морю

Своей вверяясь воле,  
Туда я рвусь, туда!..  
Шумит волною море.  
Лазурь его синее,  
Корабль несется вдаль...  
Все в новом блеске вижу... —  
Туда я рвусь, туда!..  
Покою жарким дышит  
И время, и пространство.  
И око лишь твое,  
Как пасть чудовища,  
Зияет надо мной,  
О бесконечность!..

### Сильс-Мария

Здесь седел я в ожиданье  
По ту сторону добра и зла,  
Но чего я ждал — не знаю...  
То свет, то тьма  
В упоенье меня приводили...  
Медленно, бесцельно тянулось время...  
Вдруг! Пробил час и два —  
И мимо прошел Заратустра...



*Шумит волною море.  
Лазурь его синее,  
Корабль несется вдаль...  
Все в новом блеске вижу... —  
Туда я рвусь, туда!..*

*(«К новому мрою»)*

**К мистралю**  
(плясовая песня)

О мистраль, гонитель тучек,  
Ты несешься, ты клубишься...  
Небо чистишь, горе гонишь —  
Как тебя люблю я!..  
Ты и я — одна природа,  
Общий жребий ждет нас!..  
Здесь меж скал по скользким камням  
Я бегу к тебе навстречу  
И пляшу, — а ты мне вторишь  
Своим свистом, своим ревом...  
Как свободный брат свободы,  
Ты несешься на просторе —  
Без весла, руля и лодки  
Над пучиной моря дикой!..  
Лишь проснусь — призыв твой слышу:  
Воешь в море и бушуешь  
У скалы по желтым камням...  
Здравствуй!.. Ты в ответ сверкаешь  
Жемчугами и брильянтом  
И, победу торжествуя,  
С гор стрелой несешься буйно...  
На воздушной глади неба  
Видел — кони мчались вихрем...  
Колесницу твою видел,  
Видел — бич в руке взвивался,  
Молнией сверкал он грозной,  
По хребтам коней гуляя...  
И стремглав из колесницы  
Спрыгнул ты и вниз помчался...  
Видел я, как ты победно  
Глубину пронзал стрелою...  
Так огневый луч восхода  
Своим светом проникает  
И сияет розой алой  
С края в край на небосклоне.  
Скачешь, пляшешь, попираешь  
Гребни волн и волн коварства...  
Измышляешь «танец новый».  
Мы несемся в вихре пляски...  
Слава тем, кто созидает, —

Их поэзия — свобода,  
Их наука — весела!  
Из цветов оба сплетаем  
Мы венок для вечной славы  
И крутимся в «пляске новой»...  
Пляшем, словно трубадуры,  
Меж пороком и святыней,  
Между Богом и землею!..  
Кто не пляшет вместе с вихрем,  
Кто связал себя бинтами,  
Словно старец изувечный,  
И шагает, как калека,  
Кто похож на лицемера  
С добродетелью гусиной —  
Прочь от нашего блаженства,  
Прочь из рая, идол долга!..  
Мы бросаем пылью улиц  
Прямо в нос больным и слабым,  
Вымирающих пугаем...  
Очищаем все побережье  
От дыханья чахлой груди  
И от душ бессильных, дряблых!..  
Мрак небес мы разгоняем,  
Мира тьму и туч громады...  
Светим мы в небесном царстве  
И несемся в пляске дикой —  
С нами дух свободных духов!..  
Ураганом наше счастье  
И бушует и резвится!..  
И взвивайся выше, выше,  
И возьми венок с собою,  
И, летя на крыльях вихря,  
Брось его в высоты неба,  
И в залог такого счастья  
Ты звезду укрась венком!..



# **СОДЕРЖАНИЕ**

## **ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА**

### **Книга для всех и ни для кого**

Часть Первая. Предисловие Заратустры .....	7
Речи Заратустры .....	20
Часть вторая .....	67
Часть третья .....	128
Часть четвертая и последняя .....	196

### **СУМЕРКИ ИДОЛОВ, или Как философствуют молотом**

Предисловие .....	273
Изречения и стрелы .....	274
Проблема Сократа .....	280
«Разум» в философии .....	287
Как «Истинный мир» наконец стал басней .....	293
Мораль как противоестественность .....	294
Четыре великих заблуждения .....	299
«Исправители» человечества .....	307
Чего недостает немцам .....	311
Набеги несвоевременного .....	317
Чем я обязан древним .....	348
Молот говорит .....	354
<b>АНТИХРИСТ. Проклятие христианству .....</b>	<b>355</b>
<b>ЕССЕ НОМО. Как становятся сами собою .....</b>	<b>415</b>

### **ВЕСЕЛАЯ НАУКА (La gaya scienza)**

Предисловие ко второму немецкому изданию .....	524
Шутка, лукавство и месть (пролог в немецких рифмах) .....	531
КНИГА ПЕРВАЯ .....	544
КНИГА ВТОРАЯ .....	583
КНИГА ТРЕТЬЯ .....	618
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Sanctus Januarius .....	665
КНИГА ПЯТАЯ Мы неустрашимы .....	705

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ. Свободные песни принца Фогельфрая .....</b>	<b>753</b>
--	------------

# Фридрих Ницше

## ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Компьютерная верстка,  
обработка иллюстраций  
*В. Шабловский*

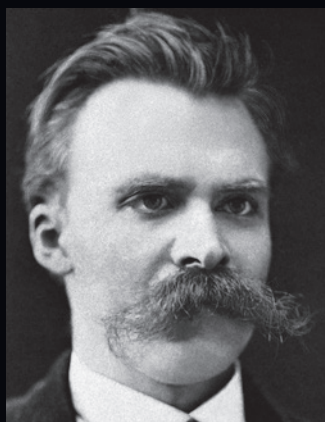
На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010  
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание  
классического произведения имеет значительную историческую,  
художественную и культурную ценность для общества

Сдано в печать 08.02.2022  
Объем 48 печ. листов  
Тираж 3000 экз.  
Заказ № 52



ООО «СЗКЭО»  
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44  
E-mail: [knigi@szko.ru](mailto:knigi@szko.ru)  
сайт: [www.szko.ru](http://www.szko.ru)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «Типография «НП-Принт»  
Чкаловский пр. 15, к.7, лит. А  
Санкт-Петербург



Свои главные произведения Фридрих Вильгельм Ницше написал в конце XIX века, однако все последующее столетие высказанные в них идеи и мысли продолжали вдохновлять и укреплять дух сотен тысяч людей в Европе.

Кем был этот необычный человек? Философом? Однако он не оставил после себя стройной философской системы, в которой последовательно рассматривались бы глобальные вопросы познания или фундаментальные основы устройства мира. Сочинения Ницше скорее напоминают яркие литературные описания, богато приправленные афористичными высказываниями. По образованию он был филологом, однако в историю вошел именно как оригинальный мыслитель, рассуждавший о самых разнообразных катего-

риях — о религии и церкви, о горении духа, о воле, о вере в себя и самосовершенствовании человека. С детства Ницше был щедро одарен способностями. Он появился на свет в 1844 году в семье лютеранского немецкого пастора, рано начал проявлять музыкальные способности, уже в десятилетнем возрасте стал сочинять, а в юности писал фортепианные пьесы. Ницше окончил знаменитую гимназию «Пфорта», из стен которой вышло немало известных ученых. В двадцать четыре года Ницше, будучи еще студентом, стал профессором университета в Базеле.

Вместе с тем, еще со студенческих времен от общей массы его отличала некая отстраненность. Он не вписывался в бесшабашную студенческую жизнь. Его влекло высокое. Он интересовался философскими и этическими проблемами. Не случайно его любимым композитором стал Вагнер, с которым Ницше потом подружился. Однако блестящие успехи в учебе сопровождали постоянные головные боли, бессонница, проблемы с желудком. К тридцати пяти годам здоровье его пошатнулось так сильно, что он был вынужден покинуть университет. Кстати афористичность его текстов — следствие слабости тела. Ницше просто не мог долго смотреть на белые листы бумаги — голова начинала раскалываться. Страдания тела усугубляло и состояние ума. Рано умерший отец Ницше скончался в психиатрической клинике. Его ставший знаменитым сын лечил донимавшие недуги опиатами и вероналом и закончил свою жизнь в возрасте пятидесяти шести лет точно так же.

Однако чем хуже ему становилось, тем выше и смелее взлетал его дух. Ницше писал о лжи христианства, утверждая, что воскресение Христа было просто галлюцинацией. Он ниспровергал укоренившиеся в сознании людей стереотипы, говорил, что человек в этой жизни должен рассчитывать только на свои силы, изживая свои страхи, недуги и заблуждения. «Сверхчеловек» у Ницше не студент с топором, который решил, что ему все позволено, и не солдат вермахта с автоматом на боку, а преодолевшая страдания и внутренние ограничения творческая личность, которая, подобно солнцу, широко изливает вокруг себя энергию творчества и созидания. Рассуждая о высоких категориях, Ницше совершенно самостоятельно пришел к идеям, описанным в дзен-буддизме уже более двух тысячелетий назад. В этом и заключается секрет популярности Ницше.

ISBN 978-5-9603-0700-0

